



И. Андрич

ИВО АНДРИЧ

ИЗБРАННОЕ





Библиотека югославской литературы

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. Я. Ильина

М. К. Луконин

В. Н. Павлов

О. С. Смирнова

В. И. Солоухин

В. П. Туркин

Н. Б. Яковлева



МОСКВА · «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» · 1976

**ИВО
АНДРИЧ**

избранное

Перевод с сербскохорватского



МОСКВА · «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» · 1976

И (Югосл)
А65

Предисловие
МЕШИ СЕЛИМОВИЧА

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

© Переводы, отмеченные *,
Издательство «Художественная литература, 1976 г.

А $\frac{70304-260}{028(01)-76}$ 163-76



ИВО АНДРИЧ

(1892—1975)

Говорить о великом писателе и трудно и легко. Трудно — потому что произведения великих писателей, особенно если они уже вошли в сокровищницу национальной культуры, как, например, произведения нашего Иво Андрича, заставляют крайне тщательно выбирать слова, ибо вопреки кажущейся простоте произведения таких писателей сложны и неоднозначны. А легко потому, что суть великого произведения остается неизменной, и она красноречивее любых слов, которые можно сказать о нем и которые или тут же забываются, или какое-то время помнятся, если они разумны и справедливы, хотя и в этом случае гораздо важнее самое произведение.

В рассказе «Мост на Жепе» (1925), одном из самых прекрасных рассказов мировой литературы, визирь Юсуф слово за словом уничтожает надпись, которая должна была быть увековечена на только что возведенном мосту: художественное творение не нуждается в комментариях и толкованиях, ибо, взятое во всей своей полноте и цельности, такое, какое оно есть, — «благое и прекрасное творение рук человеческих» — оно само лучше всего говорит о себе и толкует себя.

И важно еще коллективное мнение, проверенное опытом многих поколений. Творения Андрича прошли эту проверку.

Более полувека Андрич живет в нашей литературе. И с первых своих шагов, еще до первой мировой войны, он спрашивает «куда?» и «зачем?», и уже в то время тревога и страх перед жизнью сопровождаются тяжелыми раздумьями о ней:

**В ночи лютый ветер,
в ночи, когда гаснут молитвы,
отрахом зеленых озер
полонит мою душу жаждущую**

мысль. Так приходит она,
зловещая, старая, поздней ночью,
и в ней каждый с печалью видит
смерть свою белую и безгласную.

(«Ночные строфы»)

Или в стихотворении «Тьма»:

...Кто мне скажет этой ночью,
что значат лица, вещи, воспоминания
минувших дней?
И почему так мрачно бьется сердце?
Куда? И зачем?

И всю жизнь, во всех своих произведениях писатель задается вопросом: что значат лица, вещи и воспоминания, куда ведут дороги, какой смысл заложен в существовании людей? Этими мучительными и тревожными раздумьями, воплощенными во множестве образов и судеб, исполнено все обширное творчество Андрича, ставшее для нас во многих отношениях эталоном в области духа и высочайшим достижением, которого нелегко достигнуть, но которое позволяет оценить наши собственные усилия и результаты.

Если говорить о творчестве Андрича в целом, мне кажется, можно выделить четыре периода, четыре вехи в его художественной и жизненной биографии. Все они отмечены смутной тревогой, страстной мечтой о жизни без зла, глубокой озабоченностью проблемами и тайнами человеческих судеб, но все же для каждого из этих этапов характерно иное восприятие мира, часто существенно отличное, иное решение нравственных и общественных проблем. Разумеется, есть различия и в художественной манере, стиле и языке, во всем арсенале художественных средств, выборе метафор, в общей тональности произведения, их колорите, мрачном или просветленном, в атмосфере, бодрой или подавленной, в самой фактуре письма, свободного или строгого.

В первый период, когда писатель был одинаково увлечен движением «Молодая Босния»¹ и датским философом Кьеркегором с его поисками абсолютного, болезненно эмоциональное восприятие жизни сопрягалось в нем со страстным желанием гармонии. Вера в существование этой гармонии, грусть оттого, что ее не

¹ «Молодая Босния» — революционная террористическая организация боснийской молодежи, ставившая задачей освобождение страны от австрийской оккупации. После убийства эрцгерцога Фердинанда членом организации Гаврило Принципом многие его сподвижники и единомышленники, в том числе и Андрич, были подвергнуты репрессиям. 1914—1917 гг. Андрич провел в тюрьме и ссылке.

так просто отыскать в жизни, отразились в ранних стихотворениях Андрича и позднее в поэтической прозе «Ех Ронто» (1918) и «Смятения» (1919). Юношеская эйфория и ужас перед безднами жизни, который, вероятно, усиливала и тюремная атмосфера подавленности, наложили печать высокого страдания на первые произведения Андрича. И язык их, и стиль полностью соответствуют этому болезненному настроению; это бурные, неуправляемые стоны, громкий плач... Никогда больше в творчестве Андрича мы не встретимся с таким языком и таким стилем. (Со временем стиль Андрича будет становиться все строже, сдержаннее, лаконичнее, афористичнее, прозрачнее, сгущеннее и, наконец, станет аскетически функциональным, немилосердно суровым, и просто удивительно, каким образом писатель добивается при этом такой впечатляющей силы, как в «Проклятом дворе», например.)

В первых же своих рассказах, написанных после первой мировой войны, Андрич навсегда и решительно порвал с лирикой «Ех Ронто», с непосредственным плачем над ужасами и несправедливостью жизни, хотя опыт остался, страдания не забылись.

Вместо болезненной тоски по абсолютному Андричем овладевает трагическая мысль о могущественности зла. Зло и в самом человеке, и вокруг него, все против человека: и тайный рок крови, и другие люди, и судьба.

Нелегко и, возможно, ненужно отвечать на вопрос, почему Андрич обратился к прошлому. Во всяком случае, не следует объяснять это словами Андрича из юношески-романтического «Ех Ронто», что это якобы поиски тайны, которая скрыта в «благословенном наследии дедов, заложивших свои простые и могучие добродетели в основание наших душ». Некритическая постановка знака равенства между двумя различными периодами жизни писателя приводит к весьма нелогичным выводам. В чем, собственно, заключается это благословенное наследие дедов? В чем их добродетели? В дурной крови? В сексуальных комплексах? В темном прошлом? В ненависти, которой они отравляют собственную жизнь? В злобе, коварстве, мошенничестве? Нет, это не благословенное, а скорее проклятое наследие дедов, извращенные патологические черты, которые унаследованы в какой-то мере и нами.

Андрич своих героев встречает на улице, на постоялом дворе, в общественных местах, где они проявляют свой нрав, редко когда мягкий и заурядный. Семейной жизни у Андрича не существует, говорит Исидора Секулч¹, так как «на старом исламском Востоке она в большинстве случаев недоступна. Если кто-то и входит в

¹ Исидора Секулч (1877—1958) — видная сербская писательница и критик.

дом, он должен оставить глаза и уши за порогом вместе с обувью». Сказано хорошо, но недостаточно убедительно. У Андрича просто не было стремления изображать семейные и интимные сцены. Семья — это все-таки какой-то порядок, покой, норма, а Андрича волнует (или, если хотите, не может не волновать) смятение человеческих душ, их изломанность, отягощенность комплексами. Ведь в этом аду возможна одна семья — вконец деградировавшая и нравственно и физически.

Об андричевском восприятии мира двадцатых — тридцатых годов лучше всего говорят портреты его персонажей. Они намеренно деформированы и потому особенно впечатляющи. Деформация — художественный прием, противоположный дагерротипу! произвольный, свободный выбор масштаба, места, ракурса; это скорее идея образа, чем самый образ. То, что мы называем объективно-реалистическим способом письма, спокойным, неспешным, до педантичности подробным, со множеством деталей, у Андрича в этот период выполняет, так сказать, роль мимикрии, имеющей целью постепенное введение читателя в привычную атмосферу будничной жизни, чтобы вслед за тем совершить внезапный скачок, неожиданный прорыв в мистирию непостижимой человеческой души. И вот тогда (и это истинный Андрич), в лавине блестящих портретных деталей, ужасающих и ошеломляющих, в этой теснине, в которой волею писателя мы вдруг оказываемся, нас ожидает встреча с почти демонической мощью художественного потрясения: словно ястреб, Андрич вдруг перестает мирно кружить вокруг цели, на которой остановился его взгляд, и с молниеносной быстротой обрушивается на нее. К нашему удивлению, стремительный ритм смены света, красок, карточек метких впечатляющих оценок, когда у зачарованного читателя спирает дыхание, также внезапно сходит на нет, словно все это было чистой случайностью — гром грянул с чистого неба, вызвал напрасный переполох, и горизонт опять спокоен и светел. Но забыть раскатов грома уже невозможно.

И как герои первых прозаических произведений Андрича скорее идеи героев, чем образы реальных людей, так и его картина мира весьма далека от фактографической. Пришел ли Андрич к убеждению, что мир суров, жесток и труднообъясним в юности, и обратился к истории, стремясь убежать от бессмысленности тогдашней действительности, хотя и в прошлом нашей тот же хаос и отсутствие смысла, — сказать нелегко. Думаю, что, вероятнее всего, он понял, как медленно меняется жизнь (а в чем-то и вовсе не меняется), что лишь столетия приносят перемены (да и те не всегда к лучшему), что восприятие жизни не зависит от времени, когда мы ее наблюдаем: зло — его вечная суть. Поэтому

безразлично, о каком времени писать, важно писать о жизни, вечной и неизменной.

Уже в первом рассказе «Путь Алии Джерзелеза» (1919) важнейшим его мотивом является трагизм человеческой жизни. Джерзелез захвачен мыслью о женщинах — в сущности, жадной недостижимого, к которому он «всю свою жизнь протягивает руки, как во сне», тоскующий, смешной, испытывающий мучительное чувство неосуществленности, человек, для которого нет на земле места отдохновения, который живет только в движении.

Потеряв веру в абсолютное, веру в смысл жизни, в бога, смиряющего душу, под неведомо каким влиянием, в силу кто знает какого опыта и разочарования, Андрич приходит к мучительной идее, что зло всюду. «Мир полон сволочей!» — и вслух и про себя твердит Мустафа Мадьяр («Мустафа Мадьяр», 1923), и трудно сказать, какое из вызываемых им чувств сильнее — негодование или жалость. Мустафа с одинаковым страхом и отвращением думает о сне и бессоннице, он задыхается от невыносимой тоски и ужаса перед бессмысленностью и непостижимостью и собственной, и окружающей его жизни. Зло сидит и в священнике Вуядине («Времена Аники», 1931), оно мучает и подтачивает его, пока эта двойная жизнь священника и сладострастника не завершается безумием. Михаило Чужак живет как во сне, действует бессознательно, над ним навис злой рок, он совершает то, против чего нравственность его протестует, а сознание не в силах объяснить. Его поступки продиктованы инстинктом, подсознанием, он способствует убийству неосознанно, вопреки внутреннему моральному кодексу, под давлением непостижимого инстинктивного импульса. Крстинаца вся под знаком зла, она смотрит «своим звериным взглядом, исполненным неведомых и страшных угроз — от них надо бежать, хоть скрыться от них совсем невозможно». Зло и в красавице Анике, она сеет его вокруг себя. Однако в то же время все эти персонажи глубоко несчастны, потому что зло — это несчастье, в котором люди не виноваты. Виноват рок, который они унаследовали от предков вместе с кровью, который следует за ними по пятам, который становится их судьбой.

Все здесь написано густыми красками, полно теней и предзнаменований, подспудных, подсознательных токов мысли, а в безукоризненно точной композиционной структуре часты трагические символы. Ужасающую жестокость людей, мрачные тайны человеческих судеб мы встретим во многих рассказах Иво Андрича двадцатых — тридцатых годов. Жизненный опыт писателя тяжел и горек. Большинство его персонажей этих лет живут в «чувственной лихорадке», это «приговоренные судьбой», трагические, хотя и невинные жертвы «дурной крови», только более сложные

и страшные, чем у Боры Станковича¹. Свой рок они воспринимают как опасность для других, как проклятие и наказание для себя. Священник Вуядин Порубович, Аника, Михаило Чужак, Лале Крноелац, Крстиница, Тияна и Коста Грк, Якша Порубович («Времена Аники»), Велиудин-паша, все Памуковичи («Наложница Мара», 1926), Чоркан («Чоркан и швабочка», 1921), Мустафа Мадьяр и многие другие — это длинная вереница, в сущности, несчастных людей, выбитых из жизненной колеи, отягощенных и потугленных дурной кровью или чужим преступлением, расплачивающихся и за свой рок и за чужой, за свою и, возможно, чужую давнюю вину. Однако даже в ту пору у Андрича окончательно не решен спор добра и зла, борьба идет и в мире, и в нем самом. Иногда Андрич освобождается из-под власти идеи о роковом проклятии, нависшем над людьми, особенно это заметно в рассказах, пронизанных народным духом, здоровой народной мудростью, добродушной усмешкой над бедами жизни, безграничной человеческой добротой («В мусафирхане», 1923; «В темнице», 1924; «Исповедь», 1928, и др.).

Защиту от жизненного зла, от гибели и смерти Андрич видит в природе и великих творениях рук человеческих. В рассказе «Рзавские берега» (1924) высказана восточная сентенция о том, что мир сильнее и важнее отдельного человека, что природа — единственная постоянная величина в тревожно переменчивой жизни. «С незапамятных времен жизнь на Рзаве проходила в здоровой монотонности, и по закостеневшим формам казалось, что ничто не изменяется и ничто не умирает, настолько новая пшеница походила на старую и покойный — на новорожденного». Творчество, созидание защищает от распада и умирания, оно превосходит короткий человеческий век, как мост на Жепе, как всякое благое и прекрасное творение рук человеческих. И все-таки этот период отмечен чувством страдания, отращения к жизни и страха перед ней. Этот переплет ощущений создал, возможно, самые сильные новеллы в нашей литературе...

Бессмыслию жизни и ее эфемерности противостоит только искусство. Как Аска («Аска и волк», 1953) спасает себя своим танцем от зубов волка, так художник отдалает смерть своим художественным творением. Но это поистине новое творение, а не воспроизведение сущего: «Мы создаем формы, как некая иная природа... и оставляем их во всем их таинственном значении взглядам будущих поколений». Кроме того, художник изменяет

¹ Борисав Станкович (1875—1927) — крупный сербский писатель, автор известного романа «Дурная кровь» (1910). На русском языке — «ИХЛ», 1961, 1973.

и усиливает линии и формы: «Это не преувеличение, не ложь и не меняет, по существу, изображаемый феномен, но живет подле него, как неприметный, но постоянный знак и доказательство того, что создание это вторичное и ему предстоит более длительная и значительная жизнь» («Разговор с Гойей», 1935).

Однако способ, которым Андрич создает новые формы, состоит не только в том, что он обнаруживает новые краски и нюансы, находит новые углы зрения и новые отношения и соразмерности между людьми и предметами, он видит далекое отражение жизненных явлений, их резонанс, новое и более широкое их значение, принцип общности, который он неожиданно открывает в единичном. С чего бы он ни начал, пусть с самой мелкой детали, мысль его внезапно получает размах, разветвляется, перерастает скромное значение первоначального повода, приобретает общий характер, связь с большим миром, хоть и возникает она на убогой боснийской тропе: «У начала всех троп и дорог, в основе самой мысли о них стоит глубоко и навечно вбитая тропа, по которой я впервые начал свободно ходить...» («Тропы», 1940). На тех вышegradских тропах, которые «метет ветер и моет дождь, а солнце лечит и кадечит, на которых можно встретить лишь измученную скотину и молчаливых, суровых людей, родилась у меня мысль о богатстве и красоте мира. Здесь я, невежественный и слабый, с пустыми руками, был счастлив хмельным счастьем, счастлив до бесчувствия от всего того, чего здесь нет, не может быть и никогда не будет». На этих родных тропах, «где все сухо и горестно, где нет красоты, нет радости, нет надежды на радость, нет права на надежду», он был без всякой причины счастлив, хотя убогий родной край никак не мог быть основой счастья.

В своем «Письме, датированном 1920 годом» (1948), например, Андрич говорит о ненависти в Боснии. Но разве только в Боснии есть ненависть? Разве только в Боснии часы бьют разное время? Разве только Босния земля страха? Да, в Боснии все это есть, и Андрич впечатляюще это показывает. Писатель особенно привержен к Боснии, он любит ее, ему тяжело видеть то, что есть, ему хотелось бы, чтобы было больше любви между людьми. И тем не менее именно в родной Боснии он видит феномен ненависти. Это одно из тех редких произведений, в которых писатель тему, связанную с Боснией, и сюжетно выводит в большой мир. Как заканчивается «Письмо, датированное 1920 годом»? Макс Левенфельд, не выдержав обстановки всеобщей ненависти, бежит из Боснии в Триест, а оттуда в 1938 году в республиканскую армию, в Испанию. «Среди бела дня на его госпиталь был совершен воздушный налет, и он погиб почти со всеми своими ранеными. Так окончил свои дни человек, бежавший от ненависти», Горький смысл

последней фразы Андрича ясен: Левенфельд бежал от ненависти в Боснии в большой мир и там погиб от другой, еще более тяжелой ненависти. Погиб вместе со своими ранеными, и для них не было милости: бомбили среди бела дня, мысль о недоразумении отпадает.

Творчество Андрича во время второй мировой войны и непосредственно после нее характеризуется в основном бодрой и активной направленностью, разумеется своеобразной: для Андрича литературное творчество всегда сложная и нисколько не односторонняя деятельность. Роман «Мост на Дрине» (1945) говорит о пяти веках жизни народа, в которой беды и страдания, смерти и несчастья неизбывны, но жизнь вечна. Мост на Дрине превратился в могучий символ, соединяющий в себе этические и эстетические ценности: произведение искусства стало наивысшим благом. Оно стало символом долговременности и даже вечности. Возникший в результате сознательного художественного акта мост, появляясь в конце каждой главы, выполняет роль главного аккорда, лейтмотива, идейного стержня происходящих событий.

«Основной же смысл его существования заключался, казалось, в его постоянстве... В чередѣ перемен и стремительно отцветающих людских поколений он оставался неизменным, подобно реке, текущей под ним. Старел, конечно, и мост, но по меркам временной шкалы, настолько раздвинутой в своих границах по сравнению не только с человеческим веком, но и с продолжительностью жизни целого ряда поколений, что это старение невозможно было ощутить на глаз. Его век, хотя мост сам по себе и был смертен, представлялся беспредельным, потому что конец его не был виден».

Мост учит: умирают люди, но жизнь продолжается: «Так в воротах, между небом, рекой и горами, поколение за поколением учились не очень горевать о том, что уносит мутная вода. Здесь они впитывали в себя неосознанную философию города: жизнь — необъяснимое чудо, ибо, уходя и отцветая, она все же остается, нерушима и стойка, «как на Дрине мост».

Мост — образ и символ величайшего человеческого деяния, прекрасного пользой, которую он приносит людям.

«А мост и дальше стоял такой же, как прежде, сверкая вечной юностью совершенного замысла и величественных, благих творений человеческих рук, не ведающих старости и перемен и не подверженных, казалось, судьбе преходящих явлений этого мира».

Таким образом, «вечный и вечно неизменный мост», прекрасный символ великих и благородных людских творений, продолжает существование, а все прочее, и зло в том числе, проходит и исчезает.

И остается еще память о страданиях людей и их героизме, память о Радисаве, и на колу проклинающем и поносящем своих мучителей.

Светом и бодростью исполнены и мысли мусульманского доморощенного философа Али-хаджи, на глазах которого австрийские оккупанты мипируют пять веков простоявший мост. Этими словами кончается роман: «Но, однако, если рушат здесь, то ведь где-то, надо полагать, должны и возводить. Ведь есть же, надо думать, где-нибудь на свете края и люди с головой, которые помнят бога. И если отвернулся господь от горемычного города на Дрине, то, наверное, все же не от всей земной юдоли, что простерлась под небом? Но и этим не вечно здесь оставаться. Впрочем, как знать?.. Может быть, эта поганая вера, которая все перedefелывает, чистит, перестраивает и обновляет, чтоб потом все разом поглотить и разрушить, — может быть, она захватит всю землю и превратит весь божий свет в пустыню для своего бессмысленного строительства и варварского разрушения, выпас для утоления своего ненасытного голода и непонятных притязаний? Все может быть. Одного только не может быть, не может быть, чтобы на свете перевелись и вымерли великие и мудрые, наделенные душевной щедростью мужи, возводящие во имя божье вечные постройки для украшения земли и облегчения жизни человеческой. Если бы не стало их, исчезла бы, угасла и божья милость в мире. А этого не может быть».

Таким образом, «Мост на Дрине» заканчивается верой в победу гуманизма, в победу благородных побуждений, которым, как и мосту на Дрине, суждена долгая жизнь и которые сделают землю краше, а жизнь на ней легче. В этой вере есть и чисто практические, ближайшие цели, о них говорит своей невесте Никола Гласинчанин, отправляясь в 1914 году на войну и надеясь обрести для своей родины свободу от многовекового национального гнета — сначала оттоманского, а затем австрийского: «Если же мы выберемся из этой кутерьмы живыми и завоюем свободу, может быть, и не потребуется вовсе уезжать за океан в какую-то Америку...»

Оптимизм этот присутствует и в «Травницкой хронике» (1945). В конце романа Давиль, покидая маленький тесный Травник, приводит в порядок свои пожелтевшие бумаги, и эту «машинальную» работу сопровождала, как навязчивая мелодия, неопределенная, но настойчивая мысль: должен же где-то быть этот «настоящий путь», на поиски которого он потратил всю свою жизнь; когда-нибудь человек найдет этот путь и укажет всем. Он сам не знал — как, когда и где, но его обязательно найдут либо его дети, либо

его внуки, либо его еще более далекие потомки. Эта неслышная внутренняя мелодия облегчала ему работу».

«Иллирийский» доктор Колошня рассказывает Дефоссе о тяжелой судьбе боснийцев, живущих на рубеже двух миров. «Это жертвы фатального разделения человечества на христиан и нехристиан, вечные толмачи и посредники, однако души их самих полны неясного и недоговоренного; прекрасные знатоки Востока и Запада, их обычаев и верований, но одинаково презираемые и подозреваемые обеими сторонами... Вот каковы эти люди. Это небольшое, обособленное человеческое племя, которое погрязло в двойном грехе Востока и которое надо еще раз спасти и искупить, только никому не известно, кто это сделает и как. Это люди, стоящие на границе, духовной и физической, на той черной и кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы...»

Эти андричевские слова многозначны, ибо говорят не только о разделении на христианский и нехристианский миры, но и о более широком разделении всего мира на враждебные лагеря. В раздумьях Колошны между тем видна надежда, что роковые границы исчезнут и человечество станет единым, так как «в конечном счете все хорошо и все разрешается гармонично. Хотя здесь, разумеется, и выглядит порой нелепым и безнадежно запутанным. «Un jour tout sera bien, voila notre esperance»¹, — как сказал ваш философ. Неужели моя мысль, точная и верная, стоит меньше, чем та же мысль, родившаяся в Риме или в Париже? И только потому, что она родилась в дыре, называемой Травником? И неужели справедливо, что эта мысль нигде не отмечена, ни в какой книге? Конечно, нет. Несмотря на кажущиеся сбивчивость и беспорядочность, все связано и стройно. Ни одна человеческая мысль, ни одно душевное усилие не пропадают. Мы все на правильном пути и удивимся, когда встретимся. А мы встретимся и пойдем друг друга, куда бы мы теперь ни шли и сколько бы ни блуждали. Это будет радостная встреча, прекрасная и спасительная».

Этой чудесной, глубоко гуманной утопической надеждой на исчезновение границ между людьми проникнут почти весь третий этап творчества Андрича, падающий на время второй мировой войны и после нее.

На первом послевоенном собрании Сербской академии наук 24 января 1946 года президент Академии Александр Белич объявил

¹ «В один прекрасный день все устроится, в этом наша надежда» (франц.).

о присвоении звания действительных членов Академии наук Велько Петровичу¹ и Иво Андричу. По этому случаю Велько Петрович прочитал свое стихотворение «Мысль» и поэтический очерк «Гуслиар у Мильтона», а Иво Андрич — эссе о «Вуке как писателе».

Говоря о Вуке², не упоминая, естественно, о себе, Андрич, в сущности, высказал мысли о литературе, которые имеют отношение не только к Вуку, но и к нему, Андричу, которые являются его литературным кредо. Главная цель и предмет исследования как Вука, так и его, Андрича, — действительная жизнь народа и живого человека в ней, а основные средства — разум и правда. Писатели — свидетели, а слова — свидетельства. Подлинный писатель изображает реальную страну и людей из плоти и крови. Реалистическая, народная и гуманистическая направленность, сформулированная в эссе о Вуке, полностью соответствует всей творческой продукции Андрича военного и во многом послевоенного периода.

Той же бодростью и оптимизмом дышит и доклад Андрича об уставе Союза писателей, который он прочитал на первом, организационном съезде писателей в конце 1946 года. Стремясь оживить сухую материю параграфов и выжать из общих деклараций максимум смысла, Андрич сказал тогда, что устав должен отразить «нашу любовь к нашему делу и нашу связь с живой жизнью своего времени и своего народа».

Четвертый период — это в основном «Проклятый двор» (1954), где Андрич мастерски разработал мысль Колоньи из «Травницкой хроники» о трагедии разобщенных миров. Абстрактная, утопическая, гуманистическая в основе своей идея Колоньи воплощена здесь в конкретном образе султана Джема и его трагической судьбе. «Проклятый двор» — это злосчастное пространство между двумя стоящими лицом к лицу, исключаящими друг друга способами жизни и мышления. «Это то рабство, от которого нет спасения и после смерти». И каждый из нас мог бы признать «открыто и гордо, что он — то же, что и султан Джем, то есть несчастный человек, который, попав в безвыходное положение, не желает и не может отречься от себя и не быть тем, что он есть». А возможно, это прежде всего человек, думающий как Чамиль, духовно распятый между двумя непримиримыми мирами,

¹ Велько Петрович (1864—1967) — крупный сербский писатель.

² Вук Стефанович Караджич (1787—1864) — выдающийся сербский филолог, историк, этнограф, фольклорист, деятель сербского национального возрождения.

отравленный и тем и другим, отвергнутый и тем и другим, и сам их отвергнувший, несчастный из-за того, что распят, и слишком гордый, чтобы отречься от себя...

Андрич — правдивый свидетель, а его слова — прекрасное свидетельство духовной и нравственной истории нашей страны, нашего стремления к жизни без зла, наших поисков правильного пути. Связанные с живой жизнью своего времени и своего народа, романы и рассказы Андрича сверкают «вечной юностью совершенного замысла и величественных, благих творений человеческих рук, не ведающих старости и перемен и не подверженных судьбе преходящих явлений этого мира». Ибо произведения Андрича — такое же благое и прекрасное творение, как «на Дрине мост».

Меша Селимович

МОСТ на жепе



МОСТ НА ЖЕПЕ

На четвертом году своего правления великий визирь Юсуф сделал неверный шаг и, став жертвой коварных интриг, внезапно впал в немилость. Борьба длилась всю зиму и весну. (В этот год хмурая, холодная весна надолго задержала приход лета.) А в мае великий визирь Юсуф с триумфом вернулся из заточения. И снова потекли полные великолепия мирные и однообразные дни. Но месяцы зимней опалы, когда жизнь от смерти и славу от поражения отделяла черта тоньше, чем лезвие кинжала, оставили еле заметный налет грусти и задумчивости на облике визиря-победителя. В нем появилось нечто неизъяснимое, то, что умудренные опытом и много страдавшие люди таят в себе как сокровище, лишь нечаянно обнаруживая его во взглядах, движениях и словах.

В заточении, одиночестве и немилости визирю как-то живее рисовался отчий дом и родной край. Разочарования и боль всегда обращают мысли к прошлому. Он вспомнил отца и мать. (Оба они умерли еще в далекие времена, когда их сын был скромным помощником смотрителя конюшен султана; он тогда распорядился облицевать их могилы белым камнем и воздвигнуть надгробия.) Вспомнил милую Боснию и село Жепу, откуда его увезли девятилетним мальчиком.

В постигшем его несчастье визирю отрадно было думать о том далеком уголке земли и разбросанном над рекой селе, где в каждом доме жили легенды о его славе и успехах в Стамбуле и где никто не подозревал ни об изнанке славы, ни о цене, которой оплачивается успех.

В то же лето великому визирю представился случай поговорить с людьми, приехавшими из Боснии. Визирь

расспрашивал, ему отвечали. После бунтов и войн Боснию терзали беспорядки, запустение, болезни и голод. Визирь отправил знатные дары всем своим сородичам, сколько их еще уцелело в Жепе, и приказал выяснить, в каких постройках испытывают они наиболее острую нужду. Великому визирю вскоре доложили, что в Жепе еще есть четыре дома Шеткичей и что это самые крепкие дома на селе, а вообще край совсем обеднел, мечеть обветшала и обгорела, источник пересох, а всего хуже, что пет моста через речку Жепу. Село раскинулось на берегу у самого слияния Жепы с Дриной, и единственная дорога в Вышеград проложена через Жепу в пятидесяти шагах выше устья. Сколько уж раз наводили крестьяне деревянный мост, но вода неизменно сносила его. То неожиданно и быстро, как все горные реки, вздуется Жепа и подмоет столбы и опрокинет настил; то поднимется Дрина и запрет прибывшие воды Жепы в устье, и они поднимут и смоят мост, будто его не было и в помине. Зимой одолевает гололед, а в гололед на бревнах суцая гибель и людям и скоту. Вот если бы кто-нибудь возвел здесь мост, так уж действительно сотворил бы благое дело.

Визирь пожертвовал шесть ковров для мечети и выделил необходимую сумму денег для постройки трехструйного источника перед мечетью. Кроме того, визирь решил возвести мост на Жепе.

В Стамбуле проживал в ту пору один итальянец, зодчий, который прославился мостами, сооруженными им в окрестностях столицы. Его-то и нанял казначей визиря и послал с двумя придворными в Боснию.

В Вышеград они прибыли еще до снега. В течение нескольких дней жители Вышеграда, дивясь, наблюдали за тем, как согбенный и седоволосый зодчий, однако румяный и моложавый лицом, лазил по огромному каменному мосту, что-то выстукивал, разминал пальцами кусочки штукатурки, пробовал их на язык и вымерял шагами длину пролетов. Затем зодчий отбыл на непродолжительное время в Баню, где находились карьеры известкового туфа, который брали на постройку Вышеградского моста. Зодчий разыскал входы в заброшенные карьеры, засыпанные землей, поросшие кустарником и сосняком. Землю копали до тех пор, пока не наткнулись на толстый и широкий пласт камня, еще более белого и крепкого, чем тот, из которого был возведен Вышеградский мост. После этого зодчий спустился вниз по Дрине до Жепы и определил

место, где надо построить причал для выгрузки камня. Тогда один из доверенных лиц визиря, сопровождавших зодчего, вернулся обратно в Стамбул с расчетами и чертежами.

Зодчий остался дожидаться решения визиря, но не захотел жить ни в Вышеграде, ни в одном из православных домов над Жепой. На высоком мысу, образованном слиянием Дрины и Жепы, зодчий сколотил себе бревенчатую избу — второй доверенный визиря и писарь из Вышеграда служили ему переводчиками — и поселился в ней. Пищу зодчий готовил себе сам. Он покупал у крестьян яйца, каймак, лук и сухие фрукты. А мяса, говорят, не покупал вовсе. Целыми днями он тесал камень, чертил, испытывал разные сорта известкового туфа или изучал течение реки.

Вскоре подросел чиновник из Стамбула с одобрением визиря и первой третью денег, необходимых для постройки моста.

Началась работа. Народ не мог надивиться чудесному сооружению, возникавшему у него на глазах. Его и мостом-то нельзя было назвать. Прежде всего, наискосок через реку были вбиты мощные сосновые сваи, а между ними двойной ряд кольев, переплетенных прутьями, и образовавшееся таким образом некое подобие траншеи заполнили глиной. Реку повернули, и одна половина русла стала сухой.

Работа по перекрытию русла близилась к концу, как вдруг в один прекрасный день, после ливня, разразившегося где-то в горах, вода в Жепе помутнела и вспенилась. В ту же ночь река прорвала посередине почти готовую плотину. Наутро вода спала, и река снова утихла, но плотина была покорежена, колья выдраны из грунта, а сваи подмыты. Среди рабочих и в народе пронесся слух: не потерпит Жепа на себе моста. Но уже на третий день зодчий приказал снова забивать сваи, только еще глубже, и восстанавливать разрушенную плотину. И опять каменистое русло реки огласили крики рабочих и равномерные удары баб, забивающих сваи.

Когда привезли камень из Бани и закончились подготовительные работы, из Герцеговины и Далмации прибыли каменщики и строители. Для них построили временки, и, сидя у порога, они с утра до ночи обтесывали камень, белые от пыли, как мельники. А зодчий прохаживался между ними, поминутно обмеряя каменные плиты желтым жестяным треугольником и свинцовым отвесом на

веленом шнурке. И вот уже по ту и по эту сторону реки строители врубались в каменные обрывистые берега. Но тут вышли деньги. Рабочие роптали, в народе заговорили о том, что из всей этой затеи с мостом ничего не выйдет. Какие-то люди, приехавшие из Стамбула, пустили слух, что визиря будто подменили. То ли болезнь тому причиной, то ли заботы — никто не знал, только визирь все больше замыкался в себе и забросил даже те работы, которые начаты им в самом Стамбуле. Однако через несколько дней прибыл посланец визиря с деньгами, и строительство возобновилось.

За пятнадцать дней до димитрова дня люди, переходившие Жепу по деревянному мосту чуть выше строительства, в первый раз заметили, что с обеих сторон реки от темно-серых сланцевых скал отходит белая и гладкая стена из тесаного камня, оплетенная, как паутиной, лесами. С тех пор стена с каждым днем вырастала. Но тут ударили ранние морозы, и работы приостановились. Строители разошлись по домам; зодчий же остался зимовать в своей избушке, из которой почти никуда не отлучался, корпел все дни напролет над своими чертежами и расчетами. И только наведывался на строительство. Весной, когда треснул лед, зодчий по нескольку раз в день, озабоченный, обходил леса и насыпи. А иной раз и ночью с фонарем в руках.

Рабочие возвратились еще до георгиева дня, и снова начались работы. А точно к середине лета строительство было завершено. Рабочие весело разбирали леса. И вот из сети свай и балок возник мост — строгий, белый, изогнутой аркой перекинувшийся через реку.

Самая прихотливая фантазия не могла представить себе, что в этом диком и разоренном захолустье появится такое чудесное сооружение. Казалось, берега реки бросили друг другу навстречу вспененные струи воды и, соединив их в арку, на единый миг застыли над пропастью, паря в воздухе. В просвете реки синела вдали Дрина, а глубоко внизу бешено пенилась укрощенная Жепа. Взор не мог налюбоваться гармонией продуманных и легких выгнутых линий, казалось бы, нечаянно зацепившихся в полете за острые мрачные скалы, обвитые ломоносом и виноградом, и при первом же дуновении ветерка грозивших вспорхнуть и исчезнуть.

И повалил народ из окрестных сел смотреть мост. Из Вышеграда и Рогатиц приезжали горожане и, востор-

гаясь мостом, досадовали, что этакий красавец будет украшать собою чертову глушь, а не их родной городишко.

— Что ж, родите своего визиря, — отвечали им жители Жепы и хлопали по каменному парапету, края которого были также ровные и четкие, что казались вырезанными из сыра, а не высеченными из камня.

Не успели первые восхищенные путники перейти мост, как зодчий уж рассчитался с рабочими, увязал и погрузил сундуки, набитые приборами и бумагами, и вместе с доверенными лицами визиря тронулся в Стамбул.

Тогда только по городкам и селам заговорили о нем. Цыган Селим, перевозивший на своей лошади вещи зодчего из Вышеграда и единственный человек, заходивший в его избушку, сидел то в одной лавке, то в другой, бог знает в который раз пересказывая все, что он знал о чужеземце.

— А все же я так понимаю, не такой он человек, как другие. Зимой, как работы свернули, бывало, я к нему дён по пятнадцать не заглядываю. Приду, а у него все нетронуто стоит, как я оставил. В избе стужа лютая, а он сидит себе, медвежью шапку нахлобучил, замотанный весь аж до горла, только руки торчат, синие от холода, а он знай себе камень точит да все пипет чего-то. Точит да пипет. Открою, бывало, дверь, а он на меня зыркнет своими зелеными глазищами, брови насупит, вот-вот сожрет тебя. А сам ни гугу, не пикнет. Я такого сроду не видывал. И вот, милые вы мои, промучился он этак полтора, почитай, года, а как закончил стройку, двинулся в Стамбул. Переправили мы его на пароме на тот берег, и затрусил он, покачиваясь в седле: хоть бы разочек на нас взглянул или на мост! Нет.

Лавочники наперебой расспрашивали цыгана про зодчего и про его жите-бытье и, все больше поражаясь, не могли нагореваться, что не догадались присмотреться к этакому чудаку, когда он расхаживал по вышеградским улицам.

Между тем зодчий продолжал свой путь, но в двух перегонах от Стамбула заболел чумой. В сильном жару, едва держась в седле, он добрался до города и сразу свернул в больницу итальянских францисканцев. А через сутки в тот же самый час скончался на руках одного из монахов.

Утром следующего дня визиря известили о смерти зодчего и передали ему расчеты и чертежи моста. Зодчий получил только четверть положенного ему вознаграждения. Он не оставил после себя ни долгов, ни имущества, ни завещания, ни наследников. После долгих размышлений визирь распорядился одну часть денег покойного отдать больнице, а две оставшиеся — пожертвовать приюту на хлеб и похлебку.

Как раз в то время, когда визирь отдавал последние приказания относительно денег покойного зодчего, — это было тихим утром на исходе лета, — ему подали прошение молодого образованного стамбульского вероучителя, из Боснии родом, сочинявшего необычайно складные стихи и пользовавшегося от случая к случаю высоким покровительством и щедрыми подарками визиря. Вероучитель писал, что до него донесся слух о мосте, воздвигнутом по повелению визиря в Боснии, и он надеется, что на этом мосту, как и на всяком общественном сооружении, будет сделана надпись, дабы все могли знать, когда и кем он построен. Вероучитель предлагал великому визирю свои услуги и просил удостоить его чести принять хронограмму, при сем приложенную и составленную им с великим трудом. На плотном листе бумаги была старательно выведена хронограмма с красными и золотыми заглавными буквами:

Когда Добрая Власть и Благородное Искусство
Протягивают руки друг другу,
Рождается такой прекрасный мост
На радость подданным и во славу Юсуфа
Во веки веков.

Внизу стояло изображение печати визиря в овале, поделенном на два неровных поля: на большем было начертано: «Юсуф Ибрахим, преданный раб божий», а на малом — девиз визиря: «В молчании — надежность».

Долго сидел визирь над этим прошением, опершись одной рукой на листок, а другой — на расчеты и эскизы зодчего. Последнее время прошения и письма все чаще повергали визиря в глубокую задумчивость.

Летом минуло два года со времени опалы и заточения визиря. Первые месяцы после возвращения к власти визирь не замечал в себе никаких перемен. Он достиг расцвета сил, когда полнее всего ощущается бесценная сладость жизни; он победил всех своих врагов и был могущественнее, чем когда-либо прежде; глубиной своего

псдавнего падения Юсуф мог измерить теперь высоту своего величия. Но чем дальше, тем настойчивее тревожил визирия призрак темницы. И если порой ему удавалось отогнать черные мысли, то обуздать сны было не в его власти. Долгими ночами визирия мучили кошмары заточения и тенью неосознанного ужаса преследовали его наяву, отравляя дни.

Великий визирь стал как-то чувствительнее к окружающим его вещам. Вещи, которых раньше он не замечал, теперь раздражали его. Он приказал заменить весь бархат в своем дворце светлым сукном, которое было гладко и мягко на ощупь и не скрипело под рукой. Он возненавидел перламутр, ибо в его воображении перламутр олицетворял холод пустоты и одиночества. При одном взгляде или прикосновении к перламутру у визирия стыли зубы, а по коже пробегали мурашки. Вся мебель и оружие, инкрустированные перламутром, были удалены из его покоев.

Юсуф начал ко всему относиться со скрытым, но глубоким недоверием. С некоторых пор в душу его закралась страшная мысль: любой поступок человека и любое его слово *могут* принести ему зло. И этой потенциальной возможностью зла стало веять от всего, что Юсуф слышал, видел, говорил или думал. Визирь-победитель ощутил страх перед жизнью. Так незаметно для самого себя он вступал в то состояние, которое является первой фазой умирания, когда человека больше занимают тени вещей, нежели сами вещи.

Этот недуг, прочно угнездившись в нем, разъедал ум и сердце визирия, и не было никого, кому он мог довериться и признанием облегчить свою душу. Когда же, закончив свою разрушительную работу, пагубная отравка обнаружит себя, то и тогда о ней никто не узнает, и люди просто скажут: смерть. Никто ведь и не подозревает, сколько великих и сильных мира сего неслышно носят в себе невидимую для глаз, но неотвратимую смерть.

В то утро после бессонной ночи визирь, как обычно, чувствовал себя усталым, но был спокоен и сосредоточен; веки его налились тяжестью, а лицо как бы сковала утренняя свежесть. Визирь думал об умершем зодчем-чужестранце и о тех бедняках, которые будут есть заработанный им хлеб. Он думал о мрачной горной Боснии (воображение всегда рисовало ему Боснию в мрачных тонах!), где даже священный свет ислама бессилён рассеять

мрак, где угрюмый нищий люд прозябал в темноте и невежестве. И сколько же таких заброшенных уголков на этом свете? Сколько бешеных рек без мостов и брода? Сколько поселений без питьевой воды и мечетей без радости и красоты?

И перед внутренним взором великого визиря вставал мир, до краев наполненный беспредельной нуждой и страхом, разнообразным и многоликим.

Солнечные зайчики прыгали по зеленой черепице на крыше садовой беседки. Взгляд визиря упал на стихи вероучителя; он поднял руку и дважды их перечеркнул. Помедлив, перечеркнул и правое поле своей печати, где было начертано его имя. Остался девиз: «В молчании — надежность». Некоторое время Юсуф колебался, но потом поднял руку и решительно перечеркнул девиз.

Так мост остался безымянным.

Там, в далекой Боснии, он по-прежнему сверкал на солнце, мерцал в неверном свете луны и перебрасывал людей и скот с одного берега на другой. Постепенно сровнялся с местностью круг разрыхленной земли и строительного мусора, неизменно возникающий около новостройки; народ растащил и вода унесла обломки лесов и досок, а дожди смыли следы работы каменщиков. Но природа так и не приняла этот мост, так же, как и он не мог слиться с природой. Со стороны белоснежная, смело выгнутая арка казалась путнику одинокой и чуждой всему, что ее окружало, она поражала, как светлая мысль, случайно залетевшая сюда и запертая сомкнувшимся кольцом угрюмых и диких гор.

Человек, рассказывающий эту легенду, был первым, кому вздумалось разузнать о происхождении безымянного моста. Однажды под вечер, усталый, он возвращался с гор и присел возле каменного парапета отдохнуть. Стояли жаркие летние дни и прохладные ночи. Прислонившись спиной к плитам моста, человек ощутил ласковую теплоту дня, которую сохранил камень. Человек вспотел, с Дрины тянуло холодным ветерком, и странно поразило его прикосновение нагретого солнцем обтесанного камня. Человек и камень сразу поняли друг друга. И человек тогда же решил написать его историю.

ПУТЬ АЛИИ ДЖЕРЗЕЛЕЗА

ДЖЕРЗЕЛЕЗ НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

На постоялом дворе, возле здания вышеградской таможни, мало-помалу набралось довольно много народу. Речушки, впадающие в Дрину, размыли в нескольких местах дорогу, снесли деревянный мост. Теперь плотники наводили мост, поденщики и арестанты чинили дорогу. Все, кто шел или ехал из Сараева на восток, останавливались на постоялом дворе у таможни и ждали, пока хоть немного поправят дорогу.

Огромный старый постоялый двор в форме прямоугольника был битком набит и гудел, как пчелиный улей. Маленькие, тесные, словно ячейки в сотах, каморки выходили на узкую и шаткую галерею, то и дело жалобно поскрипывавшую под тяжестью шагов. Постоялый двор провонял конюшнями и бараниной: каждый день здесь резали баранов, а шкуры сушили, развешивая их по стенам.

Народ застрял тут пестрый. Суляга Диздар с тремя податными, ехавший по делам службы. Два католических монаха из Крешева, направлявшиеся в Стамбул с какой-то жалобой. Грек-монах. Три венецианца из Сараева с молодой красивой женщиной; говорили, что это посланники из Венеции, которые добираются до Порты сушей. Сараевский паша дал им грамоту и стражника для охраны. Держались они обособленно, с достоинством, но выглядели подозрительно. Серб, торговец из Плеваля, с сыном — долговязым молчаливым парнем с нездоровым румянцем на щеках. Два торговца из Ливно со своими

возчиками. Какие-то беги из Посавины: бледнолицый воспитанник стамбульской военной школы с дядюшкой. Три албанца-салебджии. Торговец ножами из Фочи. Какой-то извращенный тип, который назвался ходжой из Бихача и который на самом деле, кажется, просто шатается по свету, влекомый смутными и страшными инстинктами. Араб, торгующий снадобьями и талисманами, украшениями из кораллов и перстнями, на которых он сам вырезает инициалы. И целая толпа возчиков, барышников, перекупщиков и цыган.

Кроме того, в кофейне целыми днями торчала местная молодежь, богатые и праздные турки. То и дело раздавались шутки, хохот, хлопанье в ладоши, звуки бубна, шаргии или зурны, стук костей, визг, крик и смех похотливой, досужей публики. Монахи совсем не показывались из своей комнаты, а венецианцы лишь изредка выходили на прогулку, да и то все вместе.

Одним из последних прибыл на постоянный двор Джержезел. Песня опережала его. На белом коне он ехал проездом, красные кисточки стегали коня по налитым кровью глазам, длинные, шитые золотом рукава сверкали, развеваясь на ветру. На постоялом дворе встретили его молчанием, исполненным восхищения и почтительного уважения. У него была слава победителя многих поединков, сила его приводила в трепет. Все знали о нем, но мало кто видел, потому что молодость свою он провел на коне между Травником и Стамбулом.

Гости кинулись к воротам. Слуги приняли коня. Джержезел спрыгнул на землю, и тут все увидели, что он мал ростом, приземист, неуклюж и ходит раскорякой, как все люди, которые не привыкли ходить пешком. Руки у него были несоразмерно длинные. Серdito и неразборчиво буркнув приветствие, он вошел в дом.

Лишь только Джержезел сошел с коня, служившего ему как бы пьедесталом, страх и уважение у встречавших словно рукой сняло. Почувствовав себя с ним на равной ноге, постояльцы без стеснения подходили к нему и заговаривали. Джержезел охотно отвечал, коверкая слова на албанский лад: ведь много лет он околачивался возле Скопле и Печа. Как это часто бывает с людьми дела, он не был искушен в разговоре. Не находя нужного слова, замолкал, отчаянно жестикулируя своими длинными руками и вращая черными, как у куницы, глазами, в которых почти нельзя было различить зрачков.

Прошло несколько дней, и волшебный ореол вокруг Джерзелеза совсем развеялся. Постояльцы так и льнули к нему, тая неосознанное желание сравниться с ним, а может быть, даже и подчинить своей воле. И Джерзелез с ними пил, ел, пел и играл в кости.

На другой день после приезда Джерзелез увидел венецианку, проходившую мимо него со своей свитой. Он кашлянул, хлопнул себя по колену и дважды громко крикнул ей вслед:

— Аман!¹

Джерзелез загорелся. Он не мог усидеть на месте от одной мысли, как бы захрустели эти нежные косточки в его руках. Близость нежной и красивой женщины заставляла его страдать. Джерзелез влюбился и, разумеется, стал смешон. Постояльцы — как приличные люди, так и проходимцы — сразу же воспользовались его слабостью. Ему давали бесконечные советы, отговаривали, уговаривали, поддразнивали, а он лишь блаженно разводил руками, и глаза его сверкали.

Тут как раз случилось приехать известному на всю Боснию певцу из Рогатиц Богдану Цинцарину. Первой же песней он заворожил весь двор. Даже монахи, прильнув к окну, жадно слушали певца, а Джерзелез совсем потерял рассудок. Он сидит за столом среди гостей, весь потный, без пояса; перед ним сыр и ракия. Гости приходят и уходят, а он все пьет, заказывает и что-то фальшиво напеваает своим низким, рычащим басом. Насмешники издеваются над ним уже открыто. Богдан Цинцарин, молодой, рано поседевший мужчина, вскидывает голову (верхняя губа его чуть вздрагивает) и поет. Он поет, а Джерзелезу кажется, что из него душу вытягивают и он вот-вот умрет не то от избытка сил, не то от истомляющей слабости. Балагур-фочанец, подсев к Джерзелезу, подшучивает над ним, и все покатываются с хохоту. А тот глядит на плута, блаженно выкатив глаза, обнимает его и целует в плечо, пока тот плетет ему что-то о прекрасной венецианке. Джерзелез порывается вскочить, отнять ее у кого-то, привести сюда и усадить рядом с собой. Хозяин постоялого двора уже опасается скандала, но фочанец, нагло улыбаясь, останавливает Джерзелеза:

¹ Пощади! (турецк.)

— Стой, брат, куда ты? Это тебе не трактирщица и не шлюха сараевская, а знатная госпожа!

Джерзелез, как малое дитя, покорно садится на место и снова поет, курит, пьет и платит за всех. А слуга строит ему за спиной рожки.

Два дня кутил Джерзелез с гостями, звал венецианку, громко вздыхал и, заикаясь, невнятно и смешно рассказывал всем о своей любви. Гости трепали его по плечу, придумывали разные поручения от прекрасной венецианки, а он, принимая все за чистую монету, тут же вскакивал, чтобы бежать к ней, но фочанец, полностью подчинивший его себе, останавливал и усаживал Джерзелеза на место, давая при этом всевозможные советы и дурачась так, что весь дом дрожал от смеха.

На исходе третьего дня фочанец с Джерзелезом вдруг ни с того ни с сего заспорили, как это случается среди собутыльников.

— А что, если она вдруг станет моей? — спрашивал фочанец с наигранно серьезным видом.

— Не бывать этому, джанум!¹ — орал Джерзелез, и лицо его сияло от восторга при одной мысли о том, что прекрасную венецианку хотят отнять и он сможет за нее биться.

— Бог мой, кто первым придет, тому она и достанется, — вставляет кто-то.

— Крылья нужны, крылья! — горланит Джерзелез, больше объясняя руками, чем словами.

— А вы бегите наперегонки; подвесим яблоко — кто раньше добежит, тому и девушка достанется, — советует им какой-то проезжий из Мостара.

Словом, комедию разыграли как по нотам.

Джерзелез сразу же вскочил, распрямился, повел плечами, как бы готовясь к бою, бегу или метанию камней. Он не сознавал больше ни что делает, ни для чего делает, ликуя, что пришел наконец час, когда он сможет показать свою силу.

Вышли на лужайку перед домом. К столбу для качелей подвесили сморщенное красное яблоко. Все выспали смотреть. Одни, громко смеясь и подталкивая друг друга, столпились возле соперников, которые стоят перед натянутой веревкой, другие расположились подальше. Фочанец засучивает рукава, вызывая повый взрыв хохота, а

¹ Душа моя! (турецк.)

Джерзелез расстегнулся и повязал голову платком и кажется от этого еще ниже и кряжистее. Одни ставят на Джерзелеза, другие — на фочанца. Вот мостарец дал знак, веревка оборвалась — и бегуны помчались.

Джерзелез бежит так, словно у него крылья за спиной, а фочанец, сделав два-три шага, остановился и затоптался на месте, как поступают взрослые, когда делают вид, что хотят догнать ребенка. Джерзелез летит, почти не касаясь земли, фочанец хлопает в ладоши, а толпа шумит, визжит, галдит и тоже хлопает в ладоши, надрываясь от хохота:

— Эй, Джерзелез!

— Bravo, осел!

— Быстрее, сокол!

— Живей, ослище!

Чем дальше Джерзелез, тем он кажется все короче, словно ноги втягиваются в туловище. Распирает его бешеная сила, он наслаждается и этим сумасшедшим бегом, и свежим ветром, и мягкой травой под ногами. За спиной ему слышится топот противника, и это еще больше подзадоривает его. Добежав до столба, Джерзелез тянется за яблоком, но насмешники нарочно повесили его слишком высоко, он подпрыгивает и обрывает яблоко вместе с веревкой.

Зрители неистовствуют. Одни смахивают слезы, другие катаются по земле от смеха. Тучный бег из Посавины держится руками за живот и громко отдувается. А сухопарый чиновник Диздар-ага так и замер в воротах и смеется беззубым ртом.

Джерзелез постоял минуту с яблоком в руках, потом обернулся, увидел, что фочанца нет, и внимательно оглядел толпу, словно издали ему было легче понять ее. Выражение его лица трудно было уловить, но, должно быть, взгляд его был страшен, потому что шутники вдруг попяли, что пересолили. Расстояние, отделявшее Джерзелеза от толпы, как бы вернуло ему то, что он потерял, окунувшись в нее. Мысль о том, что он стоит всего лишь в трехстах шагах от них и сейчас подойдет, мрачный и грузный, мгновенно привела всех в чувство, и даже самых беспшальных обуял страх. Не было сомнений в том, что Джерзелез взбешен и что-то замышляет. Первым исчез со двора мостарец, а затем один за другим разбрелся по комнатам и остальные. Кое-кто скрылся за домом в орешнике.

Когда Джерзелез подошел, на лужайке уже не было ни души. На траве белел чей-то оброненный в спешке и страхе платок. Это безлюдье вконец разозлило его.

Задыхаясь от гнева и недоумевая, Джерзелез все глядел и глядел своими раскосыми глазами на ворота, за которыми скрылись гости. В его крепком, тесном черепе словно бы начало проясняться. Над ним зло подшутили! Эта мысль ожгла его, словно пламя. Его вдруг охватило бешеное желание тут же бежать к венецианке, увидеть ее, обладать ею, узнать, может ли он надеяться, а не то сокрушить все вокруг. Покачиваясь от усталости и размахивая руками, он побежал к дому, и, когда, поравнявшись с воротами, взглянул на лестницу, его затуманенному взору вдруг явились пышное зеленое платье и белая шаль. Он чуть не застонал от неожиданности и, как был, полураздетый и взбудораженный, протянув руки, в два прыжка оказался возле нее. Но зеленое платье плавно качнулось и исчезло. Дверь в комнату захлопнулась, послышался скрежет поворачиваемого ключа.

Джерзелез, могучий, как сама земля, страшный, как грозовая туча, на мгновение замер и стоял так, понурив голову и опустив руки, от него так и веяло жаром и мужской силой. Он не знал, на ком бы выместить свою обиду и гнев. Потом он обернулся, и заезжий двор огласил шум. Какой-то мальчишка, не знавший, что произошло, и потому не спрятавшийся, уронил медный кувшин и забился под оттоманку, откуда выглядывали его босые, покрытые цыпками ноги. Слышно было только, как в конюшнях ржут лошади, все остальное словно вымерло. Вокруг никого не было, даже кошки скрылись. Все живое попряталось и оцепенело в страхе и ужасе. Эта тишина еще больше раздражила и возмутила Джерзелеза. Он снова бросился к дверям, но все они, точно их вдруг околдовали, были заперты.

Не помня себя от гнева, Джерзелез стал седлать коня и собирать торбы. Приготовившись, он обвел взглядом двор, словно еще раз хотел убедиться, что никого нет. Потом рванул поводья, вывел из конюшни взыгравшего коня и вскочил в седло с колоды для рубки мяса. Конь взвился. Зазвенели серебряные бляхи и оружие. Гнев Джерзелеза улегся, он сплюнул и выехал со двора. Словно во сне, мчался он по той же самой лужайке, где так недавно бежал на потеху толпе. Отъехав немного, Джерзелез невольно бросил взгляд на угловое окно. При

виде этого окна, закрытого, холодного и загадочного, как взгляд женщины и человеческое сердце, в душе его с новой силой подпрыгнули уже забытые гнев и боль. В безумном желании убить или оскорбить кого-нибудь протянул он свою волосатую руку в сторону окна, потрясая кулаком и как бы посылая проклятие:

— Сука ты, сука!

Голос его был глухим от злости.

Он ехал рысью напрямик, не разбирая пути. Хотел бы он видеть снесенные мосты и разбитые дороги, по которым бы он не мог проехать!

Позади него остался постоянный двор, все еще в подавленном молчании.

ДЖЕРЗЕЛЕЗ В ПУТИ

На Уваце, перескакивая через речку, Джерзелез сбил ноги коню. Все лошадаики и лихие наездники выхаживали его, как могли: прикладывали к копытам свежий навоз, обмывали мочой мальчика, а Джерзелез молча нагибался, осматривал копыта и не смел глянуть в глаза коню. Тому, кто вылечит скакуна и вернет ему прежний бег, он обещал целую медведию.

Он стал неразговорчив, беспокоен и, что с ним случилось редко, совсем не мог есть. С самого Вышеграда потерял всякий интерес к еде. За столом все время курил, от одной мысли о еде его чуть не тошнило.

На другой день вечером Джерзелез вышел из кофейни, осмотрел коня и, оставшись довольным его видом, по тропинке направился к дороге. Ночь была звездная, темная и холодная. Долго бродил он в темноте без всякой цели. Уже на обратном пути встретился ему согбенный монах, который, может быть, горбился нарочно, чтоб старше выглядеть.

— Эй, поп, ты здешний?

— Нет, дорогой бег, я только ночью здесь, — смиренно ответил монах, которому вовсе не улыбалась встреча с турком, да еще в такое позднее время.

Джерзелез вдруг шагнул вперед и, сам удивляясь тому, что разговаривает с монахом, спросил:

— Скажи, поп, как написано в ваших книгах: допустит ли ваш закон девушке вашей веры полюбить турка?

Монах оторопел, съежился, втянул голову в плечи, но, увидев, что турок и в самом деле чем-то озабочен, осмелел и разразился целой проповедью:

— Люди разной веры — как цветы в поле, они созданы по воле господина и по его разумению. Стало быть, так и нужно, и каждый должен молиться богу по своему закону и любить и брать в жены девушку своей веры.

Как и всегда, пока Джерзелез слушал, чужие слова казались ему убедительными. Подавленный, ни о чем не думая, он шагал молча. Потом вдруг, обернувшись к монаху, спросил таким тоном, будто тот был в том повинен:

— Скажи, почему ваши женщины ходят с открытыми лицами?

— Такой уж у нас обычай. А впрочем, кто их там берет этих женщин. У нас, монахов, нет жен, и мы этого не знаем.

— Гм!

Еще мгновение Джерзелез смотрел на него, а затем холодно отвернулся и зашагал быстрее. В ночной тишине слышно было, как поскрипывают его кожаный пояс и гетры. А монах затрусил за ним мелкой рысцой. Дойдя до постоянного двора и ступив на лестницу, Джерзелез еще раз обернулся:

— Спокойной ночи!

— Да хранит тебя господь, эфенди. Будь счастлив! — крикнул монах и скрылся в темноте.

На рассвете Джерзелеза разбудили голоса, смех и песни. Это цыганки, умываясь у ручья, брызгались водой, визжали и колотили друг друга ветками вербы. Был юрьев день.

В кофейне Джерзелез застал братьев Моричей.

Младший когда-то учился в стамбульском медресе, но, лишь только умер отец, сбежал оттуда и вместе с братом предался бродяжничеству и распутству, что не мешало ему носить белую ленту на феске — знак мусульманских паломников. Несмотря на дикое попойки и бродяжничество, лицо его осталось безбородым и румяным, с пухлыми губами, как у избалованного ребенка, и только зеленые глаза, нагло глядевшие из-под опухших век, говорили о преждевременной старости. Старший брат, высокий, бледный, с густыми черными усами и огромными глазами, отливающими золотом, слыл когда-то самым красивым парнем в Сараеве. Теперь лицо его было холодно и безжизненно; он заживо гнил от дурной болезни, но никто,

кроме цирюльника с Быстрика, не знал лекарства, чтоб его вылечить. Цирюльник пользовал его травами и снадобьями и не желал никому открыть секрет их приготовления. В последнее время братья не смели показаться в Сараеве. Они знали, что, в ответ на все жалобы на их бесчинства и художества, из Стамбула пришел наконец приказ схватить и казнить обоих, и Моричей уже повсюду искали стражники. Моричи были накануне разорения. Своих крестьян они давно уж распродали, оставался у них лишь большой постоянный двор на Вароше и знаменитый отцовский дом в Ковачах. В этом доме жили их старая мать и единственная сестра — горбатая и болезненная девушка.

Спросили друг друга о здоровье — Джержезел и Моричи были старыми знакомыми — и начали пить. Братья сразу же заметили в Джержезеле перемену и стали подшучивать над ним:

— Что с тобой, Джержезел, отчего ты такой мрачный? Да ты никак постарел!

— Даринка из Плеваля привет тебе передает, говорит, как ты уехал, одна спит.

Джержезел молчал. Старший Морич говорил чуть грустным, добродушным тоном опустившегося человека, дружески и доверительно. А младший только улыбался.

— Видно, несчастье с тобой приключилось, — беззвучно и коротко смеялся старший Морич.

Джержезел только смотрел на них. Он уже почти успокоился, боль притупилась, гнев улегся, лишь на душе еще было тяжело. Братья кажутся ему детьми, наивными и глупыми, как, впрочем, и все, кто не видел тонкой венецианки в пышном платье из зеленого бархата, с маленькой головкой над отороченным мехом воротником. Он молчал. Братья уговаривали его отправиться после полудня к цыганам. Он отнекивался. Лишь после обеда, почувствовав скуку, уступил.

На вершине холма, там, где зеленеет лужайка, окаймленная с трех сторон высокими редкими соснами, раскинулся цыганский табор. Горели костры, слышались звуки бубна, дудок и шаргии. Танцевали коло. Переливаясь на солнце, полыхали огнем яркие цыганские одежды. Пили, ели, смеялись, с хохотом носились по лужайке, валялись на траве и без умолку пели.

Джержезел и Моричи сидели у костра вместе с какими-то людьми из Прибоя. Пили ракию, Джержезелу она

показалась кислой, но все совали ему в рот закуску, да и день был теплый, ясный, и, опрокидывая чарку, он видел, как покачиваются в весеннем небе верхушки темных сосен.

— Как услышал я, что ты здесь, джанум,— лавку на замок и скорей сюда, — говорил ему бакалейщик из Прибоя. — Дай думаю, взгляну на него... — Громкая музыка и смех прервали его на полуслове: на качели взобралась Земка, стройная, зеленоглазая и, в отличие от своих соплеменниц, белолицая цыганка.

Говорили, что была она за тремя мужьями, и ни один не смог ее обуздать.

Качели, привязанные к стволу дикой груши и подталкиваемые сзади цыганятами, взлетали вместе с Земкой высоко над землей, а она, крепко держась за веревки раскинутыми, как крылья, руками, раскачивалась все сильнее и сильнее. С закрытыми глазами, бледная, взлетала она высоко над горизонтом. Ее шаровары колыхались сотнями складок, шелестели на ветру и хлестали небо. Джержелез, сидевший у самого костра, следил за нею жадными глазами, и всякий раз, когда она взлетала вверх, почти горизонтально земле, а потом в стремительном падении возвращалась обратно, сердце у него замирало, а по телу пробегала приятная дрожь, будто на качелях был он сам. И он пил все больше и охотнее.

А Земка продолжала качаться. Тяжело дыша и побледнев еще больше, она взлетала все выше и выше, и каждый раз, достигнув высшей точки, открывала глаза и, сладко замирая, смотрела на расстилающееся внизу вспаханное поле и бегущую под холмом речку. Сначала все смотрели на нее с молчаливым восхищением, но вскоре послышались смех и пьяные возгласы. Цыганы и прибойские парни улюлюкали и кричали, хотя Земка все равно не могла их услышать:

- Эй, Земка, погляди сюда!
- Не надо, упадет, бедняга!
- Ничего, здесь мягко!
- Вот ей подушка!
- Ха, ха, ха-а!
- Эх! Еще разок!

Но Земка устала. Цыганята перестали подталкивать качели, взлеты становились все слабее и слабее, и наконец ноги ее коснулись травы, она сошла на землю, возбужденная и улыбающаяся.

Джерзелез, глядя на нее, растроганно и беспомощно разводил руками. Его захватили молодость, красота, пестрые шаровары, что развевались, как знамя, сливаясь с верхушками сосен и ясным небом. Прежняя тоска его будто искала выхода в неудержимом веселье. Лишь на мгновение в душе его вспыхнули боль и стыд: так скоро отречься от своей недавней тоски и гневного решения никогда больше не приближаться к женщине! Даже к кошке!.. Даже к кошке!..

Цыганки, пошептавшись, вдруг дружно запели:

Заболел Джерзелез.
Аман! Аман!

Поднялся шум и смех, все головы повернулись к Джерзелезу, но он уже никого не видел. Глаза его сверкали, лицо пылало, но он чувствовал слабость — хоть он и легок, а все же никак не может подняться с земли.

Эту песню слышал он в первый раз от цыганок в тот год, когда всю весну пролежал в Сребрнице. Как-то в пятницу его тяжело ранили под окном у дочки Нурии-бега. Он уже не помнит ни той пятницы, ни окна, ни Нурии-беговой дочки, которую давно забыл. Помнит лишь, как лежал, слабый и раненный, у открытого окна, а внизу плескался и журчал вздувшийся ручей. Был юрьев день, на холме раскинулся цыганский табор, и цыганки в первый раз пели о нем, Джерзелезе, песню. Песня неслась от холма к холму. Голоса цыганок сливались с журчанием ручья, сребрницкая долина содрогалась от их песен. А он лежал неподвижно и был так слаб, что не мог поднести к губам даже кружку с лимонадом. Картина эта как живая встает перед его глазами, и он не знает, что же было тогда и что сегодня, все в голове перемешалось: песни, музыка, вино и люди. А тут еще перед глазами в дерзком порыве взлетает в небо Земка, и прямо дух захватывает от ее смелости и бросает то в жар, то в холод. Последние дни Джерзелез почти ничего не ел и поэтому быстро захмелел. Солнце село, подул холодный ветер, зашумели сосны; в сумерках дым от костра казался синим.

Джерзелез кликнул цыгана и приказал ему играть над его головой на самой тонкой струне. Но то и дело

мешал ему, бранился и норовил ударить, посылал к черту и скрипку, и ее создателя. Старший Морич все старался его утихомирить. Потом Джержезелез вскочил и хотел было погпаться за Земкой. Моричи, смеясь, удерживали его; постепенно осмелели и парни из Прибоя. Все вокруг сотрясались от хохота. А Джержезелез бормотал ваплетающим языком:

— Она моя... погибель...

Он вырвался и, протянув руки, бросился к Земке, которая стояла в толпе цыганок возле качелей и ела красную албанскую пастилу. Его вишневый шелковый пояс, облитый ракией и вымазанный сажей, волочился по земле, штаны спадали, собираясь в складки, так что его короткие ноги казались еще короче и толще. Он едва держался на ногах и раскачивался из стороны в сторону. Глядя на него, цыганки визжали от восторга, а цыгане совсем обнаглели. Музыка умолкла.

— Ха, держи его, земля!

— Давай, давай, ребята!

Цыганята вскарабкались на деревья и швыряли в него оттуда шишками. Джержезелез вернулся на место, сел, стал пить, затянул песню.

Стемнело. Народ понемногу расходился, а у Моричей с приятелями пьянка была в самом разгаре. Они все подшучивали над Джержезелезом, который с напряжением вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть Земкино лицо, пока у него в глазах не зарябило. Музыканты хотели было уйти, но гуляки их не отпускали. И, перейдя от уговоров и посулов к брани и ругательствам, осыпали их то деньгами, то побоями.

— Поздно уж, добрые господа, отпустите нас.

— Темно, далеко до дому, пропадем!

Тогда младший Морич вскочил, безбородое лицо его побелело, надулось и стало злым, словно он был готов на все:

— Сейчас я вам посвечу, цыганские ваши души!

Он выхватил из костра огромную еловую головешку и, держа ее в вытянутой руке, чтобы уберечься от дыма и летящих искр, медленно зашагал по лугу. Там, на западном склоне холма, стоял стог сена, обнесенный камышовой изгородью и обципаный по краям скотиной. Морич разыскал в темноте стог, но сено никак не загоралось. Тогда он наломал сухого камыша с изгороди и тоже сунул туда. По стогу побежали яркие языки, они поднима-

лись все выше и выше и наконец превратились в огромный столб пламени, который, разрастаясь на ветру, трепетал, словно огненный парус. Сено трещало, огненной метелью летели искры, зарево осветило и сосны, и поляну, и оставшихся на ней людей. Все стали расходиться. Музыканты дрожали от страха:

— Ах, господин, что ты наделал! Судья всех нас повесит!

— Плевал я на него и на вас!

— Вам-то что, все на нас свалят. Цыгане, мол, спалили сено у судьи. Ох!

Лавочники тоже перепугались и, хотя были пьяны, все же поняли, что дело плохо. Лишь братья Моричи сидели как ни в чем не бывало, палили из своих коротких ружей, потягивали ракию и, моргая, смотрели на пламя.

Джерзелез, спотыкаясь, гонялся в полутьме за цыганками, стараясь поймать Земку. Он уже почти догнал ее, но вдруг она метнулась влево и исчезла на полевой дороге. Джерзелез не ожидал такого крутого поворота; нерасторопный, грузный и пьяный, он никак не мог остановиться и, сбегав с холма, мчался теперь по высокому обрывистому берегу к ручью. Сначала он еще держался на ногах, но спуск становился все круче, и, потеряв равновесие, Джерзелез скатился, как колода, к самой воде. Руки его уперлись в мокрые камни и грязь. Он приподнялся. В глазах еще прыгали отблески яркого пламени, но вокруг не было видно ни зги. Набрав пригоршню воды, Джерзелез смочил руки и лоб и долго сидел, точно окаменев. Надвигалась ночь.

Почувствовав холод и неприятную дрожь во всем теле, Джерзелез немного пришел в себя и стал выбираться наверх. Он карабкался вверх и снова скатывался вниз, хватался руками за траву и кусты, полз на четвереньках, все больше и больше забирая влево, где берег был не такой крутой. Все это он делал как во сне.

После долгих усилий Джерзелез очутился на краю поляны, где давно не было ни души. Уже совсем стемнело. Он ощутил ровную и твердую почву под ногами, и тут силы покинули его. Джерзелез упал на колени, под руками было что-то теплое и рыхлое — в этом месте недавно сгорело сено, — и долго лежал там, положив голову на руки. В куче черной золы поблескивали редкие искры. Слышно было, как собаки, лая и ворча, грызут оставшиеся

после пирушки кости. С соседней сосны к ногам его упала шишка. Он улыбнулся.

— Земка, блудница, не кидайся, иди сюда!

Он никак не мог прийти в себя. Ему хотелось кого-то лупить, спросить кого-нибудь, что с ним случилось, но черная мгла заволокла небо, и в этом ночном безлюдье не с кем было сражаться и некого спрашивать.

ДЖЕРЗЕЛЕЗ В САРАЕВЕ

Несчастный, знаменитый и смешной, Джерзелез объехал в то лето полцарства. О его последних похождениях известно очень немного; да он и сам о них тут же забывал. Поговаривали, что немало глупостей наделал он из-за вдовы одного ушчупского торговца и что какая-то еврейка, бродяжничавшая вместе с салоникскими музыкантами, обобрала его до нитки.

В канун рамазана Джерзелез прибыл в Сараево.

За три дня до этого в Ковачах на широком перекрестке, где торгуют сеном, казнили обоих Моричей. Схватили их в корчме на дороге, ведущей в Трново, и вели через весь город. Они семенили мелкими шажками, как обычно ходят албанцы; руки у них были связаны, по бокам шли стражники с винтовками. За ними поднималось легкое облачко пыли. Люди оглядывались и долго смотрели им вслед.

Когда вели их по Нижнему базару, вдогонку им понеслись проклятия. Торговцы вскакивали и шарили своими кривыми ногами в поисках деревянных сандалий.

— Ату их!

— Разбойники!

— Топор свиньям!

Так они прошли до самого Ташлихана.

Моричей не стали казнить на берегу Миляцки, под Латинским мостом, где обычно вешали простонародье и где казненные висели по два дня, а досужие прохожие дергали за веревку, и труп вертелся, как веретено. Их прикончили быстро и с наступлением сумерек похоронили на Бакихях. Мать, увидев с балкона, куда ведут ее сыновей, тут же без единого стога испустила дух.

Огромный дом их с бесчисленными окнами, из которых виден был весь город и даже Игман, остался пустым и темным. Лишь внизу в одной из компат теплилась

свеча. Здесь угасала от чахотки сестра Моричей. Ее светловолосая голова тонула в жарких подушках, глаза лихорадочно блестели. Она слушала шепот своей няни Анджи, тайно мечтавшей хотя бы перед смертью окрестить ее.

Омытые первыми осенними дождями и ветрами улицы казались необыкновенно чистыми и ясными. Крыши сверкали в лучах яркого осеннего солнца, а летящая с деревьев паутина блестела, словно шелк. Кое-где пестрела первым багрянцем листва.

Был рамазан. День прошел спокойно, но к ночи весь город гудел от музыки, веселья и любовных песен. Лавки были завалены фруктами, а битком набитые кофейни не закрывались до утра. Из харчевен доносился острый и терпкий запах масла и жженого сахара. По улицам проходили стайки женщин, предводительствуемые мужчиной, который освещал дорогу огромным фонарем.

Где-то в дальних садах в ночной тишине слышался глухой стук падающих на землю перезревших груш. Деревья гнбились под их тяжестью, а своевольные ветви свешивались за изгородь, задевая головы прохожих.

Загорелый и легкий, Джержезел шагал по улицам, чувствуя в себе необычайную силу, которая обычно накапливается к осени. Каждый уголок здесь мил его сердцу; все сулит радость и счастье!

Все подряд приглашали его на ифтар. Однажды под вечер, направляясь к Бакаревичам, он, дойдя до углового дома между Кршлой и Турбетом, вдруг стал как вкопанный. В полуоткрытые ворота выглянула девушка в светлых шароварах и красном жилете, о чем-то перемолвившись со старушкой-служанкой, которая чистила песком ворота. Всякий раз при виде красивой женщины Джержезел сразу же забывал о времени, о границах, разделяющих людей, и терял всякое чувство реальности. Вот и сейчас, увидев девушку, молодую и свежую, словно гроздь винограда, он ни на мгновение не усомнился в своих планах, — стоит только протянуть руку!

С минуту смотрел он на девушку, оторопев и прищурив правый глаз, потом чуть слышно засмеялся и, разведя руки, бросился к ней. Девушка отпрянула и, схватив старуху за рукав, втащила за собой во двор. Джержезел успел лишь полюбоваться гибкими и порывистыми движениями девушки. Раздался скрип, и большие белые ворота закрылись, слышно было, как задвинули

засов. Держезелез все стоял и стоял, на лице его блуждала бессмысленная улыбка; вдруг он крикнул:

— Видал!..

В бессознательном восхищении он несколько раз повторил этот ничего не значащий возглас, в котором слышалась горечь обиды человека, получившего жестокий удар.

Темнело. За Кршлой косматые и кривоногие суварии скоблили пригоревшие котлы, готовясь к ифтару. Держезелез медленно побрел дальше.

За ужином он громко говорил, стараясь заглушить воспоминания, и жадно ел. Но еда не разгоняла сердечной тоски. После ужина, когда все, сопя и покуривая, лежали на диванах, он не выдержал и поведал свое горе молодому Бакаревичу, стройному юноше с зелеными глазами и насмешливой улыбкой на румянном лице. Рассказывая, он чувствовал, что все случившееся кажется со стороны мелким и незначительным. И он невольно прибавлял, преувеличивал, вплетал воспоминания о других встречах, чуть не давился словами.

На другой день после полудня он отправился к дому у Турбета. Все было как вчера: сентябрьский день и боль в душе, лоза, свисающая с высокой белой стены, и массивные ворота.

Вдруг кто-то его окликнул. С порога кондитерской, расположенной по соседству, с ним почтительно здоровался старый его приятель-албанец. Был он сыном призренского торговца и вечно скитался по свету «по торговым делам», но где бы ни был, оставался верен своей страсти, которая вела его к гибели. Однажды с порога кондитерской, хозяином которой был его земляк, он увидел во дворе белого дома на углу девушку. Теперь он здесь проводил целые дни, тщетно подстерегая ее у ворот.

Навстречу приятелям из-за перегородки, где подручные, тяжело дыша, месили сладкое тесто, вышел хозяин и, постелив циновку, предложил им отдохнуть. Оба постарались сесть лицом к улице. Изнывая от жажды и желания курить, они говорили сначала очень мало, потом Держезелез не выдержал и открыл приятелю душу. Албанец искренне обрадовался. Желтое лицо его, прорезанное глубокими морщинами, ожило, в потухших глазах затеплился огонек. Завязался дружеский разговор. Приблизив к Держезелезу свое бледное лицо с подстриженными усиками, албанец заговорил, запинаясь и растягивая слова:

— Она словно груша, гладкая и мягкая. Наверное, христианки самые горячие женщины.

Они долго и оживленно шептались по-турецки. Голос албанца был сиплый, с лица не сходила неприятная усмешка. И Джержелез узнал от него все об этой девушке.

Она была дочерью Андрии Поляша, и звали ее Катинкой. Красота ее, о которой по всей Боснии распевали песни, приносила ей только несчастье. От женихов не было никакого житья. Она не смела выходить из дому. Лишь по праздникам ее выводили, закутанную в покрывало, как турчанку, к ранней мессе в Латинский квартал. Даже во двор она выходила редко: прямо против них находилась турецкая школа, на целый этаж выше их дома, и юноши, которых плохо кормили, но зато много били, бледные от желанья, часами висели на окнах, пожирая ее глазами. Гуляя во дворе, она каждый раз видела в окне школы ослабившееся лицо школьного сторожа Алии, желтолицего и беззубого идиота.

Случалось, что солдаты или сараевские парни после буйных попок часами простаивали у нее под окнами, переговаривались, двусмысленно покашливали или же вовсю колотили в ворота. Мать тогда бранила ее, ни в чем не повинную, и удивлялась: в кого она такая уродилась, что ни в городе, ни дома нет из-за нее покоя. А она слушала, теребя на груди пуговицы жилета, и большие глаза ее выражали крайнее недоумение. Часто она целыми днями плакала, не зная, для чего ей дана эта проклятая красота и что ей с собой делать. Она проклинала себя, терзаясь и мучаясь в своей великой невинности, и пыталась понять, что же в ней такого «порочного и турецкого», что сводит с ума мужчин, отчего вечно торчат у нее под окнами солдаты и турки, почему она должна все время прятаться и стыдиться, а семья — жить в постоянном страхе. И день ото дня становилась прекраснее.

С тех пор Джержелез стал завсегдатаем кондитерской, где по вечерам собирались его знакомые сараевцы. Приходили сюда и молодой Бакаревич, и Дервиш-бег с Широкачи, рыжий и отекий от беспробудного пьянства, а теперь из-за поста злой, как рысь; и маленький, худощавый, живой, как огонь, Авдица Коджалия, известный скандалист и бабпик. Здесь, в полутемной кондитерской, где все предметы потемнели от пара и стали липкими от

сахара, они ждали выстрела пушки, которая во время рамазана возвещала правоверным, что можно приступить к трапезе, и вели долгие разговоры о женщинах, лишь бы забыть про жажду и табак.

Джерзелез слушал их с горечью и с какой-то болезненной дрожью каждого мускула, иногда и сам принимался рассказывать, то и дело запинаясь и тщетно стараясь подыскать слова. А белые ворота были по-прежнему заперты, и в окнах не было ни малейшего признака жизни.

Как-то после полудня завсегда таи кондитерской со скуки и злости избили булочника-христианина, который, проходя мимо, попыхивал трубкой. Шутки ради пытались из-за девушки поссорить албанца с Джерзелезом. Но из этого ничего не вышло. Албанец был невозмутим, и в его улыбке не было ни тени ревности. А однажды наняли мальчишку и подучили его кричать из-за угла тоненьким голоском:

— Катинка, Катинка! Как ты поживаешь? Да где же ты? Никак тебя не встречаю.

Услышав эти возгласы, албанец сверкнул глазами и бесшумно, словно ласка, метнулся к двери. Джерзелез кинулся за ним, и они оба выскочили на улицу. Но там никого не было: перед ифтаром на улицах было особенно тихо, белый дом по-прежнему казался безлюдным, лишь из-за угла доносился топот улепетьвающего мальчишки. Все долго хохотали, даже сам Джерзелез не мог удержаться от смеха.

Молодой Бакаревич посоветовал приятелям позвать Ивку Гигушу, известную сводню с Быстрика, которая была вхожа во все дома. Она торговала полотном и платками, но больше доходов приносили ей чужие грехи и чужая невинность. Это была тучная высокая старуха с карими круглыми глазами. Разговаривая с Джерзелезом, она легонько похлопывала его по колену и обещала все разузнать, хотя и не обнадеживала: ведь девушка сидит под замком. Громко попрощавшись, она ушла.

На другой день, придя в кондитерскую, Джерзелез застал там албанца и сводню. Албанец закачал головой:

— Уехала она, уехала.

— Ей-ей, господин, вот уже два дня, как ее нет. Увезли, говорят, еще до зари, а теперь попробуй узнай, где она. Больно много парней возле ее дома вертелось, вот и решили спрятать девушку. Вот так, приятель. Ищи теперь ветра в поле.

Рассказывая, старуха то понижала, то повышала голос и так сокрушенно покачивала головой, будто ее обокрали. Албанец смотрел куда-то вдаль. Трудно было сказать, о чем он думает.

Держезелу кровь бросилась в голову. Дело было совершенно ясным и несомненным: в доме нет больше девушки с бледным лицом, тяжелой косой и пышными формами (как-то раз ему удалось хорошенько ее разглядеть). Внутри у него все кипело. Кондитерская стала словно еще темнее. Старуха и албанец кровавыми пятнами запрыгали у него перед глазами, он повернулся и, словно слепой, вышел на улицу.

Его душил гнев. Эта христианка никогда, никогда не будет принадлежать ему! И некого убить и нечего разрушить! (Кровавая пелена снова заволокла ему глаза.) Все обман! Его опять оставили в дураках. Неужели он вечно будет сносить насмешки? И что это за жепщины, до которых так же далеко, как до бога? Сейчас он ясно почувствовал, что нити этого узла слишком тонки для его рук и что он — вот уже в который раз — не может понять ни людей, ни их самых простых поступков. И, как и прежде, отступает и остается один со своим смешным гневом и ненужной силой.

Отупевший и убитый, он шел, не оглядываясь. Перед глазами его, словно тучи, плыли багровые пятна. Позади остались белый молчаливый дом и мрачная низкая кондитерская.

В Кршле упражнялись трубачи. Монотонная мелодия военного марша то обрывалась, то начиналась снова. Солнце припекало, Держезелу стало душно. Он шел, обливаясь потом, берегом Миляцки; внизу зеленели ракиты и вербы, на которых еще сохранились следы вешнего паводка.

Хорошо, что дорога вдоль Миляцки такая прямая и длинная. Пусть ей никогда не будет конца! Чтоб не надо было никуда сворачивать!

Держезел остановился лишь в Хисетах и, свернув с дороги, направился в Нижний Табак. Там он вошел в маленький дворик, скрывавшийся за высокими воротами. Затрещали и заскрипели стертые множеством ног узенькие ступеньки. В небольшой опрятной полутемной комнате, окна которой были задернуты занавесями из тонкого полотна, будто поджидая кого-то, сидела Екатерина. Взгляд у нее был спокойный, а руки — белые.

Екатерина была дочерью лекаря, приехавшего сюда из Одессы. Никто не знал, почему он покинул родину. Говорили, что лекарь этот грузин, но на самом деле он был русским, и хотя носил феску и звали его Велибег, перед смертью позвал священника и умер как христианин. Дочь его, осиротев, хотела уйти в какой-нибудь монастырь в России, но знакомый грек уговорил ее остаться. А когда он ее бросил, она поселилась в одном из тех маленьких домишек, что выстроились в ряд от Хисет до Нижнего Табака и в которых по одной или по двое жили под полицейским надзором продажные и известные всему городу по именам девушки. На остаток отцовских денег она купила такой маленький домик, в котором жила теперь со старой служанкой, тоже бывшей хисетской жительницей. Днем она спала или вязала в тени двора накидки для подушек, а по ночам принимала богатых гостей. Была она невысокая, коренастая и молчаливая.

Когда-то Джержелез навещал ее. Дневной визит удивил ее; она встала, а он еще в дверях сказал ей спокойно:

— Екатерина, вот пришел к тебе.

— Добро пожаловать! — отвечала она, покорно взбывая для него подушки.

Он присел на небольшой диванчик, а она, чуть склонившись перед ним, сразу же принялась снимать с него пояс.

Потом он лежал, уткнувшись головой в тонкую ткань ее шаровар, а она гладила его сожженную солнцем шею. Перед глазами его плыли светлые и красные круги, а в памяти возникали все новые и новые воспоминания, уже умиротворенные и далекие.

Чья это рука прикоснулась к нему? Это рука женщины? Перед ним встает венецианка в мехах и бархате, гибкая, стройная и такая желанная. Цыганка Земка — дерзкий и коварный, но милый зверек. Дородная вдова. Страстная, но непостоянная еврейка. И Катинка — цветок, не знающий солнца. Нет, это рука Екатерины. Только Екатерины. Лишь одна она ему доступна!

И снова явилась мысль, с которой он не раз засыпал, неясная, загадочная, но грустная и оскорбительная: почему так извилист и таинствен путь к женщине? Почему он со своей славой и силой не может его пройти? Ведь для всех других, даже самых ничтожных, этот путь вовсе не труден! Лишь он один в своей сильной и смеш-

ной страсти весь век напрасно протягивает к ним руки. Чего хотят женщины?

Маленькая рука все гладит и гладит его, ловко и умело скользя по спине. И снова гаснет и ускользает эта нерешенная и тягостная мысль.

— Сколько я народу всякого видел, Екатерина! Сколько земель обошел! — говорит он ей как во сне.

Держезелез уже и сам не понимает, жалуется он или хвастает, и замолкает. Сонная тишина, в которой сливаются и примиряются все дни и все события, убаюкивает его. Он смыкает глаза. Ему хочется продлить это мгновение без мыслей и желаний, как человеку, которому дан лишь короткий отдых — ведь скоро снова в путь.

1919

МУСТАФА МАДЬЯР

Еще на рассвете собрались со всех кварталов музыканты с барабанами и начали подъезжать всадники, готовые выехать навстречу.

Вот уже четвертый день бурно торжествует Добой, празднуя победу над австрийцами при Бане Луке. Ликует вся Босния, но в Добое — особое торжество; в бою под Баней Лукой необычайно отличился Мустафа Мадьяр, уроженец этого города. До Добоя докатились фантастические слухи о разгроме немчуры, о резне райи и о доблести Мустафы Мадьяра. А сегодня он приезжает.

Целый день горожане принимали облака пыли на дороге за приближающийся торжественный поезд. Лишь к послеполуденной молитве подоспели первые конники, возвращавшиеся из-под Бани Луки, а к вечерней молитве в город въехал Мустафа Мадьяр в окружении трубачей и знамен. Он ехал, пригнувшись к седлу, и показался всем очень маленьким (видно, вырос в разговорах за долгие часы ожидания). Съезжившийся, хмурый, закутанный в плащ, он походил больше на паломника, чем на того Мустафу Мадьяра, о котором ходило столько рассказов и песен.

Поспешно, не глядя по сторонам, проехал он сквозь толпу, не обращая внимания на ее приветственные возгласы. Не обернувшись и не сказав ни слова, вошел в свой высокий дом, а народ остановился у ворот смотреть, как снимают с лошадей тюки с добычей.

В третий раз возвращается Мустафа Мадьяр в свой высокий, покосившийся дом над рекой.

Кроме нескольких вконец обнищавших крепостных, это было все, что досталось ему после раздела с братом от

мота и пьяницы отца, хотя дед его Авдага Мадьяр, знатный потурченец из старинного и почтенного венгерского рода, был богат и оставил немалое наследство.

Когда Мустафе было пятнадцать лет, отец умер, брат женился, и мальчика отправили в Сараево, в медресе. Там он провел четыре тяжелых полуголодных года. На двадцатом году жизни он вернулся в Добой, привезя с собой сундучок с книгами и скудными пожитками и большую зурну из черного дерева с окованными серебром отверстиями. Поселился он не у брата, а в этом доме с галерсей.

Вернулся он сильно изменившимся. Над презрительно оттопыренными губами выросли небольшие усики, он ссутулился, стал мрачный, неулыбчивый, ни с кем не водил знакомства, ни с кем не разговаривал. Днем он ходил читать книги к городскому ходже Исмет-аге, а ночью подолгу играл на зурне, и игра его слышалась далеко за рекой. А как только объявили набор в армию, он взял оружие, запер дом и отправился под командой Делалича в поход против России.

Долгое время о нем ничего не было слышно. Однажды прошел слух, что он погиб, и так как он недолго жил в городе и ни с кем не дружил, его скоро забыли. Но когда Делалич вернулся из похода, стали поговаривать, что Мустафа жив («да еще как жив!»), что он прославился больше всех боснийцев и теперь в большой чести. А на шестой год он и сам неожиданно нагрянул в Добой. Многие его не узнали. Он был одет по-стамбульски, нарядно и пышно. Побледнел, похудел и отпустил бороду. Отпер дом. Поздно ночью достал зурну, бережно завернутую в клеенку, и осторожно дунул в нее.

—Туу, тититатта...

Тишина с неприязнью встретила низкий звук.

Не хватало дыхания, пальцы утратили былую гибкость, мелодии забылись. Он снова спрятал зурну и предался пытке бессонницы, не оставлявшей его с тех пор, как кончились бои.

Пытка повторялась каждую ночь. Он вдруг забывал все, что с ним когда-либо было, забывал, как его зовут, в полудреме угасала и память, и мысли о завтрашнем дне, оставалось только тело, свернувшееся в клубок под безмолвным жерновом темноты, по ногам пробегали мурашки, противно сосало под ложечкой, и всего его заливал холодной струей страх. Время от времени он усилием во-

ли заставлял себя встать, зажечь свет и открыть окно, чтобы убедиться, что он еще жив, что темные силы еще не растерзали и не уничтожили его. И так до самого рассвета, когда тело наливалось тяжелым покоем и откуда-то являлся сон, короткий, но благостный, дороже которого для него ничего на свете не было. На утро — день, как и все другие. И снова все повторялось, но ему никогда не приходило в голову кому-нибудь пожаловаться. Священников он презирал, а докторам не верил.

Когда после той первой ночи он вышел в город, при виде его все в кофейне подвинулись, давая ему место, но он не смог вызвать на своем лице улыбки, не сумел удовлетворить их любопытства рассказами о Стамбуле и о походах. И снова к нему стали относиться с пренебрежением, стали о нем забывать. Но как только завязались бои в Славонии, он уехал туда с первым отрядом, на заре, так же неслышно, как и приехал.

И снова прошел слух о его подвигах в Венгрии и в Славонии, о жестокой битве у устья Орлявы. Когда же австрийцы окружили Баню Луку и райя, загнав турок в крепость, принялась грабить город, боснийские отряды отошли к Врбасу. Но тут они снова столкнулись с превосходящими силами австрийцев и не осмеливались на них напасть, пока Мустафа Мадьяр не предложил свой план: подняться вверх по реке, сделать плоты, ночью спустить их на воду, а на рассвете перейти по ним реку и внезапно напасть на австрийцев.

Ночью, покуда готовили плоты, он прилег в ивняке у Црквины отдохнуть после долгого перехода. В последнее время ему все чаще являлись мучительные видения, разгонявшие и без того короткий сон и еще сильнее его изнуравшие. И теперь он было заснул, но тут же ему привиделись дети — мальчики из Крыма. Столько лет уже прошло с тех пор, он и не вспоминал о них ни разу!

Мустафа ехал с конным отрядом. Преследуя противника, отряд решил заночевать в имении, брошенном хозяевами. Конники собирались уже ложиться спать, когда обнаружили спрятавшихся за шкапами четырех мальчиков. Это были беленькие, аккуратно подстриженные, хорошо одетые барские дети. В отряде было пятнадцать человек, почти все из Анатолии. Они набросились на мальчиков и всю ночь передавали их, полумертвых от ужаса и боли, от одного к другому. Когда рассвело, дети, опухшие, посиневшие, не в силах были стоять на ногах,

В это время налетел сильный отряд русских, и турки бежали, не успев даже прирезать детей. И вот теперь он видит их перед собой, всех четверых. Слышит топот русской конницы. Хочет вскочить на коня, но все путается в стремени, они выскользывают, и конь рвется из рук.

Он проснулся весь в поту, запутавшись в плаще, который во сне старался сорвать с себя. Было свежо, темнота перед рассветом сгустилась. Он привел себя в порядок и перепоясался, не переставая отплевываться от бешенства и отвращения, вызванного гнусной пыткой подлого, исподтишка подобравшегося к нему сна.

Турецкое войско собралось на берегу, и рассвет уже брезжил, но плоты подходили медленно и соединялись с трудом. От шума и голосов начали просыпаться и австрийцы по ту сторону реки. Часовые вот-вот могли поднять тревогу. Больше медлить было нельзя. Мустафа подал знак плотогонам подтянуть канаты и убираться с плотов; отшвырнув ножны, он выхватил саблю и закричал во весь голос:

— Аллах! Бисмиллах! ¹ Кто верит в пророка... На неверных! На гяуров!

— Аллах! Аллах! — подхватил его крик многоголосый вопль. Все бросились вслед за ним на плоты. И сразу увидели, что они поставлены слишком редко. Несколько человек свалилось в воду. Немногим удалось перепрыгнуть, а большинство остановилось. Мустафа один вырвался вперед. Он перепрыгивал с плота на плот, как на крыльях. Точно летел над водой. Первые ряды турок еще не решались двинуться по плотам, а он уже был на том берегу и сразу, не оглядываясь, кинулся на оторопевших часовых. Увидев, что их предводитель оказался в одиночестве, остальные турки поспешили за ним. Да и задние ряды напирали, грозя опрокинуть передние в воду. Так, с топотом и воплями, переправились первые отряды, хотя многие попадали в воду и теперь вопили из-под качавшихся на воде плотов.

Столь быстрой победы давно уже не было. В минуту дрогнул весь огромный лагерь австрийцев, не ожидавших нападения в такое время, да еще со стороны реки. Обезумев, бежали целые отряды. Мустафа с трудом настигал последних, врвался в их ряды и молниеносно рубил направо и налево, очерчивая свистящей саблей сверкающий холодный круг. За ним с криками бросались его солдаты.

¹ Во имя аллаха! (турецк.)

Из крепости вырвались осажденные турки, и в Бане Луке началась резня и грабеж райи.

Поздно вечером, после победы, Мустафа лежал около палатки, прижавшись грудью и ладонями к траве — ему все казалось, что мускулы его набухают, растут и вот-вот от него оторвутся.

Вдали виднелись огни, слышался торжествующий визг грабителей и вопли побежденных.

— Все сволочи!

Впервые он подумал об этом сегодня утром, на рассвете, на берегу Врбаса, оказавшись между двумя толпами солдат (одна удирала, а другая от страха запнулась на плотках), и эти слова осели у него во рту горькой пеной, от которой он надеется избавиться, произнеся их вслух.

— Все сволочи!

А кровь все рвалась, все билась в каждой жилке. Сон не шел.

С той ночи он совсем перестал спать; обычные часы перед рассветом заполняли все повые и новые видения. Ни с того ни с сего из ночи в ночь, перемешиваясь в кошмарных оборванных снах, возникало давно забытое. И хуже всего была жуткая ясность, четкость, с которой виделось ему каждое лицо, каждое движение, — точно все это жило какой-то своей, особой жизнью, имеющей свой собственный смысл. Он содрогался от ужаса при мысли о ночи. Но и самому себе он не в силах был признаться в этом страхе, а страх все разрастался, терзал его днем, прогоняя самую мысль о сне, он жил в нем, с каждым днем все глубже впивался в его живое тело тоньше и бесшумнее шелковой нити.

Сегодня в третий раз он вернулся в свой дом. И вот теперь, вечером, с отвращением пробившись через горлающую толпу, ликовавшую на улицах Добоя, и отпустив сопровождающих, он снова, как загнанный зверь, бегал взад и вперед по галерее, скрипя половицами. Снаружи все еще слышались запоздалые голоса, прославлявшие его и победу, а он все ходил и ходил, не решаясь присесть. Посмотрел на клеенку, в которую была завернута его старая зурна, на зеленый сундучок с книгами, но ни к чему не притронулся.

Горы слились с ночной темнотой, город умолк, а с холма, из развалин, закричал сын.

Мустафа прислонился к окну. Жар от бессонницы и долгого пути, равномерный стук сердца начали его усыплять. Но видения уже тут, прежде чем он успел заснуть. Да и спал ли он вообще?

Ему привиделась соседняя комната, забитая мусором и затянутая паутиной; в углу на сундуке сидит его дед, Авдага Мадьяр. С красным лицом, с короткой бородой и закрученными усиками. Он сидит молча и неподвижно, но в самом его присутствии заключен какой-то особый смысл, невыносимая тяжесть и ужас, и Мустафа начинает задыхаться. Он вздрагивает. Обмирает, увидев, что в комнате темно, но не зажигает света, а продолжает шагать, не чувствуя ног, хотя страх сковал его, как папцирь.

Он не мог остановиться. Он должен был все время двигаться, потому что в равной мере боялся и бессонницы и видений, подстерегавших его, как только он закрывал глаза. Продолжая шагать, он вдруг вспомнил Сараяво, своего друга — весельчака Юсуфагича, Чекрклинку, зеленый склон и на нем кладбище, вспомнил мягкую траву, на которой он в годы ученья часто засыпал среди дня, подложив под голову руку. И больше не вынес, оседлал коня и тихонько, как преступник, под покровом темноты выехал из Добоя.

На другой день в городе с изумлением узнали, что он уехал, что в поле напал на какой-то обоз, людей ранил, а лошадей разогнал.

Он ехал то боковыми дорогами, то прямо через села, избивая и преследуя христиан с такой яростью, что и турки избегали с ним встречаться.

Подъехав к Сутеске, Мустафа Мадьяр нашел монастырь запертым, будто вымершим. Настоятелю еще вчера рассказали, что из Добоя едет Мустафа Мадьяр, что он остервенел и избивает всех, кто ему попадается по дороге.

Мустафа ударил алебардой в ворота. Тишина. Отъехал немного и оглядел монастырь. Огромная крыша. Маленькие окошки и крепкие стены. Сначала он решил поджечь монастырь, но тут же ему стало противно и скучно при мысли, что надо искать солому и огонь. В конце концов все это стало ему смешно — огромное подворье, замолкшее перед ним, а внутри — монахи, маленькие, серые, как мыши.

— Быстро же они заперлись, ха-ха-ха!

Громко смеясь, он поехал дальше. Когда он проезжал мимо монастырского кладбища, конь шархнул от бело-

го креста, видневшегося из-за ограды. Мустафа натянул поводья и остановился. Пока он успокаивал коня, проклиная монастырь и кресты, из-за поворота дороги показались двое монахов. Один тащил сверток с книгами, а другой — короб с едой. Спрятаться было некуда, и они сошли в канаву у дороги и поклонились турку. Он остановился.

— Вы что, тоже оттуда, долгополые?

— Дай бог здоровья султану, оттуда, бег-эфенди.

— А кто разрешил вам втыкать эти рога у самой дороги и пугать моего коня? А, свиньи и дети свиньи?

— Не наше это дело, бег.

— Что «не наше дело»? Кто разрешил?

— И визирь, и светлейший султан, — отвечал старший из монахов, высокий, решительного вида человек с густыми усами и умным взглядом.

Мустафа опустил правую руку, будто бы сразу успокоившись и подобрев, но не сводил с монахов неподвижного горящего взгляда, перед которым они, дрожа, опускали глаза.

— А что, у вас и фирманы есть?

— Есть, есть, бег-эфенди, а как же, все у нас есть.

— И от султана?

— Конечно! И еще от визиря, и еще один — от муллы из Сараева.

— Тогда сложи их все вместе и выбрось! Слышал? А если кто спросит, что ты делаешь, скажи: так мне велел Мустафа Мадьяр, который несется, как камень с горы, и не надо ему ни сна, ни хлеба, и нет для него закона.

Уже один его взгляд, безумный и застывший, не предвещал ничего хорошего, а от этих слов монахам стало совсем не по себе. Мустафа снял с седла подпругу и, протянув ее младшему, приказал ему связать старшего. Старший монах сам сложил руки за спиной, а младший стал неловко связывать его заметно дрожащими руками.

— Крепко связал?

— Крепко, бег.

Мустафа нагнулся, ощупал подпругу и, убедившись, что связано слабо, молча взмахнул алебардой. Монах откинул голову, и острие вонзилось в плечо так глубоко, что он без стога свалился на землю. Но турок принялся бить его обухом и бил до тех пор, пока он не поднялся и вместе со своим связанным товарищем не пошел перед

конем. Кровь струей текла из раны и оставляла след на дороге. Мустафе вдруг пришло в голову пригнать их в Сараево, к своему старинному приятелю Юсуфагичу, богачу и известному шутнику. Но дорога пошла в гору, солнце зашло, раненый монах обессилел, то и дело терял сознание и падал. Напрасно Мустафа бил его по ребрам древком алебарды так, что отдавалось, как в пустой бочке. Они свернули в брошенную клеть у дороги. Монахи тут же свалились наземь один подле другого, а он спутал коня, расстелил плащ и лег. И сразу погрузился в сон, чего с ним давно уж не бывало.

Нет ничего слаще быстрого, глубокого сна.

Но и эта мысль угасла, подавленная туманом и шумом воды. Это волнуется Врбас, на нем вереницей вырастают плоты, но не тяжелые, окровавленные, как тогда, во время боя, а легкие. Они плывут, тихо покачиваясь. И вдруг что-то ворвалось в шум волн, исчезли куда-то плоты, а он оказался на жесткой земле. Откуда-то послышался мерный ропот. Мустафа вскинулся, быстро открыл глаза и сам почувствовал, какие они невероятно большие, холодные и такие бессонные, точно он вообще никогда не спал. Прислушался. Ропот доносился из угла, где лежали монахи.

Раненый монах (это был послушник), предчувствуя близкую смерть, исповедовался старшему и, хотя получил отпущение грехов, не переставал лихорадочно повторять слова покаяния и обрывки молитв:

— Славлю тебя, господи боже мой, ибо ты самое большое богатство...

— Что бормочете, мать вашу поганую псам!

Мустафа схватил ружье и выстрелил в темный угол, где были монахи. Послышался вопль, потом стоны. Он вскочил, накинув плащ, и вывел коня, совершенно забыв и про Юсуфагича, и про задуманную шутку с монахами. Поспешно, точно беглец, вскочил на коня.

Он ехал по лесу, постепенно успокаиваясь от ночного холодка, а конь шарахался от бурелома и стриг ушами, прислушиваясь к далеким голосам. Так он ехал, пока не прорвалась тьма и где-то на самом дне неба забелел рассвет. Тогда он лег под деревьями и укрылся плащом. Холод ожег его и тишина убаюкала. И сразу же ему придался сон.

Он оказался в самой гуще битвы на Орляве — стоит в расщелине между двух высоких замшелых бурых скал, с

которых струится вода, и, прислонившись к ним спиной, отбивается от двух гайдуков — братьев Латковичей, огромных и бесстрашных. Мустафа защищается с честью, но взгляд его то и дело отрывается от них, тянется куда-то вдаль, к самому горизонту, туда, где песчаная равнина сливается с небом и где ему видится женщина в черном — лицо его искажено страданием, руки прижаты к груди. Он знает ее и знает, почему она прижимает руки к груди, почему у нее такое лицо. И хотя он все это знает и смотрит на женщину и вспоминает, как застал ее одну в доме какого-то менялы в Эрзеруме и как она отчаянно сопротивлялась ему, он все же отважно отбивается от гайдуков. Он хочет отогнать и женщину, и свои воспоминания и думать только об этих двух гайдуцких саблях, но гнев душит его.

— И ее с собой привели! Мало мне вас двоих, суки гайдуцкие! Может, еще кого приведете?

Он молниеносно отражает удары, но и гайдуки досаждают ему, стараясь попасть остриями сабель ему в глаза, он все теснее прижимается к скалам и вот уже чувствует сырость и холод.

Просыпается он весь застывший, с проклятием на слипшихся, искаженных судорогой губах. Солнце еще только встает, щекоча веки своими лучами.

Увидев, что спал опять недолго, что лишился и пред-рассветного спокойного сна, он взвыл от бессильной злобы, согнулся в три погибели и начал биться головой о землю. Он долго катался по земле, покрывшись пеной, рыча и кусая свой красный плащ, а солнце тем временем подымалось над горами в бескрайнем небе.

Весь помятый и разбитый, он спустился с горы, ведя за собой коня. Остановился уже в долине, у источника. Светлая, толщипой с руку, струя воды падала на выдолбленный сосновый ствол. Выплескиваясь, она щедро увлажняла землю, сверкала в лужицах и болотцах, над которыми в ярком свете утра порхали бабочки и густой вуалью вились рои мошкары.

Конь долго пил, переступая копытами в луже и вздрагивая крупом и боками. Мустафа присел на край ствола, присмиривший и успокоенный свежим дыханием воды и утренним воздухом, ласкавшим ему лицо. Он посмотрел на свое отражение в воде, увидел черное, как уголь, лицо с запавшими тенями и вокруг головы плотный рой

пляшущих, пронизанных солнцем мошек, как тонкий, колеблющийся светлый ореол. Он невольно поднял руку, и в воде отразились скрюченные пальцы, погрузившиеся в этот жидкий, трепещущий блеск, но рука не почувствовала ничего — так крохотны и невесомы были тельца мошканы, освещенные солнцем. Конь прынул, он тоже вздрогнул; рой взвился, рассеялся, и ореол разбился.

До самого полудня Мустафа ехал, словно во сне, странно спокойный. Он собирался и ночью продолжить путь к Сараеву, но по дороге, на постоялом дворе у Омера, его задержал Абдуселам-бег из Чатича, известный болтун и хвастунишка с редкой бородкой и голубыми глазами. Других гостей на постоялом дворе не было. Абдуселам-бег на все лады уговаривал его заночевать у Омера, рассчитывая попасть в Сараево завтра, чтобы весь народ и знакомые увидели его вместе с Мустафой Мадьяром. Мустафа согласился. Душный день клонился к вечеру, все ближе подкрадывался сон, точнее — не сон, а страшная истома, в которой он все видит и все ощущает. Солнце печет, злость в нем поднимается к самому горлу, душит его.

Он спросил только воды, напился и лег, даже не взглянув больше на Абдуселам-бега, а хозяину пригрозил, что убьет всякого, кто попытается его разбудить, будь то курица, собака или человек.

Сначала он заснул, но тут же, как всегда, неожиданно перед ним появились мальчики из Крыма, беленькие, аккуратно подстриженные, но какие-то застывшие, гладкие и сильные, они выскальзывали из рук, как рыбы. И в глазах их нет того ужаса, и зрачки не расширены, а смотрят на него неподвижно, в упор. Он задыхается, ловит их, но одновременно все видит как бы со стороны. Он мучается, он в ярости, что у него нет сил поймать их и удержать, а за спиной у него кто-то говорит:

— Изжарить их надо было, поймать — и на уголья... но теперь уже поздно.

Он в бешенстве. Да, верно: изжарить! И снова вскакивает и ловит их, но только впустую машет руками, бессильный и смешной, а мальчики ускользают и вдруг, как облака, начинают парить в воздухе.

Он просыпается отяжелевший, потный и, отдуваясь, мечется по циновке. День кончился, смеркается. Ему стало страшно. Пот на нем вдруг застыл. Хриплым голосом он окрикнул Абдуселам-бега, приказал принести кофе, ракию и сальную свечу.

Долго они сидели вдвоем и пили. Между ними — дрожащее пламя свечи, в углах — тьма и беспокойные тени, в маленьком окошке кусочек синей ночи. Резко, неприятно отдавались голоса в пустой комнате.

Абдуселам-бег много рассказывал о себе, о каких-то сражениях, о своих предках. О том, как он стоял в карауле на Габеле. Но Мустафа молчал, углубившись в свои мысли, и только зябко вздрагивал после каждого стаканчика ракии. Чтобы вытянуть из него хоть слово, Абдуселам-бег заговорил о битве при Бане Луке, о том, как он любовался им, Мустафой, глядя, как он перепрыгивает с плота на плот, один врывается на вражеский берег и избивает немцев.

— Да разве из-под одеяла что-нибудь видно?

— Что-о?! Как ты сказал?

У Мустафы сверкнули глаза, а бег оторопел, не зная, то ли обидеться, то ли обратить все в шутку. Мустафа первый расхохотался, а бег за ним.

— Шучу, шучу.

— Да, конечно!

И продолжал рассказывать, как он расправлялся с немцами, обращенными в бегство Мустафой.

— У, я их, наверное, человек сорок порубил, всех до единого.

— Да, да.

— Попался вот один, маленький такой ростом, а проворный — как припустил, я за ним. Проворством меня бог не обидел. Я за ним, за ним, за ним...

— Ну, и как, догнал?

— Сейчас услышишь. Вот поворот, вижу я: ослаб он, тут я его догнал и — чик! Как цыпленка.

— Кхе, кхе.

Мадьяр все только пофыркивает и отдувается, а бег разболтался не на шутку. Ночи, ракии и недалекому уму нет предела, один за другим следуют все новые и новые удивительные подвиги, совершенные еще его дедом и прадедом; да и его участие в небольшой перестрелке при Габеле выглядит уже иначе.

— Аллах меня, что ли, таким создал, что я страха не знаю. Вышли мы в караул к Млечичу, все дрожат, перешептываются, а я поднялся на насыпь и запел во все горло, а ведь голосом меня аллах наградил — что твоя зурна. После влахи спрашивали, что это за герой такой у турок, а паши уж знают, что я — кто же еще?

— Врешь ты все.

Увлеченный собственным рассказом, бег не сразу слышал.

— Что ты говоришь?

— Врешь, брат, много, — ответил Мустафа раздраженно и неохотно, судорожно кривя рот и покусывая усы.

Тут только бег очнулся от своих фантазий. Комната показалась ему темнее, чем на самом деле. Мерцает и клопится пламя свечи, над которым скрещивается их дыхание. Совсем рядом он видит разные, налитые кровью, недобро светящиеся глаза Мустафы, желтый, как у мертвеца, лоб и лицо над черной бородой. От обиды и ужаса бег вскочил. Низкий столик опрокинулся, свеча ту-по ударилась об пол и погасла.

Инстинкт опытного солдата толкнул Мустафу, хоть он и был сильно пьян, назад к стене, ощупью он нашел свой плащ и оружие и вытащил пистолет. Между ними был опрокинутый столик, а в глубине комнаты — окно, которое теперь, в темноте, выделялось светлым квадратом. Он затаил дыхание и услышал в темноте мягкий свистящий звук: бег вытащил из ножен кинжал. И вдруг, словно припомнив другие бесчисленные случаи из своей жизни, он еще раз подумал в приступе дикой ненависти: сколько же сволочи на свете! Но это только на секунду; тут же взял он себя в руки и быстро оценил обстановку:

«Бег — трус и лгун, а такие люди легко идут на убийство. Пистолета у него в руках нет, а для того, чтобы подкрасться ко мне, ему придется пройти мимо окна».

Он поднял пистолет, прицелился в середину оконного квадрата и стал ждать. И действительно, минуту спустя на фоне окна показалась рука, а затем все окно заслопила фигура Абдуселам-бега. Мустафа спустил курок. За звуком выстрела он не услышал, как упал бег.

Старый Омер, хозяин постоялого двора, или ничего не слышал, или не посмел вмешаться.

Всю ночь без передышки скакал Мустафа Мадьяр через лес. Усталый конь то и дело останавливался, шаркался от теней. Да и сам он начал вглядываться в причудливые очертания пней и их теней в светлой ночи. Он тоже стал пугаться и объезжать те, что казались ему странными и опасными. Ему вдруг показалось, что от каждой коряги исходит особый, ей одной свойственный голос, шепот, зов или песня; тихие, еле слышные голоса перемежались и переплетались с тенями. Потом все звуки

поглотило щелканье плети, которой он стегал коня. Но только он переставал стегать, как снова роплись, накатывали волной голоса. Желая заставить их замолчать, он и сам закричал:

— А-а-а-а!

Но тогда лес ответил ему со всех сторон, из каждого дупла, с каждого ствола и ветки донеслись громкие, обрушившиеся на него голоса:

— А-о-о-о!

Он напрягся, кричал изо всех сил, хотя у него уже сжималось горло и не хватало дыхания, но бесчисленные, неодолимые голоса перекрывали его крик, а деревья и кусты угрожающе топорщились. Он мчался, не чувствуя под собой коня. Волосы у него вставали дыбом. Захлебываясь, он кричал не переставая, пока не выехал на равнину, где голоса постепенно утихли и смолкли.

Рассвет застал его в Горице, близ Сараева. Он остановился среди сливовых садов. Конь каждую минуту спотыкался, ноги у него были сбиты в кровь, бока ввалились. Все небо светилось розовым светом, пропизывавшим тонкие облака. Над городом, в котловине, лежал пизкий туман, из которого, как мачты затонувших кораблей, торчали минареты.

Он провел рукой по влажному лицу. Попытался разогнать пляшущие черные круги перед глазами, мешавшие ему видеть и сияние дня, и город внизу. Он тер виски, вертел головой, но черные круги перемещались вместе с его взглядом, и все расплывалось, мрачнело, дрожало. Оглушала тишина, а в ней слышалось, как непрерывно шумит и бьется в жилах па шее кровь. Он не мог понять, где находится, не мог вспомнить, какой сегодня день. Подумал было о Сараеве, но в голову все лезли и путались кавказские города со своими минаретами. Временами он совсем ничего не видел.

С трудом выбравшись из лабиринта садов и заборов, Мустафа въехал на первые улицы города и остановил коня у кофейни, где на просторной зеленой лужайке, рядом с кладбищем и источником, уже сидели, прихлебывая кофе, турки. Он слез с коня и подошел к ним. Грязный, в измятой одежде, он неуверенно ступал через тьму, застилавшую ему глаза. На мгновение он увидел лица, окружавшие его, но тут же они исчезли, потом показались снова — опрокинутые, раздвоившиеся. Сел. Сквозь шум крови в ушах Мустафа прислушивался к их разговорам,

с трудом улавливая связь между отдельными словами. Говорили о гонениях, учиненных наместником султана Лутфи-бегом.

После многочисленных и затяжных войн и в самом Сараеве, и по всей Боснии развелось множество пьяниц и бродяг, участились убийства, грабежи и всякие насилия. Когда султану надоели жалобы, он послал в Сараево своего наместника, наделив его специальными полномочиями. Этот высокий, бледный, с тонкими обвисшими усами человек, проходивший по улицам с видом отшельника, ссутулясь и не глядя по сторонам, был неумолим, жесток и скор на руку. Никто не помнил такой беспощадной жестокости. Всех попавшихся в пьяном виде или слоняющихся без дела или тех, на кого донесли как на грабителей или убийц, Лутфи-бег швырял в Жуту Табию, где палачи-анатолийцы душили жесткими шнурами всех подряд без суда и следствия. Случалось, что за одну ночь душили по шестьдесят преступников. Райя ликовала. Турки начали роптать на чрезмерную строгость Лутфи-бега. Тогда он приказал схватить двух торговцев, которые публично осуждали его, и они были задушены прежде, чем кто-либо успел за них заступиться.

На улицах валялись трупы людей, которые погибли, отбиваясь в пьяном виде от стражников. Все трепетало. Повсюду была кровь. Никогда еще не было так легко лишиться головы, как теперь.

И сейчас турки, сидевшие в кофейне, говорили о строгостях наместника. Не решаясь высказать все, что они думали, они только жалели, что погибло столько мусульман и среди них — многие герои и храбрецы. Какой-то старик говорил укоризненно:

— Ей-богу, захлестнет нас райя. Наши погибают, а крещеной сволочи расплодилось видимо-невидимо.

Мустафа с трудом прислушался, и ему показалось, что это как-то связано с его мыслями. Он напрягся и с усилием выговорил:

— И крещеной и некрещеной: все сплошная сволочь.

Люди обернулись на его голос, охрипший, пинаящий, почти шепот. И тогда только увидели, как он растерзан, испачкан зеленью травы и желтой глиной, какое у него почерневшее, как уголь, лицо. Тогда только увидели, что глаза у него налиты кровью — один зрачок выделяется черной точкой посередине, что руки у него все время сво-

дит судорога, что воротник разорван и вены на шее набухли, а левый ус искусан и намного короче правого.

Они переглянулись. А он, заметив сквозь надвигавшуюся на глаза кровавую пелену, как все лица оборачиваются к нему, подумал, что на него собираются напасть. И схватился за саблю. Все вскочили на ноги. Те, что постарше, отшатнулись к стене, а двое помоложе, с кинжалами, встали впереди. Он опрокинул одного, но внезапно перестал видеть и во второго саблей не попал. Перевернул ступу, в которой толкли кофе, и, продолжая размахивать саблей, как слепой, выбежал на улицу. Турки из кофейни — за ним. Стали собираться прохожие. Одни думали, что люди наместника ловят кого-то, другие — что турки набросились на стражников Лутфи-бега. В последнее время все привыкли к подобным потасовкам и с кровожадным злорадством принимали в них участие, не заботясь о том, на чьей стороне правда.

Мустафа, ничего не видя перед собой, наткнулся на калитку, и тут его окружили: с одной стороны — турки, выбежавшие из кофейни, с другой — прохожие. Множество рук вцепилось в него. Быстро сорвали джемадан, и он остался в рубахе. Чалма свалилась с головы. Рубашка трещала. Он отбивался неистово, не выпуская из рук сабли. Калитка не выдержала напора толпы и с треском опрокинулась, многие, потеряв опору, упали, а Мустафа вырвался и, размахивая саблей, помчался вниз по крутой улице. Толпа кинулась за ним.

Он бежал, ничего не видя перед собой, лысый, голый до пояса, обросший шерстью. Сзади улюлюкала толпа:

— Держите его, он бешеный!

— Человека убил!

— Негодяй!

— Держи его, не пускай!

Прохожие безуспешно пытались его задержать. Одним ударом он свалил стражника, вставшего на его пути. Многие понятия не имели о том, почему за ним гонятся, но преследователей становилось все больше. Из ворот выбегали все новые и новые люди. Лавочники подбадривали их криками со ступеней своих лавок, швыряли в него гирьками и деревянными сандалиями. Рядом с ним неслись перепуганные собаки. Хлопали крыльями и квохтали куры. Из всех окон высовывались любопытные.

И еще раз в его наполовину угасшем сознании сверкнуло: «Все сплошная сволочь. Всюду!»

Уже совсем без сил, он все же не сдавался и намного опередил всех. Он почти добежал до зеленого кладбища на Чекрлинке, когда из кузницы выглянул цыган и, увидев, что толпа гонит полуголового человека, бросил в него обломком железа и попал в висок.

Большая звезда сорвалась с тесного темного неба, за ней посыпались и мелкие. Вот и последняя погасла. Темно и жестко. Жестко. Это было последнее, что он почувствовал. Толпа приближалась.

В МУСАФИРХАНЕ

С тех пор как в прошлом году новый игумен перестроил мусафирхану¹, окончательно отделив ее от монастыря, он полностью отстранился от управления, всецело возложив это дело на фра Марко.

Фра Марко был племянником покойного епископа Марьяна Богдановича. Он был единственным мальчиком в семье, и епископ взял его в монастырь, чтобы дать ему богословское образование. Однако, несмотря на покровительство епископа, юноша в науках продвигался туго. Своенравный и бестолковый, он сильно заикался и брызгал слюной, когда говорил, был напрочь лишен голоса и слуха, тузил младших и не новиновался старшим. Не было никакой возможности отучить его от мужицкого сквернословия. Зато монашеского одевания ему хватало ненадолго — сутана быстро становилась короткой, а кафтан — тесным и узким.

— Ни богу свечка, ни черту кочерга, — говорил епископ сестре, не перестававшей до своего смертного часа сокрушаться о том, что сын ее не будет епископом.

Глубоко огорченный епископ прибег к последнему средству — послал его в Рим в надежде, что на чужбине он исправится и возьмется за ум.

Живя в вечном борении с неграмотными и упрямыми монахами, тяжелыми, опасными боснийскими дорогами и

¹ Во времена оттоманского владычества монастырям было вменено в обязанность предоставлять ночлег проезжим туркам. Случалось, что турки задерживались в монастырях, пили и гуляли. Чтобы сохранить предписанную уставом тишину и порядок в монастырях, монахи строили неподалеку отдельное большое помещение для подобных гостей, которое называлось «мусафирхана». (Прим. автора.)

с самодурством ненасытных турецких властей, он, как прекрасный сон, вспоминал проведенные в Риме молодые годы. В тот же самый красноватый францисканский монастырь на Виа Мерулана, в котором епископ, молодой и преисполненный знаний и грандиозных замыслов, провел три года, посылал он теперь своего племянника. У него было такое чувство, будто в юноше продолжается его собственная жизнь.

Но и здесь его постигло горькое разочарование. Напрасно он просил за племянника знакомых монахов.

«Ни к чему не чувствует влечения. Только все растет вширь да ввысь. И поведением своим скорее похож на простого мирянина, нежели на монаха; да простит нам святой отец нашу смелость», -- писали епископу из Рима.

«Чист и скромен и по-своему религиозен; равнодушен к земным радостям и суете, но, увы, абсолютно лишен жажды познания и размышления, равно как святой покорности старшим и терпимости к товарищам», — писал ректор духовной семинарии.

А от Фра Марко приходили полные забористых слов и ошибок письма, в которых он отчаянно просил дядюшку вернуть его в Крешево.

«Спасите меня, не могу я с этими людьми!» Ему бы хоть одним глазком взглянуть на Крешево, точь-в-точь как гайдуку Ивану Роше, который, не смея появляться в родном городе, подымался на гору, чтоб посмотреть на него хоть издали.

Так писал он в каждом письме.

Епископ решил подождать год — авось юноша привыкнет и образумится, а пет — так вернет его в Крешево. Но зимой епископ простудился и скоропостижно умер. Марко незамедлительно вызвали из Рима, отправив на его место фра Мию Субашича, честолюбивого и худосочного юношу.

Вот уже второй год, как фра Марко vikарий монастыря. Заботится о продовольствии и вине, нанимает поденщиков и рассчитывается с ними, принимает в гостинице проезжих турок.

Работая наравне с крестьянами, он окончательно вышел из повиновения и забыл то немного, что сумел выучить. Руки у него огрубели, голос охрип. На потемневшем от солнца лице топорщились усы. И без того высокий и плечистый, он еще больше раздался и отяжелел. А речь свою еще обильнее уснащал бранью.

Нелегко жилось в монастыре этому грубияну и недоучке, оставшемуся без своего покровителя. Самое неприятное было то, что он никогда не знал, говорят с ним монахи всерьез или смеются над ним. То он вспылит понапрасну и станет еще смешнее, а то размякнет и пустится в разглагольствования, не замечая веселого смеха в глубине трапезной.

Фра Марко все больше отдалялся от монахов. Его освободили от обязанности участвовать в общей трапезе и молиться вместе со всеми. Дни он проводил в полях или в гостинице.

Рядится и спорит с крестьянами или сам берет мотыгу и копает до седьмого пота, а под вечер, когда спускается прохлада, дымится, словно гора после дождя. Или начнет переливать вино в сыром подвале, катает бочки, окуривает их серой. А то целыми днями пересыпает пшеницу в амбаре, а потом два дня кряду не может отмыться от въевшейся в уши и шею пыли.

Однако и у него бывали свои часы отдохновения и «райского» блаженства, о которых ни одна живая душа не подозревала. И сам он не знает, как и когда на него «находит».

Присядет он после тяжелой работы на колоду, сотрет пот, крикнет, откашляется и вдруг почувствует, как кровь забурлит в его утомленном теле — горячим, шумным потоком разольется по жилам, глухо стуча в плечах, где-то под ушами и наконец доберется до головы, вызывая головокружение и всего его наполняя своим неугомонным шумом. И вот уже этот шум подхватывает его и куда-то уносит. С широко раскрытыми глазами сидит он на колоде, но ему чудится, будто он куда-то стремительно летит. И тогда он, не умеющий ни складно писать, ни красноречиво говорить, словно бы переживает миг озарения. Все ему ясно и понятно, и он без всякого стеснения беседует с самим господом богом.

Впрочем, он за любой работой вполголоса молится богу. Иногда даже по-своему сводит с ним счеты.

Высаживает, к примеру, после дождя капусту. Нагибается, роет лунки в рыхлой грядке и пальцами уминает землю вокруг рассады. Над каждым кустиком шепчет молитву, непрерывно повторяя:

— Ну, благослови тебя господь, благослови тебя господь!

Покончив с одной грядкой, он выпрямляется, охая и вздыхая (поясницу ломит), тыльной стороной грязной руки оттирает с лица пот и, тяжело дыша, ворчит:

— Ну, вот, посадил, а ты теперь напелешь на нее гусениц, чтоб они все сожрали, как в прошлом году!

Иногда это блаженное состояние охватывает его без всякой видимой причины. Заденет нечаянно сучок на дереве или шов на одежде — и по всему телу тут же разойдется какое-то сладостное возбуждение, и он так и застынет на месте с раскрытым ртом и потерянным взглядом. Долго стоит он, скованный оцепенением, а когда очнется, то и сам не помнит, что с ним такое было.

* * *

Вот уже три дня ни один турок не останавливался в мусафирхане. Фра Марко каждый день проветривал ее и кадил, стараясь изгнать запах сала, лука, ракии и пота, оставшийся от последних постояльцев. Но на исходе третьего дня, в субботу, во время вечерни, снова нагрянули турки.

Фра Марко как раз стоял у очага, клал угли в кадило, которое держал мальчик-послушник. Увидев поднимающихся в гору турок, он просыпал угли прямо на руки послушнику. Мальчик вскрикнул и убежал, а фра Марко открыл было рот, собираясь выругаться, но удержался и только надвинул на глаза клубок.

Турки поднимались медленно. Фра Марко взял половину запасов сахара и кофе и пошел прятать. Вернулся запыхавшийся и, встав в дверях мусафирханы, посмотрел вниз. Турок было трое, двое вели под руки третьего. Одного он узнал — это был янычар Кезмо. Остальные, вероятно, нездешние. Тот, кого вели, еще безусый юнец.

Войдя, они сразу попросили одеяло и подушку и положили больного. Потом спросили лимонов. Фра Марко мнется — он-де поищет, но боится, что все вышли.

— А ну-ка посмотри получше, не то я сам начну искать, — кричит Кезмо.

Этот Кезмо уже не раз повергал монастырь в страх и грабил штрафами.

Монах вернулся с лимонами. Больному сделали лимонад.

— А теперь скинь сковороду, я ружье повешу, — смеется Кезмо.

Фра Марко снял сковороду и стал делать яичницу. Турки сели, закурили. Большой отдохнул, напился лимонаду и почувствовал себя лучше. Он сидит, привалившись спиной к подушкам, и, весь дрожа, участвует в разговоре. Глаза его блестят лихорадочным блеском. Монах подал ракию и яичницу и занялся приготовлением кофе. Турки громко чавкают, заставляют есть больного, потягиваются и рыгают.

— А тут, часом, не жарилась свинина? — спрашивает Кезмо, поднося к носу уже пустую сковородку.

Фра Марко, склонившись над жаром, бурчит себе под нос:

— Набил брюхо, вот и мерещится тебе неведомо что.

— Что ты сказал?

— Нет, ага, нет. Нет у нас свинины.

Подает кофе. Кезмо сверлит его большими зелеными глазами.

— Слышал я, судья оштрафовал вас на двадцать грошей за то, что ему в плове попала куриная голова. Ну уж коли вы этому каналье отвалили двадцать, то мне причитаются все сорок.

— Я с деньгами дела не имею.

— Ха-ха, все вы так: не имею, не знаю, а у самих денег куры не клюют, стоит вас только прижать покрепче.

Но все обернулось шуткой.

Наступила ночь. Потягивая ракию, турки говорят о войне, о жалованье янычар. Большой то задремлет, то проснется и слушает. Фра Марко сидит в углу, поставив локти на колени и подперев голову ладонями, и тоже слушает.

Из разговора турок он постепенно узнал, что большой из Сараева и зовут его Осмо Мамеледжия, второй — Мехмед Плевляк. Оба они, как и Кезмо, янычары и стоят сейчас в Сараеве. В ожидании жалованья слоняются по окрестностям, а потом пойдут на Видин.

Кезмо вздохнул и описывает мост у Мустафы Паши, караван-сарай в Едренях, публичные дома в Стамбуле с гречанками и армянками.

— Красавицы, ну просто пальчики оближешь! Фра Марко и тот не устоял бы. Что скажешь, фра Марко?

— Пст... я такими делами не занимаюсь.

— А зря!

— Это не для нас. Кабы наша воля, мы бы все такие дома с землей сровняли.

Турки смеются. Больной тихо стонет во сне. У этих тоже слипаются глаза — устали с дороги да и выпили порядком. Фра Марко поднялся и залил водой жар в очаге.

На другой день больному стало хуже. Турки, опять уничтожив дюжину яиц, держат совет. Игумен старается избавиться от них, внушая им через фра Марко, что мусафирхана — неподходящее место для больного. Турки требуют лошадь. Понимая, что назад он лошадь не получит, игумен говорит, что лошади у них нет, предлагая взамен по пять грошей каждому. Турки соглашаются на том условии, что монахи присмотрят за больным. Заверив игумена, что завтра они придут за ним с лошадью, турки уходят.

Фра Марко в ярости — только этого ему не хватало!

— Явился сюда отлеживаться! Мало с меня здоровых басурмац, так на тебе еще хворого!

Игумен призывал его к благоразумию.

В первый день фра Марко даже не взглянул на турка. Ставил возле него каймак и хлеб и сразу удалялся.

Прошло три дня. Турки не возвращались. Больной день-деньской стонал и все чаще просил пить. У фра Марко вошло в обычай давать ему воду, потчевать молоком и вареньем. По нескольку раз на дню бросал он работу и бежал в мусафирхану проведать больного. Без конца ссорился с поваром, выбирая для него лучшие куски. Монахи заметили, как печется он о больном турке.

— Ну, как больной? — шпыняли они его при всяком удобном случае.

— Поддыхает, — бросал он на ходу. — Ступай погляди, если не веришь.

На самом же деле чем турку становилось хуже, тем больше он заботился о нем, тщетно стараясь скрыть это от окружающих и не признаваясь в том самому себе.

Больной почти не разговаривал. Как-то вечером фра Марко разжег огонь, намереваясь испечь просфоры. Пока нагревалась форма, он сидел у очага, щурясь на жар.

— Фра Марко, — вдруг позвал его Мамеледжия из своего угла.

— А?

— Кезмо еще не вернулся?

— Нет.

Молчание.

— Видно, хочет взять меня прямо в Сараево, потому... Догоревшие нижние головешки рассыпались, верхние

чурки, шипя и потрескивая, осели, взметнув на ф́ра Марко тучи искр. Приникшее пламя озарило комнату багровым светом.

— Не думай про Сараево и прочую ерунду...

И неожиданно для самого себя спокойно и без обычного своего заикания заговорил:

— А почему бы тебе, Осмо, не креститься? Уж коли суждено тебе помереть, то помрешь крещеным, а встанешь — будешь жить как человек, а не как неразумная тварь.

Турок не проронил ни слова. Безмолвный, недвижимый, он даже век не разомкнул.

С того дня ф́ра Марко без усталости уговаривал его, забыв о том, чем ему грозило возвращение турок. Вряд ли Мамеледжия смолчит о столь упорных попытках викария обратить его в свою веру. Во избежание насмешек он скрывал от монахов свои старания, но в душе твердо решил спасти душу Осмо Мамеледжии.

На все уговоры больной отмалчивался, по лицу его нельзя было понять, что у него на уме. Иногда ф́ра Марко казалось, будто он поддается, а порой — что турка ничем не проймешь и все его слова отлетают от него как от стенки горох.

Как-то утром в мусафирхану пришла женщина взять огонька. Подойдя к очагу, она присела на корточки, чтоб набрать жару, и шаровары, игриво колыхнувшись, легли волнистым кругом. Мамеледжия, лежавший в лихорадке и с безразличным видом слушавший речи ф́ра Марко о сладости покаяния и красоте христианской смерти, вдруг приподнялся на подушках и, сотрясаясь от дрожи, потянулся рукой к шароварам. В эту минуту вошел отлучавшийся ф́ра Марко. Увидев распростертого на полу турка, пожирившего глазами женщину и тщетно пытавшегося коснуться ее шаровар, он хотел было вскрикнуть, но голос изменил ему, и он пропищал что-то невнятное. Потом схватил стоящую в углу палку и заорал не своим голосом:

— Изыди вон, дьяволица!

Женщина вскочила. Ф́ра Марко выбил у нее из рук угли и выгнал ее из мусафирханы. Не понимая причины его гнева, она то и дело оборачивалась, напрасно уверяя его в том, что ее послали за жаром.

— Вон отсюда, сукина дочь! Только вздумай еще трясти здесь своими шароварами, палку сломаю об тебя! — кричал он, размахивая ей вслед своим оружием.

На Мамеледжию, который опять спокойно лежал на своем месте, фра Марко даже не взглянул. Только в полдень вскипятил молоко и, поставив его возле большого, сразу вышел из комнаты, бормоча:

— Фу, нехристь проклятый, никогда не узреть тебе лика божьего.

Но на другой день он снова сменил гнев на милость. С прежним пылом ухаживал за Мамеледжией, ежеминутно толкуя ему о вере и крещении. И даже почью ему приснилось, как он бьется с окружившими Мамеледжию чертями, разгоняя их палкой. Но, сражаясь, он никак не мог преодолеть какой-то странной скованности. А чертей было все больше и больше, все до ужаса косматые, только под суставами видна серая жилистая кожа. Фра Марко проснулся, встал посреди комнаты, у него болит рука. С трудом зажег свечу. Оказалось, он столкнулся с полки требник и фарфорового ангела, отбив ему кончик правого крыла. Фра Марко перекрестился и снова лег.

Мамеледжии все хуже. Он совсем не ест и, закрыв глаза, непрерывно стонет. Кезмо не возвращается. Игумен боится, как бы турок не умер в монастыре.

Однажды вечером Мамеледжия почувствовал себя лучше. Повеселел, оживился и все заговаривает с фра Марко, сучившим фитили для свечей. Слушая лихорадочные уверения турка в том, что ему полегчало, фра Марко подумал, что это, должно быть, перед смертью, и, подойдя к постели, вновь принялся обращать его в свою веру.

Он говорил страстно, увлеченно, сам удивляясь легкости, с какой лились у него слова. То он цитировал проповеди и церковные книги, то вдруг забывал про них и приводил свои собственные убедительные доводы.

— Ты что же, касатик, и на тот свет пойдешь с этим толстопузым Кезмо? Разве ты не видишь, как его раздуло от ракии и всяких непотребных дел? Ведь это сатапа во плоти! Под ним всегда врата ада, не сегодня-завтра разверзнутся, и он полетит прямо в кипящий котел. И ты с ним заодно!

Тут он рассердился, хотел было выругаться, но вовремя спохватился и принялся воскрешать образ сладчайшего Иисуса и пречистой девы Марии; с трудом подыскивая слова, живописал, как умирает христианин и как торжественно препровождают крещеную душу в царствие небесное, где ее встречают архангельскими трубами и бла-

гостными песнопениями, по сравнению с которыми все земные радости ничто.

Турок молчит, только веки его слегка подрагивают. Фра Марко склонился над ним в тщетной надежде проникнуть в его мысли — перед ним все то же ничего не выражающее тонкое овальное лицо, закрытые глаза и надутые, как у упрямого мальчишки, губы.

— Ты только скажи: «Помоги нам, Спаситель!» Ну скажи же, Осмо! — шепчет он как можно тише и ласковее. Турок молчит. Он тяжело дышит, кадык его судорожно дергается.

Полагая, что больному трудно говорить, фра Марко снял с висевших на поясе четок небольшое распятие и поднес к его губам.

— Поцелуй, Осмо, вот наш Спаситель, поцелуй его, и он простит тебе грехи и примет тебя.

Лицо турка чуть дрогнуло, веки трепыхнулись и он зашевелил губами, словно желая что-то сказать, но вместо этого еще больше надул губы и из последних своих сил плюнул. Плевков покатился по его подбородку.

Монах молниеносно отдернул крест, отскочил в сторону и, что-то бормоча, выбежал вон.

Огромен и однообразен шум летней ночи. Только в конце лета небо бывает такое низкое, а звезды такие крупные.

Фра Марко схватился за ограду. Скрипит штaketник. Кровь к голове все приливает и приливает. Взгляд его, миновав верхушки темных деревьев, устремился в глубину неба, туда, где звезды.

— Нет монаха хуже, чем я, — заговорил он, по своему обыкновению, сам с собой, — и нет турка поганее, чем этот Осмо. Я крещу его, а он — фу!

Фра Марко в отчаянии трясет ограду.

Но постепенно успокаивается. В глухой ночи, на глазах у бесчисленных звезд, им вдруг овладевает растерянность, и он забывается. Трепетание его тела словно передается окружающим предметам, и ему уже кажется, будто в кромешной тьме он неудержимо несетя по безбрежному морскому простору. Небо над ним заметно колеблется. Отовсюду слышен шум. Он еще крепче стискивает штaketник.

Городок и поля, монастырь и мусафирхана — все уместилось в этом большом божьем ковчеге.

— Знал я, что ты никого не забываешь, ни зайку ф́ра Марко, ни этого грешника Осмо Мамеледжию. Если кто и плюнет на твой крест, то разве лишь в дурном сне. И все равно в твоём ковчеге для всех есть место. Даже для этого безумца Кезмо, если б он не ушел...

В своем воодушевлении он уже не различает, говорит он или только думает. Но ясно видит: для всех и каждого есть место в большом господнем ковчеге, ибо бог не отмеряет ни аршином, ни весами. Теперь он понимает, как «грозный господь» правит миром, все понимает, хотя и не может выразить это словами. Одно недоступно его разумению — каким образом он, ф́ра Марко, неловкий и строптивый викарий, поставлен у кормила божьего ковчега. И он снова забывает о себе, обращаясь мыслями ко всему сущему, которое, находясь в вечном движении, неуклопно приближается к своему спасению.

Так проходят часы.

Холодный ночной воздух. Кровь в жилах застыла. Вдруг он почувствовал свои замлевшие ладони, крепко обхватившие колья. Ф́ра Марко расслабил пальцы и стал понемногу приходить в себя. Сейчас ему было так же холодно и неуютно, как в прежние годы, когда его, воспитанника духовного училища, будили еще до света. Наконец он выпустил из рук ограду, провел ладонью по сутане и неуверенным шагом вернулся в гостиницу.

Слабо мерцает оплывшая свеча. Турок, патянув одеяло до самых глаз, лежит лицом к стене. Ф́ра Марко снял со свечи нагар, развел огонь, вскипятил молоко и, подойдя к большому, дважды окликнул его. Турок не отзывался, и ф́ра Марко отвернул одеяло. Перед ним был холодный, заоченелый труп.

Поставив у изголовья покойника горшок с дымящимся молоком, он пошел за игуменом. На дворе уже совсем рассветло.

Хлопая дверьми, он миновал трапезную и двор и вошел в ризницу в тот момент, когда игумен облачался. Услышав, как хлопнула дверь, он обернулся и, не опуская раскинутых рук, посмотрел на ф́ра Марко поверх очков.

— Что там еще?

— Помер этот... турок в мусафирхане, — крикнул ф́ра Марко, сердито махнув рукой.

— Тише! — шикнул на него игумен, показывая рукой на алтарь.

Игумен забеспокоился. Едва отслужив мессу, он отправился в город заявить властям о смерти Мамеледжии и позвать турок, чтоб взяли тело и похоронили его согласно своим обычаям. Он знал, что в смерти турка заподозрят его и что от штрафа не отвертеться.

Фра Марко не хотелось возвращаться в мусафирхану. Он велел послушнику Мартину побыть возле покойника, а сам вместе с работниками пошел в поле окапывать свеклу.

Невыспавшийся и грустный, он тяжелым размашистым шагом шел по вспаханному полю.

Парни и девушки взялись за мотыги. Марко шел впереди, обрывая нижние листья, мешавшие росту свеклы. Он нагибался и, широко расставив ноги, обрывал листья, а когда набиралось много, клал их в сторонке. За ним, примерно с равными промежутками, оставались кучки листьев. Иногда он выпрямлялся и смотрел на видневшийся за полем большой темный монастырь с маленькой белой мусафирханой. Там лежал покойник, душу которого он не сумел спасти. И фра Марко быстро нагибался и обрывал листья, а потом, освободив стебель от непужных листьев, пропускал его сквозь ладони и хорошенько встряхивал.

— Ну, расти с божьей помощью. Жрал каймак, пил ракию, а крест и покаяние не пожелал принять... Ну, расти. И да поможет тебе господь!

В середине дня он увидел игумена, шедшего в сопровождении имама и двух черных, как жуки, турок. А когда выпесли покойника, он опять нагнулся и принялся с небывалой горячностью обрывать листья.

— Ну, счастливо, господи помилуй...—повторял он машинально, но мысли его снова обращались к покойнику: — Спасен — не спасен, ухаживал я за ним и полюбил... как брата.

Не успел он разогнуться, как к голове опять прихлынул кровь. Сопя и тяжело дыша, он молился за душу Осмо Мамеледжии, «где бы она ни была».

И только временами поднимал голову и покрикивал на парней, задиравших девушек:

— Копай, бездельник! Чего к девке пристал? Видали такого!

И снова принимался обрывать листья и молиться.

ВРЕМЕНА АНИКИ

В шестидесятых годах прошлого столетия смутная, но страстная тяга к знаниям и лучшей жизни, с ними связанной, проникла в самые отдаленные уголки нашей земли. Ни Романия, ни Дрина не могли послужить препятствием тому, что тяга эта проникла в Добрун и заразила священника Косту Порубовича. Отец Коста, человек уже в годах, обратил свой взор на своего единственного сына Вуядина, бледного и боязливого мальчика. И решил во что бы то ни стало дать ему образование. Через своих друзей, сараевских торговцев, ему удалось послать сына ни мало, ни много как в Карловац «ухватить хоть два годочка богословия». Столько он и проучился, так как в конце второго года поп Коста скоропостижно умер. Вуядин вернулся домой и, женившись, принял отцовский приход. Жена родила в первый же год, правда, девочку, но жизнь у них еще впереди, и все говорило о том, что Порубовичам долго еще вести приход в Добруне.

Только вот неладно что-то было с попом Вуядином. Трудно было сказать что-нибудь определенное, и никто толком ничего не мог вразумительно объяснить, но все чувствовали какую-то натянутость в отношениях между новым попом и прихожанами. Натянутость эта не могла быть отнесена за счет молодости и неопытности попа Вуядина, потому что с годами она не сглаживалась, а, напротив того, усиливалась. Поп Вуядин, высокий и красивый, как все Порубовичи, был худой, бледный, необычайно замкнутый и молчаливый, с какой-то старчески-холодной мертвенностью в глазах и в голосе.

Перед самой австрийской оккупацией попа Вуядина постигло несчастье: вторыми родами умерла его жена.

После этого поп Вуядин и вовсе отгородился от мира. Девочку отослал к жениной родне в Вышеград, а сам остался жить отшельником, почти без всякой прислуги, один в своем большом доме у добрунской церкви.

Он справлял необходимые обряды, безотказно отпевал покойников, крестил и венчал и служил молебны по желанию, но никогда не разговаривал и не выпивал с крестьянами на церковном дворе, не шутил с молодухами, не торговался, принимая плату за требы от своих прихожан. Люди, и вообще-то недолюбливающие хмурых молчаливиков, а уж тем более желающие иметь священником человека жизнерадостного и словоохотливого, никак не могли привыкнуть к отцу Вуядину. Любой другой недостаток они бы ему легче простили. Женщины, создающие на селе добрую или худую славу, говорили, что у попа всегда глаза на мокром месте и что им тошно в церковь идти, и при этом всегда вспоминали «бедового батюшку Косту».

— Никчемный он, пустой человек, — сокрушались крестьяне, сейчас же вспоминая родителя попа Вуядина, батюшку Косту, грузного, веселого, умного и язвчатого священника, прекрасно ладившего и со своими прихожанами, и с турками, и с малым и старым и своей смертью вызвавшего общее горе. Старики помнили еще и Вуядинова деда, отца Якшу, прозванного Дьяконом. И этот был совсем другого рода человек. В молодости гайдучил и никогда этого не скрывал. Спросит его кто-нибудь: «Отчего это тебя, батюшка, Дьяконом называют?», а он и отвечает с доверчивой усмешкой:

— Э, сынок, был я еще дьяконом, когда подался в гайдуки, а так как каждый гайдук должен иметь свою кличку, то меня и прозвали гайдуком Дьяконом. Прилепилось ко мне это прозвище вместо имени. А когда годы, как палки пса, остудили мой пыл, людям неудобно стало называть меня «гайдуком»; так и отпала первая часть моей клички, наподобие лягушачьего хвоста, и остался я просто Дьяконом.

Это был старик с буйной гривой волос и окладистой пышной бородой, не побелевшей до самой его смерти, так и оставшейся рыжей и непокорной. Горячий, необузданный и крутой, он и среди прихожан и среди турок имел и преданных друзей, и заклятых врагов. Он любил выпить и до самой глубокой старости не чурался женщин. Но, несмотря на все это, его любили и уважали.

Ведя нескончаемые шумные беседы за чаркой хмельного, мужики никак не могли уяснить, отчего это их батюшка не пошел ни в отца, ни в деда. А поп Вуядин все больше предавался своей одинокой вдовой жизни. Поредела его борода, волосы на висках посеребрила седина, щеки впали и посерели, так что его крупные зеленые глаза и пепельные брови сливались с землистым цветом кожи. Прямой, высокий и негнувшийся, он говорил лишь в случаях крайней необходимости глухим, бесцветным, ровным голосом.

Первый относительно образованный священник в роду, вот уже целое столетие обслуживающем добрунскую церковь, Вуядин и сам сознавал все несоответствие своего нрава и поведения занимаемой должности и прекрасно понимал, чего от него ждет и хочет народ. Он знал, что они ждут от него прямо противоположного тому, что он может дать и что он собой представляет. Это сознание постоянно мучило его, но оно же сковывало его при всяком соприкосновении с людьми и делало ледяным и неприступным. И мало-помалу привело к глубокой и непреодолимой ненависти к ним.

Тоска и тяжелые лишения его одинокой жизни непреодолимой преградой встали между ним и прихожанами. И раньше он страдал от невозможности сблизиться, сойтись, сдружиться с людьми. Теперь его страдания удвоились, ибо появились вещи, которые отец Вуядин должен был сознательно скрывать от окружающих, а это заставляло его еще больше уходить в себя. И раньше каждый взгляд и каждое слово, которыми он обменивался с кем-нибудь, были для него непереносимой мукой и болезненным раздвоением личности. Теперь это стало представлять собой опасность. А боязнь выдать себя делала отца Вуядина еще более неуверенным и подозрительным.

Отвращение его к людям росло, наслаивалось и отравляло его сознание тайным ядом беспричинной и безотчетной, но вполне очевидной ненависти, непрерывно расширяющей свой круг. В этом состояла скрытая от глаз жизнь попа Вуядина. Он ненавидел себя и свои муки, муки одинокого вдового попа. Ибо бывали такие дни, когда он, суровый, седовласый, часами простаивал, спрятавшись за оконную раму, в надежде улучшить минуту, когда деревенские бабы пойдут на реку стирать белье. И, проводив их долгим взглядом за густой ивняк и отпрянув от окна, с отвращением кидался в духоту.

непротренированной и необставленной комнаты, изрыгая им вслед самые гнусные ругательства. Неукротимая ненависть подкатывалась к самому его горлу, перехватывала дыхание. Не зная, как излить, как выразить свою ярость, он начинал неистово плевать. Опамятавшись и уловив в застывшем воздухе последние свои проклятия и бешеные жесты, он с чувством ледящего ужаса, морозом пробравшим его по черепу и вдоль позвоночника, с потрясающей ясностью видел, что это начало его безумия и гибели.

Усугубляя разрыв его с миром и раздвоение его собственной личности, приступы этой необъяснимой ярости делали поистине невозможным выполнение им должности духовного отца. Ибо через полчаса после такого приступа он вынужден был разговаривать с крестьянами и, бледнея и отводя глаза, отвечать осевшим голосом на их бесчисленные вопросы, назначать дни крещений, венчаний и служб. Он сгибался под тяжестью обличающего различия между тем, кем он недавно был, и теперешним отцом Вуядином, беседующим с прихожанами на церковном дворе, ежился и сжимался от внутренней муки, грыз кончики усов, ворошил волосы, едва удерживая себя, чтобы не пасть на колени перед крестьянами и не завопить: «С ума схожу!»

Но, продолжая разговаривать с прихожанами, он думал о том, что сейчас они сравнивают его с покойным отцом и с другими его предками. И в нем поднималась ненависть и к покойному его отцу, и ко всему их роду.

Так уж получалось, что все, с чем бы ни столкнулся отец Вуядин, разжигало и распяляло его тайную ненависть. Она росла в нем с каждым днем одиночества, равно как и от каждого соприкосновения с людьми. Пока наконец не стала его сутью, полностью завладев его помыслами, поступками и душевными движениями. Эта ненависть заслонила от него весь божий мир, стала его подлинной жизнью, живей всего живого, единственной реальностью, в которой он обитал. Застенчивый, как истинный отпрыск старого доброго рода, правдивый и честный, он, сколько мог, скрывал от людей свое состояние. Постоянно распятый между двумя мирами, он производил над собой нечеловеческие усилия, стараясь не упустить из вида тот, который виден здоровым людям, и соразмеряться в поведении своем именно с его мерилami, а не со своими внутренними побуждениями. Но однажды случилось и это, после чего Вуядин окончательно пере-

шел черту, к которой его неуклонно, годами толкало не-
удержимое безумие.

Случилось это на пятый год его вдовства. В то утро отец Вуядин пошел на поле, расположенное на припеке под самыми скалами. И пробыл у пахарей до обеда. А на обратном пути на поляне под соснами у дороги неожиданно увидел компанию иностранцев из города. Это были инженер, два австрийских офицера и две женщины. Поодаль от них слуги стерегли коней. Господа расположились на разостланных одеялах: мужчины без головных уборов, в расстегнутых кителях, женщины в легких, ослепляюще белых платьях. Пораженный этим зрелищем, поп Вуядин, помедлив мгновение, осторожно поднялся выше по склону и спрятался за кривой пригнутой к земле сосной. Его прошиб пот, сердце сильно колотилось в груди. Никем не замеченный, он неотрывно смотрел на людей, сидящих внизу и видных ему искоса и сверху. Эта картина смущала и волновала его, словно видение какого-то сна. И, как это бывает во сне, казалось, была чревата самыми невероятными преобразованиями. Иностранцы закусывали и выпивали из блестящего металлического стакана, пускаемого по кругу. И стакан этот тоже волновал его. Вначале Вуядин боялся, что его обнаружат, ясно отдавая себе отчет, как это было бы неловко и конфузно, если бы иностранцы увидели попа, глазеющего на женщин из-за корявой сосны. Но мало-помалу мысли о приличиях и соблюдении достоинства совершенно покинули его. Проходили часы. Он не знал, сколько времени так простоял, машинально колупая ногтями кору. Наконец та, что помоложе, молодая девушка по виду, поднялась и с двумя офицерами по крутой тропинке направилась в лес. Они прошли под ним, так что он мог видеть их макушки. Девушка шла, неловко опираясь на палку и покачивая бедрами, а на ее лице, белом и обветренном от верховой езды, горели пунцовые пятна, обычные у молодых здоровых девушек после обильной еды на свежем воздухе в погожий день. А те двое, под соснами, легли, прикрывшись краем одеяла, на котором сидели.

И, как бы дождавшись завершения действия, поп вздрогнул и, сбросив оцепенение, побрел домой, старательно обходя лежавшую пару и прячась от глаз троих, поднимавшихся тропинкой в гору.

Полдень давно уже прошел. На вопрос своего слуги Радивоя, отчего он так задержался, Вуядин пробормотал

что-то невразумительное, не в силах собраться с мыслями и как-то связно объяснить свое опоздание к обеду. Он расхаживал по пустому дому и чувствовал на своих плечах свинцовую тяжесть этого дня, себя самого и земли, жегшей его ступни раскаленными углями. Он сам был высушим деревом. Пальцы слипались от смолы. Жажда терзала его. Веки смыкались. Ноги не слушались. Наконец его сморил тяжелый послеобеденный сон.

Проснулся Вуядин совсем разбитым. Смутной болью всплыло в нем воспоминание о компании иностранцев в лесу. Он вышел из дома и пошел напрямик, через каменную осыпь, к сосновому бору. Солнце зашло. На той поляне никого не было. Скомканые бумажки и станиоль, разбросанные в траве, тускло поблескивали. В мягкой земле различались еще следы женских ног, глубокие, косые и, на его взгляд, такие невероятно маленькие! Он пошел по этим следам, мешавшимся со следами мужских ног и конских копыт. Но Вуядин внимательно следил за ними, на мгновения теряя их из виду и снова находя. Он шел, словно в тумане, все ниже пригибаясь к земле, как бы что-то отыскивая или собирая. Кровь прилила к голове, заодно с темнотой сбивая его с пути и заслоняя следы. Так он пришел к развилке, где кончалась тропа и начиналась дорога. Тут они, должно быть, сели на коней. А теперь здесь было пусто и совершенно темно. На фоне еще светлого неба вырисовывался покосившийся дорожный столб.

Вуядин пробирался исхоженной тропой, держась оград и выжженных солнцем обочин, осыпавшихся под ногами. Ночь безоблачная, но духота не спадает. Дышать тяжело, как будто над головой железный свод. Он перешел через журчащий поток, не дававший ни прохлады, ни свежести. И оказался в своем сливняке возле дома, смутно различавшегося в потемках. Отупевший от усталости, он опустился на землю. А едва немного отдохнул, воспоминания о виденных сегодня женщинах снова нахлынули на него, а вместе с ними и сомнение: действительно ли он их видел или просто грезил о них? Совершенно, казалось бы, безобидная мысль не давала ему покоя. Он вскочил в невероятном возбуждении. Действительно он видел их, или это только грезы? Конечно, видел. И он хотел было сесть, но передумал и еще раз огляделся вокруг.

Кругом была крошечная тьма, глухая, давящая деревенская тьма. Беспомощным и жутким стоном отзовется в ней порой последний одинокий отзвук дня перед тем, как потонуть в ночи, враждебной ночи без рассвета. И снова болезненным тиком в висках стучит вопрос: действительно ли там были женщины или это плод его воображения? От этой мысли дрожь сотрясла его тело; оглядевшись оторопело вокруг, он снова устремился к тому месту, где только что был. Спотыкаясь в потемках, добрался кое-как до перекрестка и схватился за дорожный столб. Нагнулся и принялся ощупывать руками утрамбованную глину, увлажненную разлившимся потоком. Упав на колени, он в темноте нашаривал руками отпечатки женских каблуков, трясаясь от страха и нетерпеливого желания увериться, что же это было — реальность или сон? Но его дрожащие, пылающие пальцы не могли убедить его ни в чем.

— Я видел их. Это были живые люди и женщины с ними, — нашептывал он про себя, но продолжал лихорадочно обшаривать землю в поисках следов и пронзать взглядом тьму, пытаюсь разглядеть те самые бумажки, которые он явственно видел в сгущавшихся сумерках или думал, что видел. В конце концов он должен был оставить поиски. В свой сливовый сад он вернулся как обреченный, окончательно утративший веру в свои органы чувств. Здесь он повалился навзничь на колкую и не остывшую еще траву. И долго так лежал, раскинув руки, как распятый, прикованный к земле непомерной тяжестью своего собственного тела. Из горячечного забытья его вывели голоса. У Тасичей на гумне пылал костер, его окружали люди. В отблесках огня мелькали мужские и женские лица, возникая в кругу света и снова растворяясь во тьме, куда их уводила работа. Голоса звучали то громче, то слабее, но слов из-за рокота потока за дорогой и полем, которые отделяли его от костра, разобрать было нельзя.

Тасичи собирались просеивать пшеницу. Так обычно делали в знойную пору, когда днем стояло полное безветрие и мякину совсем не относил. Дожидались ночного ветерка, и около девяти часов вечера он непременно задувал из ущелья в Скалах даже во время самой тяжелой жары.

На краю гумна горел костер. Держа зажженные лучины в высоко поднятых руках, девушки светили работникам; длинные белые рукава свисали с поднятых рук;

девушки стояли как вкопанные, лишь изредка перемещая лучину из одной руки в другую. Мужчины махали лопатами. В алых отсветах костра пшеница взлетала вверх, зерно тяжелым дождем возвращалось на гумно, а мякина, подхваченная легким ветерком, уплывала во тьму и там рассеивалась.

Людские голоса вывели Вуядина из оцепенения. Возбуждение, накапливавшееся в нем весь этот день, вскипело вдруг и достигло предела. Трясаясь в ознобе, он глухо бормотал:

— И ночью нет покоя, вертятся тут в потемках, лучинами мельтешат, метут подолами.

Утреннее видение женщин, за которыми он наблюдал из-за покосившейся сосны; поиски следов, теряющихся в темноте; и вот теперь эта непроглядная ночь с внезапно распахнувшимся в ней зоревым пылающим окном с призраками машущих лопатами мужчин и мелькающих женщин — это все и есть его тайная явь, отравленная горечью и мукой, питающая его ненависть. И в ней нет даже намека на другую истинную реальность, в которой отец Вуядин служит в церкви, совершает требы, разговаривает с прихожанами, по базарным дням идет в город, а женщины и перепуганные дети спешат уступить ему дорогу и прикладываются к его руке. Нет ничего, что бы отрезвило его и помешало ему послушаться голоса его безумия.

По-прежнему бормоча себе что-то под нос, поспешным шагом преследуемого человека он прошел свой сливняк и, ворвавшись в дом, погруженный во тьму, очутился у окна, глядевшего на церковный двор и гумно Тасича. Натыкаясь на мебель, как бы переставшую для него существовать, Вуядин нащупал на стене охотничье ружье, всегда заряженное. И, даже как следует не прижав его к плечу, выстрелил в направлении освещенного костром гумна. Приклад дернулся, приятно поразив его стремлением вырваться из рук и полететь, и сильно ударил в грудь. И отдача тоже понравилась ему. Он еще раз нажал на спуск. На этот раз на гумне поднялся визг, крики о помощи. Лучины метнулись и попадали, люди разбежались, и только костер одиноко горел в стороне. Послышались и мужские голоса. И все это перекрывал протяжный старческий вопль:

— Йова, сыночек, убивают!

Пули, пущенные им в ту ночь на гумно Тасича, оповещали о полной и окончательной победе той скры-

той жизни, которой столько лет сопротивлялся и которую столько лет мучительно таил от посторонних глаз отец Вуядин. И по той же восторжествовавшей в нем новой логике вещей поп, напарив на полке большой, фочанской работы нож, стиснул его в руке и ринулся в ночь.

Он перешел вброд Рзав, в это время года мелкий и теплый. В изнеможении, тяжело дыша, он рухнул на песок под молодыми ракетами. И здесь, не переставая что-то монотонно бубнить, долго сидел, остужая водой грудь и лоб, словно споласкивал рану.

Назавтра по окрестным селам и в городе распространилась весть, что отец Вуядин в приступе безумия стрелял в людей, работавших у Тасича на гумне, и ушел в лес по ту сторону Рзава. Во все это было трудно поверить, и никто не был в силах понять это и объяснить. В особенности не могли прийти в себя от изумления горожане, ценившие попа Вуядина несравненно больше, чем его сельская паства. Но и мужики, принимавшие все сдержанней и проще, по-своему его жалели и недоумевали. Был базарный день. Крестьянки, идущие в город или из города, останавливались при встрече и, обменявшись обычными приветственными словами, тут же переводили разговор на попа Вуядина, крестьясь и моля «единого, всемогущего и милостивого бога» уберечь от пенависти и своих и чужих.

Город наводнен был тогда жандармами и солдатами карательного корпуса, выслеживающими невесиньских повстанцев. Все они поднялись на поиски отца Вуядина. Крестьяне то и дело сообщали о том, что видели его там-то и там-то в лесу, оборванного, босого, простоволосого, с ножом, дико озирающегося вокруг. Но когда наряд прибывал на место, от попа там не было уже и следа. Ночью в горах он пугал пастухов, а когда те в панике разбегались, грелся возле их костров. Однажды имепно костер его и выдал. Костер увидели издали, и, когда жандармы уже перед самым рассветом подкрались к нему, Вуядин, сморенный усталостью, спал у тлеющих углей. Он так отчаянно сопротивлялся, что его пришлось связать.

Утром Вуядина провели через город. Руки ему скрутили за спиной (концы цепи держали жандармы), он шел каким-то неестественным быстрым шагом. Шел с непокрытой, закинутой назад головой, так что его длинные седые космы рассыпались по спине. Нижняя губа прикушена,

глаза полузакрыты. В его обращенном к небу лице не было ничего безумного, а было что-то ужасно болезненное и страдальческое. И только налитые кровью глаза, когда он их открывал, смотрели на мир мутным бессмысленным взглядом. Все до единого его жалели. Женщины плакали. Власти находились в замешательстве. Пробовали развязать его, но он тут же бросался бежать. Так связанным его и переправили в Сараево. Тут, в большой больнице на Ковацах, в полутемной клетушке он прожил еще десять лет, не сознавая ни себя, ни окружающего.

С несчастным отцом Вуядином род Порубовичей угас. Добрунский приход занял человек со стороны. Отца Вуядина забыли прежде, чем он скончался в сараевской больнице. По селам вспоминали о нем лишь изредка, когда к слову придется. («Это было тем летом, когда поп Вуядин рассудком помрачился...») В городе трагическая судьба Вуядина произвела более сильное впечатление, и о ней еще долго потом толковали и думали. Она поражала чудовищной невероятностью, и в сострадании к участи священника крылась известная доля невольного страха за себя и своих близких. Каждый бессознательно старался найти причину и разгадку беды, постигшей попа, и тем успокоить свою душу и отогнать черные мысли. Но сколько ни бились в торговых рядах, отыскивая в жизни попа Вуядина что-нибудь особенное и из ряда вон выходящее, — придумать ничего не могли. Жизнь попа Вуядина представляла перед ними простой и необъяснимой: невеселый ребенок, замкнутый юноша, незадачливый муж. Но наконец и в городе стало бледнеть воспоминание о нем и его страданиях, но прежде, чем кануть в забвение и исчезнуть совсем, оно всколыхнуло в памяти другие печальные события из давно прошедших времен. Частые упоминания семейства Порубовичей привели не только к деду и отцу попа Вуядина, но и дальше, к его прадеду, некогда известному добрунскому протоиерею Мелентию, а от него и к *временам Аники*.

Мулла Ибрахим Кука первым вспомнил об Анике. Он любил напускать на себя ученый и глубокомысленный вид, хотя на самом деле был праздным и добродушным невеждой, живущим за счет авторитета и достоинства своего деда, славного мутевелия Муллы Мехмеда, человека

ученого и мудрого, достигшего ста и одного года. В книгах и сочинениях, оставшихся после Муллы Мехмеда, было и несколько пожелтевших тетрадок с его собственными записями о том, что происходило в городе, и о том, что, как он слышал, делалось в мире. Здесь отмечались наводнения, недороды, близкие и далекие войны, затмения Солнца и Луны, чудесные небесные знаки и явления и прочие события, возмущавшие спокойствие города и его обитателей. Наряду с сообщением, что в некоем немецком городе родился дьявол, что его заключили в бутылку не больше пяди и что толпы народа имели возможность его видеть, была запись об одном христианском генерале по имени Буанарт, вторгшемся в пределы Египта с безумным намерением воевать с султаном. А несколькими страницами дальше после сообщения о возмущившейся в белградском пашалуке райе, сбитой с пути истинного гнусными подстрекателями, шла запись следующего содержания:

«В тот самый год загуляла в городе одна девка, неверная (убей господь всех гяуров!), и в такую силу вошла в своей мерзости, что на всю округу прогремела. Уйма народу у нее перебивало, всяких — и молодых, и старых, и несчетно зеленых юнцов она перепортила. И власть и закон на колени поставила. Но и ей пришлось возмездие, и пала она под карающей рукой. И снова воцарился мир в городе и вспомнили люди заветы божьи».

Мулла Ибрахим прочитал в лавке эту запись, и стали старейшины вспоминать слышанные в детстве рассказы своих прадедов; так и обновились в памяти людской давно забытые времена Аники.

Вот как это было.

1

Давно ушли в забвение времена, когда Аника объявила войну всему люду крещеному и всем духовным и светским властям, а паче всех — добрунскому протопопу Мелентию. Но некогда о событиях тех лет много судили и рядили, и в разговорах время часто отсчитывалось от той поры, «когда Аника буйствовала по округе».

В городе, где все жители похожи друг на друга, как овцы в отаре, случалось, появится один, словно семечко, занесенное ветром, скроенный на свой лад, и давай

вносить раздоры и смуту, утихавшие только тогда, когда удавалось подсесть его под корень и тем вернуть городу мир.

Отец Аники был Маринко Крноюлац, пекарь. В молодости он славился своей почти женской красотой, но рано постарел и опустился. Было ему около сорока, когда, обходя свой сливняк за городом, на том берегу реки, он наткнулся на прохожего крестьянина, подбиравшего с сыном сливы. Маринко прикончил его на месте колом. Мальчишка убежал. Маринко в то же утро взяли жандармы. В Сараеве его осудили на шесть лет каторги. Те, кому довелось быть в Сараеве, передавали потом, что видели, как он, гремя оковами, таскал с другими каторжниками известь на Желтый бастион. Четыре года отбыл бывший пекарь на Видине на каторге. А вернувшись, привел с собой жену, так как старая его жена, с которой у него не было детей, умерла, пока он был на каторге. Крноюлац снова стал заниматься пекарным делом и жил мирно, как до случившейся с ним беды.

Вторая его жена, Анджа, была намного моложе Маринко, худая, согнутая в пояснице, с мученическим смирением, написанным на ее лице, и изысканной пугливостью в повадках. Ее недолюбливали и не понимали. Подозревали, что Маринко подобрал ее где-то на каторге, отчего и прозвали Анджу Видинкой. Напрасно Маринко доказывал, что это не так, что его жена дочь пекаря, у которого он работал некоторое время после отбытия каторги.

Это была мать Аники. У Маринко был с ней еще и сын, старше Аники. Белолицый, стройный и высокий мальчик, с чудесными лучистыми глазами, но слабоумный. Звали его Лале. Вырос он возле матери, а потом помогал отцу в пекарне; с молодыми парнями не водился, не пил, не курил, на девушек не заглядывался.

Как родилась и подрастала Аника, никто не помнил в точности.

Подле необщительной и молчаливой матери росла худая и длинноногая девочка с огромными глазами, полными недоверчивого высокомерия, и ртом, всегда готовым искривиться в плачущей гримасе и казавшимся чересчур большим на ее лице с мелкими чертами. Девочка все вытягивалась в рост. Мать повязывала ей голову платком, на особый манер, так что ни единый волосок не был ви-

ден, отчего та казалась еще более странной и худой. Угловатая и ершистая девчушка ходила вечно сутулая, словно бы стесняясь своего роста, с презрительно поджатыми губами и опущенным взглядом. Понятно, что на пекарскую дочку никто не обращал внимания, тем более что при своей непривлекательности из дома она выходила редко, да и то не дальше отцовской пекарни и обратно.

Богоявление в тот год с непомерно ранней, длинной и сырой зимой выдалось без снега и без льда. Процессия шлепала по грязи. Блестели иконы, хоругви и кадила, слепя глаза на преждевременном и нездоровом солпце. Вода, из которой вынули крест, была совсем безо льда, по-весеннему зеленая и беспокойная.

При входе и выходе из церкви всем бросилась в глаза пекарская дочь. Еще недавно худая и сутулая, она, оставшись такой же стройненькой, побелела лицом, выпрямилась и округлилась за зиму; глаза стали больше, рот меньше. На ней была атласная шубка какого-то необычного покроя. Люди оборачивались ей вслед. Многие расспрашивали, чья это девчушка, что ходит в церковь одна. Она и вправду казалась чужой, приехавшей откуда-то из дальних мест.

Аника между тем плавно прошла сквозь толпу в своем новом обличье и новой поступью, при этом она не смотрела ни на кого из тех, кто пялил на нее глаза, а устремила свой взор прямо на церковные ворота, куда она и направлялась. Там она встретилась, едва не столкнувшись, с Михаило Николиным, по прозвищу Чужак. На какую-то долю мгновения, он несколько дольше, они замешкались в проходе и разошлись, почти одновременно переступив через порог.

В следующее после богоявления воскресенье они снова встретились в тех же воротах, и при этом не совсем случайно. Михаил поджидал ее и подошел к ней. Пораженные чудесным и внезапным преображением Аники, люди удивлялись также и Михаилу, до сих пор не замечавшему ни одну из своих сверстниц и вдруг так выделившему Анику. В городе только и разговоров было что о пекарской дочери, которая так внезапно заневестилась и всем своим обликом и даже одеждой так сильно отличалась от всей женской половины горожан.

Первое ее появление на людях смутило не только городских обитателей, но и саму Анику. Она как бы

впервые осмотрелась вокруг. И, словно бы только сейчас заметив свое тело, стала его нежить и холить.

Весна в тот год выдалась капризная, недружная. В хорошую погоду Аника выходит во двор, дышит полной грудью, веки трепещут; потом, утомившись от ходьбы, идет в дом, но в доме ее передергивает озноб, и она снова спешит во двор. А когда солнце зайдет за ограду, она, поеживаясь, убегает от надвигающейся тени, забирется как можно выше, чтобы поймать последний отблеск солнца. В хмурые дни Аника не выходит из комнаты, затопит печку и сидит перед ней, уставившись в огонь. Расстегнет платье и греет руку под грудью, выступающей над худенькими девическими ребрами. Здесь у нее самая гладкая кожа. Так она сидит часами, с рукой за пазухой, и смотрит на огонь и на глазницы отдушин в печке, и все ей будто что-то говорит и она как будто отвечает. А окликнут ее — Аника вздрогнет, точно проснувшись, нехотя вынет руку из-за пазухи и выйдет на зов. А потом, вернувшись и усевшись снова у огня, долго не может удобно устроиться; все ей кажется, что никак не удастся отыскать то место, где она держала руку, как будто что-то дорогое уронила в воду.

Так и жила дочь Крноелича, занятая лишь мыслями о себе, замкнутая, равнодушная ко всем, с каждым днем все пышнее и ярче расцветая. Так проходила мимолетная и таинственная пора ее девичества, лето, осень и снова зима. В воскресенье и по праздникам Аника появлялась в церкви, сопровождаемая немощной и бледной соседкой. Сперва Михаило регулярно встречал ее в воротах, обмениваясь с ней несколькими словами. Но мало-помалу стали подходить и другие парни. Статная, красивая девушка, выросшая из бывшего пугливого и худого пекарского цыпленка, в ту зиму стала главным предметом мужского вожделения и жепских разговоров.

Той же зимой умер Маринко. Его сын Лале продолжил его дело. Невзирая на молодость и слабоумие, он оказался хорошим работником и сумел удержать отцовских клиентов.

Анджа, и до этого жившая, как тень, еще больше согнулась и усохла. Дочь, никогда не баловавшая ее ни лаской, ни доверием, сейчас находилась в том возрасте, когда девочки себялюбивы, замкнуты, непочтительны и бессердечны с родными и близкими. Не было больше того единственного человека, который связывал Анджу с горо-

дом. Она совсем перестала говорить. Не плакала. Только озиралась вокруг каким-то потерянным взглядом. Не нужно было никакой болезни, чтобы ее погасить. Летом того же года она скончалась. Аника не успела еще снять траур по отцу.

В дом, чтобы девушка была не одна, переселилась тетка Плева, сводная сестра покойного Маринко, престарелая и полуслепая вдова, имевшая бурную и несчастную молодость, однако это было столь давно, что никто, в том числе и она сама, не мог бы в точности сказать, в чем состояли ее муки и несчастья. Так Аника и жила теперь с теткой и придурковатым братом. Смерть родителей, образовавшаяся вокруг нее пустота, траур, который она носила,— все это только ярче подчеркивало ее невиданную красоту и необыкновенный нрав.

Она была на голову выше брата. Но все еще продолжала расти и развиваться. И постоянно приобретала новые черты. В темных глазах появился фиолетовый оттенок, взгляд стал смелым, кожа матовой, движения плавными и женственными. Город судачил о замужестве Аники. Об этом же намекали ей и парни возле церкви. Она их всех выслушивала молча, дольше других позволяя говорить Михаилу, но сама не отвечала ничего определенного. Голос у нее был глубокий, грудной, говорила она, почти не размыкая своих красиво очерченных, пухлых, но несколько бледноватых еще губ. По большей части односложные слова, роняемые ею, забывались с затуханием звука и не оставляли никакого следа. В памяти у каждого гораздо сильнее, чем голос и слова, запечатлевалась ее красота.

И чем необъяснимей и загадочней вела себя девушка, тем с большим жаром обсуждали жители ее замужество, с самого начала чаще всего связывая с ним имя Михаила.

Михаило объявился в городе шесть лет назад в качестве приказчика Николы Субботича, два года перед тем проработав в лабазе того же Субботича в Сараеве. Газда Никола промышлял скотом и кожами, и при его везении быть бы ему первым из первых, если бы не две его пагубные страсти: болезненная непоседливость и азарт. Совсем молодым остался он вдовцом и больше так и не женился. Нигде не мог он найти себе покоя. Человек незаурядной смелости и исключительной силы и ума, газда Субботич был удачлив и в делах и в игре. Необычайно повезло ему и в том, что восемь лет назад в Сараеве он

взял этого самого Михаило сначала на службу, а потом и в долю на третий грош. И пока сам газда Никола скитался в погоне за своим игрецким счастьем, от которого в конце концов ничего в руках не остается, Михаило стерег дом и лабаз в Вышеграде, ведя дело скромно, но наверняка и честно деля выручку. Этим он в конечном счете покори́л город. Ибо на первых порах его, как всякого пришельца, приняли с неприязнью и недоверием. Но он добился того, чем только и можно было завоевать расположение города: прочного финансового положения.

Он жил один в доме своего компаньона, хозяйство вела старушка, удержавшаяся еще с той поры, когда газда Никола был женат. По существу все торговое дело, как и бремя ответственности, лежали на плечах у Михаило, грамотного, сметливого и безраздельно преданного своим обязанностям. Вообще же он старался ни в чем не отличаться от прочих горожан. Отправлялся в холостую компанию, пил с ней и пел. Многие пытались женить Михаило, но он всегда отшучивался или отмалчивался. Тем более поразительным было его внимание к Анике позапрошлой зимой, их встречи и разговоры, и уж совсем ошеломил всех их внезапный разлад этой весной. Люди не могли понять, что произошло между этой горячкой дочерью Крноелича и молчаливым Михаило, о котором, впрочем, тоже никто ничего не знал, и все только терялись в догадках. (Между тем хоровод молодых людей вокруг Аники становился все теснее и нетерпеливее, и о Михаило постепенно перестали говорить.) Ни одна живая душа в этом захолустье не догадывалась о том, что разлучило Михаило и Анику, ибо никто не мог себе вообразить, что скрывается за видимостью сдержанного и работающего компаньона газды Николы.

Семья Михаило была из Санджака. Еще его дед из Новой Вароши переселился в Призрен. Исстари были они оружейниками. В Призрене его отец нажил своим ремеслом приличное состояние, а один из дядей по отцу стал священником. И Михаило тоже хотели пустить по богословию, так как он был грамотный и любил читать. Это было хилое дитя четвертого поколения оружейников, вследствие однообразия занятий и благополучия пришедшего к несомненному вырождению и изнеженности. Одна-

ко преждевременная смерть отца заставила Михаило остаться при оружейном ремесле и вместе со старшим братом продолжить родительское дело.

После смерти отца они со старшим братом работали и жили вместе. Брату Михаило было к тому времени двадцать три года, но он ни сам не хотел искать себе невесту, ни брату не позволял жениться не в очередь. Насильственное воздержание доставляло Михаило жестокие терзания, однако он считал постыдным по такому поводу ссориться и расходиться с братом. Однажды, возвращаясь со своего надела в Любидже и мучаясь неудовлетворенным вожделением, он у большой развилки завернул в корчму к Крстинице.

Жара еще не спала, и в корчме не было ни души, кроме самой Крстиницы — рыжеволосой полной женщины лет тридцати. За разговором она как-то неожиданно близко придвинулась к нему, и, когда Михаило, дрожа всем телом, протянул руку, рука его не встретила сопротивления. В это время откуда-то вернулся сам Крста, ее болезненный и брюзгливый муж, бывший, как казалось, под каблуком своей пышущей здоровьем и оборотистой супруги. Крстиница успела шепнуть Михаило, чтобы он завтра приходил к ней после ужина. В ту ночь Михаило почти не спал от жгучего и радостного возбуждения. И все еще до конца не веря, что это может быть, с немилосердно бьющимся сердцем и пресекающимся дыханием он пробрался назавтра под вечер к корчме. А когда поджидавшая его Крстиница и вправду повела его в какую-то пустую клеть, он испытал такое чувство, как будто бы с него сняли невыносимую тяжесть и открыли перед ним весь божий мир, огромный и ослепительный.

В тот месяц он еще дважды пробирался к ней тайно ночью в корчму и, никем не замеченный, возвращался в город. Любовное блаженство переполняло его. Про Крсту он и не думал, — да и что такое это ничтожество! — и не особенно прислушивался к словам Крстиницы, когда она говорила о будущем и о своей судьбе, о том, что когда-нибудь господь обратит на нее свой взор и пошлет ей избавление. Пробравшись к Крстинице в четвертый раз, он не нашел ее у ограды. Немного подождал и услышал сначала отголоски ссоры, а потом и крики из той обособленной клетки, где они встречались. Обмерев от страха, он все-таки пошел туда. Распахнул дверь и увидел Крсту и Крстиницу; сцепившись в клубок, они метались по

комнате. В правой руке у Крсты был топор, но, обхватив мужа, жена прижала его руку так, что он не мог ею пошевеливать. Задыхаясь в пылу борьбы, они выкрикивали ругательства и сбивчивые обвинения, завершая подобным образом старую распрю. В тот миг, когда Михайло в растерянности и смятении застыл на пороге, Крстине удалось опрокинуть мужа на пол. Она рухнула вслед за ним, ни на секунду не выпуская ту руку, в которой он держал топор. Женщина кинулась на него, как зверь, как снежный обвал, как прорвавшаяся лавина воды, как устремившийся с гор камнепад, и придавила его своим телом, руками, коленями, грудью, всей своей тяжестью. Тот напрягся, брыкаясь ногами и пытаясь вскочить, но она еще сильнее навалилась на него, распростерлась на нем, прижимая его даже подбородком. И, боясь отпустить его, ослабить напряжение хоть единой мышцы, она лишь бросила на Михайло взгляд и приглушенно крикнула, как бы жалея тратить голос:

— Ноги! Держи ему ноги!

Сел ли он тогда ему на ноги, позволив Крстине выхватить у него из-за пояса нож? Было это или нет? Вот уже восемь лет задает он себе этот вопрос, каждый день и каждую ночь с той же регулярностью, как ест и спит, и даже еще чаще, и всякий раз проходя сквозь горнило огня, не видимого никому, отвечает: сначала — нет, невозможно, невероятно, чтоб он так поступил; но потом в глазах у него темнеет и во мраке возникает правдивый ответ: да, он сделал это, он сел ему на ноги, почувствовал, как она выхватила у него из-за пояса нож, и слышал, как она ударила ножом три, четыре, пять раз поженски, наугад между ребрами, под ребра, в бедро. Да, он сделал то, что невозможно, что не должно делать человеку. И это постыдное и страшное дело его рук все время стоит перед ним, неизменное, непоправимое.

Потом он выскочил во двор, сел на каменный водосток у источника, журчавшего в тишине (ему чудилось, что он ревет), и опустил руки в холодную воду.

Он все еще трясся в ознобе, но сознание его постепенно прояснялось. В голове проносились картины того, что только сейчас произошло. Вот чем обернулся месяц блаженства, беспредельного упоения счастьем, что радужным мерцанием заполняло душу, не оставляя в ней ни сомнения, ни предчувствия беды. И странно, вместо того чтобы думать об ужасе и кошмаре, совершившемся толь-

ко что на его глазах и при его участии, он с маниакальным упорством возвращался мыслью к дням блаженного счастья, одержимый желанием посрамить и изобличить это счастье, ибо, будто рассвет и отрезвление, в нем утверждалось сознание того, что все, что было у них с Крстиницей, все с самого начала, было так же страшно, постыдно, безжалостно. Исчезли любовное томление и восторги, переполнявшие его душу целый месяц. Да и сам он играл тут лишь ничтожную, жалкую роль повода и средства. За его спиной сводились роковые, неведомые ему счеты из давно распутываемого Крстиницей и Крстой клубка противоречий, только что разрубленного на его глазах. Он ощущал себя преданным, опозоренным, обокрадепным, раздавленным павеки, попавшим в немилосердно тугой узел смертельной ненависти, затягиваемый мужем и женой, ненависти сильнее их самих, сильнее его. Вот чем обернулось его счастье.

Его вывел из оцепенения голос Крстиницы, приглушенным шепотом звавшей его из-за полуоткрытых дверей. Он подошел к ней. Лево́й рукой придерживая дверь, правой она подала ему нож, говоря сухо, внятно и тихо: — Я вымыла его.

Он понял, что будет, если нож попадет ему в руки, и, отпрыгнув в сторону, замахнулся правой рукой и нанес женщине сокрушительный удар, от которого она, выпустив дверь, с тупым стуком упала на пол. Его удар не шел ни в какое сравнение с тем, как она кромсала ножом полумертвого мужа.

Дверь в каморку, где в слабом колеблющемся свете восковой свечи подле покрытого рогожей трупa Крсты лежала бесчувственная Крстиница, он оставил распахнутой настезь.

Выбрался быстро на дорогу. Полнозвучно журчал источник, с плеском переливаясь через край водостока.

Никем не замеченный, Михаилo еще затемно вернулся в город и намеревался, переодевшись, утром отправиться с повинной в суд. Но, пройдя через двор и увидев свой дом, свою комнату, знакомую обстановку, в точности такую же, как и до этой ночи и месяца любовного угара, он необычайно ясно понял, что идти с повинной нельзя, ибо, заключив его в тюрьму, заключат невиновного человека, обвиняемого в том, к чему он не

причастен! Его вина в другом, и гораздо более тяжкая вина, но арест и суд над ним он бы считал несправедливостью, и, чтобы ее не допустить, он готов был драться, снова убивать, если потребуется. Потрясенный до самых своих сокровенных глубин, в горячечном тумане, темной пеленой застилавшем глаза, помутившимся рассудком он сознавал только одно: нельзя идти с повинной, нельзя позволить себя арестовать. Он решил бежать.

Несчастный сын оружейника, несостоявшийся священник вершил в то утро суд над собой и над людьми и в своем великом горе был непогрешим и справедлив. Он ошибался лишь в ощущении времени. Отмеряемое процессами, происходившими в нем, оно, по представлениям Михаило, шло гораздо медленнее, чем на самом деле.

Переодевшись, он собирал самое необходимое для побега, когда пришла служанка Евра и стала рассказывать то, что услышала от соседей. Весь базар, лишь только успели открыться лавки, говорит об одном: сегодня ночью гайдуки напали на корчму Крстиницы, убили Крсту, а ее самое ранили. Несмотря на раны Крстиница сама обо всем рассказала, во всех подробностях описав «греческих бандитов», напавших на них.

Сообразив, что все равно опоздал уйти из города до открытия базара, Михаило, пока слушал служанку, решил отсидеться еще некоторое время дома и дожидаться подтверждения этих слухов, казавшихся ему спасительным чудом, а если увидит у ворот жандармов или других представителей власти, сейчас же кидаться через сад в заросли ивняка.

Позднее он все-таки выбрался в город с твердым намерением убить или быть убитым при первом подозрительном взгляде или приближении к нему жандармов.

Держа руку на спрятанном в кармане ноже, стиснув зубы и сдерживая бурное дыхание, Михаило проходил улицами, поражаясь тому, что люди не слышат бешеного биения и гула колотящегося в его груди сердца. Невозмутимый внешне, он слушал рассказы о нападении на корчму Крстиницы и обо всем, что в связи с этим говорили люди. И даже находил в себе силы тоже вставить слово. Сутками жил он без сна и без пищи, продлевая себе жизнь минуту за минутой.

Через несколько дней стало ясно, что Крстиница остается верна своей версии о таинственных разбойниках и что в ее показаниях никто не сомневается; корчмарка

оправилась; носила траур по Крсте и, как прежде, держала корчму; только поселила к себе вдовую сестру с мальчиком, чтобы не быть в доме одной. И лишь тогда, когда опасность миновала, силы оставили Михаила, и он свалился в постель.

Он не выдал себя в самом жестоком бреду. А поднявшись через три недели, понял, что Крстиница по-прежнему хранит тайну. И тогда с хладнокровием, впоследствии и самого его изумлявшим, стал исподволь собираться в дорогу, постепенно подготавливая своих и окружающих. Брат его был человеком алчным по природе. Михаил воспользовался и этим. Он оставил брату дело, получив отступное в деньгах и согласие отпустить его на все четыре стороны. Все было устроено так хитроумно, что в один прекрасный день он покинул город, ни в ком не вызвав ни малейшего недоумения, ни тени подозрения.

Но едва за первыми холмами скрылся из вида его надел с хлевом в Любидже, как самообладание и выдержка покинули его. Проклятие висело над ним, он был гонимым зверем. И Михаил кружил по лесам и долам, ночевал по разным пристанищам, запутывая следы, спасаясь от несуществующих преследователей. По мере ослабления реальной угрозы в нем нарастал страх, подогреваемый болезненным воображением и терзаниями совести.

Он обогнул Новую Варош, где у него жила родня. И только у Прибоя в первый раз зашел в корчму купить хлеба и табака.

Склонный к умеренности и воспитанный отцом в строгости, Михаил раньше редко курил; теперь же стал заядлым и страстным курильщиком. Только сейчас он понял сладкую отраду незатухающего огонька перед собой и сизого дымка, пощипывающего горло и глаза, позволяющего обронить слезу, не называемую плачем, и глубоко вздохнуть и выдохнуть, не будучи заподозренным во вздохах. С тех пор незатухающий огонек годами светился перед ним или тлел между пальцами. И дымок, неизменный и неповторимый, отвлекал его мысли от извечной угрозы, а в редкие счастливые минуты погружал в глубокое и полное забытие; он был его пищей, как хлеб, он был его утешением, как друг. Он снился ему и во сне, как другим снятся свидания с любимыми. Когда же сон переходил в кошмар, принося видения зарезанного Крсты или глаза его жены, и он со стоном просыпался, первым

делом он хватался за табак, как хватаются за оружие или за руку того, кто спит рядом. И едва кремень высечет искру во тьме и табак подхватит огонь, как у него отляжет от сердца, по крайней мере немного, так как в темноте вместе с невидимым дымом он словно бы отдувал и тяжесть со своего беспокойного сердца.

Он продвигался без усталости дальше, огибая Вышеград, казавшийся ему чересчур близким к Призрену. На Романии в большой корчме Ободжаша он познакомился с газдой Николой Субботичем, постоянно сновавшим между Вышеградом и Сараевом, и нанялся к нему продавцом скота. И тут в первый раз за время своих скитаний он испытал какое-то облегчение. Правда, непривычный к суровым условиям жизни и грубой среде, он должен был переломить себя и притерпеться ко многому, но все это был пустяк по сравнению с великой и неожиданно выпавшей ему благодатной возможностью затеряться в сутолоке работников и скота, в торговой суете многолюдных базаров.

Два года провел он в Сараеве и в перегонах. После чего, как мы уже знаем, газда Никола, выделив Михайло из других своих приказчиков, взял его в компаньоны и поселил в своем доме в Вышеграде. Поначалу трудно обжился он в этом стесненном горами местечке между двумя реками с его недоверчивыми и насмешливыми обитателями, но со временем свыкся и сроднился и с городом, и с людьми, его населявшими. И тайная его мука от этого как бы несколько ослабла и улеглась.

Встреча с пекарской дочерью Аникой в позапрошлом году пробудила в Михайло такие надежды, о которых он не смел и думать, о которых до сих пор и не мечтал. Впервые за много лет целый день и ночь проходили, не омраченные наплывом черного ужаса, давно воплотившегося в его сознании в образе убитого Крсты и жажде собственной смерти. Теперь от могильного мрака его отвлекала мысль о том, что, может быть, найдется средство вернуть его к жизни, прерванной некогда в корчме на исходе ночи.

Но когда от тайных упований и надежд надо было перейти к делу, перед Михайло вставали непреодолимые препятствия, видимые только ему. Смолоду опалив себе крылья в той страшной беде, перевернувшей всю его душу, Михайло не знал, как подступиться к Анике; в порыве искреннего чувства он кидался навстречу

девушке и тут же отступал. Ибо, очарованный и завороченный Аникой, он трепетал перед Крстиницей, все еще жившей в его душе. И, повинуясь безотчетному побуждению, подмечал ее улыбки и движения и после, в одиночестве, взвешивал ее слова; он искал в ней сходства с Крстиницей, в то же время безумно страхась его найти. И этим отравлял свою радость, а вместе с тем и с девушкой держался неестественно и странно.

Так прошел первый год их знакомства, не сблизив их и окончательно не разведя. (Девушка между тем все хорошела, поражая необычностью своего облика и привлекая к себе все больше взглядов.) Неминуемый при таком положении разрыв произошел следующей весной по совершенно незначительному поводу.

Однажды к Михайло пришла старая Плема и сказала, что его зовет Аника. Неудобно было Михайло идти к девушке в дом, но все-таки он согласился.

Дом Крноеличей был гораздо роскошнее прочих домов в городе. Роскошь его состояла не столько в богатстве обстановки, сколько в непривычной броскости и пестроте всего убранства. В собственном доме Аника показалась Михайло еще более неотразимой и удивительной. Звала она его затем, чтобы спросить, что он собирается делать на юрьев день. Очевидное несоответствие ее грудного низкого голоса, матовой белизны неулыбающегося лица и того пустяка, о котором она его спрашивала, еще сильнее смутило Михайло. Они договорились обо всем, и он пообещал ей непременно прийти в юрьев день на гулянье, «если только будет жив», на что Аника заметила:

— Приду и я, если только буду жива и замуж не выйду.

— Не выйдешь, я надеюсь, за эти несколько дней.

— Я все могу.

— Не выйдешь, не выйдешь.

— Ты думаешь?

Эти последние слова, произнесенные с особым ударением, заставили его взглянуть ей в лицо.

И он вдруг встретил ничем не затуманенную ясность как бы освещенных изнутри и в то же время непроницаемых глаз; кровь и слезы, смешавшись, горели и сверкали в них, придавая взгляду пронзительность и твердость. Ослепленный, не веря сам себе, Михайло смотрел не отрываясь прямо в эти глаза, ожидая, когда исчезнет этот взгляд, это жуткое видение, этот мираж. Но в ее глазах

лишь усиливалась острота и твердость и разгоралось вспыхнувшее пламя. И, содрогнувшись от мысли, все настойчивее овладевавшей его сознанием, Михаило всеми силами старался не выкрикнуть ее вслух, только чтобы освободиться от нее: это был знакомый ему взгляд, который однажды довелось ему видеть в корчме и который после этого много раз являлся ему в душивших его ночных кошмарах. На него смотрела Крстиница своим звериным взглядом, исполненным неведомых и страшных намерений, — от них надо бежать, хоть скрыться от них совсем невозможно. Михаило делал отчаянные, нечеловеческие усилия, чтобы сбросить с себя этот взгляд, проснуться с глухим воплем, как он сотни раз просыпался по хлевам и придорожным трактирам, вскакивая в горячем поту с увлажненного ложа. Но пылающий взгляд стоял перед ним неотвратимый, неподвижный. И пока он разрывался между реальностью и ночным мороком, в ушах его непрерывно звучали слова Аники:

— Ты думаешь?

Они повторялись в нем многократно умноженным эхо, эти ее оброненные вскользь слова.

Все это время они не сводили глаз друг с друга, как влюбленные в первые дни любви или хищники во тьме лесов, впившиеся друг другу в зрачки. Но самому долгому любовному взгляду приходит когда-нибудь конец. Оторвавшись от ее глаз, Михаило глянул на ее руки, красивые и сильные, с нежнейшей кожей и бледно-розовыми ногтями. Это заставило его признать всю обоснованность своего чудовищного прозрения и отказаться от надежд на пробуждение. И он стал отступать, подобно зверю, попавшему в ловушку.

Невероятными усилиями он выдал из себя улыбку, чтоб обмануть противника, и сумел овладеть собой настолько, что не бросился вон из дома, с грохотом захлопнув за собой дверь, а, попросившись, вышел обычным шагом, чувствуя, как по спине ползет озноб убийственного страха. Наконец дверь за ним закрылась; кое-как пересек он двор, прошел часть улицы до перекрестка, безлюдного в это время дня. На перекрестке журчал источник, вокруг не было ни души. И как будто уже по привычке, Михаило направился прямо к водостоку, огражденному каменным барьером, опустил на него и подставил обе руки под струю воды; постепенно она отрезвила его, успокоила, вернула к реальности, не оставлявшей больше со-

мнения в своей тождественности с кошмарами ночных снов.

Михаило провел несколько тяжелых дней, борясь со своими собственными мыслями, словно с тенями и привидениями. Целый год поддерживала его мечта об Анике. Теперь он с ней расстался, и это было равносильно расставанию с жизнью.

Когда Плема во второй раз пришла звать его к Анике, он сказал, что не может прийти. Накануне юрьева дня та снова приходила узнать, придет ли он на гулянье, он ответил отказом. И еще раз, на следующий день после юрьева дня, присылала к нему Аника спросить — «придет он или нет». «Нет», — ответил он и стал ждать дальнейших событий, как ждут удара. (Подобно тяжелобольным, он был в состоянии думать только о себе и даже не предполагал, что и с Аникой тем временем что-то происходит.)

А между тем назревали события горше и тягостней самых плохих ожиданий.

Юрьев день запечатлелся в сознании людей как начало аникиных бесчинств. К ярмарке на ильин день она полностью развернула свое знамя. Дом свой открыла для всех мужчин; двух деревенских попрошаек Еленку и Савету приставила к себе прислужницами.

С той поры полтора года, подобно тому как другие пеклись о семье, детях и хлебе насущном, Аника пеклась лишь о бесчестье и позоре, в буйстве и лютости своей выйдя не только за пределы города, но и всего Вышеградского уезда. Многие уже стерлось из памяти, многие страдания остались навек похороненными в чьей-то душе, но люди тогда только воочию увидели, какая сила заключена во взбунтовавшейся женщине.

Мало-помалу возле Аникиного дома образовался лагерь. Кто только не пробирался ночью к ее дому: юноши, женатые мужи, старики, мальчики, пришлые люди из самого Чайниче и из Фочи. А иные, потеряв всякое соображение и стыд, являлись к ней и днем, сидели во дворе или в доме, если их туда пускали, или просто околачивались на улице, руки в карманах, поглядывая время от времени на ее окна.

Тане — золотых дел мастер, худосочный, с остановившимся взглядом бесцветных, расширенных глаз на изможденном лице, был одним из самых ревностных и

незадачливых гостей Аники. Часами сидит он без слов, примостившись на каком-нибудь сундуке у дверей и в ожидании появления Аники следит за Еленкой и Саветой. Но те проходят мимо него словно мимо пустого места, встречают гостей и скрываются с ними в комнатах. Когда его выпроводят из кухни, он пристроится где-нибудь во дворе и с робкой улыбкой уговаривает прогонявшую его Еленку:

— Слышь, пусти меня тут посидеть. Я ж ничего не делаю!

И может сидеть тут бесконечно, в понурой позе, словно и сам сожалея, что вынужден здесь сидеть. Наконец он поднимается и уходит, даже не попрощавшись, а назавтра является снова. Дома его поносит жена Косара, могучая женщина из крестьян с красным лицом и сросшимися бровями:

— Небось опять у аспиды сидел, чучело гороховое? Мог бы у нее и оставаться.

— Эх, мог бы, — отзывался с грустью Тане, блуждая мыслями в заветных мечтах.

Косара приходила в ярость и устраивала ему шумный скандал, но Тане только отмахивался от нее, изредка словно сквозь сон роняя слово.

Среди гостей Аники были и настоящие безумцы, вроде Назифа, полнотелого смиренного глухонемого идиота из беговского дома. По крайней мере дважды за день навевается он под окна к Анике и зовет ее невнятным бормотанием. Как-то раз в самом начале Аника вздумала над ним подшутить. Он ей в открытое окно протягивал полные пригоршни сахара.

— Мало, Назиф, мало, — со смехом крикнула Аника сверху из окна.

Догадавшись, что ему говорят, идиот пошел домой, стащил у братьев деньги, купил две окки сахара и вернулся под окна. Он долго звал Анику, пока она наконец не выглянула; кривя губы в счастливой ухмылке, он протягивал ей сахар. Аника громко расхохоталась и стала показывать ему знаками, что ей и этого мало, после чего идиот удалился с жалобным мычанием.

С тех пор он приходил каждый день, волоча за собой плетенку, полную сахара, сахаром были набиты кушак и карманы. Анике надоела шутка. Ее злило упорство идиота, и она посылала Савету и Еленку гнать его прочь. Он отбивался от них и уходил, недовольно ворча, чтобы на-

завтра снова быть под окнами Аники еще более нагруженным сахаром. И опять торчал тут, пока его не прогоняли. А потом со своей сахарной ношей слонялся по городу, напевая что-то себе под нос и бормоча. К нему приставали ребятишки, дразнили его и таскали сахар из плетенки, а он судорожно прижимал ее к своей груди.

Среди гостей Аники были и такие, что не осмеливались приходиться к ней при свете, а дожидались, когда стгустится темнота, и тогда неукоснительно шли к пей, хотя и не надеялись, что их пустят в дом. Некоторые всю ночь напролет так и просиживали, пуская дым на каменной ограде водостока. Никто не видал в темноте, когда они приходили и когда уходили. И только на рассвете целая куча древесной трухи да груды окурков отмечали место томившегося тут страдальца, какого-нибудь безвестного юноши; Аника знать его не знала, да и он ее всего раз как-то видел. Ибо не только из-за нее стекались сюда люди. Одного привлекало к себе все дурное, другого гнала незадачливая злая судьбина. Как бы то ни было, но возле дома на перекрестке собирались все презревшие божьи заповеди и наказания. Стремительно расширяясь, образовавшийся вокруг Аникиного дома круг мужчин захватывал в свою орбиту не одних порочных и слабых, но и здоровых, вполне рассудительных людей.

В конце концов в городе почти не осталось молодых людей, не побывавших у Аники или, по крайней мере, не предпринявших попыток проникнуть в ее дом. На первых порах туда пробирались ночью, украдкой, обходными путями и поодиночке. Об Анике говорили как о чем-то жутком и срамном, но далеком и почти недостижимом. Но чем больше было разговоров, толков и пересудов, тем понятней, ближе и обыденней казалось это порождение зла. Поначалу указывали пальцем и перешептывались за спиной Аникиных завсегдатаев, а кончилось тем, что подтрунивали над теми, кто у нее не бывал. Так как редким счастливым удавалось сразу добиться Аники и большинство должно было довольствоваться сначала Еленкой и Советой, зависть, мужское самолюбие и тщеславие стали делать свое дело. Отвергнутые являлись снова в надежде искупить свой двойной позор — приход сюда и полученный от Аники отказ; тот же, кого она приняла хоть раз, не мог ее забыть и приходил сюда снова и снова, как околдованный.

И только женщины держались заодно, ожесточенно сопротивляясь напасти с Мейдана; они боролись мужественно, стойко, по-женски безрассудно и безоглядно. А это было не всегда легко и безопасно. Так пострадало семейство Ристичей.

Старая Ристичка, вдова, богатая, предприимчивая и по-мужски решительная и крутая, поывдавала замуж всех своих дочерей и женила своего единственного сына. Сын у нее был приземистый, румяный, благонравный и хитрый торговец, водивший компанию только со старшими, бережливый и домовитый хозяин. Мать рано женила его на красивой, скромной и богатой девушке из Фочи. У них уже был второй ребенок.

Как-то раз зимой, когда на чьих-то поминках женщины в один голос жаловались на Анику и на своих мужей и сыновей, старая Ристичка, выпив чарку за упокой души поминаемого, заявила с суровой непреклонностью:

— Господи, а вы что смотрите? И у меня есть сын, но, покуда я жива, мой сын не переступит порога этой аспиды!

Назавтра Аника уже знала о словах Ристички, как знала обо всем, что о ней говорили, и на следующий день велела ей передать:

— Ровно через месяц с этого дня явится ко мне твой сын, благородная госпожа, со всей субботней выручкой в руках! Увидишь тогда, кто такая Аника.

Тень озабоченности и тревоги нависла над домом вдовы, но Ристичка продолжала во всеуслышание клеймить позором окаянную соблазнительницу. В то время шумная слава Аники особенно гремела по округе и все мужское население города ползло на брюхе к Мейдану или, по крайней мере, засматривалось в ту сторону. А в следующую субботу после тех злосчастных поминок молодой Ристич, пьяный в стельку, чуть не на руках своих собутельников был доставлен к Анике с субботней выручкой в глубоком кармане штанов. Он валялся у ее ворот, рыл ногами землю, сыпал деньгами и в полном умопомрачении звал одновременно и Анику и мать. Над ним стояли Еленка и Савета, и каждый, кто хотел, мог подойти и на него полюбоваться. На рассвете Аника через Савету велела двум молодым туркам ввести его в дом.

Когда сын не вернулся к ужину домой, старая Ристичка с невесткой обежала весь город. А убедившись в том, что он действительно отправился к Анике, старуха, ворвавшись в дом, с пеной на губах так и грохнулась на

пол посреди комнаты и долго не могла прийти в себя. А ее невестка, стройная, бледная, с черными косами и огромными глазами, упала перед лампадой в соседних покоех, торопливо осенила себя крестным знаменем и начала осыпать проклятиями Анику.

— Чтоб тебе взбеситься, блуднице, чтоб тебе в цепях ходить! Чтоб тебя проказа разъела! Чтоб ты сама себе опостылела! Чтоб тебе о смерти мечтать, а чтоб смерть тебя не брала! О, покарай тебя великий и единый господь! Аминь. Аминь. Аминь.

Тут слезы хлынули у нее из глаз и заслонили от нее весь свет, и она всей тяжестью рухнула на пол. Падая, она зацепила и погасила лампадку. Посреди ночи женщина пришла в себя. Поднялась с трудом, расставила по местам поваленные вещи. Подтерла пролитое масло с пола и с ковра, залила и снова запалила лампадку, перекрестилась трижды перед ней и трижды поклонилась безмолвно. Посмотрела на ребенка, спящего в колыбели. И, закончив все дела, села под лампаду со скрещенными на груди руками дожидаться мужа.

В городе всем про все известно; никаких тайн здесь не существует. И проклятия невестки назавтра были переданы Анике. В тот же день после полудня к Ристичам в дом явилась Аникина служанка, одноглазая цыганка, вызвала невестку и передала ей завязанные в платок серебряные и медные деньги. А потом отошла в глубь двора, чтобы передать ей поручение и на словах. И хоть цыганского роду была, а, видать, не легко ей далось такое поручение.

— Это тебе Аника посылает. Пусть, говорит, пересчитает Ристичка с сыном и с невесткой: вся выручка тут, до единого гроша. Мужа она тебе вернула и деньги возвращает. Сколько им попользовалась, столько и заплатила. А проклятий твоих, сказать тебе велела, она не боится. Не властны над ней проклятия.

И цыганка убежала.

Наряду с женщинами, единодушными в своей ненависти к Анике, самым непримиримым ее врагом был газда Петар Филипповац. Его сын Андрия был одним из самых главных завсегдатаев Аники. Он был старшим сыном в семье, неловкий и бледный юноша, как бы вечно сонный и пребывающий в какой-то прострации, но упорный и неизлечимый в своей страсти к Анике. После того как однажды ночью отец чуть его не убил, и убил бы

наверняка, если бы его не спрятала и не спасла мать, он носа не казал в родительский дом. Ночевал в амбаре, куда мать украдкой посылала ему еду. Она дни напролет лила слезы и молилась, но тоже украдкой, так как газда Петар пригрозил ей, что после тридцати лет совместной жизни выгонит ее из дома, если хоть раз услышит от нее единый вздох или увидит одну слезу, пролитую по ослушнику.

В лавке газды Петара Филипповаца собирались наиболее суровые и яростные судьи и ненавистники Аники. После каждой выкуренной сигарки и любого разговора беседа вновь возвращалась к девке с Мейдана. А в связи с ней много раз вспоминалась и история «Тияны-возмутительницы», которой никто уже не помнит, но знают по рассказам стариков.

Добрых семьдесят лет тому назад прославилась своей красотой некая Тияна, пастушья дочь. Забыв всякий стыд, взбаламутила она и воспламенила весь город. В ярмарочные дни она могла закрыть торговые ряды, как мор или разлив, — такое творилось вокруг нее столпотворение и драка. Приходили сараевские ювелиры и медники из Скопле и, оставив у нее и товар и выручку, обобранные до нитки, едва уносили от нее ноги. Никакой на нее управы не было. Пока однажды она не сгнула так же внезапно, как и появилась.

Среди тех, кто увивался вокруг этой Тияны, был некий Коста, по прозвищу Грек, богатый юноша, без отца и без матери. По рассказам, он готов был жениться на ней, но Тияна и слышать об этом не желала и продолжала собирать возле себя всякий сброд, турок и прочих иноверцев. Юноша отступился и исчез из города. Прошел слух, что он удалился в монастырь в Бане, постригся в монахи и чем-то там болеет. О нем уже стали забывать. Но точно через год, в самый разгул Тияниного буйства, от которого и богу и людям стало уже неважно, неожиданно-негаданно нагрянул пропавший Коста. Обросший бородой, косматый, одичавший и худой, наполовину в монашеской, наполовину в крестьянской одежде. Не было у него с собой ни сумы, ни посоха — ничего, кроме двух небольших пистолетов за поясом. Он напрямик ворвался в дом Тияны. Выбил дверь в комнаты и выстрелил в Тияну, но только легко ее ранил, и она выбежала на улицу. Теряя туфли, дукаты с мониста, украшения из волос, неслась она по Мейдану. Хотела скрыться в ро-

ще под Старым градом. Но у самого рва обессилела и упала. Тут ее монах настиг и прикончил.

Так весь день она и лежала, скрюченная, с рассыпавшимися волосами, с черной раной, зиявшей на голубом атласе жилета. Раскрыв рты, с бичами в руках с высоты насыпи рассматривали ее пастушата. И только в сумерки из города послали двоих цыган, и они закопали ее на том же самом месте. Убийца скрылся в лесу. Никто его не преследовал. Но на третий день его нашли на свежем надгробном холме у Тяны, он заколол себя. Здесь его и схоронили. И поныне тот холм зовется могилой Тяны.

А пока в домах происходили драмы и пересказывались всякие истории по лавкам (повторяясь и перекликаясь друг с другом, как все трактирные легенды и домашние трагедии), на Мейдане продолжался поединок роковых страстей и женской прихоти. К тому времени относится начало борьбы Аники с добрунским протопопом за его сына Якшу, прозванного Дьяконом.

2

Аникина слава гремела далеко за пределами города, а Якша Порубович, сын добрунского протопопа, и не думал ехать на нее смотреть. Он предпочитал женщинам ракию, но еще больше ракии любил свободу и скитания.

В двадцать лет он был самым рослым и сильным парнем в двух уездах. И даже в Чайниче ходил состязаться с неким Неджой, прозванным Волчатником, и положил его на обе лопатки.

Белокожий, рыжеволосый, со смелым взглядом зеленых глаз, Якша был полпой противоположностью своему отцу. Протопоп — худощавый, высокий, с молодых лет седой, серый лицом, с глубокой морщиной между бровями, где, кажется, залегла какая-то мрачная мысль, был из тех людей, что в тягость и себе и людям. Якша пошел в своего деда по матери, Милисава из Трнаваца, богача и добродушного весельчака.

Протопоп души не чаял в своем единственном сыне и страшно мучился из-за его легкомыслия и непоседливости. С прошлого года Якша уже дьякон. И отец воюет с ним, настаивая, чтобы Якша женился и принял сан священника. Но посвящение в сан не слишком вдохновляет

Якшу, а о женитьбе он и слушать не хочет. Протопопша, добрая, бережливая до скаредности, черная, высохшая старушка, то защищает сына, то поддерживает отца. И плачет из-за обоих.

В ту зиму Якша несколько угомонился. Сидел больше дома и позволял при себе говорить о женитьбе, хотя сам при этом и молчал. После юрьева дня в Добрун ожидался владыка Иосиф из Сараева. Протопоп надеялся женить до этого сына, чтобы владыка мог совершить рукоположение. Но на исходе зимы случилось Якше по какому-то делу оказаться в Вышеграде.

Было как раз время нереста. В конце февраля и в первой половине марта великое множество рыбы подходит к низовьям Рзава. Обычно косяки идут в три захода с промежутком в несколько дней. Первая рыба свадьба прибывает чаще всего ночью и продолжается до полудня. Весь город высыпает тогда на рыбную ловлю — и истинные рыбаки, и те, что ловят рыбу от нереста до нереста. Все, у кого есть хоть какая-нибудь сеть, спускаются к Рзаву и забрасывают сеть в воду. Дети бродят босиком по мелководу, ковшами или голыми руками выхватывают рыбу, в сонном одурении мечущую икру и молоку.

Три эти дня в году — словно какое-то празднество, регулярно и неукоснительно справляющееся из сезона в сезон. Во всех домах стоит запах жареной рыбы, и, наевшись ее до отвала, люди смотреть на нее не могут, цены на рыбу катастрофически падают. Последнюю рыбу свадьбу вылавливают окрестные крестьяне, везут рыбу домой в переметных корзинах и там ее коптят и вялят.

В то утро с добрунской дороги Рзав открылся Якше облепленным со всех сторон рыбаками и ребятишками, расползшимися по мелководу, подобно муравьям. Ярко светило солнце, земля дымилась, белела рыба.

Быстро справившись с делами, приведшими его сюда, Якша собирался засветло возвратиться в Добрун, но его зазвали в одну лавку, где компания купеческих сынков закусывала рыбкой под легкую ракию. Молодые люди потешались над Газией, известным рыбаком и пропойцей, как то и положено быть рыбаку. Сам он стоял, не выпуская из рук мокрую сеть, с которой свисала тяжелая дробь и стекала вода, образуя лужу на полу у его босых ног. Газия продал весь улов и теперь, мокрый по пояс, трясясь всем телом, опрокинул шкалик ракии залпом. Его допытывали, какой в этом году нерест, сколько он выло-

вил и продал, но он, по суеверию всех рыболовов, уклонился от точного ответа.

— Я слышал, ты маджарию сколотил и готовишь подношение Анике,— задирает его один из парней.

— Это я-то Анике? Тут мне вас, газда, не перешибить,— защищается рыбак, сворачивая сигарку и переминаясь с ноги на ногу.

Что правда, то правда, рыбак — один из множества страждущих, напрасно добывающихся Аники, но гуляки дразнят его только затем, чтобы иметь возможность самим о ней поговорить.

Расплачиваясь и все еще продолжая дрожать, Газия бросает, выходя из лавки:

— Это ваша забота, господская. Этот товар не для меня, я водой живу.

Компания продолжает разговор об Анике.

В ту же ночь Якша был у нее. И больше не вернулся к себе домой в Добрун. Все ночи он проводил у Аники. Казалось, она одного только его и принимала. Весь город судачил о протопопском сыне. Женщины от него отворачивались, мужчины обсуждали его, порицая или завидуя.

Напрасно слал своих людей протопоп с наказаниями, угрозами и мольбами. Видя, что ничто не помогает, он решил поехать сам и увезти сына. Но из этого ничего не вышло. Тогда он обратился к вышеградскому каймакаму.

Сын богатого и знатного Джевад-паши Плевляка, вышеградский каймакам Алибег давно уже мог бы занимать более высокое положение, но от своей матери, из рода Соколовичей, он унаследовал барское презрение ко всякому расчету и стяжательству. Двадцать пять лет тому назад во время кратковременного расцвета и взлета благосостояния города Алибег, молодым человеком двадцати одного года, был назначен начальником полиции. Вышеградский мост оживил торговлю, город наводнился товарами, деньгами, приезжими; необходимо было держать тут достаточное количество жандармов с жестким и неподкупным командиром во главе. Между тем с годами торговля переместилась в другие края, и вышеградская дорога опустела. Приезжих становилось все меньше. Сократилось число жандармов. Но Алибег не захотел покидать Вышеград и так и остался в нем каймаком. Дважды уходил он с отцом на войну — в Валахию и в Сербию, но каждый раз снова возвращался на свой пост в Вышеград.

У него было два дома, самые красивые в Вышеграде, на самом берегу Дрины, объединенные обширным садом. Несколько раз он женился, но все жены у него умирали. Каймакам был известен своей слабостью к женщинам. С годами он все больше пил, но пил со вкусом и не теряя чувства меры. Несмотря на возраст и беспорядочную жизнь, он сохранял былую статью. Резкие черты его подвижного лица со временем сложились в гримасу иронического примирения. В обрамлении белых усов и сильно поредевшей бороды открывался четко очерченный и юношески румяный рот. Говорил он без жестикуляции, с теплыми нотами в голосе и проникновенностью во взгляде. И питал пристрастие к горячим источникам. Он всюду их искал, объезжал все места, куда посылала его молва; где бы ни открыл каймакам горячий источник, он возводил там фонтан или купальни за свой счет.

В городе, оскудевшем и населением и товарооборотом, каймакам давно уже не имел никаких служебных обязанностей и забот. Наделенный чертами истинного аристократа, немногословный и улыбчивый, он жил в свое удовольствие, не досаждая другим, и потихоньку старел. Ездил по временам в свое имение в Плевли или отправлялся на пирушки к своим друзьям, руджанским и гла-синацким бегам.

К протопопу из Добруна, прямому, как жердь, возвышенно велеречивому, с остановившимся взглядом и суровостью, разлитой в лице и распространявшейся каким-то образом и на одежду, словно он только что явился с мельницы, каймакам испытывал непобедимую неприязнь. И сейчас он принял его холодно, однако же внимательно выслушал и пообещал расследовать дело. Слышал он и сам о дочери покойного Крноелаца, многие и жаловались ему, что слишком забрала она силу. Вот он пошлет туда жандармов, чтобы Якшу отправили в Добрун, а девушку приструнили и образумили.

Старая со стыда, протопоп провел два дня в доме вышеградского батюшки Йосы, боязливом полуслепом старика, но, не дождавшись ни сына, ни каких-либо вестей от каймакама, сел на своего смиренного вороного коня и с сердцем, исполненным горечи, возвратился в Добрун.

Сейчас же по уходу протопопа каймакам вызвал к себе старшего вышеградских жандармов Салко Хедо и велел ему отправляться к гяурке и пригрозить ей палка-

ми, если она не уймется, а Якшу выпроводить немедленно в Добрун.

Хедо в точности исполнил приказ. Верхом, как в особо торжественных и важных случаях, дав здоровый крик вокруг Аникиного двора и заметив копошившуюся там по хозяйству Еленку, он прокричал ей издали строгим голосом, что больше они не потерпят никаких беспорядков возле их дома, а тому пропащему протопопскому сыночку велено тотчас же отправляться домой, а если он этого не сделает, он с ним поговорит по-другому. Еленка скрылась в доме и все передала Анике, та не замедлила появиться на крыльце, но предусмотрительный Хедо уже ускакал на своем долговязом скакуне.

Вот уже тридцать лет вершил свою должность Салко Хедо, неправый и неповоротливый, как человеческий суд и земная правда. Его физиономию избороздила сеть причудливых морщин, расхлывшихся в самых неожиданных направлениях, она покрывала его лоб, подбородок и нос, прорезая редкие усы и спускаясь глубокими бороздами на его обветренную шею. Из этого лабиринта морщин взглядом престарелого коня смотрели большие, круглые, лишенные ресниц глаза. Вот во что превратила Хедо тридцатилетняя жандармская служба.

Каймакам терпеть не мог неприятностей, даже если они касались соседнего уезда, и Хедо не смел доложить ему ни об одной из них, пока они благополучно не разрешились. Менялись жандармы, продажные или ревностные не в меру. И что бы ни случилось в городе — от полевых потрав, пьяных дебошей и скандалов до самых зверских убийств и крупных краж, все сыпалось на голову Хедо. Поначалу, жандармским новобранцем, он проявлял еще служебное рвение. И получил за это старшого. Но вскоре понял, что мир немислим без потрясений, убийств и несчастий, что это неминуемое зло, а его, Салко Хедины, глаза и руки чересчур слабы, чтобы это неминуемое зло пресечь, распутать и кому надо воздать по заслугам. Вместо того чтобы со временем исполниться на своем посту сознанием власти и силы, он, напротив того, проникся каким-то суеверным страхом перед злодейством и чуть ли не почтительным уважением к тем, кто на него отваживался. С механической точностью прибывал он туда, куда призывала его должность, но не для того, чтобы захватить злодея на месте преступления, а для того, чтобы своим появлением прогнать его из своего уезда в

другой. С течением лет в постоянном соприкосновении с человеческим злом и человеческим страданием, он приобрел особый опыт, бессознательно подчинив ему свое поведение. Этот опыт можно было выразить двумя, на первый взгляд несовместимыми, но, однако же, совершенно точными утверждениями. Первое, что зло, несчастья и раздоры между людьми неизбежны и неизбежны и что тут нельзя ничего изменить. И второе, что в конце концов все как-то утрясется и образуется, ибо в мире нет ничего вечного: соседи помиряются, убийца или сдастся, или перейдет в другой уезд, где есть свои жандармы и старшие; украденная вещь рано или поздно найдется, поскольку наряду с ворами есть и болтуны и доносчики; пропойцы протрезвеют, а пока они пьяные и сами не знают, что творят, нечего с ними и связываться.

Два эти положения предопределяли все официальные действия Хедо. Когда же в какой-нибудь распри или преступлении была замешана женщина, обычная его пассивность переходила в настоящее оцепенение. Хедо походил тогда на человека, которому села на шею оса, и он, застыв, поступает единственно правильным образом: дает ей беспрепятственно разгуливать по своей шее, дожидаясь, когда она сама улетит. Докопавшись до женщины в каком-нибудь расследовании, Хедо без особой необходимости дальнейшего разбирательства не производил. И не по злому умыслу. А повинувшись почерпнутому на практике опыту, говорящему о том, что вступать в спор, где замешана женщина, все равно что совать палец в дверную щель.

Когда в тот вечер Якша явился к Анике, она смотреть на него не хотела. Все его мольбы и уверения ни к чему не приводили. Аника приняла твердое решение дать ему отставку и больше не желала об этом говорить. И на все его пламенные речи отвечала презрительно:

— Ты что в Добрун не едешь? Отец ведь зовет.

— Нет у меня отца. Сама прекрасно знаешь.

— Что я знаю? — возражает она ему невозмутимо.

— Прекрасно знаешь, что я тебе говорил каждую ночь, а я помню, что ты мне говорила.

И он принимался напоминать ей признания и клятвы прошлых ночей, понятные только ей и ему. Она упорно молчала. Слабым, чужим каким-то голосом, Якша тянул:

— Я говорю: «Аника, светает», а ты мне ладонью глаза закрываешь...

И он перебирал подробности прошедших ночей. Бабы эти причитания в устах огромного мужчины производили смешное и жалкое впечатление. Но Якшу опьяняли и эти слова, и сама эта любовь, и он не сознавал, что говорит и что делает. Аника безучастно и безмолвно, но и без возражений слушала его. На прощание на все мольбы о свидании она с усмешкой бросила!

— Увидимся, бог даст, в Добруне на рождество богородицы.

Якша обосновался в корчме у Зарни. У него еще хватало самолюбия не обивать пороги Аникиного дома и не сидеть во дворе в обществе Еленки и Саветы. Дни напролет он пил и поил других, неподвижно приросший к скамье, с громадным кулачищем на столе и закинутой к стене красивой головой и взглядом, устремленным к прокопченному потолку, на котором он словно бы что-то читал. Никто не смел произнести при нем имени Аники, хотя всем было известно, из-за чего он запил.

Так он просиживал часами, обратив глаза к потолку и перебирая в памяти все, что с ним было, и при этом не столько ее слова вспоминались ему, сколько ее молчание. Это ее молчание переполняет его, он чувствует его нутром. Даже и не закрывая глаз, он видит, как она сидит на диване, по самые брови повязанная белым, туго стянутым платком, полностью скрывающим ее волосы. Руки с плотно прижатыми друг к другу ладонями она держит на коленях, и от этого кажется, будто она ворожит. Лицо у нее большое и белое, с выступающими скулами, в туманном взгляде блуждает улыбка и, спускаясь, играет где-то возле губ. От этого ее молчания у Якши захватывает дух и перед глазами все плывет. Если бы только еще раз сесть возле нее, ничто бы не помешало ему тогда схватить эту голову обеими руками, стиснуть ее что есть мочи, запрокинуть на подушки, на пол, на траву. Но сейчас же перед ним вставало выражение холодного высокомерия, написанное на ее лице и доставившее ему столько мучений, не потому, что он не мог его сломить, но потому, что это было бесполезно. И словно стукнувшись спросонья о притолоку, Якша вздрагивал, и кулак его сжимался в бессильной ярости.

Пока Якша пил горькую в корчме у Зарни, а Салко Хедо делал вид, что этого не знает, возле дома Аники происходили повые батальи и побоища. Поскольку Аника отказывалась кого бы то ни было принимать,

перепившиеся толпы ломились в ее ворота, а более трезвые, желая выслужиться перед ней, не пускали их.

Отлично зная Хедо, каймакам в конце концов решил лично отправиться к Анике и выяснить, что это за женщина. И, действительно, однажды после полудня он отправился туда в сопровождении жандарма. Жандарм возвратился один. Каймакам пробыл у нее до вечера. А на завтра снова был уже там.

Иначе и быть не могло. Каймакам, видевший в жизни множество женщин и не слишком разборчивый, мгновенно понял, что перед ним явление совершенно особого рода. С тех пор, как стоит город и в нем рождаются женщины, не было еще подобного тела, такой поступи и такой поволоки во взгляде. Она появилась и произрела без всякой связи с окружающим. Случилась — и все.

И будто бы наконец обретя нечто знакомое и давно утраченное, каймакам остолбенел перед этой красотой.

Матовая белизна кожи, скрывающая пульсирование горячей крови в жилах, резко и без перехода наливалась темным пурпуром в губах и окрашивалась легким румянцем вокруг ногтей и за ушами. Это большое, гармоничное тело, торжественно спокойное, неторопливое в движениях, в сознании своего превосходства не имело никакой нужды равняться на других и напоминало могучую державу: подобно ей оно довольствовалось собой, ему нечего было скрывать или что-то выставлять напоказ, и оно молчаливо презирало склонность всех прочих к многословию.

И все это сейчас предстало перед каймакамом, на все это он смотрел глазами зрелого человека, познавшего, как ему мстилось, истинную ценность жизни, с такой беспощадной зримостью уходящей от него. Что в таком случае могло остановить мусульманина, кроме разве самой Аники? Она его не остановила.

После второго посещения каймакама Аника призвала к себе Танае, золотых дел мастера.

— Ты писать умеешь?

— Умею, — ответил Танае, как бы в подтверждение этого растопырив пальцы правой руки и блестя увлажнившимися от умиления глазами.

Танае принес из лавки чернильницу, тростниковую ручку и бумагу.

И вот он сидит на диване, Аника подле него.

— Ты можешь написать, что тебе скажут?

— Да, думаю, смогу.

Живущий в каждой праздной женщине бес нашептывал слова Анике, а она — Тане на кончик пера. Тане весь скособочился от усердия, выводя старательно буквы, а морщинистые щеки его взбухают под языком, следующим за движением его пера. Аника диктует:

«Ты добрунский протопоп, а я потаскуха вышеградская. Приходы наши поделены, и лучше бы тебе не совать нос в чужой огород».

Тут Тане, и до этого спотыкавшийся на некоторых словах, остановился и посмотрел на Анику потешно озадаченным взглядом, словно хотел услышать, что это всего только шутка и она вовсе не думает всерьез посылать это письмо протопопу в Добрун. Но Аника, не глядя на Тане, нетерпеливо одернула его:

— Пиши!

И он продолжал писать с тем же самым выражением потешной озабоченности на лице.

«Я еще на свет не родилась, когда ты к Недельковице через забор перескакивал, и Неделько чуть было тебя не подстрелил, приняв за барсука. И по сей день тебе рясу по вдовьим домам зашивают. Но я про твои дела не выспрашиваю и по твоим следам не хожу. А ты — ишь какой выискался! — на меня каймакама с жандармами насылаешь! Лучше бы тебе змею под камнем расшевелить. Знай же, протопоп, что каймакам ко мне с тех пор два раза навевывался и я с него, как с малого дитяти, снимала саблю с поясом, а он мне, в его-то годы, умываться подавал и держал полотенце, если тебе это так приятно услышать. А что ты закручинился о своем сыночке-красавце, так вон он в корчме у Зарии, правда обритый, как молодой, и пьяный в стельку, но это не беда, бери его домой, не сомневайся, протрезвеет, и борода отрастет, так что по мне — пусть хоть владыкой становится».

Тут Аника задумалась. Передохнул и Тапе, едва поспевавший за ней, песмотря на то, что пропускал буквы и целые слоги.

Назавтра весь город уже знал, какое письмо отправила Аника протопопу в Добрун. Но с тех пор, как и каймакам зачастил к пей в гости, люди перестали чему-либо удивляться. Говорили, что протопоп, ужаснувшись тем, что творилось в городе, отслужил в добрунской церкви ночной молебен в вывернутой наизнанку одежде и со свечами, перевернутыми вниз головой, предавая анафеме погрязших в грехе горожан.

В городе не верили больше в человеческие возможности пресечь зло; видно, надо было ждать десницы божией. Но до тех пор Аника ухитрилась еще раз взбаламутить и ужаснуть народ.

На рождество богородицы в дубрунской церкви служили торжественную литургию, собиравшую множество горожан и целые толпы крестьян, стекавшихся из самых отдаленных сел.

Накануне праздника после полудня Аника тронулась в Добрун. Она и Еленка ехали верхами на спокойных, откормленных конях; за ними шел слуга. Они проследовали окраинными улочками, но по торговым рядам сейчас же разлетелся слух, что Аника отправилась в Добрун. И весь базар засуетился, вытягивал шеи, чтоб хоть издали увидеть, как она будет проезжать по круче под Стражиштем. Приказчики и ученики изыскивали себе какие-то дела на чердаках и через слуховые окна смотрели, как Аника скрывается за склоном.

Едва ли не по пятам за Аникой пустился в Добрун и Тане, золотых дел мастер, в спешке нанявший у цыгана хромого коня. Белый, как полотно, с ввалившимися щеками, проехал он, потеряв всякую совесть и стыд, напрямик через торговые ряды, не оборачиваясь ни на хохот, ни на издевательские приветствия; возможно, он их и не слышал. Но когда и он исчез за горой, базар как-то задумался и притих. Люди, расплзшись по лавкам, стали что-то такое соображать и обмозговывать. И многие из тех, кто только что смеялся над Тане, невольно начали подумывать о том, чтобы и самим как-нибудь незаметно или под каким-нибудь предлогом двинуться вслед за Аникой. Одни отправлялись при этом в села закупать шкуры, другие в Добрун, третьи на ярмарку в Пробой. А когда спустилась ночь, и молодые парни, неслышно выскользнув из дома, повалили следом за старшими. Иные, еще совсем дети, устремились в Добрун без всякой надежды, просто им было приятно рисковать собой ради нее, пробираясь вдоль Рзава по кампелому, впотьмах.

У Железного моста Тане догнал женщин. Еленка принялась его ругать. Тане только усмехался в ответ, поглядывая на Аникину спину, словно бы дожидаясь ее слова.

— А чем я тебе мешаю?

Еленка в бешенстве осадил коня.

— Мешаешь. Вот ты у меня где сидишь! Хватит, я на тебя в Вышеграде насмотрелась. Чего ты увязался за нами? Домой возвращайся и качай своих детей!

Пребираясь, оба они поглядывают на Анику, но она продолжает путь, не оборачиваясь и ничем не показывая, что слышит их. Еленка в сердцах прищипорила коня и поравнялась с Аникой.

Тане, потупившись, опустив узду, поплелся за ними следом.

Так проехали они сотню шагов, как вдруг Аника остановилась и обернулась назад. Тане неожиданно для себя оказался с ней лицом к лицу. Кони их сошлись. Щеки ее, в обрамлении тонкого белого шарфа, спускавшегося концами на плечи, пылали румянцем. Она улыбнулась ему ласково, по-детски. Тане стало тесно в собственной коже. Растянувшийся рот обнажил его редкие зубы и бескровные десны, слезы набежали на его скорбные бесцветные глаза.

— Тане, я сегодня у Меджуселаца в лавке лимоны купила да позабыла их на прилавке. Вернись, бога ради, за ними в Вышеград. Ты нас еще до Добруна догонишь.

С трудом соображая, что от него требуется, Тане повторял с коротким и блаженным смешком:

— Лимоны... у Меджуселаца... Хорошо, я мигом.

Тане тотчас же повернул назад и поплелся к Вышеграду, напрасно стараясь взбодрить шенкелями цыганскую клячу, невосприимчивую к ударам. По временам он оборачивался и смотрел, как, удаляясь, вьется на ветру длинный белый шарф Аники.

Разгадав Аникину хитрость, Еленка едва удержалась, чтобы не расхохотаться. И так и прыснула со смеху, едва Тане повернул назад. Молча улыбаясь, Аника продолжала путь. Ушедший вперед слуга дожидался их в тени.

Добрун шумел многолюдьем и праздничным гулом. Говорили, что и Аника где-то здесь, но никто ее не видел ни во время службы, ни после возле церкви, хотя все только ее и высматривали. Среди возбужденной, поющей толпы бродил Тане, золотых дел мастер, горестно озираясь вокруг. Его затирали в толпе и толкали пьяные крестьяне, но он все кружил по двору, стискивая в руке полный кулек лимонов, которые он купил, поняв, что Аника ничего не забывала в лавке. Аника с Еленкой появилась только под вечер и уселась на самом видном месте под большим навесом посреди церковного двора.

Узнав о приходе Аники, протопоп, вне себя от возмущения, хотел было сам идти прогнать ее с церковного двора. Старейшины и городские попечители с трудом сумели его задержать. Двое из них отправились сказать негодникам, чтобы они сей же час проваливали со двора.

Мужская половина прихожан между тем уже теснилась вокруг Аники. Дружный смех, а вслед за ним и брань встретили посланцев протопоба. Аника делала вид, что ничего не замечает и не слышит. Попытка прорваться к женщинам и выставить их силой ни к чему не привела, их окружала плотная стена молодых парней, и горожан и крестьян, по большей части уже пьяных. Старейшин оттеснили к протопопскому дому, и они там едва спаслись.

Смеркалось, когда городские попечители и сам протопоп стали спускаться с крыльца его дома. Однако же толпа не давала им пройти на церковный двор.

Народ, в наивысшие моменты мятежного пыла меньше всего способный отдавать себе отчет в своих желаниях, отхлынул от навесов, где сидели женщины, к крыльцу протопопского дома. Из колыхнувшейся толпы вперед вырвалось несколько подвыпивших парней. Особенно буянили лештане, на всяком церковном празднике находившие повод для потасовки.

Вдохновленные высоким саном противника, они орали с удвоенной силой:

— Не позволим!

— Не дадим!

Братья Лимичи, самые известные среди лештан скандалисты, распоясанные, скрипя зубами и изрыгая пену, размахивали ножами и клялись без всякой на то нужды:

— Я за тебя, брат, постою...

Темнота сгустилась. Только что из Вышеграда прибыл Якша, весь день боровшийся с собой и уже под вечер, не в силах с собой совладать, выехавший в Добрун. Люди держались вблизи навесов или у костров, горящих на лугу и лишь упившиеся в доску расплозились в стороны и там, у заборов во мраке, блевали, стонали и сами с собой разговаривали. У крыльца протопопского дома по-прежнему давка и гвалт, в котором ничего не разобрать. В дверях стоял сам протопоп, черный и бледный в свете лучины, которую держал кто-то в прихожей за его спиной. Он порывался говорить, стараясь высвободиться из рук крепко державших его старейшин, но в гомоне и криках

и сам не в состоянии был расслышать своих слов. На лице его не было и следа растерянности или боязни, лишь гневное изумление перед тем, что происходит на его глазах. Все это время он тщетно старался что-то сказать или дорваться самому до одного из пьяных буянов. Но вдруг, сделав отчаянный рывок, застыл на пороге, пораженный видом центрального, ярко освещенного навеса. В красных отблесках костра перед ним предстало строгое и гордое лицо Аники с Еленкой и Якшей, который как раз устремился к ней, протягивая руки жестом страстной и рабской мольбы, столь непереносимо унижительной для родительских глаз.

Растолкав стоящих за своей спиной, протопоп бросился назад, в темноту неосвещенных комнат. Протопопша, дрожавшая и плакавшая на галерее, бия себя в голову от позора и неделимой любви и жалости к ним обоим, побежала за мужем вместе с женщинами, бывшими около нее. За ними кинулся кое-кто из мужчин, родных и старейшин, тогда как другие остались сдерживать напор толпы на крыльцо. Протопопа захватили в тот момент, когда он впотьмах срывал со стены длинное ружье. Его настигли у окна, смотревшего на ярко освещенный навес с теснившейся вокруг него толпой, Якшей, согнутым в просительной позе, и с неподвижностью изваяния застывшей в центре всей этой картины Аникой. Мужчины схватили протопопа за пояс, а протопопша повисла у него на ружье. Он отбивался молча, но яростно. Преодолевая сопротивление старика, мужчины приговаривали, задыхаясь:

— Отец протопоп! Батюшка! Опомнись!

Протопопша верещала сильным и тихим, но устрашающим голосом:

— Нет, заклинаю тебя всей нашей жизнью и любовью! Не-е-е-т!

Постепенно протопопа увлекли в дальний темный угол комнаты, откуда не был виден церковный двор. Тут наконец склонился грозно вскинутый ствол его ружья, но вместе с ним рухнула на пол и протопопша. Кто-то кинулся приводить в сознание бесчувственную женщину, другие потащили протопопа в комнату, выходившую окнами в противоположную сторону.

Гомон и суматоха во дворе постепенно утихали. Быстро позабыв, как и положено пьяницам, первоначальную причину своего возмущения, гуляки, в поисках нового повода для свары, лезли с объяснениями друг к другу и

к родичам, а те грузили их, словно мешки, на коней или под руки уводили вниз по дороге. Только отдельные безумцы еще торчали у навеса, с отблесками пламени на потных пьяных лицах и, мигая, глазели на Анику. Но и Аника собиралась уже в обратный путь. Она решительно отвергла предложение Якши проводить их до Вышеграда. В беспомощном смущении он горько сетовал:

— А каймакам к тебе все приходит?

Аника и слушала и отвечала рассеянно, словно думая о чем-то другом.

— Каждый вечер, Якша. Как это ты его не встретишь? Уж не обходит ли каймакам тебя стороной?

Задетый за живое, Якша передернулся, но Аника продолжала с тихой вкрадчивостью:

— Или, может быть, ты его обходишь стороной?

И, словно бы не думая о том, что говорит, прибавила:

— Он и завтра придет сразу после ужина.

Народ расходился с необъяснимой после такого неистовства поспешностью. Одни только продавцы кофе, шербета и сладостей еще возились на дворе, собирая свой товар и принадлежности в ящики, служившие им до этого прилавками. Залитые или брошенные, догорали костры. Из темноты доносились пьяные выкрики. Но и они удалялись. И только те из пьяниц, у кого не было близких, валялись кулями в канаве или под забором.

В протопопском доме долго еще мелькали лучины и свечи и шептались женщины, хлопотавшие вокруг протопопши или подававшие кофе и ракию сидевшим в кабинете мужчинам. Протопоп пришел в себя настолько, что мог сидеть и разговаривать с людьми, но делал это с видимым усилием, как после похорон. Наконец, переглянувшись, поднялись и последние, самые близкие. Протопоп попрощался с ними, стараясь держаться как можно более спокойно и уравновешенно. Только с протопопшей остались ночевать две женщины.

Когда дом опустел, протопоп некоторое время побыл еще в кабинете, а потом встал и пошел в большую комнату, глядевшую окнами на церковный двор и усадьбу Тасича. С трепетом прислушивались к его шагам протопопша и оставшиеся у нее женщины. Но вскоре все замолкли. И женщины решили, что протопоп перебрался прилечь в большую комнату, где было более прохладно и проветрено.

Протопоп между тем зажег восковой ночник, запер дверь и сел перед свечой, озарявшей его грудь, бороду и

широкое землистое лицо с темными впадинами глаз. На улице брехали собаки. Церковный двор тонул во мраке; только за рекой у дома Тасича мелькали лучины.

Так он сидел на сундуке со скрещенными на груди руками, словно бодрствовал над покойником.

Гнев его остывал, в голове прояснялось, но боль разрывала сердце. И в безысходности своего теперешнего горя взывал он к прошлому, ища поддержки и опоры в том времени, когда еще «не было этого». Вскоре сравняется тридцать один год, как он священствует в Добруне. Живя при церкви и с народом, много зла повидал протопоп на своем веку, многое хранится в его памяти, но никогда он и мысли не допускал, что доведется дожить до этой неожиданной-негаданной беды, которая ворвется в его собственный дом и поразит его родную кровь, надрывая родительские души, покрывая бесчестьем головы отца и матери, бессильных отвратить ее отчаянной борьбой и даже самой смертью.

В холодной пустыне его души возникло неизведанное протопопом до сих пор чувство щемящей всеобъемлющей жалости. Жалости ко всему роду людскому, к самому его дыханию, к хлебу, который он ест. И прежде всего к этому несчастному, большому, неразумному ребенку, впадшему в такой невиданный позор. И, притулившись на сундуке, согнувшись, как сиротинка, закрыв лицо руками, протопоп впервые в жизни зарыдал — безудержно, в голос. Беспомощный и безоружный перед лицом беды, несправедливости и срама, всхлипывал он сквозь стиснутые зубы, тщетно стараясь взять себя в руки и подавить рыдания, но в то же время под живительным потоком этих слез он словно бы возрождался. И, судорожно сжимаясь в комок и склоняясь к самому полу, воспарился духом и в просветлении восстал из падших и проклял всей силой души и разума поганую блудницу, страшное создание без стыда и без совести.

3

Той же ночью при лунном свете Аника возвратилась в Вышеград. За ней по пятам следовал Якша. Следующим вечером по дороге к Анике каймакама подстерег выстрел из-за живой изгороди. Алибег был легко ранен в плечо. В тот же вечер Якша исчез из города.

Аника послала свою цыганку справиться о здоровье Алибега, но слуги прогнали ее палками. Анику это ничуть не встревожило. Она была совершенно уверена, что каймакам и без всякого зова явится к ней, едва только поправится. Поездка в Добрун окончательно убедила Анику в полной ее безнаказанности. И не только ее, весь город, пребывавший в страхе и трепете перед полным разбродом и безвластием, чувствовал то же самое.

Стоит сентябрь. В сосновом бору над Банполем каждый вечер вздымается пламя костра, который разводит Якша; он подался в гайдуки, ибо в Добрун ему дороги нет, а в город спускаться он опасается. Напрасно на его поимку посылаются жандармы. Вскоре они перестали преследовать беглеца, и его костер, что ни вечер, разгорается над самым Боровацем, в получасе ходьбы от города. Все жители прекрасно знают, что это Якшин костер светится в горах. И Аника со своего двора глядит порой, как с первыми звездами загорается огонь его костра, расцветая и наливаясь красным пламенем в ночи, сгущающейся над горами.

В то время как Якша прячется в лесах, добрунский протоп, неподвижный и белый, как мертвец, лежит у себя дома в постели. Заплаканная протопопша днями и ночами неотлучно находится при нем. Взглядом умоляет она мужа произнести хоть единое слово, приказать ей что-нибудь, но он лишь кусает губы, скрытые в седой бороде и усах и не поднимает на нее остановившегося, отсутствующего взгляда.

Каймакам проводит вечера в своем саду над Дриной с приятелями. Отдав распоряжение жандармам найти и схватить Якшу, он выбросил из головы и дьякона и жандармов. Рана его быстро зажила. А тут к нему еще и гости нагрянули из Сараева — двое лоснящихся жиром османов.

Днем они сидят в саду над рекой, играют в карты или посылают солдат пускать по течению желтые тыквы и стреляют в них как в движущиеся мишени. А под вечер приводят музыкантов-цыган. Османы привезли с собой потешные фейерверки, выписанные из Австрии, и зажигают их, когда стемнеет. Весь город взбудоражен этим невиданным чудом. Дети не ложатся спать, а ждут, прильнув к стеклу, когда начнут пускать ракеты из каймакамова сада. И взрослые с недоверчивым изумлением дивятся на россыпь красных и зеленых огоньков,

вспыхивающих на летнем небе и осыпающихся светящимися каплями, после чего наступает еще более густая и непроглядная темнота с мерцанием звезд и полыханием Якшиного костра в горах.

Аника затаилась. Не принимает никого. Под вечер запирает ворота и приказывает Еленке петь. У Еленки высокий, пронзительный голос, так что ее слышит весь город от горы до горы. Аника сидит возле нее и слушает, неподвижно, немо, так что ни один мускул не дрогнет на лице.

В городе, где истолковывался каждый жест Аники и каждое ее слово передавалось из уст в уста, поговаривали, что Аника не успокоилась и не угомонилась, хотя унизила протопопа в его собственных стенах и покорила весь город. С недоумением и страхом, граничащим с благоговением, повторяли слова, которые она сказала недавно одному пропойце-турку, особенно упорно осаждавшему последнее время ее дом.

Это был богатый и свирепый турок из Рудова. Трезвый, он сидит где-нибудь в трактире или околачивается в городе, а как напьется, — а напивается он ежедневно, — устремлялся на Мейдан, прямо к Аникиному двору. С каждым днем он проявляет все большее нетерпение и наглость. В ярости кидается на Еленку и Совету или на других мужчин, подобно ему добывающихся, чтоб Аника их приняла. С дикими угрозами мечется он под окнами и вонзает в калитку свой огромный нож. И когда он так однажды бесновался, размахивая ножом, и диким голосом вопил, что сегодня он кого-нибудь прирежет, Аника вдруг сама выбежала из дома. В легкой одежде и белых чулках без шлепанцев, она в одно мгновение оказалась перед турком.

— Ты что? Что ты орешь? Чего тебе надо? — допытывала она его своим глубоким, низким голосом, лицо ее при этом оставалось совершенно спокойным, сошлись только брови. — Кого ты тут прирезать хочешь? Ну, бей! Думаешь, кто-нибудь боится твоего ножа, дурень деревенский! Бей, говорю тебе!

Турок впился в нее своими пьяными глазами, все время что-то жуя и глотая, так что дергались концы его длинных рыжих усов и ходил ходуном выступающий небритый кадык. Позабыв про свой нож и угрозы, он стоял, словно бы сам ожидая от нее смертельного удара. Ани-

ка вытолкнула турка со двора и заперла за ним калитку.

Говорили, что, когда Аника проходила мимо Еленки, Тане и еще какого-то юнца, продолжая бранить пропойцу, она проговорила вслух, но как бы про себя:

— Доброе бы дело сделал тот человек, который бы убил меня.

Но в повальном помешательстве, овладевшем городом из-за Аники, даже здесь, где все про всех известно, было два страдающих сердца, о которых никто и не подозревал. Две души, страдающие каждая по-своему и про себя, тайно и скрытно, но глубже и тяжелее других. Это был Лале, брат Аники, и Михаило.

С первых дней позорной Аникиной славы Лале перестал приходить домой. Не появлялся он и в торговых рядах. Дневал и ночевал в пекарне. Сестру он не желал больше знать. Стоило кому-нибудь случайно помянуть при нем ее имя, как его по-детски ясный взгляд хмурился и вперялся в какую-то невидимую точку. Но тотчас же, тряхнув своей светловолосой, запорошенной мукой головой, он снова улыбался особой улыбкой слабоумных. И, напевая, продолжал механически и быстро накалывать пшеничные караваи, выводя на них однообразные узоры, каким его с детства научил отец.

Вот и все, что было видно поверхностному наблюдателю. Какие муки испытывал Лале, что переживал в душе в полутемной клетушке за большой печью молчаливый, недоразвитый юноша — этого никто не знал.

Неподалеку от пекарни Крноелаца, несколько в стороне от центра базара стоял дом газды Николы, где по-прежнему жил Михаило. С тех пор как Аника вышла на свой срамной, разбойный промысел, Михаило старался больше быть в разъездах, но, возвращаясь в город, не мог избежать разговоров по лавкам и из них узнавал все новости и слухи, связанные с Аникой.

Газда Петар Филипповац, отлучивший сына от дома и не разговаривавший из-за него с женой и дочерьми, особенно любил Михаило и подолгу беседовал с ним, как с близким другом, несмотря на разницу в годах. Частенько с раннего утра устраивались они в лавке газды Петара. Еще и половина лавок на базаре не открыта. Тишина и прохлада, Газда Петар, мрачный и отекший, сидит басит:

— Молод ты еще, а я тебе скажу, что сущую правду старые люди говорили. В каждой женщине бес сидит, которого надо убить или работой, или родами, а то и тем и другим; а если женщина уваливает от того и другого, ее самое надо убить.

И как будто бы до сих пор они об этом никогда не говорили, газда Петар, возвышая голос, обращался к нему с одним и тем же заявлением:

— Забыли этот завет люди, брат Михаило!

Когда же Михаило напоминал ему рассказы о Тяне или о Совете, еще до Аники погрязших в пороке, газда Петар перебивал его:

— Тяна была против этой святая. А Совета? Если бы одна только Совета, город бы мирно спал. Спокон веков водилась здесь какая-нибудь цыганка или бродяжка, да ее место было известное — с солдатьем по канавам. Никто на это и внимания не обращал и никому это глаз не колело. Но такое! Видал, что творится? Церковь поругана, власть посрамлена и всех нас в гроб она вгонит. И никто ничего с ней поделать не может.

— Никто?

— Никто, видит бог, никто. Сейчас она в городе и паша и владыка. И уж коли в городе не найдется никого, кто бы эту гадюку убил, надо нас поджечь со всех четырех сторон. Разбойники, что по дорогам в засадах сидят, и те меньше, чем она, зла причинили.

И он начинает перечислять все ее злодеяния, пока не доходит до собственного своего несчастья. А тут только махнет рукой и сглотнет вставшую в горле комом горечь. Михаило утешает его: когда-нибудь и Аникиной вольнице наступит конец.

— Нет. Не будет ей конца. Так она и будет разбойничать до скончания века. Не знаешь ты нашего народа. Против всякой напасти устоит, только не перед такой. Оседлала она нас, и никто ее никогда не скинет.

Газда Петар неизменно завершал свои речи этими словами, Михаило слушал его, потупив в задумчивости голову.

Знать бы убитому горем старику, какие мучения доставляют Михаило эти разговоры, он бы нашел себе другого собеседника или наедине с собой разбирался бы в своей беде.

А Михаило порой казалось чудом, что у него откуда-то берутся еще силы быть среди людей, работать,

говорить, держать себя в руках настолько, чтобы ничем не выдать того, что происходит в нем вот уже целый год.

Стремительность Аникиного преобразования убедила его в несбыточности его мимолетной и обманчивой надежды. Негодуя на самого себя, он спрашивал, как мог он хоть на миг помыслить о том, что все произошедшее с ним в корчме на развилке дороги, может изгладиться из памяти и порости травой забвения. Как смел он надеяться на это? Однажды в Сараеве на ярмарке ему довелось видеть, как один серб пронзил ножом албанца. Нож остался в ране. Раненый, не обернувшись на убийцу, за которым уже кто-то кинулся, медленно, торжественно и сосредоточенно направился к первым открытым дверям. Он шел, словно считая шаги, ни на кого не глядя, только зажимал обеими руками свою рану, ясно отдавая себе отчет в том, что жить ему осталось до тех пор, пока не вытащат из раны нож.

Как собственную свою неминуемую и близкую смерть, Михаило ощущал, что «то дело» не завершилось ночью в корчме и восемь лет страданий его не искупили. Он, Михаило, был тогда смертельно ранен. Восемь лет — это те несколько шагов албанца до первых открытых дверей, которые он проделал, прижав руки к ране, опустив вниз глаза. Спрятавшись и затаившись в этом городе, он дал себя убаюкать обманчивой надежде окончательного избавления. И вот теперь погоня настигла его.

И странно, душевная мука и страх от этого признания собственного поражения словно бы становились меньше. И с сокрушением и грустью внутренний голос нашептывал ему:

— Пришло время вытащить из раны нож. Бессмысленно обманывать себя.

Теперь Михаило не может дать себе отчет, с какого времени в сознании своем стал он путать и отождествлять Анику с Крстиницей; они давно уже, всегда, как чудилось ему, были для него одним лицом. И не только Аника, но и все те малочисленные, убогие женщины из его жизни за эти восемь лет: бродяжка в каком-нибудь трактире или цыганка на дороге, которую он не мог обойти, побежденный желанием, — все они теперь соединились для него в одну женщину: статную, дородную Крстиницу, рыжеволосую, с огненным взглядом и могучими руками. В них во всех узнавал он ее по тому страху, который

они по себе оставляли, по желанию бежать, скрываться, очиститься, отмыться и забыть.

Но теперь это было не то, что мгновенно вспыхивало и исчезало: соблазн, испуг и отвращение. Здесь на взгорье, совсем рядом — крикнешь и тебя услышат — жила женщина, преследующая его неотступным напоминанием о Крстинице, и эту женщину надо убить. Вызванные когда-то Аникой мечты обратились теперь новой мукой, горьким укором самому себе, а ее разоблачение после томительной недолгой игры подтвердило самые тайные его и страшные предчувствия.

Сын оружейника, чувствительный и твердый по натуре, выросший под руководством разумного и честного отца, Михайло умел терпеть и скрывать свои чувства, но страдания его превышали уже всякую меру терпения. Чудовищный призрак позора вставал перед ним страшнее и мучительнее самой смерти. А неизбывная боль, отравляя каждую минуту жизни, доводила до безумия.

Порой его сознание, как неокрепший детский ум, одолевали навязчивые и абсурдные мысли. Может быть, ему было бы легче, если бы он, например, в ту ночь не оставил свой нож в руках Крстиницы? Он воспринимал его как залог, улику, связывавшую его с тем страшным миром, из которого он вырвался в ту ночь. И когда при нем случайно и без всякого отношения к нему проносили слово «нож», внутренний голос сейчас же отзывался в нем: «Мой нож остался у нее».

Этот незримый внутренний разговор мало-помалу заменил Михайло истинную жизнь.

Но наряду с многоликими и тяжкими испытаниями, познанными Михайло в его долголетнем одиночестве и непрерывных внутренних расчетах с собой, существовала, оказывается, еще одна чудовищная пытка: упорное повторение одного и того же сна с полным пониманием того, что сон этот он видел прошлой ночью. Это был сон, в котором он сводил счеты с Аникой. Михайло не помнит, когда он впервые приснился ему, но с каждым повторением сон этот пополняется какой-то новой реальной подробностью, которую он тотчас подмечает. И может быть, от этого, сгущаясь, сон этот из области нематериальных видений как бы и сам переходит в действительность, сливается с ней.

Вот каким он предстал перед Михайло впервые.

Прозрачное утро. Свежесть и прохлада на лице, на губах, во всем теле. Гордо выпрямившись, он идет торжественно настроенный, радуясь принятому решению, столь величественному, что он не может охватить его целиком и только ощущает все его непереносимое бремя. Как будто бы кто-то неумоимо расчищает перед ним улочки и перекрестки от людей, и само величие его решения ведет его вперед. Так он проходит мимо Кривошеиной пекарни, откуда доносится веселое пение Лале. Поднимается на Майдан. Аникин двор залит ярким светом, испещрен ожившими головками цветов. Двери дома гостеприимно распахнуты.

Какие отчаянные усилия во сне и наяву делал над собой Михайло, чтобы не переступить этого порога, чтобы обойти ту дверь! Занимался тем, чем мог не заниматься, отправлялся в дорогу безо всякой надобности, лишь бы отогнать от себя эти мысли, лишь бы забыть про них. До каких-то пор это ему удавалось, но в последнее время происходило обратное: он забывал сроки торговых сделок, пропускал назначенные встречи. И сам пугался своей несобранности и рассеянности, как будто бы обнаружил в себе какую-то болезнь.

Оставался, может быть, еще один выход: предупреждая беду, бросить все и бежать без оглядки, как бегут банкроты и преступники. Трудности жизненного характера или явные враги, скорее всего, принудили бы его именно к этому. Но так — куда бежать? То, от чего хотел он скрыться, подстерегало бы его на всех дорогах, в каждом городе. И, наконец, мысль о побеге, как и о любом другом способе спасения, затерялась в сумбуре видений и мыслей, диким вихрем пронесившемся в его голове.

Здоровый разум и молодость, жаждущая жизни, удерживали его на последней черте. Так, он иногда думал написать или передать Анике, пригрозить ей, потребовать, чтобы она исчезла, ради нее самой, ради него, ради всех. Но тут же понимал тщетность этой мысли.

Часто думал Михайло и о Лале. Что-то в этом красивом и простодушном паренке его всегда привлекало. Между ним и братом этой женщины, вошедшей в его судьбу, давно существовала взаимная тяга, какая-то любовь, настороженность и ревность. Михайло бывал у него при всякой возможности. И после бесед с газдой Петаром особенно часто возвращался мыслями к Лале. Ему ка-

залось, что он, как брат Аники, должен был бы почувствовать и понять, что именно ему надо обуздать, укротить эту женщину, а если потребуется, то и убрать. Проходя ранним утром мимо пекарни, Михаило нарочно заходил туда. И всегда заставлял Лале за тем, как он огромным черным ножом накалывал, распевая, белые пышные пшеничные хлебы. Они перебрасывались с ним словом, другим, насколько позволяло косноязычие Лале. Михаило пытался свернуть разговор на Анику, но безуспешно. Сияющего счастливой идиотской улыбкой Лале нельзя было оторвать от его всегдашней темы о муке, воде и хлебе.

Таким образом, у Михаило пропала и эта слабая надежда. Все расступались перед ним, сталкивая его с Аникой лицом к лицу; все неудержимо влекло его в какую-то бездну, и, в беспомощности оглядываясь по временам на проделанный путь, Михаило мог только поражаться, как далеко он зашел на этом пути.

Стояла прекрасная вышеградская осень. Михаило чувствовал, что для него наступила пора прощания и разлуки. Началось все это незаметно. Он проснулся со словом «прощай» на устах, отозвавшимся в нем болезненным стоном. К кому обращено было это «прощай»? К растаявшему сну или к ночи вообще? Этого он не знал и сам. И не думал об этом. Но несколько позднее, умываясь во дворе под источником и склонившись к полной пригоршне студеной игристой воды, вдруг снова произнес это слово «прощай» и тут же расплескал его вместе с водой. И снова позабыл о нем.

Но потом сам увидел — он в самом деле прощается. И в один прекрасный день подошел как ни в чем не бывало к цыганке Аники, часто попадавшей ему в торговых рядах, и с тихой вдумчивостью сказал:

— Спроси Анику, могу ли я завтра прийти к пей утром или в полдень, только чтоб никого у нее не было. Есть один разговор.

Когда цыганка исчезла, Михаило с дрожью осмотрелся вокруг, напрасно ища поддержки и совета. Но весь день затем был совершенно спокоен, приводил в порядок счета, убирался в доме. Перед заходом солнца собрался, как обычно, на Стражиште, туда, где столько раз проводил с товарищами вечера, пил, слушал песни.

Неторопливо поднимался он к знакомому уступу. Расположился над турецким кладбищем и расставил перед собой ракию, кофейную чашечку и закуску. И не торопясь стал чиркать кресалом о кремьень, с нежностью держа зажженный прут в пальцах левой руки. И потом не отрывался взглядом от кудрявых завитков табачного дыма, застилающего вид и медленно растворяющегося в неподвижном воздухе. Между соснами еще проглядывало солнце. Под ним в долине курился дым над красными и черными кровлями белых вышеградских домов. В разлившемся рукаве Рзава отражалось небо и прибрежные ракиты.

Все это жизнь.

Перед внутренним взором Михаило представало и то, чего нельзя было отсюда увидеть: все входы в лавки, дворовые подворотни с гладкими каменными плитами, где воются дети, толпы людей, все взгляды, все приветствия.

Все это жизнь.

Он выпил чарку ракии, позабыв про закуску. Кольца синего дыма, колеблясь в воздухе, медленно таяли. В сумерках этого дня вещественный мир выказывал настойчивое тяготение к постоянству и сохранению первоначального своего облика. И Михаило вдыхал этот дым и воздух, вышеградский воздух, охватывая взглядом дома и очертания островерхих гор и равнин, с которыми свыкся с годами; неизменный облик гор, неизменная сила прivityчки. Видова гора, Каберник, Лиеска, Блажев холм, Олуяки, Жлииб, Яняц, Гостиль, Чешаль, Большой Луг, а за своей спиной и не оглядываясь он ясно видит и Столац, и Станишевац, и Голеш. Вершины гор отражали, как отражают всегда, последний солнечный блик и гасли, закутываясь в синеву, предшествующую ночи. Тихо обволакивались они синевою и постепенно исчезали. Никому не хочется уходить и расставаться.

Все это жизнь.

На этих днях исполнится шесть лет с тех пор, как он обосновался среди этих гор и стал трудиться и жить бок о бок с этими людьми. Он врос корнями в эту землю, здесь протекает его жизнь. И, как все на свете, как этот дым, и этот блеск, и этот шум, он бы тоже хотел еще побыть и пожить в неизменности сущего, в непрерывности движения.

Сердце его пронзило острое сознание того, что он снова прощается. При этом никого и ничто он не имел в

виду: ни товарищей, ни газду Николу, ни веселые пирушки, ни дела, — он попрощался вообще, покидая все с болью сожаления в душе. Расставание — всеобщий удел, но простаться вот так мог бы не всякий; для этого надо иметь большое мужество.

Михаило пускал кольца дыма над городом, в котором уже зажигались огни. Ракия, выпитая в минуту душевной смуты, вызвала тонкое и дрожащее зудение в груди, синий дым сигарки по-прежнему стлался над родным городом. На горизонте вдруг алым заревом вспыхнуло облако. Последний луч заходящего солнца, отраженного им, выхватил лежащую в тени поляну на Янице. Михаило поднялся, словно по какому-то знаку, и в сгущающейся темноте спустился в город. За ним вился летучий дым.

Михаило направился прямо домой. Надавил на деревянную щеколду в калитке. За долгие годы он изучил все прихоти и изъяны этого отшлифованного деревянного бруска, и прикосновение к нему вновь напомнило ему о сладостном блаженстве бесконечного существования, бесконечной жизни, без перемены места, без перемен вообще. Дверь в дом была наполовину открыта, и видно было, что внутри пылает огонь в очаге. Засмотревшись на этот огонь, он пересекал обширный двор, но вдруг отпрянул назад, точно на что-то наступил. Перед амбаром стояла одноглазая цыганка. Пристыженный своим испугом, он сам подошел к ней. Она заговорила первой:

— Аника велела тебе ирйти к ней завтра утром, да пораньше.

Цыганка произнесла это одними губами и скользнула неслышно вон.

Ночью Михаило приготовил все необходимые отчеты для своего компаньона газды Николы. Перед рассветом вместо сна он впал в какое-то приятное забытье, сокращающее время, затуманивающее ощущение реальности.

Солнце поздно всходит над городом из-за зубчатых гребней окружающих его высоких гор. Но рассветает здесь задолго до появления солнца от отраженного света, льющегося прямо с середины неба. По этому ровному свету Михаило прошел свой двор, на ходу перебрасывая через плечо котомку и торбу, как будто бы отправлялся в дальний путь.

Улицы были пустынные и казались шире и светлее. Проходя мимо пекарни, он не улыбался оттуда пения Лале; в неуточный час, закрытая и покинутая, пекарня имела вид мрачной и старой часовни. Однако дальше все шло своим чередом. Безлюдная дорога, вздымавшаяся к Мейдану. Плающий край неба указывал на скорый восход. Под стрехами ворковали голуби. Многие дома зияли черными проемами открытых дверей, словно изгоняли из себя темноту.

Двор Аники открыт. В саду, взбегавшем по склону над домом, Еленка собирала стручковую фасоль и, до макушки скрытая зеленью, распевала, точно сверчок.

Едва Михаило переступил порог дома, как взгляд его упал на очаг. В тонком пепле, подернувшим огонь, лежал огромный черный пекарский нож, окровавленный по самую ручку. Это был тот самый нож, столько раз виденный им в руках у Лале, когда он разговаривал с ним.

Пораженный, оторопелый, словно в каком-то странном сне, в котором снится еще более невероятный сон, Михаило твердым шагом подошел к двери в комнату и без колебания ее отворил. Маленькая, целиком застеленная коврами комната была в полном порядке. Только две подушки были сброшены с дивана. Подле него лежало тело Аники. Она была одета, только на груди разорваны жилет и рубашка; ничто не говорило о том, что она боролась или мучилась перед смертью; она казалась еще крупнее и была и на полу, и на диване, и на подушках, прислоненных к стене. Волосы ее не утратили блеска. Из нее еще не вышла вся кровь.

Весь оледенев, Михаило поднял руку, чтобы перекреститься, но сдержался и вместо этого притворил дверь. Выходя, он еще раз бросил взгляд на окровавленный нож в золе, застывший в вековой неподвижности немых и мертвых вещей. Вернулся и, содрогаюсь внутренне, взял этот нож, вытерев его сначала о пепел, а потом о загородку очага, и сунул его себе за пояс рядом со своим ножом, приготовленным на сегодняшнее утро.

На дворе уже встало солнце, и Еленка по-прежнему распевала где-то в саду. Полнозвучно рокотал источник.

На выступе фундамента под окном уже сидел малоумный Назиф, складывая кучками сахар и что-то восторженно бормоча себе под нос. Идиот даже не посмотрел на Михаило, прошедшего мимо и быстрым шагом спускавшегося к потоку, еще объятому утренними сумерками.

Внезапная гибель Аники в корне изменила жизнь города. Казалось поистине невероятным мгновенное возвращение к старым порядкам после царившей здесь смуты и разброда. Никто не задавался вопросом, откуда появилась та женщина, зачем она жила, чего хотела. Она была опасна и вредна, и вот теперь убита, похоронена, забыта. И город, временно подпавший под ее власть и подпавшийся ее порочному влиянию, мог снова свободно дышать, мирно почивать и сообщаться на законном основании. Вплоть до новой подобной напасти, а она непременно явится рано или поздно, снова охватив пожаром город, который будет ей сопротивляться, пока не одолеет, не зароет в землю и не позабудет.

Салко Хедо вел расследование об убийстве. При допросе жандармы без надобности били Еленку и Савету, и так говоривших истинную правду.

Аника в то утро хотела остаться одна и полностью «очистила» дом. Она не только никого не пускала к себе, но и цыганку и Савету отослала в Вучину к некоей Кристине, откуда они не могли вернуться до обеда, а Еленке велела идти в сад, собирать стручковую фасоль и не приходить без ее зова.

Цыганка показала, что в тот же самый вечер, когда она передала Михаилу, что он может прийти, она по Аникиному поручению была и у Лале и сказала ему:

— Аника передала тебе, чтобы ты обязательно пришел к ней завтра утром, да пораньше.

Лале ничего ей не ответил.

Для чего Аника призывала брата, никогда ее не навещавшего, явиться к ней именно в то утро, когда к ней должен был прийти и Михаил? Было ли это простое совпадение? Или она подстраивала какую-нибудь каверзу и западню? И кто из них двоих мог убить Анику? Все это цыганка не в состоянии была объяснить, так же как Еленка и Савета, потому что Аника с ними мало говорила и никогда не посвящала в свои планы.

Единственное, что могла сказать Еленка, это то, что, наблюдая из любопытства с горы за тем, кто входит и выходит из дома, она видела, как первым туда вошел Лале и через некоторое время выскочил вон. Она этому, нисколько не удивилась: мол, известное дело, придурок. Вскоре после него в дом вошел Михаил; он пробыл там еще меньше, чем Лале, и вышел нормальным шагом. И хотя ее разбирало любопытство узнать, что это Аника

там делала с братом, с которым находилась в ссоре, и с Михаило, никогда к ней не приходившим, из сада спуститься Еленка без зова не осмеливалась. Она сбежала вниз, лишь услышав вопли старушки, носившей по домам продавать полотно и наткнувшейся на груп Аники.

Лале видели крестьяне над Добруном, на дороге, ведущей к Ужице, тогда как о Михаило известно было, что он ушел в противоположную сторону, сараевской дорогой. Нож, которым была убита женщина, обнаружить нигде не удалось.

Дело представлялось запутанным, туманным и безнадёжным. Это было как нельзя более на руку Хедо, только и мечтавшему поскорее прекратить расследование, бессильное что-либо установить и доказать и, за отсутствием заинтересованных лиц, никому, помимо всего прочего, не нужное.

Каймакам провел две-три недели в Плевлях у родных, а потом вернулся в Вышеград и зажил здесь, как жил от века, на радость себе и другим. Правда, сидя в своем саду за кальяном и глядя на быстротекущую воду, он порой возвращался мыслями к гяурке с Мейдана. «Поразительно! Такая красота — и исчезла бесследно!» В таком примерно направлении шли его размышления. Но в городе он не видел достойного для обсуждения этого предмета лица.

Да и весь город быстро принимал свой исконный образ. Женщины повеселели, мужчины угомонились.

Сын газды Петара Филипповаца пришел к отцу с повинной. Он как-то вдруг раздался вширь, понурился, отрастил длинные и жидкие усы и ходил, припадая на оба колена. Он с головой ушел в работу. После рождества собирается жениться. («Всю душу из нее вытрясу», — гсворил он друзьям с хмурой хрипотцой.)

И только газда Петар Филипповац, единственный из горожан, сидит в своей лавке по-прежнему мрачный и злой. В душе он искренне жалеет Михаило, этого бедолагу, у которого, должно быть, была какая-то тайная мука на сердце. И когда при нем заговорит кто-нибудь о счастливом избавлении города от напасти, он только отмахнется рукой:

— Эта нас и из могилы достанет, сто лет еще будет пить нашу кровь. Сто лет теперь надо, чтобы от скверны очиститься.

Но во всем городе такого мнения придерживается один только газда Петар Филипповац.

И у добрунского протопопа дела пошли на лад. После Апкиной гибели Якша решил бежать в Сербию, но по дороге узнал, что отец его на смертном одре. Он тотчас переменяет решение. В ту же ночь был в Добруне и прямо к больному отцу, припал к его руке, получил прощение и был благословлен. Отец сейчас же отослал сына в Трновицу переждать, покуда не уляжется шум и разговоры. И вскоре поправился настолько, что сам мог поехать в Вышеград. Тут он увидел, что каймакам и не думает преследовать Якшу, а Хедо делает вид, что понятия не имеет, кто стрелял в каймакама. Словно по безмолвному согласию, все предавалось забвению и устранялось как по заказу.

Следующим летом Якша женился, и протопоп еще дожил до того часа, когда сын принял священнический сан и заменил его в Добрунском приходе.

Дом Крнелаца и пекарню Лале взяла внаем община. Теперь тут живут и работают другие люди. Редко кто и вспомнит про детей Анджи Видинки. Да и Михаило начинают забывать. Только бывший его хозяин и компаньон, газда Никола Субботич, часто его вспоминает. С тех пор как он лишился Михаило, он вынужден был снова поселиться в Вышеграде, ибо больше некому было его здесь заменить. Теперь он меньше разъезжает и меньше играет. Точит его, видно, какая-то болезнь, отнимает силы. Теперь газда Никола приходит к Петару Филипповацу беседовать. А под вечер, когда спадает жара, и газда Петар частенько навещается к нему. В самшитах над источником на просторном красивом дворе им расстилают ковер. И здесь, разговаривая и потягивая ракию, они всякий раз вспоминают Михаило.

— Пропал человек, словно в воду канул, — с печалью в гортанном голосе сетует газда Никола, — а я по нему как по сыну родному тоскую.

И газда Никола по сто раз благословляет хлеб-соль, который они делили пополам. В уголке его глаза блестит неподвижная искра. Эта слеза никогда не выливается и всякий раз, когда газда Никола говорит о Михаило, вспыхивает в том же уголке, как будто бы она всегда одна и та же.

ШУТКА НА САМСАРИНОМ ЗАЕЗЖЕМ ДВОРЕ

Крешевский мутеселим Хамзага в последнее время обозлился на монастырь и не упускает случая ему напасть. Жалуется на братию в Сараево, ущемляет ее, как только может, отрезает пастбища, выискивает потравы; воду, которая исстари считалась монастырской, отводит на свою бахчу и вообще так и смотрит, как причинить ущерб побольше. Монахи оборонялись всеми силами, на все шли, чтобы припугнуть его или умиротворить то тяжбами и угрозами, то сладкими речами и взятками. Но ничто не помогало. Человек обратился ко злу и не желал видеть ни уступок, ни денег, не щадил трудов, только бы затеять новую склоку, обобрать да навредить покрепче.

А тут на монастырь свалилась новая забота, вызвавшая великое замешательство: Хамзага перехватил монастырский обоз с вином из Герцеговины. Шесть возов. Пять возов — десять мехов — красного вина для братии и один воз — два меха — белого «церковного» вина для причастия.

Лучшего способа досадить монастырю Хамзага и придумать не мог. Ввоз и перевозки вина были запрещены. Прежде власти смотрели на это сквозь пальцы, но тут Хамзага не упустил возможности поиздеваться над братией да еще оставить ее без вина.

Вот почему настоятель монастыря ффра Степан Рамляк сам не свой от злости и возмущения. Спозаранку бегаёт по монастырю и ищет, кто бы его научил, как обуздать или перехитрить Хамзагу. Настоятель Степан Рамляк человек ученый, многоопытный, но слишком чувствительный, легко раздражается, а из-за этого Хам-

зы он потерял и сон и присутствие духа и во всем видит «diabolicam perfidiam et malignitatem»¹ нового мутеселима, как он писал в жалобах начальству.

Обычно ведением дел в монастыре и всем, что бы ни предпринималось и ни решалось «по дому», всегда недовольны престарелые монахи, «старцы». Они живут уединенно, в большей или меньшей степени привязаны к своей келье, освобождены от большинства обязанностей, но, немощные и потерявшие влияние, хранят «jus murgandi» — право брюзжать и поучать, хотя никто их не слушает.

И только один из них — не только старый, но и больной, прикованный к постели фра Петар — редко и неохотно пользуется этим правом. Напротив, когда пришедшие его навестить старики начинают ворчать, что «молодежь» худо ведет монастырские дела, он останавливает их шуткой, а то и насмешкой и на все утверждения, что в старину было лучше, отвечает, что не лучше было, а было давно. «Все хорошо, что было давно, а лучше всего то, чего вовсе не было», — посмеивается он.

Но даже фра Петар не может удержаться и не пожуричь теперешнего настоятеля — слишком уж быстро тот выходит из себя, по мелочам тревожит начальство, пристаёт с просьбами к турецким властям и без конца ездит в Фойницу, Сутеску, и даже в Сараево.

Входя в то утро к фра Петару, я столкнулся в дверях с настоятелем — суетливый, озабоченный, он выбрался из кельи. Фра Петара я застал в обычном положении — он полусидел-полулежал на высоких подушках. Старик встретил меня улыбкой и шуткой, которыми всегда умело скрывал боль в позвоночнике и изнеможение после бессонной ночи.

— Повороши огонь, дружок, пока он не погас, благослови тебя бог! — сказал он, указывая на глиняную печь с лежащими перед ней дубовыми поленьями.

Мы заговорили об истории с вином, об убытке, причиненном монастырю, и о том, как все это лучше уладить.

— Такой урон, — задумчиво произнес фра Петар, — столько вина! Я-то его не пью, но все равно душа болит, как подумаю. Красное вино из Брадина, чудо!.. Но, бра-

¹ Дьявольские козни и злобу (лат.).

тсц, настоятель наш с норовом. Стоит этому Хамзе нас прижать, он тут же вскипает, слышать ничего не хочет — седлайте коня! Ему кажется, если он протрясется верхом да намается в дороге, всем легче станет. А я говорю: «Уймись, братец, посиди минутку, поразмыслим, выждем немного. К чему обивать пороги и жаловаться, сам видишь, он сел нам на голову и никто ничего сделать не может. Не первая напасть и не последняя. И хуже были Хамзы, чем этот Хамза». Но настоятель не слушает. Залядил, что такого еще не бывало. Было, говорю ему, было. Только не ты тогда был настоятелем, другие мучились. Это мне-то он толкует, что такое беда да насилие! Я возьми и расскажи ему, как одна молодая сараевка рожает и кричит на весь дом. Мать уговаривает: потерпи, замолчи, все пройдет. А она в ответ: знала бы ты, мать, каково это — рожать. Тут настоятель вскочил и бегом. Ты его встретил.

Фра Петар добродушно улыбнулся, но морщины у него на лбу так и не разгладились, и проговорил тихо, будто для себя:

— Это я-то не знаю, что такое горе! Он сам, видно, в шелку рос, на пуховиках век сидел да на мир в окно глядел. А я, братец ты мой, повидал, повидал...

Но тут он умолк, а правый ус у него слегка приподнялся. Это значило, что он сердится на себя: расхвастался и показывает, что умней настоятеля, хотя тот и на самом деле не очень умен.

Фра Петар помолчал немного и вдруг усмехнулся.

— А знаешь, ведь я чуть не женился. Вот такой, какой есть, в сутане. Правда, жениться, благодарение господу, я не успел, но венчать меня венчали. Да, да, венчали. Что ты на меня так смотришь?

Мы оба рассмеялись, и монах продолжал:

— Многое сваливалось на мою голову, даже это. Дело было давно, когда в Сараево приехал наместник султана, изрубил и перевешал уйму людей на Жутой Табии — в то время развелось столько пьяниц, бродяг и жуликов всех мастей, что султану пришлось прислать своего наместника. Дошло до того, что дороги закрыли, торговля остановилась и почтенные люди не решались выйти из дому. Тогда наместник потребовал поручителей от каждой веры, чтобы они отвечали за порядок и мир среди своих единоверцев. На каждый монастырь пришлось по два человека. От нас назначили покойного фра Мийо Козину и меня.

А настоятелем тогда был ффра Илия Злоушич, крепкий, хозяйственный, к тому же мудрый и политичный человек, родом из Травника. Его называли «визирский ум». Он вызвал нас по одному. Ффра Мийо он сказал:

— Придется тебя послать. Ты человек в летах, спокойный, разумный, а то ффра Петар молод еще, зелен, боюсь, как бы он не навлек на нас какую-нибудь беду.

И мне, тоже с глазу на глаз, говорит:

— Ты ведь знаешь ффра Мийо. Богобоязненный человек, добряк, но слишком застенчив и робок. Куда его пошлешь без молодого, находчивого и ловкого парня, вроде тебя. Бояться вам нечего. Наместник султана очистил от разбойников все дороги и селения, доедете спокойно.

И мы отправились через трое суток после духова дня, без особой охоты, конечно. Первый день пути прошел благополучно. На второй день подъехали к Самсарипу заезжему двору возле Высокого. Смотрим — какие-то вооруженные турки загородили дорогу. «Сворачивай, кричат, на заезжий двор». Нам он ни к чему, заезжий двор, но делать нечего, пришлось свернуть.

Ффра Петар примолк, вспоминая, а потом продолжал рассказывать вполголоса, как всегда ярко и живо.

На заезжем дворе собралось странное общество. Здесь было полно крестьян, торговцев, проезжих, оказавшихся тут поневоле, как и они. А наверху, на террасе, засели десять — двенадцать турок. Оттуда доносились громкие голоса и песни. Двор гудел — гомонили люди, топали лошади. Все вокруг напоминало свадьбу. Но шумливы и веселы были те, наверху, а все внизу — молчаливы и озабочены. Каждый держался поближе к своим лошадям и поклаже и выжидал — что будет дальше.

Монахи примостились под террасой, здесь они были в тени и не так на виду.

Из беседы с какими-то высочанцами ффра Петар сразу выяснил, что заезжий двор захватил Джеммо Кахриман — один из насильников, которых наместник султана выгнал из Сараева и которые разбрелись по всему краю. Со вчерашнего дня Джеммо и его гайдуки пьянствуют, а сегодня с утра хватают проезжих и запирают на этом дворе. Люди умоляют отпустить их, готовы, если надо, дать выкуп, но те, наверху, и слушать не хотят. Пьяный Джеммо свирепо объявил, что никого не выпустит, пока не наберет полный двор народу и не докажет, что наместник — господин в Сараеве, на Жутой Табии, а он, Джеммо, —

здесь, на своей земле, и тут его воля: хочет — перекроет дороги, хочет — откроем. И плевать ему на наместника.

Бедняга Фра Мийо, старый мягкосердечный монах небольшого ума, ничего не понимает. Все расспрашивает, пытается разобраться и никак не хочет примириться с тем, что они так глупо угодили в ловушку. Фра Петар, несмотря на молодость, успокаивает его и старается растолковать, как обстоит дело.

— Скверные нынче времена, отец, вот что. Сидя в монастыре, вы этого не знали. Сейчас всякий мерзавец может показать свою силу. Лучше поменьше говорить да побольше думать, не то нам отсюда не вырваться и не добраться до Сараева.

Малоопытный, робкий и растерянный фра Мийо, как все люди такого склада, не может осознать, что происходит вокруг, не умеет трезво оценивать положение и трепещет от страшных догадок. Фра Петару приходится успокаивать его и разубеждать.

— Горе мне! А не вздумают они продать нас в рабство? — тихонько шепчет фра Мийо.

— Нет, нет, — успокаивает фра Петар старика, словно малого ребенка, стараясь избавиться от вопросов, подумать спокойно, без помех, найти выход.

Не проходит и нескольких минут, как снова слышится тревожный шепот фра Мийо:

— А он не отрубит нам с тобой головы прямо здесь, перед домом?

— Нет, отец, не отрубит.

— Ты думаешь, не отрубит?

Опять наступает тишина. Фра Петар напряженно думает, а фра Мийо перебирает возможные опасности и готовит новый вопрос.

Долго тянется теплый июньский день. На широком подворье уже собралось человек пятнадцать крестьян и горожан, схваченных на дороге шайкой Джемю. А наверху, на террасе, веселье разгорается все больше. Ежеминутно кто-то сбегает вниз — выполнить новое поручение Джемю или что-нибудь принести. Все это проходимцы, главным образом безумные парни с огромными пистолетами. Своё оружие они носят неумело, но лихо. Невыспавшиеся, невымытые, они производят впечатление людей, которые одеваются и питаются тем, что им посылает случай и разбойничье ремесло.

Одни — босые, в разодранных на задку штанах, но в безрукавках дорогого сукна, не гнущихся от шелковых шнуров. Другие — в грязных рубахах, но в добротных, отличной кожи сапогах, а у некоторых вся одежда кожаная, хотя солнце палит и жара нестерпимая.

По лестнице промелькнуло какое-то существо женского пола, такое же странное с виду.

День на исходе. Новые путники больше не появляются. Среди пленников нарастает беспокойство и страх перед неизвестностью. Фра Петар поговорил кое с кем из умных людей, посоветовались, но никто ничего придумать не мог, все сидели, хмуро уставившись в одну точку. На подворье стало сумеречно, багровый свет заходящего солнца озарял только террасу. Оттуда слышался хор женских и мужских голосов, дружный смех. Быстро, неумолимо спускалась ночь, не сулившая ничего хорошего тем, кто находился внизу, во дворе, и все больше страшился ее наступления. А наверху ее ждали с радостным нетерпением, чтобы дать волю диким прихотям — таким, что честным людям и вообразить невозможно.

Кучке горожан во дворе все труднее становилось скрывать волнение. Что могла эта ночь принести путникам, оказавшимся в таком необычном положении? Удрученные, испуганные, они то и дело перешептывались и вытягивали шеи, пытаясь заглянуть на террасу, где должна была решиться их судьба. Крестьяне, всегда более спокойные, потому что не привыкли давать волю фантазии перед грозящей опасностью, неторопливо жевали хлеб и раскладывали дорожные сумы из грубой шерсти, чтобы улечься на них спать или притвориться спящими. Монахи без устали твердили вечерние молитвы и те молитвы, что читаются в минуту опасности. Фра Мийо шепотом предложил фра Петару дать обет Оловской божьей матери, но фра Петар спокойно ответил, что настанет время и для обетов.

Кое-кто из пленников отправился к Омеру, хозяину двора, купить еды, свечей и расспросить, что, по его мнению, будет дальше. Хозяин сидел в низкой закопченной кухне у очага, на котором гайдуки Джемю жарили и варили пищу, ни на кого не обращая внимания и проходя мимо Омера, как мимо покойника. И этот высокий одряхлевший старик с налитыми кровью глазами сидел, подавленный своим бессилием в родном доме. В ответ на все вопросы он пожимал плечами и безмолвно, кивком головы

указывал на полупьяных, спящих мимо него людей. А когда путники очень допимали его, обозленный беспомощностью, отвечал:

— Откуда мне знать, добрый человек. Кто я здесь? Сам видишь, это словно и не мой двор, поджечь бы его с четырех сторон, и пусть все идет прахом. — И снова сердито и обиженно умолкал.

Конечно, это не успокаивало перепуганных людей, и они уныло возвращались во двор, где царили мрак, страх и неизвестность.

И вот наступила ночь, которую сбившиеся на подворье путники ожидали с такой боязнью. Они готовились принять свою участь с тем тупым равнодушным видом, за которым у жителя Востока скрывается отчаянная работа мысли, устремленная на защиту своей жизни и своих святынь, когда он становится одинаково хладнокровным и беспощадным к себе и другим. А с наступлением темноты началась удивительная игра между невольниками, запертыми во дворе, и Джемо с дружиной, бражничавшей наверху, на террасе.

То, что происходило на запертом заезжем дворе, было невероятнo, смешно и ужасно. Но подобные картины в те годы можно было наблюдать и днем и ночью по всей Боснии. Только здесь все происходило на маленьком пространстве, с участием небольшого числа людей. Это был предел насилия — бессмысленный и наглый произвол, обычный во времена, когда нет порядка и справедливости.

Какие-то возчики аккуратно развели маленький костер, но, едва показались первые языки пламени и поднялись первые клубы дыма, с лестницы скатился один из пьяных бандитов, набросился на возчиков с обнаженным кинжалом и грязными ругательствами. Как они осмелились дымить под нос воеводе? Послышались угрозы изрубить всех и зажарить на их собственном огне. Перепуганные возчики погасили костер голыми руками, как свечу. Из темноты раздались подхалимские голоса путников поподлее:

— Гаси! Гаси огонь!

А тот дармоед вернулся на террасу, размахивая кинжалом и чуть не лопааясь от гордости за честную службу.

Не прошло и получаса, как во дворе загорелось несколько небольших костров, но теперь никто не обращал на них внимания.

Чем глубже становилась тьма, тем больше пленники со двора смешивались с пирующей наверху компанией. Многие принялись веселиться, чтобы угодить своим повелителям и присоединиться к ним, но при этом изо всех сил старались не задеть и не рассердить их чем-нибудь. Все чаще сверху сбегали вниз и все чаще со двора подымались на террасу. Положение монахов становилось сложным. Пришлось притвориться спящими, раз уж они не могли стать невидимыми. Деревянная лестница скрипела и гроыхала над ними, словно потолок в аду. Но дошла очередь и до них. Вокруг становилось все светлее от костров и лучин, плясавших в руках гайдуков Джемо, слонявшихся по дому и по двору. В конце концов один из них обнаружил нахохлившихся, будто две птицы, монахов и потащил на террасу.

Там их оглушили пьяные крики, ослепил яркий свет, ударил в нос запах ракии и потных от ночной духоты тел. Пение прекратилось. Кто-то протяжно, с издевкой закричал:

— Монахи! Попы! Вперед, братцы!

Фра Мийо стоял, мученически повесив голову, а фра Петар озадаченно мигал, пытаясь разобраться в разноголосой сутолоке и понять, как следует вести себя, что говорить. Он сразу увидел, что все разношерстное и разнuzданное сборище вращается вокруг своего центра. Этим центром был Джемо, воевода, восседавший на возвышенном посреди всей этой кутерьмы. Оргия протекала и развивалась согласно его воли и прихоти. Как ни были пьяны и распуцены висельники его шайки, все они не спускали с него глаз и ловили каждый взгляд, каждое слово. Было ясно, что здесь нет вольных людей, кроме одного, а этот один — жесток, мрачен, в тягость себе и другим.

Воевода, под чью полную и страшную власть все они попали, производил странное впечатление. То был низкорослый кривоногий человек, утонувший в широченном, совсем еще новом кожаном кушаке, на котором висело оружие в богатой оправе — два огромных пистолета и длинный, как вертел, кинжал. Чтобы удерживать такую тяжесть, ему все время приходилось выпячивать живот. Кривые ноги были слабой опорой для торчащего из кожаного обода несуразно большого туловища и длинных рук с широкими красными кистями. Над этим туловищем торчала неправильной формы голова с мелким, обросшим

жидкой бородкой лицом. Под редкими усами — тонкие обкусанные губы с квадратными, как у молодых прожорливых животных, углами. Мутные глаза, сросшиеся тонкие брови, соединенные и рассеченные глубокой черной морщиной, которая, по примете, ничего хорошего не сулит. Взгляд бегающий, но наглый, сверлящий. Казалось, разбойник был собран из разнокалиберных частей. Одни из них говорили о низком происхождении и врожденной хлостности, другие — об опасной силе и решимости употреблять ее во зло без оглядки и границ. Именно это внушало страх и создавало какую-то неестественную обстановку вокруг него.

Такого плюгавого человека природа наделила глубоким и звучным голосом, но говорил он бессвязно, сбивчиво, после каждой фразы неожиданно останавливался, словно наткнулся на что-то, и так же неожиданно начинал говорить, когда, казалось, прибавить уже было нечего. Умолкал он из-за того, что боялся сказать больше, чем следовало, больше, чем допускало представление о собственном величии, но он никогда не был уверен, сказал ли он все, что нужно и как нужно, спохватывался и добавлял что-нибудь еще. В сущности, и речь его и молчание были внезапным и случайным отражением того невыразимого и загадочного, что кипело в бурлило у него внутри и время от времени вырывалось в виде судорожных фраз.

Когда появились монахи, Джемю беседовал с купчиками из Высокого, льстившими ему без всякого стыда. Вернее, пытавшимися льстить, потому что все их заискивания он высокомерно, с гордостью и презрением отвергал. По-видимому, то, что они могли сказать, было далеко от его сокровенных надежд и помыслов.

Кажется, один из них пытался ему внушить, что он, Джемю, здесь главный, что ни сараевский мулла, ни сам визирь Боснии ему не ровня. Воевода резко его оборвал:

— Никакой я ни ага, ни бег, ни паша, ни визирь. Я бандит, разбойник с большой дороги, мошенник и головорез, которого в Сараеве на Горице ждет виселица.

Все зашумели, горячо отвергая такое самоуничижение, кто-то обругал наместника, в надежде, что именно это будет по сердцу воеводе, но Джемю сверкнул глазами, и все умолкли.

— Вот кто я такой, — сказал он. — А наместник — важный господин и большой начальник.

Все смущенно замолкли, не зная, что сказать, где найти слова, чтобы ублажить воеводу. А у того в правом углу рта поплясывала горькая и свирепая судорога. Он выпрямился, выпил ракии из стоявшей перед ним пестрой затейливой кофейной чашки. Это разрядило обстановку. Все выпили следом за ним, разговор оживился, стал приторно непринужденным и беззаботным.

Настороженный, зловещий взгляд воеводы кружил по широкой террасе. Фра Петар как раз умолял фра Мийо замолчать — тот шептал ему, что именно это называется в книгах «*mysterium impietatis*»¹ — когда взгляд Джемона наткнулся на них. Этого было достаточно, чтобы несколько рук вытолкнули их вперед — в пустой, ярко освещенный круг перед воеводой. Комичные в своих сутанах, они стояли на середине террасы у всех на виду.

— Откуда вы? — спросил Джемона со своего возвышения, и перепуганным монахам показалось, что они стали не больше пшеничного зерна, впрочем, в эту минуту каждому казалось, что все вместе они не больше пшеничного зерна.

— Из Крешева, воевода, из монастыря, — быстро ответил фра Петар, чтобы предупредить фра Мийо.

— Куда же вы собрались? — произнес Джемона сладким голосом, и фра Петар сразу понял, что добра ждать нечего. — А не идете ли вы жаловаться наместнику в Сараево?

— Нет, воевода, на что нам жаловаться, мы не вмешиваемся, мы по своим делам...

— А где же ваши попадья? — перебил его Джемона с той же наигранной доброжелательностью.

Тут я понял, что сам дьявол шепчет ему на ухо, о чем нас спрашивать, да и мой фра Мийо что-то приуныл. Но, прежде чем я успел выговорить слово, фра Мийо выпятил грудь и угрюмо выпалил:

— У нас нет попадей, мы не женимся.

Джемона выставил острый подбородок:

— Э, коли у вас нет попадей и вы не женитесь, я сам вас женю, сегодня же вечером. Гулять так гулять, а?

Все напряженно слушали, радуясь, что внимание сосредоточилось на монахах. Раздался смех, посыпались шуточки, угодливые поддакивания воеводе. Из угла снова послышалась притихшая было песня и музыка, сначала слабо и неуверенно, потом громче и громче.

¹ Тайна безбожия (лат.).

- Свадьба! Поповская свадьба!
- Женим их! Сразу двоих — расходов меньше!
- Монаху жену под бок!

Холуи воеводы бросились выполнять приказ: выбрать из веселившихся тут же полупьяных бродяжек «двух бабенок подороднее».

Фра Петар прервал свой рассказ. Видно, надо было освежить в памяти события и найти слова, чтобы описать картину, столь важную и тягостную для него в те часы, но давно поблекшую, потерявшую остроту и значение. По его лицу промелькнула тонкая улыбка — все, что осталось от пережитых бед, и с этой улыбкой он продолжал:

— Мы с фра Мийо переглянулись. Я шепчу по-латыни, чтобы он молчал, ничего не говорил, а он насупился и все порывается что-то сказать. Хочет человек ни больше ни меньше, как вразумить Джемо, втолковать ему, что нельзя тайнством попира́ть тайнство, что даже мысль такая — женить монаха — позор и грех. «Брось, — шепчу я, — ты же видишь, куда мы попали». Но он не слушает. «Лучше, говорит, нам принять мученическую смерть, защищая свою веру и святость обета». — «Да от кого ты, милый братец, будешь ее защищать? Не от этих ли пьяных гайдуков? Разве здесь место защищать веру и погибать за нее. Погибнуть и войти в список мучеников легче легкого, ты лучше придумай что-нибудь, чтоб избавиться от напасти, свалившейся на нас, невинных ни сном, ни духом». Так я говорю а сам потом обливаюсь — мало мне самодурства Джемо, тут еще фра Мийо со своей бессмысленной праведностью. Сердце сжалось, голова служить отказывается — не придумаю, как нам спастись. А крик и веселье все разгораются. Один воевода мрачен, водит глазами из угла в угол, как бешеная собака.

Всем казалось, что наконец-то найдена забава воеводе, его молодцам и веселящимся поневоле пленникам-мусульманам. Уж они-то изо всех сил старались растянуть монашескую свадьбу, только бы отвлечь Джемо от остальных, и подогревали его одобрительным гиканьем. Но перестарались. Чрезмерные усилия выдали их намерения и спасли монахов от дальнейших мук и поругания.

Среди общего веселья и пьяной болтовни горожане не заметили, как лицо Джемо помрачнело, потемнело, вы-

тянулось. Зловещий ледяной взгляд несколько мгновений перелетал с одного на другого, пока не застыл на некоем Рамизе, парикмахере из Высокого. Не отрывая глаз от повой жертвы, почесывая пальцем подбородок, воевода процедил сквозь зубы:

— Взять этого рыжего, что шире всех пасть разинул!

Мгновенно вскочили двое и бросились к парикмахеру. У того смех застрял в глотке.

Кое-кто из горожан, не уловивших вовремя, что ветер переменился, еще смеялся и отпускал шуточки насчет монашеской свадьбы, а гайдуки уже скрутили ошеломленного парикмахера и стали привязывать к толстому столбу, поддерживавшему потолок террасы.

— Что вы, люди добрые! Ради аллаха! Джемаил-ага, прошу тебя! Забава это, баловство! Все смеются, я тоже. Отпусти меня, что ты, аллах с тобою! — растерянно бормотал парикмахер и улыбался и жмурился, надеясь, что все обернется шуткой, но никто его не слушал.

Обстановка на террасе резко переменилась. Горожане, не веря счастью, что попались не они, а кто-то другой, не могли решить, смеяться над новой жертвой или нет. Они трусливо заглядывали в лицо воеводе, пытаясь угадать его желания.

А воевода поднял свою пеструю чашку и сказал связанному Рамизу:

— Вот так, эфенди! А теперь можно и посмеяться!

Все старательно захохотали. Смеялся и связанный парикмахер, сообразив, что самое лучшее отнестись к своей беде как к мимолетной, беззлобной шалости, и бросал умоляющие взгляды на невозмутимого воеводу.

О монахах и свадьбе никто больше не вспоминал. Шум вокруг новой жертвы усиливался, но каждый думал, каков будет новый приказ воеводы, на чью голову падет, когда развяжут парикмахера и он вернется веселиться со всеми. А монахи, к их счастью, больше никого не занимали.

Наступил черед других пленников потешать Джемю, удовлетворять его неутолимую потребность в развлечениях, а для него не было большего удовольствия, чем истязать и унижать ни в чем не повинных людей, которых он не стоил. Монахи выбрались из живого кольца, окружавшего освещенную середину террасы, где восседал и правил воевода. Пьяному гайдуку, приставленному

следить за ними и позаботиться о свадебной церемонии, монахи сунули серебряную монету, что позволило им незаметно уйти с террасы и вернуться в свое убежище под лестницей. Никто о них больше не вспомнил.

Тут ффра Петар еще раз прервал рассказ и перевел дух, словно спустя столько лет у него заново отлегло от сердца.

— Так, милый мой, мы и спаслись. Чудом. Не опытность ффра Мийо и не моя отвага — чудо нам помогло, иначе ни за что бы нам не вывернуться.

На старом месте под лестницей было темно и спокойно. Никто монахов не трогал, не тревожил, но ни спать, ни молиться они не могли — над головой громыхало, пир наверху разгорался все жарче и неистовей. Пляски и песни сменялись потехами, которые, судя по взрывам громового хохота и воплям жертв, становились все безумнее и свирепее. Женщины визжали так, словно с них кожу сдирали. И каждая забава, каждый танец обрывались по одному нетерпеливому движению Джемю. На несколько мгновений наступала тишина, затем опять начинались пляски и светопреставление. Монахам казалось — доски над головами не выдержат, обрушатся и накроют их своими обломками. Так продолжалось до рассвета.

К утру на террасе все стихло. Говорил один Джемю — низким голосом отдавал невразумительные приказания. Немного спустя лестница загромыхала снова, и разбойники разбежались по двору. Первым делом у пленников отобрали лошадей. Отняли вороных и у монахов. Попутно со всех сорвали оружие и вещи подороже — что было на виду. Какой-то долговязый гайдук, заметив на шее у ффра Мийо черный шнурок, подскочил к нему, потянул и вытащил большие серебряные часы. Словно продолжая им одним известную игру, ффра Мийо тихо сказал:

— Не тронь, милый, часы. Не надо. Это подарок и память о моей первой обедне. Не надо, душа моя! Лучше я дам тебе целый дукат.

Турок торопился, он прошипел сквозь зубы, не выпуская часы из огромной лапищи:

— Давай!

Ффра Мийо суетливо и неловко принялся искать дукат и наконец достал его. Гайдук свободной рукой на лету выхватил дукат, потом дернул шнурок так, что монах покачнулся, сорвал часы и, сунув их за пояс вместе с дукатом, побежал за своими. Ффра Мийо застыл с опущен-

ными руками и раскрытым ртом. Так он стоял, не проронив ни звука, а из глаз у него ручьем текли слезы, но он их не утирал. Он и не замечал, что плачет.

Шайка Джеммо ограбила путников с поразительной скоростью. Правда, забрали только лошадей и мелочи, повившиеся на глаза, но еще долго, когда разбойники, словно привидения, растаяли на едва различимой тропинке за домом, никто не смел шевельнуться. Наконец кое-кто решил выйти на дорогу. Вышли те, у кого ничего с собой не было, кому не о чем было жалеть. За ними двинулись остальные, молчаливые, удрученные, словно еще не очнувшиеся от тяжелого сна, полные недоумения и страха от всего происшедшего.

Когда монахи оказались на дороге, фра Мийо, всхлиывая от неунимающегося волнения, кинулся обнимать молодого друга. Фра Петару с трудом удалось его успокоить и подбодрить. Они перекрестились, дважды вознесли благодарственную молитву за свое спасение и потихоньку пешком отправились в Высокий. Шли не останавливаясь, пока не поднялись на большой холм. Здесь решили передохнуть. Солнце уже осветило все вокруг ярким, но еще холодным светом. Трава была покрыта росой.

Оба молчали. Фра Петар искоса взглянул на своего спутника. Старик вертел в руках конец шнурка, висевшего у него на шее, внимательно разглядывая место разрыва, и тихо приговаривал:

— Ах, накажи тебя мать божия! Ах, ах!..

И вдруг у фра Петара сдали нервы. Он разразился молодым неудержимым и звонким смехом, похожим на плач. Напрасно, боясь обидеть старого монаха, он старался совладать с собой. Обессилев, повалился на мокрую от росы траву, схватившись за живот и сотрясаясь от хохота.

Фра Мийо выронил шнурок, изумленно посмотрел на фра Петара и принялся его успокаивать, укоризненно повторяя:

— Ну, ну!

Но фра Петар не мог остановиться. Он задыхался, разрывался от смеха. Удавалось выговорить слово-два, потом смех напал с новой силой.

— Ну и попались мы, отец... ха-ха-ха... Молодожены... ха-ха-ха... еще никто из наших... ха-ха-ха... дай, говорит, дукат... хо-хо-хо! А сам — хватъ дукат, хватъ часы!.. Ха-ха-ха!

Фра Мийо, не на шутку рассердившись, стал бранить глупого малого, который хохочет в такую минуту, но прошло много времени, прежде чем фра Петар хоть немного успокоился и со слезами на глазах, вздрагивая от сдерживаемого смеха, попросил прощения.

— Так мы дошли до Высокого, — продолжал свой рассказ фра Петар, даже теперь смеясь так, что на глазах заблестели слезы, — раздобыли лошадей и отправились дальше. Но когда мы подъезжали к Сараеву, я сказал фра Мийо:

— Что было, отец, то было! Попали в передрагу, ограбили нас, ничего не поделаешь. Но о свадьбе никому не стоит говорить. Ведь вы знаете монахов: из мухи сделают слона, и пойдет о нас слава от монастыря к монастырю всем на посмешище и притом на многие годы.

Еще не пришедший в себя от страха и огорченный ущербом, фра Мийо был согласен на все.

— Добрались мы до Сараева, — продолжал фра Петар, — по-хорошему уладили дела у наместника. Острый оказался человек, как сабля, но принял нас хорошо. Продержал две недели, потом отпустил и выдал бумагу, что мы свободны, ни к чему не причастны и что в наши монастырские дела никто не имеет права вмешиваться. Так беда и убытки обернулись пользой. Вернулись мы в Крешево живые и здоровые. Но, придя в монастырь, сразу заметили, что монахи посмеиваются. Мы еще не побывали у настоятеля, а они окружили нас со всех сторон:

— Глядите, молодожены прибыли! Живы ли вы, дай бог?

Понял я, что кто-то из торговцев или путников успел рассказать, как Джемо хотел нас женить, и в монастыре все известно. Пришлось обернуть все в шутку и поведать, как было дело. Много смеялись — молодость есть молодость! Только фра Мийо сердился и говорил, что я прибавляю и выдумываю. Так что настоятель Илия Злоушич при всех меня выбранил:

— Укороти хоть немного язык, Оружейник, хватит балагурить! Или ты у Джемо выучился?!

Но было видно, что он и сам с трудом сдерживается, чтобы не расхохотаться. Только потерю лошадей никак не мог пережить. Даже в латинской хронике, которую он вел, написал об этом, и больше говорил о лошадях, прости меня, господи, и не покарай, чем о фра Мийо, обо мне и наших страданиях,

В теплой, уютной келье ф́ра Петара заскрежетали, запели какие-то из его часов и пробили время à la turque¹. Ф́ра Петар помолчал немного и сказал в заключение:

— Такие были времена. Сколько напастей сыпалось на Боснию и на наш монастырь! Поневоле приходилось многое превращать в шутку, шуткой защищаться и побеждать, ничего другого не оставалось. Давно это было. Много насилия мы видели и потом, много разных Джемю и джемичей пережили, но, чтобы лицом к лицу сталкиваться с таким извергом — этого я не припомню, и разбойника страшнее мне видеть не случалось.

Тут ф́ра Петар замолчал и поморщился. Видно снова дала себя знать боль в позвоночнике, которую он хотел от меня скрыть.

— Помоги, дорогой, повернуться на другой бок, все онемело, пока я с тобой беседовал.

И он протянул мне, вынув из-под одеяла, бледную руку. А какие-то из часов снова начали отбивать непонятное время часто и весело.

1946

¹ По-турецки (*франц.*).

РАССКАЗ О СЛОНЕ ВИЗИРЯ

Боснийские местечки и города полны преданий. В этих часто фантастических рассказах о невероятных событиях и выдуманных людях нередко содержится *подлинная*, непризнанная история края, история живых людей и давно ушедших поколений. Это та восточная ложь, о которой турецкая пословица говорит, что она «правдивее любой правды».

Предания эти живут удивительной, скрытой жизнью. Они папамятают боснийскую форель. Есть в речонках и ручьях Боснии особый вид форели — небольшая, с двумя-тремя красными пятнами на совершенно черной спинке, необычайно прожорливая, необычайно хитрая и быстрая рыба. Она бросается, как слепая, на удочку в искусной руке, но недостижима и даже невидима для того, кто незнаком с местными водами и с этой разновидностью форели. Несведущий человек может целый день пробродить с удочкой по каменистому берегу, ничего не поймав и даже ничего не увидев, кроме черной быстрой, как молния, стрелки, время от времени мелькающей в воде между камнями и похожей на что угодно, только не на рыбу.

Так и с этими преданиями. Вы можете прожить месяц в боснийском местечке, не услышав как следует ни одного, а может случиться, заночуете где-нибудь — и вам расскажут и три и четыре истории, самых невероятных, которые, однако, больше всего и говорят об этом крае и его людях.

Травничане, мудрейшие люди в Боснии, знают множество таких историй, только редко их рассказывают чужим людям — так богачи труднее всего расстаются с деньгами. Но зато каждая рассказанная ими история стоит трех других (разумеется, по местному курсу).

Такова история о слоне визиря.

Когда был смещен визирь Мехмед Руджи-паша, травничане призадумались, и не без причины. Беззаботный и легкомысленный весельчак, небрежный в делах, он был неплохим человеком, и ни Травник, ни Босния не ощущали его присутствия. Умные и проницательные люди давно уже были озабочены, ибо предвидели, что долго так продолжаться не может. А теперь и вовсе задумались: хороший визирь уезжает, и еще не известно, каков будет тот, кто его сменит. И тут же пустились разузнавать о визире, который должен приехать.

Многие иностранцы удивлялись, что травничане, услышав о назначении нового визиря, столько расспрашивают о нем, и смеялись над ними, приписывая это их самонадеянности, любопытству и привычке совать свой нос в государственные дела. Между тем они были неправы. (Насмешники вообще редко бывают правы.) Не любопытство, не гордость, а долголетний опыт и насущная необходимость заставляли травничан жадно расспрашивать о каждом новом визире, о мельчайших чертах его внешности, о его характере и привычках.

В длинной веренице визирей были всякие — и мудрые, и человечные, и беспечные, и равнодушные, и смешные, и исрочные, но были и столь мерзкие и отвратительные, что даже предания умалчивают о самом страшном, подобно тому как народ из суеверного страха не любит называть своим именем болезни и другие напасти. Каждый такой визирь был напастью для всего края, но хуже всего приходилось Травнику, потому что в других местах он правил чужими руками, а здесь находился он сам, со своим никому не известным нравом, со своей свитой и прислугой.

Травничане расспрашивали всех встречных и поперечных, подкупали, угощали, только бы узнать что-нибудь о человеке, который назначен к ним визирем. Случалось, что они платили людям якобы осведомленным, а потом выяснялось, что это были обманщики и лгуны. Но и тут они не считали, что деньги брошены на ветер: то, что можно солгать о каком-нибудь человеке, иной раз тоже немало о нем говорит. Опытные и дальновидные травничане умели даже из лжи извлечь крупицу истины, о которой не подозревал и сам обманщик. Если же они никак не могли использовать эту ложь, она служила им отправной точкой, и, узнав истину, они легко отбрасывали ложь.

Старые травничане не зря говорят, что в Боснии есть три города, где живут мудрые люди. И сразу добавляют, что один из них, и притом мудрейший, — Травник. Правда, обычно они забывают назвать два других города.

Таким образом, и на этот раз им удалось собрать некоторые сведения о новом визире задолго до его приезда.

Нового визиря звали Сеид Али Джелалутдин-паша.

Родом он был из Адрианополя, образованный человек, но, когда окончил все школы и должен был стать имамом в бедняцком квартале, вдруг бросил все, уехал в Стамбул и поступил в военное ведомство. Тут он выдвинулся, искусно вылавливая воров и недобросовестных поставщиков и подвергая их строгим, даже немилосердным наказаниям. Рассказывали, что однажды еврея, поставляющего смолу для военных верфей, поймали на том, что он продает слишком жидкую, негодную смолу. Разобравшись в этом деле и получив авторитетное заключение двух офицеров-интендантов, визирь приказал утопить еврея в его собственной смоле. В действительности дело было не так, Уличенный в обмане еврей держал ответ перед комиссией, которая должна была на месте определить пригодность смолы. Он бегал вокруг деревянного бассейна со смолой, доказывая необоснованность обвинения, а Джелалутдин-эфенди не спускал с него своего неподвижного взгляда. Не в силах ни скрыться от этого взгляда, ни отвести от него глаз, окончательно смешавшись и ничего перед собой не видя, несчастный поставщик поскользнулся, упал в бассейн и сразу захлебнулся, а это явилось лучшим доказательством, что смола была слишком жидкой.

Так было на самом деле. Но Джелалутдин-эфенди ничего не имел против распространения фантастической версии да и других легенд о его строгости. Он правильно рассчитал, что эти рассказы создадут ему славу «человека с твердой рукой» и обратят на него внимание великого визиря. И он не ошибся.

Люди рассудительные и трезвые, служившие с ним в армии, быстро поняли, что Джелалутдин-паше, в сущности, очень мало дела до какой-то там справедливости, до неприкосновенности государственной казны, а все, что он делает, он делает по непреодолимому побуждению и врожденной потребности судить, наказывать, мучить и убивать, закон же и государственные интересы служат для него лишь ширмой и удобным поводом. Знал это, вероятно, и великий визирь, но учреждениям и властям, кото-

рые доживают свой век и не находят в себе ни здоровых сил, ни средств для борьбы и защиты, нужны именно такие люди.

Так началось возвышение Джелалутдина, а дальше все пошло само собой, в соответствии с нуждами слабого, пережившего себя государства и разлагающегося общества и согласно тем инстинктам, с которыми Джелалутдин появился на свет. Вершиной этого возвышения было назначение его визирем в Битоль.

Там забрали силу несколько знатных родов. Они совершенно независимо управляли своими владениями, воевали друг с другом и никого над собой не признавали. Вероятно, Джелалутдин-паша покончил с этим, к удовольствию своего повелителя, и через год был назначен визирем в Боснию, где одряхлевшая и ущемленная в своих правах знать давно утратила и способность управлять, и умение повиноваться. Надо было обуздать и покорить это гордое, непокорное, но бесполезное и бессильное сословие. Это и было поручено Джелалутдину-паше.

«Идет на вас острая сабля в руке скорой и немилосердной», — сообщал травницким бегам их друг и осведомитель из Стамбула. И дальше он писал о том, как обошелся Джелалутдин-паша с бегами и знатными людьми в Битоле.

По прибытии в Битоль он тотчас призвал бегов к себе и приказал каждому срубить дубовый кол длиной в три аршина и написать на нем свое имя. Словно околдованные, беги послушно выполнили унижительное приказание. Один бег не повиновался, решив лучше уйти со своими людьми в лес, чем подвергнуться такому унижению, но приближенные визиря изрубили его в куски, прежде чем кто-либо из сородичей пришел ему на помощь. Затем паша приказал вбить эти колья в землю перед своим дворцом, еще раз собрал всех бегов и сказал, что теперь каждый из них знает «свое место» в этой роще и в случае малейшего сопротивления он всех их посадит на эти колья, расположенные по алфавиту.

Травничане и верили и не верили: за последние тридцать лет до них доходило много таких жутких и странных историй, а видеть довелось и куда более страшные вещи, так что даже самые сильные слова утратили для них ясность и убедительность. Они хотели увидеть все своими глазами и сами во всем убедиться. Наконец пришел и этот день.

В том, как прибыл в город новый визирь, не было ничего, что подтверждало бы все эти рассказы. Другие грозные визири въезжали шумно и торжественно, стараясь уже одним своим появлением нагнать страху, а этот прибыл незаметно темной февральской ночью и встретил рассвет в Травнике. Все знали, что визирь здесь, но никто его не видел.

А когда визирь принял «первых людей» города, и они увидели его и услышали, многие были поражены еще больше. Визирь был человек еще молодой, лет тридцати пяти — сорока, рыжий, белокожий, с маленькой головой на длинной и худой шее. Лицо у него было бритое, круглое, какое-то детское, с едва заметными рыжими усиками и округлыми, как у фарфоровой куклы, лоснящимися скулами. И на этом белом лице с бесцветной растительностью — темные, почти черные и чуть разные глаза. Во время беседы он то и дело прикрывал их длинными, совершенно светлыми рыжеватыми ресницами, и на лице его появлялось выражение холодной любезности. Но как только ресницы поднимались, по этим темным глазам становилось ясно, что первое впечатление обманчиво — на лице не было и тени улыбки. Бросался в глаза бледный маленький рот (рот куклы), при разговоре он еле открывался, и верхняя губа всегда оставалась неподвижной, но под ней почему-то угадывались гнилые, неровные зубы.

Когда после первого визита беги собрались, чтобы обменяться впечатлениями, большинство было склонно смягчить свое мнение об этом неудавшемся имаме, недооценивая его и считая, что слухи о нем преувеличены. Большинство, но не все. Несколько человек, более опытных и проницательных, хорошо понимавших, какое время наступило, молча смотрели перед собой, не решаясь даже про себя выразить окончательное мнение о визире, но чувствуя, что это человек незаурядный, убийца особо гнусного рода.

Джелалутдин-паша прибыл в Травник в начале февраля, а во второй половине марта была устроена резня бегов и других именитых людей.

Согласно фирману султана, Джелалутдин вызвал в Травник всех виднейших бегов Боснии, всех старшин и градоначальников для важного разговора. Прибыть должно было ровно сорок человек. Тринадцать не явилось — одни поумнее, заподозрив неладное, другие — из традиционной фамильной гордости, которая в этом случае оказалась

равносильной мудрости. А из тех двадцати семи, что прибыли, семнадцать сразу же были убиты во дворе конака, а десятеро на следующий день, скованные одной цепью, с железными ошейниками, были отправлены в Стамбул.

Свидетелей нет, и никто не узнает, как удалось заманить столь опытных и видных людей в такую западню и тихо, незаметно перерезать их, как овец, среди Травника. Эта расправа со знатью, совершенная расчетливо и хладнокровно во дворе конака, на глазах визиря, без всяких церемоний и без малейшего соблюдения формы (так не убивал еще ни один визирь), казалась людям дурным сном или колдовством. С этого дня о Джелалутдин-паше, которого в народе звали «Джелалия»¹, все травничане были одного мнения, что вообще случалось редко. Прежде они говорили о каждом злом визире (а часто и о тех, которые были не так уж плохи), что он хуже всех, но об этом они ничего не говорили, потому что от худшего из известных им визирей к Джелалии вел длинный и страшный путь, и на этом пути люди от страха теряли дар речи, память, способность сравнивать и находить слова, которые могли бы определить, что такое и кто такой этот Джелалия.

Апрель травничане прожили опеломленные, в напряженном, немом ожидании. Что же будет дальше, если после этого еще что-нибудь может быть?

И тогда, в первые дни мая, визирь завел слона.

В Турции люди, добившиеся высокого положения, достигшие власти и богатства, часто проявляют обостренный интерес ко всякого рода необыкновенным животным. Это что-то вроде охотничьей страсти, но страсти извращенной, чуждой естественной потребности в движении и усилиях. Случалось ранее, что визири привозили с собой какое-нибудь необычайное животное, какого местные жители никогда не видели: обезьяну, попугая, ангорскую кошку. Один завел даже молодую пантеру, но, очевидно, травнический климат не подходил для тигриной породы. После первых порывов ярости и попыток проявить свою кровожадную природу зверь перестал расти. Правда, бездельники из свиты визиря поили его крепкой ракией и давали ему шарики опиума и гашиша. Вскоре у пантеры выпали зубы, шерсть утратила блеск и вытерлась, как у

¹ Палач (сербскохорв.).

больной скотины. Недоразвитая и разжиревшая, она лежала во дворе, жмурясь на солнце, равнодушная и совсем неопасная; ее клевали петухи, а озорные щенки без стеснения, проходя мимо, поднимали на нее заднюю лапу. На следующую зиму пантера бесславно издохла, как самая обычная травницкая кошка.

И прежде визири, люди необыкновенные, трудные и строгие, заводили странных животных, но Джелалия, судя по его причудам и жестокости, должен был бы держать целые стада такого страшного зверья, о каком только в сказке можно услышать или увидеть на картинках. И поэтому травничане не очень удивились, узнав, что визиру везут слона — зверя, доселе не виданного.

Это был африканский слон, вернее, молодой и буйный слоненок, ему исполнилось всего два года. И еще прежде самого слона в Травнике появились легенды о нем. Откуда-то все было известно: и как он путешествует, и как его охраняет свита и ухаживает за ним, и как его перевозят, как кормят, как встречают его народ и власть имущие. И все называли его «фил», что по-турецки значит «слон».

Слона перевозили медленно и с трудом, хотя это был всего только слоненок, не больше хорошего боснийского вола. Этот своенравный слоновий детеныш то и дело задавал хлопот своей свите. То он не хотел есть, укладывался на траву, закрывал глаза и начинал реветь так, что свита умирала со страху — не случилось ли с ним что-нибудь — и содрогалась при мысли о визире. А слоненок лукаво приоткрывал один глаз, оглядывался вокруг, поднимался на ноги и, помахивая своим коротким хвостиком, принимался бегать так быстро, что слуги с трудом ловили его и успокаивали. То он не желал идти. Его тащили, уговаривали на всех языках, называли ласковыми именами и украдкой ругали, а кто-нибудь незаметно для других колол его в мякоть под хвостом, но все напрасно. Приходилось почти нести его или запрягать волов, взятых у крестьян, и везти в специальной низкой телеге, которая называлась «техтерван». Причудам слона не было конца (что поделаешь, господский!). Люди из боснийской прислуги только стискивали зубы, чтобы не вылетело случайно то, что они думали обо всех слонах и визириях на свете. Они проклинали тот час, когда им выпала на долю честь сопровождать это не виданное еще в Боснии животное. Вообще, все в свите — от самого главного до последнего — были озабочены и встревожены, все дрожали при

мысли о том, что их ждет, если они не выполнят приказаний в точности. Лишь некоторое удовольствие им доставляли всеобщее смятение и страх, которые они сеяли повсюду, где проходили, и кое-какое вознаграждение они находили в грабежах, безнаказанно совершаемых ими якобы для нужд слона, любимца визиря.

Во всех городах и селах, через которые следовал слон со своей свитой, воцарялись страх и смятение. Стоило только процессии показаться в каком-нибудь боснийском местечке, лежащем близ главного тракта, как дети со смехом и веселыми криками выбегали на дорогу. Взрослые обычно собирались на площади, чтобы посмотреть на невиданное чудо, но, заметив хмурых стражников и услышав имя визиря Джелалутдина, умолкали, лица у всех вытягивались, и каждый торопился кратчайшим путем к своему дому, стараясь сам себя убедить, что нигде не был и ничего не видел. Офицеры, чиновники, старосты и полицейские, которые по долгу службы не могли поступить иначе, почтительно и со страхом представляли перед диковинным визиревым зверем и, не решаясь распрашивать, быстро и без разговоров отбирали у жителей все, что от них требовала свита слона. Большинство из них приближались не только к свите, но и к слоненку с заискивающими улыбками, умильно поглядывали на диковинное животное и, не зная, что ему сказать, поглаживали бороды и шептали, но так, чтобы слышала свита: «Машаллах, машаллах! Упаси бог от дурного глаза!» А в душе трепетали, как бы со слоном чего-нибудь не случилось здесь, в подчиненном им округе, и с нетерпением ожидали, когда весь этот поезд вместе с чуднцем двинется дальше, в соседний округ, где за него будут в ответе тамошние власти. И когда процессия покидала город, местные власти испускали вздох облегчения, в который вкладывали годами накопленное отвращение и ненависть ко всему на свете. Так вздыхают иногда высшие чиновники и люди, близкие ко двору, но затаенно, чтобы не слышала и сырая земля, а не то что живой человек, пусть даже самый близкий. Да и народ — маленькие люди, которые ничего не знают, ничего не имеют, — не решался говорить громко и открыто о том, что видел. Лишь за плотно закрытыми дверями люди посмеивались над слоном и издевались над теми, кто с такими расходами и церемониями, словно святыню, перевозит зверюгу, принадлежавшую злодею визирю.

И только дети, забыв обо всех предостережениях, громко говорили о слоне, бились об заклад, споря о длине слоньего хобота, о толщине его ног и величине ушей. На лужайках с едва пробивающейся травой дети играли в «фила и его свиту». Неумолимые, неподкупные, неустрашимые и всевидящие дети! Один из них изображает слона: он идет на четвереньках, покачивает головой, на которой висят воображаемый хобот и огромные уши. Другие представляют свиту — надменных и наглых слуг и стражников. А один из мальчишек исполняет роль мутеселима: он с ненודдельным страхом и наигранной любезностью приближается к воображаемому слону и, поглаживая бороду, шепчет: «Машаллах! Машаллах! Прекрасное животное! Да, да, поистине дар божий!» И подражает так удачно, что все дети хохочут, даже тот, который выступает в роли слона.

Когда слон со своей свитой достиг Сараева, на него было распространено правило, имевшее силу только для визирей: на пути в Травник не заезжать в Сараево, а ночевать в Горице, причем проводить там не больше двух суток, и в это время город Сараево обязан посылать им все, что нужно — еду, питье, освещение и топливо. Слон со свитой заночевал в Горице. Никто из сараевской знати не проявил ни малейшего интереса к заморскому животному (недавняя резня коснулась многих знатных семей). Сараевская знать, богатая и чванная, с опаской относившаяся к визирю и ко всему, что его касалось, прислала лишь слугу спросить, как велика свита, чтобы послать ей все, что нужно. О слоне — ни слова, потому что, говорили они, «мы знаем, что вкушает визирь, господин слона, но чем питается слон визиря, мы не знаем, а то бы послали все, что надо».

Так, от города к городу, слон без особых приключений прошел половину Боснии и прибыл наконец в Травник. При въезде слона в город стало отлично видно, как относится народ к визирю и ко всему, что ему принадлежит. Одни поворачивались спиной и делали вид, будто ничего не видят, ничего не замечают; у других страх сменялся любопытством; третьи размышляли о том, как оказать внимание слону визиря, чтобы это было замечено и записано, где следует. И, наконец, много нашлось бедноты, которой не было дела ни до визирей, ни до слонов и которая на это, как и на все на свете, смотрела с одной

точки зрения: как бы раздобыть хоть раз в жизни, хоть на короткое время все необходимое для себя и семьи.

Надо сказать, что даже самые ревностные верноподданные сомневались, выйти ли навстречу слону и таким образом выразить внимание визирю и всему, что ему принадлежит, или разумнее остаться дома. Никогда не знаешь, как может обернуться дело, думали они, и где застигнут тебя всяческие несчастья и убытки (кто может предвидеть и угадать причуды своевольных султанских слуг и тиранов?). Этим, вероятно, и объяснялось то, что слона не встречали толпы народа и что улицы, по которым он шел, были почти пусты.

На тесном травничком базаре слон выглядел крупнее, чем был на самом деле, а также уродливее и страшнее, потому что, глядя на него, люди больше думали о визире, чем о самом животном. И многие из тех, кто едва разглядел его в процессии, окруженного свежими зелеными ветками, долго болтали в кофейнях, рассказывая чудеса о страшном виде и необыкновенных свойствах «господской скотины». Этому не следует удивляться, ибо здесь, как и всюду на свете, глаз легко находит то, что ищет душа. И, кроме того, босниец так создан, что предпочитает свои рассказы о жизни самой жизни, о которой рассказывает.

О том, как слона устроили в конаке и как он провел здесь первые дни, никто ничего не знал и не мог узнать, потому, что если бы и нашелся человек, который бы решился об этом спросить, не было бы такого, кто осмелился бы рассказать. При нынешнем визире нельзя было и подумать, чтобы базар, как прежде, вслух судил и рядил о том, что происходит в конаке.

Но то, чего травничане не могут узнать, они умеют выдумать, а о том, о чем не осмеливаются громко говорить, храбро и упорно шепчутся. В воображении толпы слон все разрастался, получал прозвища, которые отнюдь не отличались благозвучием и пристойностью, даже произносимые шепотом, не говоря уже о том, чтобы писать их на бумаге. И все же о слоне не только говорили, но и писали. Долацкий священник отец Мато Микич сообщал своему другу — настоятелю Гучегорского монастыря о прибытии слона, правда, секретно, замысловато и частично по-латыни, используя цитаты из Апокалипсиса об огромном звере: «Et vidi bestiam»¹. А попутно, как

¹ И увидел я зверя (лат.).

обычно, извещал его вообще о положении дел в резиденции визирия, в Травнике и в Боснии.

«Были, как ты знаешь, и среди нас,— писал отец Мато,— такие, кто, глядя, как визирь истребляет турок и турецкую знать, говорил, что из этого может получиться какое-то благо для райи, потому что наши дурни думают, будто чужое горе должно непременно обернуться для них добром. Можешь им прямо сказать, пусть хоть теперь поймут, если не могли раньше уразуметь, что ничего подобного нет и в помине. Просто-напросто «зверь завел себе зверя», а праздный народ об этом болтает и плетет бог знает что. А каких-либо реформ и улучшений нет и не будет».

И, из осторожности мешая латинские слова с сербскими, как в каком-нибудь шифре, отец Мато заканчивал свое письмо так:

«Et sic Bosna ut antea neuregiena sine lege vagatur et vagabitur forte do sudnega danka»¹.

И действительно, проходили дни, а из конака ни звука, в том числе и о слоне. С того момента, как за слоном чудищем из травницких рассказней, закрылись ворота, его как будто поглотил огромный конак. Слон исчез без следа, точно слился воедино с невидимым визирем.

А визирия и правда травничане видели редко. Он почти не выходил из конака. То простое обстоятельство, что визирия трудно было увидеть в городе, пугало само по себе, давало повод ко всяким домыслам и стало еще одним средством устрашения. Людям с самого начала ужасно хотелось узнать хоть что-нибудь о визири, и не только в связи с появлением необыкновенного животного, но и вообще о его образе жизни, привычках, страстях, прихотях,— не найдется ли хоть какой-нибудь лазейки, через которую можно было бы влиять на него.

Служитель из конака, которому хорошо заплатили, смог сказать об этом замкнутом, молчаливом и почти неподвижном визири только то, что никаких крупных и явных страстей и прихотей он не выказывает. Живет тихо, курит мало, пьет еще меньше, ест умеренно и скромно, одевается просто, не особенно жаден до денег, не тщеславен, не развратен, не алчен.

¹ Итак, Босния, как и раньше, блуждает без порядка и закона и будет блуждать, быть может (лат.) до Судного дня (сербско-хорв.).

Однако всему этому трудно было поверить. И травничане, нетерпеливые и насмешливые, спрашивали друг друга, выслушав это сообщение: кто же это вырезал столько народу в Боснии, если в конаке живет такой ягненок? И все же эти сведения были верными. Единственная страсть визиря, если это можно назвать страстью, состояла в том, что он собирал разнообразные перья, хорошую бумагу и чернильные приборы.

В его коллекции была бумага со всех концов света — китайская, венецианская, французская, голландская, немецкая. Были чернильные приборы всевозможной формы — из металла, из слоновой кости, из особым образом обработанной кожи. Сам визирь писал редко и не был особенно искусен в письме, но со страстью собирал образцы каллиграфического искусства и хранил их свернутыми в трубочку в круглых деревянных или кожаных футлярах.

Особенно дорожил визирь своей коллекцией калемов (калем — заостренная палочка, которой на Востоке пользуются вместо гусиного пера). Делаются они обычно из стеблей бамбука, заостренных с одной стороны, а с другой — расщепленных в виде пера.

Сидя неподвижно, визирь с упоением перекачивал с ладони на ладонь калемы всех видов, расцветок и размеров. Тут были бледно-желтые, почти белые, были красные — от розовых до почти черных, сверкавших, как вороненая сталь, и всех других цветов, какие только встречаются в природе; одни — тонкие, совершенно гладкие, как металлический прут, другие — с палец толщиной, узловатые. Некоторые носили следы причудливой игры природы: одни заканчивались наростом в форме черепа, на других узлы напоминали глаза. Калемы всех видов — из Турецкой империи, Персии и Египта — были представлены в коллекции хотя бы одним экземпляром. Она насчитывала более восьмисот калемов, из которых ни один не был похож на другие. Здесь не было ни одного из тех простых, дешевых калемов, которые можно купить на базаре, а были экземпляры, неповторимые по форме или по цвету; визирь хранил их в вате в особых лакированных китайских шкатулках.

В большой комнате, где стояла могильная тишина, не было слышно ничего, кроме шуршания бумаги и стука калемов в руках визиря: он измерял их и сравнивал, писал ими стилизованные буквы и вензеля чернилами разных

цветов, затем вытирал их, чистил специальной губкой и опять убирал на место.

Так он коротал время, а в Травнике оно тянется невероятно медленно.

И пока визирь проводил время за своими калемами, весь поглощенный этим невинным занятием, люди по всей Боснии с затаенным страхом и тревогой спрашивали себя: «А что там делает и замышляет визирь?» Каждый был склонен верить худшему и в замкнутости, молчании невидимого визиря усматривал неопределенную опасность даже лично для себя или для своих близких. Каждый представлял себе визиря совсем другим, занятым каким-то иным делом, значительным и кровавым.

Кроме занятий каллиграфией, визирь каждый день навещал слона, осматривал его со всех сторон, бросал ему траву или фрукты, давал шепотом шуточные прозвища, но никогда не дотрагивался до него.

Вот и все, что горожане могли узнать о загадочном визире. Но этого было мало. Страсть к калемам или бумаге не казалось им правдоподобной и понятной. Со слонем дело было проще и понятнее. Тем более что слон начал появляться перед глазами изумленного народа.

II

Прошло немного времени, и слона в самом деле начали выводить из конака; это пришлось сделать, так как молодому животному, лишь только оно подкормилось и отдохнуло после долгой и утомительной дороги, конак стал тесен. Все понимали, что слона нельзя держать в стойле, как послушную корову, но никому не приходило в голову, что он окажется таким беспокойным и капризным.

Легко было вывести слона — ему и самому хотелось простора и зелени, но сдерживать его и пасти было непросто. Уже на второй день он, высоко подняв хобот от радости, вдруг пустился через обмелевшую Лашву, разбрасывая брызги во все стороны. Подбежав к садовой ограде, он начал, играя, толкать плетень, как бы пробуя, крепко ли он держится, гнуть и ломать хоботом прутья. Слуги бежали за ним, а он мчался обратно в реку и поливал водой и их и себя.

Через несколько дней слуги придумали выводить слона связанным, разумеется, связанным на особый манер,

изящно и со вкусом. На него надели нагрудник из жесткой кожи, обшитый полосками красного сукна, с блестками и колокольчиками. От нагрудника отходили длинные цепи, концы которых держали слуги. Впереди шел высокий плечистый мулат, темнокожий с косыми глазами; это был своего рода воспитатель и укротитель молодого слона, единственный, кто умел воздействовать на него движением руки, окриком или взглядом. Народ прозвал его Фил-филом.

Сначала слона водили по берегу около конака, а затем прогулки стали удлиняться, пока наконец его не начали водить через город. Когда слона первый раз провели по базарной площади, народ держался так же, как и в день его прибытия в Травник: сдержанно, робко, с показным радушием. Но прогулки участились и наконец стали регулярными. Слон приобвык и начал проявлять свой нрав.

И тогда город стал свидетелем удивительного зрелища. Едва только слон со своей свитой покажется издали, на базарной площади поднимаются волнение и суета. Многочисленные городские псы, почуяв заморского зверя, какого им еще не приходилось встречать, вскидываются и в смятении покидают свои места возле мясных лавок. Старые, залпывшие жиром, удаляются молча, а молодые, поджарые и проворные тьякают из-за заборов или, высунувшись в какую-нибудь дыру в стене, заливаются злобным отрывистым лаем, стремясь заглушить свой собственный страх. Кошки суетятся, перебегают улицу, вцепляются в тент, прикрывающий чью-нибудь лавку, взбираются по лозе, растущей во дворах, кидаются на балконы или даже на крыши. Куры, которые собираются на базарной площади поклевать овса под торбами крестьянских лошадей, испуганно кудахчут и, хлопая крыльями, спасаются на высокие заборы. Крякая, неуклюже ковыляют утки и плюхаются в ручей. Но особенно пугаются слона крестьянские кони. Эти низкорослые и лохматые терпеливые, выносливые боснийские лошадки с густой косматой гривой, падающей на веселые бархатные глаза, просто теряют голову, едва завидят слона и услышат звон его колокольчиков. Они рвут уздечки, сбрасывают с себя вьюки вместе с седлом и бешено брыкают задними ногами невидимого врага. Крестьяне в отчаянии бегут за ними, зовут их, чтобы успокоить и остановить. (Есть что-то необычайно горестное в облике

крестьянина, когда он, широко расставив руки и ноги, стоит перед своей вставшей на дыбы лошадью, пытаюсь со своим нехитрым умишком быть умнее осатаневшей скотины, и тех безумцев, которые с жиру бесятся и водят по городу чудище.)

Городская детвора, особенно цыганята, выбегают из переулков и, спрятавшись за углы домов, со страхом и сладостным волнением разглядывают невиданное животное. А иногда дети вдруг становятся смелее и предприимчивее, кричат, свистят и со смехом и визгом выталкивают друг друга на главную улицу, под ноги слону.

Женщины и девушки, спрятавшись за деревянные решетки окон или выглядывая с галереи, рассматривают слона в красном уборе, шествующего в сопровождении хорошо одетых, надменных слуг. Соберутся по три-четыре к одному окну, шепчутся, отпускают шутки насчет необыкновенного зверя, щекочат друг дружку и приглушенно хихикают. Матери и свекрови запрещают беременным дочерям и снохам подходить к окну, а то как бы ребенок, которого они носят, не походил потом на чудище.

Хуже всего в базарные дни. Кони, коровы и мелкий скот со страху бегут сломя голову. Женщины из окрестных деревень в длинных белых платьях, с белыми, красиво повязанными платками на голове, мчатся в боковые улочки, крестясь и охая от волнения и страха.

И в завершение торжественно проходит слон, притопывая, извиваясь и заставляя свиту плясать вокруг себя, и все это так ново и необычно, что временами кажется, будто движутся они под какую-то странную, неслыханную музыку и будто шествие слона сопровождается не звоном колокольчиков, смехом и криками свиты и цыганят, а бубнами, цимбалами и другими неслыханными инструментами.

Слон переступает своими массивными, сильными ногами, легко и спокойно перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, как движется всякое молодое существо, в котором сил гораздо больше, чем нужно для того, чтобы нести и передвигать собственное тело, и потому оно тратит избыток сил на проказы и шалость.

Слон совсем освоился в городе и с каждым днем проявляет все больше озорства, все больше упрямства и избретательности в своих прихотях, которые нельзя ни угадать, ни предвидеть, столько в них дьявольской хитрости и почти человеческого коварства — по крайней мере, так

кажется взбудораженному и оскорбленному базару. То опрокинет у какого-нибудь бедняка корзину с первыми сливами, то взмахнет хоботом и сбросит на землю вилы и грабли, которые крестьянин выставил на продажу, приклонив к базарной ограде. Люди прячутся, как от стихийного бедствия, сдерживают гнев и молча терпят убытки. Один только раз пирожник Вейсил попытался защититься. Слон протянул хобот к деревянному блюду, на котором были разложены пироги. Вейсил замахнулся на него крышкой, и слон в самом деле тотчас убрал хобот, но тут подскочил этот самый Филфил, мускулистый и сильный, с длинными, как у обезьяны, руками, и отвесил Вейсилу такую оплеуху, какой еще не помнил Травник.

Когда торговец пришел в себя, слон со своей свитой был уже далеко, а вокруг Вейсила суетились люди, отливая его водой. На щеке у него остались четыре больших синяка и кровавая ссадина от перстня, который Филфил носил на среднем пальце. И все находили, что пирожник легко отделался, оплеуха — это пустяки в сравнении с тем, что могло случиться.

Вообще слоновья свита досаждала горожанам больше, чем сам слон — существо неразумное и непонятое. Со слонем был всегда его непременный страж и главный телохранитель с длинными руками и зверской рожей, которого звали Филфил — настоящего имени его никто не знал. Ходили еще со слонем два стражника, а очень часто к шествию присоединялся какой-нибудь бездельник из свиты визиря, которому просто доставляло удовольствие видеть всеобщий переполох и суету, замешательство, комические сцены и смех. Горожане издавна и хорошо знают, какие прихоти позволяют себе слуги и прихлебатели в стране бессильных законов и всевластных господ, ибо еще старые травничане говорили: горе нам от злых господ, но еще горше от наглых насильников — их слуг и приспешников.

Никто не пытается обуздать слона, напротив, все его дразнят и подстрекают ко всяким выходкам.

Городские бездельники и цыганята с самого утра собираются и ждут появления слона, чтобы насладиться его фокусами и теми бедами, которые за ними последуют. И ни разу их ожидания не были обмануты. Однажды слон остановился, замешкался, как бы размышляя, а затем направился к лавке Авдаги Златаревича, мелкого торговца, но видного и уважаемого в городе человека (а сам

он себя уважал еще больше!). Слон прислонился задом к деревянному столбу, на котором держалась передняя часть лавки, и начал с удовольствием чесаться о столб. Авдага исчез за дверцей, ведущей на склад, в заднюю каменную часть дома, а свита стоит и ждет, пока слон вдоволь начешется: народ хохочет, лавка ходуном ходит и трещит по всем швам.

На другой день Авдага, уже не дожидаясь, когда слон подойдет к его лавке, раздраженный и злой, сразу спрятался на складе, а слон подошел прямо к его дому и снова прислонился к той же балке, но не стал чесаться, а, чуть расставив задние ноги, помочился громко и обильно перед самым прилавком. Потом встряхнулся, поиграл мускулами спины, довольно пошевелил ушами и отправился дальше своим размеренным, торжественным шагом.

Цыганята, шедшие на расстоянии десяти шагов от слопа, заливались хохотом, отпускали грубые шутки, а прислуга ласково похлопывала слона по боку.

Бывают дни, когда слон пройдет по базарной площади и ничего из ряда вон выходящего не произойдет; случается, что его водят по другой части города, но все так привыкли к его выходкам, что, если их не было, их выдумывают.

Среди бездельников, которые ежедневно поджидают слона, ведутся разговоры.

— Не водили вчера слона, — скажет кто-нибудь.

— Здесь-то не водили, а знаете, что было в цыганском квартале? — откликнется пьяница и болтун Каришик.

— А что такое? — спросят двое в один голос, забывая в этот момент, что перед ними человек с заслуженной репутацией самого большого лгуна во всем Травнике и его окрестностях.

— Выкинула одна цыганка, как увидела слона, вот что! Чтоб мне провалиться на этом месте! Вышла на улицу женщина, беременная на восьмом месяце, сполоснуть блюдо, и только подняла руку, чтобы выплеснуть воду, как вдруг дернуло ее обернуться, а тут — слон, прямо на нее. Она блюдо выронила, крикнула только: «А-ах!» И свернулась. И сразу как полет из нее. Внесли в дом с ребенком, родила семимесячного мальчика. Женщина до сих пор не приходит в себя. Ребенок-то жив и здоров, да только вот немой, голоса не подает. Онемел от страха! Да, брат ты мой!..

Этими словами «да, брат ты мой» заканчивается всякий лживый вымысел Каришика, это как бы клеймо, опознавательный знак на всякой его басне и выдумке.

Праздные люди расходятся и разносят новость дальше, причем большинство забывает сказать, что слух идет от Каришика. А базар так и кипит, ожидая завтрашнего дня и появления слона или хотя бы новостей, ложных или правдивых.

Нетрудно представить, как чувствовали себя травницкие торговцы, владельцы лавок, самые спокойные и достойные деловые люди Боснии, серьезные, непреклонные, самолюбивые, гордые своим торговым сословием, чистой и тишиной в городе.

Беды, причиняемые слонем, не проходят, а растут, и никто им конца не видит. Кто знает, что на уме у скотины, даже у своей собственной, а уж где там угадать, ежели скотина чужая, привезенная из далекого, неведомого края? Кто знает, на какие муки притащили этого слона. Но торговые люди привыкли думать не о чужой жизни и чужой беде, а о своих делах и о своей выгоде. И пока в государстве все расшатывается, пока Босния прозябает, замерев в страхе и ожидании, пока беги грустят и замышляют месть, базар интересуется только слонем, и в нем он видит главного своего врага. Согласно вере и традициям, здешний люд обычно охраняет животных, даже вредных, кормит собак, кошек, голубей, не убьет и букашки. Но на слона визиря этот обычай не распространяется. Город ненавидит слона, как ненавидят людей, и думает лишь о том, как бы его извести.

Проходят дни и недели, слон растет, крепнет и становится все беспокойнее.

Временам он бешено носится по городу, точь-в-точь как когда-то сосунком носился по широкой африканской равнине, по буйной жесткой траве, которая хлестала его со всех сторон, разжигала его юную кровь и вызывала невероятный аппетит. Носится, как будто что-то ищет, и, не найдя того, чего хочет, опрокидывает и рушит все на своем пути. Слон, может быть, тоскует, слону, наверно, хочется поиграть с подобными ему; у слона начали прорезываться бивни, и поэтому ему не сидится на месте, он ощущает непреодолимую потребность грызть и рвать что попало, а город видит в его поступках злобный дух Джелиали и дьявольские козни,

Иногда слон пробежит по городу кротко и весело, ни на кого не глядя и ничего не трогая, как будто бежит в стаде молодых слонов и сам себя, играючи, шлепает хоботом по голове. А то вдруг остановится посреди площади и стоит неподвижно, грустно свесив хобот, опустив веки со светлыми редкими щетинистыми ресницами, как будто ждет чего-то, и тогда он производит впечатление растерянного и обескураженного существа.

А люди в лавках с издевкой подталкивают друг друга.

— Знаешь, на кого, по-моему, похож этот слон? — спросит какой-нибудь золотых дел мастер своего соседа.

— ?!

— На визиря. Вылитый визирь! — уверяет ювелир, который и глаз не смел поднять, когда визирь проезжал мимо его лавки. А сосед, не глядя на животное, находит, что это вполне возможно, и только отплевывается, бормоча что-то нелестное по адресу визиря и слоновой матери.

Такова ненависть базара! И если эта ненависть направлена на какой-нибудь один предмет, она его не оставляет, сосредотачивается на нем, охватывает его со всех сторон, со временем изменяет его облик и значение, перерастает его и превращается в самоцель. Самый предмет уже что-то второстепенное, от него сохраняется только название, а ненависть сгущается, сама себя питает, согласно своим законам и потребностям, и становится всепоглощающей, изобретательной и слепой, как извращенная любовь; она во всем находит для себя новую пищу, сама создает повод к еще большей ненависти. И тот, кого базар однажды возненавидит этой глубокой, лютой ненавистью, рано или поздно должен пасть под ее невидимым, но гнетущим грузом, тому нет спасения, разве только истребить, искоренить базар, стереть его с лица земли.

Ненависть базара слепа и глуха, но отнюдь не нема. На улице люди говорят немного, потому что Джелалия — это Джелалия, но по вечерам, когда сойдутся в своих кварталах, языки развязываются, воображение разыгрывается. Да и погода располагает к этому. Осень. Ночи еще теплые. Темное небо полно низко висящих звезд, каждую минуту они падают, огоньки их пересекают небесный свод, и в глазах людей, глядящих на небо, оно колыхается, как полотно.

На крутых склонах горят костры. Доваривают повидло из последних слив.

У костров ходят или сидят люди, делают свое дело, разговаривают. И повсюду смех, рассказы, угощение, фрукты, и орехи, и кофе, и табак, и почти всюду — рация. И не найдется компании, где бы речь не зашла о визире и его слоне, хотя никто их не называет по имени.

— Переполнилась чаша!

Обычно большая часть разговоров начинается с этих веками освященных слов. Не один раз сказаны они в Травнике за годы и столетия. Нет поколения, для которого не переполнялась бы и не переполнилась чаша, и притом несколько раз за его жизнь. Трудно определить, когда действительно горе переполняет чашу, когда слова эти произносятся по праву. Они подобны глубокому вздоху или тихому стону сквозь зубы и всегда искренни и правдивы с точки зрения тех, кто их произносит.

У всех костров говорят об одной и той же беде, только обсуждается она по-разному. У одних костров сидят юноши, которые ведут разговоры большей частью о девушках и о любви, об играх или трактирных подвигах. У других костров собирается торговый люд попроще, мелкие торговцы и ремесленники. У третьих — крепкие хозяева, богачи, потомственные деловые люди.

Вот у одного костра сидят всего двое молодых людей. Хозяин Шечерагич и его гость Глухбегович. Хозяину нет еще и двадцати лет, он горбатый и болезненный, единственный сын у родителей, а гость, его ровесник, высокий, крепкий и стройный парень с острым взглядом голубых глаз, над которыми сходятся прямые тонкие брови, похожие на металлический прут, заостренный на концах и прогнутый в середине. Разные во всем, они неразлучные друзья и любят уединиться от общества и свободно поговорить обо всем, что радует или печалит людей их возраста.

Сегодня пятница. Вся молодежь отправилась в город шептаться с девушками сквозь заборы или приоткрытые ворота.

Вокруг котла с кипящим повидлом хлопочут две девочки и парень, который его помешивает, юноши курят и тихо разговаривают...

Пристально глядя на огонь, словно уйдя в себя, горбатый говорит сидящему подле него другу:

— Ни о чем ином и не толкуют, кроме как о визире и его слоне.

— Так ведь лопнуло терпение у людей!

— Надоело мне слушать все одно и то же: «Визирь — слон, слон — визирь». И если хорошенько подумать, то становится жаль эту животину. Она-то в чем виновата? Ее поймали где-то за морем, связали и продали, а визирь ее привез мучиться сюда, в чужую землю, одну-одиношеньку. Потом как-то думается: ведь и визирь приехал не по своей воле, его послали другие, не спрашивая, хочет он того или нет. И тот, кто послал его, должен был кого-то послать, чтобы усмирить Боснию и навести в ней порядок. И так, мне кажется, и идет: каждый толкает другого, никто не живет там, где хочет, а живет там, где не хочет и где его не хотят, все идет по какому-то непонятному закону, все по чужой воле.

Глухбегович прерывает его:

— Э, далеко ты зашел, чудак человек! Не годится так думать. Пока ты дознаешься, кто кого послал, тебе на шею и сядут. Лучше уж ничего не доискивайся, а не давай никому взнудать себя и бей, кто поближе и кого можешь.

— Эх,— вздыхает горбун,— если каждый будет бить того, кто ему мешает и кто попадетсЯ под руку, то такое пойдет побоище — до другого края света!

— Ну и пусть идет! Что мне за дело до другого края света!

Шечерагич ничего не ответил, лишь глубже задумался и еще пристальнее стал смотреть на огонь.

То, что было сказано у этого костра, не имело никаких последствий ни для города, ни для слона, да и не могло их иметь, так как разговор дела не делает.

У другого костра, по соседству, другие люди и другой разговор. Здесь целое сборище — человек десять торговцев из тех, кто «поплоше». Понивают ракию: одни — спокойно, с наслаждением, другие с оглядкой, отнекиваясь. Разговор идет своим чередом, разрастается. Шутки, обидные уколы, высокопарные монологи, полные хвастовства и искусно вплетенной лжи; мелькают, подобно молниям, блестящие житейской мудрости. Ракия вызывает в людях неожиданные ощущения и всякого рода мысли, помогает находить новые слова и смелые решения, которые здесь, на границе веселого огня и тьмы, что заволочла сияющий, притихший мир, кажутся вполне естественными и легко осуществимыми.

— Ей-ей, друзья, эта свинья нашего визиря — позор для нас и для всего города. Жизнь мне, ей-богу, не мила, — говорит тихо и горько Авдага Златаревич.

Сразу завязывается приглушенный, но живой разговор, в котором участвуют все, и каждый на свой лад выражает негодование согласно своему праву, имущественному положению и степени опьянения. Среди беседующих быстро возникают две группы. Одни — активные и настойчивые, смелые и в словах и в помыслах; другие — не столь непримиримые, осторожные в речах, склонные к обходным путям и таким средствам, которые без лишнего шума и крика, незаметно, но наверняка ведут к цели.

Какой-то ага, рыженький, костлявый, злобный маленький человечек с короткими торчащими вверх усами, готов на все, он содрогается от позора, который приходится сносить в своем собственном городе. И клянет Травник и того, кто его создал. Поджечь бы город, говорит он, да так, чтобы сгорела и последняя мышь в стене. Ругает всю Боснию, кроет вдоль и поперек. Да разве это страна, говорит он, весь красный от гнева. И кто ее только не топтал? Разве что слона не хватало! Так вот, пожалуйста, и слона привезли. Эх, руки чешутся взять ружье и, как подойдет он к моей лавке, пустить ему в лоб двадцать драхм свинца. Пусть меня потом четвертуют на площади.

Лишь один из собеседников, пришедший сюда уже нетрезвым, хрипло бурчит что-то в знак одобрения. Все остальные молчат. Они знают этого смельчака, знают цену его угрозам. Много раз он стрелял этими двадцатью драхмами свинца, а все, в кого он целился, и по сей день целы и невредимы, живут, хлеб жуют и греются на солнце. Известно также и то, что в Травнике нелегко спускают курок и уж когда действительно стреляют, то делают это без лишних слов.

Разговор продолжается. Маленький ага все грозитя, Грозятся и другие, только тише и не так решительно, больше перешептываются. Многие того мнения, что «нужно что-то сделать», хотя и не могут сказать точно, что именно.

Другие стоят за умеренные, но верные средства, а до поры до времени — ждать и терпеть.

— До каких пор мы будем ждать? — не выдерживает один из самых активных. — Пока слон вырастет да начнет к нам в дома входить и людей топтать? Так, что ли? А знаете ли вы, что слон живет больше ста лет? А?

— Слон, может быть, и живет, но у его хозяина век короче,— спокойно говорит пожилой торговец с бледным лицом.

Умеренные многозначительно кивают головой, задиры, вдруг вспомнив, кто хозяин слона, на мгновение притихают, опять переходят на шепот.

Даже у костров, как этот, где громко похвалялись и шепотом бранились, не возникло сколько-нибудь реальных выводов и практических решений. Смелые замыслы освобождения города от слоновьего гнета воодушевляли лишь своих авторов, иногда слушателей, но на следующий день, при дневном свете, никто уже и не думал об их осуществлении. На следующий вечер снова у костра разыгрывалось воображение и начинались разговоры. Но лишь изредка заходила речь о вчерашних предложениях, да и то уже несерьезно, и дело обычно завершалось какой-нибудь новой историей. Так возникла, например, история об Алё и слоне.

Была сентябрьская ночь, теплая и ясная. Те, кто варит цовидло, тихонько напевают, те, кто сидит без дела у костра, беседуют, попивая кофе и ракию или покуривая. Мило человеку каждое слово, которое он сам скажет, и все, что видят его глаза и чего коснутся его руки.

Жизнь нельзя назвать ни легкой, ни свободной, ни обеспеченной, но о ней можно сколько угодно мечтать и говорить — мудро, пронциательно, с иронией.

У одного костра особенно громкий гомон. Вокруг Алё Казаза¹ собралось с десяток торговцев из тех, кто «поплоче», но именно поэтому и самых беспокойных.

Алё — владалец маленькой, но хорошей и многим известной лавки шелковых изделий, где плетут шнуры и тесьму, продают шелковые кошельки и пояса. Казазы ведут свой род от большой и крепкой, теперь уже вымершей семьи Шахбеговичей. Одна ее ветвь в силу обстоятельств осталась без земли, занялась ремеслом и вот уже больше пятидесяти лет удерживает свое место в цехе позументчиков. Отсюда и происходит их прозвище. Все они заслужили славу хороших людей и искусных мастеров. Таков был и Алё, только считали его чудачком и оригиналом. Высокий, плотный. Румяное лицо с черными смеющимися глазами обросло черной, редкой и неровной бородой. Его любили как шутника, наивного и беззлюб-

¹ К а з а з — позументчик (турецк.).

ного, мудрого и славного человека, который умеет и не боится сказать то, что другие не скажут, и сделать то, чего другие не решились бы сделать. Трудно понять, когда он смеется над всем светом, а когда позволяет другим смеяться над собой, когда у него под шуткой скрывается правда, а когда он шутит над тем, что другие называют правдой.

Юношей он ходил под началом Сулейман-паши в Черногорию, где выдвинулся столько же благодаря своей храбрости, сколько и благодаря своим шуткам.

— Алё, мы вот спорим, что на свете хуже всего и страшней всего, а что лучше всего и слаще всего.

— Хуже всего ветреной ночью оказаться в черногорских скалах, когда впереди один отряд черногорцев, а за спиной — другой.

Отвечает Алё быстро, не размышляя, как по-писаному, но затем сразу останавливается, умолкает и задумывается. Все пристают к нему, требуют ответа и на второй вопрос. Он долго смотрит блестящими черными глазами, упрямыми и озорными, и наконец тихо говорит:

— Что слаще всего?.. Что милее всего?.. Что слаще всего, да? Ну, это может спрашивать только дурак, а умный человек сам знает, что слаще всего. Это все знают, об этом не спрашивают... Отвяжитесь!

Но после первых невинных шуток разговор вдруг переходит на слона. Обычные жалобы, угрозы, похвальба. Кто-то предлагает выбрать пять человек для того, чтобы они пошли к визирю и открыто пожаловались ему на слона и его слуг.

Маленький болезненный Тосун-ага, портной, опрокинул стаканчик ракии, откашлялся (ракия требует громких слов) и заявил:

— Да вот я первым пойду!

Это какая-то тень мужчины, человек порочный, с плохой репутацией, и именно потому в нем столько суетности, что она подавляет в нем все прочее, и даже страх. В ярком свете костра он кажется еще более бледным, изможденным и слабее, чем обычно, еще более безжизненным; и лишись он в этот момент головы, вряд ли кто-нибудь сказал бы, что Тосун-ага многое потерял.

— Да что ты? Первым пойдешь? Если ты идешь первым, я хоть третьим пойду, — сказал сквозь смех Алё.

Но и остальные уже подвыпили и стали перебивать друг друга:

— И я пойду!

— И я!..

Долго они так хабрились, стараясь превзойти друг друга в словесной перепалке. В ту ночь они разошлись поздно, составив план действий и торжественно поклявшись, что завтра перед лавкой Тосун-аги соберутся пятеро выбранных, отправятся в конак, потребуют, чтобы их допустили к визирю, и скажут ему всю правду: подлинное мнение народа о слоне и о его бессердечной и своевольной свите,— и попросят визиря убрать эту напасть.

Ночью не один из них просыпался, спрашивал себя со страхом, возможно ли, чтобы он, за вином и разговорами, дал слово предстать перед лицом Джелалии или это только страшный сон.

III

На утро, когда рассвело и наступил условленный час, на место встречи из пятерых пришли трое. Двух других нигде не могли разыскать. По пути у одного из этой тройки так заболел живот, что он свернул в чей-то сад, выходящий на дорогу, и там бесследно исчез.

Остались Алё и Тосун-ага.

Они шли не торопясь, оба с мыслью отказаться от опасного и бессмысленного предприятия. Но так как ни один из них не хотел первым высказать эту мысль, они продолжали идти. Так, косясь друг на друга, дошли до моста через Лашву, который вел к конаку.

Тосун-ага слегка отстал. Алё собирался остановиться у самого моста, чтобы тут с обоюдного согласия повернуть восвояси и не рисковать попусту. Из этого раздумья его вывели резкие голоса. Двое из стражи, стоявшей по другую сторону моста, что-то кричали в один голос. В первую минуту Алё показалось, что его гонят, и он, обрадованный, хотел повернуть обратно, но стражники, размахивая руками, подзывали его к себе:

— Поди сюда!

— Сюда, сюда!

Охрана была усиленная, как будто кого-то ждали. Два безусых стражника пошли ему навстречу. Алё оцепенел, но деваться было некуда, и он предупредительно поспешил к ним,

Стражники строго спросили, куда он собрался и что ему здесь нужно. Простодушным и вполне естественным тоном Алё ответил, что шел в село Халиловичи за сливами, да заговорился с соседом, которого встретил по дороге, и за разговорами незаметно дошел до самого конака. И он смеялся над собой и над своей рассеянностью, улыбаясь широкой до глупости, доброй и наивной улыбкой. Стражники секунду смотрели на него подозрительно, а затем старший сказал уже совсем нестрого:

— Ладно, проходи!

Оправившись от испуга и уже придя в себя, Алё почувствовал огромное облегчение и даже желание поговорить с этими симпатичными юношами, пошутить с только что миновавшей опасностью.

— Да, да, родимые, охраняйте, охраняйте хорошенько! И слушайтесь! Дай бог еще много лет жизни вашему гссподину!

Солдаты Джелалии, закоренелые, искушенные убийцы, смотрели на него с тупой улыбкой.

Поднимаясь вверх по обрыву, вдоль которого тянулась наружная стена, ограждавшая сады визиря, он еще раз обернулся с улыбкой к солдатам, которые на него даже и не смотрели. В то же время он бросил быстрый взгляд на другой берег Лашвы, где бесследно исчез Тосун-ага, покинув товарища и нарушив все клятвы, данные накануне.

Поднявшись довольно высоко по размытой дождями тропинке, проходившей между огородами, Алё увидел небольшую площадку под высокой, уже обобранной грушей с засохшими листьями. Здесь он присел, достал кисет с табаком и закурил.

Под ним далеко внизу был невидимый конак и весь правый берег Лашвы, а Травник казался кучей черных и серых крыш, над которыми вились синие и белесые дымки. Они соединялись по нескольку в один, расплывались, таяли и терялись в небе.

И только здесь, после первых затяжек, когда Алё уже немного пришел в себя и успокоился, ему вдруг стало ясно, как отвратительно обманули его сегодня утром и что с ним сделали люди, толкнув к этому страшному месту, чтобы он в одиночку боролся с тем, что ему в конце концов меньше всего мешало, чтобы он защищал то, что у них самих не хватает смелости отстаивать.

Он разглядывал свой родной город в странной, косо́й перспективе и видел его как-то по-новому. Местность казалась ему чужой и незнакомой, а в мозгу беспрестанно возникали новые мысли, настолько необычные и тяжкие, что они вытесняли все остальное, и время летело незаметно и быстро. Так он просидел на обрыве и обед, и всю вторую половину дня. Кто может сказать, какие мысли роились в тот нежаркий сентябрьский день в голове этого ремесленника, у которого озорство и грусть сменялись, как прилив и отлив, бесследно вытесняя друг друга. Он думал не переставая, думал много, как никогда, обо всем на свете: о том, что случилось утром, о слоне, о Боснии и об империи, о власти и о народе, о жизни и вообще. Мозг его не привык мыслить логично и последовательно, но в этот день и в него проник слабый и короткий луч сознания того, в каком городе, в какой стране и империи живет он, Алё, и тысячи других, таких, как он, чуть глупее или чуть умнее, победнее или побогаче: какой они живут скудной и недостойной человека жизнью, которую до безумия любят и за которую так дорого платят; и если подумать, так ведь она того не стоит, ей-ей, не стоит. И все эти мысли сводились в его сознании к одной: нет у людей ни отваги, ни сердца.

Труслив, ничтожен человек — приходил Алё все к тому же заключению, — труслив и поэтому слаб. В городе каждый в большей или меньшей степени труслив, но есть сотни способов, с помощью которых люди скрывают свою трусость, оправдывают ее перед собой и перед другими. А ведь не таким бы должен быть человек, нет, не таким! Он должен быть гордым и смелым, никому не позволять косо смотреть на себя. Потому что стоит человеку один раз стерпеть даже малейшую обиду и не вспыхнуть (а он не вспыхивает, так как нет в нем огня) — и готово дело, каждый может топтать его, не только султан или визирь, но и его слуги, и всякая тварь, вплоть до самой последней! И ничего из этой самой Боснии не получится, пока в ней властвует Джелалутдин. Сегодня Джелалутдин, а завтра — бог знает кто, еще в тысячу раз хуже его. Нет, надо эту ржавчину стереть песком, выпрямиться во весь рост и никому не поддаваться, никому! Но как? Разве что-нибудь сделаешь с этим народом, где и пяти человек не соберешь, чтобы сказать в лицо визирю единственное правдивое слово? Ничего, ничего не сделаешь! Так здесь повелось издавна: кто смел и горд, тот

легко и быстро теряет хлеб и свободу, имущество и жизнь, а тот, кто живет в страхе и перед всеми гнет шею,— тот настолько теряет самого себя, настолько его съедает страх, что жизнь его ничего не стоит. И кому выпало жить во времена Джелалии, тот должен выбирать одно из двух. Конечно, тот, кто может выбирать. А кто может выбирать? Да вот хотя бы он сам, который все это думает. Что он может сказать о себе? Он всегда выделялся храбростью и хвастался, что храбрости его хватит на троих, на десятерых, на половину Травника, и притом на ту, что храбрее. Хвалили его и другие. И что же? Прошлой ночью, у костра, он был смелым и сейчас чувствует себя смелым, но где была его смелость, когда он разговаривал со стражей: ведь у него душа ушла в пятки, так он испугался, с трудом взобрался сюда, в гору! Разве из-за этих четырех вероломных лавочников правда перестала быть правдой и то, что верно, уже стало неверным? Нет, нет больше горячей крови и сил ни у Травника, ни у его жителей! А то, что еще осталось, растрачивается на шутки, насмешки и лукавство, с помощью которого стараются перехитрить соседа, обмануть крестьянина и из одного гроша сделать два. Поэтому они так и живут (думают, что живут!), поэтому и жизнь у них такая никудышная.

Долго думал Алё обо всем этом и о многих других вещах, но все вопросы так и остались нерешенными, только завели его в тупик.

Очнулся он от своих мыслей, услышав звон колокольчиков стада, которое пастухи гнали с горы обратно в город. В сумерках он не торопясь направился вниз. И по мере того как он спускался по склону, улетучивались беспокойные мысли, которые завладели им там, наверху, и он снова становился прежним Алё, уважаемым торговцем, всегда готовым посмеяться и пошутить. С каждым шагом у него все больше росло желание отомстить за свой позор всем торговцам, проучить их за пустое бахвальство и за трусость так, как они того заслужили. И от этой мысли на лице его снова заиграла озорная усмешка. Стараясь незаметно, боковыми улочками добраться до своего дома, он обдумывал, как бы наказать лавочников и власть поиздеваться над всеми.

Жена и дети встретили его со слезами радости, которые приходят после невыносимой тревоги. Он хорошо поужинал, еще лучше выспался, и на другой день, когда вышел из дому, в голове у него не осталось и следа от

вчерашних мучительных размышлений, но зато был обдуманый во всех подробностях рассказ о посещении конака и свидании с визирем.

Накануне, когда торговцы открыли на базаре свои лавки, они сразу заметили, что лавка Алё Казаза заперта. Вскоре стало известно, что Тосун-ага вернулся ни жив ни мертв и что Алё в окружении стражников исчез в конаке. Одни незаметно бросали из своих дверей озабоченные взгляды на его лавку, другие то и дело посылали учеников, но мальчишки возвращались все с той же вестью, что лавка Алё Казаза на запоре.

В такой тревоге рынок и закрылся. А когда наутро Алё вышел, живой и невредимый, и в обычный час с улыбкой отпер свою лавку да стал спокойно разматывать огромный моток желтого шелка, всем сразу стало легче. Если накануне они тревожились за судьбу Алё (а значит, и за свою), то теперь, негодуя на него за свои вчерашние страхи, уже холодно отмахивались и говорили: «Мы же знали, что все хорошо кончится — дурные головы крепко держатся на плечах». Кое-кто из любопытных и бездельников уже прошелся к лавке Алё. Он перебросился с ними двумя-тремя словами, но, кроме добродушно лукавой улыбки, никто ничего из него не выудил. И так целый день. Базар сторал от любопытства, но Алё молчал. И только в сумерки он рассказал тихо и доверительно одному из соседей и товарищей по цеху свою историю о вчерашнем происшествии.

— Тебе я могу сказать все, — шептал Алё, — я ведь знаю, ты никому не передашь. По правде говоря, нелегко мне пришлось, когда я попал в руки стражников и увидел, что Тосун-ага исчез за углом, но, вижу, деваться некуда. Я было притворился, что иду по своим делам в Халиловичи, но они мне и пикнуть не дали. Мы, говорят, все знаем: вы шли в конак. Вот и пожалуйте, конак открыт. И повели меня в конак через двор, потом через другой и ввели в какую-то огромную темную залу. Гляжу я по сторонам, а сам дорого бы дал, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте. Оставили меня одного. Жду, жду, всякие мысли в голову лезут, и все себя спрашиваю, увижу ли я еще свой дом. Смотрю, кругом двери, но все закрыты. Вдруг вижу — из одной сквозь замочную скважину что-то сияет, как солнце. Подошел я на цыпочках и пригнулся, чтобы заглянуть, да не успел, дверь распахнулась, и я так и ввалился в комнату, светлую и простор-

ную. Встал я на ноги и прямо ахнул. Богатый ковер и всякая роскошь. Пахнет амброй. И стоят два человека в суконных кафтанах при тяжелом оружии, а между ними, чуть подалее, сам Джелалутдин-паша. Я его сразу узнал. Спрашивает он меня что-то, а я так смешался, что ничего не слышу. Спрашивает еще раз: кто я и чего хочу, а голос у него как шелк. Я начал что-то лепетать, а губы не слушаются, словно чужие: мы, мол, вот насчет слона; договорились, мол, и вот пришли спросить.

«А кто еще с тобой?» — спрашивает меня визирь все тем же голосом, как будто издалека, а сам смотрит мне прямо в глаза.

Я так и окаменел, и кровь у меня в жилах застыла. Оборачиваюсь. Была бы у меня за спиной хоть эта пададь Тосун, а то ведь знаю, что никого нет, все меня предали и оставили одного в этом страшном месте, и надо теперь самому выпутываться. Тут во мне что-то перевернулось. Выпрямился я, повернулся лицом к визирю, голову склонил, а руку приложил к груди (будто я так и собирался сделать!) и заговорил безо всякого стеснения:

«Меня, о светлый паша, послал город не за тем, чтобы тебя беспокоить (кто бы об этом смел и подумать?), но затем, чтобы просить тефтедар-эфенди передать наше пожелание и нашу просьбу: твой слон — это гордость и украшение Травника, и наш город рад будет, если ты купишь еще одного, мы тогда сможем гордиться перед всей Боснией, да и слон тогда уже не будет один, без пары. А мы его так полюбили, что даже свою скотину стали меньше любить. Вот что меня послали сказать и о чем попросить от лица всего города, а ты лучше знаешь, что и как тебе делать. Только что до нас, до торговых людей, то хоть и трех или четырех слонов заведи, нам не будет в тягость. И не верь, если услышишь какие-нибудь другие слова, их могут сказать лишь лгуны и негодяи, а мы с ними не водимся и не хотим водиться. И прости, что я невольно явился пред твои очи!»

Говорю я так, а сам даже не знаю, откуда все это в голову приходит. Кончил я, упал на колени и поцеловал руку визиря и край его одежды, а он что-то сказал одному из свиты, что — я не расслышал, и куда-то исчез. А должно быть, что-нибудь хорошее сказал, потому что те двое в суконных кафтанах честь честью вывели меня опять в темную залу, а затем во двор. И тут вижу: собралась вся свита визиря, человек десять—двенадцать, все

мне улыбаются и кланяются, как будто я по меньшей мере судья. Двое из них подошли ко мне и вложили в одну руку окку хорошего табаку, а в другую — мешочек со всякими сладостями и вывели под руки на мост, точно невесту.

Ну, дорогой мой, как увидел я мост и Лашву, то будто второй раз на свет родился.

Так я и остался живым. А знаешь, если бы сделать, как хотел базар и те, кто со мной утром пошел, не открылась бы сегодня моя лавка и солнышко бы меня уже не грело.

Только очень прошу: никому не рассказывай, ни за что... Сам знаешь, как все это может обернуться.

— Да, конечно, знаю, будь спокоен. А как ты думаешь, неужели и вправду визирь заведет еще одного слона?

Алё пожимает плечами и разводит руками.

— Ах! Об этом только бог единый знает, и пусть уж об этом думают другие, а я теперь никогда в жизни не стану заниматься ни визирями, ни слонами.

— Уф! — отдувается сосед и хочет вытянуть из него еще хоть словечко, но Алё молчит и только улыбается.

Закончив рассказ, Алё простился со своим собеседником, прекрасно понимая, что он, можно сказать, пустил по базару глашатая. И действительно, к ночи не осталось ни единой лавки, где бы не знали во всех подробностях историю о том, как позументщик был в конаке.

В эти осенние дни рассказ Алё часто повторялся и в лавках и у костров. Одни ругали его, как придурковатого и подлого человека, который насмеялся над всем базаром, другие одобряли и осуждали тех, кто заварил кашу, а в последнюю минуту бросил товарища, третьи оскорбленно отмалчивались или утверждали, что иначе и не может быть, когда всякие портные и позументчики берутся за дело и составляют прошение визирю; четвертые в грустном недоумении качали головой, не зная, что и подумать о таких людях и о таких временах. Но рассказ Казаза продолжал быстро распространяться и, переходя из уст в уста, слегка изменялся — как по форме, так и по содержанию. А сам Алё никогда ничего не скажет: ни черное, ни белое, ни да, ни нет, — а если и завернет вечером к какому-нибудь костру, то на все расспросы лишь пошмеивается, поглаживает бороду и говорит:

— Хороший урок дал мне базар, спасибо ему, вот какое спасибо! — и низко кланяется, приложив руку к груди.

А люди сердятся, считая его балагуром, с которым нельзя серьезно разговаривать, но говорят это вслух, когда его нет.

Есть еще один разряд травницких костров. Они самые немногочисленные, возле них тоже сидят торговцы, но настроения господствуют здесь совсем другие. Здесь «первые люди» города, в большинстве немолодые, седые и спокойные и все без исключения богатые. Тут нет ни ракии, ни смеха, ни веселого гомона, идет степенная беседа, в которой длинные паузы, красноречивые взгляды и немые движения губ говорят больше, чем слова.

Тут тоже обычно толкуют о слоне, но только все в общих выражениях и безобидных словечках, которые сами по себе ничего не значат, только взгляды и мимика придают им подлинный смысл, потому что это и есть второй и настоящий язык высшего слоя города. И тем не менее именно у такого рода костров без воплей и громких речей, без угроз и клятв, решалось, как защититься от слона или избавиться от него раз и навсегда. Только здесь, среди старых и богатых торговцев, и мог быть решен этот вопрос. Ибо он мог быть решен только хитростью, а хитрость идет рядом с богатством, предшествуя ему и неизменно его сопровождая.

IV

Так в домах, на огородах и у костров люди издевались и выдумывали истории, шепотом или вслух проклинали слона и того, кто его сюда привез, мечтали, огорчались, жаловались и втихомолку строили коварные планы.

Проклятия и жалобы, тайные сговоры и планы вообще редко ограничиваются только словами, и меньше всего в Боснии. Долгое время все это кажется пустым и бессмысленным — все слова и слова, да бессильные жесты, да желваки на скулах и стиснутые зубы. Но в один прекрасный день — никто не знает, как и почему — все это стуситится, примет определенную форму и станет делом. Дети или беззаботная молодежь обычно первыми находят в себе достаточно сил и изобретательности, чтобы осуществить беспомощные угрозы старших.

Когда начали поспевать грецкие орехи, оказалось, что слон большой до них охотник. Он стряхивал их с ветвей, и, падая на землю, они освобождались от высушенной

темно-зеленой шкурки, слон подбирал их хоботом, щелкал своими огромными невидимыми зубами, искусно выплевывал скорлупу вместе со слюной и с удовольствием жевал молочное ядро.

Мальчики бросали орехи на мостовую перед слоном, а он старательно собирал их, смешно выгибая свою большую голову на короткой шее. И тогда кому-то из детей пришла в голову озорная мысль. Он расколол орех пополам, вытащил из одной половинки ядро, а на его место посадил живую пчелу, затем сложил половинки ореха так, чтобы он казался целым, и бросил его перед слоном. Слон разгрыз орех, но в ту же минуту начал трясти головой, издавать странные звуки и вырываться у своей свиты. И только когда слон добрался до Лашвы и стал как одержимый пить холодную воду, он немного успокоился. Сопровождавшие его люди подумали, что слона укусил овод.

Это средство, жестокое и хитроумное, хотя и наивное, оказалось ненадежным и слишком слабым. В большинстве случаев слон глотал и орех и пчелу не моргнув глазом. Но это было только начало. Люди, объединенные общей ненавистью, становятся упрямыми, злыми и изобретательными.

В детских проказах осторожно и незаметно приняли участие и старшие. Перед слоном в переулках стали бросать яблоки, и не какие попало, а хорошие, крупные, так что свита ничего не могла заподозрить. А между тем у некоторых яблок вырезали черенок вместе с сердцевинкой и на это место сыпали немного толченого стекла и мышьяку, затем снова вставляли черенок, и яблоко казалось целым. Из-за дверей и приоткрытых окон люди подсматривали, как подействует эта отравка, о которой было известно, что она действует медленно, но так надежно, что и слона может доконать. Однако тут травничанам пришлось убедиться, как трудно отравить слона, ибо он может вынести любой яд. Слона отравляли упорно и методично, но он еще долго творил что хотел. И все же с приближением зимы он стал худеть, у него начали обнаруживаться неполадки в пищеварении. Сначала народу было запрещено давать ему что-либо съестное, а потом его совершенно перестали водить через базар. Его только ненадолго выводили на берег у конака. Здесь слон немного оживал. Он осторожно и мерно ступал по неглубокому снегу, ощупывал его хоботом, подносил ко рту, а потом сердито бросал вверх. Но и эти прогулки становились все

короче, потому что слон сам возвращался в свое стойло. Там он лежал на соломе, тихо стонал и поглощал огромное количество воды.

Пока слон болел, люди старались всеми возможными способами разузнать, что с ним происходит. Много о происходящем в конаке не узнаешь, но за хорошие деньги верный человек сообщил, что, во-первых, слон «все время лежит и из него течет и сзади и спереди», и, во-вторых, слуги в конаке уже спорят о том, сколько стоит слоновья шкура: одни утверждают, что она стоит тысячу грошей, другие не верят этому, а третьи допускают, но добавляют, что ее надо дубить целый год. Базару с его поразительной способностью схватывать суть вещей этого было достаточно. За эту новость заплатили сколько полагалось и продолжали ждать без лишних слов, обмениваясь только короткими, немymi, но многозначительными взглядами. И долго ждать не пришлось.

Однажды по базару тихо пронеслась весть, что слон погиб.

— Слон подох!

Сколько ни старайтесь, вы никогда не узнаете, кто первым произнес эти слова. Когда я говорю «произнес», вы, чего доброго, представите себе громкий, оживленный разговор, почти победные крики. Но подумать что-либо в этом роде — значит совершенно не знать этого города. Здесь никогда так не говорили, а особенно во времена слона и Джелалии. И не могут так здесь говорить. Не умеют. Рожденные и выросшие в сырости и на ветру, в окруженном горами городе, где, сколько помнится, всегда сидит визирь со своей свитой, вынужденные жить в страхе, причины или названия которого меняются, но содержание остается все тем же, люди отягощены сотнями предрассудков, никогда не умирающих прежде, чем на смену им не появятся новые. А если и случится так, что у них в груди возникает что-то похожее на гордость победителя, она поднимается на известную высоту, кое у кого даже до горла, а затем снижает, чтобы навсегда улесться рядом с восторгами, печальми, протестами, которые когда-то точно так же поднимались и, невысказанные, безмолвные, опускались в эту могилу.

Итак, кто-то тиконько шейнул эти слова, и они, словно невидимая вода из таинственного источника, который угадывается только по журчанию, потекли по базару от одного к другому. Так «прошел слух», и боснийские

глотки, которые ни разу до конца не прокашлялись, и рты, всегда полузакрытые, пронесли его через весь город:

— Слон подох!

— Подох?

— Подох, подох!

Прошипит это слово, словно капля воды на горячей глиняной крышке, и каждый уже знает все, ни о чем не спрашивает и ничего не говорит. Одно зло ушло под землю.

Но пока на базаре судили и рядили о том, где похоронят слона, и в то же время со страхом ожидали, что скажет и что станет делать визирь, нашелся другой человек, еще вернее, и задешево продал новую весть, на сей раз правдивую: слон жив. Несколько дней назад слон и на самом деле чуть не издох, но один из приближенных визиря стал его лечить какой-то смесью из ромашки, отрубей и растительного масла. И сейчас ему лучше, уже встает на ноги. В конаке веселье среди слуг и чиновников, которые от страха перед визирем умирали вместе со слоном. Вот какую весть доставил невидимый вестник, чья правда была дешевле, чем ложь.

И базару случается обманываться.

Неприятная новость облетела весь город почти так же быстро, как и первая, но без слов и без шепота. Посмотрят только один на другого, опустят глаза и оттопырят губы.

— Жив? — спросит разочарованно какой-нибудь незакаленный юнец, а ему ничего не ответят, только сердито и укоряюще махнут рукой и отвернутся.

И действительно, слон был жив. Как-то в начале марта его впервые вывели из просторного стойла. Базар послал специального человека, на вид незаметного и простодушного, но надежного и проникательного, чтобы определить положение дел. А увидел тот вот что. Слон страшно исхудал, почти вполовину; голова у него стала маленькая и угловатая, потому что под кожей проступал череп; глаза ввалились в огромные глазницы и как будто стали больше, кожа на нем висит, словно платье с чужого плеча, редкая шерсть почти что вылезла и пожелтела. Слуги суетятся, усердно ухаживают за ним, а он их словно и не замечает, только все поворачивается спиной к солнцу, уже начавшему греть, и не переставая медленно покачивает головой вправо-влево, обнюхивая бледные клочки травы среди тающего снега.

С каждым днем, приближающим Травник к весне, а весну — к Травнику, прогулки слона становились все продолжительнее. Он медленно, но бесспорно поправлялся. Разочарованные жители с трепетом и с удвоенной ненавистью ждали, когда слон совсем выздоровеет и его снова начнут водить по рыночной площади, а он будет выкидывать всякие фокусы и пакости.

Слуги визиря, а особенно мулат, которому был поручен надзор за слоном, уверены, что горожане его намеренно и методично отравляли, поэтому они водят слона с победоносным видом и бросают вокруг свирепые взгляды, обдумывая месть. Еще зимой, когда слон болел, боясь, как бы на них не обрушился гнев визиря, они уговаривали своего господина наказать жителей. Но визирю не до них. Его мысли с некоторых пор витают далеко — не о слоне он теперь беспокоится, а о своей собственной судьбе. Исполнилось его непреодолимое желание властвовать, судить, карать и убивать; и если бы запутанные дела в Боснии и в тогдашней Турецкой империи могли решаться только насилием, кровью и страхом, он мог бы говорить об успехе; но для их разрешения требовалось нечто большее, чем не было в империи, и меньше всего это могли сделать такие люди, как Джелалутдин. А когда насилие оказывается неспособным решить поставленную задачу, оно оборачивается против самого насильника. Так было в Турции всегда, а тем более в 1820 году, когда империя дышала одной третью легких, когда на нее нападали со всех сторон — и извне и изнутри. Так было и с Джелалией. Он из тех насильников, которые могут быть только палачами и ничем больше и которых поэтому можно использовать для одного удара; если этот удар получается неудачным, они сами от него погибают.

Все это не было известно Джелалии раньше, да и не стало ясно теперь, но было очевидно, что его удар не уничтожил бегов и не усмирил Боснии, а сам он после этого удара не знает, что делать, как продолжать дело, для которого одной жестокости недостаточно. И нужно было искать новый способ действий и нового визиря для Боснии, а это значило, по господствующему обычаю, что для прежнего визиря немного осталось места на земле, что его ожидает смерть или изгнание, равносильное смерти.

Это понимал и Джелалия, об этом говорили и дошедшие до него вести.

Эгоистичный и нелюдимый, он не имел в Стамбуле ни родни, ни каких-либо особых связей, и у него не было ни малейшей надежды, что со временем опалу снимут и он снова добьется свободы и высокого назначения, как это бывало с другими визирями. Для него изгнание означало конец всего, медленное и позорное умирание. И он не сомневался, что добровольная и мгновенная смерть лучше.

Он по природе своей был насильник и мучитель и не мог жить без насилия над другими, но не мог сносить насилия над собой.

В марте из Стамбула прибыл специальный гонец с фирманом, гласившим, что в Боснию назначен новый vizirь, а Джелалутдин-паша должен передать управление страной чехайя-паше, сам же удалиться в Адрианополь и там ждать дальнейших распоряжений.

На словах гонец сообщил ему, как о деле уже решенном, что Джелалутдин-пашу назначат наместником в Румелию и пошлют подавлять восстание на одном из островов, и поздравил его с новым назначением. Все это гонец выговорил быстро, механически, как заученный урок. Джелалутдину без труда удалось подпоить его, подкупить и вытянуть у него признание, что ему нарочно приказано сказать это viziryu, а на самом деле румелийским наместником уже назначен другой человек, способный удержать бразды правления. Значит, это западня. И тогда Джелалия понял, что настал роковой момент: Травник — высшая точка, к которой его привели и самому ему непонятные причины.

И тогда стало ясно, насколько близка была Джелалутдину мысль о смерти, даже о своей собственной, насколько он с ней сроднился.

Внимательно и обдуманно он написал завещание и разделил все, что имел, между своими помощниками, такими же палачами, как и он сам. Он выделил солидную сумму денег на мавзолей, который должны были поставить над его могилой, и предусмотрел все мельчайшие расходы, связанные с погребением. Оставил он и надпись, которую должны были вырезать на надгробном камне. Она начиналась словами Корана: «Он жив и вечен...» Свою богатую коллекцию калемов, перьев из бамбука, он сжег собственноручно, бросая их один за другим в огонь, горевший в его комнатах в последние дни марта так же, как и в середине зимы. Обо всем этом в городе никто не

знал, как никто не мог знать и о том, что он оставил своему писарю Омер-эфенди сборник стихотворений — драгоценный образец каллиграфического искусства, В этом сборнике были переписаны тридцать два лучших стихотворения персидских и арабских поэтов, где все переливалось и гудело от гимнов во славу роз, гиацинтов, вина, красавиц, фонтанов, флейт и соловьев, во славу черной земли и яркого солнца, «которые все это щедро дают человеку, а затем отнимают, чтобы дать другому».

Покончив со всеми распоряжениями, визирь удалился в свою спальню, приказав разбудить себя через час к обеду. Здесь он взял ложечку белого порошка, растворил его в стакане холодной травяной воды, выпил, как выпивают горькое лекарство, и ушел из жизни так же тихо и незаметно, как в свое время появился в Травнике.

Когда среди дня с минаретов мечетей в Травнике начали кричать муэдзины, народ сразу понял, что это не обычная полдневная молитва, а дженаза — молитва по покойнику. А по продолжительности молитвы и усердию муэдзинов нетрудно было догадаться, что молятся они о покойнике богатом и знатном.

О смерти визиря скоро стало известно всем, и это была первая весть, которая хоть и касалась Джелалии, но на которую тем не менее городу нечего было возразить. В тот же день при общем молчании его похоронили. На похоронах присутствовали и молились все торговые люди, ни проронив о визире ни во время погребения, ни после него ни словечка — ни хорошего, ни плохого (такая победа не нуждалась в ликовании). Никто не имел ничего против того, чтобы Джелалия покоился у них в городе, на два аршина под землей, неподвижный и бессильный, с каждым днем все менее и менее похожий на человека.

Чехайя-паша еще до похорон въехал в конак, а приближенные Джелалии разбежались в разные стороны, стараясь замести следы и избежать расплаты.

Слона визирь завещал тому мулату, который его привез и все время ухаживал за ним в Травнике, — тому самому, которого город прозвал Филфилом и ненавидел больше, чем само животное. Визирь поручил ему перевезти слона в Стамбул и оставил необходимые для этого деньги. Но нелегко было исполнить это завещание — мулат и сам не знал, куда деваться. При сложившихся обстоятельствах из Боснии трудно было вывезти иголку, а не то что слона, который теперь уже не принадлежал

визиру. И вот всем ненавистный мулат той же ночью сбежал в неизвестном направлении, а горожане нашли способ пронести в конак и подсунуть слону более сильное и надежное средство, чем толченое стекло в яблоках.

На четвертый день после похорон Джелалии умер и слон. Он оставил свое соломенное ложе у дверей и забился в самый дальний угол. Здесь его нашли на следующее утро мертвым. И сразу же его где-то зарыли, где и как — никто не расспрашивал: если город избавлялся от какого-нибудь зла, он о нем некоторое время не упоминает в своих разговорах, и лишь позднее, когда оно войдет в предание, о нем опять заговорят, но уже как о чем-то далеком и давно прошедшем, о чем можно, смеясь, рассказывать, испытывая иные невзгоды.

Словом, слон сошел в землю вслед за визирем. В здешней земле для каждого есть место.

* * *

Наступила первая весна без Джелалии. Страх меняет свой облик, забота — имя. Сменяются визири. Жизнь течет своим чередом. Доживает свой век империя. Угасает Травник, но в нем еще живет базар, как червяк в сорванном яблоке. Приходит весть, что в Боснию едет визирь Орнос-бег Заде Шериф Сири Селим-паша. Первые слухи говорят, что это человек хороший, образованный и предки его родом из Боснии. Но кое-кто озабоченно покачивает головой:

— Если он такой хороший, зачем у него такое длинное имя?

— Кто знает, брат, что принесет с собой визирь и кого он везет?

Так город живет в ожидании новых вестей и более надежных сведений. Народ страдает, шепчется и защищается, за неимением других средств, преданиями, в которых живет его неясная, но неугасимая тоска по справедливости, по иной жизни и лучшим временам.

На могиле Джелалутдина мастера воздвигают мавзолей. Каменотес вырезает надпись на его надгробном камне и уже закончил первую фразу. А по Боснии идет и по пути все разрастается рассказ об Алё и слоне.

ВЕЛЕТОВЦЫ

Это случилось в последние дни восстания Кара-Георгия, когда ужицкие турки решили полностью очистить от повстанцев горы и освободить дороги. При известии, что Сербия покорена, гайдуки отступили сами и старались без крайней необходимости не попадаться на глаза даже пастухам, а уж тем более туркам. Однако турки, вознамерившись навсегда потушить очаги восстания, повсюду разыскивали повстанцев и загоняли их все выше в горы.

Это и привело Стояна-велетовца в Боснию, в родные места, неподалеку от села Велетова, что стоит на самой границе. Пять лет бродил он в четах по Сербии, перевез туда и жену и ребенка. И вот теперь семья была далеко, а он с товарищем, пареньком из Ариля, оказался окруженным и отрезанным в разрушенном доме бегов Црничей, в местности Обарак, близ Велетова. У них было немного пороху и свинца, еда дней на десять, а в подвале стояла по колено вода.

Некогда знаменитый дом бегов Црничей — узкое и высокое каменное строение в три этажа — стоял у отвесной стремнины, с боков его окружали сливовые сады, а позади находился двор. Только фасад башни оставался открытым и гордо смотрел на луга, зеленевшие по крутым склонам вышеградской долины. Несколько лет назад повстанцы обстреливали эту башню из пушки с Тетребицы и подожгли крышу. Црничи тогда покинули свой дом и с тех пор не возвращались. Дождь, снег и ветры продолжали разрушать его камень за камнем; из щелей в закопченных стенах пробивалась трава и вырастали маленькие деревца.

В этом доме и засели теперь Стоян и юноша из Ариля. Двери завалили бревнами и камнями. Окна в замке

были пробиты высоко над землей и только с двух сторон. Из этих окон осажденные сражали каждого, кто бы ни появился на лужайке перед домом. Десяток турок-ужица, окруживших его, вначале считали дело пустячным. Но прошли день и ночь, а гайдуки не сдавались. Правда, им не удавалось ускользнуть, но и турки никак не могли прорваться в замок. Гайдуки так ловко перебежали от окна к окну и так метко стреляли, что порой туркам казалось, будто в замке не двое, а куда больше осажденных. Они ранили уже четвертого человека. Прячась за сливовые деревья, за выступы скал или укрываясь за сплетенными из ветвей заслонами, турки подходили к башне и уговаривали Стояна сдаться. Они то обещали отпустить его в Велетово целым и невредимым, а то вдруг начинали рассказывать, будто уже схватили его жену и детей, и грозились прирезать их, если он тотчас же не сдастся. Стоян или молчал, или отвечал на все это бранью. А паренек из Ариля целый день пел, свистел во всю мочь, заложив в рот пальцы, и тоже ругал турок. В общем, шумел за троих.

Кое-кто из турок подходил поближе, только чтоб выкрикнуть ругательства. Но из башни отвечали еще крепче. Некоторых турок Стоян узнавал по голосу:

— Это ты, что ли, Устамуич, падаль поганая?

А Устамуич ему в ответ:

— Долго задумал поститься, Стоян? Надоест!

— Заботься о своем брюхе, а о нас не горюй: хватит нам и еды и пороха — хоть с самим султаном воевать.

— Знаю, знаю. Недаром у тебя щеки провалились, небось третий день один кусок воска жуешь.

Словно подтверждая слова Стояна, грянул из башни выстрел, и пуля чмокнула где-то рядом с притаившимся за плетнем Устамуичем, который ответил на это громким смехом.

— Да благословит аллах твое ружье, Стоян! Слышал я, что ты хороший стрелок, да не знал, что такой меткий. Вот жаль, нет в живых Кара-Георгия — сделал бы он тебя воеводой! Да где там, подох он на крюке в Белграде!

— Не печалься о Кара-Георгии, высунь-ка лучше нос из-за своего плетня, если не трусишь. Отправлю тебя без носа к твоей зазнобе в Ужице.

Так переругивались они целыми часами. Особенно старался не остаться в долгу паренек из Ариля. И за эту свою страсть поругаться с турками он заплатил головой.

На третий день прибыл из Ужице жандармский начальник с двумя стражниками. Приехал с ними и прославленный стрелок, некий Даиджич — турок из Рогатицы, молодой и хмурый верзила. Его спрятали за одним из заслонов, а немного подальше устроились двое ужичан и давай задирать юношу из Ариля, на все лады понося его родных, перечисляя всех по именам. Юноша в ответ бешено ругал турок, припав к маленькому ожошку, забранному железной решеткой. А Даиджич из своего укрытия тем временем караулил его, пока не взял на мушку. Пуля пролетела между прутьями решетки, куда бы, кажется, и пчела не пролезла, и разворотила юноше правую половину черепа, так что мозг вывалился наружу. Стоян, защищавший башню с другой стороны, бросился к нему. Он только перекрестился над умирающим и тут же принялся свистеть и осыпать бранью турок, чтобы они не поняли, что товарищ его погиб. Но те догадались и уже ликовали:

- Сдавайся, Стоян! Погибнешь без толку!
- Сдавайся, готов твой дружок!
- Куда же он делся? Что не воркует больше?

В рожице турки целуются с Даиджичем, похлопывают его по плечу. А тот горделиво рассказывает среди них, полный достоинства, словно памятник себе воздвиг. И ружье его еще дымится.

Обрадовавшись успеху, турки решили вечером ударить на замок с двух сторон и захватить Стояна живым или мертвым. Но в тот же самый день к ним пришел Зулфо, почтенный турок из нижнего Велетова. Он посоветовал жандармам не губить людей напрасно и не атаковать замок, потому что Стоян есть Стоян и дешево свою голову не отдаст. Но, сказал он, в Велетове у Стояна есть близкий родственник, дядюшка Милое, одинокий старик, который слывет среди крестьян самым мирным и самым разумным человеком. Стоян всегда его почитал и слушался больше, чем отца родного. Нужно привести этого Милое и заставить его уговорить Стояна сдаться. Можно уверить старика, что Стояну не сделают ничего плохого, а потом сдержать свое слово так же, как это делал сам Стоян в прошлые годы, справляясь с ужичкими турками.

— Я вам говорю: как ему дядюшка Милое скажет, так он и сделает.

Жандармского начальника уже начала раздражать эта маленькая война против одного-единственного гайдука;

были у него и личные причины не затягивать дело на границе, а как можно скорее вернуться в Ужице, и он согласился с доводами Зулфо, и, желая как-то затушевать то, что он просто-напросто вступает в переговоры с преступником, жандарм громко прикрикнул на тех, кто отпирался за стариком:

— Тотчас же приведите мне эту тварь!

До Велетова было рукой подать, и стражники вскоре оказались возле дома дядюшки Милое. Сначала старик всячески отпирался и отнекивался. Говорил, что он уже на ладан дышит, что Стоян и раньше, когда был подданным султана, не слушал ничьих советов, а где уж теперь его уговорить, когда он стал повстанцем и обогрил руки турецкой кровью.

— Я этих дел не знаю,— говорил старик, прикидываясь совсем дряхлым и слабым,— меня уже отпевать пора, а не на гайдуков водить. Прошу вас, не впутывайте вы меня, дайте умереть спокойно там, где я родился.

Но ничего не помогало. С жалобными стонами, словно он был очень болен, Милое собрался и поплелся за ними. Шел он тяжело и никак не мог попасть в ногу со стражниками. По дороге несколько раз останавливался, просил отпустить. Но когда его начали бить, втянул голову в плечи и перестал жаловаться и сопротивляться. Он только прерывисто и сипло дышал, будто нарочно присвистывая, и, еле попевая, семенил за стражниками как-то по-детски, вприпрыжку.

Не прошло и получаса, как они пришли в Обарак. Вокруг замка все было тихо. Укрывшись в сливовом саду, некоторые турки спали, другие лежали, ели, курили. Дядюшку Милое заперли в сарай. Тут он и сидел в ожидании начальника, притворяясь, что дремлет, и чутко прислушивался к каждому шороху. Вскоре подошли двое ужичан и уселись на траву, прислонясь к ветхой стенке сарая. Не подозревая, что там заперт дядюшка Милое, они громко обсуждали, какая кара ожидает Стояна, если обман удастся и его убедят сдать. Они вспоминали жестокости самого Стояна по отношению к ужичским туркам и заранее предвкушали мучения, которыми теперь отомстят гайдуку.

А дядюшка Милое лежал неподвижно, зажмурив глаза и поджав колени к самой груди, как спят уставшие старые крестьяне. Теперь ему стало ясно, зачем его привели и что от него хотят. Он старался не пропустить ни едино-

го слова, и перед ним вставали отчетливые картины тех унижений и пыток, каким подвергнут Стояна турки, если захватят его живым. Порой ему самому казалось, что он спит и видит страшный и вещей сон, который завтра должен исполниться. Так он лежал и прислушивался, страдая от душевного возбуждения и своей полной беспомощности.

Мысли стремительно проносились в голове дядюшки Милое. Быстро рождались и тут же умирали всевозможные планы. Все у старика пропало, умерло, сгорело в несколько последних лет. И этого Стояна, которого прежде он любил больше всех своих племянников, старик, по сути дела, давно уже похоронил и оплакал. Но теперь самому обмануть его, ложными обещаниями убедить сдаться туркам, которые будут издеваться над ним и мучить его, — такой поистине чудовищный замысел слишком тяжелое испытание для его слабой и старой головы. О такой беде он не мог и думать, сделать так он считал последней низостью. А его принуждают к этому. От тяжких мыслей, от мучительного сознания своего бессилия у него на лбу крупными каплями выступил пот и смочил седые волосы, выбившиеся из-под шапки. Но тут в сарай вошел жандарм с Зулфо и одним из стражников.

Дядюшка Милое дал им вдоволь накричаться, притворяясь спящим, а потом вдруг вскочил, растерянный и испуганный, словно вдруг пробудился от глубокого сна. Опустив голову, он стоял перед жандармами и слушал Зулфо, который подробно объяснял, что от него требуется. Он должен выйти из сада, залезть на серый камень, чтобы его хорошо было видно из замка, и оттуда обратиться к Стояну, советуя ему поскорее сдаться, а иначе турки убьют не только его, дядюшку Милое, но и жену и детей самого Стояна и сожгут все Велетово. Он должен был заклинать племянника тем, что для него всего дороже, и уговаривать его поверить туркам... Все это следовало кричать Стояну, пока тот не ответит и не согласится.

— Так нужно, Милое! Тогда окончится бунт, все несчастные, и стар и мал, что остались в Велетове, не погибнут, а твой Стоян живым-здоровым домой вернется.

Последние слова Зулфо сказал как-то глухо и неуверенно. Старик слушал не шевелясь, явно погруженный в свои мысли. Зулфо замолчал, и тогда Милое снова начал умолять их, но уже вяло и без особой надежды в голосе:

— Господи, не гожусь я для такого дела. Не сумею, да и не послушает он меня, такого...

И правда, он был таким жалким: весь съезжился, ноги подкашиваются, на лице, заросшем седой бородой, еле заметен рот, еле видны глаза под седыми лохматыми бровями, да еще улыбается робкой молящей улыбкой.

Нетерпеливым движением жандарм оборвал причитания старика и приказал вести его.

— Эх, э-эх! — не переставал вздыхать старик.

Стражники схватили Милое и потащили через сад. Дойдя до последнего заслона, они вытолкнули его вперед и велели идти прямо к башне, взобраться на камень и кричать то, что ему было велено.

Теперь он шел по открытому пространству, разделявшему турок и осужденного гайдука. В траве валялись брошенные турками лестницы, по которым прошлой ночью они тщетно пытались подняться к окну замка. Милое обошел их и продолжал спокойно идти дальше осторожными, маленькими шажками. В доме было тихо. Дойдя до большого камня, лежавшего среди пустыря, пагах в тридцати от дома, старик опасливо огляделся и, бросив быстрый и испуганный, как у зайца, взгляд в ту сторону, где прятались турки, повернулся к замку и начал разглядывать высоко прорезанные окна. Он все больше горбился. Опершись ладонями о колени, почти присел на корточки. Вокруг стояла глухая тишина знойного дня. Наконец он негромко, отрывисто позвал:

— Стоян!

Откашлявшись, крикнул громче:

— Эй-эй, Стоян!

Трижды звал он его плаксивым старческим голосом. Потом помолчал немного, словно уверяя себя в том, что гайдук узнал его по голосу и, укрывшись, смотрит на него и слушает. Тогда старик вдруг снял руки с колен и вытянул шею. Волосы на его голове встали дыбом, словно живые; заколыхались складки одежды. Он сложил руки рупором, приложил ко рту и крикнул уже совсем другим голосом:

— Не сдавайся живым, Стоян, не сдавайся ни за что!

Среди турок, которые из-за деревьев и заслонов внимательно следили за стариком, выжидая, что он скажет и как ответит гайдук, наступило минутное замешательство. Каждый как бы спрашивал самого себя, так ли он расслышал, и, не веря собственным ушам, пытался про-

честь ответ на лице соседа. А на всех лицах было одинаковое недоумение. Старик же повторял свой наказ:

— Слушай меня, Стоян, не попадайся живым в руки туркам. Верь моему слову. Я знаю, что они тебе готовят.

Среди турок все еще растерянность и тишина. В чувство их привел лишь охрипший от бешенства голос жандарма:

— Пали! Стреляй!

Теперь все вдруг подхватили этот резкий, злобный приказ и один за другим закричали:

— Стреляй! Стреляй!

Все кричали, но еще никто не выстрелил, так как не был к этому готов. А внизу, на пустыре, старик в это время все твердил и твердил гайдуку, чтоб тот не сдавался живым. Но теперь среди вражеских криков его голос был еле слышен:

— Не сдавай...

Раздался первый выстрел, он заглушил слова, по пуля пролетела мимо. Сразил старика второй выстрел. Дядюшка Милое как-то странно согнулся, мягко, словно лист, упал на землю и скрылся в траве за тем серым камнем, на котором только что стоял.

Турки сделали еще несколько выстрелов в его сторону. Из замка дважды без перерыва ответил Стоян (вероятно, выстрелил сначала из своего ружья и затем сразу же из ружья арильца). Он мстил за дядюшку Милое. И все смолкло.

В хибарке жандарм не может прийти в себя от ярости. Стиснув зубы, он молчит и ни на кого не смотрит, но видно, что внутри у него все кипит. Растерявшийся, смущенный Зулфо готов провалиться сквозь землю, но, так как это невозможно, он пристаёт ко всем и пытается объяснить, что его намерение было и хорошим и дельным. Никто его не слушает, каждый хочет казаться умнее неудачника и угодить начальству. И Зулфо с горя разговаривает сам с собой, впадая в ярость при мысли о том, что сделал с ним дядюшка Милое:

— Э-э, люди! Я говорил, чтобы не тянуть зря... думал, так-то будет лучше... Да разве что сделаешь с этой собачьей породой. Э-э!

— Ну, что было, то было! Чужим умом не живи — обожжешься,— говорит жандарм, обрывая причитания Зулфо, встает решительно, как человек, умеющий пересилить свой гнев, и отдает распоряжение приготовить

лестницы и два воза сена, чтобы с наступлением темноты снова ударить по замку и покончить наконец с этим гайдуком.

А тем временем в воздухе все больше парит, и откуда-то издалека уже доносятся глухие раскаты грома. Темные легкие облачка со стороны Гостиля растут, окутывают окрестные горы, становясь все чернее и тяжелее. Солнце скрывается раньше времени, задолго до захода. И вот вдруг стало совсем темно, и сквозь палящий зной и духоту прорвался, словно из преисподней, резкий холодный ветер. А потом, как это часто бывает в тех краях, хлынул проливной дождь с громом и молнией. Ветер стих, молнии угасли, но дождь не прекратился, а стал еще сильнее, не стихал ни на минуту и заволок все окрестности мраком и сырым туманом. Ливень погасил костры, а потоки воды подхватили и унесли лестницы. Турки забились в сарай. Никто не сменил часовых у ворот замка и не интересовался ими. Казалось, всем было суждено погибнуть в этом потоке. Жандармский начальник, подавленный, сидел в лачужке, которая сотрясалась и скрипела. Крыша протекала, вода просачивалась под плетеные стенки. Вокруг прокопали канаву, а над жандармом натянули одеяло.

Турки попрятались и умолки, словно забыли, зачем пришли в этот Обарак. Так продолжалось до глубокой ночи. Наконец дождь перестал, буря улеглась, потянулись долгие часы непроглядного ночного мрака без звезд и месяца, наполненного гулом невидимых потоков. Об атаке замка не могло быть и речи. Да начальник уже и не сомневался, что гайдук сбежал.

Утром взошло из тумана солнце и осветило безоблачное, ясное, словно умытое небо. Над лужайками курились густые белые облачка пара и подымались вверх, как дым. Часовые от обоих ворот замка еще до рассвета припелись в лачужку и спали как убитые. Начальник не стал их будить. Он был уверен, что Стоян воспользовался грозой и убежал, никем не замеченный. Чтобы убедиться в этом, он приказал двинуться на башню сразу с четырех сторон и, таким образом, вызвать огонь гайдука, если тот еще там. Скрываясь за мокрыми заслонами (буря размыла оба стога сена), стражники начали медленно приближаться к башне, в которой по-прежнему все было тихо. Ворвавшись в замок, они обнаружили там только труп юноши из Ариля. Стояна и след простыл.

Тело дядюшки Милое нашли в траве и грязи, прибитое водой к самому замку. У обоих трупов отрубили головы. И после того как безуспешно обыскали весь дом сверху донизу, начальник приказал возвращаться.

В Ужице начальник откровенно признался мутеселиму в своей неудаче. Они долго совещались. Мутеселим приказал просолить обе головы, обработать их как следует, а затем, завернутые в папоротник, они были положены в мешок и отправлены в Белград. В письме, сопровождавшем головы, мутеселим извещал о том, что бунт на границе полностью усмирен, а в доказательство он посылает «голову старого гайдука Стояна-велетовца, закоренелого преступника, а также голову его товарища и помощника в злых и бесчестных делах».

Так старик Милое заменил Стояна, мутеселим провел своих начальников и так произошло то, чего уж никто не мог ожидать: безобидный дядюшка Милое после семидесяти двух лет мирной крестьянской жизни погиб как гайдук. И на белградской крепостной стене рядом с темной и посиневшей головой юноши из Ариля оказалась и его голова, чистая, светлая, сверкающая серебряной белизной седин.

ПРОКЛЯТЫЙ ДВОР

Зима. Снегу намело до самого порога, он изменил обычный, естественный облик вещей и придал всему один цвет и одну форму. В снегу утонуло и маленькое кладбище — лишь кое-где торчат из сугробов верхушки высоких крестов. На снежной пелене едва видна узкая тропинка, ее протоптали вчера на похоронах ф́ра Петара. В конце стезька расширяется в неправильный круг, и снег там розовый от намокшей глины. Издали это место похоже на свежую рану среди однообразной белизны, которая тянется куда-то в бесконечность и незаметно исчезает, сливаясь на горизонте с серой пустыней неба, по-прежнему затянутого снеговыми тучами.

Все это видно из окна кельи ф́ра Петара. Белизна внешнего мира смешивается с дремотным полумраком комнаты, а тишина хорошо сочетается с тихим, размеренным тиканьем множества часов, которые все еще идут, тогда как другие, незаведенные, уже остановились. Тишину нарушает лишь приглушенное препирательство двух монахов, которые, сидя в соседней, пустой келье, составляют опись вещей, оставшихся после ф́ра Петара.

Старый монах Мийо Йосич бормочет что-то неразборчивое. Его ворчание — отголосок былой распри с покойным ф́ра Петаром, «знаменитым часовщиком, оружейником и механиком», который со страстью собирал всякие инструменты, расходуя на то монастырские деньги, и ревливо охранял свои сокровища от посторонних. Потом старик громко попрекает молодого ф́ра Растислава — тот уже несколько раз предлагал протопить печь и не мерзнуть в холодной комнате.

— Одно горе с этой молодежью! Все вы неженки, забьете, ровно барышни. Теплую компатку тебе подавай! Мало мы в эту зиму топили и дров сожгли!

Тут старик, вероятно, спохватился, что тем самым он как бы укоряет и покойника, над которым еще земля не успела слежаться, и замолчал, но почти сразу же снова разворчался:

— Всегда я тебе говорил: не Рагислав ты, а Мотай-слав. Даже имя твое не обещает ничего хорошего. Пока монахов звали попросту — ффра Марко, ффра Мийо, ффра Иво, — добрые были времена, а нынче вы берете себе имена из романов, что ли, всякие там ффра Рагиславы, ффра Войславы, ффра Бранимиры. Вот и получается...

Молодой монах пропускает мимо ушей это бряжание и укоры, — ведь он слышал их уже сотню раз и должен будет слушать еще бог знает сколько. Работа продолжается.

У людей, описывающих имущество усопшего, который еще дня два тому назад был здесь, такой же живой, как они сейчас, особенный вид. Они — представители победоносной жизни, которая идет своим чередом, сообразуясь со своими нуждами. Однако это отнюдь не доблестные победители. Вся их заслуга в том, что они пережили покойника. И если взглянуть со стороны, то они чем-то напоминают грабителей, уверенных в своей безнаказанности и знающих, что владелец не может вернуться и застать их на месте преступления. Может быть, это и не совсем точно, но что-то в этом роде.

— Пиши дальше, — слышится грубый голос старого монаха, — пиши: «Одни клещи большие. Одни».

И так по порядку, инструмент за инструментом, и в конце каждой фразы записанный предмет глухо брякает о другие инструменты, набросанные кучей на небольшом дубовом верстаке покойного ффра Петара.

Стоит посмотреть и послушать все это, как мысли невольно переходят от жизни к смерти — от тех, кто сейчас что-то пересчитывает и прибирает к рукам, — к тому, кто уже потерял все и кому больше ничего не надо, потому что не стало и его самого.

Еще три дня тому назад на широкой кровати, где нынче нет ни тюфяка, ни простыни и остались одни голые доски, лежал или сидел ффра Петар и без усталости говорил. И теперь, глядя на засыпанную снегом могилу, юноша вспоминает его рассказы и уже третий или четвертый раз порывается завести разговор о том, как

прекрасно покойный умел рассказывать. Но об этом нельзя говорить.

В последние недели ф́ра Петар много и часто вспоминал о своей жизни в Стамбуле. Это было очень давно. По каким-то своим трудным и запутанным делам монахи послали в Стамбул ф́ра Тадию Остоича, экс-иеромонаха и экс-настоятеля («Ведь он состоял из разных «эксов»), человека медлительного и полного достоинства, влюбленного в эту свою медлительность и достоинство. Он говорил по-турецки (тоже медлительно и с достоинством), но читать и писать не умел. Поэтому в сопровождающие ему дали ф́ра Петара, человека сведущего в турецкой грамоте.

Они пробыли в Стамбуле около года, истратили все взятые с собой деньги, задолжали, но ничего не сделали. И все из-за несчастья, которое постигло ни сном ни духом не виноватого ф́ра Петара в результате глупого стечения обстоятельств в то смутное время, когда власти перестают отличать правого от виноватого.

Случилось так, что вскоре после их приезда полиция перехватила какое-то письмо, адресованное австрийскому церковному представителю в Стамбуле. Это было обширное донесение о положении церкви в Албании, о гонениях на священников и верующих. Человеку, доставившему письмо, удалось бежать. Так как в Стамбуле в то время не оказалось никаких других монахов из подвластных краев, турецкая полиция, руководствуясь своей логикой, арестовала ф́ра Петара. Два месяца он просидел в тюрьме «под следствием», хотя за это время его даже и не допросили по-настоящему.

О двух месяцах, проведенных в стамбульской следственной тюрьме, ф́ра Петар рассказывал больше и интереснее, чем обо всем прочем. Рассказывал он не по порядку, отрывочно, как говорят тяжелобольные, которые стараются скрыть от собеседника и свои физические страдания, и постоянные мысли о близкой смерти. Отрывки не всегда складывались в связное повествование. Часто, продолжая начатый рассказ, старик повторял то, что уже говорил, или забежал далеко вперед, пропуская немалый отрезок времени. Он говорил обо всем так, словно время для него уже потеряло всякий смысл, а поэтому и в чужой жизни он не придает ему и его обычному ходу никакого значения. Его рассказ прерывался, возобновлялся, повторялся, делал скачки вперед, возвращался назад, а

закончившись, начинал обрастать новыми, более подробными толкованиями, причем все это без учета места, времени и действительного, раз навсегда установленного течения событий.

Конечно, при таком способе повествования оставалось много пропусков и неясностей, а юноше неудобно было прерывать рассказ или потом задавать вопросы. Самое лучшее — дать человеку говорить свободно.

I

Это целый городок, населенный арестантами и охраной, который жители Ближнего Востока и моряки всех национальностей называют «Deposito»¹, хотя больше он известен под именем «Проклятый двор», как окрестили его простые люди и все те, кто так или иначе с ним связан. Сюда приводят и действительно виновных, и тех, кого подозревают в преступлении — всех, кого полиция ежедневно арестовывает и задерживает в большом многолюдном городе, где в самом деле преступлений немало и притом самых различных, а подозрения возникают ежедневно и заходят далеко вширь и вглубь. Стамбульская полиция придерживается освященного временем принципа: легче выпустить человека из Проклятого двора, чем гоняться за преступником по всяким трупобам. Медленно и неторопливо производится здесь своеобразная сортировка арестованных. Одни состоят под следствием, другие отбывают краткосрочное наказание или, если их невиновность становится очевидной, выходят на волю, третьих отправляют на каторгу в отдаленные края. В то же время это огромный резервуар, из которого полиция в изобилии черпает для своих нужд лжесвидетелей, подставных лиц, провокаторов. Словом, Двор непрерывно просеивает пеструю толпу своих обитателей и никогда не пустует, так как убыль неизменно пополняется.

Тут есть и мелкие и крупные преступники, начиная от мальчонки, стащившего с лотка гроздь винограда или две-три смоквы, и кончая известными авантюристами и опасными грабителями, есть здесь и невинные и оклеветанные, слабоумные и сбившиеся с пути или взятые по ошибке, — люди из Стамбула и со всей страны. Большинство арестованных составляют местные жители,

¹ Склад (итал.).

подонки из подонков, что спуют по стамбульским пристаням и площадям или ютятся в притонах на окраинах города: взломщики, карманники, профессиональные картежники, крупные мошенники и вымогатели; голытьба, порующая ради куска хлеба; пьяницы, веселый народ, забывающий платить за вино, или трактирные дебоширы и скандалисты; бледные, жалкие горемыки, которые, надеясь в наркотиках найти то, чего не дала им жизнь, употребляют гашиш, курят или жуют опиум и не останавливаются ни перед чем, чтобы раздобыть отраву, без которой не могут жить; непоправимо порочные старики и непоправимо загубленные пороком юноши; люди со всякими извращениями, которых они не скрывают и не приукрашивают, а зачастую выставляют напоказ, когда же скрывают — скрыть не могут, так как порок сквозит в любом их поступке.

Есть здесь и убийцы-рецидивисты, и такие, что по несколько раз убежали с каторги, и поэтому уже сейчас, еще до суда и приговора, они закованы в цепи и вызывающе гремят ими, яростно понося кандалы и тех, кто их выдумал.

Сюда доставляют людей, следующих на каторгу, из западных областей, здесь окончательно решается их судьба: или с помощью стамбульских связей и защитников они выходят на свободу и возвращаются восвояси, или же их переправляют в дальние места заключения — в Малую Азию или Африку. Так называемые пересыльные — это обычно уже немолодые, уважаемые у себя на родине люди, представители различных вероисповеданий или политических группировок, вовлеченные в какие-либо интриги и конфликты где-то там, в родном краю, и обвиненные властями или оклеветанные своими противниками как политические преступники и бунтовщики. Они привозят с собой целые сундуки и мешки, набитые одеждой и всяческим скарбом, и с трудом обороняются от стамбульского жулья, с которым вынуждены сидеть в одной камере. Вечно озабоченные и замкнутые, они, час сколько это возможно, держатся особняком.

Пятнадцать расположенных на склоне горы одноэтажных и двухэтажных зданий, которые строились и достраивались в течение многих лет и связаны между собой высокой стеной, окружают огромный, вытянутый в длину, неправильной формы двор. Только перед домом, где размещены охрана и казначейство, двор вымощен; вся осталь-

ная его часть — серая и твердая, утрамбованная земля, сквозь которую не может пробиться ни единая травинка, так как с утра до вечера здесь топчутся арестанты. А два-три убогих худосочных деревца посреди двора с изрезанной и ободранной корой терпят муку мученическую и не чувствуют смены времен года. Этот спускающийся уступами по склону горы обширный двор днем похож на ярмарку — на пестрое сборище племен и народов. Ночью толпу загопляют в камеры — по пятнадцать, двадцать, а то и по тридцать человек. И там продолжается бурная и шумная жизнь. Спокойные ночи здесь редки.

Закоренелые стамбульские подонки, которые не боятся стражников и плюют на все и вся, среди ночи распевают бесстыдные песни и выкрикивают срамные предложения своим возлюбленным в соседних камерах. Невидимые в темноте люди ссорятся из-за места на нарах, вызывают о помощи обкраденные. Одни во сне скрипят зубами и стонут, другие задыхаются и хрипят, словно их душат. Огромные камеры в эти часы живут только звуками, как джунгли ночью. Слышатся то возгласы, то вздохи, то что-то вроде речитатива — несколько протяжных слов, вырванных из песни, тоскливая и бесплодная попытка выразить чувственные желания, то какие-то непонятные громкие, гортанные звуки.

А со двора тоже доносится шум: старинные двустворчатые ворота то и дело открываются и закрываются со скрипом и грохотом, принимая или выбрасывая вон людей — поодиночке или целыми партиями. Ночью осужденных отправляли в другие тюрьмы или на каторгу. А часто после очередной драки в порту пригоняют растерзанных, окровавленных людей, с пеной у рта, еще не остывших от ярости, пьяного возбуждения и драки. Они рычат друг на друга, угрожают, норовят, обманув бдительность стражников, изловчиться и ударить противника еще раз. А когда их разъединят и рассадят по камерам, они долго еще не могут успокоиться, и через стены летят страшные угрозы и брань.

С наступлением дня здоровому и чистому душой человеку становится немного легче. Однако самую малость. Бесь этот люд высыпает из вонючих камер на огромный двор, и тут, на солнцепеке, всякий занимается своим делом: ищут вшей, перевязывают раны или продолжают грубо шутить, вести бесконечные злобные ссоры и сводить грязные счета. Образуются тихие и шумные

компании. У каждой такой компании свой центр. Иногда это кучка картежников или зубоскалов, иногда один-единственный человек, тихо напевающий смешные сальные песенки, иногда простодушный болтун или законченный мапьяк, над которым люди, собравшиеся вокруг, беззастенчиво и грубо издеваются.

Фра Петар подходит к одной компании и, держась в стороне, слушает. («Счастье, что на мне мирское платье и никто не догадывается, кто я такой!»)

Вблизи от дома, где была его камера, в холодке, каждое утро жиденская толпа собирается вокруг Заима. Это маленький сутулый человечек, очень робкий на вид. Он рассказывает тихо, но уверенно, с воодушевлением — и только о себе. Тема у него всегда одна, но он так преувеличивает свои приключения, что для того, чтоб пережить их, не хватило бы и ста пятидесяти лет жизни.

Солнце еще только показалось, а беседа уже в разгаре.

— И насмотрелся же ты всего на свете, Заим-ага!

— Насмотрелся, да что проку, когда я так пострадал и когда злые люди готовы со света сжить порядочного человека. А что правда, то правда, побывал я во многих местах, и всюду мне было хорошо, люди меня уважали и всегда зазывали к себе, да и я знал, как следует себя вести, к каждому умел по-хорошему подойти.

Он молча смотрит прямо перед собой и, словно читая страничку, написанную для памяти, начинает говорить, продолжая с того места, где остановился.

— В Адапазаре я бросил якорь и женился. Хорошая и умная попалась мне жена. Люди ко мне относились с полным уважением, а моя красильня была самая лучшая в городе.

— Что же ты там не остался?

— Эх, что, что? Черт меня надоумил взять еще одну жену. И с того дня все пошло шиворот-навыворот. Правда, поначалу было мне с ней неплохо. Должен в этом сознаться. Но и нрав же у нее был! Мало того что она сразу поссорила меня с первой женой и превратила мой дом в сущий ад, она еще пошла шляться по городу — в одной руке солома, в другой огонь. Куда ни сунется, везде разжигает вражду и ссоры. Право, она могла бы, как говорится, поссорить два глаза на одном лице. Братья моей первой жены стали меня гнать. Люди невзлюбили. Увидел я, что теряю уважение и клиентов — да, не ровен час, и головы лишусь, если дальше так пойдет,

тихонько распродал за бесценок все товары, весь инструмент и опять пустился по свету.

— Э-эх, братец! Беда! — промолвил кто-то сочувственно.

Заим печально покачал головой, показывая, что только одному ему ведомы размеры пережитого бедствия.

— Да чего же ты, дурак, не прогнал эту свою змею подколодную? Надо же! Сам дал тягу от такого богатства да благодати, — глухим голосом заметил один из слушателей — атлетически сложенный мужчина.

— «Прогнал, прогнал!» Не так-то легко это. Знал бы ты, что это была за женщина. Видишь, что пропадаешь, а оторваться нет сил.

— Да чего там! Будь у нее хоть само солнце промеж ног и месяц на брюхе, прогнал бы я ее безо всякого.

Сказав это, атлет раздраженно машет рукой и выходит из круга.

— Ну что ты завел: женщина, женщина! Задуешь свечу — все они одинаковы.

А маленький человечек продолжает свой рассказ о том, как дошел он до самого Трапезунда и женился там на богатой вдове.

— Берегла она меня как зеницу ока. Четыре года как сыр в масле катался. Но, на мое несчастье, разболелась жена и умерла, а я от горя не мог больше оставаться на старом месте, снова все пораспродал и опять — куда глаза глядят. Везде я работал, и везде меня любили и ценили за мои золотые руки. Дошел до Салоник. И тут женился...

— Опять!

— Я за свою жизнь четыре ремесла изучил и одиннадцать раз женился.

— Ого-го! И что потом? — спрашивает кто-то из слушателей.

— Что потом? Обманули меня жида, ее родственники. Заплати они мне нынче хоть половину того, что должны, я бы стал богатым человеком. В два счета откупился бы от клеветы и вышел отсюда.

А «клевета» состоит в том, что его обвиняют в распространении фальшивых денег. И что всего хуже — не впервые привлекается он за подобные дела. Это у него как болезнь. Стоит Заиму выпутаться или отсидеть срок, он тотчас принимается за прежнее или пускается в новую аферу, а так как он очень неловок, то сразу же слова

попадаетя. При этом он не перестает мечтать — и врать — о своей счастливой женитьбе и «четырех славных ремеслах». Сейчас, если преступление Заима будет доказано, его ждет тяжелое наказание, он трусит и, обманывая сам себя, упирается ложью, полуправдой и полуправдой, которые по целым дням плетет досужим людям, всегда готовым над кем-нибудь посмеяться. Когда слушатели отходят от него, он слоняется по двору, словно неприкаянный, и подходит к другой группе. С унылым и постным выражением лица слушает он шутки, над которыми арестанты громко, без удержу хохочут. Слушает все, о чем говорят, и долго, смиренно, терпеливо ждет удобного случая вставить слово. А как только ему кажется, что такой случай представился, тут же вклинивается в разговор. Упомянут какую-нибудь страну, например, Египет,— у Заима тут же готов рассказ:

— Была у меня жена-египтянка. Старше меня, но уж так холила, мать родная, кажись, не могла бы лучше! Два года счастливо жили. И люди уважали меня. Но что поделаешь? Как-то раз...

И снова следует рассказ о выдуманной стране и семейной распре. Одни слушают, перебивая его ироническими репликами, а другие сразу отходят, махнув рукой и не падая несчастного Заима:

— Это у него восемнадцатая.

— До свиданья! Скажите, когда кончит.

Но рассказ маньяка и закоренелого фальшивомонетчика Заима, мечтающего о спокойной жизни с добропорядочной женой, вскоре заглушают крики соседней компании. Там вспыхивает ссора и уже пошли в ход страшные ругательства, каких не услышишь за стенами Двора.

Само местоположение Проклятого двора будто нарочно рассчитано на то, чтобы увеличивать муки и страдания заключенных. (Фра Петар постоянно возвращался к этой мысли, желая возможно точнее описать Двор.) Отсюда не видно ни города, ни порта, ни заброшенного арсенала на берегу,— только небо, огромное и безжалостное в своей красоте, и вдали, по другую сторону невидимого отсюда моря, краешек зеленого азиатского берега, игла неизвестной мечети или верхушка исполинского кипариса за стеной. Все непонятное, безымянное, чужое. Первое впечатление, что ты попал на какой-то дьявольский

остров, лишился всего, что раньше составляло твою жизнь, и самой надежды увидеть это снова. А заключенные стамбульцы, помимо всех других мытарств, терзаются еще и оттого, что не видят и не слышат родного города: казалось бы, никуда и не уезжали, а словно отделены от него долгими днями пути. Эта мнимая отдаленность мучит их не меньше, чем настоящая. Поэтому Двор быстро и незаметно скручивает человека и подчиняет его себе так, что тот постепенно как бы растворяется в нем. Забываешь то, что было, и все меньше думаешь о том, что будет; прошлое и будущее как-то сливаются, превращаясь в одно-единственное настоящее — в необычную и страшную жизнь Проклятого двора.

А когда небо затягивают облака и начинает дуть теплый и нездоровый южный ветер, несущий запах гниющих морских водорослей, городских нечистот и зловоние невидимого порта, жизнь в камерах и во дворе становится совсем невыносимой. Тяжелый смрад идет не только от пристаней, но, кажется, исходит от всех построек и всех предметов, точно вся земля, стиснутая Проклятым двором, медленно разлагается и испускает омерзительную вонь, которая отравляет человека, так что кусок во рту становится горьким, а жизнь — постылой. Дует ветер, и будто невидимая болезнь поражает всех вокруг. Приходят в волнение даже спокойные люди и начинают с непонятной раздражительностью метаться и искать ссоры. Сами себе в тягость, заключенные пристают к товарищам по несчастью или к охранникам, которые в такие дни тоже возбуждены и озлоблены на все и вся. Нервы натянуты до предела и часто сдают, приводя к опасным стычкам и безумным выходкам. Вспыхивают грубые, беспричинные ссоры, арестанты выкидывают номера, необычные даже для этого проклятого места. И в то время, как одни неистовствуют и готовы броситься на первого встречного, другие — люди старые и замкнутые — часами сидят на корточках где-нибудь в сторонке и объясняются со своими невидимыми противниками неслышным шепотом или одной мимикой, едва приметно двигая головой и руками. Похожи они на призраков.

В такие часы всеобщего возбуждения безумие, словно зараза или пламя пожара, перекидывается из камеры в камеру, от человека к человеку, переходит с людей на животных и неодушевленные предметы. Волнение охватывает собак и кошек. Стремительно снуют от стены к

стене огромные крысы. Люди хлопают дверями и стучат ложками о жестяные миски. Вещи валяются из рук. На мгновение все затихает в болезненном изнеможении. И вдруг с наступлением темноты в какой-нибудь камере раздается такой жуткий крик, что весь Двор содрогается и вторит ему эхом. Обычно к этому крику присоединяются вопли из других камер. И тогда кажется, будто все, у кого только есть голос, воют и кричат в тщетной надежде, что крик, достигнув своего предела, разнесет, разобьет Проклятый двор вдребезги и каким-то образом покончит с ним раз и навсегда.

В такие часы Проклятый двор стонет и оглушительно грохочет, точно огромная детская погремушка в руках великана, в которой люди на манер горошин пляшут, корчатся, ударяются о стенки и друг о друга.

Смотритель и его подручные хорошо знают действие этого опасного юго-восточного гнилого ветра и, насколько возможно, уклоняются от столкновений с заключенными, ибо тоже больны и раздражены; они тщательней охраняют ворота, усиливают караулы и ждут, когда южный ветер стихнет. По опыту они хорошо знают, что всякая попытка навести порядок в это время чревата осложнениями и заранее обречена на неудачу, так как осуществить ее некому, да и никто не стал бы слушаться. А когда здоровые северные ветры переборют юго-восточные, когда тучи рассеются, проглянут солнечные лучи и воздух очистится, арестанты толпами высыпят из камер, расползутся по двору и начнут греться на солнышке, шутить и смеяться, словно выздоравливающие или спасенные после кораблекрушения, и все, что произошло за два-три безумных дня, легко предастся забвению. Даже если кто и захочет, он ничего не сможет припомнить.

Смотритель этого странного и страшного заведения — Латиф-ага, прозванный Караджоз¹. Это прозвище дали ему давно, и оно стало его единственным именем, под ним он известен не только здесь, но и далеко за пределами Проклятого двора. Всем своим видом и характером он оправдывает это имя.

Его отец преподавал в каком-то военном заведении; человек тихий, книголюб и философ, он женился уже в зрелые годы и имел всего одного ребенка, мальчика. Сын рос живым имышленым, любил читать, а особенно лю-

¹ Гротескный персонаж турецкого театра теней.

бил музыку и всякие игры. До четырнадцати лет мальчик хорошо учился, и казалось, что он пойдет по стопам отца, но потом его живость вдруг начала оборачиваться беснованием, а сообразительность приняла дурное направление. Мальчик стал быстро меняться даже физически. Он раздался в ширину и неестественно располнел. Его умные карие глаза приобрели маслянистый блеск. Он бросил школу и связался с трактирными музыкантами, фокусниками, пьяницами, картежниками и наркоманами. Сам он не обладал ни ловкостью рук, ни истинной страстью к азартным играм или вину, но его влек к себе этот мир и все, что связано с ним, точно так же, как отталкивал мир устоявшихся привычек и обязанностей простых добропорядочных граждан.

Буйный и еще неискушенный юноша скоро оказался замешанным в темных делишках и дерзких налетах своей компании и вступил в конфликт с законом. И не единожды. Отец несколько раз вызволял его из тюрьмы благодаря своему авторитету и связям с влиятельными людьми, особенно с начальником стамбульской полиции, своим старым школьным товарищем. «Неужели мой сын взламывает двери, грабит торговцев и похищает девушек?» — в отчаянии спрашивал отец. Старый и опытный начальник отвечал ему спокойно и откровенно: «Грабит? Сам он не грабит, и купцов не обманывает, и девушек не похищает, ничего этого он сам не делает, но стоит где-либо случиться подобному происшествию, можешь быть уверен — он в нем замешан. А если мы так все оставим, он в конце концов и сам пойдет на преступление. Нужно, пока не поздно, искать какой-то выход». И начальник городской полиции нашел «выход», который он считал единственно возможным, а следовательно, наилучшим: взять юношу, пошедшего по дурному пути, к себе на службу. Как это нередко бывает, из молодого человека, уже занявшего свое место среди картежников и богатых шалопаев, получился ревностный стамбульский полицейский.

Правда, таким он стал не сразу. Несколько лет он метался в поисках своего места, а нашел его там, где меньше всего можно было ожидать, — в борьбе со своими же прежними друзьями. Он безжалостно преследовал в трущобах Стамбула бродяг, пьяниц, карманников, контрабандистов и разных неудачников и бездельников. Работал он со страстью, с необъяснимой ненавистью, но умело,

потому что прекрасно знал эту среду. Старые знакомства помогли ему расширить круг своей деятельности, ибо мелкие преступники, как правило, выдавали крупных. Данные о людях накапливались, осведомительная сеть росла и крепла. Незаурядное усердие и успехи привели его лет через десять на должность помощника смотрителя этой огромной тюрьмы. А когда старый смотритель умер от разрыва сердца, Латиф-ага оказался единственным достойным его преемником. С тех пор началось его владычество в Проклятом дворе. И длится оно вот уже двадцатый год.

Прежний смотритель, жестокий и многоопытный старик, придерживался крутого, классического способа управления. Главное, полагал он, чтобы мир порока и беззакония был по возможности более четко отграничен и надежно отгорожен от мира порядка и закона. Отдельный человек и его вина почти не интересовали коменданта. Многие годы он смотрел на Проклятый двор как на некий карантин, а на его обитателей как на опасных и тяжелых больных, которых при помощи различных мер — наказаний и страха, физической и моральной изоляции — надо держать как можно дальше от так называемых здоровых и честных людей, а во всем остальном предоставить их самим себе. Не позволять выбиться из своего круга, но и не трогать их без надобности, так как от этого ничего путного или разумного получиться не может.

Новый смотритель всем своим поведением и всеми своими поступками сразу же показал, что он будет действовать по-другому.

Вскоре после смерти отца Латиф продал большой и красивый отцовский дом в Новом квартале и купил огромный запущенный участок земли прямо над Проклятым двором. Окруженный кипарисами участок напоминал пустынный остров или старое кладбище. От Проклятого двора его отделяли глубокий тенистый овраг, где росли кипарисы, и замысловатая система разных ограждений и высоких стен. Здесь, на берегу моря, среди старой рощи Латиф построил себе прекрасный дом, обращенный фасадом в сторону, противоположную оврагу, и таким образом защищенный от южного ветра и зловоний арсенала и порта. Преимущество этого жилища заключалось в том, что оно было и далеко от Проклятого двора, и в то же время почти по соседству. По всему своему виду, по царившему в нем покою и чистоте это был совсем иной мир,

словно бы за тысячу миль от тюрьмы, и все же он был рядом с нею, его связывали с Проклятым двором невидимые нити. Пользуясь кратчайшими, только ему известными тропинками, Караджоз мог в любое время суток никем не замеченным пройти из своего дома прямо во Двор. (Поэтому никогда нельзя было с уверенностью сказать, здесь он или нет и откуда может появиться.) Смотритель этим часто пользовался. Он самолично следил и за арестантами и за охраной. Зная почти каждого заключенного, его прошлое и настоящее, он с полным основанием утверждал, что понимает, «чем дышит Двор». А если кого-либо и не знал в лицо, то хорошо чувствовал душу бродяги и преступника вообще и поэтому мог в любой момент подойти к нему и продолжить разговор о его преступлении или преступлении кого-либо другого. И точно так же, а может быть, и лучше, знал он каждого охранника, все его хорошие и плохие, явные и скрытые черты и склонности.

Во всяком случае, так он сам говорил и всегда этим хвастался. Таким образом, он оказался на всю жизнь тесно связанным с миром порока и преступления, который в юности покинул, и в то же время прочно отделенным от него своим положением, своими густыми садами и неприступными железными оградами и решетками.

С самого начала Караджоз начал «действовать изнутри». Этот необычный способ делал его хуже, страшнее и опасней его предшественников, но, в известном смысле, лучше и человечнее их. Бесконечное, неуловимое сплетение всех этих противоречивых качеств создавало его необычное отношение к Двору и тамошнему люду, который, словно неторопливая мутная река, протекал через Двор. Даже самые частые и проникательные гости Проклятого двора, его старожилы, не могли разобраться в сложной игре Караджоза, которая являлась его собственным изобретением и изобиловала неожиданными и смелыми поворотами и уловками, часто вступающими в противоречие с полицейскими приемами и правилами, а также с общепринятыми обычаями и навыками. Уже в первый год своей службы он получил прозвище Караджоз. И действительно, весь Двор, все связанное с ним и в нем происходящее представляло собой огромную сцену, на которой постоянно разыгрывались деяния Караджоза.

Рано располневший, волосатый и смуглый, он рано и постарел, во всяком случае внешне. Но его вид мог ввести

в заблуждение. Несмотря на свои сто килограммов, он, когда было нужно, становился подвижным и быстрым, как ласка, и его тяжелое рыхлое тело обладало в такие минуты бычьей силой. Вечно сонный и вялый, вечно с полузакрытыми глазами, Караджоз ни на мгновение не ослаблял внимания, а его беспокойная мысль работала с дьявольской изощренностью. На его темно-оливковой физиономии никто не видел улыбки, даже когда весь он сотрясался от неудержимого внутреннего смеха. Лоб его то покрывался морщинами, то разглаживался, лицо мгновенно преображалось, выражая попеременно крайнее отращение, страшную угрозу, а порой — глубокое понимание и искреннее участие. Особое искусство Караджоза составляла игра глаз. Левый глаз его обычно был почти закрыт, но сквозь полусомкнутые ресницы проскальзывал внимательный и острый, словно бритва, взгляд. А правый глаз был всегда широко раскрыт. Этот глаз жил самостоятельной жизнью и двигался словно прожектор; он мог почти целиком вылезти из глазницы и так же быстро уйти в нее. Он нападал, дразнил, сбивал с толку свою жертву, сковывал ее, проникал в самые сокровенные уголки ее мыслей, надежд и планов. Поэтому все лицо, уродливо косоглазое, напоминало то страшную, то смешную гротескную маску.

Говоря о Караджозе и перемывая ему косточки, арестанты особенно много и часто говорили про его глаза. Одни уверяли, что он левым глазом ничего не видит, другие — что он слеп как раз на правый, вытаращенный. За двадцать лет в тюрьме так и не пришли на этот счет к единому мнению, но все дрожали от его взгляда и всеми способами старались не попадаться зрителю на пути.

В самом Караджозе, его манере говорить и двигаться не было ничего от тяжеловесного высокомерия османских высших чиновников. В каждом отдельном случае, с каждым из заключенных он разыгрывал особую роль, не зная ни стыда, ни совести, не уважая ни себя, ни других. Он действовал всегда неожиданно, словно бы по наитию. В любое время дня и ночи он подходил к кому-либо из заключенных или к целой группе:

— Пхи, пхи, пхи, пхи-и-и!

Он умел произносить эти звуки на разной высоте и с разными интонациями, всякий раз по-новому, но всегда так, что в них отражалось одновременно и удивление и

презрение к собеседнику, к себе самому и к «делу», которое их связывало.

— Ну что? Ты все еще торчишь здесь? Пхи! А ну рассказывай, как было дело!

Так начинался разговор, дальнейшее течение которого никогда нельзя было предугадать. Иногда он выливался в длительный допрос с выяснением всех подробностей, с угрозами, которые зачастую оставались только угрозами, но в любую минуту могли стать и ужасной реальностью. Иногда разговор оборачивался упорными, страшными и нескончаемыми уговорами, а иногда — бездушным издевательством без цели и смысла.

Если измученный человек, припертый к стенке, желая хоть на минуту освободиться от натиска Караджоза, начинал клясться и сквозь искренние или наигранные слезы уверять в своей невинности, Караджоз мог вдруг хлопнуть себя по лбу и круто изменить поведение.

— Что ты говоришь? Значит, ты снова угодил ни за что ни про что? Эх, господи боже, и угораздило же тебя именно сейчас мне об этом сказать! Пхи, пхи, пхи-и-и! Признайся ты, что виноват, я, может, тебя тут же бы и выпустил, потому — виновных у нас здесь хоть отбавляй. Сплошь одни виноватые. Но надо же нам иметь хоть одного невинного! Нет, не могу я тебя отпустить. Не сознайся ты в своей невинности, глядишь, что-нибудь и устроили бы. А теперь вот сиди, пока я не найду другого невинного, тебе на смену. Сиди и помалкивай!

И Караджоз, обходя в сопровождении нескольких охранников Двор, продолжает спектакль уже для собственного удовольствия; не в силах остановиться, он кричит на весь Двор:

— Пусть мне никто не говорит: «Я невиновен». Что угодно, только не это. Здесь нет невинных. Зря сюда никто не попадет. Раз переступил порог Двора — значит, виноват. А если не сам, так мать, когда носила во чреве, подумала что-то плохое. Ясное дело, всякий кричит, что он не виноват, но за все годы, что я здесь, я еще ни разу не видел, чтобы кого-нибудь привели сюда без причины, без вины. Раз сюда попал, значит, преступник или хотя бы якшался с преступниками. Пхи! Я выпустил отсюда тьму людей и по приказу, и на свой страх и риск. Да, и все были виноваты. Здесь невинных нет. Конечно, виновные и преступники тысячами ходят на свободе и

никогда сюда не попадут, потому что если б все виновные попали сюда, наш Двор следовало бы протянуть от моря до моря. Я знаю людей — все виноваты, только не каждому на роду написано есть свой хлеб в тюрьме.

Мало-помалу этот монолог, произносимый на ходу, становится все более быстрым и горячим, пока не превращается в сумасшедший крик. Караджоз обрушивается на всех, кто заключен в стенах Двора и кто живет вне их. В голосе его вместе с ненавистью и отвращением к окружающему можно уловить и слезы сожаления о том, что все в мире устроено так, а не иначе.

А «невиновный» теперь может быть уверен, что придется ему сидеть еще недели, пока Караджоз удостоит его взгляда.

Бывает, что через некоторое время после этого случая придут гурьбой почтенные родственники какого-нибудь богатого юноши, который попал в дурную компанию и очутился за решеткой вместе со своими дружками. Родственники умоляют Караджоза отпустить молодого человека, потому что он невиновен. Караджоз вдруг замолчит, словно что-то припоминая, задумается, станет серьезным, закроет на мгновение оба глаза, так что лицо его сразу вытянется и изменит свое выражение, учтиво склонится к просителям и заговорит вкрадчивым голосом:

— А когда его арестовали, вы говорили, что он невиновен?

— Конечно, а как же, но...

— Э, вот тут вы дали маху. Пхи, пхи, пхи-и-и! Вот это неладно. Теперь-то ведь как раз забирают невиновных, а виновных отпускают. Таков уж новый порядок. И если вы сами заявили представителям властей, что он ни в чем не виновен,— значит, ему придется остаться здесь.

Люди в недоумении смотрят на смиренную маску, появившуюся на его лице, ожидая, что Караджоз засмеется и скажет, что он пошутил. И сами понемногу начинают улыбаться. Но он по-прежнему непоколебимо серьезен, холоден и учтив. С тем их и выпроводит. А они долго не могут прийти в себя, пересказывают этот разговор друзьям, пробуют жаловаться влиятельным знакомым, но те лишь пожимают плечами и отмахиваются, твердо веря, что в Караджозе сидит и говорит его устами сам дьявол, да еще и не один.

На следующий день, проходя по Двору, Караджоз, столкнувшись с тем первым «невиновным», вдруг продол-

жит разговор, который был начат три недели назад. Быстро подойдет к нему и заговорит, глядя в лицо так, словно готов его проглотить:

— Пхи! Ты что, долго еще намерен тут смердеть? Будто не хватает вони и без тебя. Вон отсюда, слышал? Складывай свои шмотки, и чтоб я тебя больше не видел, а не то прикажу взгреть, как поганую кошку.

Окаменев в первую секунду от неожиданности, человек собирается с силами и в мгновение ока исчезает, бросив свои пожитки, из-за которых потом ссорятся между собой стражники и арестанты.

«Играя спектакль», Караджоз мог часами сидеть с арестантом, обвиняемым в краже, незаконном присвоении чужого имущества, в насилии, нанесении тяжелых увечий или убийстве, и кривляться, кричать или шептать, прикидываясь то дурачком, то остервенелым палачом, то сердечным человеком, и все это попеременно, с одинаковой искренностью и убедительностью. Добываясь своего, он дрался или обнимался с заключенным, бил его или целовал, но неизменно старался внушить ему одну мысль: «Сознайся, чтоб тебе горя не знать! Сознайся, и спасешь голову, не то подохнешь, как собака. Сознайся!»

А когда цель бывала достигнута, признание вытянуто и получены сведения о соучастниках или о месте, где спрятаны украденные деньги, он потирал руки, как человек, который закончил наконец грязную, неприятную работу, сбрасывал с себя маску, ставшую ненужной, и предоставлял дело законному течению. Но и тогда он не забывал и не бросал на произвол судьбы арестанта, у которого вырвал признание, а часто помогал ему, заступаясь и облегчая его участь.

Непонятна была эта его бесконечная и странная игра, но, видимо, он никогда и никому не верил — не только подследственному и свидетелям, но и самому себе — и старался исторгнуть у заключенного признание, чтобы, опираясь на него, можно было поддерживать хоть видимость справедливости и порядка в мире, где все виновны и заслуживают кары. И этих признаний он добивался не мытьем, так катаньем, прилагая отчаянные усилия, словно боролся за собственную жизнь или сводил свои несводимые счета с пороком и преступлением, с обманом и беззаконием.

Игра эта в большинстве случаев выглядела излишней, непонятной и недостойной — до такой степени все в ней

было запутано и извращено, но на самом деле она была ловко и трезво рассчитана и всегда приводила к цели. Она не знала повторений и шаблона, была всегда новой и развивалась по своим законам, так что сбивала с толку искуснейших старожилов Проклятого двора. Иногда ее отказывались понимать даже люди, много лет работавшие вместе с Караджозом. В Стамбуле о нем ходили легенды, при этом одни поступки смотрителя тюрьмы выглядели бесчеловечными и безумными, а другие — до удивления добрыми, деликатными и полными сочувствия.

На Караджоза поступали частые и противоречивые жалобы, вставал даже вопрос о том, чтобы его убрать, и визири на своем Диване не раз обсуждали его действия. Но в конце концов все оставалось по-старому. Все знали, что Караджоз — смотритель своенравный, самовластный и со странностями, но отлично понимали, как нелегко найти человека, который бы согласился день и ночь возиться с ворами, бродягами и выродками разного рода, держал бы их в относительном повиновении и сохранял в Проклятом дворе некоторый порядок. Таким образом, Караджоз и дальше оставался на посту и управлял тюрьмой по своему усмотрению.

И все находили, что это самое естественное решение. Все, включая и обитателей Проклятого двора. Для заключенных Караджоз был предметом постоянных разговоров, сплетен, насмешек, брани, ненависти, а иногда и просто попыток физической расправы. (Обругать при каждом удобном случае Караджозову дочку было давнишним и установившимся обычаем во Дворе.) Арестанты, словно замороженные, не спускали с него глаз и по-своему толковали каждый его шаг, взгляд и слово; они трепетали перед ним и старались избегать встреч с ним. Но все эти люди говорили о нем с невольным восхищением и пересказывали друг другу его подвиги. Все они привыкли к Караджозу, можно сказать — сроднились с ним. Ругали его, но так, как ругают свою распроклятую жизнь-злодейку. Он уже был частью их удела. В непреходящем страхе и ненависти они слились с ним воедино, и жизнь без него им трудно было себе представить. Если уж должен существовать Проклятый двор, так пусть его смотрителем будет Караджоз — такой, какой он есть. Методы его управления чудовищны, порой зловещи, но в них всегда скрывается неизвестность, а значит — возможность неожиданного поворота и к лучшему и к худшему, как

в лотерее. Поэтому и тюрьму, и самого Караджоза им как-то становится легче переносить, ибо арестанты любят азартную игру и боятся ясности, которая для них всегда тяжела. Весь столичный мир порока и преступлений считал Караджоза своим человеком; он был для них «боровом», «клопом-кровопийцей», «сукой и сукиным сыном», но своим.

Таков Латиф-ага, по прозвищу Караджоз. Лучше, однако, сказать, таким он был, ибо в последние годы он сильно постарел и отяжелел, рвения в нем поубавилось, словно он устал поражать и устрашать Двор своими фантазиями, трюками, остроумными и своенравными выходками и соломоновыми решениями. Теперь он больше времени проводит «за оврагом», на чистом и красивом склоне холма — в своем красивом доме, в котором успел переженить сыновей и выдать замуж дочерей.

Только изредка просыпается в нем старый Караджоз, и перед изумленным, дрожащим в суеверном страхе Двором он снова совершает один из своих великих подвигов, как десять — пятнадцать лет тому назад.

Со странным чувством недоумения и раздражения, которое спустя столько лет ощущалось в его тоне и в словах, фра Петар подробно рассказывал, как этот «матерый злодей» у всех на глазах вытягивал признание у армян, арестованных по делу о хищениях на государственном монетном дворе.

На монетном дворе стал исчезать драгоценный металл. В конце концов жалобы дошли до самого султана, и тот, разгневавшись, пригрозил жестоко наказать высших чиновников, если хищения не прекратятся, а виновные не будут найдены и ущерб государственной казне не будет возмещен. Перепуганные власти арестовали нескольких непосредственных виновников, работавших на монетном дворе, а чуть позже — богатую и многочисленную семью армянских торговцев: ниточки следствия привели в их лавки. Восьмерых мужчин из этой семьи доставили в Проклятый двор. Здесь эти смуглые, дородные купцы устроили свою жизнь так, как при любых обстоятельствах могут и умеют ее устраивать богачи. Им привезли целые горы мебели и ковров, ежедневно в изобилии доставляли пищу. Никто их не трогал и не допрашивал. И когда уже казалось, что дело на этом кончится, Караджоз потрянул стариной и выкинул один из своих ловких трюков, какие выкидывал в молодые годы.

Однажды утром, когда глава семьи, престарелый, одышливый и грузный Киркор сидел во дворе на маленькой скамеечке в нише тюремной стены, перед ним вдруг возник смотритель и присел рядом, хотя на скамеечке едва хватало места для одного. Не промолвив ни слова, он всем своим телом навалился на Киркора, который и без того еле дышал. Наконец, совсем зажав его в каменном углу, он произнес тихим, но зловещим голосом, без всякого предисловия:

— Слушай, дело серьезное (задеты интересы самого султана!), надо срочно найти выход, потому что из-за вас могут поплачаться головами ни в чем не повинные высшие чиновники. Ты армянин — значит, сметлив, хитер и проницателен, а я один стою трех армян. Так вот, давай вчетвером и поищем выход из этой запутанной и опасной заварухи. Те арестованные ворюги, сам знаешь, — никто и ничто. Убытка им не покрыть. Они заплатят головой. Но вы их сообщники. Вы покупали краденое за бесценок. Вы можете еще сохранить свои головы и откупиться. Я знаю, ты сам ни при чем, но кто-то из твоих замешан в этом деле. А пока краденое не будет найдено и возвращено в государственную казну — главный виновник ты. Так вот, давай со всем этим покончим поскорее, не то, клянусь аллахом, потеряешь ты в великих муках все свои телеса и останется на твоих костях мяса не больше, чем у десятилетнего мальчонки.

Прижатый Караджозом к стене, старый армянин не мог ни вздохнуть, ни промолвить слова. А Караджоз продолжал шептать. Прежде всего он назвал огромную сумму, которую семья должна выплатить государству. От этой цифры у торговца потемнело в глазах и из горла вырвался хрип. Но Караджоз еще сильнее притиснул его к стене.

— Ничего, ничего. Разумеется, расход большой, и, может, придется заплатить еще больше, приблизительно четверть всего вашего состояния. Но поскольку вы о своих капиталах даете всегда ложные сведения, уменьшая их по крайней мере в четыре раза, то ваша потеря составит, по сути дела, лишь шестнадцатую долю. Послушайся меня и внеси эту сумму. Тогда можно будет еще все уладить. А не вернешь...

И Караджоз выложил торговцу весь свой дьявольский план. Старик, тяжело дыша, слушал его с закрытыми глазами.

В последние дни в армянских домах было два случая заболеваний. Подозревают чуму. Стоит только высказать такое предположение вслух, как все армяне от мала до велика будут помещены в чумную больницу. А там добрая половина может на самом деле заразиться и умереть. Сразу же, конечно, найдутся люди — со стороны или из прислуги, — которые воспользуются обстоятельствами, проникнут в пустые дома, в лавки и разворуют все, что на виду, и все, что припрятано. А потом произойдет то, что обычно делают с больными чумой, их домами и имуществом.

Говоря это, Караджоз все сильнее прижимал к стене почти уже потерявшего сознание армянина, который пытался что-то сказать, сипел и вращал глазами, моля дать ему возможность поразмыслить и переговорить со своими, но Караджоз продолжал зловеще шептать, что все должно быть решено сейчас же, на этой скамейке.

Многочисленные арестанты, как всегда, при виде Караджоза попрятались в камеры или укрылись в отдаленных уголках Двора. Они ничего не видели и не слышали, однако чувствовали, что между Киркором и Караджозом идет какой-то страшный торг. После долгого ожидания они увидели, что смотритель прошел в канцелярию, помещавшуюся над воротами, а Киркор, спотыкаясь и останавливаясь на каждом шагу, поплелся, словно в бреду, в камеры, где были его родственники. Оттуда некоторое время слышались препирательства и крики — младшие члены семьи ожесточенно, но тщетно сопротивлялись, а затем все вдруг стихло. Старик Киркор в сопровождении двух старших сыновей, поддерживающих его под руки, отправился к смотрителю договариваться, каким образом будут выплачены деньги.

Через несколько дней их начали выпускать группами по два-три человека.

Долго во Дворе судачили о том, как Караджозу удалось выколотить такую тяжелую дань из Киркора, пересказывали подробности, которые могли быть известны лишь им двоим, но которые заключенные каким-то непостижимым образом узнавали или же сами придумывали и прибавляли.

Фра Петар часто рассказывал о Караджозе, и всегда со смешанным чувством раздражения, ненависти, невольного восторга и изумления, страстно желая как можно ярче обрисовать это чудовище, для того чтобы его

образ так же ясно предстал перед слушателями и так же поразил их воображение, как поражал он и самого рассказчика. И даже говоря о чем-нибудь другом, он постоянно, хотя бы вскользь брошенной репликой, возвращался к Караджозу, как бы чувствуя, что с ним еще не покончено.

Но точно так же подробно и живо ффра Петар рассказывал о жизни Двора в целом и об отдельных его обитателях — большей частью смешных, жалких и чудаковатых; с ними он был ближе и лучше знаком, чем с разбойниками, убийцами и закоренелыми злодеями, которых старался, насколько это было возможно, избегать.

Однако и это было не самым главным и не занимало особенно много места в воспоминаниях ффра Петара о Проклятом дворе, о котором в последние дни своей жизни он подолгу рассказывал сидевшему возле него юноше.

II

Как и в любом несчастье, первые дни в Проклятом дворе были для ффра Петара тяжелее всего. Особенно невыносимы были ночи. Чтобы хоть как-нибудь оградить себя от драк, ссор и отвратительных ночных сцен, он облюбывал темный угол огромной камеры за большим развалившимся очагом и расположился там со своими скудными пожитками. Там уже сидели двое болгар, тоже «пересыльные», приговоренные к каторге. Ффра Петара они встретили почти без слов, но доброжелательно, явно довольные, что место возле них занял тихий, погородскому одетый босниец, о котором, кроме этого, они ничего не знали и не спрашивали, предполагая, однако, что и он «пересыльный» и что ему, как и им, тяжело в этой мерзкой страшной клоаке.

Болгары, люди состоятельные, насколько можно было понять, явились жертвами волнений, вспыхнувших из-за непосильных налогов и податей и немилосердного их выколачивания. Нечто вроде заложников. О своих делах они не говорили. Они были озабочены, испуганы, но даже это не отражалось на их лицах. Ничуть! Все в них говорило о выдержке и настороженном внимании. Всегда подтянутые, обутые и одетые, они в любую минуту были готовы тронуться в путь. (Стамбульские мелкие и крупные

правонарушители считают Проклятый двор как бы частью своей жизни и соответственно ведут себя, но эти двое здесь не жили, а лишь отбывали срок — жизнь их осталась там, в Болгарии. Теперь они ждали решения своей судьбы. Они еще поживут, если удастся возвратиться домой, а пока они далеко от своих — жизни нет. И не нужно. Таковы все «пересыльные».) Из камеры болгары выходили всегда врозь и то редко и на минутку, — один всегда оставался на циновке возле вещей. Но большую часть дня они сидели или лежали, безмолвные и неподвижные. Даже глаз не подымали без нужды. Ели мало и украдкой, отворачиваясь при этом в сторону, пили только воду. Они ни с кем не разговаривали и тихонько возмущались фра Петаром, который слушал во дворе шутки и разговоры заключенных и сам иногда принимал в них участие. И даже просили его в темноте не курить, так как это могло привлечь в их угол нежеланных гостей.

И все же спустя несколько дней они должны были принять нового гостя, ставшего их соседом. Нашелся еще один человек, которого привлек к себе укромный уголок, где обосновались приличные, мирные и тихие «пересыльные».

Впоследствии фра Петар никак не мог припомнить, когда и как появился этот человек и что он при этом сказал. (Мы обычно забываем подробности первой встречи с людьми, которые впоследствии становятся для нас близкими; нам кажется, что мы знали их всегда и всю жизнь были с ними вместе.) Из прошлого в памяти фра Петара время от времени воскресала лишь отрывочная, не связанная ни с чем сцена. В ранних сумерках он увидел силуэт склонившегося над ним высокого, сутулого и на вид молодого человека с шерстяным пледом в одной руке и с кожаной сумкой в другой. Болгары обменялись быстрыми взглядами сначала между собой, потом с фра Петаром. По их лицам скользнуло недвусмысленное выражение недовольства, настороженности и готовности к отпору — турок! Тот лег, где стоял, и тут же замер, даже дыхания его не было слышно. И когда бы той ночью фра Петар ни проснулся (а здесь нет человека, который бы по нескольку раз за ночь не просыпался), он всякий раз ощущал, что и «новый» около него не спит.

Проснувшись на рассвете, фра Петар при бледном свете зари, которая за стенами камеры была, вероятно,

чудесной, посмотрел направо, где вчера вечером устроился на ночь пришедший турок. Первое, что он увидел, была небольшая книга в желтом кожаном переплете. Сильное и теплое чувство радости разлилось по всему его телу. Книга! Это было что-то из утраченной, настоящей человеческой жизни, оставшейся далеко за тюремными стенами, что-то прекрасное, по зыбкое, как сновидение. Он зажмурился, снова открыл глаза — книга лежала на прежнем месте, и это была действительно книга. Только тогда он поднял взгляд и увидел, что книгу держит на коленях человек, который полусидит, облокотясь на свой сундучок. Это был вчерашний пришелец. Возле него дорожная сумка из светлой, хорошо выделанной кожи, под ним превосходный темный плед — даже издали видно, какой он теплый и мягкий, словно нежный дорогой мех. Происхождение и воспитание, а также скромные потребности фра Петара привели к тому, что он никогда не задумывался над ценностью и внешним видом вещей и не придавал им никакого значения, но такой плед он не мог не заметить. Он никогда не видел, чтобы обычные, ежедневно употребляемые вещи были сделаны так искусно и из такого прекрасного материала; останься он в Боснии и не угоди, на свое несчастье, в Проклятый двор, он никогда бы не узнал и не поверил, что нечто подобное существует на свете.

Взгляд его скользил дальше. Лицо молодого человека явилось новой неожиданностью. Мягкое, одутловатое, бледное особой, комнатной бледностью, совсем не похожее на те физиономии, какие можно было здесь встретить, оно обросло рыжеватой пушистой бородкой, должно быть, человек не брился дней десять; усы казались светлее и несколько свисали. На лице выделялись огромные нездоровые темные круги, из которых, сверкая влагой и внутренним огнем, смотрели голубые глаза. Фра Петару, повидавшему на своем веку множество самых различных больных, все это показалось знакомым. Такие глаза он уже видел. Есть люди, которые будто чего-то боятся или стыдятся, хотят что-то скрыть. И именно поэтому они своим взглядом стараются привлечь и задержать чужой взор, приковать его к своим глазам, не пустить дальше — к лицу, фигуре или одежде. Юноша не моргая, выжидательно и спокойно смотрел в открытое, добродушное лицо мопаха с густыми, черными усами и большими, широко расставленными карими глазами, тоже спокойными.

Разговор завязался сам собою. А такие разговоры самые лучшие. Сначала нечто вроде приветствия, отдельные, неопределенные слова, которыми прощупывают и испытывают друг друга собеседники. Фра Петар понял, что турок не заносчив и настроен не враждебно, как можно было бы ожидать. Правда, он сдержан, но совсем по-особому.

В то утро они несколько раз встречались и расходились. И всякий раз перебрасывались несколькими незначительными фразами. Таковы все тюремные разговоры, они начинаются медленно и нерешительно и затем, не находя новой пищи, обычно легко и быстро сменяются недоверчивым молчанием, когда каждый из собеседников мысленно взвешивает то, что сказал сам и что услышал от другого.

Во время обеда они потеряли друг друга из виду. Только после полудня снова разговорились. Выяснилось, что оба читают по-итальянски. Перекинулись несколькими итальянскими словами. Больше шутки ради. И все-таки это сразу их как-то отделило от окружающих и сблизило. Поговорили о разных городах и краях, потом перешли к книгам, но так как читали они совсем разные вещи, разговор прервался. Сообщили друг другу свои имена. Юношу звали Чамил. Фра Петар назвал свое имя, умолчав о звании. Вообще о себе и о том, что их привело сюда, не было сказано ни слова. Разговор вертелся вокруг одного и того же и скользил по поверхности. Особенно лаконичен был молодой турок. Низким, глухим голосом и легким покачиванием головы он лишь соглашался с тем, что говорил фра Петар. И соглашался не раздумывая. Сам же не досказал до конца ни одной даже самой банальной мысли. Часто умолкал посреди фразы. Взгляд его постоянно уходил куда-то вдаль.

Фра Петар говорил более оживленно. Он был счастлив, что нашел собеседника, но про себя сразу подумал: «Юноша, несомненно, болен». Даже не отличаясь особым знанием людей,— а фра Петар их знал,— нетрудно было прийти к такому заключению.

— Да, да,— повторял молодой турок с европейской учтивостью, но это «да, да» скорее подтверждало мнение, сложившееся о нем у фра Петара, чем отвечало на его слова.

Но каковы бы ни были эти разговоры, они, по-видимому, были дороги и приятны обоим заключенным, ибо

давали им то, чего здесь больше всего недоставало; поэтому их беседы постоянно возобновлялись и продолжались после каждого перерыва.

Болгары искоса поглядывали на новоявленных друзей, стараясь не выдавать ни своего удивления, ни тем более своих подозрений.

А когда начало смеркаться, молодой турок и ффра Петар сели вместе ужинать. Собственно, ужинал ффра Петар, юноша ничего не ел, долго, с рассеянным видом пережевывал кусок. Бесхитростный и открытый ффра Петар говорил ему:

— Чамил-эфенди, не сердись на меня, но это никуда не годится — ты ничего не ешь.

И он внушал юноше, что в несчастье человек должен есть больше, чем в обычное время, чтобы быть сильным и бодрым.

— Да, да, — соглашался юноша, но и после этого ел все так же мало.

На следующий день они разговаривали живее и непринужденнее. Время прошло незаметно, и вот уже снова вечер. С наступлением темноты беседа начала замирать. Говорил только ффра Петар. Даже рассеянное «да, да» собеседника постепенно прекратилось. Молодой человек все больше замыкался в себе и, соглашаясь со всем, лишь опускал или поднимал тяжелые веки, ни во что как следует не вникая.

Судя по красноватому цвету пеба и красным отблескам на вершинах редких кипарисов за высокой тюремной стеной, где-то там, по другую сторону невидимого города, стремительно заходило солнце. На одно мгновение весь двор залили багряные отсветы, но они быстро исчезли, словно вылились из наклоненного четырехгранного сосуда, который все больше наполняли тени сумерек.

Стражники загоняли арестантов в камеры, а те разбредались, как непослушное стадо, и убегали от них, норовя забиться в глухие уголки двора. Никому не хотелось расставаться с угасающим днем и залезать в душные камеры. Слышались крики и звуки ударов.

В этот момент к камере, возле которой еще сидели монах и юноша, подбежал стражник, выкликая имя молодого человека. В нескольких шагах от него бежал другой и тоже звал Чамила, с еще большим усердием. Так везде и всюду спешат мелкие сошки, получив строгий наказ вышестоящих, спешат со всех ног, безразлично —

послали их на злое или доброе дело. В данном случае все было хорошо. С редкостной для Проклятого двора предупредительностью посланные пригласили юношу тотчас же перейти в другое, специально для него подготовленное помещение. Они помогли ему собрать вещи. Было видно, что его дела повернулись к лучшему.

Юноша не выражал удивления и ни о чем не спрашивал, принимая это неожиданное внимание к себе как приказ. Уходя, он оглянулся на своего собеседника, словно желая сказать ему нечто значительное и впервые совершенно ясное; но только усмехнулся и закивал головой, будто приветствуя издалека.

И так молча они распрощались как старые хорошие знакомые.

В ту ночь ффра Петар долго думал о странном турке. Как будто бы он и турок и не турок, но совершенно очевидно, что он несчастен. По временам, погружаясь в дремоту, ффра Петар словно видел юношу рядом с собой — бодрствующего и спокойного, с книгой, с необычными, изящными вещами, но одновременно ясно чувствовал: Чамила увели, и его здесь нет. Ему было жаль, что они расстались. Наконец, полностью позабыв и о себе, и обо всем окружающем мире, он уснул настоящим сном, как всегда, крепким и глубоким, без сповидений. Этот сон поглотил и ушедшего соседа, и всякую мысль о нем. Но стоило ему проснуться среди ночи, как сразу же воскресло старое, полузабытое, но все еще живое чувство горечи, которое он испытал в юности, когда простился с близкими друзьями и поселился среди равнодушных, чужих людей, с которыми вынужден был с тех пор жить и работать. А когда рассвело и ночной калейдоскоп печальных дум и чувств исчез, осталась одна простая истина: соседа рядом с ним действительно не было. Пустое место справа уже воспринималось как новое несчастье и страдание в жизни, исполненной множества мелких и крупных несчастий и страданий. Слева по-прежнему сидели два торговца — неразговорчивые люди, всегда готовые в путь.

А утром пустое место оказалось занятым. На нем расположился худой и юркий небритый брюнет с растрепанными кудрявыми волосами. Он непрестанно извинялся и говорил без умолку и быстро. Он, мол, не хотел бы никому мешать, но просто больше невмочь выносить непристойные выходки тех, среди которых он доселе находился,

всей-неволей пришлось поискать более спокойное место, среди порядочных людей. Поставив свой коробок, бросив старую, ветхую одежку, он продолжал говорить.

Здесь не были в обычае пространные и церемонные вступления к разговорам, а этот человек болтал сразу обо всем, как будто попал к старым и верным друзьям. Ясно, что говорил он больше для себя самого, ибо не мог иначе, а не ради того, что хотел сказать, и не ради тех, кому говорил.

Двое торговцев еще больше насупились и сидели, прижавшись друг к другу. Но ффра Петар с интересом слушал и смотрел на этого говорливого человека, всем своим видом вдохновляя его продолжать свои рассказы. (Про себя же он думал: а ведь я весь в покойного дядюшку ффра Рафу, тот мог терпеливо выслушать любого и в шутку всегда говорил: «Без хлеба я бы еще кое-как прожил, но без людей не могу».) А новый сосед говорил и говорил.

Он оказался евреем из Смирны. Его смуглое лицо — огромный нос и большие глаза с кровянисто-желтоватыми белками — выглядело скорбным. Скорбью веяло и от всего его озабоченного и испуганного облика, но, должно быть, потребность говорить была в нем сильнее горя и страха. Словно продолжая начатый еще вчера разговор, он, выходя вместе с ффра Петаром из камеры во двор, рассказывал взволнованным шепотом о себе и своих страданиях:

— Ограбят человека, да сго же обвинят и посадят! Скажите, ради бога, каким образом мы очутились среди этих подонков? Я спрашиваю себя...

И он перечислял все, о чем себя спрашивал. А спрашивал он себя обо всем, при этом пугливо озирался, но говорить не переставал. «Эта болтливость и привела его сюда», — заключил ффра Петар, рассеянно слушая утомительную и лихорадочную болтовню этого странного человека, как вдруг тот упомянул имя Чамил-эффенди.

— Я видел вчера, что он устроился возле вас, возле порядочных людей. Но теперь ему дали хорошую комнату в Белой башне недалеко от ворот, — в пей спит охрана и служащие. Почетные арестанты получают там отдельные камеры и особую пищу. А ведь и правда, страшно все это. Разве такой человек может жить среди всех этих, этих...

Ффра Петар насторожился.

— А вы знаете Чамил-эффенди?

— Я? Да как же не знать! Вас, простите не знаю, мы с вами только что встретились, да... Не знаю вас, но вижу, что человек вы порядочный и честный, а для меня это... Вас не знаю, но его — его, конечно, знаю. Знаю в лицо, очень хорошо. Его вся Смирна знает. В Смирне все известно.

И вот уже в первый день ффра Петар многое узнал о молодом турке, о его семье, а также о причинах, которые привели его в Проклятый двор. Разумеется, рассказ Хаима, как звали еврея из Смирны, отличался крайней сбивчивостью и бестолковостью. Что-то он пропускал, другое повторял раза по три, но при этом все было ярко и красочно, не всегда ясно, но зато со множеством занимательных подробностей. Человек этот не мог заставить себя молчать, но и не в состоянии был сосредоточиться на одном предмете. На мгновение он замолкал, задумывался и жалобно морщился, словно и сам терзался мыслью, как нелепо и неуместно рассказывать каждому встречному и поперечному о посторонних людях, но потребность говорить о чужих судьбах, особенно о судьбах тех, кто по своему общественному положению стоял выше его или представлял какое-то исключение, всегда побеждала.

Хаим был один из тех людей, которые всю свою жизнь ведут бессмысленную и обреченную на неуспех тяжбу с людьми и средой, из которой вышли. В страстном стремлении все высказать и все объяснить, раскрыть все заблуждения и злодеяния, изобличить зло и воздать должное добру он шел значительно дальше того, что способен увидеть и понять нормальный, здоровый человек. Сцены, происходившие с глазу на глаз между двумя людьми, он умел передать необычайно живо, с мельчайшими подробностями. Описывая участников этих сцен, он проникал в их мысли и сокровенные желания, часто даже в такие, которые они сами еще не признавали и которые он первый открывал. Он перевоплощался в них. К тому же он обладал удивительным даром, меняя голос, имитировать речь человека, о котором рассказывал, и был то начальником, то нищим, то красавицей гречанкой; еле заметными телодвижениями и игрой мускулов лица он мог изобразить облик и мимику любого человека, повадки животного и даже вид неодушевленных предметов.

Хаим много и охотно рассказывал о больших и богатых еврейских, греческих и турецких семействах в Смирне, задерживаясь всегда на крупных и драматиче-

ских событиях. И каждый из своих рассказов он заключал странным, почти восторженным возгласом: «Э? А!» — что должно было приблизительно обозначать следующее: «Вот какие есть люди! И что моя убогая жизнь и моя судьба в сравнении с превратностями их судьбы!»

А завершение одного рассказа служило началом другого. Конца им не было.

(Мы всегда в той или иной степени склонны осуждать людей, которые много говорят, особенно о делах, их непосредственно не касающихся, и даже с презрением называем их сплетниками и болтунами. И при этом не берем в расчет, что у этого человеческого, чисто человеческого и так часто встречающегося порока есть и свои положительные стороны. Что бы мы знали о чужих душах и чужих мыслях, о других людях и даже о себе самих, о других слоях общества, о незнакомых краях, землях, которых мы никогда не видели и вряд ли когда-либо увидим, если бы не было людей, в устной или письменной форме повествующих о том, что они видели или слышали и что в связи с этим думали и пережили? Мало, очень мало. Если же их рассказы несовершенны, подчинены личным страстям и интересам или не очень точны, то ведь у нас есть свой собственный разум и опыт, и мы, анализируя и сравнивая эти рассказы между собой, можем кое-что из них принять, а кое-что частично или целиком отвергнуть. Кто умеет терпеливо слушать или читать, всегда почерпнет для себя крупницу истины.)

Так думал фра Петар, слушая осторожное и многословное повествование Хаима о Чамил-эфенди и его судьбе, которое подвигалось весьма медленно из-за странной подозрительности рассказчика. Несмотря на всю свою живость и страстную потребность говорить, он время от времени понижал голос, так что трудно было разобрать отдельные слова, и бросал вокруг испытующие взгляды, как человек, которого постоянно преследуют и у которого все вызывает подозрение.

III

Чамил — человек «смешанной крови», говорил Хаим, по отцу турок, по матери грек. Мать его была известная красавица. Смирна — город прекрасных гречанок — не видывала еще такой стройной фигуры, такой осанки и

таких голубых глаз. Семнадцати лет ее выдали за очень богатого грека (Хаим назвал какое-то длинное греческое имя, произнося его так, как произносят фамилию общеизвестной династии). У них был один ребенок, девочка. Когда дочке исполнилось восемь лет, грек скоропостижно скончался. Родственники покойного богача слетелись со всех сторон, пытаясь обмануть молодую вдову и захватить в свои руки побольше. Женщина сопротивлялась, ей даже пришлось поехать в Афины, чтобы спасти хотя бы ту часть наследства, которая находилась там. На обратном пути в Смирну внезапно умерла ее дочь. Море было бурным, корабль шел медленно, до Смирны было далеко. По правилам, труп девочки следовало бросить в море. Этого решительно требовали и матросы, которые, по древнему морскому поверью, полагали, что труп приносит несчастье, так как душа покойника, будто свинец, тянет корабль на дно. Обезумев от горя, мать не соглашалась, требовала, чтобы ей оставили тело дочери, чтобы она могла предать его земле, как только корабль прибудет в Смирну, — тогда она хоть будет знать, где могила ее ребенка. Капитан судна намучился с ней. Разрываясь между отчаянием матери, которой у него не хватало духа отказать, и строжайшим предписанием, которого он не смел ослушаться, капитан, посоветовавшись со старшим офицером корабля, пошел на обман. Он приказал сделать два одинаковых гроба. В один положили труп девочки, и моряки тайно опустили его в море, а другой, наполненный соответствующим по весу грузом, заколоченный и просмоленный, капитан передал матери, словно бы уступив ее мольбам. Когда прибыли в Смирну, мать увезла этот гроб и предала его земле.

Долго оплакивала она свое дитя, ежедневно ходила на могилу. А когда со временем молодость взяла свое и красавица начала понемногу свыкаться со своим горем, произошло нечто неожиданное и ужасное. Жена старшего офицера того корабля, на котором умерла девочка, узнала от мужа о вынужденном обмане. Как-то она проболталась об этом своей лучшей подруге. А после очередной женской ссоры приятельница, по глупости и из мести, рассказала об этом другим. Непонятным и непостижимо жестоким образом этот слух дошел до матери. Несчастная обезумела от горя. Она бегала по кладбищу и скребла ногтями землю на могиле. Ее с трудом уводили, и наконец после того, как она несколько раз порывалась

броситься в море вслед за дочкой, вынуждены были держать взаперти. Это было настоящее безумие. Прошло много времени, прежде чем бедная женщина излечилась от этого нового горя. Но полностью она так и не оправилась.

К прекрасной и несчастной вдове сватались многие греки, но она всем отказывала, озлобившись на родственников и всех своих соплеменников. И лишь через несколько лет, ко всеобщему изумлению, вышла замуж за турка. Тахир-паша, значительно старше ее, богатый, уважаемый и образованный человек, в молодые годы занимавший высокие посты на государственной службе, жил уединенно — летом в своем поместье недалеко от Смирны, а зимой в городе, в собственном огромном доме. Он не требовал, чтобы жена переменяла веру, а просил ее лишь не появляться на людях с открытым лицом. И все-таки это замужество вызвало глубокое возмущение греков. Но брак молодой гречанки с шестидесятилетним пашой оказался, несмотря на все проклятия греческих женщин и попов, счастливым. В первые два года у них родилось двое детей — девочка и затем мальчик. Сын был крепышом, быстро набирался сил, а девочка росла хилой, и на пятом году жизни ее в два дня скосила неизвестная болезнь. Мать, еще не пришедшая в себя от первого несчастья, впала в тяжелую и неизлечимую тоску. В смерти своей второй дочери она увидела кару небесную, решила, что над ней тяготеет проклятие, и стала совершенно равнодушна к мужу и сыну. Она быстро сохла и таяла. И через год смерть пришла к ней как избавление.

Мальчик, по имени Чамил, унаследовал материнскую красоту, был умен и хорошо развит. Он прекрасно плавал и побеждал на всех состязаниях. Но очень рано юноша забросил игры и забавы своих сверстников. Все больше предавался он чтению и наукам, и отец его в этом поддерживал — покупал книги, нанимал учителей, отправлял в путешествия. Чамил занимался даже испанским языком у одного старого сефярда, раввина в Смирне.

А когда через несколько лет скончался и старый Тахир-паша, юноша остался обладателем значительного богатства, но совершенно один, без опыта и близкой родни. Огромный авторитет Тахир-паши служил ему защитой. Ему предлагали готовиться к государственной службе, но он отказался. В отличие от сверстников, он не интере-

совался женщинами и не искал их общества. Но как-то летом ему случилось, проходя мимо маленького, заросшего сада, увидеть за оградой девушку-гречанку. Он полюбил ее с первого взгляда и совсем переменялся. Девушка была дочерью мелкого торговца. Юноша готов был взять ее в жены, точно так же как некогда Тахир-паша взял его мать. Он предлагал все, сам не ставя никаких условий.

Девушка, видевшая Чамила раза два-три, соглашалась пойти за него и нашла способ дать ему об этом знать. Но родители решительно отказывались выдать дочь за турка, даже такого, у которого мать была гречанкой. Вся греческая община поддерживала их в этом. Всем мерещилось, что Тахир-паша — даже мертвый — снова, во второй раз, уводит от них еще одну гречанку. Отец девушки, человек ничтожный и духом и телом, вел себя так, словно, обезумев, вдруг почувствовал собственное величие, прилив героизма и жажду мученичества. Раскинув руки, будто его собирались распять, он вопил перед своими соплеменниками:

— Я маленький человек, маленький по званию и по состоянию, но велика вера моя и страх божий живет во мне! Лучше я погибну и единственную дочь свою утоплю в море, чем отдам ее за неверного!

И все в таком роде. Как будто главное тут были он и его вера, а дочь — нечто второстепенное.

Однако лавочнику с кривой улочки этот героизм ничего не стоил. Не представился ему случай и стать мучеником. Девушку насильно выдали за грека из другого городка, тихонько, без свадьбы, скрыв и день отъезда и место, куда ее отправили. Они боялись, как бы Чамил не умыкнул невесту, но тот, получив отказ, сразу же отступил. Тогда впервые он отчетливо увидел то, чего раньше в тумане любовного увлечения и по молодости лет не замечал, узнал, как много преград между мужчиной и любимой им женщиной и вообще между людьми.

После этого Чамил два года что-то изучал в Стамбуле. Когда он возвратился в Смирну, все нашли, что внешне он сильно изменился, очень повзрослел. Снова он жил одиноко. С греками у него ничего не было общего, с турками — очень мало. Сверстники, с которыми он некогда проводил время в играх и забавах, казались ему теперь чужими и далекими, словно люди совсем другого поколения. Он целиком погрузился в книги. В двадцать четыре

года это был богатый чудак, не знающий, где и чем он владеет, и не умеющий распоряжаться и управлять своим богатством. Он путешествовал по малоазиатскому побережью, ездил в Египет, на остров Родос. Избегал тех, к кому принадлежал по своему происхождению и общественному положению и кто начал считать его чужаком, и дружил только с людьми науки, не считаясь с тем, кто они по происхождению и вере.

А год тому назад по Смирне поползли страшные слухи, неопределенный, неясный шепоток, будто сын Тахир-паши совсем «заучился» и в голове у него не все в порядке. Рассказывали, что, изучая историю турецкого царства, он вообразил, будто в него вселился дух какого-то несчастного принца, уверовал, что и сам он неудавшийся султан.

— Э? А! — прервал на минуту свой рассказ Хаим, не преминув подчеркнуть, что вот, мол, какова Смирна, если там оклеветали и засадили в тюрьму не только его, Хаима, но и такого почтенного и непорочного человека, как Чамил-эфенди! Но тут же продолжал: — Когда я говорю, что слухи поползли по Смирне, не надо, конечно, думать, что это относится ко всему многолюдному городу. Ведь что такое Смирна? Если посмотреть на нее сверху с площадки под Кадиф-Кале, то кажется — нет ей конца. И в самом деле, она огромна. Множество домов и множество народу. А если сказать по правде, то всем городом управляет сотня семейств — пятьдесят турецких и столько же греческих, да еще чиновники при наместнике и начальнике порта, какая-нибудь тысяча-две душ. В них-то и вся суть, только они что-то решают и что-то значат, а остальной люд работает и тянет лямку, чтобы прокормить себя и своих ближних. А в той сотне семей, хоть они и не обязательно дружат между собой и, бывает, подолгу не встречаются, все знают друг друга, присматриваются один к другому и следят друг за другом из поколения в поколение. Чамил и по отцу и по матери принадлежал к этому меньшинству. Необычная судьба его семьи и его странный образ жизни всегда привлекали внимание и вызывали любопытство. А в Смирне, как и во всем мире, любят сплетничать, перемывать ближнему косточки, и даже больше, чем где бы то ни было.

О Чамиле, который в последние годы не принимал участия в жизни своих сверстников, выходцев из богатых и влиятельных кругов, много болтали в его отсутст-

вие и как раз по причине его отсутствия. Судачили и о его занятиях историей — одни с удивлением, другие с насмешкой.

Как-то на террасе ресторана собралось с десяток молодых людей — представителей золотой молодежи — и столько же портовых девчонок. Юноши пили вино, курили, и тут кто-то вспомнил Чамила, его несчастную любовь и странный образ жизни. Один из его товарищей заметил, что Чамил подробно изучает эпоху Баязита II, особенно жизнь султана Джема, что для этого он ездил в Египет, на Родос, а теперь собирается даже в Италию и во Францию. Девицы спросили, кто такой султан Джем, и тот же молодой человек объяснил им, что это брат Баязита и его соперник. Потерпев поражение в борьбе за власть, он бежал на Родос и сдался христианским рыцарям. Христианские правители многие годы держали его в заточении, постоянно используя против османского государства и законного султана Баязита. Где-то на чужбине он и умер, и тогда Баязит перенес прах несчастного брата-бунтаря в Брусу и похоронил там, и ныне еще сохранилось его надгробье.

Тут в разговор вмешался легкомысленный юнец, один из тех, чье бурное воображение и неосмысленная болтовня часто приносят вред и им самим, а еще чаще другим.

— После своей несчастной любви к прекрасной гречанке Чамил так же неудачно влюбился в историю. Он ведет себя как непризнанный Джем, так же относится ко всему и так же все воспринимает. Бывшие друзья между собой называют его уже не иначе как Джем-султан: кто с насмешкой, кто с сожалением.

Всякое упоминание о султанах, а тем более о смутах и о борьбе за престол, хотя бы и происходивших в отдаленные времена, никогда не остается лишь в том кругу, где оно было сделано. Всегда находится птичка, которая тут же вспорхнет и прошебечет царю или чиновным людям о том, что было все упомянуто имя правителя и кто это сделал и как. Не удивительно, что певчая и тайная страсть Чамила с помощью языка болвана и ушей доносчика дошла и до измирского валии, где она встретила совсем иной прием и получила совсем иное освещение.

Валией измирского вилайета был в то время упрямый и ревностный служака, тупой и болезненно мнительный

человек, которому даже во сне мерещились политические измены, заговоры и прочие ужасы.

(Правда, строгость и ревностная забота о «политических и государственных интересах» не мешали ему брать огромные взятки с торговцев и кораблевладельцев. Измирский судья как-то удачно заметил, что у него короткий ум и длинные руки.)

Когда валия выслушал донос о Чамиле, ему вдруг взбрело в голову соображение, которое, конечно, никогда и не приходило юноше на ум, а именно то, что и у теперешнего султана есть брат, которого он объявил слабоумным и держит в заточении. Об этом все хорошо знали, хотя никогда не говорили. И совпадение насторожило валию. А как раз в те дни в связи с какими-то беспорядками и волнениями в европейской Турции всем окружным начальникам доставили из Стамбула строгий циркуляр, в котором местные власти призывались к бдительности и им предлагалось обратить особое внимание на многочисленных смутьянов и агитаторов, которые без всякого на то права вмешиваются в дела государства и осмеливаются даже бросать тень на имя султана. Валия, как всякий плохой чиновник, чувствовал себя уязвленным. Ему казалось, что циркуляр относится непосредственно к его округу, а поскольку здесь не было ни одного «дела» то, конечно, имелось в виду «дело» Чамила.

В ту же ночь полиция окружила дом Чамила и произвела обыск. Забрали все книги и рукописи, а его самого взяли под домашний арест.

Увидев кучу книг, да еще на разных языках, множество рукописей и записок, валия перепугался и так рассвирепел, что решил на свой страх и риск арестовать их владельца и отправить вместе со всеми книгами и бумагами в Стамбул. Он даже сам себе не мог объяснить, почему книги, особенно иностранные, да еще в таком большом количестве, вызывали в нем лютую ненависть и гнев. Но ненависть и гнев не нуждались в объяснении, они взаимно разжигали друг друга и росли одновременно. Валия был уверен, что не ошибся и попал в самую точку.

Весть об аресте сына Тахир-паши возмутила многих видных людей, особенно из мусульманской верхушки. Сам судья, человек образованный и старый друг Тахир-паши, лично пошел к валии. Он объяснил ему, что произошло с Чамилом. Юноша он, мол, вполне благонаправленный, а по своему образу жизни даже может служить при-

мером порядочного человека и истинного мусульманина; из-за несчастной любви он, правда, впал в состояние пекотной отрешенности и меланхолии и весь ушел в науки и в книги, но если он и проявил чрезмерное усердие в своих занятиях, то на это надо смотреть как на болезнь, а не как на порочное и злонамеренное поведение, юноша скорее заслуживает жалости и участия, чем ареста и наказания. Очевидно, случилось тяжкое недоразумение. Молодой человек занимается историей, а от науки не может быть вреда.

Но все его доводы разбивались о тупость и трусливую подозрительность чиновника.

— Не буду я, эфенди, ломать над этим голову. Историю, или как она там зовется, я не знаю. Сдается мне, что и ему было бы лучше ее не знать. Чем копаться в том, что делали султаны в старые времена, лучше бы он слушал приказания нынешнего нашего повелителя.

— Но это же наука, книги! — раздраженно воскликнул судья, по опыту хорошо знавший, как вредны и опасны для общества и отдельных его представителей люди, по своей ограниченности безгранично уверенные в собственном разуме, пронизательности и непогрешимости всякого своего суждения и вывода.

— Э, значит, не те у него книги! Джем-султан! Преидент! Борьба за престол! — И вот слово сказано, а когда слово вырвется, оно, не останавливаясь, летит все дальше и дальше, разрастаясь и постепенно меняя свой смысл. — Не я дал повод для таких слов, а он. Пусть он за них и отвечает.

— Но ведь бывает же, возводят на человека напраслину! — снова пытался защитить юношу судья.

— А если его оговорили и очернили, пусть очистится от наветов и будет оправдан. Я книг не читаю и не хочу думать за другого. Пусть каждый заботится о себе. Зачем же мне из-за него страдать? В моем вилайете каждый должен отвечать за то, что делает и говорит. Я знаю одно: закон и порядок.

Судья вскинул голову и посмотрел на него возмущенно и осуждающе:

— Да, я думаю, все мы тут для этого поставлены.

Но валия уже разошелся, и его пельзя было остановить.

— Да, закон и порядок. А чья голова из этих рамок вылезает, срублю ее, клянусь царской службой, будь это даже мой единственный сын. Я не допущу у себя никакого

вольнодумства; не потерплю сомнительной учености этого молодого эфенди.

— Но можно было бы и в Смирне все выяснить и во всем разобраться.

— Нет, эфенди. Указ есть указ, а указ требует действовать так, а не этак. Он болтал о царских делах, пусть на царском пороге и ответ держит. Есть на свете Стамбул, пусть там и объясняет все, что вычитал и понаписал и о чем людям болтал! И пусть они в столице сами ломают головы над такими делами. Если он прав, ему нечего бояться.

И это все. Старый судья смотрел на валию. Безусый, безбородый, тщедушный и согбенный человечиска, такой хилый и немощный, что муха крылом перешибет, а сколько от него зла! Вечно кого-то подозревает и всем недоволен, из двух возможностей всегда выбирает наихудшую для обвиняемого, а когда, как сейчас вот, чего-либо испугается, становится страшным. Судье стало ясно: нет смысла говорить с этим человеком, он поступит так, как решил; надо искать другие пути, чтобы помочь юноше.

Чамила увезли в Стамбул под надежной, хотя и не явной охраной. (Единственное, в чем валия уступил судьбе.) А с ним отправили и его отпечатанные книги и рукописи. Узнав об этом, судья и другие друзья послали следом своего человека, чтобы он объяснил в Стамбуле, как было дело, и помог юноше. Но когда тот прибыл в Стамбул, Чамила уже поместили к Латиф-эфенди, решив держать его до следствия в тюрьме.

Так выглядела история Чамил-эфенди со слов Хаима, пересказанная здесь коротко, без его повторений, отступлений и бесчисленных «Э?А!».

IV

Караджоз всегда побаивался политических заключенных. Он предпочитал возиться с сотней мелких и крупных уголовников, чем иметь дело с одним политическим. При упоминании о них он сразу оцетинивался. Он держал их у себя как «пересыльных», но никогда ими не занимался, обходил стороной как зачумленных и прилагал все силы, чтобы поскорее избавиться от всех политических, а также тех, кто попадал к нему под этим названием. Что же касается арестанта из Смирны, в нем все

поражало: юноша из почтенной турецкой семьи, вслед за ним прибыли ящики книг и рукописей, и не поймешь — то ли он очень умный, то ли помешанный. (А сумасшедшие и все, что с ними связано, вызывали в Караджозо суеверный страх и инстинктивное отвращение.) Но отказаться от арестанта он не мог. Так Чамил попал в одну из общих камер, где, как мы видели, и обрел себе пристанище на первые два дня.

Уже на следующее утро человек, посланный судьей из Смирны, добился у высших властей, чтобы Чамила отделили от остальных заключенных и чтобы во Дворе ему была предоставлена отдельная камера и подобающее содержание, пока не начнется следствие и дело не выяснится. Это было исполнено.

В последующие дни ффра Петар много раз медленным шагом обходил огромный Двор, словно кого-то разыскивая или поджидая, и скользил взглядом по окнам и балконам окружающих зданий. Время от времени к нему подходил Хаим. Он уже покинул свое место в уголке возле ффра Петара и двух торговцев и выбрал себе другое, еще более укромное. Сначала он объяснил это тем, что боится сквозняка. Но через два-три дня под секретом признался ффра Петару, что у него вызвали сомнения болгары — уж не шпионы ли? Ффра Петар рассмеялся и решительно отверг подобный домысел. При этом он внимательнее всмотрелся в худощавое лицо Хаима и впервые заметил на нем странно-сосредоточенное выражение, какое бывает у людей, постоянно ведущих борьбу с навязчивыми мыслями и болезненными страхами.

Два дня спустя Хаим, потупясь и тыча длинным и острым носом прямо в ухо ффра Петару, принялся нашептывать ему о каком-то новом шпионе и советовал остерегаться.

— Брось, Хаим, и не говори об этом никому.

— Так ведь я только вам.

— Никому не надо и мне тоже. Об этом вообще не говорят, — старался отделаться от него ффра Петар. Быстро возрастающее доверие Хаима было ему неприятно.

Так повторялось несколько раз. Ффра Петар начал понемногу привыкать к странностям Хаима. Он трепал его по плечу и успокаивал, стараясь придать разговору шуточный и беззаботный тон.

— Который, говоришь? Вон тот? Высокий блондин? Глупый, разве не видишь, что он сам еле жив от страха

и ему ни до чего нет дела? Он невинен, как младенец, зря ты пугаешься и людей подозреваешь.

Хаим успокаивался часа на два, но дольше выдержать не мог и снова подходил к ф́ра Петару, убеждая его, что доверяет только ему, и продолжал тот же разговор.

— Хорошо, насчет блондина я ошибся, скажем, напрасно принял его за шпиона, ладно, пусть так, но тут есть другой, а вы и не догадываетесь! Скажите, кто вон тот человек? Стоит у ворот, пялится прямо перед собой, словно его ничто не интересует? А вот тот, что нагло оглядывает каждого с ног до головы? Или этот, на вид совсем безвредный и даже глуповатый? Да, может быть, вовсе и не эти, а другие? Раз ни о ком ничего не знаешь наверняка, ни в ком не уверен, — значит, каждый может оказаться доносчиком. Каждый!

— Брось ты, Хаим, ради бога, эту чепуху, — говорил ф́ра Петар, чувствуя, что теряет терпение.

— Нет, нет! Вы, уважаемый друг, хороший человек и думаете, что все такие.

— Ну, что ж? И ты думай так, все хорошо и будет, брат Хаим.

— Хе, хорошо! Хорошо? — недоверчиво шепчет Хаим и, опустив голову, удаляется.

А на следующий день, рано утром, он снова приходил, как на исповедь. Даже в те минуты, когда страх ненадолго покидал его, он не мог успокоиться. С горячностью и раздражением он рассказывал о несправедливости, о причиненных ему убытках, о людях и нравах своего города. А ф́ра Петар пользовался любым случаем, чтобы завести речь о Чамил-эфенди. Хаима не надо было долго просить. Даже о том, о чем он, кажется, все сказал, он мог снова говорить долго и пространно, приводя множество новых и достоверных подробностей. Ф́ра Петар слушал внимательно, рассматривая худое, лобастое лицо Хаима. Кожа на лбу у него была так натянута и тонка, что сквозь нее проступала каждая жилка и были отчетливо видны впадины на висках; а волосы, странными пучками окружавшие лоб, неестественно вились и были такими сухими, словно корни их жгло невидимое пламя.

Когда, наговорившись, Хаим, вечно чем-то озабоченный, ссутулясь, уходил, ф́ра Петар провожал его долгим, сочувственным взглядом.

Прошло два дня, а Чамил не появлялся. Хаим, который несмотря на свои собственные заботы, умудрялся от-

куда-то все знать или хотя бы догадываться, объяснял отсутствие юноши тем, что его, вероятно, допрашивают и потому не выпускают из камеры во избежание каких-либо нежелательных встреч. Когда следствие окончится и дело будет передано в суд, Чамилу снова разрешат прогулки.

Все знал и все предвидел (хоть и не всегда точно) этот Хаим из Смирны. В данном случае его предположение оправдалось полностью.

В то утро фра Петар, думая о чем-то своем, сидел на камне и краем уха слушал препирательства и брань, которые доносились до него сразу с двух сторон, странно преломляясь и мешаясь в ушах.

Слева от него расположилась небольшая компания картежников. Пытаясь разрешить какой-то карточный спор, они устроили нечто вроде суда. Лица у всех хмурые, говорят отрывисто, сухо и грубо.

— Отдай деньги человеку, — тонким, но страшным голосом твердит верзила, видимо, главарь картежников.

— Вот что я ему отдам! — зло кричит в ответ невысокий коренастый игрок с воспаленными глазами и делает непристойный жест.

— Видал? Да еще ранил человека, чуть не убил, — слышится со стороны.

— А чего же его не убить?

— На каторгу захотел?

— Подумаешь, испугали! Как только выйду, тут же его уюкошу и запросто отсижу!

Раздается негодующий шум, среди которого едва различим голос верзилы, непоколебимый и угрожающий:

— Отдай деньги! Слышишь?

Перебранка справа еще громче, и по временам она совсем заглушает спор картежников. Тут и Заим, и говорливый человек атлетического сложения, бубнящий глухим басом, и какой-то новичок низенького роста по прозвищу Софта¹. Как всегда, эти говорят о женщинах. Заим пока молчит, видимо, придумывает новый рассказ. Спорят меж собой атлет и Софта.

Софта орет, и даже по голосу слышно, что он при этом подскакивает, как обычно делают низенькие люди, пытаются придать больше веса своим словам:

¹ Софта — ученик мусульманской религиозной школы (турецк.).

— Армянки, армянки — вот это женщины!

— Армянки? Какие армянки? И ты мне будешь говорить о женщинах! Ты? Да ты же еще малолеток!

— Мне тридцать один.

— Это ничего не значит. Дело не в годах, ты какой есть, таким и в пятьдесят лет будешь. Малолеток! Понимаешь? Ты малолетний и малосильный, малокровный и малодушный, вообще все в тебе начинается с «мало».

— Зато у тебя с «много», — вяло и неостроумно защищается коротыш; арестанты громко хохочут.

— Видишь, и опять не угадал. Уж если хочешь знать, во мне всего не просто «много», а слишком много. Поэтому я ни на что и не гожусь. Но ты-ы? — Глухой бас произнес какое-то коротенькое словечко, потонувшее в смехе окружающих.

И снова загудел бас. Опять о женщинах, о любви. Ни о чем другом он словно не умел говорить.

— Армянка — это, братцы, как лесной пожар. Разжечь трудно, но уж когда запылает, никак не погасить. Это не женщина, а кабала. И стоит этой напасти прилипнуть к мужику, он навеки в рабстве — да не только у нее, но и у всех ее родичей. И не только у живых, но и у мертвых, и даже у тех, что еще не родились. Целиком сожрут человека, но честно и по закону, только честно и по закону божьему. С богом-то они на короткой ноге. Армянка шесть дней в неделю ходит грязная, и только по праздникам умывается. Волосы по всему телу, до самых глаз, и вечно от нее несет чесноком. А черкешенка!

— Вот это женщина! — насмешливо подсказывает кто-то, выходя из круга.

— Да? — неодобрительно обрывает его бас, и слово это звучит будто сердитый вздох.

— Это, братец, летний день, а не женщина. Летний день, когда не знаешь, что лучше — земля или небо. Но тут надо, как говорят, хорошо подковаться. И опять же ничего не поможет, потому что с ней любой мастер — подмастерье. Это не птица — схватишь, и она твоя. Ее долго не удержишь, переливается с места на место, как вода, вроде и было, а вроде ничего и не было. Нет у ней памяти, не знает она, что такое разум, душа, милосердие. И никогда не поймешь ее законов.

И опять было произнесено короткое и непонятное слово, вызвавшее громкий смех. Фра Петар оторвался от своих мыслей и хотел уйти куда-нибудь подальше, но тот-

час же в изумлении остановился. Смущенно и тихо здороваясь, перед ним стоял Чамил.

Так всегда бывает. Люди, которых мы хотим видеть и очень ждем, появляются не в часы напряженных раздумий о них, а как раз тогда, когда мыслями мы от них всего дальше. И должно пройти некоторое время, чтобы проявилась наша радость, затаившаяся на дне души и пробужденная нежданной встречей.

Спасаясь от крика и смеха, они отошли в сторону.

— Надо же так, надо же так! — первым начал ффра Петар, повторяя, словно в замешательстве, эти три слова, когда они уселись рядом. (Он был даже доволен, что его радость кажется несколько меньше, чем была на самом деле.)

Бесконечно далекой почудилась им вдруг их последняя встреча, хотя прошло совсем немного дней. Юноша заметно похудел. Глаза запали, тени под ними стали темнее, лицо осунулось. То и дело, словно откуда-то со стороны, пабегала на лицо едва заметная улыбка, придавая ему смущенное выражение. Одежда помята, борода отросла, а сам он стал каким-то иным, еще более сдержанным и осторожным.

За время разлуки удивительная дружба между богатым юношей-турком из Смирны и приезжим боснийским монахом, вопреки всем ожиданиям, выросла и окрепла. Такая внезапная близость могла возникнуть лишь в этой странной тюрьме и при столь исключительных обстоятельствах. Правда, и сейчас в разговоре они в основном продолжали неторопливо делиться друг с другом тем, что некогда им довелось увидеть или прочитать. (О себе никто из них ничего не рассказывал.) Но их беседы резко отличались от того, что можно было услышать вокруг. А это главное. В разговорах они проводили целый день до самого вечера, когда нужно было расходиться по камерам, и прерывали беседу только на время, когда Чамил уходил на полуденную и послеполуденную молитвы. Как и раньше, говорил в основном ффра Петар, но постепенно молчаливый юноша стал больше принимать участие в разговоре, хотя голос его по-прежнему казался слабым эхом какого-то сильного и ясного голоса, и после нескольких первых слов он всегда переходил на шепот.

Именно таким шепотом однажды (ффра Петар опять никак не мог точно восстановить в памяти, когда и как это произошло) Чамил, прежде такой скупой на слова,

начал рассказывать историю султана Джема. И с этого времени он уже не говорил ни о чем другом. Повод был совершенно случайным или казался таким. Тихо, словно говоря о вполне обыденных вещах, Чамил спросил:

— Не приходилось ли вам встречать в исторических сочинениях имя султана Джема, брата Баязита Второго?

— Нет, — спокойно ответил ф́ра Петар, вспомнив предостерегающие рассказы Хаима и старательно скрывая свое волнение.

— Нет?.. Не приходилось?

Юноша явно колебался. Но все же, после нескольких вступительных слов, произнесенных с нарочитым равнодушием, он начал говорить.

V

Это была новая и величественная версия извечного рассказа о двух братьях. С тех пор как существует мир, непрестанно появляются и живут на свете два брата-соперника. Один из них, старший и умудренный опытом, человек с твердым характером, стоит ближе к реальной действительности, к тому, чем живет большинство людей; ему все удается, он всегда знает, что следует и чего не следует делать, что можно и чего нельзя требовать от других и от себя. Второй брат — полная его противоположность. Не жилец на этом свете, неудачник, он уже с первых шагов совершает ошибки, стремления его идут вразрез с требованиями практической жизни и всегда превышают его возможности. В столкновении со старшим братом — а столкновение это неизбежно — он заранее обречен на поражение.

Два брата столкнулись лицом к лицу, когда в один из майских дней 1481 года, во время военного похода, неожиданно скончался султан Мехмед II Завоеватель. Старшему, Баязиту, было тогда тридцать четыре года, младшему, Джему, только что исполнилось двадцать три. Баязит являлся правителем Амасии с резиденцией на Черном море, а Джем управлял Караманией и жил в Кони. Баязит был высокий, несколько сутулый brunet, сдержанный и молчаливый. Джем — коренастый, светловолосый и сильный, вспыльчивый и беспокойный. Джем, несмотря на молодость, собрал при своем дворе в Конии ученых, поэтов и музыкантов и сам писал неплохие сти-

хи. К тому же он был отличный пловец, атлет и охотник, «буйная головушка», как его называли, не знал меры ни в мыслях, ни в наслаждениях, так что дня ему вечно недоставало, и, стараясь продлить его, юноша отнимал сколько мог время у ночи и сна... Он знал греческий и читал по-итальянски.

Баязит был из тех людей, о которых мало говорят. Хладнокровный и храбрый, искусный стрелок и солдат, он не только как старший и более опытный, но и вследствие своих склонностей лучше знал огромное царство отца, его законы и порядки, источники его доходов и отношения с окружающим миром. Он принадлежал к породе людей, которые в каждый данный момент подчиняют себя одной мысли, одному действию, к тому же самому нужному и целесообразному.

В борьбе за освободившийся престол Баязит оказался более быстрым и ловким. Джем имел больше сторонников и при дворе и в армии. (Все знали, что султан Мехмед благоволил к младшему сыну и в нем видел своего преемника.) Но люди Баязита были лучше организованы, связаны с ним и меж собой и действовали энергичнее. Баязит первым прибыл в Стамбул и захватил власть. Он сразу же стал готовить армию против брата, который со своими солдатами направлялся из Карамании в Стамбул.

Войска Джема, под командой Кедик-паши, подошли к Брусе, древней резиденции османских правителей, живописному зеленому городку, лепившемуся по склону высокой горы, и взяли его с боем. Но на равнине стояла армия Баязита, которой командовал Аяс-паша. Начались переговоры. Каждый из братьев обладал достаточным количеством доводов, подтверждавших его права на престол. Баязит был старшим, более сведущим в делах, его уже признали и провозгласили государем в Стамбуле. Джем основывал свои права на других фактах. Баязит родился еще во время правления их деда Мурата II, когда отец был лишь наследником престола, к тому же мать Баязита была простой рабыней. Джем родился уже как сын султана Мехмеда II, а мать его происходила из сербского княжеского рода. Сам султан Мехмед при жизни хотя и не говорил открыто, но и не скрывал, что младший сын ему ближе и что в душе он считает его своим преемником. За спинами братьев стояли могущественные паши, движимые кто искренней преданностью, а кто личной выгодой.

И как это всегда бывает, каждый из братьев находил в своем окружении достаточно советчиков, доказывающих справедливость его притязаний, и оба были уверены в своей правоте и силе.

В таких условиях переговоры не могли быть плодотворными. Джем требовал свою часть царства в Азии. Баязит спокойно отвечал, что царство едино и неделимо и что султан может быть лишь один, а брату с его гаремом предлагал переселиться в Иерусалим и спокойно жить там, обещая ежегодно высылать ему огромное содержание. Об этом Джем и слушать не хотел. Произошло сражение. У Баязита уже давно был свой человек среди приближенных брата — Якуб-бег. Джем потерпел поражение и едва унес ноги. Он бежал в Египет, где его хорошо принял египетский султан, которому был на руку раздор между братьями. При поддержке египетского султана Джем еще раз попытал счастья на поле боя и снова был разбит. С несколькими преданными людьми, без армии, он оказался на малоазиатском берегу. (Его мать, жена и трое малолетних детей остались в Египте.) Очутившись в безвыходном положении, прекрасно сознавая, что его ожидает, если он попадет в руки брата, он решил бежать на остров Родос и просить убежища у тамошних христианских властей.

Родос, который за несколько лет до того безрезультатно ссаждал Мехмед II, находился под властью могущественного католического ордена иоаннитов, иерусалимских рыцарей ордена святого Иоанна, и представлял собой передовое укрепление западного христианского мира. Джем был знаком с рыцарями этого ордена, ибо раньше, по поручению отца, вел с ними переговоры. Он обратился к ним с просьбой об убежище, и они тотчас же послали за ним специальное судно, которое перевезло на Родос и всю его свиту — около тридцати человек.

Мятежник и претендент на престол был встречен с царскими почестями магистром ордена д'Обиссоном (Pierre d'Aubisson), монахами-рыцарями и всем населением острова. Глава ордена снова заверил Джема в том, что ему гарантирована свобода и право убежища, а что касается места жительства, он советовал выбрать Францию, пока счастье не улыбнется ему и он не возвратится в Турцию султаном.

Джема со свитой отправили во Францию. Д'Обиссон начал предпринимать всевозможные шаги, чтобы как мо-

жно выгоднее использовать положение несчастного принца в интересах ордена, всего христианского мира и в своих собственных. Он прекрасно сознавал, какой важный заложник попал в его руки. Во Франции Джемму, в нарушение данного слова, не предоставили свободы, а заточили в крепость, принадлежавшую ордену иерусалимских рыцарей.

Вокруг «брата султана» образовался целый клубок всяческих козней и хитрых расчетов, в которых были замешаны все европейские государства, папа и, конечно, сам султан Баязит. И Матиаш Корвин, венгерский король, и папа Иннокентий VIII жаждали заполучить Джемму, чтобы воспользоваться его именем в борьбе против Турции и Баязита II. Но хитрый Пьер д'Обиссон крепко держал драгоценного пленника в своих руках и умело спекулировал им, шантажируя и Баязита, и египетского султана, и папу. Баязит вносил крупные суммы на содержание Джеммы, а вернее на то, чтоб орден не выпускал его из своих рук и не передавал другим. За Джемму папа обещал магистру сан кардинала. Значительные суммы посылал и египетский султан. Даже несчастная мать Джеммы, оставшаяся в Египте и не перестающая хлопотать об освобождении сына, тоже посылала деньги, которые, разумеется, попадали в карман главы ордена.

Борьба за «брата султана» и ловкая игра д'Обиссона продолжалась восемь лет. За это время Джемму неоднократно переводили из одной французской крепости в другую, всегда под усиленной охраной иерусалимских рыцарей. Мало-помалу сокращалась его свита. В конце концов с ним осталось всего пятеро преданных сторонников. Все попытки бежать и вырваться из лап вероломных иоаннитов оказались безуспешными. Со своей стороны, султан Баязит делал все, чтобы освободиться от постоянного давления, которое на него оказывали христианские правители, пользуясь, как орудием, его злосчастливым братом. Он получает сведения о брате через Венецию, Дубровник и неаполитанского короля, держит постоянную связь с Пьером д'Обиссоном и оказывает ему бесконечные и самые разнообразные услуги. Их интересы в известном смысле совпадают. Д'Обиссону выгодно как можно дольше держать Джемму под своей властью и с его помощью продолжать шантажировать чуть ли не весь мир, для Баязита же главное, чтобы его брат-соперник сидел в надежной

крепости, а не возглавлял армию, выступающую против Турции.

На восьмой год пребывания Джема во Франции — а шел 1488 год — дипломатическая борьба вокруг его личности достигла предела. Со всех сторон во Францию прибывают посланцы с одной целью — заполучить Джема. Посланник Баязита, грек-христианин Антонио Рерико, при содействии посланника неаполитанского короля явно и тайно предлагает французскому королю и его придворным большие суммы; обещает власть над Иерусалимом, после того как Баязит одолеет египетского султана и захватит город; преподносит подарки, на которые так падки придворные вельможи и особенно дамы. В то же время король Венгрии Матиаш Корвин шлет блестящую депутацию и требует передать ему «брата султана» и тем самым внести вклад в борьбу против Баязита. Однако наиболее деятельна депутация папы Иннокентия VIII, который, невзирая на старость и болезни, не отказывается от своего намерения вовлечь христианских государей в крестовый поход против Турции. Для этого ему нужно как действительное средство заполучить в свои руки «брата султана».

Великий ловкач с острова Родос преследует свои цели. Ему удается внушить французскому королю, что Джема необходимо передать папе. В феврале 1489 года рыцари усаживают Джема и его свиту на галеру в Тулоне и после долгого и тяжелого пути привозят в Чивитавеккью, где их встречает огромная папская депутация. В блестящем сопровождении Джем въезжает в Рим, навстречу ему выходят кардиналы и весь папский двор вместе с дипломатическими представителями. Джем и его свита появляются в ярких восточных одеяниях на превосходных конях. На следующий день папа очень любезно принимает давно желанного гостя — турецкого принца — и дает ему торжественную аудиенцию. Джем отказывается склониться перед папой, как это делают другие, и обнимается с ним как равный с равным, государь с государем.

Пьер д'Обиссон становится кардиналом, а его орден получает не только признание папы, но и другие весьма значительные привилегии и льготы.

Несколько дней спустя папа принял Джема неофициально. Здесь разговор велся более откровенно. Джем заявил, что рыцари с Родоса его обманули и держали в тюрьме. Он просил папу отпустить его в Египет, где жи-

вет его мать и семья. Джем говорил так прочувственно, что на глазах у папы выступили слезы. Он утешал Джема добрыми словами, но дальше слов дело не пошло.

Неслыханная дипломатическая борьба вокруг Джема продолжалась и обострялась. Папа сколачивал антитурецкую лигу христианских правителей. В этом крестовом походе Джемуну была отведена важная роль, и Ватикан оказался для него золотой клеткой. Матиаш Корвин требовал Джема к себе. То же делал и египетский султан, предлагая выкуп и шестьсот тысяч дукатов; еще шестьдесят тысяч давала мать Джема.

В 1490 году умер Матиаш Корвин. Это нанесло тяжелый удар идее общехристианского похода против Баязита. Баязит, узнав, что Джем в руках папы, направляет в Рим своего особого посланника. Папа принимает его, и тут обнаруживаются хитрости и обман д'Обиссона и всплывают на свет суммы, которые он принимал от Баязита. Султан предлагал папе держать у себя Джема на тех же условиях, что и рыцари с острова Родос, то есть за известные политические уступки и 40 000 дукатов ежегодно. Прежде чем уплатить сумму в 120 000 дукатов за три года вперед, посланец, как ему было предписано, захотел лично увидеть Джема, дабы убедиться, что он жив и действительно находится у папы. Джем согласился его принять, но только как султан, с соблюдением полного церемониала. Скрестив ноги, он сидел на специальном престоле в окружении свиты. При нем был один из кардиналов. Посланец Баязита пал ниц перед султаном Джемом и передал письмо и подарки, которые ему посылал брат. Письмо было прочитано Джемуну на ухо, а подарки, даже не взглянув на них, он отдал свите, чтобы приближенные поделили их между собой.

Иннокентий VIII не перестает сколачивать лигу против Турции, а Баязит строит планы, направленные против Венгрии и Венеции. Во всем этом личность Джема играет большую роль. Султан посылает папе «копье, которым был пронзен на кресте Христос», и другие драгоценные реликвии, требуя одного: держать Джема в заточении и никому не передавать. А папа требует, чтобы султан не нападал на христианские страны, иначе он пустит в ход Джема, поставив его во главе похода против Турции.

В это время папа Иннокентий VIII умирает. Пока происходили выборы нового папы, Джем для верности

был заключен в крепость св. Ангела. Папой избрали кардинала Родриго Борджиа, известного под именем папы Александра VI.

Казалось, для царственного заложника наступили лучшие времена. Он подружился с сыновьями папы, мог более свободно передвигаться, принимал участие в торжествах. Хроники, письма и воспоминания того времени рисуют Джема тридцатилетним мужчиной, которому можно было дать все сорок. Полный и смуглолицый, с прищуренным левым глазом, он был похож «на человека, который во что-то целится». Мрачный, вспыльчивый, немилосердный к подчиненным, Джем с жадностью предавался удовольствиям, и особенно любил вино, ища в нем забвения и покоя.

Как раз в то время возникают крупные распри между западными христианскими государями. Молодой французский король Карл VIII отправляется с армией в Италию, чтобы занять неаполитанское королевство, на которое он предъявляет права, и, как он утверждает, повести оттуда войска христианской лиги в крестовый поход против Турции. Папа предпринимает все, чтобы воспрепятствовать его вступлению в Италию. В те дни Александр VI ведет переговоры даже с Баязитом и ищет у него поддержки против французского короля. Баязит шлет ему условленную сумму в 40 000 венецианских дукатов на содержание Джема, а в особом письме, адресованном лично папе, предлагает 300 000 дукатов за выдачу трупа своего брата. Переписку перехватывают противники папы в Италии и передают ее гласности.

Карл VIII вторгается в Италию. Он быстро захватывает город за городом и в последний день 1494 года вступает в Рим. Папе не остается ничего иного, как с наименьшим ущербом для себя пойти на соглашение с молодым завоевателем. Одно из требований Карла заключалось в следующем: папа должен передать ему «брата султана», которого он собирался использовать в борьбе против Баязита. Было решено, что Карл возьмет Джема с собой в поход на Неаполь, а позднее на Турцию. Но папа требовал гарантии, что по окончании войны французский король вернет ему драгоценного заложника. Точно так же папа оговорил, что 40 000 дукатов, регулярно высылаемых султаном, по-прежнему будут принадлежать ему.

В торжественной обстановке перед лицом множества свидетелей папа передал французскому королю Джема и

его уже совсем поредевшую, малочисленную свиту. Когда папа сообщил свое решение Джему, тот заявил, что он раб и ему совершенно безразлично, у кого быть в рабстве — у папы или у французского короля.

Папа пытался красивыми словами разуверить и успокоить Джема. Карл VIII был к нему внимателен и обращался с ним как с государем.

Отправляясь в поход против неаполитанского короля, Карл VIII взял Джема со свитой и, в качестве заложника, сына папы Чезаро, кардинала Валенсии. Но по дороге хитрый Чезаро сбежал, а Джем заболел. Болел он всего несколько дней. Скончался он в Капуе, раньше чем они достигли Неаполя.

Приближенным, которые провели вместе с ним годы плена, он завещал любым способом перевезти его тело в Турцию, чтобы неверные не спекулировали им после смерти. Он продиктовал письмо своему брату, в котором просил разрешить его семье вернуться в Стамбул и проявить милосердие к тем, кто были его верными спутниками в долгом рабстве.

Карл VIII приказал забальзамировать тело Джема и положить его в свинцовый гроб.

Тотчас же разнесся слух, что папа, прежде чем передать Джема королю, отравил его. Венецианский сенат поспешил первым сообщить султану Баязиту приятную весть о смерти Джема.

Поход Карла VIII окончился неудачей. Карл возвратился во Францию и вскоре скончался. Тело Джема осталось у неаполитанского короля. Вокруг него велась долгая переписка. Неаполитанский король старался как можно больше выжать из Баязита. Вступил в спор, требуя свою долю, и папа Александр VI. Но неаполитанский король воспользовался всем один. Труп Джема помог ему заключить выгодный договор с султаном, и только в сентябре 1499 года тело наконец было передано Баязиту, который торжественно похоронил его в усыпальнице турецких государей в Брусе.

VI

Вот канва рассказа Чамила, переданная сухо и кратко. То, что фра Петар слышал от своего друга, изложено было значительно подробней, ярче и с иным смыслом.

Все сводилось к одному: существуют два мира, и между ними нет и не может быть ни подлинных связей, ни взаимопонимания; два страшных мира, обреченных на вечную войну, принимающую тысячу разных форм. А между этими враждебными друг другу мирами — человек, вынужденный бороться с ними. Сын рыцаря, брат царя и, по глубочайшему убеждению и мироощущению, сам царь — и в то же время несчастнейший из людей. Сначала предательство и поражение, затем обман и лишение свободы и, наконец, трагическая западня, когда один, без друзей и близких, он оказался на виду у всего света, словно прикованный к позорному столбу. Но у него хватило гордой решимости выдержать все до конца и при всех обстоятельствах остаться тем, кем он был, не забывать о своей цели и не уступить ни палачу-брату, ни иноверцам, которые подло его обманывали, шантажировали, продавали и перепродавали.

Следуя за превратностями и перипетиями необычной судьбы султана Джема, фра Петар слышал множество имен и названий чужеземных городов и могущественных правителей — царей, королей, пап, князей и кардиналов, о существовании которых он раньше не знал. Все это он, естественно, не мог ни повторить, ни запомнить. Часто случалось, что он вдруг терял нить рассказа и уже не понимал, кто кому приходится родней и кто кого обманывает, покупает и продает, а по временам и совсем переставал вникать в то, что слушал, размышляя о собственной горькой доле. Но и в этом случае он делал вид, будто внимательно слушает, ибо сочувствовал человеку, для которого так важно было излить свое сердце.

Однако в этих рассказах встречались и совсем непонятные для него вещи, как, например, стихи Джема о судьбе, о вине и пирушках, о красивых юношах и девушках. Стихи Чамил читал наизусть, словно сам их сочинял. Смущали монаха отдельные слова и резкие высказывания Джема о папах и других князьях церкви. Но фра Петар полагал, что сейчас не место и не время рассуждать об этом и наставлять юношу. Тем более что ему самому далеко не все было ясно и понятно. Надо дать человеку высказаться до конца. К фре Петару люди всегда и всюду подходили свободно, быстро сближались с ним и легко открывали ему душу. Он воспринимал это как естественное, совсем обычное дело и всегда старался внимательно выслушать каждого. Так было и сейчас.

Исповедь юноши из Смирны затянулась и казалась бесконечной. Отрешившись от всего окружающего, он часами рассказывал о судьбе султана Джема, словно ему было совершенно необходимо рассказать все подробно и как можно скорее, ибо завтра, может быть, уже будет поздно. Он говорил то по-турецки, то по-итальянски, забывая в спешке переводить французские и испанские цитаты, которые приводил по памяти.

Обычно разговор начинался рано утром где-нибудь под навесом, в теплой тени, которая постепенно укорачивалась, а продолжался в глухих закоулках огромного двора, где они пытались укрыться от солнечного зноя и шумных, докучливых забав и свар заключенных.

Фра Петар заметил, что Хаим подходит к нему только тогда, когда он один, и ни разу не присоединился к ним во время этих бесед. Случалось, что кто-нибудь из заключенных, идя мимо, останавливался и начинал прислушиваться к шепоту юноши. Чамил мгновенно замолкал, словно лунатик, разбуженный среди своего опасного сна, впадал в тупое молчание, машинально, не к месту повторяя свое обычное «да, да», а затем холодно бросал на прощанье какую-нибудь незначительную фразу и поспешно уходил.

На следующее утро он появлялся в том же расположении духа, хотя на лице его можно было уловить едва приметные следы каких-то ночных раскаяний и решений; безмолвный, замкнувшийся в себе, он подходил со слабой улыбкой, которая все скрывает, не говоря ни о чем, и произносил обычные слова об обычных вещах. Но это продолжалось недолго. В разговоре его настроение незаметно и для него и для фра Петара сменялось. Сам не зная почему, он снова отдавался своей страсти и тихо и горячо, словно исповедуясь, продолжал повествовать о Джеме и его судьбе.

На третий день Чамил подошел к печальному и торжественному концу этой истории, к светлой горделивой усыпальнице в Брусе, белые стены которой испещряли самые прекрасные изречения из Корана, выведенные словно узоры из чудесных цветов и хрустала. После этого Чамил начал подробно пересказывать отдельные эпизоды. Один за другим следовали счастливые и тяжкие дни жизни Джема, его встречи и споры с людьми, любовь, ненависть и дружба, попытки бегства из христианского

рабства, надежды и отчаяние, размышления в часы бессонницы и сумбурные видения в короткие часы сна, его гордые, горькие ответы высочайшим лицам из Франции и Италии, гневные монологи в заточении, которые Чамил произносил каким-то иным голосом, не похожим на свой.

Без всякого предисловия и заметной связи с предыдущим, нарушая временной порядок, юноша начинал рассказывать какой-нибудь эпизод, вырванный из середины или конца жизни Джема. Говорил тихо, потупясь, не обращая внимания на то, слушает ли его собеседник, успевает ли следить за рассказом.

По правде говоря, ффра Петар не уловил, как началось это беспорядочное и бесконечное повествование. Так же точно он пропустил ту скорбную минуту, когда от рассказа о чужой судьбе Чамил впервые явно перешел на личную исповедь и стал говорить от первого лица.

(Я! Тяжелое слово. В глазах тех, перед кем мы его произносим, оно определяет наше место, ффатальное и неизменное, зачастую совсем не соответствующее нашему представлению о себе, нашей воле и нашим силам. Страшное слово, которое, сорвавшись однажды с языка, навсегда связывает и отождествляет нас со всем тем, о чем мы думали, что произносили и чему внутренне давно уподобились, хотя никогда об этом не помышляли.)

С возрастающим недоумением, страхом и сочувствием, едва скрывая волнение, ффра Петар продолжал слушать Чамила. Когда вечером он оставался один и думал о юноше и обо всем, что с ним происходит (а не думать об этом было невозможно), он упрекал себя за то, что решительно не остановил его, что вовремя не встряхнул его как следует и не вывел из опасного заблуждения. И тем не менее, когда на следующий день они снова встречались и молодой человек опять отдавался во власть своих болезненных наваждений, он слушал его, как прежде, с легким страхом и глубоким сочувствием, не осмеливаясь прервать и вернуть к действительности. А когда, вспоминая о вчерашнем намерении, исполнить которое ффра Петар считал своим долгом, он пытался перевести разговор на другую тему или будто бы случайно брошенной ффразой отделить живого рассказчика Чамила от мертвого султана Джема, он делал это неловко и нерешительно. Он очень жалел юношу. Врожденные непосредственность и простодушие, всегда позволявшие ему

открыто высказывать свои мысли, были словно скованы настойчивой исповедью молодого человека. И дело обычно кончалось тем, что монах замолкал и, не одобряя, но и не осуждая вслух, продолжал внимать страстному шепоту юноши. То, чего нет, чего не может и не должно быть, оказалось сильнее того, что есть, что существует прямо и реально и что единственно возможно. А затем ффра Петар снова укорял себя за то, что и на этот раз отступил перед неодолимой волной безумия и не постарался вернуть молодого человека на путь рассудка. В такие минуты он ясно ощущал себя соучастником этого безумия и давал себе слово завтра же при первом удобном случае сделать то, что упустил нынче.

Так[^] прошло дней пять или шесть. Начиналось все утром, почти в одно и то же время, словно некая вошедшая в обычай церемония, и продолжалось с двумя-тремя коротенькими перерывами до самого вечера. Рассказ о султанине Джеме, о его страданиях и подвижничестве казался бесконечным. Но однажды утром Чамил не пришел. Ффра Петар искал его, ждал, в тревоге заглядывал во все уголки двора. Дважды в тот день к нему подходил Хаим и снова изливал на него потоки своих старых волнений и жалоб на несправедливость смиренских властей, своих вечных подозрений и страхов перед шпионами и ловушками. Ффра Петар слушал его рассеянно, думая о пропавшем Чамиле.

Ему казалось, что он видит его перед собой, как вчера, слышит, как быстро, словно читая по книге, тот говорит:

— Стоя в блестящем одеянии на палубе корабля, пристающего к Чивитавеккье, и, видя на берегу пестрые, застывшие в парадном строю ряды папских солдат и высоких церковных сановников, Джем размышлял обо всем с ясностью, какая возможна лишь в те часы, когда человек покончил счеты с одной жизнью и еще не начал другую. Холодно думал он о своем несчастье и воспринимал его трезво, без всяких иллюзий, как будто услышал о нем из чужих уст.

Повсюду встречают его чужие люди, выстроившись, словно живая стена тюрьмы. А что можно ожидать от этих людей? Сожаления? Но это единственное, что ему не нужно и в чем он никогда не нуждался. Соболезнование, которое пытались высказывать не часто попадавшиеся на его пути добросердечные и благородные люди, было лишь свидетельством его несчастья и беспримерного уни-

жения. Соболезнование тяжело и оскорбительно даже для покойников, а как же выносить его здоровому, все сознающему человеку, как может живой глядеть в глаза живых и читать в них лишь одно — жалость.

«Из всего, что есть в мире и что представляет собою мир, я хотел создать средство, при помощи которого я бы мог захватить и победить мир, а вышло наоборот — мир сделал меня своим орудием».

И что же такое в конце концов Джем Джемшид? Раб, но не только раб. У обычного раба, которого водят на цепи с рынка на рынок, все же еще остается надежда на доброго хозяина, на выкуп или на бегство. А Джем откуда ожидать милости, да он и не смог бы ее принять, даже если бы кто-либо отважился ему ее оказать. Выкуп? Кому нужно его выкупать? Наоборот, и одна и другая сторона платят целые состояния, чтобы он остался рабом и не мог откупиться. (Исключение составляет лишь мать, непокорившаяся, чудесная женщина высокой души, но ее бессильные попытки только увеличивают тяжесть его унижения.) Бегство? И простому рабу трудно порвать свои цепи, но, убегая, он всегда хоть капельку надеется, что сумеет перехитрить преследователей и доберется до своих соотечественников, где будет жить, как свободный и простой человек среди свободных и простых людей. А для него, Джема Джемшида, не существует и этой возможности. Весь обитаемый мир разделен на два лагеря — турецкий и христианский, и в обоих для него нет убежища. И там и здесь он может быть лишь султаном. Победитель или побежденный, живой или мертвый. Поэтому он раб, который не может даже во сне мечтать о побеге. Это путь и упование для менее великих и более счастливых, чем он. А он осужден быть султаном — пленным здесь, живым в Стамбуле или мертвым в земле, но всегда и везде только султаном, и только на этом пути его может ждать спасение. Султан — и ни на волос меньше, ибо иначе это уже не султан, и ни на волос больше, ибо большего не бывает. Это неизбывное рабство, от которого не спасет и сама смерть.

Корабль ударился краем о пристань. Было так тихо, что этот звук все услышали, он легким эхом пролетел над берегом, где все, от кардинала до конюха, не мигая смотрели на высокого человека в белой, расшитой золотом чалме, который стоял, словно статуя, впереди своей свиты, застывшей в трех шагах от него. И не было

ни одного человека, кто бы не видел в нем султана и кто бы не понимал, что ничем иным этот человек не может быть, хотя именно поэтому он и обречен на гибель.

Говоря это, Чамил и сам поднялся. Он не допускал, чтобы стражники загоняли его в камеру, как остальных заключенных, и обычно уходил туда немного раньше назначенного часа. Как всегда, смиренно поклонившись, он исчез в одном из закоулков Проклятого двора, который уже окутывали первые тени густых сумерек.

VII

Юноша не появлялся два дня, а на третий день около полудня к ф́ра Петару подошел Хаим и, бросая вокруг пугливые, испытующие взгляды, сказал, что с Чамилом «случилось неладное». Ничего больше даже он сказать не мог.

Лишь спустя два дня тот же Хаим, который все это время не сидел сложа руки, принес уже готовый рассказ об исчезновении Чамила.

Сначала, низко опустив голову и нахмурясь, он долго описывал около ф́ра Петара широкие, но все более сужавшиеся круги и эллипсы, исподлобья поглядывая по сторонам и стараясь, очевидно, чтобы их встреча выглядела случайной, но при этом, конечно, и не подозревал, насколько все эти его «меры предосторожности» прозрачны и бесполезны. Подойдя наконец к монаху вплотную, он тихонько спросил:

— Вас допрашивали?

— Нет,— громко ответил ф́ра Петар, которого все больше раздражала подозрительность Хаима.

Однако, надеясь, что Хаим разведал что-нибудь о Чамиле, сразу повторил более мягко:

— Нет. А что?

Тогда Хаим начал рассказывать. Сперва он держался так, словно остановился мимоходом, на минутку, и тотчас же двинется дальше, то и дело тревожно поглядывая по сторонам, но мало-помалу обо всем забыл и, не повышая голоса, заговорил оживленнее.

Некоторые места в его рассказе были, конечно, туманны и необъяснимы, но зато другие изобиловали такими подробностями, как будто Хаим был очевидцем событий. Он знал и видел все, даже то, что невозможно увидеть.

Когда Чамил в сумерках вошел в свою просторную камеру, которую стражник сразу же за ним запер, там еще было светло и все хорошо видно. В двух начищенных до блеска медных мисках с крышками стыл ужин, о каком другие заключенные и мечтать не могли. Все было так же, как всегда по вечерам. Чамил принялся ходить из угла в угол в тщетном ожидании сна, который, он это отлично знал, не придет и нынче. Мало-помалу затихли последние звуки во дворе. Мрак поглотил белые стены и все предметы, камера стала словно меньше. Чамил не спал. В новом, ночном мире начали возникать едва заметные звуки и отблески — игра обостренного слуха и зрения, когда сна все нет и нет. В какую-то минуту, он сам не знал точно когда, ему почудилось, что кто-то пытается попасть ключом в замочную скважину. Но это уже не был обман слуха. Дверь в самом деле бесшумно отворилась, и в ней затрепетал слабый свет. В комнату бесшумно вошли два человека. За ними появился слуга с фонарем. Он сразу же отошел в сторону, поднял фонарь и замер в неподвижности. Свет разлился по сторонам. Один из вошедших был толст, все в нем казалось круглым и мягким: внешность, голос, движения. Другой — тощий, одни кости, обтянутые смуглой кожей. У него были большие, глубоко посаженные глаза и огромные страшные руки, которые выделялись на свету. Пришельцы казались воплощением двуликой султанской правды. Только первый из них учтиво (от этой учтивости бросало в дрожь) поздоровался. И началось.

Подозрительно мягким голосом толстый чиновник заявил, что предварительный допрос носил скорее формальный характер и что, естественно, в том же духе были и ответы. Но на этом, конечно, дело кончиться не может.

— Пора вам наконец, Чамил-эфенди, признаться, для кого вы собирали сведения о султানে Джеме, разрабатывали подробный план восстания против законного султана и как изыскивали средства и пути для завоевания престола с помощью иностранных врагов?

— Для кого? — тихо повторил юноша, очевидно, готовясь защищаться.

— Да, для кого?

— Для себя, и ни для кого иного. Я изучал лишь то, что известно из нашей истории. Углубился...

— Почему же из всех вопросов, о которых пишут в

книгах и которыми занимается наука, вы выбрали именно этот?

Молчание.

(Хаим уже позабыл всякую осторожность и говорил оживленно, сопровождая слова мимикой и жестами.)

— Послушайте,— спокойно и с нарочитой торжественностью продолжал толстый чиновник,— вы умный и образованный человек, из почтенной семьи. Вы же сами видите, что впутались или кто-то вас впутал в очень нехорошее дело. Вам известно, что и нынче восседает на престоле султан и халиф (продли, боже, его век и даруй ему всякие успехи), и вы избрали совсем неподходящий предмет для размышлений, а тем более для изучения, сочинительства и разговоров. Вы же знаете, что слово, произнесенное даже в дремучем лесу, не пропадает бесследно. А представляете, что происходит, когда слово это написано или сказано, как это вы делали в Смирне? Объясните нам, в чем дело, признайтесь откровенно. Так будет легче для нас и лучше для вас.

— Все, о чем вы говорите, не имеет никакого отношения ко мне и к моим мыслям.

Голос юноши звучал искренне, с едва заметным раздражением. Тогда чиновник оставил свой торжественно-учтивый стиль и заговорил другим тоном, который был для него гораздо естественней.

— Погодите! Не может быть, чтобы не имело никакого отношения. Все со всем как-то связано. Вы человек образованный, но и мы не лыком шиты. Никто не возьмется за такое дело без определенной цели.

Говорил только тот, толстый. Чамил о чем-то задумался и отвечал уже как-то туманно, словно эхо.

— Цели? Какой цели?

— Вот это как раз мы и хотели бы от вас услышать.

Юноша ничего не ответил. Думая, что он колеблется, толстый чиновник снова заговорил, самоуверенно и властно:

— Итак, пожалуйста. Мы ждем!

Это было сказано сухо и решительно, с едва скрываемым нетерпением и угрозой.

Юноша бросал взгляды по сторонам, вглядываясь в темные углы, словно за пределами освещенного пространства искал свидетеля. Он думал над тем единственным словом или фразой, которые бы все объяснили им и до-

казали, что у него нет никакой цели и что в своих занятиях он не может и не обязан давать отчет, тем более в такой час и при таких обстоятельствах. Ему казалось, что он уже говорит, но на деле он молчал. Зато говорили оба чиновника (теперь открыл рот и тощий), говорили быстро, настойчиво, сменяя один другого:

— Говорите!

— Признавайтесь, для вас же будет лучше и проще.

— Говорите, раз уже начали.

— Итак, с какой целью и в чьих интересах?

Они засыпали его вопросами. Юноша жмурился от света и по-прежнему беспокойно поглядывал в темные углы. Он медленно собирался с мыслями, не успевая толком понять и расчленить вопросы. Но вдруг тощий подошел к нему ближе, повысил голос и уже обратился к нему на «ты»:

— А ну, давай говори!

На этом и сосредоточилось теперь все внимание Чамила. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, ослабевшим и совсем уже неспособным к защите. Вина его и несчастье заключались не в какой-то «цели», а в том, что его поставили (или он сам себя поставил) в такое положение, когда его смеют об этом допрашивать, да еще подобные люди — хотел он сказать. И думал, что говорит, а сам молчал.

Так продолжалось довольно долго. Но в какую-то минуту этой глухой ночи за пределами времени, которое солнце отмеряет восходами и заходами, за пределами человеческих отношений, Чамил открыто и гордо признал, что он — то же, что и султан Джем, то есть несчастный человек, который, попав в безвыходное положение, не желает и не может отречься от себя и не быть тем, что он есть.

— Я — это он! — сказал он еще раз тихим, но твердым голосом, каким произносят решающее признание, и опустил на скамейку.

Толстый чиновник невольно отпрянул от него и замолчал. Но тощий словно бы не ощутил священного ужаса при виде человека, который так явно сбился с пути истинного и навсегда поставил себя вне мира и его законов. Преисполнившись слепого усердия, тощий полицейский решил воспользоваться свободой, которую предоставил ему своим молчанием более умный товарищ. Он задавал все новые вопросы, намереваясь вытянуть из юноши признание, что в Смирне существовал какой-то заговор.

Чамил сидел на низенькой скамеечке, целиком уйдя в себя; выглядел он совершенно изможденным. Тощий приплясывал вокруг него и кричал ему прямо в лицо. Ему казалось, что перед ним тело, лишенное воли и сознания, с которым он может делать все, что угодно. Это разжигало в нем злобу, он становился все нетерпеливее и бесцеремонней. И тут-то он, вероятно, положил одну из своих лапиц на плечо Чамила. Юноша, уязвленный этой оскорбительной фамильярностью, резко оттолкнул его. И в мгновение ока завязалась драка. Вмешался и второй полицейский. Чамил оборонялся и нападал с такой силой и ожесточением, каких от него никто не мог ожидать. В свалке был сбит с ног и слуга с фонарем. А когда ему удалось вырваться из этого клубка рук, ног и ударов, он выскочил из камеры и, пока там в полной темноте продолжалась схватка, поднял во Дворе тревогу. (От этого слуги и разбуженных заключенных и стало известно о том, что произошло ночью с юношей из Смирны, а все, о чем шептались во Дворе, немедленно становилось известно Хаиму.)

В ту же ночь Чамила вынесли в одни из ворот Проклятого двора.

«Живого или мертвого? Куда его погнали!» — возбужденно думал ффра Петар. А Хаим уже отвечал и на эти вопросы.

Если он жив, то, вероятно, в Тимар-хане, около Сулеймании, где содержат душевнобольных. Там, среди сумасшедших, его рассказы о себе как о наследнике престола ничем не будут отличаться от обычной болтовни безумных, от их безопасного бреда, на который никто не обращает внимания. Впрочем, такой болезненный человек и не протянет долго, он быстро и незаметно уйдет из этого мира вместе со своими фантастическими идеями, и ни с кого никогда за это не спросят.

Но если схватка оказалась в самом деле серьезной и юноша, сражаясь с двумя полицейскими, зашел далеко и ранил кого-либо из них (а очевидно, так и случилось, ибо утром в камере смывали с пола пятна крови), тогда, по всей вероятности, слуги султана пошли еще дальше, ибо удары здесь никто не считает и силу их не измеряет. В таком случае несчастный сын Тахир-паши уже в могиле. А могила с белым камнем без надписи не говорит ни о чем: ни о царях, ни об их распрях, ни о борьбе с соперниками,

Только рассказав все это, Хаим снова вспомнил об угрожающих ему «опасностях» и, не простившись, бросая по сторонам подозрительные взгляды, поспешил прочь, стараясь принять вид человека, бесцельно шатающегося по огромному Двору.

Фра Петар стиснул зубы от горького гнева на свою судьбу, на все вокруг, даже на невинного Хаима с его вечной потребностью все разведывать, вынюхивать и докапываться до мелочей. Он неподвижно стоял на месте и вытирал со лба холодный пот. В растерянности он глядел на серую, вытопанную землю и белые стены, словно видел их впервые, и вдруг почувствовал, как все его существо захлестнула холодная волна страха: а что, если его начнут теперь допрашивать из-за разговоров с Чамилом и, таким образом, во второй раз без вины виноватого втянут в бессмысленное следствие? Конечно, Хаим человек тронутый и видит опасность даже там, где ее нет, но ведь все может быть.

Однако эту мысль сразу же вытесняла другая: какова участь Чамила? Снова его бросило в жар. Сочувствие к другому становится невыносимым, когда ты окружен неизвестностью и сознаешь свое бессилие. Фра Петар вдруг почувствовал непреодолимую потребность уйти отсюда, увидеть и услышать других людей, не имеющих ничего общего с путаными, темными рассказами юноши из Смирны; увидеть каких угодно людей, лишь бы они были по ту сторону страшной сети, которую плетут несчастные безумцы и затягивают все туже царские полицейские, люди без души и совести, и в которую, сам того не ведая, угодил и он.

Фра Петар зашагал по двору, мимо темных закоулков и жалких клочков тени, где, рассыпавшись на кучки, ссорились, играли или забавлялись заключенные.

VIII

Через два-три дня стало окончательно ясно, что никто не собирается допрашивать его из-за бесед с Чамилом. Значит, все кончено. Исчезло ощущение страха и постоянного ожидания, но от этого не стало ни лучше, ни легче. Наоборот. Началась жизнь без Чамила. Не забывает его фра Петар, однако чувствует, что не дожидаться ему друга.

Стоит еще настоящий летний зной. Во Дворе все по-

старому. Одних выпускают, других приводят на их место, но это происходит почти незаметно, да и не в этом дело. Двор живет сам по себе, постоянно меняясь и вечно оставаясь неизменным.

Каждое утро в холодке собираются те же самые или подобные им группы заключенных. Фра Петар останавливается возле ближайшего кружка. Все то же, что и раньше. Заим женится и разводится с какими-то новыми женщинами, и опять одни грубо уличают его во лжи, а другие слушают. Он бледен, лицо у него темное, с зеленоватым отливом, как у больного желтухой. И где-то далеко-далеко блуждает взгляд этого жалкого человека, обезумевшего от страха перед приговором, который будет вынесен ему, если обвинение подтвердится.

И другие говорят о женщинах, только по-иному. Чаще слышен глуховатый бас атлета. Но вот на мгновение и он замолкает и слушает вместе с остальными, как пожилой матрос рассказывает о молодой гречанке, которая служила у них в трактире.

— Выше и крепче бабы я не видел. Баркас! Груды ровно две подушки, а сзади покачиваются два увесистых окорока — так и колышутся. Каждый тянет руку, чтобы ухватить где сумеет. Она отбивается, защищает ее и хозяин, старый гнилозубый грек, но разве матросам свяжешь руки! Помаленьку подберутся да и ущипнут. Потом она не выдержала — бросила эту работу. Так, во всяком случае, сказал трактирщик. Да небось, старая лиса, запрятал ее в доме — для себя приберег. Ругают его моряки, вздыхают: «Эх, жаль, такая баба была! Прямо копна!» — «Как же, копна! — говорит грек будто сам с собой. — А не положи я этому конец, да каждый бы щипал, что бы от нее осталось? Соломинку за соломинкой всю копну бы и разнесли. Шалопай!»

— Эх, — негодует глухой бас. — Эх, эх! Ну что за люди! Только о трактирных плюхах и можете говорить! Да еще одни гадости! Эх вы!

Начинается перебранка, из которой бас выходит победителем: все шикают на матроса и просят, чтобы бас продолжал свой рассказ. И он вновь говорит что-то волнующее и непонятное о женщине редкой красоты, родом из Грузии, которая здесь, в Стамбуле, натворила всяческих чудес и умерла совсем молодой.

— Это уж такая порода. Ее бабка была известная красавица. Весь Тифлис сходил по ней с ума. Да. Спря-

тали ее у родственников в селе, подальше от Тифлиса. С той поры это село называется «Семь гробов», а раньше ввали по-другому, не знаю как. Это потому, что из-за ее красоты за полчаса сложили головы семь человек, прямо перед ее домом. Подрались между собой те, что сватались и хотели ее умыкнуть. Три семьи надели траур. А она умерла от горя. Не то чтоб медленно увяла, а сразу будто морозом прибило. В одну ночь. Но и умирая не захотела сказать, кого она любила и где он — среди погибших или живых. Вот от той своей бабки и наследовала она и красоту, и стройный стан, и глаза...

— Да,— заметил кто-то из круга,— известно, что у грузинок чудные глаза.

— Что известно? Откуда известно? Что ты, слепец, можешь знать об этих вещах?

— А что же ему не знать? Будто ты один живешь на свете! — возмущаются какие-то голоса.

— Не перебивайте, пусть рассказывает! — требуют другие.

— Рассказывай, чего там! Еще обращать внимание на каждого!

Могучий человек с мощным голосом отказывается, жестами и мимикой выражая отвращение.

— Честное слово, противно говорить. К чему рассказывать слепому щенку?

Но кругом настаивают, и, в конце концов успокоившись, он продолжает свой рассказ о грузинке и ее глазах, хотя все еще не перестает возмущаться.

— И когда кто-нибудь вот так говорит: «У нее чудные глаза», — я прямо сам не свой. Какие глаза, чтоб ты окосел! Когда ты видишь ее очи, тебе и в голову не придет, что это такие же самые смотрелки, как у каждого из нас! Ведь это же небесные поля, озаренные солнцем и луной! Каких только звезд и облаков, каких чудес нет на этих полях! Эх ты, бедняга! Смотришь, каменеешь и таешь. Нет тебя! Разве это просто глаза? Конечно, и они смотрят, но это для них самое пустячное дело, можно сказать — последнее. Очи! Что такое наши глаза, которые помогают нам лишь попасть в дверь и не пронести ложку мимо рта? И что такое — то чудо небесное! Никакого сравнения. Такое однажды может случиться на земле, однажды — и никогда больше. Да это и к лучшему. Меньше мук и горя. Такие красавицы не должны умирать, как все люди, или уж пусть вовсе не рождаются.

Человек вдруг умолк. Голос отказал. Из толпы тоже ни звука. Это длилось мгновение. А затем снова начались препирательства, послышался смех, неясный говор многих голосов и смачная ругань.

Прислушиваясь издали к этому рассказу, ффра Петар почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он повернулся, чтобы отойти, и увидел Хаима.

Слоняясь по Двору, он постоянно натыкался на Хаима. От вечного беспокойства и страха бедняге не сиделось на месте. Стоило ему обосноваться где-либо со своим узелком, как его немедленно одолевали сомнения, и он тотчас принимал «меры предосторожности». А день-два спустя уже бросал новое место и искал другое, более надежное убежище. Встречаясь с ффра Петаром, он иногда проходил мимо, словно не был с ним знаком, иногда только кивал головой и многозначительно подмигивал, а иногда, не смущаясь, направлялся прямо к нему и свободно разговаривал, пока снова о чем-то не вспоминал и не уходил.

Так и сейчас: он сам подошел к ффра Петару и сам затеял разговор о человеке с глухим басом. И о нем Хаим знал все.

Это был человек из низов, который, благодаря своей огромной физической силе и сметливости, выбился в люди. Несколько лет он был самым известным борцом в Турции. Занимался военными поставками, имел свой трактир, посредничал в различных делах. Большими капиталами ворочал. А вообще был картежником, пьяницей и главное — бабником. Вот и подхватил какую-то болезнь. Он был нечист па руку, не отличал свое от чужого, но, пока был в силе и в здравом рассудке, все это ему сходило с рук. А два-три года назад он начал опускаться все больше и больше и потерял всякую совесть. Женщины высосали из него всю кровь, и он лишился силы. В конце концов прежние дружки бросили его на произвол судьбы. Он связался с самыми последними подонками. Попал он сюда уже банкротом и аферистом. Всего второй месяц находится под следствием, а уже заметно, как он день ото дня слабее и умом и телом, не различает то, что есть на самом деле или может быть от того, чего быть не может. И говорит только о женщинах. Это болезнь. Он, очевидно, не допускает мысли, что где-нибудь на свете может быть любовь, страсть или просто влечение, в которых он бы не принимал участия. И на глазах худеет и тает, как сахар в воде. От прежнего волокиты и кутилы осталась тень.

Способен он только на праздную перебранку с бездельниками, и еще его терзает постоянная потребность говорить и рассказывать. В последнее время он становится все чувствительнее, словно бы даже тоньше и изящнее. А рассказы — ярче и богаче. Его некогда знаменитый бас осип, то и дело срывается от постоянной чувствительности и внутреннего умиления; по временам его душат слезы, которые он безуспешно пытается подавить и скрыть, набрасываясь на тех, кто его окружает.

— Он не может больше не говорить. Обручи расслабли, и, видите, течет бочка со всех сторон. Скоро ему крышка!

Уверенно, громко, почти весело болтал Хаим о всякой всячине. Но вдруг вздрогнул, огляделся, словно его только что разбудили, мигнул обоими глазами, подавая собеседнику таинственный и непонятный знак, и, не прощаясь, пошел прочь тихим шагом, опустив голову, с видом человека, который ищет то, чего не теряет.

А фра Петар продолжал бродить по Двору, от одной группы к другой, спрашивая себя, неужели ему так и не найти здесь ни одного разумного человека, не услышать ни одного толкового слова, не обрести забвения, которое ему нужно как лекарство.

Уже было сказано, и вполне справедливо, что жизнь в Проклятом дворе, по сути дела, никогда не менялась. Но время идет, а с ним меняется внешняя сторона нашего существования. Начинает раньше смеркаться. Тревожат мысли об осени и зиме, о долгих ночах и холодных, дождливых днях. Жизнь вокруг фра Петара как будто бы и прежняя, но не совсем, — она похожа на узкий и плохо освещенный коридор, который заметно не меняется, но о котором хорошо известно, что с каждым днем он становится темнее и на палец-два уже. По временам от этого ощущения заключенные впадают в отчаяние, способное, пусть ненадолго, сломить даже самых сильных.

Об этих днях фра Петар рассказывал помногу. Иногда он замолкал, приподнимался на подушке, устраивался поудобней и, не отводя глаз от снежной дали за окном, продолжал, несколько понизив голос, припоминать шаг за шагом далекое прошлое.

— Чувствую, затянулось мое безгрешное заключение. Пока я горевал о несчастном Чамиле и тосковал о нем, я меньше думал о себе и своей беде. А теперь не могу отделаться от этих мыслей. Призываю себя к терпению, но

терпения не хватает. Ночи длинные, дни еще дольше, и все время черные мысли. Хуже всего, что знаю — невиновен я, но меня не допрашивают, и вестей с воли нет. Стоит обо всем этом задуматься — ударит кровь в голову, прямо слепну, и хочется кричать во весь голос. Но смиряю себя, терплю и тихонько терзаюсь одним и тем же вопросом: что меня еще ждет? Всякое лезет в голову, но выхода я не вижу. И нет человека, с кем можно было бы поговорить, а праздность и безделье убивают. Это для меня хуже всего. Не привык. Ни книги нет, ни какого-нибудь инструмента. Спрашивал, не найдется ли какого дела — починить кофейную мельницу или часы. Все равно что. По моей это части. Но стражник смотрит и ни слова не говорит. Прошу его, пусть узнает у старшего. На следующий день он мне говорит: «Сиди тихо и больше об этом не заикайся!» И повернулся спиной. Я начал оправдываться, он огляделся по сторонам и зло смерил меня взглядом.

— Бывает, иные умудряются раздобыть напильник или долото, думают так поскорее отсюда выбраться, но чтобы мы сами давали арестантам напильники — такого еще не случалось! Плохо ты придумал.— И, высказавшись, сплюнул и отошел.

Я почувствовал себя уничтоженным. Хотел крикнуть ему, что я не виноват и не собираюсь бежать. От какого-то непонятого стыда на глаза навернулись слезы. Сам не знаю почему. Но, поразмыслив, я понял, что он прав. И обидно мне стало больше за себя, чем за него. Где была моя голова? Когда люди попадают сюда, им ни в чем нет веры. А я забыл, где нахожусь!

И так снова, терзаясь от тревог и безделья, жду, чтоб прошел день и наступила ночь, которая тянется еще медленней.

Однажды выпустили обоих торговцев-болгар — вместо каторги они отправились домой. Согласно обычаю и желая сделать доброе дело, они подарили мне цинковку, на которой лежали. «Возьми, — сказал один из них, — и пусть и тебе улыбнется счастье». Но все это по-прежнему шепотом, отворачиваясь в сторону. Ушли, словно две тени. Даже радоваться боялись. Без них мне еще тяжелее стало. Но, несмотря на свою муку, я не мог забыть Чамила, его рассказ и горькую его долю. Он мне уже начал мерещиться.

Проснусь, бывало, рано, на заре, и жду не дождусь, когда откроют двери. Выйду из смрада и тесноты, умоюсь

у колонки, сяду и блаженствую, пока не высыплет народ из своих камер. А до чего хорош рассвет в Стамбуле! Рассказать невозможно! Ничего подобного я не видел за всю свою жизнь и уж больше не увижу. (И почему бог дал такую красоту злодеям!) Небо розовеет и медленно спускается на землю, и хватает его всем: и богатому, и бедному, и султану, и рабу, и арестанту. Сижу я так, упиваюсь красотой и курю, если есть что, а от табака голова чуть-чуть кружится. Дымок колышется вокруг меня, а в нем словно покачивается Джем-Чамил, слабый такой, бледный, со слезами на глазах. И я разговариваю с ним сердечно и просто, как не мог и не умел говорить, когда он был здесь и мы часто виделись. Беседую с ним, словно с кем-нибудь из наших молодых монахов, когда нападет на них *taedium vitae*¹. Беру за плечи и легонько встряхиваю.

— Рано встал, зарю обогнал! Рассвело, Чамил-эфенди. Эй!

Он качает головой.

— Для меня, — говорит, — что полночь, что заря — все едино. Нет для меня рассвета.

— Ну как же нет, братец? Не возводи на мир хулы и не говори глупостей. Пока есть тьма, будет и рассвет. Смотри, какая вокруг божья красота!

— Не вижу, — говорит он, опустив голову, и голос его срывается.

А мне становится так его жаль, что на все готов, лишь бы ему помочь. Вокруг нас Проклятый двор, сверкающий в лучах солнца.

— Слушай, милый, не говори, чего не следует, не бери греха на душу. Даст бог, избавишься ты от своей болезни и на свободе, здоровый, насмотришься еще всякой благодати и всякой красоты.

Он только голову опускает.

— Не могу я, — говорит, — добрый человек, поправиться, потому что не болен я ничем, а уж такой от природы — сам от себя не вылечишься.

И все говорит какую-то чепуху, путано и невнятно, но очень грустно; и самый крепкий человек не выдержит — расплачется. Утешаю его, да напрасно. Укоряю по-отцовски: не видит он, мол, того, что есть, а видит то, чего

¹ Отвращение к жизни (лат.).

нет. А по правде сказать, и для меня как-то мрачнеет ясное утро. Но все же стараюсь шутить. Вынимаю табак.

— А ну, давай-ка закурим лучше, да и стряхнем кручину с плеч, туды ее растуды! Закурим?

— Давай,— говорит он, только чтоб не обижать меня.— Ладно!

И курит, но кто знает, где витают его мысли. А губы еле движутся, как мертвые, и смотрит на меня сквозь слезы несчастный Джем. Цigarка в руках у него гаснет.

Раздался крик (где-то завязалась драка), и я пришел в себя. Огляделся, рядом со мной — никого. Моя cigarка погасла, а рука все еще вытянута. Значит, я сам с собой разговаривал. Боюсь безумия, как заразы, боюсь самой мысли о том, что здесь и у здорового человека может помутиться рассудок. Я стараюсь сопротивляться. Креплюсь, заставляю себя вспоминать, кто я и что, откуда и как здесь очутился. Повторяю сам себе, что, кроме Проклятого двора, есть и другой, совсем иной мир и не вечно же мне томиться тут. Изю всех сил стараюсь всегда об этом помнить. Но чувствую, что Двор, как омут, затягивает меня куда-то на дно, в темноту.

Нелегко даже очень сильному человеку коротать день и встречать ночь с такими мыслями, когда новый день не приносит с собой ни перемен, ни надежды. Разве что Хаим придет. Он подходит ко мне ежедневно, но с ним как следует не поговоришь. Он, бедняга, все больше во власти своих мрачных рассказов и воображаемых страхов. Напрасно всякий раз спрашивает его фра Петар, не слышал ли он что-либо о Чамиле. Тот ничего не знает, и это его уже не интересует. Он словно и забыл юношу из Смирны. В нем все кипит от новых ужасов и новых дел, о которых он рассказывает так же быстро, со всеми подробностями, как будто все сам видел и пережил, но и их тут же забывает. Кажется, мир не в состоянии утолить его жажду черных вестей, страданий и неправды. Он их быстро поглощает, рассказывает и забывает.

Подойдет Хаим после целого ритуала всяких «мер», сядет возле «единственного человека, которому здесь можно доверять»; фра Петар старается казаться бодрим, треплет его по плечу:

— Ну что, Хаим, радость моя, что новенького?

Но Хаим смотрит на него своими неподвижными, чуть-чуть раскосыми глазами и, словно не слыша этих слов, говорит страдальчески и глухо:

— Слушайте, я не знаю, думали ли вы об этом или нет, но мне в последнее время все чаще приходит в голову мысль, что здесь не осталось ни одного человека в своем уме. Поверьте мне! Сплошь одни больные и помешанные — и стражники, и арестанты, и шпионы (а тут все шпионы!), я уж не говорю о самом большом безумце — о Караджозе. В любой другой стране он давно был бы в сумасшедшем доме. Короче, все безумные, кроме вас и меня.

Голос его дрожал. Фра Петар поднял глаза и посмотрел на него внимательней. Хаим еще больше похудел, был по-прежнему небрит, его красные глаза слезились, словно он долго сидел у дымного очага. Голова тряслась, голос был сиплый и глухой.

— Сплошь сумасшедшие, честное слово!

Фра Петар ощутил какое-то неприятное чувство и легкий озноб страха. На мгновение ему показалось, что из Проклятого двора действительно нет выхода.

Но случилось так, что в тот же самый день он получил первую радостную весточку с воли.

Он бродил, как и каждое утро, по Двору.

Двое молодых арестантов, почти мальчишки, бегали друг за дружкой, крутились вокруг фра Петара, прятались за ним. Он уже начал раздражаться, а парни льнули к нему все больше. И прежде чем ему удалось вернуться от разыгравшихся ребят, один из них на бегу прижался к нему вплотную, как к живому заслону, и фра Петар ощутил в своей руке свернутую бумажку. Парни продолжали свою возню, но уже отбежали подальше, а он, испуганный и растерянный, поспешил в укромный уголок. На бумажке незнакомым почерком было написано по-турецки: «Петара отпустят на свободу дня через два».

Тревожно провел он этот день и ночь. Было ясно, что записку мог послать только фра Тадия.

А на следующий день действительно пришел охранник и сказал, чтобы он собирал свои вещи и готовился в дорогу. Перед вечером его отправили в ссылку в Акру. Теперь не оставалось никакого сомнения, что записку послал фра Тадия, потому что этот человек никогда в жизни ничего не мог предусмотреть правильно.

В ту ночь, ожидая на азиатском берегу отправки вместе с другими арестантами, фра Петар в первый и в последний раз увидел Стамбул во всем его могуществе и красоте. Воздух был теплый и сладковатый. Фра Петар

чувствовал себя несколько смущенным и растерянным среди двух десятков своих спутников. На небе ни звезд, ни месяца. А перед ними во весь темный горизонт поднимался вечерний Стамбул, словно фейерверк, застывший в полете. Был рамазан, и на минаретах всех мечетей горели площадки, образуя правильные созвездия над бесчисленными городскими огнями. Большинство арестантов, понурясь, сидели на земле. Остальные лежали. Фра Петар некоторое время смотрел на то, что днем называется Стамбулом и что сейчас могучей искристой волной вздымалось к невидимому небу в бесконечную ночь. (Сколько времени понадобилось, чтобы зажечь все эти светила? Сможет ли кто-либо их погасить?) Казалось, что в этом городе нет места для Проклятого двора, но он все же существовал где-то на одном из маленьких темных пятен, окруженных густо рассыпанными огоньками. В изнеможении фра Петар обернулся к темному, немому востоку, но все равно его не покидала мысль о Проклятом дворе. Она отправилась вместе с ним в дорогу, она во сне и наяву преследовала его и по пути в Акру, и в Акре, и после нее.

— И в Акре я много видел и пережил. Кое-что я уже рассказывал, да можно было бы без конца рассказывать. Там я встретил уйму ссыльных, людей разных религий и национальностей. Были там и преступники, но больше было невинных. Многие из них по несколько месяцев провели в Проклятом дворе и знали Караджоза. Один юноша из Ливана в точности представлял его походку и голос, и мы помирали со смеху, когда он прохаживался перед нами и кричал: «Как ты сказал? Ни в чем не виноват? Э, это хорошо, ты-то нам и нужен». Этот юноша был толстяк, поперек себя шире, с большой бритой головой и в очках с толстыми стеклами. Все, бывало, сыплет шутками да смеется. Между прочим, христианин. Когда мы немного ближе познакомились и я сказал ему, кто я и откуда, то почувствовал, что он и умнее и опаснее, чем кажется. Какой-нибудь политический деятель, наверно. Шутит, шутит, а потом подсядет ко мне и скажет сквозь смех: «Эх, до чего же хорош этот Караджоз». Я удивляюсь: «Как так хорош, чтоб ему пусто было!» — «Нет, нет, это настоящий человек, и сидит он на самом подходящем по нынешним временам месте», — отвечает он. А потом уже другим голосом пояснит мне на ухо: «Если хочешь понять, что представляет из себя то или иное государство и его правительство и что ожидает их в будущем, постарай-

ся узнать, сколько в этой стране честных и невинных людей сидит по тюрьмам и сколько злодеев разгуливает на свободе. Это тебе все скажет». Заметит так, словно между прочим, тут же поднимется и, засунув руки в карманы, начнет расхаживать да передразнивать Караджоза и всех нас смешить. Слушая эти шутки и смех, я всегда вспоминал о Чамиле, и мне было тяжело, что нет человека, с которым я мог бы поговорить о нем. Право, кажется, никогда и никого на свете я не жалел так глубоко, как его.

Восемь месяцев провел фра Петар в Акре. И только тогда, благодаря хлопотам своих монахов и каких-то видных турок, он был выпущен и вернулся в Боснию, в ту же самую пору, в какую год назад отправился из нее вместе с фра Тадией Остоичем, который целый год провел в Стамбуле и делал все, чтобы его освободить.

Вот и конец. Больше ничего нет. Только могила среди других, невидимых сейчас монашеских могил, затерявшаяся, как снежинка, в глубоком снегу, который раскинулся, словно океан, превратив все вокруг в холодную пустыню без названия и примет. Нет больше ни рассказов, ни рассказчика. Будто не осталось и людей, ради которых стоит смотреть, ходить, дышать. Нет ни Стамбула, ни Проклятого двора. Нет юноши из Смирны, умершего раньше смерти — когда бедняга поверил, что он был или мог быть несчастным Джемом, братом султана. Нет горемыки Хаима и мрачной Акры. Нет ни человеческого зла, ни надежды, ни противоборства, которое их всегда сопровождает. Ничего нет. Только снег и тот простой факт, что все умирает и уходит в землю.

Так представляется юноше, сидящему у окна, которого вдруг охватили воспоминания о рассказах фра Петара и осенила мысль о смерти. Но это длится одно мгновение. Сначала слабо, а потом все настойчивей, как при медленном пробуждении, до его сознания доносятся из соседней комнаты глухое звяканье падающих в кучу металлических предметов и хриплый голос фра Мийо Йосича, который диктует опись инструментов, оставшихся после покойного фра Петара.

— Дальше! Пиши: ножовка стальная, маленькая, немецкая. Одна!

жажда

ЖАЖДА

Вскоре после австрийской оккупации в большом высокогорном селе Сокоце учредили жандармский пост. Начальник его привез с собой откуда-то издалека красивую молодую жену, блондинку, с большими синими глазами, которые казались стеклянными. Хрупкая красота и европейская одежда делали ее похожей на маленькую драгоценную вещичку, которую потерял кто-то из путешественников, пробираясь по этим горным кручам на пути из одного крупного города в другой.

Жители села еще не пришли в себя от первого изумления, а женщина не успела еще как следует убрать свою спальню со множеством подушечек, ковриков и лент, как в краю объявились гайдуки. В казарму прибыл отряд карательного корпуса, и людей стало вдвое больше. Начальник дни и ночи носился по округе, расставляя и проверяя посты. Молодая женщина жила в полной растерянности и страхе в обществе деревенских жителей, только чтобы не быть одной. Дни ее проходили в постоянном ожидании. И сон и еда были отравлены этим ожиданием и уже не давали сил и не подкрепляли. Крестьянки заботились о ней и заставляли есть, пока, потчужа ее, не съедали и не выпивали все сами. По ночам, чтобы она уснула, подолгу рассказывали ей разные были и небылицы. Под конец, утомленные рассказами, женщины засыпали на разостланном на полу красном ковре, а она продолжала смотреть на них с кровати, страдая от тяжелого запаха кислого молока и шерсти, который исходил от их одежды. И когда после многодневного ожидания появлялся муж, то и это не приносило ей ни радости, ни утешения. Возвращался он смертельно усталый от переходов и

бессонных ночей, обросший, грязный и мокрый. Сапоги, которые он не снимал по нескольку дней, набухали от воды и грязи; двое слуг еле стаскивали их, и вместе с шерстяными портянками сдиралась кожа с его отекавших, стертых до крови ног. Он приезжал осунувшийся, истерзанный тревогами и заботами, с потрескавшимися губами и лицом, почерневшим от солнца, ветра и горного воздуха. Рассеянный и озабоченный неудачами, он мысленно строил планы новых операций. Во время этих кратких передышек дома жена ходила за ним, как за раненым, а дня через два-три на заре снова провожала в горы. И поэтому все ее мысли и молитвы сводились к одному — чтобы как можно скорее переловили этих несчастных гайдуков и пришел бы конец страшной жизни.

И однажды ее горячее желание осуществилось. Был пойман главный и самый коварный гайдук — Лазар Зеленович. После него, как говорили в селе и в отряде, уже нетрудно будет переловить или разогнать остальных, более мелких и менее ловких и опытных гайдуков.

Лазара поймали случайно. Солдаты натолкнулись на него, преследуя совсем другого гайдука. Два месяца тому назад, уже перейдя сюда из Герцеговины, Лазар был ранен в грудь. Об этом никто не знал. Чтобы залечить рану, он с помощью своих молодых друзей устроил под огромной колодой на берегу горного ручья нору из сучьев и ила. В этой норе он и жил; с тропы, которая шла высоко над ручьем, его не было видно, а до воды он мог достать рукой. Целыми днями промывал он свою рану на груди, в то время как жандармы искали его повсюду, рыская по кручам и взгорьям. Может быть, он и выздоровел бы, если бы нашел более удобное убежище и если бы не началась ранняя жара, из-за которой ему стало хуже. Изю всех сил защищался он от мух и комаров, но рана расширялась, и в глубине ее, куда не доходила вода, началось нагноение. Усилилась лихорадка.

Видя его в таком состоянии, один из товарищей решил принести ему немного воска и ракии для раны. Патрули заметили юношу, когда он от пастушьих хижин направлялся к потоку. В последнюю минуту, обнаружив погоню, юноша побежал вдоль ручья и бесследно исчез.

Начальник, который оставил своего коня на лужайке и бежал впереди жандармов за молодым гайдуком, вдруг по пояс провалился в какой-то нанос и ил и уперся ногами во что-то неподвижное и мягкое. Может быть, выкарабкав-

ишсь с трудом, он пошел бы дальше, так и не заметив маленькое, ловко замаскированное убежище Лазара, если б не почувствовал тяжелого запаха гноящейся раны. Вытащив ноги, он заглянул сквозь ветви и увидел внизу овчину. Поняв, что в норе скрывается живой человек, он, однако, и не подумал, что это может быть сам Лазар, полагая найти там скрывшегося юношу или кого-либо из его товарищей. Чтобы обмануть притаившегося гайдука, начальник громко отдал приказание карателям:

— Он, должно быть, пошел дальше, вниз по ручью. Бегите за ним, а я потихоньку пойду следом — покалечил ногу об эти сучья!

Одновременно он подал одной рукой знак, чтобы они молчали, а другой — чтоб шли к нему. Трое из них, приблизившись, бросились на укрытие и схватили гайдука, словно барсука, сзади. У того были ружье и длинный нож, но он не успел ни выстрелить, ни замахнуться. Руки ему связали цепью, ноги — поясом и так понесли, как колоду, по козьим тропам и круче к лужайке, где командир оставил своего коня. Еще по дороге они ощутили тяжкий смрад, а когда положили его на траву, увидели огромную рану на оголенной груди. Живан из Горажде, служивший в карательном отряде проводником и доносчиком, сразу же узнал Лазара. Они были из одного села и оба праздновали день святого Йована.

Гайдук вращал большими серыми глазами, которые посветлели от жизни на воздухе возле воды и блестели от лихорадки. Начальник велел Живану еще раз подтвердить, что перед ними действительно Лазар. Все склонились над гайдуком. Живан во второй раз спросил его:

— Это ты, Лазар?

— Вижу, ты знаешь меня лучше, чем я тебя.

— Так ведь и ты меня знаешь, Лазар!

— Да если бы я тебя никогда не знал, теперь узнал бы, кто ты и что. Узнали бы тебя все села, отсюда и до Горажде — и сербской и турецкой веры. Приведи хоть самого несмышленного ребенка — и тот скажет, как посмотрит на нас: этот, что лежит связанный и раненый — это Лазар, а падаль, что над ним, — Живан.

Гайдук испытывал лихорадочную потребность говорить, словно этим он мог продлить свои дни, а Живану хотелось показать свою силу и защитить свою честь перед собравшимися, и кто знает, доколе продолжалась бы эта

перебранка, если бы ее не пресек начальник. Но на все другие вопросы гайдук не отвечал. О товарищах и пособниках он ничего не сказал. Отговаривался болезнью и раной. Начальник посоветался с унтер-офицером, высоким личанином, после чего строго приказал не давать гайдуку ни капли воды, как бы он ни просил.

Пока готовили все, что нужно, для перевозки раненого гайдука, молодой жандармский начальник присел в стороне на землю передохнуть и собраться с мыслями. Облокотившись на колено и подперев рукой голову, он смотрел на зеленеющие горы, которые раскинулись перед ним, словно безбрежное море. Он хотел думать о своей удаче, об ожидающей его награде, об отдыхе возле жены. Но мысль ни на чем не задерживалась. Он чувствовал только тяжелую, словно свинец, усталость, которую нужно было преодолеть, как человеку, засыпающему на снегу, необходимо преодолеть сон и холод. С трудом оторвавшись от земли, он наконец поднялся и приказал двигаться. Подошел второй патруль. Теперь их стало уже девять человек. Топорно сделанные для гайдука носилки были грубы и суковаты. Один из карателей бросил на них свой плащ, отвернувшись в сторону, словно бросал его в бездну.

Шли медленно. Солнце припекало. Командир, двигавшийся позади носилок, проехал вперед, так как запах, исходивший от раненого, был невыносим. Только после полудня, когда спустились в гласинацкую долину, они взяли у одного из крестьян телегу с упряжкой волов и уже перед заходом солнца вышли на равнину возле Сокоце. Издали они напоминали группу охотников, возвращающихся с охоты, только охотники были задумчивы, а трофей — необычен.

На лужайке перед казармой собрались деревенские женщины и дети. Среди них была и жена командира. Сначала она даже и не думала о гайдуке, ждала только мужа, как всегда. Но так как женщины вокруг нее без конца говорили о гайдуке, и все вещи фантастичные, и так как вереница людей, растянувшаяся, словно похоронная процессия, приближалась медленно, ее тоже охватило чувство нетерпения и тревоги. Наконец они подошли. Люди с шумом открыли и левую створку ворот, что обычно делали только тогда, когда привозили дрова или сено. Начальник мешком свалился с коня, как это бывает с очень усталыми людьми. Молодая женщина почувствовала на своей щеке

прикосновение его колючей, отросшей за несколько дней бороды, запах пота, земли и дождя, который он всегда приносил с собой из этих служебных походов.

Пока командир отдавал приказания, жена искоса взглянула на гайдука. Он все еще лежал связанный и неподвижный, только голова, под которую бросили полено и охапку сена, была немного приподнята. Он ни на кого не смотрел. Как от издыхающего зверя, от него исходил тяжелый запах.

Отдав нужные распоряжения, командир взял жену за руку и повел ее в дом, чтоб она не смотрела, как снимали с телеги и развязывали гайдука. Умывшись и переодевшись, он вышел посмотреть, как устроили Лазара. Гайдука посадили в подвал начальнического дома, которому предстояло служить временной тюрьмой. Дверь была ненадежной — с железной решеткой в верхней части и обычной задвижкой. Поэтому целую ночь ее должен был охранять часовой.

За ужином начальник ел мало, но зато много говорил. Рассказывал жене о всяких мелочах живо и весело, как мальчишка. Он был доволен: после пяти месяцев бесплодных блужданий и напряжения, после незаслуженных укоров со стороны начальства в Рогатице и командования из Сараева удалось наконец захватить главного и самого опасного гайдука. От Лазара он узнает, где скрываются остальные, узнает имена соучастников и тогда уж отдохнет душой и получит благодарность начальства.

— А если он не захочет их выдать? — испуганно спросила жена.

— Выдаст. Должен выдать, — отвечал командир, не вступая с ней в дальнейшие разговоры об этом.

Начальнику очень хотелось спать. Усталость клонила его к земле и была сильнее, чем радость, голод и желание женщины. Свежесть постели его оьянила. Он силился что-то сказать, пытался казаться бодрым, но язык заплетался и интервалы между словами становились все больше и больше. Он заснул, не окончив фразы и сжимая пальцами плечо жены, маленькое, белое и круглое.

А женщине не спалось. Она была и довольна, и возбуждена, и испугана, и опечалена. Она долго смотрела на спящего мужа: лицо его наполовину утонуло в мягкой подушке, а рот был полуоткрыт, словно он с жадностью тянул в себя пуховик. Бодрствующий человек всегда чувствует между собой и своим спящим другом какое-то

холодное, непреодолимое расстояние, которое увеличивается с каждой минутой и все больше наполняется непониманием и странным ощущением замкнутости и безнадежного одиночества. Женщина заставляла себя спать. Она закрыла глаза и старалась ровно дышать. Но лишь только она задремала, ее пробудила смена караула возле дверей подвала. И мысли ее снова обратились к гайдуку, как будто она совсем не спала и ни о чем другом не думала.

В карауле стоял теперь тот самый Живан, земляк Лазара. Сейчас она поняла, что ее разбудила не столько смена караула, сколько голос гайдука. Он просил пить.

— Кто в карауле?

Молчание.

— Ты, что ли, Живан?

— Я. Молчи.

— Да как мне молчать, собачья твоя вера, когда я умираю от жажды и жара. Принеси мне немножко воды, Живан, святым Йованом нашим прошу, не то подохну, как скотина.

Живан притворяется, будто не слышит, и не отвечает, надеясь, что гайдуку надоест наконец просить. Но тот снова зовет его тихим и хриплым голосом:

— Если ты знаешь, что такое мука и неволя, послушай меня, Живан, и пусть дети твои будут живы!

— Э, не заклинай меня детьми! Ты знаешь — это приказ, а служба есть служба. Молчи! Разбудишь начальника.

— Спит, окаянный! Хуже турка он! Морит меня без воды, мало ему моего несчастья! Но если ты мне по вере брат, дай немного водицы.

Из их дальнейшего приглушенного разговора женщина поняла, что Лазару не дают пить по распоряжению начальника, который рассчитывает, что жажда заставит гайдука выдать товарищей и пособников. А тот, терзаемый невыносимой жаждой и жаром, видимо, находил облегчение в непрерывном повторении слова «вода». Он замолкал на несколько мгновений, и снова после долгого и глубокого вздоха следовал поток слов:

— Э-э, Живан, Живан! С голоду бы тебе подохнуть! Зачем мучишь меня, будто басурман какой. Дай мне кружку воды, а потом убей тут же, и да простит тебя бог на том и на этом свете. У-ух!

Но Живан перестал отвечать ему.

— Живан!.. Живан!.. Молю тебя, как бога... Горю!

Тишина. Поздно взошел в эту ночь месяц. Живан перешел в тень, и, когда он откликнулся, голос его еле слышен. Гайдук громко зовет начальника:

— Начальник, не мучь меня больше, чтоб у тебя царский хлеб в горле застрял!

После каждого возгласа тишина кажется еще глуше. В этой тишине гайдук яростно скрежещет зубами и тяжело стонет, уже не снижая голоса и не следя за тем, что говорит.

— У-у-ух! Суки поганые, чтоб вам до скончания века кровь пить и никогда жажды не утолить. Чтоб захлебнуться вам нашей кровью, слышишь ты, начальник, мать твою...

Последние слова он выкрикнул слабым, бессильным голосом, который едва срывался с пересохших губ. И снова Живан велел ему молчать, обещая, как только рассветет, позвать начальника, и тогда уже наверняка дадут воды, пусть только чистосердечно расскажет о том, о чем будут спрашивать. А теперь пусть потерпит. Но гайдук в лихорадке через несколько мгновений уже забывал обо всем и снова вопил:

— Живан, закливаю тебя именем божьим, горю! Воды!

Словно ребенок, он по сто раз повторял это слово, с разной силой и на разные голоса, как позволяло прерывистое, лихорадочное дыхание.

Окончательно лишившись сна, охваченная дрожью, женщина слушала все это, сидя на краю кровати, и уже не чувствовала своего тела, не воспринимала окружающих предметов, поглощенная новым, не изведанным ею ранее ужасом, который порождали в ней крик гайдука, шипящий шепот Живана и тяжелый, крепкий сон мужа возле нее.

В пору ее короткого детства в родительском доме нередко случалось, что по ночам, особенно весной или осенью, она подолгу не могла уснуть и без конца прислушивалась к мучительному и однообразному шуму на улице: то ветер скрипел жестью на дымовой трубе, то хлопала садовая калитка, которую забыли запереть. Тогда, в детстве, она придавала таким шумам особое значение, воображая, что это борются, ропщут или рыдают какие-то живые существа. В жизни часто бывает так, что видения и ужасы, преследовавшие нас в детстве, вдруг, правда, уже в более крупном масштабе, претворяются в действительности, и из сильных, но воображаемых страхов стано-

вятся большими и реальными. Как было бы хорошо, если бы невинные страхи, которые когда-то прерывали ее девичий сон, оказались настоящими, а эта ночь, это глухое село, грозные слова и крики гайдука, спящий под боком муж были бы только сном и вымыслом!

И непрерывно, словно лязг железной трубы или скрип на ветру раскрытой калитки, доносился до нее через равные промежутки хрип человека, охваченного лихорадкой, обессилевший человеческий голос, который с трудом скользил по воспаленному неподвижному языку и вылетал из сухого, широко открытого рта:

— Воды, воды! У-у-у-х!

Живана сменил в карауле другой жандарм, но стон гайдука не прекращался, только становился все тише и слабее, а женщина по-прежнему сидела в каком-то оцепенении, прислушиваясь к каждому шороху снизу с одной и той же безысходной и неотвязной мыслью: как понять и уразуметь этих людей, эту жизнь? На одной стороне жандармы, на другой — гайдуки (два лица одного несчастья), и одни немилосердно преследуют других, и, глядя на них, можно с ума сойти от жалости и горя.

Об этом Лазаре давно говорили в Сокоце. Она слышала рассказы о его свирепости. Передавали, будто он подвергает нечеловеческим пыткам непокорных крестьян, из засады убивает жандармов, а потом раздевает их догола и бросает на дороге... А теперь вот жандармы возвращают ему долг. Но может ли это продолжаться вечно? Ей кажется, что они уже летят в какую-то бездну и все вместе погибнут в этой беспросветной ночи среди крови, жажды и невообразимых ужасов.

По временам ей хотелось разбудить мужа, чтобы он одним своим словом, одной улыбкой рассеял весь этот кошмарный сон. Но она не двигалась с места, не будила мужа, а продолжала сидеть все так же неподвижно, словно рядом с ней был покойник, и прислушивалась к голосу из подвала, одна со своим страхом и своими вопросами. Она припоминала молитвы, которым учили ее в детстве. Но все это были молитвы для какой-то другой, забытой и пропешшей жизни; сейчас они не давали ни успокоения, ни помощи. Словно с неизбежностью собственной смерти, она смирилась теперь с мыслью, что человек, который сейчас стонет, будет вечно кричать и стонать, а человек, который спит и дышит возле нее, — вечно спать и молчать.

А ночь надвигалась все гуще и непрогляднее, и это была уже не обычная ночь — одна в бесчисленной веренице дней и ночей, — это была какая-то особенная, вечная и бескрайняя пустыня мрака, в которой последний оставшийся в живых человек стонет и взывает о помощи и, уже потеряв надежду и не веря в сострадание, умоляет о капле воды. Но на всем огромном божьем свете с его водоемами, дождями и росами не осталось больше ни капельки воды, и от всех земных существ — ни одной живой души. Все воды пересохли, и все люди погибли. Жив только слабый отблеск ее сознания — единственный свидетель всего этого.

И все же рассвело. С недоверием женщина смотрела, как постепенно белела стена в том самом месте, где она белела каждое утро; и как заря, сначала серая, а потом румяная, заполняла комнату, четко обрисовывая и оживляя предметы.

Напрягая слух, она все еще улавливала голос гайдука, но он доносился уже откуда-то издалека. Ни ругательств, ни проклятий. Только глухо и все реже:

— У-у-х, у-у-у-х, у-у-у-у-х!

Но и это она уже скорее угадывала, чем слышала.

И хотя рассвет побеждал, у женщины не было сил пошевелиться. Согнувшись и спрятав лицо в ладони, она сидела на краю постели и даже не заметила, когда проснулся муж.

Он открыл ясные глаза; взгляд его упал на опущенные плечи жены и на белевший затылок. И тогда, после первого недоумения, будто теплая и страстная волна, прошло по всему его телу сознание радостной действительности. Он хотел окликнуть жену, назвать ее по имени, но передумал. Улыбаясь, он еле слышно приподнялся, опираясь на локоть левой руки, а правой, свободной, не произнеся ни слова, неожиданно обхватил ее за плечи и, притянув, подмял под себя.

Женщина тщетно пыталась сопротивляться. Ей казалось ужасным это неожиданное и властное объятие. Казалось недопустимым изменить ночному миру, в котором она только что жила и страдала, одна со своей мукой. Она хотела высвободиться и объяснить ему, что сейчас этого не может быть, что есть тяжелые и мучительные вещи, о которых она должна ему рассказать, и нельзя так легко и просто через них перейти к обыденной жизни. Горькие слова подступали к горлу, но она не могла

произнести ни одного из них. Она только вскрикнула. Муж не заметил этого знака протеста, этого звука, который не смог стать даже маленьким словом. Она хотела оттолкнуть его, но движения ее не имели ни силы ее горя, ни быстроты мыслей. И вот уже жар отдохнувшего и пробудившегося тела подавил ее, словно груз. Под его натиском обмякли мышцы молодого тела, подчиняясь, словно части послушной машины. Рот ее прижали его губы. Она ощущала его на себе, словно огромный камень, к которому была привязана и вместе с которым падала стремительно и безостановочно. Теряя сознание и всякую мысль не только о прошедшей ночи, но вообще о жизни, она тонула в глухом и темном море знакомой, но всегда новой страсти. Где-то над ней остались последние следы ночных мыслей, решений и сочувствия к человеку, но они исчезали один за другим, как исчезают над головой утопленника пузырьки на воде.

Белая нарядная комната быстро наполнялась живым светом дня.

СВАДЬБА

Люди забудут, как жил город в военное время, особенно в последние два года, когда в городе и его окрестностях не было ни сражений, ни значительных событий. Запомнились имена людей и цены на хлеб, но все остальное, чем дышал и мучился маленький городок, этот мир в миниатюре, нигде не записано и выветривается из памяти. А ведь тогда лучше всего было видно, как город живет, движется, страдает и меняется — точь-в-точь как живое, самостоятельное существо. Те, кто видел его тогда, хорошо знают это слабое дыхание города и это страдание, разлитое в воздухе, на земле и написанное на лицах людей.

Первые годы войны были годами неистовства, преследований, страданий, мести, песен, мотовства, бунтов, а теперь всему этому пришел конец. Пусто, черно и глухо, как после града, пожара или безудержного кутежа. Люди, точно пробудившиеся после кошмарного сна навстречу еще более кошмарной действительности, ходят на цыпочках, тая ото всех душу и опустив глаза. Впрочем, большая часть горожан или рассеялась по свету, или лежит на кладбище. Так что тем, кто еще тут, приходится стыдиться или бояться главным образом отсутствующих, а это уже легче.

Так как все связи между людьми расстроены, все дела или остановились, или идут вкривь и вкось, всякий порядок нарушен, никто больше ни времен года не различает, ни праздников не празднует. Народ перестал одеваться, как раньше. Теперь уже не так просто распознать по одежде, к какому вероисповеданию и сословию принадлежит человек. Что осталось на людях довоенно-

го — выцвело и обтрепалось, а что поповее — то все с солдатского плеча. Так всемогущая нужда стерла различия и одела большинство людей в фантастическую смесь военных и штатских обносок. И улицы утратили свой прежний вид. Вокруг сгоревших и заброшенных домов поднялись заросли рыжей и жесткой, точно с какого-то другого света, травы. Здесь — целые заводы тишины. Уцелевшие кой у кого коровенки в зимней шерсти едят эту траву, хоть и не могут удержать ее в себе. Скота нет.

В нескольких вновь открывшихся лавках торгуют лишь двумя-тремя жалкими суррогатами и нитками, керосином и солью. Белеют новые полки из необструганных досок, поставленные после погрома или пожара. Под этими пустыми полками сидит чаще всего новый хозяин, а если прежний — то постаревший, молчаливый, ожидающий скорее смерти, чем покупателей.

Церковь стоит без колокола и без священника. На балкончик минарета выходит муэдзин, который еще перед войной перестал сзывать верующих из-за старости и одышки. Где-то на войне у него сын и внук, и к правоверным он взывает голосом утопающего.

Конак, здание, в котором помещалось уездное полицейское управление, когда-то красивое, теперь со своими выщербленными порогами и забитыми кое-где окнами имеет зловещий вид. Рядом с конаком — длинное приземистое строение с железными решетками в далеко отстоящих друг от друга окнах. Перед каждой дверью — солдат последнего призыва, небритый и бледный, вооруженный винтовкой со штыком, но с матерчатой лямкой вместо ремня.

Это сейчас магическое средоточие города. Все, что еще осталось в нем живого и способного двигаться, — движется вокруг этого здания. Зовется оно Апровизацией. Это непонятное слово произносится при отходе ко сну, и им же вместо завтрака подкрепляются дети по утрам. Земля перед этим зданием утрамбована тысячами ног, точно вокруг какого-нибудь святого места, а косяки его дверей черны и отполированы руками, как иконы, к которым прикладываются тысячи и тысячи губ. Вокруг ни травинки, ни соломинки. Толпа все вытаптывает или подбирает после своих ежедневных сборищ. Ибо это единственное гульбище, на которое народ сходится, и праздник, который он чтит со всей силой инстинкта сохранения жизни и поколебленной или подорванной веры,

Два раза в неделю из Сараева приходил вагон с кукурузной мукой. Один по четвергам — для жителей города, а второй по субботам — для окрестных сел. Но в последнее время вагоны прибывают нерегулярно, запаздывая иногда на два-три дня. Тогда город начинает волноваться, и перед Апровизацией возникают беспорядки. Городские ребятишки целыми днями шатаются по полотну железной дороги, выглядывая знакомый вагон с мукой. Заметив его, они подымают радостный гам, точно увидели кого-то родного и любимого. Мальчишки вскидывают руки, весело скачут и долго машут своими дырявыми, выгоревшими шапчонками. Потом бегут на станцию и через ограду смотрят, как с вагона срывают пломбы, а затем пересчитывают и грузят на телеги мешки.

Целая стая ребят отправляется следом за телегами, в то время как другие бегут впереди, чтобы обрадовать народ, собравшийся перед Апровизацией.

А там с самого рассвета до глубокой ночи люди приходят и уходят, расспрашивают, просят, грозятся или просто сидят и ждут, поджав под себя ноги, тупо уставившись на свои руки, освещенные весенним солнцем, или на обитые железом двери лабаза. Когда же подходит чиновник с двумя помощниками, все теснится вокруг него и смотрят на него, как на божество, которое вольно их казнить или миловать. А чиновник этот — и сам изнуренный, отощавший человек, уже давно не имеющий ни сил, ни воли как бы то ни было реагировать на все, что его окружает.

Охрана вокруг лабаза удваивается, а толпа стягивается и густеет у дверей, как тесто. Капрал, старший в карауле, притиснут к дверям так, что едва может дышать, и то и дело отпихивает живую стену то плечом, то коленом.

— Соблюдайте порядок, люди! Тихо, люди!

А люди отвечают еще более сильным напором и невнятным гомоном, в котором звучат и мольба, и совет, и ругань,— все это без числа, без порядка и смысла. Одни кричат, что вчера открыли раньше, другие тянут руки с какими-то бумажками, третьи уверяют, будто дверь не открывают потому, что выдают муку с заднего входа каким-то привилегированным жителям. Вокруг того, кто это сказал, возникает круг ожесточения. Но внимание снова переключается на капрала, которого совсем

ватерла толпа, и только его длинный русский штык колеблется над головами, то быстрее, то медленнее, как стрелка манометра, регистрирующая вибрацию человеческой массы. Какой-то человек неопределенного возраста, черный, точно головешка, старается пролезть к двери между ног солдата и цепляется руками за дверные петли. Капрал пинает его сапогами и осыпает бранью.

— А что я тебе сделал? Видишь, народ напирает! — плаксиво вопит невидимый человек, но петель из рук не выпускает.

— Осточертел ты мне, коротышка несчастный! Не будь тебя, я бы уж с остальными управился. Кабы не винтовка, я бы тебе показал! — кричит капрал и дает человечку тумака левой рукой, прижимая к себе правой винтовку.

И народ забывает то, о чем только что говорил и кричал, и смеется над невидимым человеком и капралом. Но уже через несколько мгновений снова подымается гам и толкотня, на этот раз вокруг двух женщин.

Некая вдова, утверждающая, что умеет читать, рассматривает хлебную карточку какой-то цыганки.

— Да ведь этот талон у тебя просрочен и больше не действителен. Он был на прошлую неделю.

Цыганка в ужасе прижимает карточку к губам, как амулет, чуть не валится с ног от отчаяния, но, так как в такой тесноте упасть невозможно, только запрокидывает голову, закатывает глаза и истерически кричит:

— Ах, ах! Люди, погибли мы!

У псе берут карточку, чтобы узнать, в чем дело. Начинается препирательство, и, сравнив ее с другими, люди приходят к выводу, что талон действителен, и та грамотная вдова ошиблась. Цыганка тотчас перестает причитать и успокаивается. Только еще тщательнее расправляет и разглаживает помятую карточку и срывающимся голосом говорит:

— Ах, женщина, господь с тобой, до чего ты меня напугала, какого страху нагнала! Так ведь и помереть можно.

Однако не всегда все так гладко протекало перед Апровизацией. Настоящее мучение начиналось, когда выкликали фамилии и выдавали муку. Тут случались тяжелые, непонятные и мучительные эпизоды, и никогда нельзя было предвидеть, что могут натворить эти люди с их истощенными голодом телами и взвинченными нервами.

Писарь с порога читает по списку фамилии, а солдаты впускают вызванных внутрь лабаза. Там душно и темно, но торжественно, как в ризнице, пахнет кукурузной мукой, туго набитой в мешки, от которых, кажется, распространяется сияние. Тут стоят весы, а возле них — два парня с засученными рукавами и руками, запорошенными мукой.

Каждая семья должна получить по кило муки на неделю на каждого домочадца. Однако на самом деле это не так просто.

Входит молодая женщина с ребенком на руках, уставшая и раздраженная ожиданием. Уголки губ ее подрагивают. Ей отвешивают кило муки.

— А на ребенка? — резко спрашивает она.

— Тут ребенок не значитя, — говорит чиновник, показывая на свою тетрадь.

— Если нету там, то есть здесь, — ядовито возражает женщина. — До последнего времени я сама его кормила, а теперь, простите, нечем. Приходится отымать.

— А по закону это? Принеси свидетельство о крещении.

— Кто мне в этокое время даст свидетельство и за какие деньги я его получу? А до тех пор чтоб ребенок у меня помер?

— Без свидетельства ничего не выйдет, — говорит чиновник, собираясь вызвать следующего.

Тогда женщина бросает мешочек с полученной мукой, берет сонного ребенка и кладет его на стол между чиновником и весами.

— А раз так, берите его и кормите. Раз царь увел мужчин и взялся кормить детей, тогда тут должен быть записан и мой ребенок.

Голос ее звучит резко и прерывисто, а движения размашисты и внезапны, как это бывает у женщин в минуты великого гнева, страха или любви.

Чиновник, у которого и у самого полон дом детей, вскакивает и взмахивает руками, как бы защищаясь:

— Нет, нет, не надо, уведите ее!

Подбегают солдаты. Народ волнуется. Один солдат неумело и осторожно берет ребенка, а двое выводят женщину, обезумевшую не от этого, теперешнего, а от какого-то давнишнего, глубоко залегшего горя и гнева.

— А-а, вот как? Не можете моего мужика найти в своих списках? А когда на фронт посылали — сразу нашли.

Мой ребенок должен подохнуть с голоду, а ваши, со свидетельствами, едят, едят.— Она несколько раз с омерзением и ненавистью повторяет это слово, и вдруг из нее с новой силой вырывается громкий вопль: — ...Едят, чтоб эта еда из них кровью вышла!

Визжа, она бьется в припадке между придерживающими ее с обеих сторон солдатами, извиваясь, обрывая у них пуговицы и шнуры.

Все замолкает в суеверном страхе. Чиновник, потрясенный, опускает голову под незаслуженным проклятием. Наконец женщину успокаивают, прыская ей в лицо холодной водой и утешая ласковыми словами без смысла и значения. Ей возвращают ребенка, а с ним — кило муки; она принимает все тихо и покорно. Она еще вздрагивает и ни на кого не смотрит. И когда женщина уходит, прижав к груди ребенка и мешочек с мукой, народ тотчас забывает о ней и начинает сызнова ссоры, шутки и давку у дверей, за которыми еда.

Другие эпизоды, разыгрывавшиеся без свалки и крика, бывали не менее тяжелыми и страшными.

Перед прилавком стоит пожилой человек с густыми седыми усами и бровями. Опустив глаза, он ждет.

— Йокич! Йокич! Йокич! — повторяет чиновник, проводя карандашом по списку, страница за страницей, сверху донизу.

— Йокич! Йокич! Нет, вас в списке нет.

— Так-таки нет? — спрашивает человек, не подымая глаз.

— Нет. Идите в уездное управление и уладьте это дело там. Следующий!

Старик постоял еще некоторое время, немо и неподвижно (только скулы его слегка подрагивали), точно принимая какое-то трудное решение, а затем, ни слова не говоря, повернулся и прошел мимо солдат и сгрудившейся толпы, не подымая взгляда. Все посторонились, чтобы пропустить его, а за ним, за его тяжким молчанием оставался след, точно угроза. Скажи он хоть слово или подними взгляд, всем было бы легче.

— Дальше, дальше, пошли дальше! — восклицал чиновник, но не мог разогнать гнетущую тишину, воцарившуюся после ухода старика. Прошло некоторое время, прежде чем откликнулся человек, вызванный по списку,

Это был пьяница, бывший портной, уже давно спившийся с круга и как нельзя более подходящий для того, чтобы рассеять мрачное впечатление, оставленное оцепенелостью старика.

Портной стоял навтыжку и, стараясь не качаться, протягивал свою карточку.

— Ты пьян, Джордже,— сказал ему чиновник, повысив голос,— ты променяешь муку на ракию. Ступай, пусть лучше придет твоя жена.

— Ей-богу, не пьян, сударь,— взволнованным, растроганным тоном отозвался тот,— не пьян я, просто у меня от травы от этой кишки стали тонкие, словно папиросная бумага, и стоит мне только увидеть спиртное, как я уже под мухой. А я не пьяный. Дал мне один солдат рому с наперсток...

— Ладно, забирай муку и отправляйся! Быстро!

Пьяница берет пакет с мукой и церемонно раскланивается.

— Разве бы я... у меня же трое малышей... спасибо вам, сударь, превеликое.

Он выходит, лицо его блестит от пота, а глаза полны пьяных слез.

Однако труднее всего было закончить раздачу и закрыть лабаз. После тех людей, которые, получив муку, уходили домой такие радостные, точно им ее на всю жизнь хватит, всегда оставалось человек десять, большей частью женщин, которым по той или иной причине ничего не досталось. Покуда запирались железные двери, они плакали и голосили, цеплялись за пиджак чиновника и за приклады солдатских винтовок:

— Ну, господин хороший.

Чиновник пытался разогнать цыганок и детей, но был бессилен. Не станешь же их бить, а слова не помогают. Когда ему удалось отогнать цыганок, которые каждый раз разыгрывали эту сцену, стараясь притворным плачем выманить горсточку муки, перед ним стала женщина, закутанная в выцветшее покрывало. Она говорила шепотом, как это принято у женщин из состоятельных мусульманских семей, с заметным усилием преодолевая врожденную стыдливость и сдержанность.

— Я невестка Мемишагича. Шестеро нас. Ни одного мужчины. В карточках и списках ничего не понимаю. Если знаешь, что такое беда...

Тут вдруг ее тихий голос пресекся несильным и невидимым плачем, но она продолжала стоять перед чиновником.

Тот в замешательстве разводил руками, глядя на своих помощников и солдат. Никто не решался прикоснуться к несчастной женщине и убрать ее с дороги, а цыганки, ободренные колебанием чиновника, стали насканивать на него, галдя:

— И нам, и нам, господин. Не только ей, и нам.

Солдаты, глядя прямо перед собой, ждали распоряжения чиновника, а он, забыв о них, о семье, о долге и войне, хотел только одного — умереть, наконец, исчезнуть из этого мира, где каждое живое существо каждый день должно есть.

Однако наставал новый день, и все оказывались на своих местах, и все повторялось до мелочей. Вот только со вчерашнего дня работа в Апровизации идет под музыку. Из двора через улицу с раннего утра доносится цыганская музыка. Два бубна и зурна. Бубны бьют глухо и однообразно, с механической монотонностью, и на этом темном фоне зурна выводит типичную цыганскую мелодию. Эта мелодия, трепеща, взвивается, как струя фонтана, и все кажется, что она вот-вот высвободится и в верхней точке этой однообразной линии разовьется в новый мотив, как цветок, но вместо этого она каждый раз вдруг опадает и сразу же вновь начинает расти в высоту, без надежды и перспективы.

На высоком заборе около Апровизации уселась стайка ребят, которые наслаждаются одновременным созерцанием давки у дверей лабаза и свадьбы — хоровода и музыкантов во дворе напротив. Босыми пятками они отбивают такт по доскам забора, причем одни из них подражают большому бубну:

Дум-дара, даки-даки-даки,
Дум-дара, даки-даки-даки! —

а другие — малому:

Дум-дара-дара, даки-даки,
Дум-дара-дара, даки-даки!

Дом напротив конака, большой и красивый, с просторным двором и верандой, забранной деревянными решетками, некогда принадлежал богатым Хайровичам. Одни из них умерли, другие переселились. Дом был последним, что они продали меньше года назад.

Купил дом цыган Хусо, прозванный Курятником. Это по случаю его свадьбы со вчерашнего дня идет непрерывное веселье.

До самого начала войны Хусо занимался перепродажей кур и яиц, поджидая крестьян у входа в город и таская всю свою лавочку в корзинке за плечами. Был он длинноног, с живыми глазами, но с маленькой и уродливой головой и продавленным носом, под которым почти не было губы, а сразу же белели широкие верхние резцы.

Когда была объявлена война, в этом пограничном городке поднялась суматоха — мобилизация одних и аресты других граждан, обозы и беженцы, хаос доносов и фантастических слухов. Две враждебные артиллерии палили друг в друга, и снаряды летели над городом, вселяя в людей безумный страх, заставлявший их совершать глупости и подвиги, подлости и героические дела. В этой свалке власти организовали шюцкор¹ из разных сомнительных личностей и пьяных молодчиков, большей частью цыган. Тогда-то город и увидел, как Хусо Курятник с карабином за спиной, на бешеном коне, мчится сломя голову по базарной площади.

Однако бои были короткими и незначительными, фронт далеко отодвинулся, и город остался за Австро-Венгрией. Так он простоял некоторое время ничей, забытый и разрушенный, пока народ не начал возвращаться домой.

Среди первых вернулся и Хусо Курятник, ибо для службы в армии его сочли негодным. Вначале он выполнял обязанности ополченца, объезжая с солдатами, не знавшими здешних мест, окрестные села в поисках спрятанного зерна и оружия. Странствуя так из села в село, он начал скупать у неопытных женщин и стариков овечьи и козьи шкуры. Люди отдавали их дешево, скорее как взятку, чем как товар. Когда вернулась на место регулярная жандармерия и ополчение было распущено, Хусо продолжал вести свою торговлю и с быстротой, которая возможна лишь в военные годы, разбогател в то самое время, когда все другие торговцы куда-то исчезали или едва сводили концы с концами.

Изменились его вид и повадка. Он приделся. На ногах — непривычные новые штиблеты. На талии — широ-

¹ Ополчение (нем.).

кий, яркоцветный стамбульский кушак. На шее — серебряная цепочка и черный шнурок, на цепочке часы, на шнуре — большой полотняный мешок, из которого он достает деньги, расплачиваясь с крестьянами и работниками за товар и перевозку. Иногда он важен и серьезен, так что верхняя губа почти сходится с нижней и зубы видны только наполовину, а иногда дерзок, весел и хвастлив.

Никто его больше не кличет Курятником, зовут, как пишется на его печати и вывеске: Хусеин Хускич. Рабочие и те, кто его просит о чем-нибудь, называют его Хусеин-агой. Он подписался на значительную сумму государственного военного займа. Время от времени, используя свои связи, он, в обмен на шкуры, добывает вагон картошки или повидла и раздает беднякам. Отправляясь с товаром в Сараево, он кутит с такими же торговцами военной формации и нуворишами.

Нынешней весной Хусо купил господский дом Хайровичей на базарной площади и переселился в него из своей Цыганской слободы. При этом он покинул свою жену Мейру, косоглазую, старую и уродливую цыганку, которая, как и большинство ее соплеменниц, не закрывала лица покрывалом и которой он недавно приказал купить чадру. Хусо женился на ней за несколько лет до войны. Тогда он был очень молод, а она — старше его. В приданое за ней он получил ветхий домишко и кузницу, оставшиеся ей от отца. Детей у них не было.

Теперь, когда судьба столь основательно изменила жизнь Хусо Курятника, эта женщина никак не соответствовала ни ему, ни тому, что его окружало. В новый дом он решил внести новую мебель и ковры и ввести новую жену, такую, какую ему нужно, — молодую и плодовитую.

Он отправился к кадии и заявил, что оставляет Мейру, возвращая ей все, что она принесла ему в приданое, и добровольно определяя ей небольшое ежемесячное содержание. Тут же он посватался к девушке из хорошей мусульманской семьи в Душче и женился на ней. Она была крепкая и светловолосая, круглая сирота, и Хусо без труда столкнулся с родственниками, которым она была в тягость.

Чтобы свадьба была как можно более пышной и чтобы ее видело как можно больше народу, Хусо устроил брачное торжество в своем новом доме, в центре торгового квартала. В полумертвом городе нашлось достаточно на-

роду, чтобы заполнить дом Хусо, ломившийся от богатства. Это была прежде всего молодежь, которая в любое время должна отплясать и отпеть свое, затем цыгане и разный малопочтенный люд неопределенного вероисповедания.

Так начались эта музыка и пение в двух шагах от Апровизации.

Мейра, смиренно принявшая в канцелярии кадии свой новый удел, вдруг спохватилась и начала бунтовать, плакать, ходить к Хусо в лавку и на дом, заклинать его не прогонять ее, осыпать бесконечными упреками. Она таскалась за ним как тень.

Еще в то время, когда они были мужем и женой, их ничто по-настоящему не связывало. Занимаясь перепродажей кур в городе, он не общался с нею иначе, как ударами палки или оплеухами, да и то изредка. А с тех пор как он выбился в купцы и разбогател, Хусо вообще перестал ее замечать.

И вот теперь, когда он по всей форме развелся с нею и она могла бы жить как и до сих пор, только лучше, Мейра вдруг оказала неожиданное, непонятное и бессмысленное сопротивление. Всеобщее безумие, охватившее мир и город и сделавшее из Хусо Курятника Хусеин-агу-экспортера, точно заразило и эту слабоумную женщину и начало бродить в ней, как дрожжи.

Их брак, который, в сущности, никогда и не был браком, был теперь по всем правилам расторгнут. Хусо сделал все, чего требовал закон, и даже более того. И все же Мейра с упорством, на какое способны лишь уродливые и недалекие люди, требовала и молила, чтоб Хусо не бросал ее и оставил при себе вместе с новой женой. Тщетно было вразумлять ее. И Хусо только отворачивался.

Однако в самый день свадьбы, когда во дворе кружился один хоровод, а на веранде — другой и двое цыган-музыкантов наяривали так, что было слышно на краю города, во двор вошла Мейра в своей чадре из темно-синего ситца и уселась на камень, раскачиваясь, как над покойником. Возле нее двигался хоровод, в котором каждый, точно слепец, был занят только самим собой и наслаждался ритмом и движением. С веранды слышался глухой топот другого хоровода. Там танцевали одни женщины, ударяя по половицам ногами в белых чулках. А в углу, не шевелясь, стояла молодая, покрытая белой

вуалью. Топот женского хора на веранде волнует парней во дворе; под их башмаками позванивает булыжник. Два эти звука переплетаются, и танцорам хочется, чтобы пляска длилась как можно дольше, как радостное и долгое слияние.

Повсюду — в хороводе, в доме и во дворе мелькает Хусо, разгоряченный и смеющийся, самоуверенный скорбогач, угощая и чувствуя всех вокруг. Проходя мимо Мейры, он мрачнеет и, не останавливаясь, говорит с затаенной злобой, гундосо, как люди, у которых небо без язычка:

— А ты все сидишь? Ну, сиди, сиди. И тебе повеселиться надо.

И тотчас принимает прежнее радостное выражение, переходя от гостя к гостю.

Как только музыка смолкает, сквозь веселый гомон и откашливание танцоров становится слышным Мейрино причитание, прерываемое вздохами:

— Э-эх! Хороша я была для тебя когда-то, Хусо, хороша была. Несчастливая я! Вместе мы добро наживали и думу думали. Ух, ху-у-у-у!

Так она, перемежая слова стонами, рисует некий безупречный брак, не имеющий ничего общего с ее жизнью с Хусо. Как только кто-нибудь обращает на нее внимание, она начинает говорить громче. Мужчины и женщины подходят к ней, утешают и советуют не вести себя черт знает как, а отправляться домой. Однако ничто не помогает. Хусо распоряжается, чтобы музыка играла и гости танцевали, и женщина снова обречена на стенания, которых никто не слышит. В сгущающемся мраке веселые гости разгорячаются все сильнее и постепенно забывают о Мейре, которая не сходит со своего места и не прекращает своих причитаний.

Среди первых, кто пришел и на следующий день, была Мейра. Только на этот раз с нею был ее двоюродный брат, некий Ризван, лукавый и подслеповатый цыган. Мейра села на камень, на котором просидела вчера целый день, точно это закрепленное за ней место на сцене. Хусо нахмурился, но сделал вид, что не замечает ее. А когда появился Ризван и вознамерился поговорить с Хусо насчет Мейры и ее судьбы, Хусо, возбужденный вином и бессонной ночью, распалился гневом, который он долго подавлял и таил:

— А, так это ты подговариваешь эту несчастную!

Они схватились врукопашную. Хусо удалось открыть ворота и бросить Ризвана лицом на камни мостовой. Когда его подняли, он был весь в крови. Таким он и отправился в конак, через дорогу. Там Ризвана перевязали и выслушали его показания.

В то же утро начальник полиции вызвал Хусо. Новоиспеченный богатч был в хороших отношениях с властями, особенно военными, однако повреждения, нанесенные Ризвану, были тяжелы, а драка произошла в общественном месте, на глазах у всего базара. Хусо был сразу же приговорен к трем дням тюрьмы. Он предлагал деньги, но их не приняли, так как это была его не первая драка. Ему было разрешено до вечера доиграть свадьбу и явиться в тюрьму с утра.

Курытник бесновался, бегал, задыхающийся и злой, из конака в свой двор и обратно, но начальник полиции, сухой и черствый немец, неумолимо стоял на своем. Тогда Хусо начал пить, созывать и приводить все новых гостей, угощать их и заказывать все новые хороводы и песни.

На камне неподвижно сидела Мейра, и видно было, что она не сдвинется с места, хотя бы из-за нее передралось полгорода, а не то что Ризван с Хусо.

Курытник ярился. Стараясь поставить на своем, он приказал, чтобы веселье не прекращалось все три дня, которые он пробудет в тюрьме. Он грозил переколотить все в доме, если хоть на час прекратится подача еды и напитков. Музыкантам он кричал:

— Чтоб вы три дня играли! Ни минуты не молчать! Хочу весь день вас слышать. А за мной не пропадет. Денег не пожалею. Пусть помнят свадьбу Хусо!

И он обнимался с приятелями, подбегал к молодой и не знал, что делать от гнева и радости и какого-то ощущения величия, распирившего его так, что ему чудилось, будто он — больше города и грудью касается гор, окружающих дома.

Гости были несколько смущены. Некоторые ушли со свадьбы. Однако большинство, истосковавшись по горячей пище и соскучившись по веселью, осталось. Музыканты не прерывали игры.

Хусо дерзко и весело вошел в низкую полутемную тюрьму конака, не взглянув на Юсуфа, сторожа, который смущенно открыл ему дверь. Так как единственная камера была переполнена посаженными по какому-то по-

дозрению крестьянами из Стольца, ожидавшими отправки в Сараево, Юсуф запер знатного гостя в своей каморке, где стояла кровать, а на очаге варился кофе.

Здесь Хусо проспал до полудня, когда Юсуф принес ему обед. За обедом Хусо предложил Юсуфу выгодную сделку. Когда начальника полиции и чиновников не будет в конаке — от двенадцати до трех — Юсуф отпустит его домой на часок, «проведать семью» и посмотреть, хорошо ли угощают его гостей и все ли в порядке.

Сначала Юсуф отказывался. Нельзя. Семнадцать лет царской службы, все строго и аккуратно, как требуют правила, — и вдруг такой непорядок. Нет, нельзя. Услуги поменьше он ему будет оказывать, а это нет. Тогда Хусо лаконично предложил ему мешок муки. Юсуф подумал о своем доме. Четверо взрослых детей! Кроме того, от сына, погибшего в Галиции, осталась невестка с внуком. На свою беду, она умела читать и, увидев в газете имя своего мужа среди имен убитых солдат, повредилась в уме и до сих пор не пришла в себя. И ей и ребенку нужны и еда и уход.

Юсуф подумал обо всем этом, но все же, может быть, не сдался бы, не сделал того, чего никогда не делал, не будь этот Хусо таким веселым и дерзким человеком, которому все легко и с которым все кажется просто и возможно.

— Будь спокоен, Юсуф, за мной не пропадет.

Перед этими волшебными словами Юсуф отступил. Хусо покровительственно держал руку на его плече и, улыбаясь, откуда-то свысока смотрел на Юсуфа, стоящего внизу, в долине, где никто не смеется и где никогда нельзя избавиться от забот и страха. А Юсуф в самом деле выглядел жалко с его желтыми усами на желтом лице, одетый наполовину в свою национальную одежду, наполовину в какую-то вытершуюся униформу.

Когда какая-либо власть, а вместе с нею и определенный порядок вещей отживет свой срок, ослабеет и начнет разрушаться, ветшает не только одежда и снаряжение ее служителей, но и их физический облик каким-то образом меняется. Тоньше становится голос, взгляд приобретает беспокойное выражение, сутулится спина и подгибаются колени, точно какой-то невидимый потолок, нависший над головой, не дает выпрямиться. В такие переходные времена смещаются все отношения. Тогда никто толком не знает, что допустимо, а что нет. Тогда все возможно.

И тогда подымаются и набирают силу вот такие Курятники.

Около часу дня Хусо пробежал те несколько шагов, что отделяют конак от его дома. В каморке остался один Юсуф, сидящий на корточках перед очагом, точно он и есть арестант. Его грызла совесть, и во рту горчило от муки, которой он еще и не получил.

На дворе у Хусо как раз раздавали жареное мясо и ломти столь редкого тогда и драгоценного хлеба. Музыканты собрались сделать перерыв в игре, чтобы и самим подкрепиться. В этот момент Хусо стремительно и неожиданно распахнул калитку и, выпятив грудь, улыбаясь, стал на пороге, как великодушный победитель.

Раздались радостные возгласы, все засуетились. Музыканты заиграли громче. Все столпились вокруг Хусо, расспрашивали его, поздравляли, хватали за руки, хлопали по спине. Он отвечал смехом, похожим на хрюканье, и сам повел коло, самое быстрое и огневое из всех, какие тут танцевали. Все становились в круг. Кое-кто из цыган, не желая расставаться с доставшимся ему лакомым куском, танцуя, по-собачьи держал в зубах свою порцию мяса или ломоть хлеба.

Затем коло продолжалось без Хусо, который пошел навестить молодую. Не дойдя до крыльца, он наткнулся на Мейру. Она сидела на том же камне, подле одного из столбов, поддерживавших веранду, и напоминала качающуюся статую. Хусо помрачнел.

— Опять ты тут!

— Ху-у-у-со, столько хлеба и соли...

— А ну пошла вон, говорю тебе! Не смущай мне народ.

И он прошел мимо и взбежал по застеленным половиком ступеням к молодой, вокруг которой собрались женщины. Одни при виде его накрылись чадрой, другие отошли в сторону. Хусо, громко смеясь, стал доставать из-за широкого пояса пригоршни маленьких зеленых асигнаций по две кроны, называемых в народе бабочками, и бросать их в подол молодой, которая сидела, не шелохнувшись, как индусское божество.

Голова у него шла кругом, он не знал, за что приняться, рассыпал подарки и распоряжения. Бегая по веранде, он кричал через деревянные решетки тем, кто был во дворе:

— Коло! Коло!

И, проговорив это, сбегал во двор. Пробегая мимо Мейры, он кричал ей, чтобы она наконец убралась из его дома, но тотчас забывал о ней, становился в коло и подскакивал неумело и не в такт с музыкой.

Когда подошло время, Хусо вынул из-за пазухи свои серебряные часы, убедился, что скоро два, еще раз обежал все и возвратился в конак так же, как и пришел, чтобы утешить и развеселить подавленного и озабоченного Юсуфа, своего стража.

Так в течение всех трех дней Хусо на час-другой выходил из тюрьмы. Все это время пиршество и танцы в его дворе не прекращались и музыка не умолкала. Даже в памяти последнего ребенка на самом краю города, на Повестаче или под Мейданом, зурны и бубны за эти три дня оставили неизгладимое воспоминание о Курятниковой свадьбе.

А рядом с его домом, под аккомпанемент музыки с его двора Апровизация изо дня в день продолжала свою странную работу, тцась несколькими мешками муки утолить необъятный и ненасытный голод народа. Чиновник с сутулой спиной и подгибающимися коленями, его помощник, хмурые и очерстевшие, как гробовщики, и солдаты, пропахшие жареным луком и кислым казарменным хлебом, выкликали фамилии, выдавали муку, били или разъясняли, каждый согласно своей должности и праву. А народ валил к этому новому святилищу с правом и без права и вечно требовал, упорно и слепо. Истеричные и несчастные женщины приходили сюда только для того, чтобы отвести душу в жалобах и скапдалах. Даже собаки и птицы собирались тут в ожидании, не прорвется ли какой-нибудь мешок и не просыплется ли немного зерна или муки.

Через два дома от Апровизации была лавка Салих-аги Междусельца. Душевный и веселый человек, когда-то состоятельный торговец и хороший хозяин, теперь он был разорен войной. Два его дома сгорели во время боев, лавка и склад были дважды разграблены войсками. Сейчас в лавке почти не было ни товаров, ни покупателей, и он сидел там, худой и поседевший, но всегда чисто одетый, с улыбкой во взгляде.

В его лавке обычно собирались именитые горожане, имевшие какое-нибудь дело в конаке или Апровизации и ожидавшие здесь своей очереди. И сейчас тут сидят два пожилых мусульманина. Курят, кофе не пьют — его

нету, и разговаривают с Салих-агой. Как и все в городе, они говорят о Хусо и его свадьбе. Переходят на другие темы, но цыганская музыка и гам снова возвращают их к прежней.

— Пришло время, когда вместо настоящих купцов в лавках будут цыгане сидеть.

Все соглашаются.

— Многим людям надо расстаться с торговлей, чтобы один курятник открыл свою лавку,— спокойно, без всякого яда говорит Салих-ага.

— Да, да, много загонов поросло травой, прежде чем в его загоне скот траву вытоптал,— говорит первый гость.

— Цыган — он цыган и есть. Мы еще увидим, как он по-прежнему босиком скупает кур и обивает чужие пороги,— говорит другой, желая сказать что-нибудь утешительное и успокаивающее.

— В том-то и беда, что век человеческий пройдет, прежде чем увидишь, как Хусо-цыган из Курятника становится первым человеком и как снова возвращается в свое цыганское сословие,— возражает тот, кто неохотно мирится с судьбой.

В ответ старик протрапно объясняет, что есть какое-то предание, будто провидение божие, которое неусыпно бодрствует над этой землей и судьбами людей, примерно раз в столетие закрывает глаза на несколько мгновений, которые для нас, смертных, длятся по нескольку лет. И тогда все на этом свете идет кувырком. Злые завладевают властью, а добрые им покоряются, негодяи и маломышленные получают слово, а почтенные и мудрые умолкают, правоверные утрачивают надежду и направление в жизни. И если бы это продлилось долго, то все на земле зачервивело бы и погисло — и плод во чреве матери, и семя в земле. Но аллах смилуется, и все снова исправится и пойдет хорошо. Един аллах!

Исчерпав все эти разговоры, они говорят о чем попало, лишь бы не обращать внимания на цыганское дудение, отвлечься и обмануть слух. А трескучие звуки музыки плывут над наполовину заколоченными сонными торговыми рядами.

В конце третьего дня, когда Хусо по чьей-то просьбе был выпущен из тюрьмы, веселье разгорелось еще пуще. Однако прежде, чем сгустился мрак, народ, собравшийся перед Апровизацией, и люди, сидевшие в лавке Междусельца, услышали, как музыка оборвалась, песня неужи-

давно смолкла и поднялся шум и крики. Но как только стемнело, веселье возобновилось, еще более громкое и необузданное.

Когда Хусо, освобожденный на целую ночь раньше срока, вернулся домой, он увидел, что Мейра все еще сидит на своем камне. Снова разгорелась короткая и желчная перепалка. Хусо требовал, чтобы жена не портила ему свадьбу, а она в ответ только причитала:

— А куда я денусь? В воду или в петлю?

— А куда твоей душе угодно. Вон там тебе и Рзав и Дрина, выбирай что хочешь. Только с глаз моих долой.

Мало кто из гостей приметил, когда Мейра исчезла со двора. Вскоре после этого донеслись крики с берега реки, а затем во двор ворвались какие-то ребяташки, мокрые и перепачканные.

— Мейра кинулась в Рзав! — кричали мальчишки своими звонкими веселыми голосами. — Ее там достают рыбаки, Газия и Сумбо.

Коло остановилось. Гости заволновались и сбились в кучу. Остановились и музыканты, сначала те, что во дворе, а потом на веранде. После шума и галдежа тишина казалась долгой и глубокой, хотя мужчины переспрашивали друг друга, а женщины вздыхали и вскрикивали.

Разозленный, яростно жестикулируя, Хусо выбежал на середину двора и крикнул во весь голос:

— Нечего туда ходить. Она не утонет. Я гарантирую. Такой ни вода, ни огонь нипочем. Пускай стерва подыкает, как хочет. Становитесь в коло. Сульо, давай!

Голос его звучал решительно и уверенно, но веселье не хотело возвращаться. Музыканты повиновались, но коло не получалось. Какой это ни был цыганский сброд, пляска никому не шла на ум. Хусо делал вид, будто ничего не замечает, и хотел во что бы то ни стало задержать гостей и поднять их настроение. Однако он бы ничего не добился, если бы в воротах не появились те самые цыгане-рыбаки, Сумбо и Газия. Одежда на них была до пояса мокрая. Оба улыбались. Им подносили водку, а они рассказывали о том, как Мейра будто бы тонула.

— Маленько она сама плыла, маленько мы ее тащили. И волос не замочила. Кричит только: «Отнесите меня мертвую...», а сама одним глазом выглядывает, где поменьше, — шутили рыбаки, всем известные сорвиголовы и пьяницы,

Народ посмеивался. Некоторые косились на ворота, ожидая увидеть в них Мейру, но рыбаки успокаивали их, говоря, что она ушла домой, как только ее вытащили. И еще вспоминала: тут, мол, где-то я свои сандалии оставила.

Гости смеются. Хусо угощает рыбаков. Теперь настроение у всех действительно поднялось. Веселье возвращается. Музыка играет, как и до этого цыганского самоубийства. Из цыганской слободы они успели перенести сюда свои обычаи шумных скандалов и быстрых примирений.

Стемнело. Горят два костра. Все дружно поют. Под врандой на бочонке, как на престоле, сидит Хусо, надзирает за всем и распоряжается. Веселые гости, цыгане и другой бедный и неприкаянный люд, глядят на него с еще большим почтением, почти с обожанием, словно на существо высшего порядка, которое живет как хочет и делает что хочет, которое может не только купить их всех до единого, выйти, когда ему вздумается, из тюрьмы, и диктовать свою волю базару, но повелевать водной стихией и самоубийцами; ничто не может его смутить, все оно знает и предвидит, безошибочно и непоколебимо. Преданно мигая, они глядят на него как на силу, которой нет ни конца, ни меры.

Апровизация закрыта, народ разошелся. Базар замер во мраке, обезлюдивший и темный. Только с ярко освещенного двора Хусо доносится топот хоровода и зов бубнов, а зурна выводит все ту же мелодию, которая непрестанно и тщетно взмывает в высоту.

РАССКАЗ О КМЕТЕ СИМАНЕ

С грохотом, какого еще не слыхало ухо боснийцев, 19 августа 1878 года австрийские войска вступили в Сараево. За грохотом последовало и все остальное: кровь, трупы, полевые суды, виселицы и расстрелы, страх, неожиданные лица, новые распоряжения и обычаи.

Многое изменилось и перевернулось в душах потрясенных людей, многое начало меняться в их отношениях. Случилось это и с кметом Симой Васковичем, или попросту Симаном.

Небольшой, но хороший надел земли, на котором жил Симан с женой и двумя малолетними сыновьями, находился неподалеку от Сараева, сразу за селом Швракином. Земля принадлежала шорнику Ибраге Колошу, державшему лавку на Башчаршии, скромному мастеру из мелких землевладельцев. То ли права он был мирного, незлобивого, то ли просто не умел обращаться со своим кметом иначе, даже если бы и захотел, но вел он себя сравнительно с другими агами робко и осмотрительно.

Ведь называют некоторых землевладельцев в народе «добрыми господами»! Наверно, они не лучше и ничуть не добрее прочих, а просто слабее и по характеру менее напористы и жестоки, чем иные крупные землевладельцы, что сидят на шее кметов и чьи бессердечные субаши забирают с гумна кмета в счет произвольно отмеряемого хака все до последнего зерна. Разница только в том, что иногда в таком «добром» аге побеждает мудрость маленького слабого человека. Так было и с этим Ибрагой. Но все равно в нескончаемых и запутанных расчетах между ним и его кметом властвовал тот же страшный принцип,

по которому один человек ест другого, а этот другой отдает ему все силы и получает лишь частицу урожая без всякой надежды на то, что когда-нибудь положение изменится.

Таков был ага Симана, и такова была его доброта.

О самом Симане тоже не скажешь, что он плохой кмет, хотя и хорошим его не назовешь. Вернее всего, он по-своему и хорош и плох.

Другие кметы стараются отравить жизнь аге: отлынивают от работы, обманывают, волынят, пускаются на мелкие хитрости при внесении хака, то есть трети урожая зерна, половины сбора овощей и фруктов и половины укуса сена. Симан не умел хитрить, не способен был на бессмысленное упрямство. Аге он отдавал почти все, что было положено, но решительно отказывался доставлять хак на дом, в город; ни за что не соглашался, подобно другим кметам, быть кулучаром, то есть пять-шесть дней в году работать в хозяйстве аги. Вообще держался перед агой гордо, с достоинством, знал себе цену.

Ибрага мог найти способ сбить спесь со своего кмета, но решил, что выгоднее ничего не замечать и получать хороший хак. Поэтому он терпел мелкие причуды кмета, считая их тем наименьшим злом, которое неминуемо, как тень, сопровождает все хорошее и полезное в мире. Он сам ежегодно отпрашивался за своей долей урожая, делая вид, что это для него забава и развлечение, и никогда не заставлял Симана выполнять домашние работы, говоря, что в этом нет надобности.

Так, без особых столкновений, жили кмет и его ага — скрытые, но непримиримые враги, как цепью, связанные землей, которая кормила их и притягивала, каждого на свой лад.

Той осенью, когда австрийские войска заняли Боснию, нередко случалось, что ага, страшая ехать в село и требовать свою долю, оставался без хака, а кмет, пользуясь общим замешательством и желая увидеть, какие будут законы «под новым царем», придерживал и свою и господскую часть.

У Ибраги положение было особое. Его кмет был, можно сказать, под боком, в часе пути от лавки, к тому же он и раньше сам ездил за своей долей. Как только в Сараеве немного утихло и наладился какой-то порядок, он стал наводить справки у сведущих людей и у новых властей, и все его заверили, что в отношениях между агамн

и кметами пока ничего не меняется, ага, как и прежде, пользуется правом на хак.

И вот однажды Ибрага решил съездить в свое поместье за сливами,— уродилось их в тот год видимо-невидимо, но из-за войны и всяких перемен их еще не снимали.

Начало сентября. Солнечное утро. В саду на траве, заложив руки под голову, лежит Симан, над ним синеют сгибающиеся под тяжестью плодов ветви. Он блаженно улыбается, с головы до пят его наполняет одно чувство: все это его!словно сквозь сон, доносится до него скрип калитки и голоса. Бросив в ту сторону беглый взгляд, он сразу понимает, в чем дело. Шорник приехал с работником на четырех лошадях за сливами. Симан подпускает его к себе совсем близко, прикидываясь, что ничего не видит и не слышит.

— Доброе утро, Симан!

— Доброе, доброе,— отвечает Симан, не вставая.

Ибрага проводит рукой по глазам и хватается за дерево, будто все вокруг закачалось.

Смотрит ага на дерзкого кмета, который вопреки закону и обычаю не встает перед ним, и не верит своим глазам: так вот каков кмет, когда в нем исчезает смирение и почтительность и он предстает как есть, во всей своей силе и мощи!

Долго смотрел Ибрага: с тех пор как аги — аги, а кметы — кметы, такого в заводе не было. Под личиной спокойствия «добрый ага» весь кипел от злости и оскорбленной гордости собственника, но победила трусливая предусмотрительность: кмет явно задумал недоброе, а времена сейчас тяжелые, смутные. И, взяв себя в руки, ага сел.

— Вот приехал сливы свои забрать,— проговорил он глухим голосом.

— Ни к чему. Сливы в порядке, а понадобится собрать — я и сам сумею.

Завязался необычный спор. Симан чуть приподнялся, но лишь для того, чтобы прямо в лицо аге бросать необычные слова, к которым он и сам прислушивался с удивлением.

Симан и раньше нередко впадал в горестные раздумья и где-нибудь в поле или на дороге разговаривал вполголоса сам с собой, еле приметно двигая головой и руками. Произносил он при этом то, что сказал бы каж-

дый кмет, если бы вдруг произошло чудо и аги перестали быть агами, а кметы превратились в хозяев земли. Это были минуты дерзкого, но молчаливого и потому безопасного бунта, когда угнетенный отводит душу и хотя бы в воображении вознаграждает себя за каждодневные страдания своей серой жизни. Да, бывали у него подобные минуты, но даже тогда он не находил таких сильных и смелых слов. Тысячи безмолвных бунтарских обличений прошлого, как тысячи потоков, слились в бурную лавину слов. И Симан говорил.

Под ним — теплая сентябрьская земля, над головой — согнувшиеся под тяжестью синих плодов ветви, а сквозь них виднеется глубокая светлая синева неба с легкими хлопьями белых облаков. Рот его полон сладостного, обжигающего напитка слов. Он и сам удивляется, откуда ему приходят в голову такие смелые слова, и каждое новое слаще прежнего. А еще милее слов этот урожай, который он теперь считает своим, как и весь сад со всеми деревьями от корней до макушек. Широким взмахом руки разрезает Симан осенние просторы и небо над собой, он задыхается от дерзких слов и на увещевания и уговоры аги отвечает суровым и кратким «нет», которое щелкает и жжет, словно огнепный бич.

(Когда из поколения в поколение, из года в год, изо дня в день один человек работает на другого, понимая, что это несправедливо, но не осмеливается не только что-либо изменить, но даже высказать свои истинные чувства, в нем как бы скапливается горечь сотен тысяч людей и десятков поколений.)

Трудно поверить, что один-единственный слог может вместить столько горечи и победного ликования. Симан несколько раз произнес свое «нет», сначала повернувшись поочередно на все четыре стороны света, а потом вскинув голову к небу, словно выстрелами из ружья оповещая весь мир о своей радости. Потом он повернулся к аге и произнес свое «нет» тихо, веско, и в этой мгновенной перемене тона была какая-то особая значительность и торжественность.

— Нет, не будет по-твоему, Ибрага.

— А как же? — мягко спрашивает Ибрага.

— Сам видишь, как: другие времена, другие права и закон другой.

— Это ты правильно говоришь, времена другие! На то воля божья! Но ты ведь умный человек, Симан, и хорошо

знаешь, что нет и не может быть такого закона, по которому мое вдруг стало бы твоим.

Симан вскипает:

— Есть, Ибрага! Есть! Ведь твое когда-то было нашим, и только потом по какому-то там закону стало вашим. Э-гей, а раз мое могло быть твоим, значит, и то, что зовется твоим, может снова вернуться ко мне.

— Это ты, Симан, далеко зашел!

— А я могу сейчас куда захочу идти.

— Мо-о-жешь...

— Могу, Ибрага, еще как могу!

Замолчали. Каждый думал о своем. Симан — о том, что бы такое сказать еще более грубое и оскорбительное, но не этому Ибраге — его он сейчас ни во что не ставит, да и, по правде говоря, не такой уж этот ага дурной человек, — а всем агам на земле, всему миру, который, кажется ему, наблюдает сейчас за этим извечным поединком. А Ибрага — о том, как бы уломать взбесившегося мужика и набрать хоть две корзины слив: стыдно возвращаться домой с пустыми руками. И он цедит сквозь зубы, кротко и опасливо.

— Нет! — отвечает Симан. — Залезай на дерево и ешь сливы сколько влезет, бог с тобой, но с собой ни одной, даже червивой, отсюда не унесешь. Не дам! Хочу посмотреть, как ты будешь возвращаться с пустыми руками оттуда, откуда всегда с полными возвращался. Это утеха и для меня, и для душ всех покойников за четыре сотни лет.

Симан захлебнулся от переполнившей его гордости и замолчал. Ибрага лишь крепко стиснул зубы и сделал короткое брезгливое движение рукой, заключая безмолвный внутренний монолог.

Снова наступило молчание. Ибрага смотрел прямо перед собой, а у Симана все кипело и бурлило внутри, и он бросал вокруг беспокойные взгляды.

— Как же мы будем жить, Симан? — нарушил молчание ага.

— Я — хорошо, а как ты, не знаю.

— Ну что же, храни тебя бог, а как быть со сливами?

— Со сливами? Как сказал, так и будет: было твое, да сплыло!

— Нельзя так, Симан, нельзя. Ты человек умный, тебе не нужно объяснять...

— Это верно. Но тебе я кое-что скажу, чтобы не тянуть вольнку. Так вот, послушай: четыре сотни лет вы на нас ездили, теперь мы на вас четыре сотни лет поедем, а кому на ком следующие четыре сотни лет ездить, поговорим после.

Ибрага не дослушал до конца. Встал и, не простившись, пошел к подводам, стоявшим с работником поодаль, и они двинулись восвояси.

Пастбище, которое ага должен был пересечь, прежде чем скрыться с глаз кмета, показалось ему бесконечным — обратный путь был гораздо длиннее, хотя дорога шла под гору. А Симан, глядя вслед аге, жалел, что разговор, доставлявший ему такое удовольствие, закончился так быстро. Ему представлялось, что он выложил далеко не все, в голове роились невысказанные слова. Симан потянулся, вздохнул полной грудью и, задержав в себе сладкий воздух, выдыхал его медленно и звучно сквозь стиснутые зубы. Ему было обидно, что ага ушел: что значит богатство и сила, если некому их показать?!

Той осенью Симан не отдал аге ни трети зерна, ни половины овощей, фруктов и сена, как полагалось по закону и обычаю, которых он никогда до тех пор не нарушал.

Ибраге был нанесен не только материальный ущерб — он был оскорблен поведением Симана, оскорблен и напуган, потому что кмет не удовлетворился скандалом в сливняке.

Год выдался урожайный, хак аги остался у Симана, а продать его можно было выгодно — армия все покупала и за все платила. Упоенный свободой кмет купил верхового коня, низкорослого, но доброго вороного, купил по дешевке: после восстания было много брошенных и отбившихся лошадей, которых барышники отдавали чуть ли не даром. Только вот сбруя на коне была деревенская — не кожаная, а пеньковая.

Однажды утром Симан с особым тщанием вычистил коня и, высокий, длинноногий, взгромоздился на него, заломив шапку и привязав к седлу флягу с ракией. Проехав весь сараевский базар, он направил вороного к лавке Ибраги. Ага сидел, скрестив ноги и согнувшись, и сверлил дырки на новой подпруге из светлой кожи.

Играет вороной, только что передние ноги на прилавок не закидывает. Ибрага хмурится, но глаз от работы

не поднимает. А Симан громогласно требует наборную уздечку.

Ибрага тихо отвечает, что нет у него такой уздечки и нужного товара для все тоже нет.

— Что ж, или деньги у меня поганые? — гневно спрашивает крестьянин.

— Боже упаси, только нет, добрый человек, подходящего товара.

Насилу отделался Ибрага от своего расфранченного кмета, послав его искать уздечку где-нибудь в другом месте.

Не раз проезжал Симан перед лавкой шорника, довольно ухмыляясь и гарцуя на своем вороном.

Ибрагу возмущало это и злило: он жаловался соседям, дрожал от страха и мучился. Однако в городе становилось спокойнее да и взбесившемуся кмету надоело, видно, гарцевать перед лавкой. Постепенно и Ибрага начал успокаиваться. Затоскует ага, загрустит, вспомнив прежние доходы, но как посмотрит, сколько людей вокруг больше него пострадало, и чувствует себя счастливым: как-никак и восстание пережил, и по-прежнему работает в своей лавке. А в праве своем он уверен и согласен подождать до лучших времен, тем более что голод его дому не угрожает. К тому же ждать пришлось совсем недолго.

Зиму Симан провел словно в чаду. Ракии наварил столько, сколько никогда не варил, и пил с приятелями, закусывая пшеничным хлебом, а хлеб, как все говорили, был такой вкусный, точно его для аги пекли. Подкормились домашние в ту зиму, а Симан так даже опух немного от ракии. В конце концов съели и долю аги. Отселся Симан своими семенами, но уже с юрьева дня начал покупать хлеб. В это время он и получил первый вызов из уездного суда «по делу жалобы Ибраги Колоша».

Симана это не удивило: он и раньше слышал о том, что крестьян, не выплативших хак, вызывают в суд, и совсем не испугало, так как съеденное и выпитое добро Ибраги бурлило и переливалось в его жилах нерастроченной силой. Он даже радовался, что встретится с агой перед лицом христианского суда, и отправился в город, как на Косово поле¹.

¹ На Косовом поле в 1389 г. произошла решающая битва между сербскими и турецкими войсками.

Суд закончился для Симана плохо, вернее, не закончился, а был прерван. Симан пришел в бешенство, увидев рядом с судейскими чиновниками двух присяжных: мусульманина со стороны аги и христианина со стороны кмета, и во всеуслышание выразил свое возмущение. Чиновник призвал его к порядку. Тогда Симан рассказал про то, как отец Ибраги, Салих Колош, получил права на кметов, и про то, что кметы не могут вечно и при турецкой, и при христианской власти принадлежать аге. Когда же закон будет на нашей стороне?

Чиновник прочитал выдержки и из «царского письма» от 28 июля 1878 года, и из «сеферского указа 1859 года», и из «рамазанского закона от 7 дня рамазана месяца 1858 года». А Симан от души хохотал над турецкими законами и отозвался о них так грубо и непристойно, что чиновник выставил его за дверь и привлек к судебной ответственности за оскорбление властей. Симан восемь дней отсидел в тюрьме. А суд тем временем вынес постановление, по которому Симан должен был возместить прошлогодний хак и впредь регулярно вносить его, потому что, пока нет новых законов, остаются в силе старые.

Симан был потрясен. Ненавистен стал ему дом, чужими — поле и сад. Он решил подать жалобу. Для этого пришлось обратиться к учителю Алексе, добровольно исполнявшему обязанности писаря и адвоката.

В свое время Алекса был учителем в сербской школе. Когда восемь лет назад сараевской сербской школе понадобился младший учитель, из Земуна прислали Алексу. Новый учитель был неглуп, остроумен и любил веселую компанию. Члены церковно-школьного совета говорили про него, что он умен, да не разумен и нрава слишком веселого — недаром его все время тянет в кабаки.

Невысокий блондин, краснощекий и улыбчивый, с синими глазами, в которых всегда блестели слезы умиления, новый учитель был душой общества.

Члены сараевского муниципалитета наперед знали, что из Австрии порядочного учителя не пришлют, иначе зачем ему бросать хорошее место и ехать в этот турецкий город, где жизнь тяжела и необычна. Поэтому они призывали на все смотреть сквозь пальцы, но господин Алекса быстро и неудержимо превращался в горького пьяницу. «Грустная страна, брат...» — говорил учитель,

опрокидывая очередную стопку ракии и жалуясь на среду, в которой ему приходится жить.

Но кто от грусти лечится ракией, тот не избавляется от грусти, а умирает от ракии! Хуже всего было то, что от пьянства новый учитель опустился, у него испортился характер, он стал пренебрегать своими обязанностями, раздражаться по любому поводу, и через два года совет его уволил. Он заявил, что не согласен с увольнением, пригрозил подать в суд и... перейти в ислам.

Последняя угроза поразила членов муниципалитета, и они пытались отговорить его от этого нелепого шага, но безуспешно. Солидные торговцы-мусульмане несколько не обрадовались такому новообращенному, однако среди собутыльников учителя и фанатичных паломников нашлись такие, которые усмотрели в Ариф-эфенди (так теперь звали учителя) ценное приобретение для своей веры и серьезную потерю для христианства. Они обрядили учителя в сшитые по всем правилам мусульманские одежды и женили на богатой вдове, в доме которой он и поселился. Только вот тратил он больше, чем давала жена, поэтому пришлось заняться писарским делом. В таком положении застала его оккупация Боснии.

Как только в город вступили австрийские войска, Ариф-эфенди исчез и появился лишь два месяца спустя, когда все успокоилось. На нем был опять прежний костюм *à la france* и причудливый старомодный цилиндр. Он вернул себе христианское имя и опять принялся писать крестьянам прошения, но теперь у него появилось новое занятие — он стал полицейским осведомителем. Народ называл его фискалом. Его презирали и мусульмане и христиане, а он не переставал пить и дошел до такого состояния, когда человеческое достоинство и сознание совсем затуманиваются винными парами. Его в любое время можно было застать в Бесарином трактире, где он, сидя в стороне от других посетителей (вернее, те садились в стороне от него), писал или переводил с немецкого и венгерского жалобы и письма. Перед ним стоял металлический письменный прибор с чернильницей, песочницей и несколькими перьями, а рядом — стопка ракии, всегда наполовину пустая.

Разговор с Симаном протекал так же, как со всеми клиентами учителя: сначала они коротко и неприязненно справились о здоровье друг друга, а затем, не ожидая ответа, Симан спросил, сколько стоит написать жалобу,

— На сербском — сексер, на немецком — два.

— А на каком вернее? — осведомился Симан.

— Верно-то будет на обоих, но на немецком все же надежнее.

У Симана было три сексера, но он помнил о своей недавней неудаче. Кто знает, какой язык правда лучше понимает?

— Пиши на немецком,— сказал он решительно.

Учитель развернул бумаги и открыл письменный прибор, причем все это торжественно, с наигранным достоинством пьяницы. Писал он быстро и уверенно, аккуратным почерком, прописные буквы выводил с особым шиком — с изгибами и завитушками. Закончив, посыпал еще сырые ровные строчки золотистым песком из металлической песочницы, так что с нажимом выведенные слова отливали золотым и синим. Затем негромко, но торжественно прочитал прошение, выделяя голосом отдельные слова и непривычные выражения, которые, по его словам, бьют словно молот.

Теперь Симан и вовсе не сомневался в успехе. Выпили они с учителем по маленькой, и Симан громко хохотал над первым судебным решением.

А когда высшие инстанции отклонили апелляцию как необоснованную, Симан напился в трактире у Крешталицы, засучил до плеч рукава, ударил кулаком по столу и запел что есть мочи:

Бьет ружье из подземелья —
Не получит ага трети.

За песню он отсидел в тюрьме три дня, а за то, как отозвался при этом о царской власти, — еще семь дней.

С той поры Симан Васкович стал неудержимо катиться вниз, и чем дальше, тем стремительнее, пока совсем не спился и не бросил семью и землю.

Симан всегда слыл человеком горячим и неуравновешенным; упрямства в нем было больше, чем силы, довольно значительной, а воображение было сильнее ума, тоже немалого. Он был мальчишкой, когда отец говорил о нем:

— Симан мой ни в меня, ни в покойницу-мать: добрая была, прости ее, господи, кроткая, как говорится — типше земли, ниже травы. А Симан в дядьев пошел. Шурины у меня такие: быстрые на ногу, ершистые, беспокойные, все бы им бунтовать. И он такой с пеленок! Сердце

у него доброе, отходчивое, парень он работающий, да разум — в облаках. Не глядит на то, что под ногами. Все его к несбыточному тянет.

Симан окончательно с пути сбился. Напрасно увещевали его соседи и кумовья, осмотрительные, трезвые люди, говоря, что умные давно поняли, а сейчас и дуракам ясно, что австрийская винтовка — не то ружье, выстрела которого они ждали, и что в новом, христианском королевстве кмет остается кметом, а ага — агой. Поэтому его поведение бессмысленно и упорство только врагов веселит. Он не соглашался с ними, не хотел признаться в своей ошибке, страсть все дальше увлекала его, и он уже рисковал кровом над головой. Остановить его было невозможно. (Бывает так, что зреющее в массах стремление освободиться от общественного зла преждевременно вспыхивает пламенем в одном человеке и уничтожает его.) У Симана вошло в привычку, «требуя свое право», обивать пороги канцелярий, протирать штаны в сараевских кофейнях, торчать в лавках. Тяжба была для него лишь поводом. А когда крестьянин без нужды бросает работу и слоняется среди торгового люда — это верный признак его скорой гибели.

В следующую зиму обоих его сыновей в одну неделю унес дифтерит. И без того слабая и болезненная жена высохла от горя. Симан норовил уйти из дому при малейшей возможности, находя для этого сотни причин и поводов.

На третий год Симану снова пришлось предстать перед судом. Ага обвинял его на основе восьмого параграфа того же «сеферского указа от 1859 года», над которым Симан смеялся три года назад. Чиновник был новый, присяжные тоже, а закон и ага остались прежними. Уверенный в своем праве, ага был спокоен и сдержан.

Чиновник огласил восьмой параграф:

— «Если кмет плохо заботится об угодьях и без законного основания прекратит их обработку, так что владелец будет ущемлен в своих доходах, или каким-либо другим способом нанесет ущерб законному владельцу, или без веской причины откажется от передачи владельцу принадлежащей ему доли, короче говоря, поступит противно договору, заключенному между ними, и если владелец подаст на него жалобу, то власти, расследовав дело и убедившись на основании неопровержимых доказательств в справедливости жалобы, при отсутствии уверен-

ности в возможности исправления кмета, удаляют последнего с вышеупомянутых угодий».

Вот это законы, вот это постановления! Можешь над ними смеяться, но все равно рано или поздно они по тебе ударят точно и неотвратно.

Сошлись на том, что параграф соответствует делу Симана Васковича. Кмет громко вздыхал и твердил, что нет такого закона, чтобы он, Симан, остался без крова и пошел по миру, а ага при любом царе получал треть урожая. Но про себя признал, что есть, ибо то, что читал чиновник, подходило к нему, как рукавица на руку. И потом, пьяный, продолжал удивляться:

— Турецкий закон! И написан, чтоб ему пусто было, давным-давно, а будто только вчера для меня сочинили.

И он с ужасом представил себе страшную паутину всемогущих законов, которая покрывает и опутывает все и всех; вырваться из нее невозможно, распутать — нет умения, и единственное, что остается, — забыться на миг за стопкой ракии. Но ведь ракия тоже не всегда есть.

Решение властей было выполнено: у Симана отняли землю. Жена его ушла к родичам, а он превратился в бездомного бродягу.

Ни крестьянин, ни горожанин, ни батрак, ни ремесленник, Симан слонялся по городу, спал где придется, ел что придется, работал от случая к случаю — разносил молоко и овощи. Даст ему какой-нибудь огородник корзину картошки или бидон молока на продажу и заплатит крейцер-другой за труды. Но случалось, Симан напивался, забывал обо всем и терял товар, а иной раз и выручку пропивал, прежде чем хозяин успевал забрать ее. Потом стыдно людям в глаза смотреть, да поздно: готов кровь свою отдать, но хозяину нужны не кровь, а деньги. Постепенно и эту работу стали доверять ему все реже.

Симан хорошо пел и играл на гусях — и теперь начал петь по кабакам за деньги или чекушку.

Сидит в кабаке и ждет, пока кто-нибудь в порыве пьяного великодушия не поднесет ему стопку ракии и не предложит разделить с ним баранью лопатку да круг пирага. Лицо его потемнело и отекло, тело высохло, его мучил кашель с мокротой, по стоило ему выпить ракии — и он начинал горячо и страстно говорить о земле и своем праве, как говорил в тот осенний день в сливняке перед Ибрагой.

Земля уже давно не та, реально существующая земля, и право — не то конкретное право, за которое он боролся, а нечто гораздо более значительное и важное, но что именно — он и сам до конца не понимает. Зато реальны уездные власти, реальна тюрьма, в которой он часто отсиживал то три, то шесть дней за какое-нибудь неосторожное слово или запрещенную песню, реален туберкулез, медленно его подтачивающий.

Так прошло еще несколько лет, Симан Васкович по-прежнему защищал землю, которой у него не было, и боролся за свое право, которого за ним никто не признавал. Кабак, тюрьма, пьянство и болезнь — такой стала жизнь бывшего кмета Симана, нынче — бродяги и гуслера.

Все чаще бывали дни, когда он совсем терял силы и падал духом. Но вот однажды в нем вновь пробудилась надежда. На самом-то деле она была беспочвенна, однако для людей, живущих надеждой и ракией, любой повод для надежды хорош.

В те дни глашатай объявил «господам и народу» о прибытии в Сараево старого эрцгерцога, «члена пресветлого царского дома», и «царева дяди». В городе готовились к встрече высокопоставленного лица. А Симан, одурманенный ракией, увидел в присезде царева дяди «перст божий». Одна мысль о королевских и царских родичах обнадеживала и пьянила сильнее ракии. Чего же проще — рассказать все цареву дяде, его правой руке, человеку, который все может, и получить от него свое «право», а то, что тот должен заняться делом и решить по справедливости, — это тоже естественно. Для того и ходят царские люди по земле! Симан узнал от церковного певчего, что эрцгерцог посетит старую городскую церковь наряду с храмами других исповеданий, и решил спрятаться где-нибудь в низкой полутемной церкви, хоть под аналоем владыки, и в подходящий момент выйти к «цареву человеку» и вручить ему прошение, а представится случай — на словах изложить свое дело. В жизни все бывает. И он уже видит в воображении, как эрцгерцог поворачивается к свите и приказывает без промедления исправить явную несправедливость. И вот он отправляется к Ибраге. Нет! Зачем ему идти к нему в лавку? Лучше он пойдет в свой старый дом и прикажет, чтобы его бывшего агу на порог к нему не пускали.

Размечтавшись, он едва не забыл отыскать человека, который написал бы ему прошение. Но все же вовремя

спохватился и побежал в Бесарин трактир. Бывший учитель сидел на своем обычном месте.

На сей раз они не справлялись о здоровье друг друга и не торговались. Симан объяснил, какое ему надо прошение, учитель согласился: сексер — на сербском, два — на немецком. Симан предпочел на сербском.

Для этого у него были основания. (Он вообще никогда ничего не предпринимал без серьезных, хотя часто и противоречивых оснований.) Во-первых, в кармане у него не было полных двух сексеров; во-вторых, с тех пор как он услышал о приезде царева дяди и в голове у него не без помощи ракии затеплилась надежда, он исполнился такого оптимизма, что даже не спрашивал, какой язык правда лучше понимает, не допуская мысли, что его может постигнуть неудача; в-третьих, зачем этому поганому потурченцу давать хоть на грош больше, чем нужно?

— На сербском, за сексер,— решительно заявил Симан.

С обычными церемониями, полными важности и достоинства, посыпая золотым порошком жирно выведенные слова, каждое из которых «бьет словно молот», учитель написал прошение, начинавшееся словами: «Ваше царское величество! Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой...», негромко прочел его ошалевшему крестьянину, после чего стряхнул с бумаги песок, сложил ее и, принимая сексер, спросил:

— Выпьем по маленькой?

Зная, что учитель пьет на даровщину и лишь в редких случаях платит сам, Симан сказал, что ему некогда и не хочется.

Тогда учитель, прищурив один глаз, поинтересовался, как думает Симан передать свое прошение. Крестьянин не был расположен откровенничать с человеком, в карман которого перекочевал его сексер, поэтому он ответил, что это его забота. Учитель стал убеждать, что это не так просто, но Симан не желал продолжать разговор.

— Птицей обернется Симан, а передаст.

И пошел вниз по крутой и длинной улице. А учитель отправился в полицию сообщить кому следует об этом деле, как он сообщал обо всем, что видел и слышал.

Церковь была заперта, но изнутри слышались голоса женщин, которые убирались и мыли полы. Чтобы не привлечь к себе внимание, Симан не стал стучать и пошел в Джюлагин трактир выпить чашечку кофе и переждать

время, когда можно будет незамеченным проскользнуть в церковь.

По дороге в трактир он живо представил себе, как, перехитрив служителя, спрячется куда-нибудь, хоть под аналой владыки, а, когда царев дядя подойдет к иконостасу и перекрестится (ведь «они тоже крестятся»), он неожиданно выйдет и возопит, как в прощении написано:

— Ваше великое царство... с почтительной покорностью...

И протянет ему бумагу. А потом будь что будет: пусть в тюрьму сажают, ссылают... Главное, царев дядя узнает правду, которую от него, конечно, скрывают, а ведь царю должно быть известно то, что известно его дяде. Пусть цари узнают о Симане и его правде!

Размышляя таким образом, он подошел к Джюлагину трактиру. Но не успел он сесть на скамью, такую засаленную и отполированную, что невозможно было определить, из какого она дерева сработана, как навстречу ему поднялся Васа Генго по прозванию Полицай.

Это был высокий человек с необыкновенно длинными руками и ногами, весь какой-то разболтанный, с тонкими обвислыми усами на маленьком лице. Он уже давно служил «царским человеком». Сначала был привратником в прусском консульстве, затем служителем в турецком учумате, разносчиком повесток в христианских кварталах, стражником. Австрийские власти оставили его на службе в полиции; несколько лет он по-прежнему только разносил повестки, а потом вдруг появился как заправский полицейский — в полной униформе, при сабле с медным эфесом в черных кожаных ножнах.

Симан с детских лет знал Васу Генго, а с тех пор, как затеял свою злосчастную тяжбу, тот все время попадался ему на пути. Симан здоровался с ним и проходил мимо, не желая признавать в нем законную власть и настоящего царского чиновника.

На этот раз Васа повел себя не как обычно.

— Ты что здесь делаешь, Симан?

— Да ничего.

— Как это ничего?

Симан открыл было рот, чтобы сказать, что это «ничего» не совсем ничего, а что он оставил здесь бидоны из-под молока и корзины, но Васа резко прервал его:

— Следуй за мной!

В этих словах было то неуважение и грубость, при помощи которых полиция будто невидимым ударом приводит в замешательство и разоружает тех, кого арестовывает.

Симан был не робкого десятка и умел за себя постоять, но, пока он пытался объяснить и сам потребовать объяснения, он с удивлением заметил, что шагает в ногу с полицейским и тот его не слушает. И чем дальше они шли, тем отношения между ними, неуклонно меняясь, становились все более определенными. Между ними встало нечто новое, третье, что не являлось ни Симаном, ни Васой Генго: предписание и закон, преступление и наказание, — и все это в форме, не существовавшей в турецкие времена.

Они шли рядом, и каждый думал о своем. Васа, опасаясь, что у него недостаточно важный и суровый вид, морщился и пыжился, а Симан, замедля шаг, стремился поймать взгляд полицейского и как-то придать делу невинный характер.

— Эхма, дал бы ты мне работу закончить...

— Нельзя, — отвечал Васа странным, будто не своим голосом, — велено доставить к господину комиссару без промедления.

Симану показалось, что он снова обрел смелость и красноречие; он остановился и оскорбительно фамильярным тоном произнес:

— Знаешь, иди-ка ты своей дорогой, я и без тебя знаю, где найти господина комиссара. Ей-ей, знаю!

Васа от оскорбления даже побледнел. Сердитым, глухим голосом он оборвал Симана:

— Не виляй, шагай, куда велено... Это тебе не Турция, а Австрия, четвертый год Австрия! Забыл?

— Сам знаю. Нечего меня крестить, я и так крещеный! Австрия! Австрия! Ты, что ли, Австрия?

Тут Васа забыл о недавно усвоенных правилах поведения на службе и совсем не по уставу и не «по-австрийски» придвинулся вплотную к Симану:

— Ну-ка, посмотри на меня? Так вот, для тебя я — Австрия! Ну, что скажешь теперь?

— Ты — Австрия?

— Я. И знай, пикнешь — по всему городу связанным проведу. Довольно я тебя слушал, хватит!

Но тут, как бы спохватившись, что разговор очень уж смахивает на обычную сараевскую перебранку, Васа

надулся, выпятил грудь так, что все складочки на мундире разгладились, приподнял усы, открыл рот с гнилыми зубами и выпучил глаза — то есть встал в позу настоящего австрияка, какой Симан никогда не видывал у своих соотечественников. Преобразившись в мгновение ока, он громко и отчетливо, словно торжественное заклинание на неизвестном языке, произнес всего три слова:

— Именем закона, вперед!

И Симан беспрекословно двинулся за ним.

Теперь они шагали иначе, чем раньше, — их связывал закон.

Между ними возникла неизвестная им до сих пор зависимость. Казалось, они сбросили невинную маску будничности, и из-под нее выглянуло нечто совершенно новое, с чем ни тот ни другой в первые минуты не могли освоиться. Это уже был не тот Васа, что на улицах воспринимался как часть городского инвентаря, а другой, неизвестный человек, строгий, суровый, опасный и неумолимый, как автомат; в каждом его движении чувствовалась сила и неотвратимость стихии, от которой невозможно укрыться. И Симан был не Симан, всем известный говорун и бунтарь, который давно предпочел проповать разум по сараевским трактирам, чем мучиться с землей и хозяйством. Он стал вдруг «именующимся Симой Васковичем», которого необходимо в кратчайший срок и кратчайшим путем доставить к шефу сараевской полиции.

Вот идут эти два человека рядом, скованные цепью закона, каждый со своими новыми мыслями и ощущениями, и исподлобья смотрят друг на друга новыми глазами.

Главное, что заботило Васу, — достаточно ли важен и суров у него вид, как это пристало царскому полицейскому. Он надувался, хмурился, высоко вскидывал ноги, крутил саблей, — словом, делал все, что мог, но ему казалось этого мало: а вдруг австрийская выправка не поможет и из-под полицейского мундира выглянет прежний Васа — нищий, забитый босниец.

Симан думал сразу о многом. Он злился на закон, на власти, на весь мир и в то же время радовался, что опять вокруг его дела завязывается узелок; думал он и о своем праве, но особенно поразило его и изумило неожиданное превращение Васы. Если уж с Васой Генго произошло такое, что же тогда говорить о других людях? Надо же, Васа Полицай — государство! Эх, видно, пришло

время подышать. Да и как тут жить, куда бежать и где укрыться, если любой прохожий может вдруг заявить, что он Австрия?

Но внезапно эти мысли отступили. Симан вспомнил про жалобу за поясом и вздрогнул. Начнут обыскивать и найдут эту несчастную бумагу, тогда уж ему не отвертеться, что он хотел передать ее эрцгерцогу. Они как раз переходили Латинский мост. Симан сделал вид, что поправляет пояс, а когда они сходили с моста, прислонился к ограде, будто для того, чтобы перепоясаться, и быстро, но неуклюже бросил бумагу через ограду. (Деревенская неповоротливость — самое уязвимое место в постоянной — то явной, то скрытой — борьбе крестьян с городом и горожанами.)

Бумага, развернувшись на лету, плавала в неподвижном мелководье. Васа обежал ограду и с невысокого парапета прыгнул в воду, которая доходила ему до щиколоток. Симан бросился за ним, догнал его, и их руки сплелись над намокшей и разорвавшейся бумагой.

Когда, отряхиваясь и ворча, они вылезли на дорогу, Симан в сердцах бросил на землю свой кусок прошения. Васа подобрал его, и они двинулись дальше.

Васа не спускал глаз с крестьянина. А Симан трепетал: остатки разума, слепая сила слились в нем в бешеное упрямство, в отчаянную решимость бороться и сопротивляться до конца. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал, казалось, он не ощутил бы боли, если бы его даже начали резать по живому. Симан шагал впереди так быстро, словно не его вели, а он вел. Перед глазами сверкали огнями Бистрик; бесчисленные окна высокого дома Генда, где теперь помещался полицейский комиссариат, блестели и переливались, словно вода, в которую ему предстояло прыгнуть и либо выбраться из нее, либо потонуть.

Больше часа ждали они в длинном коридоре. Мимо пробегали чиновники в мундирах и без мундиров с бумагами под мышкой; шнырял толстый служитель Пешо. И никто не только слова не сказал Симану, но даже не взглянул на него.

Ожидание в коридорах полиции способно сломить и подорвать волю и у более собранных и терпеливых людей, чем Симан.

Симан понял, судя по тому, сколько его заставляли ждать, что его поведут к самому комиссару, Комиссара,

всем известного господина Косту Германа, он знал лично, однажды его уже приводили к нему. Это случилось после первого решения суда, когда Симан был еще полон сил. Комиссар вызвал его тогда и строго предупредил, чтобы он не трогал Ибрагу, так как это запрещено законом, а об их тяжбе «высшие власти скажут свое слово». Высшие власти сказали свое слово, и тогда Симан узнал, что господин Коста приятель аги.

Наконец Симана ввели к комиссару.

Первый раз он получал нагоняй в какой-то прихожей, так сказать, на ходу. А теперь его провели прямо в кабинет комиссара, просторный, светлый, застланный коврами, уставленный мебелью, какой Симан никогда в жизни не видывал, с развешанными по стенам и стоящими на столе диковинными приспособлениями, назначения и происхождения которых он не мог понять. А кругом чистота и порядок, вселяющие в душу страх и смятение. Симан не знал, куда деть руки и ноги, он с изумлением смотрел на свои огромные заскорузлые опанки, лицо его горело, и больше всего хотелось ему услышать, что его привели сюда по ошибке, что его надо отвести в канцелярию по-проще.

Из-за своей глупой привычки смешивать важное с неважным и неумения отличать главное от второстепенного Симан думал сейчас только об этой сказочной, неземной чистоте и изумительном порядке. «Рай на земле, барская жизнь! — размышлял Симан. — Вот это Австрия!» И он бросил быстрый презрительный взгляд на долговязого Васу Генго, застывшего у дверей в положении «смирно».

За столом в темном мундире сидел Коста Герман. Он не кричал, даже пальцем не пошевелинул. Лицо у него спокойное, белое, слегка румяное, волосы густые, усы тоже густые и короткие. Сквозь пенсне светятся темносиние глаза, но, когда комиссар задает вопрос, их цвет меняется, сливаясь с отблеском верхней грани стекол, и взгляд становится острым, нечеловечески спокойным и пронзительным.

— Значит, ты не хочешь угомониться, — строго заговорил комиссар, окидывая его взглядом ожившего стекла и остекленевших глаз.

Оказывается, про Симана ему все было известно: и как тот потерял дом и землю, как пьянствовал и бродяжничал, продолжая тяжбу с агой, хотя дело решено оконча-

тельно и бесповоротно, и как вот теперь вознамерился даже высочайших лиц беспокоить своими неуместными и необоснованными просьбами. Словом, Симан, по его мнению, на неверном пути, и если не одумается и не возьмется за какое-нибудь дело, то плохо кончит.

Как только комиссар упомянул о его тяжбе, Симан забыл о своем смущении и заговорил горячо и страстно.

— Ну чего тебе надо, ведь решено все по закону,— корил его комиссар.

— Пока человек жив, все можно перерешить!

Комиссар положил руку на руку и с любопытством поглядел на кипятившегося мужика-великана, не замечавшего, что его дразнят и раздражают, словно подопытное животное.

— Ты знаешь, что есть царский указ...

— Честь и хвала царю и царскому указу,— с фальшивой напыщенностью перебил его Симан и чуть приподнял шапку, которую держал в руках.

— По этому указу тебя и судили...

— Нет, господин, меня судили по турецким законам. И кто судил? Джюлага Маглайлич, такой же турок, как и мой ага...

— А трое присяжных! Один из них Анте Перишич, человек...

— Да, Анте Перишич, только он не человек и никогда им не был.

— Ну хорошо, там был серб, Коста Чук.

— И Вук Бранкович был серб, однако царя на Косове он предал.

Комиссар не смог сдержать улыбки, блеснувшей не на губах, а скорее в стеклах пенсне.

— Неужто так, Симан?

— Да уж лучше бы не так, да ничего не напишешь — так.

Симан входил в раж все больше, а комиссар все спокойнее и веселей подогревал его своими вопросами.

Допросив его хорошенько, Герман должен был признать, что это опять новая «фантазия» пьяницы, но тем не менее решил на время, пока не пройдут торжества и высокие гости не уедут, задержать Симана. Подозрение легко западает в голову австрийского полицейского. В сущности, оно даже не западает, оно постоянно там — почти всегда начеку, а если чуть задремлет, то только на одно ухо и на один глаз, чтобы даже самый незначительный

шум, будь то шорох крыльев мотылька, заставил его встрепенуться, но даже если ничто не тревожит его пскоя, оно время от времени само просыпается от тишины, которая настораживает его, ибо и она кажется сомнительной. А потому австрийский чиновник всегда в своих действиях склоняется к тому, что проще и безопаснее для него и его служебных интересов, но труднее и тяжелей для человека, взятого под подозрение.

Правительственный комиссар встал и добродушно объявил Симану, что дня два-три ему придется провести в полиции.

Сначала Симан возмутился, а потом попросил отпустить его.

— Нельзя, Симан, ведь у тебя привычка высказывать перед высокими особами, не дай бог, кони царские испугаются такого великана. Так и для тебя лучше будет.

Говорилось все это как будто в шутку, а Симан тем не менее три дня отсидел и только после отъезда высоких гостей был выпущен на свободу.

Так развеялась последняя иллюзия Симана, и жизнь его стала еще чернее, тягостнее и беспорядочней. Вскоре он всем надоел со своими вечными разговорами о земле и хаке, о турецких земельных законах и австрийских постановлениях, названия, номера и даты которых он знал на память. Люди считали его несчастным, пропащим человеком, помешавшимся на земле, и бежали от него, как только он вынимал из сумки потемневшие, измятые судебные постановления и решения, жалобы и прошения.

А жить надо было, хотя бы и нищенски. И Симан с трудом и не скоро научился молчать о самом главном и дорогом для себя и петь под гусли то, чего требовали люди, за что они платили. Зарабатывая на хлеб пением, он все больше удалялся от главных улиц и кофеен, куда теперь пришли новые люди, и предпочитал окраинные кварталы.

Недалеко от Сараева, в узком и изогнутом каньоне Миляцки, на главной дороге, ведущей на восток, есть Козий мост, красивый длинный однопролетный каменный мост.

На правом берегу реки возле моста находится старая знаменитая придорожная корчма с террасой над рекой, конюшнями и кузницей, перед которой всегда стоят повозки. А на другом берегу, немного в стороне от реки, приютилась белая кофейня с садом, спускающимся к воде.

Здесь сараевские ремесленники часто устраивали пикники. С апреля и по самый октябрь сюда приходили посидеть в холодке за стопкой ракии на лужайке у реки, послушать песни и игру на гусях сараевские пьяницы, причем самые горькие, которых неизвестно почему привлекало это, в сущности, невзрачное место между крутыми берегами, где солнце рано заходит и поздно встает.

В летние вечера всегда можно было видеть на террасе исхудалое смуглое лицо и крупную, но согбенную фигуру Симы Васковича, бывшего кмета Ибраги и земледельца. Обычно он сидел у самой стены, надрывно кашлял и сплевывал в реку. «Этот дальше осени не протянет», — говорил корчмарь слуге, разгоняя перед собой дым от очага и кивая на чахоточного Симана. А Симан, ни на кого не глядя, ждет, когда ему закажут песню. Из сумки, лежащей рядом, выглядывают гусли. Песню заказывал обычно тот, кого первым сваливала с ног ракия, а заодно он требовал мяса и ракии для гусяра.

На террасе сидел еще один завсегдатай, некто Салихбег Хасимбегович. Родом он из Маглая, но с прошлого года жил у сестры, которая замужем за одним из бегов Бабицей, и от ее щедрот допивал свои последние стопки ракии. Это был конченный человек — без дома и хозяйства, горький и неизлечимый пьяница, когда-то знаменитый игрок в кости, давно изгнанный из беговского общества. Половину своего состояния он промотал за двадцать пять лет до австрийской оккупации, а вторую, большую половину, — за пять-шесть лет после оккупации, принесшей с собой рестораны, танцовщиц и прочие развлечения и соблазны. Толстый, с короткой шеей, багровым лицом, гнилыми зубами и всегда влажными, налитыми кровью глазами, он доживал свои последние дни на Козьем мосту, часто оставаясь здесь по два-три дня. «Каждый день жду, что его удар хватит и он скovyрнется», — говорил слуге корчмарь, склонный к мрачным и зловещим предсказаниям.

Нередко в корчме у моста сидят только Салихбег и Симан; кто приходит сюда лишь по праздникам, кто по вечерам или в хорошую погоду, а эти двое — почти неотлучно здесь. Трезвые, они сторонятся друг друга и сидят в разных концах террасы. Симан все время ерзает на стуле, перебирает какие-то бумаги в кожаной сумке или громко кашляет, а бег сидит неподвижно, никого не видит и не слышит, ни в ком не нуждается.

Завернет прохожий, опрокинет стопку и пойдет своей дорогой.

Трудно сказать, как получилось, что между ними завязался разговор и Симан подсел к бегу. Все это сделала ракия.

Немного оживившись, но по-прежнему сдержанно и спокойно Салихбег сказал:

— Спой-ка нашу, пограничную!

Симан пошел за сумкой, словно по собственной охоте. Пел он негромко, подыгрывая себе на гуслях, а кончив, продолжал молча смотреть на струны.

Бег обратился к корчмарю:

— Поддай-ка стопку ракии!.. И ему тоже!

А осушив, велел подать еще и уже не отделял Симана от себя.

— Давай две стопки!

Бег снова попросил Симана спеть. Симан спел. Стопки перед ним стояли пустые. После третьей Симан затянул песню о Смаил-аге Ченгиче. Бег вспыхнул.

— Эх, вот это хорошо, это хорошо! Но смотри, если со Смаил-агой беда какая приключится, пропала твоя голова!

Бег любил угрожать, но, конечно, все его угрозы оставались только на словах, как это бывает обычно с угрозами, клятвами и обещаниями горьких пьяниц.

Так они пили и пели. Давно опустилась темнота. В перерывах между песнями они вели путаные беседы — то громко, то приглушенным шепотом. Салихбег вдруг вспоминал, что он бег, резко обрывал крестьянина и переводил разговор на другое. Но чаще он так напивался, что ни век поднять не мог, ни пошевелинуть отяжелевшим языком. Симан был крепче, на него ракия действовала иначе. Счастливый от сознания, что перед ним мертвецки пьяный человек, который не убежит и должен будет выслушать его, Симан начинал тихо рассказывать ослепшему, онемевшему, одурманенному ракией собеседнику:

— Все считают меня дураком и пропащим человеком. Знаю. Но это не совсем так. Помню, я еще мальчонкой был, кочет у нас жил, большущий, а по голосу не было ему равных в округе! Но имел он один изъян, оттого и сложил голову раньше времени: кукарекал на целый час раньше других петухов и криком своим будил всех домашних. Надоело это отцу, и в один прекрасный день он

сказал: «Хоть и мил он мне, а покоя от него нет», — и велел зарезать петуха. Вот и я, слышь, вроде того ко-чета...

Бег, закрыв глаза, жевал беззубым ртом и издавал звуки, похожие не то на зубовный скрежет, не то на храп.

А Симан, подчиняясь неодолимой потребности высказать все, что у него накопилось на сердце, хоть кому-нибудь, пусть даже этой полумертвой колоде, продолжал:

— Все мне твердят, что не надо было говорить и делать то, что я говорил и делал, мол, не время, лучше молчать, набрав в рот воды, да делать свое дело. Кто его знает, может, и так. Но вижу я, что выходит-то по моим словам: умерло право аги и родилось кметовское! Никто только этого еще не видит, а я вижу!

Крестьянин нагнулся к бегу и, как бы поверяя ему важную тайну и тем оказывая большую честь, кротко, с достоинством продолжал:

— Знаешь, Салихбег, я тебя уважаю, как друга и товарища уважаю, и потому скажу тебе. Уважаю! И пусть меня бог накажет, ежели я тебя обижу чем или забуду твой хлеб и соль. Сохрани бог! Уважаю! Но все же с кметовским правом и с хаком неладно у нас, несправедливо, и так долго не протянется. Сегодня Симан — бездомный бродяга, нет у него ни земли, ни дома, люди от него отворачиваются, всякая мразь над ним смеется. Васа Генго муштрует, плешивый Хусо гонит не только из канцелярии, но и из суда. Мешаю я ему, видишь ли. Запрещается, говорит. Эхма, «запрещается»! А я вот опять скажу, Салихбег, не в обиду тебе, у Симана есть право, есть, только вот малость ошибся он, раньше срока прокукарекал. (Обманул меня сукин сын шваб!) А право у Симана есть! Есть!

Крестьянин отодвинулся от бега, скрипнул зубами, ударил ладонью по столу и, задыхаясь, прерываемый тяжелым чахоточным кашлем, заговорил снова низким голосом, словно пел под гусли:

— Есть, Салихбег, поверь, есть! Ладно, пускай я дурак и продащий человек. Пускай! Но после меня придут люди лучше и умнее, и они-то уж сведут счеты с агами и судьями, так что и им не сладко придется. Мне не дожидаться этого, но я твердо знаю и вижу, вот как эту ракию несчастную, что стоит передо мной: придет день, когда аги и беги будут, как я, топтаться перед канцеляриями с прошениями и законами в суме и никто не

станет читать их бумажки и даже разговаривать с ними не захочет. Люди будут смеяться над ними, как сейчас надо мной смеются. Только этот смех будет громче и мощней: от него вся Босния затрясется. От меня к тому времени останется горсть костей, меня не будет, но лучших поминок мне не надо, тогда я оживу, а сейчас я мертвый.

И Симан разглагольствовал о том, чего никогда не было и, как говорят люди, быть не может, но что все же должно быть. То были смелые, бунтарские мысли, днем они не приходят в голову и их не высказывают вслух, но сейчас в этом глухом углу, над обмелевшей рекой, чье журчание едва слышалось, в крестьянине словно не ракия говорила, а сама правда, красноречивая, волшебная и бесстрашная правда глубокой ночной поры.

И Симану было приятно, что он не боится высказать все это в лицо самому бегу, хотя и полумертвому от ракии. Иногда бег бывал и не настолько пьян, как казалось, и сквозь пьяный шум и туман в голове до него доходили если не все, то, по крайней мере, главные мысли крестьянина. Он злился, но язык у него не ворочался и ноги не действовали, он только шевелил справа налево указательным пальцем и этим едва заметным жестом как бы отвергал то, что слышал. На большее он был неспособен, но все равно соглашаться с мужиком не хотел.

Так проходила ночь. Все умолкало, гас свет, и только осколок словно стеклянной и умытой луны светил еще некоторое время над мрачной котловиной.

Хозяин закрывал ставни на окнах, запирали двери и укладывался спать; бега и Симана, заплативших за выпитое, он оставлял на террасе у реки, как людей без угла и крова, с которыми можно не считаться и которые скоро — один раньше, другой позже — так и кончат свой век где-нибудь на скамейке, прислонившись к стене трактира.

РАЗГОВОР

Высоко над Сараевом, на крутом нагорье под Хрешей, на том самом месте, которое местные жители прозвали Белым камнем, сидят четверо крестьян: братья Балемезы, Хузо и Сульо, Мехмед Софтич, сельский староста, и некий Авдо Кадро, высокий, худой, не в меру говорливый и чудаковатый человек; он наполовину горожанин, ибо большую часть времени проводит на сараевском базаре, нежели здесь, на этом плато. Все зовут его Авдич.

Солнце село где-то за Хумом, и на Хрешу легла тень, слегка подкрашенная последними отблесками предзакатных лучей, но вдали, где-то в самом конце Сараевского поля, за Блажумом, еще видна залитая ярким светом, трепещущая и словно льющаяся пышная зелень: в своей колдовской красоте, которая продлится еще несколько мгновений, она напоминает какую-то лучезарную, богатую и недосыгаемую обетованную землю из сказок.

Староста и Авдич идут из города, братья Балемезы возвращаются с поденки, и все по стародавнему обычаю присели отдохнуть на Белом камне. Все четверо курят табак старосты, курево в спускающихся сумерках облегчает усталым людям разговор и придает отдыху какую-то особую сладость.

Это как раз то, что нужно, ибо все разговоры, которые этим летом и осенью ведутся на Белом камне, как, впрочем, и всюду, где встретятся двое крестьян, скорее тяжелые и горькие, чем веселые и беззаботные, потому что говорят только о засухе. Это не обычные жалобы крестьян и не всегдашнее их заигрывание с природой, когда они, зная наперед, что урожай будет хорошим, из какого-то суеверного страха выдумывают всевозможные напасти. Нет, это настоящая печаль и озабоченность, которые

сквозят в каждой фразе, в каждом слове и даже проникают между слогов. В такую лихую годину речь крестьянина становится предельно краткой и меткой, постоянная хмурость и сжатые челюсти прорезают его лицо совершенно особенными морщинами, каких никогда не увидишь на лице жителя города. В это время крестьянину приходится так туго, что он теряет последние остатки разума и ему изменяет даже его природная хитрость, и он, подобно обложённому зверю, мечется, шарахается из стороны в сторону, тщетно стараясь отыскать хоть малейшую лазейку. Тогда и без того не очень-то крепкая крестьянская спайка рассыпается в прах, и каждый спасается, как может. Общая беда приводит лишь к еще большей разобщенности. В такие дни так называемая «судьба» полностью овладевает мыслями и чувствами крестьянина, и он начинает думать, что «бог знает, что делает». Ибо пустой желудок и усталый, смятенный мозг рождают бредовые мысли.

На Хреше, что под Сараевом, беда еще не приняла угрожающие размеры, но уже близка к тому. Пшеница почти вся погибла, выстояла только в долинах рек, кукуруза пока еще борется — половина уже «прости прощай», как говорят в здешних краях, но судьба другой половины зависит от будущего дождя. Есть еще надежда на фрукты, хотя сливы от жары перезрели и попадали, зато яблоны и груши на северных склонах уродили, будет и картошка, правда мелкая, что твои бусины на четках.

Надвигается зима, заклятый враг нищеты. Кругом еще сухо, попадаются и зеленые островки, не сгоревшие на летнем зное, но в это время дня и года на этом месте уже дует слабый ветерок с едва ощутимым, но тем не менее необманчивым дыханием приближающейся зимы. Оно пробуждает в человеке древний и неискоренимый инстинкт перелетной птицы, подобный далекому, невнятно-му и жалобному курлыканию журавлей, которое, не находя отзвука в его мыслях и привычках, повергает его в особую предзимнюю тревогу и подавленность.

Сверкает вдали озаренный невидимым солнцем волшебный край, в котором словно бы не бывает зимы и всегда есть еда, как будто там внизу все разом всходит и растет, цветет и созревает. Столь же нереальным кажется и призрачный сумрак, который, точно полая вода, поднимается из долины к высокой Хреше. Он — и ночь и день, и в то же время ни то ни другое, и в нем как бы исчезают и теряют силу свичаи и обычаи дня и ночи.

Тут и у последнего тупицы разыгрывается воображение, а у многих вместе с ним развязывается и язык, обычно сдерживаемый врожденным страхом и извечной крестьянской осторожностью. Всему этому способствует и табак, который в такие минуты, когда желудок пуст, тело утомлено, а кругозор ограничен, пьянит и кружит голову.

Но Авдичу ничего такого и не требуется. Фантазии и слов ему не занимать стать. Все делают вид, что не принимают его всерьез, однако мужики, как мухи, липнут к нему на базаре, угощают сигаретой, только чтоб послушать его смелые и складные речи о таких вещах, над которыми сами они никогда не задумывались, а если кто и задумывался, то, уж конечно, не отваживался говорить об этом вслух.

И сейчас по дороге из города староста выговаривал ему за то, что посреди Башчаршии, возле источника, перед целой толпой, тот распространялся о том, что-де нет на свете порядка и как неравномерно и несправедливо распределяются деньги, что деньги текут в руки тех, у кого товар, а товар к тем, у кого деньги, и бедняку никак не ухватиться за веревочку, которой и то и другое связано.

Авдич защищался вяло, ибо уже привык к подобным укорам, да и староста все больше брал шутливый тон.

— Висеть тебе за свой язык и мудрость над Ковачма.

— Сначала пусть столб с меня отыщут, не выросло еще такое дерево!

— Не очень-то ты на это надейся. Всякие деревья растут на божьей земле, найдется и по тебе. Царство оно сильное, из-под земли выкопает. Разговорился ты как-то у Себиля. А тут откуда ни возмись Мехмед Чевра, работник муселима. Остановился, у самого ушки на макушке, а глазами так на тебя и зыркает, словно мерку для виселицы снимает.

-- Нет, брат, не по злему умыслу он остановился, просто захотел человек послушать правду истинную. И пускай себе слушает, есть что послушать.

— Ну, ну, говори, говори о том, что тебя никто не спрашивает, но как бы в один прекрасный день тебя не спросили такое, на что ты не сумеешь ответить. Не зря ведь в народе говорят: язык мой — враг мой.

— А еще говорят, что доброе слово любые замки отмыкает.

— Так-то оно так, много чего сказано, да не про всех это. Не всякое слово к Авдичу применимо. Послушай-ка моего совета — перестань болтать. Попридержи язык, Авдич!

Разговор этот, сокращавший им путь и облегчавший подъем, закончился лишь на Белом камне, где уже сидели братья Балемезы.

Мужики закурили и повели речь о засухе и неурожае, но вскоре разговор снова взял в свои руки Авдич, не перестававший толковать о проклятых деньгах, которых никогда нет и без которых попробуй проживи.

Собеседники не очень-то прислушиваются к его словам. Они молча курят, глядя, как кольца дыма уходят в сторону темнеющего горизонта. Авдич не унимается.

Староста вначале еще обрывает его, но больше по привычке, чем по необходимости.

— Брось ты болтать о том, чего быть не может.

— А почему я должен молчать? Для чего бог дал нам язык? «Быть не может». А ты знаешь, что должно быть? Не знаешь. Почему тогда знаешь, чего не может быть... Уж коли я говорю про деньги, стало быть, знаю, что говорю. Эхма!

Отогнав от себя густой дым со вздохом, как бы выразившим все то, о чем даже он не сумел сказать, Авдич продолжал:

— Пошел я на нижний базар. Сунул руку в карман и все верчу две акчи, махонькие такие монетки, а они так и норовят выскользнуть. И чем ниже я их опускаю, они словно все меньше становятся. Не те это полноценные акче, какие, говорят, были при султানে Сулеймане Канунии, когда петух стоил акчу, курица — полтого, а теперешние, которых и на понюшку табаку не хватит. А ведь за эти самые нынешние я, бывало, покупал свечу и полочки соли, а теперь торговцы так подняли цены, что за все плати акчу: пол-очки соли — акча, и свечка — акча. Истратишь обе — ни с чем останешься, вот я и ломаю голову, что прежде купить. Верчу в руках этих сироток. Выпущу одну в карман — соль. Возьму ее обратно, брошу другую — свечка. И как ни крути, а то и другое за одну акчу не выходит. А мне позарез и соль и свеча нужны, потому как с ребятней у меня просто беда. Куплю, скажем, свечу. Можно при свете поужинать и спать лечь. Так нет же, пацанята несоленую похлебку в рот не возьмут. Разве это похлебка, говорят, плачут, ложками стучат

по миске, пока я не осержусь и не отлуплю обоих. Они сразу ныр под одеяло, и во сне все еще плачут, потому как битый и сытый не одно и то же. А у меня душа кровью обливается, хоть я и виду не показываю, да и у самого несоленая еда в горле комом стоит.

А куплю соль — значит, ужинать впотьмах. Наедятся мои ребята соленой похлебки с хлебом, уж сколько его там есть, зато дочка, старшенькая моя, все этакую цацу из себя строит, и не притронется к еде. Не видно мне ее впотьмах-то, а сердцем чую, на глазах у нее слезы. И слышу, как она шепотом просит, чтоб зажгли свечу, «хоть малюсенькую», чтоб не так жутко было. Ешь, говорю, дура, покуда есть что. Свечу еще тебе подай! Божье солнце — свеча бедняка. А она все свое да свое — хочу свечку. За рукав меня хватает. «Не могу, — говорит, — тятя, в темноте мне и ужин не в ужин, пускай самый разгосподский». Я притворяюсь, что сержусь, и отталкиваю ее, а сам, того гляди, зареву вместе с ней.

Думаю я про все это, пока спускаюсь вниз, сердце щемит, сжимаю пальцами эту несчастную акчу и говорю сам себе: «Ладно, куплю и соль и свечку, пускай хоть несколько дней будут у нас и соль и свет, а там будь что будет». Пришел в лавку к Наничу, стал покупать, а приказчик его, этот лысый черт, и говорит мне: «Фальшивая у тебя одна акча, смотри, гнутая вся». И подбрасывает ее на ладони. А я смотрю на него, смотрю и как взорвусь: «Фальшивая? Слушай, парень, сам я фальшивый с тех пор как себя помню. Вешай соль или я пойду, к другому».

Последние слова Авдич кричит, яростно размахивая правой рукой. Люди, кисло улыбаясь, слушают его рассеянно, потому что знают Авдича и его притчи с тех пор как себя помнят, и эти уже приевшиеся им истории не могут отвлечь их от собственных забот.

А Авдич, упоенный собственным рассказом, украшает его все новыми подробностями.

— Иду я домой по этой круче. В шарфе у меня соль, за шапкой заткнута свеча, а руки в кармане пустые, и карман тоже пустой. Пока в город спускался, мог по крайней мере разговаривать с двумя акчами, теперь же сам с собой и двух слов сказать не могу. Будь они прокляты, эти деньги! Когда звенят у тебя в кармане пускай даже две дохлые акчи, ты все же чувствуешь себя человеком. Не только этому плешивому приказчику Нанича —

самому визирю мог бы, кажется, нос утереть. Словно крылья у тебя. А теперь всякому дорогу уступаешь, будто нашкодивший кот. И в голове только одно: деньги ушли, соль съедим, свечка сгорит. А потом? Темно и несолоно. И не мила мне эта свечка за шапкой, как подумаю, что придется ее зажечь, а сам все щупаю ее рукой, проверяю, на месте ли, и дрожь до костей пробирает при мысли, что могу ее потерять. Бедняк вечно чего-нибудь боится. Даже когда есть на что купить, а уж когда не на что, то просто ложись да помирай. Да оно бы и к лучшему, потому как не жизнь, а маета одна. Ты вот заладил: «Брось да брось!» Я бы бросил, да оно меня не бросает. И хоть к стенке поставь, все равно скажу, что-то здесь неладно. Или деньги меж людьми неправильно поделены, или соль и свечки и всякое другое.

Староста поднялся, за ним остальные. Авдич еще не сказал, как ему чудится, самого главного, но слов больше и у него нет.

Цигарки выкурены. Стемнело. Никто даже и не заметил, как угас вдали озаренный край. Похолодало. Люди идут по домам, каждый в свою сторону, навстречу тревогам и заботам, которых не вытравить никакими разговорами.

1960

В РАЗЛАДЕ С МИРОМ

Он услышал об этом, когда учился в третьем классе начальной школы. Услышал случайно. Однажды, воскресным майским днем, в беседке, за столом, уставленным вином и закусками, сидели гости. А мальчик, никем не замеченный, устроился среди листьев на толстой искривленной ветке старого разросшегося виноградного куста.

У него вошло в привычку подслушивать разговоры взрослых. Не потому, что его интересовало, о чем они толкуют, он многого не понимал, ему было просто любопытно наблюдать за ними — как они себя ведут, как разговаривают. Не в силах еще следить за беседой, он только смотрел на них, думая о чем-то своем и делая свои выводы.

Большие усаые дяди каждое воскресенье собирались у отца в тени беседки, то и дело чокались своими стаканами, громко говорили, перебивая друг друга, и, раскрасневшись, хлопали ладонями по столу. Мальчик не любил их, потому что их не любила мать. Она постоянно выговаривала отцу за эти сборища, которые стоили немалых денег. Да и сами гости были ему чужды и непонятны. Казалось, они разговаривают так громко и оживленно и размахивают руками не потому, что им это нравится или хочется, а потому, что не могут по-другому, словно их кто-то обязал держать себя так, а не иначе. Мальчику было жаль их: они никогда не говорили об интересных и приятных вещах — о путешествиях, открытиях, подвигах, только о ценах, купле-продаже, о неизвестных ему людях, об их непонятных поступках и отношениях. И все же общество взрослых манило, почему-то представлялось, что его место с ними и что среди листьев на жесткой виноградной лозе он сидит по чистому недоразумению.

В то воскресенье, когда он, спрятавшись, как всегда, глядел на шумную компанию отца и слушал, разговор зашел о человеке по имени Никола, о том, что он не может найти работы и ему не на что жить. Кто-то сказал: «Не так просто найти работу подозрительному». Последнее слово было произнесено приглушенно, но подчеркнуто. Добавить, видно, было нечего. Лица окаменели, наступило напряженное молчание, несколько мгновений слышно было только смущенное покашливание. Потом все громко заговорили о чем-то другом, захохотали, явно стараясь бессмысленными выкриками и видимостью веселья разбить тягостную тишину.

Лазар все это видел, но его внимание было полностью поглощено словом «подозрительный». Он не понимал его значения, не мог представить себе, что происходит с этим Николой, но смутно догадывался, что ему приходится плохо, потому-то все стараются поменьше о нем говорить и так странно молчат.

«Подозрительный!» Неизвестно почему это слово не шло у него из головы. Учась в школе и открывая для себя какие-то новые горизонты, он все чаще расспрашивал об истинном значении этого слова и о человеке, к которому оно относилось. Ему хотелось понять, как он живет, как к нему относятся окружающие. Он строил догадку за догадкой, пытался нарисовать себе портрет этого человека и его образ жизни. Однако Лазара постоянно томило желание узнать больше, чем подсказывало воображение, узнать что-то реальное. Он заводил разговор в школе, расспрашивал тетю Милу, которая всегда охотно беседовала с ним о людях, о жизни и часто рассказывала о вещах, которых не услышишь от других взрослых и которые повергали его в глубокую задумчивость. Но и после всех расспросов он не знал о Николе сотой доли того, что хотел знать.

От друзей вообще было мало толку. Они вовсе не отвечали на все его «что», «как», «почему» и переводили разговор на то, что в данную минуту их больше всего забавляло. Один болтал о привидениях и оборотнях, другой врал, что у него мотоцикл, какого нет ни у кого в городе, и что на нем можно догнать самого быстрого коня, третий твердил, что его отец — силач, с любым справится одной рукой, даже и с «подозрительным».

Сейчас все это отталкивало Лазара, его интересовал только незнакомец, человек из плоти и крови, со своим

несчастьем, а не бахвальство и глупые бредни. Все это вдруг стало в его глазах недостойным и оскорбительным.

Тетя Мила, всегда такая многоречивая, на сей раз оказалась сдержанной и скупой на слова. На все его представления она отвечала одно: этот человек сказал то, о чем запрещено говорить и о чем не говорят, и потому где-то наверху, откуда управляют людьми и их судьбами, у начальника уезда, может быть, он внесен в список подозрительных. С этой минуты за ним следят, надзирают за каждым его шагом. И... и, словом, ничего хорошего тут нет, нелегко приходится таким людям. Впрочем, об этом не следует ни думать, ни спрашивать.

Вот и все, чего он добился от тетки. (Очевидно, ее не занимали такие вещи, она мало что знала о них, не любила их обсуждать.) Но то немногое, что он узнал, еще сильнее разожгло его любопытство. Никола не выходил у него из головы. Подозрительный! Лазар думал о нем дома, в школе, на улице. В воскресенье, глядя на разгоряченных вином гостей, горланивших в беседке, он старался представить себе жизнь подозрительного. Ему почему-то казалось, что его жизнь должна быть совершенно не похожей на обычную — это был какой-то неведомый мир, от которого, он ясно чувствовал, веет неизвестностью, страхом и непонятной привлекательностью. Подозрительный! Из того, что он сумел выяснить, все представлялось так: человек живет, ест, пьет, спит, ходит по улицам, занимается своими делами и внешне ничем не отличается от других. Но так только кажется. Он отрезан от людей, словно прокаженный, словно приговоренный к казни. И это известно всем — и ему, и тем, с которыми он сталкивается. С ним здороваются молча, на ходу, никто не останавливается поговорить, никто у него не бывает, не приглашает к себе, разве что изредка, если нельзя иначе.

В таких раздумьях прошло лето. Лазар закончил третий класс, провел каникулы в деревне, вернулся, поступил в четвертый, но не переставал думать и спрашивать о незнакомце. Наконец однажды, солнечным октябрьским днем, ему удалось увидеть Николу, того самого, что живет под подозрением.

Это был рыжий рябоватый человек с голубыми глазами и длинными белесыми ресницами. Из-за них казалось, что глаза его всегда улыбаются. Одежда его, как у большинства мастеровых, была полукрестьянской-полугородской.

И все. Ничего бросающегося в глаза, ничего значительного и любопытного — простодушие и заурядность.

Лазар был разочарован. Приходилось отказываться от того образа подозрительного, который он сам создал, от будоражащих душу догадок, столько времени связывавших его с ним. Однако собственные предчувствия и тревоги были ему ближе и дороже того, что он увидел на базаре в ярком свете октябрьского солнца. Лазар уговаривал себя: человек улыбается, старается выглядеть беззаботным, незаметным, чтобы обмануть всех вокруг. Он вынужден вести себя так, у него нет другого выхода. И, наконец, не столько важен сам Никола и его внешность, сколько мир, к которому он принадлежит. И Лазар вновь вернулся к своим грезам.

Прошло еще несколько недель. Больше ничего не удалось выведать о Николе и людях его склада. Все, к кому он обращался с вопросами, резко или шутливо отказывались отвечать. Но он продолжал допытываться, ловил каждое слово. И даже нетерпеливый отказ, даже молчание что-то добавляли к тому, что он знал. Неясность и неопределенность как раз и давали пищу для новых размышлений. Так с каждым днем он невольно приближался к неведомому и опасному миру. Уляжется вечером, крепко уснет, встанет утром и чувствует, что сделал еще один шаг и что рано или поздно должен войти в тот мир, потому что только к этому себя и готовит.

Готовился он долго. Наконец выбрал день. Это было в начале ноября, в среду, после обеда, когда в школе кончились занятия. Он забрался в «большую» — нарядно обставленную и устланную коврами комнату, служившую для приема гостей. Он и прежде проводил в ней самые приятные и важные минуты — здесь он любил читать, мечтать над раскрытой книгой, прогуливаться взад и вперед, напевая или громко разговаривая с воображаемыми собеседниками.

Сейчас он вошел туда молчаливый и мрачный. Раздвинул шторы на окнах, бросил настороженный взгляд на улицу. Люди шагали быстро, с торжественно озабоченными лицами. Большинство было ему знакомо. Вот прошел городской ветеринар, потом директор их школы, высокий, строгий и хмурый, потом Бошко Полиция (это хорошо, что и он здесь!), еще какие-то горожане, среди них и те, что по воскресеньям приходили к отцу в гости. Мальчику казалось, они не скрываются за углом, а оста-

навливаются под окнами, чтобы стать судьями и свидетелями того, что сейчас свершится.

Он отошел от окна, сел на крытый ковром сундук и мысленно отмерил путь, который предстояло пройти, рассчитал прыжок. Он уже все решил. Сегодня, сейчас он произнесет роковое слово, слово, которое «нельзя говорить», которое того, кто осмелится его произнести, навеки, безвозвратно отринет в мир отверженных, подозрительных. К сожалению, ему так и не удалось услышать, как звучит это слово. Никакими силами он не мог его выведать. Но он решился его произнести, решился на все неизвестные последствия такого поступка. Больше откладывать он не намерен. Не слово, так решимость перенесет его в тот таинственный, давно зовущий его мир. А слово можно произнести потом, когда он его узнает.

Лазар вскочил. Тишина, когда он шел по комнате, казалась густой, обладающей явно ощутимой тяжестью. Расставив для устойчивости ноги, он остановился посреди комнаты лицом к окнам, к льющемуся из них ровному дневному свету. Сжав кулаки и выпятив грудь, вытянул вперед голову и, широко раскрыв рот, без единого звука, одним усилием мысли и воли громко выдохнул, «вымолвил» загадочное слово, которое нельзя говорить и которое тут же делает человека подозрительным.

— Вот!

Он постоял еще немного, ожидая, что сейчас, сию минуту произойдет нечто невероятное. Но ничего не происходило. Гнетущее напряжение, сковавшее все мышцы, стало понемногу ослабевать, спускаться от лица вниз.

Наконец, с трудом оторвав от ковра ноги, он вышел из большой комнаты.

Напряжение не проходило, он ничего не замечал. В нем, как резко отпущенная стальная пружина, еще дрожало его «Вот!». Итак, дело сделано! Невидимо, неощутимо для себя самого он перешел рубеж, отделяющий его от таинственного мира подозрительных.

Он выходил из комнаты, когда старая Таисия, идя мимо с полным подойником, спросила, не хочет ли он парного молока. Простой, невинный вопрос словно разбудил его. Так эта добрая женщина не знает, что с ним произошло! Она не подозревает, что с нынешнего дня он во вражде со всем миром, словно прокаженный, словно осужденный преступник. Стало жутко, горячая волна

тревоги окатила его, огнем разлилась под ногами, не давала стоять на месте.

Он обежал весь дом и, улучив минуту, когда в длинном коридоре никого не было, поспешно, как вор, схватил шапку и вышел на улицу.

Боясь, что смятение и страх заметят и это выдаст его, он шел быстро, высоко подняв голову, как всегда ходят взрослые по своим обычным и определенным делам. Это давалось ему с трудом. На главной улице зажглись фонари, многие торговцы уже убирали в лавки разложенные товары.

Лазар дважды пересек базарную площадь, но никто на него даже не взглянул, и он вернулся домой. И здесь никаких перемен. Никто на него не обращал внимания — последствий его поступка еще не было.

В светлой просторной кухне, пахнувшей очагом и чистотой, он сел на скамью из некрашеного дерева, которую каждую неделю добела терли мылом и щеткой. С обычными разговорами и восклицаниями входили и выходили женщины. Ничего непривычного. Видимо, придется ждать.

В оцепенении, закинув голову и закрыв глаза, он ждал, приближался ужин, пора было спать — первый глоток, первый сон в новой жизни. Возврата не было.

Вошла тетя Мила (он узнал ее по голосу). Она прошла совсем близко от него и спросила на ходу своим особенным, печально-веселым голосом:

— Эй, Лазар, на горку лазал! Ты что? О чем задумался?

Словно мощная волна подхватила мальчика. Захотелось вскочить, обнять тетчины колени, спрятать лицо в пышных складках пальвар и выплакаться, как он делал, когда был маленьким и по ночам его мучили кошмары. Собрав все силы, он сдержался, упорство победило. Тетка ушла, он остался сидеть, прижавшись затылком к стене, крепко зажмурив глаза и стиснув зубы. Страх и решимость обрели равновесие и были готовы жить рядом друг с другом в ожидании того, что придет, что неминуемо должно прийти.

КНИГА

Torno a domandare. Perché fatta
Così infelice la fanciulezza?
*Giacomò Leopardi. Zibaldone*¹.

О, мейтеф мой, страх ты мой великий!
Страху я порядком натерпелась,
Пока грамоту твою постигла.

Народная песня

С чувством, близким к страху, я приступаю к короткой истории одного долгого и большого страха. Этот страх не имеет ничего общего со столь многочисленными и разнообразными опасениями и боязнями, преследующими людей в их борьбе за существование и погоне за богатством, хорошей жизнью, положением, славой и первенством в приобретении, а затем сбережении и умножении приобретенного. Речь пойдет о другом страхе, о трудно объяснимом страхе невинных человеческих существ перед явлениями этого мира. Речь пойдет о детском страхе, который, в зависимости от того, каким будет первое соприкосновение ребенка с обществом и его законами, или исчезает с годами, в ходе умственного развития и правильного воспитания, или, наоборот, остается в ребенке, растет вместе с ним, заполняет, уродует и губит его душу, отравляет жизнь, как тайная боль и тяжкое бремя. Речь пойдет о тех мелких, незаметных, но оставляющих след на всю жизнь событиях, которые часто калечат души тех маленьких людей, которых мы называем детьми и мимо которых взрослые, занятые своими заботами, бывало, проходили так легко или вообще их не замечали.

¹ Я без конца спрашиваю: почему так несчастлива юность?
Джакомо Леопарди. Дневник.

Мальчик в сентябре возвращается после летних каникул в окружной боснийский город. Он должен пойти в третий класс гимназии — гимназии старого и холодного австрийского типа. Как и большинство его сверстников, он возвращается с тяжелым сердцем после долгих летних дней свободы, игр и безделья, которые так любят дети. Он похудел и загорел, а волосы его высушены и выбелены солнцем. Одежда кажется ему тяжелой, ботинки жмут, точно чужие. Он живет вдвоем с товарищем в комнатке, которую снимает у одной вдовы, скупой и вечно озабоченной женщины — у нее и у самой двое сыновей в гимназии. Улицы и здания кажутся ему выросшими вширь и в высоту, люди — нарядными, магазины — богатыми. Но тем сильнее он чувствует, до чего сам он мал, подавлен и незначителен. Несколько медных монет, звякающих в его кармане, — такая малость по сравнению со всем тем, чем щеголяют магазины и улица, что он их воспринимает скорее как безденежье, чем как некий достаток. То, чем он располагает, столь ничтожно по сравнению с тем, что ему предлагается, и с тем, чего бы ему хотелось, что и те вещи, которые он мог бы купить, утрачивают свою привлекательность, так как он заранее с болью ощущает ограниченность своих возможностей.

Перед зданием гимназии стоят торговцы фруктами, сладями, мороженым; каждый из них окружен живым кольцом ребят, которые покупают все это, угощают друг друга, делятся или ссорятся. Мальчику страшно хочется подойти и присоединиться к ним, но групп этих много, и он только переходит от одной к другой, останавливаясь возле каждой, как робкий наблюдатель.

В просторном коридоре гимназии холодно и пусто. На большой черной доске, единственном украшении этого невеселого помещения, четко выписаны фамилии учеников, которых у служителя ждут письма. Мальчик, как всегда, смотрит на эту доску и прочитывает фамилии, а сознание, что для него ничего нет и быть не может, так как ему никто не пишет, ощущает как особую, уже хорошо знакомую боль. Вдруг он принимает какую-то похожую фамилию за свою. Ясно видит свое полное имя. Сразу представляет себе письмо, настоящее письмо, закрытое, с марками, штемпелями и всеми следами дальнего странствия, письмо, в котором каких только нет наказов, пожеланий и вестей, важных, добрых и интересных. И чего только не может быть в таком письме! Да кто тот счастливец,

который его получит? Буквы на доске запрыгали, задвигались, разместились так, как были написаны на самом деле, и его имени как не бывало. Нет ни письма, ни вестей издалека. Как, к сожалению, нет ничего красивого, необычного и волнующего, а есть лишь монотонная жизнь, без чудес и сюрпризов, сотканная из простых и скудных событий и неопределенных и неясных, но трудных и безрадостных обязанностей и долженствований.

На доске поменьше написано, где и когда несостоятельным ученикам бесплатно выдаются учебники. С этим связаны неприятные минуты, которые он пережил в прошлом и позапрошлом году.

Ученики, которые могут представить справку, что не имеют родителей или что родители их бедны, бесплатно получают от государства все учебники, требующиеся им в учебном году. Это, разумеется, книги, бывшие в употреблении, прошедшие через множество рук таких же бедных учеников. Они нередко бывают подклеены, заплатаны, подшиты. На каждой странице есть подчеркнутые строчки, пометки на полях, мелкие рисунки или же лишние значения геометрические фигуры, которые мальчики рассеянно чертят, когда им скучно. Встречаются здесь следы еды и питья и в особенности те грязно-серые пятна, которые появляются на книжках, долго бывших в употреблении. У мальчика эти книги вызывают гадливость, и все эти пятна и следы чужой работы и жизни, нечистые, недостойные, наполняют его отвращением и в то же время привлекают его внимание и кажутся ему столь же важными, как и то, что напечатано. А на заглавных страницах каждой книги красуются надписи учеников, окончивших до него свой класс с этими учебниками и уже давно обогнавших его на пути в какие-то далекие пределы, где, наверное, лучше, интереснее и светлее. Их пометки смешны, бессмысленны, и мальчика от них коробит. «Эта книга принадлежала Ивану Станковичу, ученику IIIб класса». «*Nic liber est meus; testis mihi est Deus; qui non vult credere, hic potest legere*¹. Й. Субашич».

Мысль о том, что с этими учебниками он должен прожить целый год и изо дня в день заниматься по ним, вызывает у мальчика отвращение; он уже ненавидит их, и

¹ Эта книга моя, бог мне свидетель; кто не верит, может здесь прочесть (лат.).

их и все, что в них не только написано и нарисовано от руки, но и напечатано. С такими учебниками и со своей давней мечтой о неких чистых, красивых книгах, в которых на девственно белых страницах крупным и четким шрифтом напечатаны какие-то гордые и радостные открытия, мальчик начал и свой третий год в гимназии. Но этот третий год, по крайней мере, нес с собой одну радостную надежду и приятное предвкушение. С третьего класса учащиеся получают право пользоваться художественной и научной литературой из гимназической библиотеки.

В течение первых лет, проведенных в гимназии, мальчик столько раз думал о той минуте, когда и он сможет в определенный час и день недели войти в библиотеку и взять какую-нибудь из тех книг с картинками, которые он видел у старших товарищей. Из разговоров с ними он знал названия многих книг, находившихся в этой маленькой гимназической библиотеке, и, слушая рассказы об их содержании, казался сам себе маленьким и неученым и мечтал только о том, как бы дорасти до третьего класса и до библиотеки.

Теперь пришел и этот день.

В первый же вторник после полудня он стоял в числе первых перед запертой дверью библиотеки в ожидании учителя, выполняющего обязанности библиотекаря. Когда учитель появился, когда он отпер дверь и впустил их в прохладную узкую комнату, уставленную вдоль стен шкафа́ми, полными книг, для мальчика наконец наступил тот момент, о котором он давно мечтал и которого страстно желал.

Первой была очередь учеников старших классов. Учитель, толстый рыжий человек с быстрыми движениями и резкой речью, делал свои замечания, рекомендовал одни книги, отговаривал от чтения других. Мальчика смущало то, как сухо и насмешливо он говорит о таких больших и возвышенных вещах, но он поминутно забывал об учителе и учениках, погружаясь в разглядывание книг, рядами выстроившихся за стеклом, мечтая обо всем, что может быть написано и нарисовано в этих книгах, и уже сейчас ощущая что-то вроде боли при мысли о том, что придется остановиться только на одной книге и попросить только ее. Он думал, какое было бы счастье и как бы у него полегчало на душе, если бы не надо было выбирать и если бы можно было спокойно, на свободе, посмотреть все три шкафа́ и перелистать все книги. Чего стоит

одна книга, даже самая лучшая, если человек знает, что существуют сотни и тысячи других? Если бы можно было получить хоть три-четыре, чтобы, читая, не трепетать при мысли, что через час-другой дойдешь до конца и читать будет нечего. А тут — по одной книге каждый вторник да и то только из тех, что предназначены для его класса, тех, которые разрешит учитель, и к тому же при условии, что ни по одному предмету он не получит плохой оценки. Все обусловлено, ограничено, втиснуто в рамки и уделяется по крохам. А ведь существуют в мире библиотеки, существует такое множество книг и существуют люди, которые их свободно читают. Да ему и не надо много — всего лишь четыре-пять книг о разных путешествиях по разным краям света. Только бы можно было под ту, которую читаешь, подложить те три-четыре, которые будешь читать позднее, и время от времени заглянуть в них, только бросить взгляд. Неизвестно почему, но ему кажется, что это было бы осуществлением самой большой его мечты.

— Ты что, сюда спать пришел или за книгой? — прервал эти мечтания резкий и нетерпеливый голос учителя. Мальчик с трудом опомнился. Он и не заметил, как очередь дошла до него. Сзади, смеясь, его подталкивали товарищи. Перед ним, прямо перед ним стоял сердитый рыжий учитель. Мальчик видел его крепкие кулаки, сильную шею, коротко стриженные красноватые волосы, опущенные книзу усы и зеленые глаза с твердым и насмешливым выражением, глаза человека, который знает, чего он хочет и что нужно делать, и который и от других неумолимо требует, чтобы они знали то же о каждом деле и в каждый данный момент.

Мальчику казалось, будто его неожиданно подвергли какому-то непосильному и беспощадному испытанию. Самое лучшее, что у него было связано с библиотекой — двухлетняя мечта и думы об ее осуществлении, развеялось, как дым. Грубо встряхнутый, застигнутый в своих мыслях, как на месте преступления, он был пристыжен и испуган. Больше всего он боялся, как бы учитель, по своему обыкновению, не прилепил ему какой-нибудь насмешливой клички: если ученики подхватят эту кличку, никто его от нее не избавит.

— Итак, что же тебе угодно? — иронически продолжал учитель.

— Я бы... Мне бы хотелось что-нибудь о путешествиях, — пробормотал растерявшийся мальчик.

— Ты бы, тебе бы... Похоже, ты сам не знаешь, чего хочешь, — сказал учитель, взял квадратную, довольно толстую книгу, записал имя мальчика в список и торопливо вручил ему книгу.

— Следующий!

Мальчик ушел сконфуженный, думая только о том, что на сей раз счастливо избежал клички. На ходу он разглядывал книгу, на обложке которой была цветная картинка — сплошной снег и лед — и название: «Экспедиции в полярные края».

Медленно спускаясь по лестнице и останавливаясь на каждой ступеньке, он раскрывал книгу на страницах с пейзажами Севера — ледяными горами, нартами, в которых запряжены собаки, и хижинами из снега. Лицо его еще горело и руки вздрагивали от волнения, вызванного встречей с библиотекарем. Неприязненностью и холодом этой встречи веяло и от всех этих полярных фотографий, и от каждой страницы этой старой, неряшливо переплетенной и обтрепанной книги.

Вот каковы, оказывается, те прелести и наслаждения, которые ожидают человека, когда он приобретает право пользоваться библиотекой!

Заглядевшись на картинки, охваченный смешанным чувством оскорбленного самолюбия, разочарования и любопытства, мальчик оступился на выщербленной ступеньке, потерял равновесие, зашатался и в конце концов уперся руками в стену, но при этом выронил книгу, которая покатилась вниз. Устояв на ногах и придя в себя, он тотчас бросился за книгой, лежавшей у подножия лестницы. Подняв ее, он с испугом увидел, что от падения переплет оторвался: вся внутренняя часть отстала от корешка и держалась только на нескольких ниточках.

Мальчику кровь бросилась в голову. Едва видя сквозь пелену красного тумана, заставшего глаза, он вправил книгу в переплет, оглянулся, не видел ли его кто, и торопливо пошел домой.

Выйдя на улицу, он замедлил шаг. Тесная неприветливая библиотека была забыта, точно он никогда там и не был. Теперь он мог думать только о беде, которая случилась с книгой, и об ущербе, размеры которого надо будет установить дома. Попорченная книга, зажата под мышкой, жгла ему бок.

Дома он тотчас запрятал злосчастную книгу, как досадную обузу, на дно своего ученического сундучка, под теп-

лое белье, поел и вышел поиграть с соседскими ребятами. В игре он забылся. Но когда начало смеркаться и товарищи стали расходиться по домам, его пронзила мысль, что дома его ждет что-то нехорошее и неприятное. И боль от этой мысли нарастала вместе с темнотой.

За ужином он ел быстро и рассеянно, сразу из-за стола отправился в спальню и передвинул керосиновую лампу в свой угол. Пока его товарищ оставался с сыновьями хозяйки в столовой, откуда доносились их веселые голоса, мальчик, притворяясь, будто готовит уроки к завтрашнему дню, вытащил книгу и начал осматривать ее, точно рану на собственном теле. Переплет держался всего лишь на двух тоненьких ниточках. Видно было, что его уже однажды подклеивали, небрежно и неумело, каким-то дрянным бурым клеем, который при первом же сильном сотрясении перестал держать.

Нагнувшись над сундучком, мальчик смотрел то на книгу, то на переплет и чувствовал, как к голове его приливает кровь. Он растерянно спрашивал себя, что предпринять, дабы поправить дело. Как поступают в таких случаях? Он знал одно — что никогда и ни за что не посмел бы признаться этому большому рыжему человеку из библиотеки в своей беде. Пойти к какому-нибудь переплетчику? Да, это самое лучшее. Но тут же начались сомнения: а возмутся ли переплести эту книгу? Хватит ли у него денег? Не будет ли заметно, что книгу пришлось переплетать?

В это время кто-то открыл дверь, ведущую в столовую. Ворвались веселые голоса. Он испуганно сунул книгу на дно сундучка, захлопнул крышку и, не подымая головы, начал листать какую-то тетрадь, делая вид, будто весь погружен в это занятие. Дверь в столовую притворили. Он осторожно открыл сундучок и снова вытащил книгу. Теперь оборвались и те две ниточки. Мальчик держал в одной руке книгу, в другой переплет. Так. Теперь все стало окончательно плохо. Он бережно вложил книгу в переплет, спрятал на дно сундучка и повернул ключ в замке. Затем вернулся в столовую и подсел к остальным за стол. Здесь он смеялся, разговаривал, участвовал в игре, ни на минуту не забывая о своей мучительной тайне.

Так мальчик начал свой третий учебный год в гимназии.

Во время уроков, когда учитель с редкой острокопечной бородкой объяснял греческую азбуку, мальчик

смотрел в окно на верхушки деревьев, одетые еще пышной зеленью сентября, и на кусочек светлого неба вдали. Рассеянный и неспособный запомнить незнакомые буквы, он думал только о загубленной книге, с которой никогда не решится предстать перед строгим библиотекарем и которую, как ему все больше кажется, нельзя ни поправить, ни заменить другой. И эта мысль, неотступная и мучительная, все быстрее утрачивала свою первоначальную форму. Так было во время уроков, игр, веселых разговоров с товарищами. Каждую секунду он ощущал, что на свете существует что-то испорченное и развалившееся, какая-то его беда и вина, которую он никому не смеет открыть и не может исправить и за которую когда-нибудь должен будет нести ответственность.

Все же иногда во время игры или прогулок с товарищами ему удавалось отвлечься и часами не вспоминать о своей тайне. Он смеялся, бегал или разговаривал весело и беззаботно, как и все. Но вдруг, точно физическая боль, возникала мысль о спрятанной книге. И каждый раз боль эта была тем свирепей и тяжелее, чем длительней и полнее были минутная радость и недолгое забвение, ибо к прежней боли присоединялся и укор самому себе за измену ей. И когда после таких часов он укладывался в свою постель и лежал без сна в темноте, он находил тут свою заботу, неусыпную и неотступную, и каждый раз она была больше и тяжелее, чем он оставил ее утром, вставая.

Недели и месяцы проходили, а событие с книгой, обыкновенное и незначительное само по себе, приобретало, и с каждым днем все больше, фантастическую и чудовищную видимость гнетущей тайны и непоправимого проступка, который необходимо во что бы то ни стало скрывать.

Все это было глупо, ненужно и, по существу, лишено оснований, и все же — реально и мучительно, реальнее дневных игр и разговоров. Мальчик начал сторониться друзей и их забав. А на самых беспечных из них смотрел с беззлобной, но жгучей завистью.

Какие только мысли не рождались в эти осенние ночи в детской голове! Какие только возможности не рисовались, какие невозможные мечты не проплывали!

Ночь кончалась, а он все думал. Открыть кому-нибудь, что с ним случилось? Поискать где-нибудь совета, как решить этот вопрос и освободиться от бремени заботы?

При одной мысли об этом его что-то согревало изнутри, все становилось на мгновение ясным, легким и простым. Перед ним вереницей возникали лица товарищей. Он представлял себе в мельчайших подробностях целые разговоры — свою исповедь и их ответы и выражение лиц; и в конце концов приходил к убеждению, что это было бы напрасно и, что еще хуже, — невозможно. Он подумывал о том, не довериться ли хозяйке, но сама ее мина, озабоченная и вдовья, отвращала его от этого намерения. Он решил подробно описать все отцу и попросить совета и помощи или даже подойти как-нибудь к библиотеке, дожидаясь учителя и с глазу на глаз искренне признаться в случившемся.

И после того, как он долго воображал свои речи и их ответы, вплоть до малейших движений и выражения лица, он убеждался, что это выше его сил, и оставался по-прежнему наедине со своей тайной, которая после каждого такого размышления становилась все тягостней.

Его осенила мысль поискать избавления в молитве. И он в самом деле шептал все известные ему молитвы, неслышно, долго и усердно. Прикрыв рукой рот, чтобы не слышал товарищ, спавший в той же комнате, он обращал жаркие мольбы прямо к богу и его святым, которые, как говорят, могут совершать и еще большие чудеса, и просил составить книгу с обложкой, чтобы он мог спокойно и смело вернуть ее тому человеку, не подвергаясь неведомо каким выговорам, унижениям и строгим карам. Так он и засыпал, убаюканный собственным шепотом. А еще затемно просыпался с боязливой, но лучезарной надеждой в душе, подбегал к сундучку и там находил свою книгу, непоправимо и жалко располовиненную, такую, какой она была до всех его надежд и молений, и, как ему казалось, еще более обезображенную и безнадежную, и, уничтоженный, он возвращался в постель.

«Умереть, — думал он, лежа в постели, стиснув челюсти и скорчившись, — умереть сейчас, сию минуту!» Умереть — значило бы избежать необходимости признаваться, не ждать чудес, которые не хотят совершаться, не отвечать за то, в чем не виноват; это значило, что ему никогда больше не придется встретиться с тем рыжим, насмешливым человеком. Это значило бы, что не станет меня, но со мной — и книг, как новых, так и рваных и починенных, и библиотек, и библиотекарей и ответственности и страха перед ними.

«Боже, пошли мне смерть прежде, чем придет конец полугодия и тот неизбежный момент, когда я должен буду стать перед библиотекарем и отвечать за разорванную книгу».

Потом он думал, что было бы, если бы здание гимназии сгорело вместе с библиотекой и списком выданных книг? Нужно ли было бы тогда возвращать оставшиеся книги? Или нет, пусть бы лучше сгорел дом, в котором он живет, со всеми вещами и с этой книгой в сундучке. Насколько легче тогда было бы отвечать за нее!

Нет, лучше и вернее всего было бы умереть.

Однако вместо того, чтобы умереть, он каждый раз засыпал с этим желанием. А во сне снова появлялась искалеченная книга в самых фантастических видах и страх перед тяжелой, незаслуженной и неясной ответственностью, а с ним опять — и во сне тоже — желание умереть, исчезнуть из жизни, как реальной, так и воображаемой, без следа и без возврата.

Чем дальше шло время, тем все более одиноким и замкнутым становился мальчик. Он похудел, так как ел мало и жевал вяло и неохотно. Этого никто не замечал. Зато учителя заметили, что учиться он стал хуже. Два месяца подряд он получал по греческому и математике неудовлетворительные оценки.

Преподаватель греческого языка, человек молчаливый и желчный, не стал с ним много возиться. Задав ему вопрос-другой и получив неуверенные ответы, он цедил сквозь зубы с непонятной ненавистью:

— На место!

Единицы выстраивались одна за другой.

Намного затруднительнее было с преподавателем математики, худощавым и добродушным стариком, который озабоченно глядел на него из-за золотого ободка тщательно протертых и каких-то добрых и веселых очков.

— Что с тобой, Латкович? Я привык слышать от тебя другие ответы. Проснись, старина!

А мальчик моргал глазами, конфузился и молчал.

Вот, все требуют от него только усилий и интересуются плодами этих усилий, и нет никого, кому бы можно было довериться, попросить совета и вместе поискать выхода.

С суеверным страхом он обходил стороной витрины книжных магазинов, в которых были выставлены новые книги в красивых обложках. А когда среди товарищей

заходила речь о библиотеке или какой-либо книге, он тотчас заливался краской, начинал заикаться от смущения и старался замять разговор или перевести его на другие темы, в то время как в груди его, точно физическая боль, разливалось знакомое мучительное ощущение какой-то неясной и непоправимой беды, которая с ним случилась и о которой еще никто не знает, а ему за нее придется отвечать. Ощущение это было тем тягостнее, чем больше он старался скрыть его от других. Часто ему казалось, что товарищи нарочно обращаются к нему с вопросами, относящимися к библиотеке, книгам, переплетам. На каждый такой вопрос он отвечал молчанием и, опустив глаза, ждал, когда кто-нибудь прямо скажет ему, что знает о разодранной книге в его сундучке.

Все дни были тяжелы, но особенно мучителен был вторник. В этот день он не мог думать ни о чем, кроме своей книги. Во вторник после полудня его одноклассники сдавали прочитанные книги и брали новые. Мальчик не смел и подумать об этом. Он не побоялся бы стать перед директором и перед любым судом в мире, но у него нет ни сил, ни мужества появиться перед этим большим, рыжим человеком, который сухо и неприязненно требует от каждого, чтобы тот быстро, ясно и определенно сказал, чего он хочет. И притом еще появиться с порванной книгой! Нет, на это у него не хватит смелости. Его он боится больше всего на свете.

Наконец, в один из вторников, когда во время перемены зашел разговор о книгах, кто-то спросил мальчика, почему он больше не берет книг из библиотеки. Он ответил, что еще не прочел первую. Один его одноклассник, рослый и насмешливый, вмешался в разговор:

— Так ведь не можешь ты месяцами держать книгу. Если она кому-нибудь понадобится, придется ее сдать. Не наизусть же ты ее учишь!

Мальчик боязливо и подозрительно посмотрел на него, желая проверить, говорит ли он это потому, что знает, в чем дело, или просто так, из прирожденного злорадства. Его взгляд встретил смеющиеся и беспощадные глаза другого человека, в которых нельзя было прочесть ничего, кроме присущего им дерзкого и жестокого выражения.

Но домысел этот пустил корни в сознании мальчика. Правда, он имеет право держать книгу до конца первого полугодия, но теперь он с новым страхом спрашивал себя, что будет, если кто-нибудь вдруг спросит ту самую

книгу, которая находится у него уже два месяца, и ему велят ее вернуть? Тогда все неминуемо раскроется. Это приближало опасность и увеличивало страх.

Это и заставило его быстрее и настойчивее искать какого-то решения. С течением времени вся история так срослась с его самыми интимными, сокровенными помышлениями и страхами, что не могло быть и речи о том, чтобы довериться кому-либо и с кем-либо посоветоваться.

Первого числа следующего месяца он взял деньги, пошел на глухую дальнюю улицу и тут купил у одного еврея клею в плитках. Потом он дожидался дня, когда останется дома один. Нашел какой-то старый горшок и в нем растворил клей. Он то доливал воды, то отливал, мешал, придвигал к огню и отодвигал. Взволнованный и трепещущий, точно занимается самым секретным и самым скверным делом на свете, мальчик не замечал, как пачкает руки и обжигает пальцы. Он только всячески старался представить свою затею служанке, возившейся на кухне, совершенно невинным и лишенным какого-либо значения занятием.

Когда клей растворился, он отнес его к себе в комнату, вытащил книгу и специально обструганной щепочкой начал мазать корешок. Клей прилипал к пальцам, размазывался и тянулся, попадал на переплет. Мальчик волновался тем сильнее, чем больше хотел быть аккуратным и осторожным. В конце концов он вложил книгу в переплет и придавил ее другими книгами и тяжелыми предметами. Затем убрал все следы своей работы и вымыл руки.

Эту ночь ему спалось особенно беспокойно. То и дело он просыпался от мысли, что, может быть, непоправимо все испортил. Его так и подмывало подняться и посмотреть, высох ли клей и хорошо ли держится переплет. Но было страшно разбудить товарища, спавшего в другом углу комнаты. Едва дождавшись зимнего рассвета, он поднялся, слегка раздвинул занавески и при сером свете утра извлек книгу, ставшую жесткой от клея и плохо раскрывавшуюся. Он осторожно открыл ее, задерживая дыхание и со страхом прислушиваясь к тому, как она потрескивает. Обложка была приклеена к корешку, но на первой и последней страницах виднелись следы клея и неумелой работы.

Мальчик снова положил книгу в сундучок, и, дрожа от холода, на дыпочках вернулся в постель, мучительно не-

доумевая — то ли хорошо все уладил, то ли полностью и до конца погубил дело.

С тех пор он и днем и ночью, используя каждую минуту, когда оставался один, открывал украдкой сундучок и разглядывал книгу, гадая, удалась ли его починка и можно ли вернуть ее в таком виде библиотекарю. Часто ответ бывал положительным, а еще чаще — отрицательным. И страх продолжал расти.

И этот вторник пришел, последний вторник первого полугодия. В этот день должны были быть сданы книги, взятые в течение полугодия. Не сдавший не получал табеля с отметками. В ночь на вторник мальчик почти не сомкнул глаз. Несколько раз он вставал, неслышно подкрадывался к сундучку, доставал книгу, осматривал ее и оценивал и укладывал обратно, уверенный, что учитель ничего не заметит. Однако, когда он ложился в кровать и начинал думать, снова возникали сомнения. Ему казалось, что пятна от клея настолько велики, что не заметить их невозможно. Так он колебался некоторое время, а потом, не выдержав неизвестности, вставал, чтобы снова взглянуть на книгу и убедиться, прав ли он в своих предположениях.

Бесчисленное множество раз он повторил про себя в эту ночь всю сцену сдачи книги, как она должна была, по его представлению, произойти. Он войдет в библиотеку, когда в ней будет как можно больше народу — тогда учитель не сможет долго заниматься им и его книгой. Он войдет с безразличным видом, поклонится и скажет: «Пожалуйста, господин учитель». Или нет, ничего не скажет, потому что этим он бы привлек к себе внимание, а просто поклонится. Книгу он обернет в белую бумагу и вынет ее тут же, перед учителем, чтобы тот увидел, как бережно он обращался с книгой. Это хорошая мысль. Да, но тут учитель возьмет книгу, раскроет ее быстрым движением, а книга затрещит, и сразу обнаружится неумелая и грубая склейка. И тогда-то, тогда настанет... он и сам не знал, что, собственно, настанет, но настанет то неизвестное, перед чем он трепещет, из-за чего не спит, плохо ест и скверно учится уже в течение нескольких месяцев; разразится негодование, посыплются резкие слова этого страшного человека, последует допрос, наказание, позор и расплата. Короче говоря, придет пора держать все те неопределенные, сложные и многочисленные ответы, которым он и в мыслях не отваживается взглянуть

в лицо, взвесить их, подсчитать и измерить, и хочет только одного — любой, даже наивысшей ценой их избежать.

Так он снова засыпал, придумывая самые фантастические процедуры, которые будут к нему применены по установленному специальному плану, грубо и немилосердно.

Был сырой январский день. Мальчик достал из сундучка книгу. В мутном свете зимнего дня она выглядела истрепанной, жалкой и непоправимо загубленной. Готовый к самому худшему, он завернул книгу в белую бумагу и отправился в гимназию.

Он слонялся возле библиотеки, заговаривал с выходящими оттуда товарищами, считал тех, которые входили, и наконец увидев, что вошли сразу трое, постучался и, не ожидая ответа, открыл дверь.

Так вот она, эта комната, в которую ему лучше было бы никогда не входить, и вот он, этот момент! Челюсти его лязгали друг о друга, а правая нога неприятно подрагивала. Он встал в затылок за теми, кто вошли перед ним, и постарался унять дрожь. Занятый своими мыслями, он не заметил, как один за другим исчезали те, кто стоял перед ним, и он вдруг оказался лицом к лицу с дородным рыжим мужчиной, которым пять последних месяцев были заполнены все его мысли и сны. Учитель за это время заметно изменился. Насупленный и мрачный, с мешками под глазами и нездоровым цветом лица, он производил впечатление больного и страдающего тревогой человека.

Мальчик думал, хуже ли это и опаснее для него или, наоборот, лучше и благоприятнее. В то же время он и низко кланялся и бормотал что-то, вроде: «Пожалуйста, господин учитель», и медленно и неловко снимал белую бумагу. Учитель, расстроенный и сердитый, и не поглядел на него. Он взял книгу, шлепнул ею по ладони левой руки, посмотрел номер, написанный на задней крышке переплета, затем красным карандашом зачеркнул фамилию мальчика в списке, а книгу положил поверх остальных только что сданных. Не поднимая взгляда, учитель протянул руку за следующей книгой, но мальчик стоял перед ним как зачарованный. Только когда стоявший позади товарищ оттолкнул его и протянул свою книгу, он отошел и нерешительной походкой, медленно и осторожно, как во сне, как в одном из тех снов, в которые человек не верит даже в ту минуту, когда их видит, направился к выходу. По спине у него бегали мурашки, и он был уверен,

что сейчас его окликнут по имени и позовут назад. Так он вышел. Вернее, его вытолкнули ученики, выходявшие из библиотеки и входившие в нее.

Словно во сне, так же чувствуя на спине мурашки и так же ожидая, как неминуемого, что вот-вот ему велют вернуться, он прошел по широкому коридору, в котором висела черная доска с именами счастливцев, получающих письма; теперь он и не поглядел на нее. Запал по улице, между однообразными рядами домов, по мокрому, грязному снегу, по-прежнему ожидая, что его окликнут. Нет, никто его не звал. Что случилось? Случилось величайшее чудо: ничего не случилось. Все произошло естественно и просто. Все хорошо и благополучно разрешилось. Нет больше ни порванной книги, ни страха перед ответственностью и наказанием. За время своего мучения он перебрал и до мельчайших деталей представил себе все возможные исходы, но только не такой и не этот. Напряжение, которое жило и нарастало в нем месяцами, теперь разом спало. Точно все эти страхи и опасения никогда не существовали и не мучили его. Все стерто одним махом, все забыто. Он чувствовал, что надо было бы радоваться, кричать от восторга перед лицом такой неожиданной и счастливой развязки. Да, надо было бы радоваться, может быть, он и радуется, но в той пустоте, которая после внезапного и благополучного исхода вдруг образовалась в нем, эта радость не может найти ни места, ни отклика.

В душе он рад, но по улице плетется как избитый, как после болезни. Его охватывает чувство непонятого умиления. Немое рыдание подкатывает к горлу и рвется наружу при каждом шаге. Так, медленно и растерянно, он добредает до дому, входит в комнату и впервые за это долгое время без страха и без оглядки открывает свой сундучок. Бросает быстрый взгляд на место, где столько месяцев пролежала эта страшная книга, потом захлопывает крышку и задумчиво опускается на сундучок.

Так он долго сидит, погрузившись в себя, опустив голову, опершись локтями на колени, судорожно сцепив пальцы, как взрослый усталый человек, который всем своим существом отдается коротким минутам отдыха и затишья.

ПИСЬМО, ДАТИРОВАННОЕ 1920 ГОДОМ

Март 1920 года. Станция Славонский Брод. После полуночи. Неизвестно откуда дует ветер, и невыспавшимся и усталым пассажирам он кажется холоднее и сильнее, чем на самом деле. В вышине, среди рваных облаков, проплывают звезды. Вдали то быстрее, то медленнее движутся по невидимым рельсам желтые и красные огни, сопровождаемые пронзительными свистками или протяжными паровозными гудками, которым измученные путешественники приписывают свою меланхолию и скуку бесконечного томительного ожидания.

Мы сидим на чемоданах перед зданием вокзала у первого пути и ждем поезда, не зная ни времени его прибытия, ни времени отправления; известно только, что он придет битком набитый людьми и багажом.

Рядом со мной сидит мой давнишний знакомый и друг, которого я последние пять-шесть лет почти не видел. Его зовут Макс Левенфельд, он врач и сын врача. Родился и вырос в Сараеве. Отец его совсем молодым человеком уехал из Вены и поселился в Сараеве, где приобрел большую практику. По происхождению он из евреев, давно принявших христианство. Мать моего приятеля родом из Триеста. Она была дочерью итальянской баронессы и офицера австрийского флота, потомка французских эмигрантов. Два поколения сараевских жителей до сих пор вспоминают ее манеру держаться, походку, умение одеваться. Она была из тех женщин, чья красота внушает невольное уважение даже самым примитивным или бесцеремонным людям.

Мы вместе учились в сараевской гимназии, только он был на три класса старше, что в школьные годы много значит.

Смутно припоминаю, что заметил я его сразу, как пришел в гимназию. От тогда учился в четвертом классе, но одевали его еще по-детски. Крепкий, здоровый «немчик» в темно-синем матросском костюмчике с короткими штанишками, с вышитыми по углам широкого воротника якорями. На ногах — новенькие черные туфли и короткие белые носки. Голые икры, всегда розовые, были уже покрыты светлым пушком.

Тогда между нами не было, да и не могло быть близости. Нас разделяло все — возраст, внешний вид, привычки, общественное и имущественное положение родителей.

Гораздо лучше я помню то время, когда я был в пятом, а он в восьмом классе. Тогда это был сильно вытянувшийся подросток с голубыми глазами, выдававшими необычайную восприимчивость и живость ума, одетый хорошо, но небрежно, с растрепанными светлыми волосами, которые то и дело падали густыми прямыми прядями то на одну, то на другую щеку. Мы встретились и дружились во время одного из споров, затеянных в парке нашими товарищами из старших классов.

Наши гимназические споры не имели ни границ, ни авторитетов, мы посягали на все принципы, до основания сотрясали словесной взрывчаткой все философские системы. Все, разумеется, оставалось на своих местах, но нам самим наши страстные речи казались решающими для нас и нашего будущего, они предвещали наши великие подвиги и грядущие метания.

После одной оживленной дискуссии я, трепещущий от возбуждения и уверенный в своем триумфе (впрочем, точно так же, как и мой оппонент), направился домой. Макс присоединился ко мне. Впервые мы остались вдвоем. Мне это льстило, поднимало меня в собственных глазах и поддерживало мое упоение победой. Он расспрашивал меня о книгах, которые я читаю, и смотрел на меня внимательно, точно видел впервые в жизни. Я отвечал, сильно взволнованный. Вдруг он остановился, посмотрел мне прямо в глаза и совершенно спокойно сказал:

— Знаешь, я хотел тебе заметить, что ты неточно цитировал Эрнста Геккеля.

Я почувствовал, что краснею. Земля медленно уходила у меня из-под ног, потом вернулась на свое место. Конечно, я цитировал неточно, я запомнил цитату по какой-то дешевой брошюре, да к тому же, наверное, в плохом

переводе. Весь мой триумф перешел в чувство стыда и угрызения совести. Светлые голубые глаза Макса смотрели на меня без жалости, но и без малейшего злорадства или чувства превосходства. Макс повторил злосчастную цитату в ее подлинном виде. А когда мы дошли до красивого дома его родителей на берегу Миляцки, он крепко пожал мне руку и пригласил меня завтра после обеда зайти к нему, посмотреть книги.

Вечер следующего дня стал для меня событием. Впервые в жизни я увидел настоящую библиотеку, и мне словно открылась моя будущая судьба. У Макса было много книг на немецком языке, кое-какие французские и итальянские книги, принадлежавшие его матери. Он показывал их мне спокойно, и его невозмутимость вызвала у меня еще большую зависть, чем сами книги. Это даже была не зависть, а безграничная радость и желание в один прекрасный день вот так же свободно вращаться в мире книг, от которых, как мне казалось, исходили свет и тепло. Макс и говорил, точно читал, и чувствовал себя уверенно в мире славных имен и великих идей, а я дрожал от волнения, от ощущения своей ничтожности перед великанами, в чей мир я входил, опасаясь неминуемого возвращения в жизнь, которую я оставил за порогом.

Мои вечерние визиты к старшему товарищу становились все более частыми. Я быстро совершенствовался в немецком языке, начал читать по-итальянски. И домой, в свою бедную квартирку, я стал приносить эти книги в красивых переплетах. Школу я запустил. Все, что читал, казалось мне святой истиной, которую я воспринимал как свой высший обет, изменить которому, не потеряв уважения к себе и веру в себя, было невозможно. Я знал одно: все это надо читать и самому писать подобные же вещи. Ни о какой другой жизненной цели я и не помышлял.

Особенно мне запомнился один день. Это было в мае. Макс готовился к выпускным экзаменам без волнения и без сколько-нибудь заметного напряжения. Он подвел меня к маленькому, отдельно стоявшему шкафу, на котором золотом было написано: *Helios Klassiker Ausgabe*. Помню, он сказал мне, что шкаф куплен вместе с книгами. Даже сам шкаф показался мне святыней, дерево его словно излучало свет. Макс достал томик Гете и начал читать «Прометея».

Он читал стихи каким-то новым, показавшимся мне новым знакомым голосом, и видно было, что он читал их уже бесчисленное количество раз.

Закрой свое небо, Зевс,
Парами туч!
Мальчишествуй,
Спшибая, как репы,
Дубы и гребни гор!
О, только бы моя земля
Стояла крепко,
И хижина, что выстроил не ты,
И мой очаг,
Что я воспламенил —
Тебе на зависть.

В конце каждой строки он равномерно, но сильно ударял по ручке кресла, на котором сидел; волосы падали по обе стороны его раскрасневшегося лица.

Здесь я творю людей
По своему подобию —
Род, на меня похожий.
Пусть страждут, пусть плачут,
Пусть знают радость и наслажденье
И тебя презирают,
Как я¹.

Таким я его видел впервые. Я слушал его с удивлением и даже с некоторым страхом. Потом мы вышли на улицу и там, в теплом сумраке, продолжали разговор о прочитанном стихотворении. Макс проводил меня до моей поднимавшейся в гору улочки, потом я проводил его до берега, снова он меня, потом я его. Стемнело. Прохожие все реже попадались на улицах, а мы все шагали туда и обратно той же дорогой, рассуждая о смысле жизни, о происхождении богов и людей. Особенно мне запомнилось одно мгновение. Когда мы в первый раз дошли до моей неприглядной улицы и остановились подле какого-то покосившегося серого забора, Макс странным жестом вытянул перед собой левую руку и как-то тепло, доверительно произнес:

— А знаешь, я атеист.

Над завалившимся забором цвела разросшаяся бузина, распространяя сильный, тяжелый аромат, казавшийся мне запахом самой жизни. Стояла торжественная

¹ Перевод А. Кочеткова.

тишина, и небесный свод, усыпанный звездами, виделся мне совсем иным, чем раньше. От волнения я не мог произнести ни слова. Я только чувствовал, что между мною и моим старшим товарищем произошло нечто очень важное и что мы не можем сейчас просто разойтись по домам. Так мы и пробродили до глубокой ночи.

Макс сдал выпускные экзамены, и мы расстались. Он уехал в Вену изучать медицину. Некоторое время мы переписывались, потом переписка оборвалась. На каникулах мы встречались, но прежней близости уже не было. Затем началась война, которая нас совсем разлучила.

И вот, через несколько лет, мы столкнулись на этой скучной обшарпанной станции. Оказывается, мы вместе ехали из Сараева, сами того не зная, а теперь вместе ждем белградского поезда.

В нескольких словах мы рассказали друг другу, как прожили военные годы. Макс в первый год войны закончил университет, а потом в качестве военного врача побывал чуть ли не на всех австрийских фронтах, и всегда в полках, где служили солдаты-боснийцы. Отец его во время войны умер от сыпного тифа, мать после этого уехала из Сараева и поселилась в Триесте у своих родственников. Последние несколько месяцев Макс провел в Сараеве, устраивая свои дела. С согласия матери он продал отцовский дом на берегу Милячки и большую часть обстановки. Теперь он направлялся к матери в Триест, а оттуда собирался в Аргентину или, возможно, в Боливию. Это еще не совсем решено, но ясно одно — Европу он покидает навсегда.

От фронтовой жизни Макс огрубел, располнел, одет он, насколько я мог разглядеть, как солидный деловой человек. Напрягая зрение, я угадываю в темноте его большую голову с густой светлой шевелюрой, вслушиваюсь в его голос, с годами ставший ниже и мужественнее, в его типично сараевский выговор, смягчающий все согласные, а гласные растягивающий и произносящий нечетко. Хотя в языке его ощущается некоторая неуверенность.

Он по-прежнему говорил точно читал, употребляя множество непривычных, книжных, научных выражений. Но это, пожалуй, было единственное, что осталось от прежнего Макса. Ни о поэзии, ни о литературе не упомянул ни разу. (О «Прометее» и речи не было.) Сначала он говорил о войне вообще, причем с большой горечью, скорее

в самом тоне, чем в словах, с горечью человека, уже не ждущего понимания. (Для него в этой страшной войне не было, так сказать, противных сторон, они смешались, слились друг с другом, полностью потерялись одна в другой. Вообще страдания отняли у него способность видеть и понимать все остальное.) Помню, как он поразил меня, заявив, что рад за победивших, но в то же время ему их жалко, ибо побежденные яснее видят то, к чему они пришли и что им нужно делать, а победители даже и не подозревают, что их ожидает впереди. Он говорил горьким и безнадежным тоном человека, который многое потерял и теперь может говорить все, что угодно, прекрасно сознавая, что никто ему ничего за это не сделает и что ему самому от этого не станет легче. После первой мировой войны встречались среди интеллигентов такие «разгневан-ные» люди, разгневанные особым образом на жизнь вообще. Эти люди не находили в себе ни способности примириться и приспособиться, ни сил принять решение и пойти против течения. Макс мне показался одним из таких.

Наша беседа вскоре приостановилась, потому что ни ему, ни мне не хотелось затевать спор, увидевшись в столь необычном месте да еще после стольких лет разлуки. Поэтому мы заговорили о другом. Собственно, говорил он. Он и теперь употреблял изысканные выражения, тщательно строил фразы, как человек, привыкший общаться больше с книгами, чем с людьми; говорил он холодно и рассудочно, без прикрас и околичностей, точно открыв учебник медицины и читая симптомы своей болезни.

Я предложил ему сигареты, но он ответил, что не курит, причем ответил сразу, с отвращением и чуть ли не со страхом. Я все закуривал одну сигарету от другой, а он говорил с какой-то нарочитой беззаботностью, словно отгоняя другие, более тяжелые мысли:

— Ну вот, мы с тобой и выбрались на широкую дорогу, а это значит, что мы взяли за ручку двери, ведущей в большой мир. Мы покидаем Боснию. Я сюда никогда не вернусь, а ты вернешься.

— Как знать? — ответил я задумчиво, под влиянием свойственного молодости тщеславия, которое тянет видеть свою судьбу в дальних странах и на необычных дорогах.

— Нет, нет, ты наверняка возвратишься, — говорил мой спутник уверенно, точно ставя диагноз, — а я так и буду всю жизнь носить в себе память о Боснии как своего рода боснийскую болезнь, причина которой то ли в

том, что я родился и вырос в Боснии, то ли в том, что больше не вернусь в нее. Впрочем, все равно.

В необычном месте, в необычное время и разговор приобретает необычный характер, точно во сне. Я смотрю на отяжелевшую, съезжившуюся от холода фигуру старого друга и думаю о том, как мало он похож теперь на юношу, взмахивавшего рукой и декламировавшего: «Закрой свое небо, Зевс...» Думаю о том, что же с нами будет, если жизнь будет продолжать изменять нас с такой быстротой и основательностью, и что перемены, которые я чувствую в себе, все же к лучшему. И вдруг замечаю, что мой приятель снова говорит. Я оторвался от своих мыслей и прислушался. Слушал я с таким вниманием, что мне показалось, будто вся вокзальная суэта вокруг меня улеглась, и только его голос рокотал в бурной ночи.

— Да, я и сам долгое время думал, что проживу всю свою жизнь в Сараеве, как мой отец, буду лечить детей, и кости мои будут покоиться на сараевском кладбище. Однако уже то, что я видел и пережил в боснийских полках во время войны, поколебало мою уверенность. Когда же прошлым летом после демобилизации я провел в Сараеве всего три месяца, я окончательно понял, что не смогу остаться там на всю жизнь. Мысль же о том, чтобы поселиться в Вене, в Триесте или в любом другом австрийском городе, вызывает у меня тошноту. Потому я и стал подумывать о Южной Америке.

— Ну, хорошо, а позволительно ли спросить, что именно гонит тебя из Боснии? — спросил я весьма неосторожно, что, впрочем, было тогда свойственно людям моего возраста.

— О, разумеется, позволительно, только ведь этого не расскажешь вот так, на ходу, в двух словах. Если же постараться выразить в одном слове все, что гонит меня из Боснии, то я скажу: ненависть.

Макс быстро поднялся со своего места, точно внезапно натолкнулся в своей речи на невидимую стену. Я тоже вдруг осознал всю реальность холодной ночи на вокзале в Славонском Броде. Ветер дул все сильнее и все более холодный, вдали мигали и передвигались огни, посвистывали маневренные паровозы. Исчез из виду и крошечный кусочек неба, видневшийся над нами, только дым и туман покрывали теперь славонскую равнину, на которой человеку недолго и увязнуть по самые уши в жирном черноземе.

Во мне родилось и стремительно росло гневное и непреоборимое желание опровергнуть его слова, хотя я их не совсем понимал. Мы оба в смущении молчали. Нелегким было это молчание, оно камнем легло между нами в ночи, и трудно было предсказать, кто заговорит первым.

В эту минуту вдали послышался грохот скорого поезда, а затем его гудок, глухой, точно доносившийся из-под бетонного свода. Вокзал внезапно ожил. В темноте поднялись сотни до тех пор невидимых фигур, устремившихся к поезду. Вскочили и мы, но в начавшейся давке нас все больше оттесняли друг от друга. Я успел еще только крикнуть ему свой белградский адрес.

Дней через двадцать, будучи в Белграде, я получил толстый конверт, надписанный крупным почерком, который я не мог узнать. Это Макс писал мне из Триеста. Письмо было написано по-немецки.

«Дорогой мой старинный друг, наш разговор при случайной встрече в Славонском Броде получился бессвязным и неприятным. Но будь у нас и больше времени и более благоприятные обстоятельства, я не верю, что мы смогли бы понять друг друга и объясниться до конца. Неожиданность нашей встречи и быстрое расставание сделали это и вовсе невозможным. Я собираюсь уезжать из Триеста, где теперь живет моя мать. Еду в Париж, там есть кое-какая родня со стороны матери, и, если мне разрешат практиковать, останусь в Париже; если нет, я действительно еду в Южную Америку.

Не уверен, что несколько наспех набросанных мною бессвязных абзацев смогут тебе что-то объяснить и оправдать в твоих глазах мой «побег» из Боснии. И все же я их посылаю, ибо меня не покидает ощущение, что я должен тебе его объяснить, и еще потому, что я храню память о нашей гимназической дружбе и не хочу, чтобы ты видел во мне обычную «немчуру» и вообще перекачиполе, человека, с легким сердцем оставляющего страну, где он родился, в тот момент, когда она начинает свободную жизнь и когда все рабочие руки на счету.

Но к делу. Босния — прекрасная страна, интересная, совершенно необычная и природой своей, и людьми, ее населяющими. И подобно тому, как в недрах Боснии скрываются рудные богатства, здешние люди, несомненно, таят в себе массу нравственных достоинств, не так уж часто встречающихся в других областях Югославии. Но,

видишь ли, при этом в ней есть то, что выходцы из Боснии, по крайней мере люди вроде тебя, должны понимать и никогда не забывать: Босния — страна ненависти и страха. Оставим в стороне страх, который всегда сопутствует ненависти, являясь, так сказать, ее естественным следствием, и поговорим о ненависти. Да, да, о ненависти. Ты невольно вздрогнул и сразу же возмутился, услышав от меня это слово той ночью на вокзале, и все вы не желаете этого ни слышать, ни видеть, ни понимать. А дело как раз заключается в том, чтобы это обнаружить, установить, проанализировать. В том-то и беда, что никто этого не хочет и не может сделать. Ибо фатальная черта этой ненависти в том и состоит, что босниец не осознает живущей в нем разрушительной силы, шарахается в сторону, когда ему предлагают ее проанализировать, и проникается злобой по отношению к каждому, кто пытается этим заняться. И все же факт остается фактом: людей, готовых в приступе неосознанной ненависти убить или быть убитыми по любому поводу и под любым предлогом, в Боснии и Герцеговине больше, чем в других, куда более значительных по территории и населению странах, как славянских, так и неславянских.

Мне известно, что ненависть, так же как и гнев, несет определенную функцию в общественном развитии, ибо ненависть вливает силы, а гнев побуждает к действию. Немало есть застарелых, глубоко укоренившихся несправедливостей и злоупотреблений, которые могут быть уничтожены только гневом и ненавистью. Потоки гнева и ненависти, схлынув, очищают место свободе, строительству лучшей жизни. Современникам видятся в первую очередь гнев и ненависть, причиняющие им страдания, но зато потомки видят результаты сдвигов. Это я хорошо знаю. Но в Боснии я наблюдал совсем иное. Тамошнюю ненависть нельзя назвать неминуемой частью и преходящим моментом процесса общественного развития. Это — ненависть, выступающая самостоятельной силой, находящая цель в самой себе. Эта ненависть поднимает человека против человека и затем приводит к нищете и страданиям или укладывает в могилу обоих врагов; ненависть, словно раковая опухоль, поражает вокруг себя все, с тем чтобы под конец и самой погибнуть, ибо такого рода ненависть, подобно пламени, не имеет ни постоянной формы, ни собственной жизни; она лишь орудие инстинкта уничтожения и самоуничтожения и лишь как

таковая и существует, причем до тех пор, пока не исполнит свою задачу абсолютного уничтожения.

Да, Босния — страна ненависти. Вот что такое Босния. И вот странный контраст (по сути дела, ничего странного тут нет, и возможно, пристальный анализ позволил бы все это объяснить), точно также можно сказать, что мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной стойкости характера, столько нежности и умения любить, где есть такая глубина переживаний, привязанностей и непоколебимой преданности, такая жажда справедливости! Но под всем этим где-то в глубине скрываются вулканы ненависти, целые лавины накопившихся ее запасов, зреющих в ожидании своего часа. Соотношение между вашей любовью и вашей ненавистью точно такое же, как между вашими высокими горами и в тысячу раз превосходящими их невидимыми геологическими наслоениями, на которых они покоятся. Так и вы все осуждены жить, опираясь на толстые слои взрывчатого вещества, время от времени возгорающиеся от искр вашей любви, ваших пламенных, безудержных страстей. И, наверное, самое большое ваше горе в том, что вы и не догадываетесь, сколько ненависти вросло в вашу любовь, в ваши привязанности, в традиции и религиозные верования. И так же, как почва, по которой мы ступаем, оказывает под воздействием тепла и атмосферной влаги влияние на наши тела, определяя цвет нашей кожи и внешний облик, — точно так интенсивная, невидимая, подземная ненависть, которой пропитана вся жизнь боснийца, незаметно, окольными путями проникает во все его поступки, даже самые лучшие. Всюду в мире порок порождает ненависть, ибо порок растрачивает, не возмещая, и разрушает, не создавая, но в странах, подобных Боснии, даже достоинства часто говорят языком порока, действуют его руками. У вас аскеты на основе своего аскетизма приходят не к любви, а к ненависти, к сладострастникам; трезвенники питают ненависть к пьяницам, а в тех, кто пьет, рождается убийственная ненависть ко всему миру. Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих или тех, кто всрует иначе или любит по-другому. И, к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви. (Нигде не встретишь столько озлобленных, мрачных лиц, как на богомолье, у святых мест, в монастырях.) Угнетающие и эксплуатирующие бедных вкладывают в эксплуатацию еще и ненависть, и это делает ее в

сто раз тяжелее и безобразнее, а те, кто терпит несправедливость, мечтают о справедливости и о мести как о взрыве такой силы, который вместе с гнусным угнетателем разнес бы и угнетенных. Большинство из вас имеет обыкновение приберегать ненависть для того, что поближе. Ваши обожаемые святыни, как правило, находятся за тридевять земель, а предмет вашего отвращения и ненависти — рядом, в том же городе, за стеной вашего двора. Ваша любовь не требует действия, в то время как в ненависти вы весьма легко переходите к делу. И землю свою родную вы любите жаркой любовью, но только тремя-четырьмя различными способами, друг друга исключаящими, находящимися в смертельной вражде и без конца сталкивающимися между собой.

В одном рассказе Мопассана дионисийское описание весны заканчивается словами, что в такие дни следовало бы расклеивать на углах объявления с таким текстом: «Французский гражданин, весна идет, берегись любви!». Быть может, в Боснии следовало бы предупреждать людей, чтобы они на каждом шагу, в каждой своей мысли и в любом, самом возвышенном чувстве остерегались ненависти, врожденной, бессознательной, эндемической ненависти. Ибо этой отсталой и бедной стране, в которой, теснясь, живут четыре разных религии, нужно в четыре раза больше любви, взаимопонимания, терпимости, чем другим. В Боснии же, наоборот, непонимание, время от времени переходящее в открытую вражду, является чертой почти всех жителей. Пропасть между разными религиями столь глубока, что преодолеть ее удастся порой лишь ненависти. Я знаю, мне на это ответят, и не без основания, что в этом отношении заметен все же определенный прогресс, что идеи девятнадцатого века и здесь сделали свое дело, а теперь, после освобождения и объединения страны, дело пойдет намного лучше и быстрее. Боюсь, что это не совсем так. (За последние несколько месяцев я достаточно наблюдал в Сараеве отношения людей разных религий и народностей!) Теперь на каждом шагу будут говорить и писать по любому поводу: «Брат есть брат, какой бы он ни был веры», «Важно не кто каким крестом крестится, а чья кровь стучит в его груди», «Уважай чужое, а своим гордись», «Национальное единство не знает ни религиозных, ни племенных различий». Но ведь в боснийских верхах издавна хватало лживой вежливости, привычки обманывать себя и других звучны-

ми словами и пышными церемониями. Это может при-крыть вражду, но не устраняет ее и не препятствует ее росту. Я опасаюсь, что под прикрытием современных лозунгов в этих кругах дремлют прежние инстинкты и каиновы замыслы, и так будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся полностью основы материальной и духовной жизни в Боснии. А когда наступит это время, у кого хватит сил на это? Когда-нибудь и это свершится, я верю, но то, что я увидел в Боснии, не говорит о том, что она уже сейчас идет по упомянутому пути. Напротив.

Я много размышлял об этом, особенно в последние месяцы, пытаюсь побороть в себе решение навсегда оставить Боснию. Естественно, что у человека, обуреваемого подобными мыслями, плохой сон. Я лежал не в силах сомкнуть глаз у открытого окна, в комнате, в которой я родился, снаружи шумела река, ветер шелестел еще обильной листвой.

Тот, кто в Сараеве проводит ночи без сна, может услышать все ночные голоса. Тяжело, уверенно бьют часы на башне католического собора: два часа пополудни. Проходит немногим более одной минуты (я считал, ровно семьдесят пять секунд), и тогда бьют немного тоньше, но пронзительно часы на православной церкви, отмечая свои два часа пополуночи. Вслед за ними глухо, словно издалека, отбивают часы на башне мечети, причем отбивают одиннадцать часов — призрачные турецкие одиннадцать часов, согласно странному счету времени чужой, далекой страны. У евреев нет своих часов с боем, и одному только богу немилостивому известно, который час у них и по какому счету времени — сефардов или ашкенази. Даже ночью, когда все спит, когда текут глухие ночные часы, не дремлет рознь, разделяя сонных людей, которые, проснувшись, радуются и печалются, постятся и говеют по четырем враждующим календарям и воссылают к небу молитвы на четырех разных языках. И эта рознь то явно и открыто, то незаметно и исподтишка сливается и отождествляется с ненавистью.

Эту специфическую боснийскую ненависть следовало бы изучать и искоренять, как опасную и глубоко укоренившуюся болезнь. И я верю, что, будь ненависть признанной и классифицированной болезнью, как, например, проказа, иностранные специалисты приезжали бы изучать ненависть именно в Боснию.

Я и сам думал было заняться этим и, анализируя ненависть и вынося ее на всеобщее обозрение, способствовать ее искоренению. Быть может, это даже мой долг, поскольку я, хоть и иностранец по происхождению, появился на свет в этой стране. Но после первых попыток и долгих размышлений я убедился, что у меня нет для этого ни способностей, ни сил. От меня, как и от всех прочих, требовали стать на определенную сторону, ненавидеть и быть ненавидимым. Я не захотел этого и не сумел. Быть может, если уж такова моя судьба, я согласился бы еще пасть жертвой ненависти, но жить окруженным ненавистью, да еще и участвовать в ней — это выше моих сил. В стране же, подобной сегодняшней Боснии, тот, кто не умеет или, еще хуже, тот, кто не хочет ненавидеть, чужак и выродок, а чаще — мученик. Это относится и к вам, коренным боснийцам, а что уж говорить о людях иного происхождения!

Вот так, тихой осенней ночью, слушая удивительную переключку разноголосых сараевских часовых башен, я однажды пришел к заключению, что не могу остаться на своей второй родине, в Боснии, и не должен оставаться. Я не настолько наивен, чтобы по всему миру искать город, где нет ненависти. Мне просто нужно место, где я мог бы жить и работать. Здесь это невозможно.

Конечно, ты с насмешкой или даже с презрением повторишь свои слова о моем бегстве из Боснии. Вряд ли это письмо объяснит тебе мой поступок или оправдает его в твоих глазах, но, видимо, в жизни бывают обстоятельства, когда надо обратиться к древнему латинскому изречению: «Non est salus nisi in fuga»¹. Прошу тебя, поверь мне только в одном: я бегу не от своего долга перед людьми, а для того, чтобы иметь возможность полностью и без помех его выполнить.

Желаю тебе, как и всей нашей Боснии, счастья в новой национальной и государственной жизни!

Твой М. Л.»

Прошло десять лет. Я редко вспоминал друга своего детства и, наверное, забыл бы его совсем, если бы мысли, высказанные в его письме, время от времени не напоми-

¹ Только в бегстве — спасение (лат.).

нали мне о нем. Кажется, в 1930 году я случайно узнал, что доктор Макс Левенфельд остался в Париже, что он практикует в предместье Нейи и что в югославской колонии и среди югославских рабочих-иммигрантов он известен как «наш доктор», который бесплатно лечит рабочих и студентов и, когда это необходимо, сам покупает для них лекарства.

Прошло еще семь или восемь лет, и однажды, опять случайно, я узнал о дальнейшей судьбе моего товарища. Когда началась гражданская война в Испании, он все бросил и пошел добровольцем в республиканскую армию. Он организовывал перевязочные пункты и госпитали и прославился своими знаниями и самоотверженной работой. В начале 1938 года он находился в маленьком арагонском городке, название которого никто у нас не умел выговорить правильно. Среди бела дня на его госпиталь был совершен воздушный налет, и он погиб, а вместе с ним почти все его раненые.

Так окончил свои дни человек, бежавший от ненависти.

ПЫТКА

Все ополчились против Аницы. Не только соседи, знакомые и друзья, но и, за малым исключением, вся ее родня. Отец в тот сентябрьский вечер, когда она убежала от мужа, не принял ее под свой кров, а позже велел передать, что в его доме нет места для беглых привередниц, которые «с жиру бесятся». (Присловьями у нас убивают живых людей самым скорым и самым несправедливым образом.)

И в самом деле, никто не мог понять, почему Аница, жена Андрии Зерековича, ни с того ни с сего бросила дом и мужа. Для такого поступка не было видимой причины или разумного оправдания ни в ее семейной жизни, мирной и образцовой, ни в одиноком и скудном существовании, на которое она себя обрекла, покинув мужа. Муж держался со спокойным достоинством и делал все, что мог, дабы вернуть ее. И лишь увидев, что жена и в самом деле не вернется, сдался и потребовал развода.

Решение духовного суда лишь подтвердило общее мнение. Брак Андрии Зерековича и его супруги Аницы, урожденной Маркович, расторгнут с возложением вины на упомянутую Аницу.

Теперь она служит продавщицей в большом магазине. Она поблекла и похудела. Живет жизнью одиноких, отвергнутых женщин. Квартирует в каморке на шестом этаже, обедает всухомятку за своим прилавком, а по воскресным дням остается дома, чтобы постирать и зачинить, что нужно.

Если рассказать, каков был этот брак, сразу станет понятно, почему общественное мнение оказалось против жены,

Муж, которому давно уже минуло сорок, был владельцем щеточной фабрики. Слово «фабрика», пожалуй, в данном случае звучит слишком громко. В сущности, это была отлично оборудованная мастерская с хорошо налаженным производством, с двенадцатью рабочими и с весьма разветвленными и прочными деловыми связями. Кроме того, газда Андрия занимался скупкой разного рода шерсти и щетины. Его кредит и репутация с давних пор прочно держались в деловых кругах. Сын крестьянина, он сам, своим трудом, бережливостью и скромностью достиг всего, чем обладал: собственного предприятия и места в обществе. Хотя он никогда не мог бы назваться ни видным, ни красивым собою, ему нельзя было отказать в достоинстве и умении держать себя, как положено людям его состояния. Он был любезен и сладкоречив, аккуратен и щеголеват в одежде. Будучи молодым подмастерьем, он провел два-три года где-то в Австрии и не только приобрел там многие познания, но и усвоил та-мошнее тонкое обхождение с клиентами.

Аница была девушка бедная. Отец ее, маленький чиновник, служил в каком-то страховом обществе в должности так называемого инкассатора, что означает не обычного служащего, а человека, пользующегося доверием и обладающего известной сноровкой. В доме были еще три сестры и брат. Аница была старшей. Молчаливая, рослая и крупная, с белой кожей, густыми темными волосами и синими спокойными глазами, которые не выдают ничего из того, о чем молчат крупные, но правильно очерченные и сочные губы. Одна из тех статных и сильных девушек, которые вечно боятся расправить и показать свою статью, стыдятся своих форм, опускают глаза перед любым взглядом и, когда бывают на людях, стискивают колени, судорожно заслоняют руками грудь — все из какой-то болезненной потребности выглядеть миниатюрнее и слабее, чем они есть на самом деле, раз уж невозможно остаться совсем незаметной и неслышной.

Когда мать умерла, Аница стала вести хозяйство, поднимала младших сестер, учила брата. Она была одной из тех редких женщин, которые умеют быть полезными молча, которые не нуждаются в признании как стимуле, не надевают на себя после каждого усилия маску мученицы и всегда выглядят довольными.

В наших мещанских семьях, где остается вдовец с многочисленными детьми и малыми доходами, нередко

случается, что старшая сестра, приняв роль матери, полностью приносит себя в жертву, становясь добрым гением дома и «замуровывая» себя в фундамент семьи. Такая девушка отказывается от личной жизни, стоит вне жизни вообще, сохраняя удивительную неопытность и неискренность во всем, что выходит за пределы дома. И в то время как младшие сестры или братья вокруг нее и при ее помощи живут и развиваются и, в зависимости от своих склонностей, участвуют во всем, что приносит жизнь этого поколения — в добром и злом, в прекрасном и безобразном, она остается в стороне, с первых шагов своих вне рула жизни. Под давлением необходимости и в силу инерции такие девушки превращаются в безликих, оставших от времени существ, не умеющих постоять за себя, становятся виртуозами бескорыстия, постоянно готовыми на любую жертву и вечно терзаемыми ощущением, что недостаточно дали и сделали. Задушив в себе с самого начала естественное женское стремление к личному счастью, они жертвуют собой для каждого, и каждый может эксплуатировать их, не зная в этом никаких границ.

По своему складу и Аница, поывдав замуж младших сестер, наверно, до конца дней несла бы обязанности хозяйки в доме своего отца, человека угрюмого и раздражительного. Однако ее трудолюбие и ее сильная, затаенная красота привлекли внимание газды Андрии. Это было то самое, чего он искал, ради чего дожил до зрелых лет не женившись, и что теперь мог себе позволить: красивая, статная и благонравная девушка. К тому же — бедная. Привести в дом бедную и работающую девушку значит изо дня в день получать дополнительное удовольствие от своего тяжело приобретенного благосостояния и изо дня в день его понемногу увеличивать. Ибо стяжание есть, в сущности, бегство от бедности; но не будь на свете бедняков, чем бы измерялось достоинство и успех удачливых приобретателей? Что же касается красоты, этой могучей и долговечной красоты, которую газда Андрия считал вторым богатством и которая для него много, очень много значила, то красота рождается и развивается там, куда занесет ее случай — и среди бедняков, и среди богатых. Разница лишь в том, что богатство притягивает к себе и красоту бедняков, как холодное помещение притягивает теплый воздух. Таков один из непререкаемых законов наших общественных отношений, а на законы эти у газды Андрии всегда было особенно тонкое чутье и по-

нимание, и, отлично в них разбираясь, он опирался на них как на некую живую силу, подымаясь и по общественной лестнице, и в собственных глазах.

Это была одна из тех свадеб, о которых говорят не только среди соседей и знакомых, но и среди людей посторонних, один из редких примеров того, как скромная и неприметная добродетель находит себе признание и награду.

Уйдя из своего бедного дома, в котором нужда, а еще больше отец с его желчным нравом, непоседливые сестры и болезненный брат создавали атмосферу вечной напряженности и пустячных, но постоянных недоразумений, Аница вдруг оказалась в холостяцком, но просторном, тихом и упорядоченном доме мужа, дарованного ей неожиданным счастливым случаем,

Для того, кто умеет читать по вещам, дом газды Андрии Зерековича с его распорядком, обстановкой и всем укладом был немой историей возвышения его владельца от бедного, работающего и непьющего приказчика до видного предпринимателя. Как это бывает со многими часто употребляемыми словами, слово «предприниматель» по сей день не имеет ни точно определенного значения, ни вполне ясного смысла, однако оно распространилось в нашем обществе примерно в то трудное для газды Андрии время, когда он служил в подмастерьях; он сделал это понятие целью всех своих мук и усилий и теперь, когда цель эта была достигнута, произносил вожделенное слово по сто раз на день с каким-то мстительным наслаждением, сокровенное значение и истинный смысл которого были известны только ему одному.

Это был старинный, но красивый двухэтажный дом. Согласно доброму старому обычаю, он стоял поблизости от мастерской, но не примыкал к ней. Здесь газда Андрия еще в молодости поселился у одной доброй вдовы, занимавшей весь первый этаж. Когда вдова умерла, он находился в самом начале нелегкой карьеры мастера, но тем не менее купил у наследников то, что осталось после вдовы, и таким образом сохранил за собой все три комнаты первого этажа. Позже, когда дело пошло на лад и газда Андрия повел финансовые операции с таким искусством, которого никто не мог от него ожидать и в котором его скромность и смирение играли главную роль, он воспользовался представившимся случаем и купил за наличные весь дом у его владельца, чудака и последнего отпрыска

родовитой семьи, жившего на втором этаже. Умеренный и рассудительный газда Андрия сохранил за бывшим владельцем его этаж. Все оставалось по-прежнему, только что хозяином теперь был он, а прежний хозяин превратился в съемщика, но газда Андрия старался, чтобы это изменение в отношениях чувствовалось как можно меньше. Так он дождался смерти старого чудака. Тогда он занял и второй этаж, купив находившуюся там мебель, старую и громоздкую, но роскошную. Таким образом разные обиталища, от каморки холостого жильца до богатых апартаментов выморочного рода, оказались в одних руках, но так никогда и не слились воедино.

В этот дом газда Андрия и привел свою молодую красивую жену. Здесь они прожили два с половиной года. Брак их ничем не отличался от остальных, разве что своей тихой гармонией и нерушимым согласием. Правда, детей у них не было, но и это не могло поколебать их безупречного союза. Все шло в соответствии с божьими заповедями и людскими представлениями и ожиданиями. Он был хорошо принят и ценим в обществе, состоял членом совета Ремесленной палаты и благотворительного общества «Торговой молодежи». Она занималась своим большим домом в полном согласии с мужем, знавшим все, что требуется для хозяйства, и навещала отца и сестер, из которых две вышли замуж следом за нею.

В доме мужа Аница сразу же избавилась от своей застенчивости и похорошела. Ее красота начала расцветать по-настоящему. Судорога, сковывавшая во время девичества ее роскошное тело, отпустила. Все существо ее освободилось. Взгляд стал мягче, густые черные волосы приобрели синеватый отлив. Молчаливая, скромная, всегда ровная, она спокойно и свободно двигалась по дому, который она преобразила своим присутствием не меньше, чем своими постоянными заботами и старанием. И каждый раз, когда газда Андрия по своей привычке принимался для собственного удовольствия подсчитывать в уме, чего стоит эта женщина, как новое приобретение, добавленное к тому, что он собой представляет и чем владеет, — мысль его останавливалась и расчеты путались. Он приходил к выводу, что хорошая жена поистине не имеет цены. Первый раз в жизни он оказался не в состоянии что-то высчитать точно и досконально. И подолгу сидел над этими своими незавершенными подсчетами, полный блаженства и боязни, как человек, который и сам

не знает, чем обладает, и которого его собственное богатство в любой миг может приятно изумить.

Женитьба придавала новую прелесть его обычным удовольствиям, связанным с делом, выгодными операциями, положением в обществе и приобретательством, а кроме того, удовлетворяла и те желания, о которых он не смел и думать, подозревая, что они для него вообще недоступны. Короче говоря, он ощущал чувство полного и совершенного счастья, какое дает людям его склада определенный общественный порядок, которому они сознательно и преданно, всеми силами служат. Пред его духовным взором раскрывалась перспектива нечаянного и негаданного рая, вполне удавшегося буржуазного существования, в котором каким-то мудрым и таинственным образом уживается желаемое с достигнутым и дозволенное с недозволенным.

Ибо трудно сказать, а тем более понять, что значила для газды Андрии эта статная женщина, которую он в один прекрасный день ввел в свой дом, просто, без какого-нибудь труда и риска, и которая, в сущности, увенчала собою все его долголетние труды, унижения и жертвы.

Теперь он мог в праздник пройтись с белолицей, молчаливой, хорошо одетой собственной женой, повести ее в театр, в кино или на чью-нибудь славу. Если прежде, упоминая о женщинах, он испытывал стыд и замешательство, то теперь он мог свободно, открыто и горделиво говорить о жене перед всеми («Иду это я как-то с женой...», «Говорю жене: отстань ты, жена, от меня, ради бога...»). Те, кто слушал, как он произносит эти невинные и обыденные фразы, разумеется, и представить себе не могли, какое наслаждение таилось в них и как это слово «жена» стало в его речи пришедшейся к месту подпоркой, которой ему так недоставало.

А сам себе он мог сказать намного больше того, что можно сказать людям. Он мог в темноте положить обе руки на упругое теплое тело спящей жены, положить их куда придется, туда, куда они лягут случайно, и сказать самому себе: «Все это мое, от волос на голове до копчиков ног, мое, и ничье больше!» От этого ощущения счастья масштабы собственной личности вырастают до бесконечности. Сладко бодрствовать из-за этого чувства и сладко засыпать убаюканным им.

Ибо нужно знать, что для этого человека в течение долгих лет работы, ему одному известных мук и жертв,

значила жена или, лучше сказать, мысль о жене. Газда Андрия был, как мы уже сказали, образцом добросовестного труженика, работающим и исполнительным, покуда он находился в подчинении, строгим и, как сам он любил говорить, справедливым, когда стал хозяином. Все в нем было совершенно, за исключением лишь внешнего облика. Он и в колыбели не отличался красотой, а дальнейшая жизнь сформировала его довольно причудливым образом. В сущности, он представлял собою законченный тип безобразного человека. На тонких и коротких ногах — массивное туловище с длинными руками, а на такой же тонкой и невидимой шее — большая голова, откинута назад и втянутая в плечи. Вам попадались такие люди — горбатыми их не назовешь, но в соотношении головы, хребта и туловища есть какая-то неправильность, так что человек своим видом и осанкой смахивает на горбуна. С возрастом он пополнил и округлился, но ноги и лицо так и остались худыми. На лице газды Андрии выделялись густые подстриженные усы, которые лишь отчасти скрывали большой рот с испорченными зубами нижней челюсти и чересчур белыми и правильными, но искусственными — в верхней. Глаза у него были желтые, мутные, с деловым прищуром, и стоило ему чуть забыться, как они тотчас приобретали усталое и бесконечно тоскливое, какое-то некрасиво тоскливое выражение. Плешивое темя едва прикрывали пряди, начесанные с обеих сторон. Ступни и кисти рук были несоразмерно велики, искривлены и шипковаты от долгой работы и стояния за прилавком. Однако все это сглаживалось его манерой держать себя с людьми как в деловых отношениях, так и при обычных встречах. Он и в самом деле был человеком «с подходом», то есть таким, который перед всеми проявляет смирение особого рода — лестное для собеседника, но его самого нимало не унижающее. Беднякам и людям, попавшим в беду, он умел дать совет, а с людьми богатыми и влиятельными поговорить о том, что их в данную минуту больше всего занимает. Уже в течение нескольких лет он держал в своих руках все военные поставки, железные дороги и многие государственные учреждения; на торгах он регулярно выходил победителем, и при этом никто из конкурентов ни в чем не мог его упрекнуть.

В этом и заключался «подход» газды Андрии Зерковича, маскировавший все его действительно существен-

ные физические недостатки. Благодаря ему мысль об уродстве газды Андрии у большинства людей так и не успевала дойти до сознания. По натуре он был ловок, учтив, услужлив и в своей деятельности лишь пожинал плоды этих своих прирожденных талантов.

Одним из драгоценных плодов была и женщина, которую судьба послала ему во исполнение его последнего и самого сокровенного желания.

Однако в таком полном осуществлении желания кроются большие опасности, и самая большая из них — в том новом желании, которое возникает на месте осуществленного. Кто знает, каково оно и куда оно может нас завести? И кто знает, от чего охраняло нас то, первое, пока оно было с нами и мучило нас, живое и неосуществленное?

В этой новой жизни, которая означала для него исполнение всех желаний и верх совершенства, газда Андрия впервые с тех пор, как себя помнил, начал заниматься собой, оценивать себя, исследовать и сравнивать с другими. Удобства, предоставляемые богатством, браком и домашней жизнью, дают время и возможности для этого. Появляются долгие и приятные часы — вечерние, полуденные и утренние, когда человек раскрывается и распахивается так, как и вообразить себе не мог. Это уже не те безгласные мысли и молчаливые мечты в глухой тишине холостяцкой комнаты, в неизменном присутствии своей, всегда одной и той же, давно известной и наскучившей личности. Нет, теперь это простор и тепло, присутствие существа, которое молчит или соглашается и перед которым не надо сдерживаться и стесняться. Первый раз в жизни он может говорить свободно, без расчета и оглядки, мечтать вслух, раскладывать и разглядывать все то, что он извлекает из себя. И это увлекательно и приятно, словно говоришь перед всем человечеством, и в то же время безопасно и доверительно, точно открываешь свою душу немой сырой земле. Только при таком слушателе сам себя видишь, видишь, кто ты и что, каков ты, что умеешь и знаешь, можешь и смеешь.

Сначала это были короткие разговоры по поводу обычных событий дома и в городе.

Случайно, к слову, Аница заметит, что была сегодня в городе и хотела купить какую-нибудь вещь, но спохватилась, что взяла мало денег.

— Э, дурочка моя, — улыбаясь, мягко корит ее газда Андрия. — Надо было войти в магазин, купить, что нужно,

и сказать: «Я госпожа Зерекович, жена Андрии Зерековича, пришлите мне это, пожалуйста, на дом». Да, да, «пришлите на дом» — и добавить: «Мой муж заплатит».

— Мне неловко,— скажет Аница.

— Что тут неловкого? Ты не знаешь, какой у тебя муж! Знаешь ли ты, что не найдется и двух торговцев, которые бы пользовались таким кредитом и доверием, как я? И что банки дают под мою подпись сотни тысяч динаров? А ты вернулась домой, потому что двухсот динаров тебе не хватило! В другой раз так не делай. Нет такой лавки, которая бы с удовольствием не послала товар на мое имя, сколько бы он ни стоил.

Газда Андрия встает и, расставив руки, с жестами и минами, которых днем, в магазине, на людях, никто у него не видит, объясняет спокойно слушающей жене, что являет собой сеть его торговых связей и кредитов, как объясняют новую систему планет.

Или случится, что газде Андрии принесут акт государственного представителя при налоговом управлении, которым тот опротестовывает решение налоговой комиссии и доказывает, что она занизила сумму налога с фирмы «А. Зерекович». Газда Андрия позже будет в своем ответе опровергать все аргументы и доказывать, что его магазин не имеет такого товарооборота и такого дохода, который предполагает налоговое управление, но сейчас он с довольной усмешкой показывает жене текст жалобы:

— Видишь, что о твоём муже пишут? «Сумма налога явно занижена: известно, что данная фирма находится на хорошем счету и ее годовой оборот, а соответственно и доход, намного превышают суммы, из которых исходила в своей оценке налоговая комиссия».

Он подносит к лицу жены бумагу с официальной печатью и штампом.

— Видишь — «на хорошем счету», и... «намного превышают» — вот как обо мне говорят в налоговом управлении. И в Национальном банке так, и в министерствах тоже. А уж разные частные банки столько раз меня просили высказать свое мнение и дать сведения о лицах и фирмах, обращающихся за кредитом! И если я говорю «дайте» — они дают, а если «нет» — не дают. Ну, а это уже ответственность. Понимаешь? Тут уже надо подумать. Понимаешь?

Жена соглашается со всем легким кивком головы, молчит и смотрит ему прямо в лицо — не в глаза, а в ли-

цо — холодными синими глазами, которых он и не видит, продолжая рассказывать о своих деловых связях и успехах, о своем невидимом, но осязаемом влиянии в торговом мире, о случаях из своей жизни, своих намерениях и смелых планах. При этом он совершенно забывает о ней и не хочет и не ждет от нее ничего другого, кроме этого немого и пассивного участия, ее живого присутствия. А ее неисчерпаемое молчание очаровывает его и манит, как спокойная морская гладь манит раззадорившегося пловца; оно заставляет его выискивать все новое и новые необычные сюжеты, которые бы изумили ее или потрясли.

Со временем эти разговоры становятся для нее все неприятнее и тяжелее. Она и самой себе не хочет признаться, как они ее мучают и утомляют. Ее смущает новая манера мужниных рассказов, полная неумеренности, ожесточения, иронии, вздорности и большого воображения, столь резко отличающаяся от его разговоров и поведения в дневные часы, в магазине и на людях. Это его вечное «понимаешь?» раздражает ее, как слишком яркий свет. Она старается смотреть прямо на мужа, не мигая, но это дается ей с трудом. А повествования газды Андрии разрастались и превращались во все более смелые монологи, в которых он все чаще давал волю своему воображению и языку и в которых самому ему неведомая до тех пор особа вырастала и переливалась всеми красками во все более необыкновенных положениях перед глазами удивленной и уже немного напуганной, но неизменно тихой жены.

Это происходило каждый вечер после ужина.

Аница берет вязание, усаживается поближе к свету, с тоской предчувствуя неизбежные разглагольствования мужа. Газда Андрия закуривает сигарету, разваливается в кресле и разворачивает утреннюю газету. (Он курит только после еды и притом вот так — расстегнув ворот, без галстука, в желтоватой верблюжьей куртке, доходящей ему почти до колен.) Кое-что он читает про себя, кое-что жене, вслух. В связи с прочитанным он или обстоятельно излагает свое мнение, или пускается в воспоминания, в то время как жена только поглядывает на него поверх вязания и изредка роняет какое-нибудь слово, которое прищипывает его красноречие и уводит его мысль на такие пути, о которых он и сам до сих пор не имел понятия.

— «Указом Его Королевского Величества,— читает

газда Андрия,— градоначальником назначен г-н Н. Н.», Ну вот, опять промах. Не буду говорить чей, но промах. Опять это один из тех мелких, голодных чиновников, которые гнут спину перед всем и каждым и упрашивают евреев не опротестовывать их векселя. Откуда ему быть таким, каким надо? Градоначальник столицы! Представляешь, что это такое?

Аница смотрит на него. Ее всегда смущают эти строгие, звучащие укором вопросы, и она не может привыкнуть к ним, хотя уже давно знает, что вместо ответа достаточно ее немного взгляда, полного смиренного незнания и сдержанного любопытства.

— Тут, брат ты мой, приходится высоких персон принимать, видных предпринимателей, разных иностранцев. А для этого нужен подход. Надо быть безукоризненно одетым, не суетиться, быть обходительным, но и свое достоинство соблюдать. Это, мол, можно, извольте. А этого, весьма сожалею, нельзя! И конец делу! А с чиновниками? Тут-то вот и пужна уверенная и крепкая рука. Эх, будь я у них начальником!

Газда Андрия поднимается с кресла.

— У меня бы не было ни опозданий, ни беспорядка, ни взяток, ни лодырничанья. Понимаешь? Все бышло как часы, повторяю, как часы. Кому порядок не по праву — вон! Несмотря ни на протекцию, ни на что! Без всякой пощады!

Он с наслаждением повторяет последние слова. Поправляет упавшую набок прядь волос, прикрывающую лысину, сызнова закуривает потухшую сигарету, усаживается в кресло и продолжает мягким и значительным тоном:

— Или надо идти на доклад к самому королю. А что может этакий чиновничка сказать королю о положении в городе, о настроении народа? Только и может, что кланяться, щелкать каблуками да поддакивать всему, что от него потребуют. А тут как раз и нужен человек, который бы мог в определенный момент, — понимаешь, в определенный момент занять твердую позицию и сказать: «Ваше величество, это невозможно». — «Что, как так невозможно?» — «Невозможно, ваше величество, потому-то и потому-то, оттого-то и оттого-то».

Газда Андрия снова встает, меняет голос и движения, представляя то короля, то городского голову. Произнося реплику короля, он гасит сигарету. Это означает конец

сцены. Чтение газеты продолжается. Ритмично позвякивают спицы в руках жены. И так они сидят, пока не придет время ложиться.

На следующий вечер газда Андрия снова отбрасывает газету и спускает очки на кончик носа.

— Вот, пожалуйста, смотри, что они тут пишут! «Любовные похождения молодого торговца перед судом». «Сын богатого торговца в сетях расчетливой красавицы». Вот какие недотепы бывают, ни бельмеса не смыслят. Бог ты мой, до чего я в этих делах держался разумно и был неумолим и к себе, и к другим! А ведь не то чтобы случая не было. Ого-го!

Щеточник чмокает губами и прищелкивает пальцами, а жена внутренне содрогается и опускает глаза, чувствуя, что сейчас услышит что-то гадкое и жалкое. Ибо ничто не было ей так страшно и отвратительно, как разговоры о физической любви и его намеки и шутки по этому поводу. Однако муж с довольным видом молчал и лишь снисходительно усмехался.

— И сам не знаю, с чего это. Ни франтом, ни повесой я отроду не был. И столько есть мужчин покрасивее меня,— говорит щеточник, вопросительно взглядываясь в глаза жены,— но женщины все чего-то липли ко мне. И притом представить себе невозможно, какие женщины, из какого круга! Но меня с толку не собьешь. Я всегда знал, чего хочу, когда и что могу себе позволить и куда идти. И всегда я это решал, а не они. Исключений ни для кого не делал, хотя бы она была неземной красоты. Понимаешь?

И тут начинаются какие-то жалкие, двусмысленные и туманные истории его любовных походов, относящиеся ко времени его жизни на Дунае, о которых он рассказывает без стеснения и в которых всегда одерживает триумф как великий сердцеед, но при этом человек благородный и находчивый, удерживающий в полном повиновении как собственные страсти, так и чужие желания. За историями о хозяйках, каких-то немках, и их деверях, и шкиперских женах, и ревнивых трактирщиках следует рассказ о графине из Будапешта, настоящей графине, которая увидела его за работой, заприметила и несчетное число раз подсылала к нему служанку, но он благополучно выпутался из сетей этой пожилой похотливой женщины.

— Никогда я не был настолько глуп, чтобы растратить попусту свою силу и свою молодость, а женщин у

меня тогда было по три на каждый палец.— И он показывает свои большие узловатые пальцы женщине, сидящей рядом. Красивая, цветущая, на двадцать лет моложе и на две головы выше его, она смотрит на них с холодным недоумением и страхом.

И так это продолжается до благословенного часа отхода ко сну.

Тогда молодая женщина обретает наконец свободу и может, не засыпая и наслаждаясь одиночеством, отдыхать в чистой и удобной постели от всего, что должна была выслушать в этот вечер. Может, наконец, думать о своем и так, как ей хочется. Газда Андрия еще долго возится, готовится ко сну. Вынимает верхнюю челюсть, чистит ее особой щеточкой и опускает в стакан с водой. Полощет горло специальной жидкостью, вставляет в нос тампоны с мазью и перуанским бальзамом, закладывает левое ухо ватой (только левое, так как на правом он спит). Он постоянно (кроме летних месяцев) надевает на ночь специальное «егеровское» белье, а поверх него ночную рубашку; рубашка, хотя она и самого маленького из существующих мужских размеров, все же доходит маленькому человеку до пят. Свое лысое темя щеточник прикрывает белым шерстяным колпаком.

Проделав все это, он ложится в свою кровать, взглядывает еще раз на жену, которая в этот момент всегда закрывает глаза, притворяясь спящей, осеняет себя крестным знамением, гасит лампу и, повернувшись к жене спиной, засыпает моментально, как животное.

Тогда Аница открывает глаза и облегченно вздыхает. Начинается ее жизнь, беспокойные, мучительные часы бессонницы.

Чем дальше тянулось ее замужество, тем большее значение приобретали для нее эти часы, проведенные в постели до сна или после пробуждения.

В первые месяцы брака газда Андрия перебирался в женину постель сначала ежедневно, затем два раза в неделю, потом один раз. Но скоро и это кончилось. После разговоров и распоряжений, касавшихся хозяйства и разных мелких общественных обязанностей, после долгих утомительных рассказов о себе газда Андрия ложился в свою кровать, довольный самим собою и всем окружающим миром. Таким же он просыпался рано поутру и готовился к дневной жизни и делам. (Он уже давно не чувствует, что рядом спит или бодрствует молодая жен-

щина, не задается мыслью о том, чего она хочет, что думает и чувствует, и вообще воспринимает ее только как домочадца и постоянного собеседника.)

В эти ночные часы сон не приходит к жене. Она не хочет, чтоб муж ложился в ее постель. Ни в коем случае. Одна мысль о том, что он спит, делает ее счастливой. Но сама она не может ни заснуть, ни лежать спокойно. Ей кажется, что постель под нею дышит и от подушек веет жаром. Она твердит себе, что надо только немножко потерпеть и на минуту успокоиться, и окажется, что ничего этого нет. Ложится на спину, закрывает глаза и дышит глубоко и мерно. Но и это не помогает. Она поднимается, тихонько идет в ванную и смачивает холодной водой грудь и шею. Это обычно помогает и приносит сон. А пробуждение так же странно и по-своему тягостно.

Будит ее — обычно на рассвете — какой-то трепет в мышцах ног и новая, непривычная, щемящая боль в грудях, которые словно затекли. Но вместе с Аницей всегда в тот же момент пробуждалась и какая-то надежда, совершенно неопределенная, но бесконечно богатая и огромная до беспредельности.

Нелегки были эти ночные часы, когда она лежала без сна, часто сама не понимая толком, оттого ли это, что она не может заснуть, или оттого, что хочет бодрствовать. Но они были ей дороги, как минуты пробуждения, потому что принадлежали только ей — единственное, что полностью и исключительно принадлежало ей в ее теперешней жизни.

Однако в последнее время щеточник начал урывать у нее и эти часы. Его страсть разглагольствовать и актерствовать перед женой росла все больше, и времени после ужина ему уже не хватало. Все чаще случалось, что газда Андрия, воодушевленный и возбужденный собственным рассказом, продолжал говорить и возле жениной постели.

Начинается это, как всегда, с того, что он усаживается в свое низкое кресло и принимается читать вслух какую-нибудь статью о предлагаемых кем-то неотложных и важных реформах в народном хозяйстве, государственном управлении, школе или армии. А затем объясняет жене с красноречивой иронией, что все эти люди — или продажные писаки, или наивные профессора, мнящие, будто они преобразуют общественную жизнь своими теориями и статьями.

— Мужской руки тут не хватает, дорогая моя. Нет мужчины, чтобы вскрыть это хирургическим ножом, без пощады! Без пощады, понимаешь?

Щеточник выкрикивает эти слова, точно жена утверждает обратное, и показывает своей длинной рукой, как это делается.

Жена следит за его жестом, а затем снова останавливает недвижный взгляд на его лице.

— Понимаешь, это то же самое, что у меня в мастерской, только в большем масштабе. Продуманность, решительность, выдержка! В этом все. Если бы меня, не дай бог, призвал король и сказал: «Господин Зерекович, дело в том-то и том-то! Вы видите, каково положение и до чего мы дошли. А я слышал о вас как о предпринимателе и труженике, который начал с малого, с ничего, а теперь слава богу... Словом, я позвал вас, чтобы доверить вам нашу экономику, чтобы вы ее реорганизовали, спасли все, пока еще есть возможность, и так далее и так далее», — я бы поклонился и сказал: «Пусть ваше величество извинит меня за вольность и чистосердечие, но я считаю, что не послужил бы ни вашему величеству, ни интересам государства, если бы не сказал вам правду: полумеры тут не помогут. Нужно в корне все изменить. Нож хирурга тут требуется, и только получив от вас неограниченные полномочия, я могу взяться за порученное мне дело. Ибо нужно то-то, то-то и то-то».

Газда Андрия взмахивает рукой, жена следит за его движениями, каждое из которых означает некую крупную реформу. Ибо он уже принял доверенную ему миссию реформатора народного хозяйства.

— Я бы ни с кем не посчитался, понимаешь? Принял бы и выслушал каждого, но ни жалеть, ни церемониться бы не стал. Не признаю я никаких «смягчающих обстоятельств». Если кто нерадив, неисполнителен, ненадежен — голова долой, без пощады. Кто-нибудь приходит: «О, господин министр, смилуйтесь. Этот человек такой-то и такой-то, жена, дети малые!» А я холоден, как скала. Неумолим. И ты бы только посмотрела, как дело сразу пошло бы по-другому. Долго бы помнили и рассказывали, как Андрия Зерекович взял кормило государства в свои руки.

Перед глазами жены две узловатые и волосатые руки держат и энергично поворачивают это воображаемое кормило,

Наконец кончается и это словоизвержение. Щеточник зевает и потягивается. Глаза глядят сонно и слезятся. Но теперь все чаще случается, что и постель не приносит желанной тишины. Закончив свои долгие и сложные процедуры, щеточник не ложится, а присаживается на край жениной кровати, подбирает одну ногу под себя и продолжает ораторствовать.

На больших белых подушках из чешского полотна вырисовывается обрамленное густыми черными волосами правильное лицо жены с синими глазами, а ее обнаженная шея и грудь, приподнимающая легкое одеяло, говорят о здоровье, нерастраченной силе и спокойной красоте. Однако газда Андрия ничего этого не видит, а смотрит сквозь жену и окружающие ее предметы в далекие края своих грез тем взором, каким тщеславные люди смотрят в зеркало.

Приглушенным и полным значительности голосом, сопровождая свои слова на сей раз острым, пронзительным взглядом, газда Андрия, в полном неглиже, продолжает начатый вечером разговор:

— Никто не подозревает, до какой степени я могу быть строгим и неумолимым. Да, да, мало кто меня знает по-настоящему. Думают, что я вот такой услужливый, любезный и предупредительный от недостатка силы и смелости, что я будто бы человек мягкий и жалостливый. Но только ошибаются они. Я лютая змея! Арнаут! Я бы, если бы это потребовалось государству, гнал со службы, посылал на каторгу и казнил, если понадобится. Да-да, казнил, казнил! И глазом бы не моргнул. Только поглядел бы дело, разобрался, вынес приговор, и раз! раз! раз!

Тут газда Андрия, показывая, как рубят головы, ударяет ребром правой ладони по сжатой в кулак левой руке. По противоположной степе простерлась, точно какое-то доисторическое животное, его вытянутая тень, а его руки, символически отсекающие головы, кажутся беспокойными челюстями этого зверя.

Женщина смотрит на маленького волосатого человечка в ночной рубашке и теплом белье, с белым колпаком на голове. Когда он взмахивает руками, из-под рубашки то и дело выглядывает ступня подогнутой ноги. Показывается то твердый и большой, вросший в тело ноготь на большом пальце, то шишковатая пятка, сухая и бескровная, как у мумии. Женщина на мгновение закрывает уставшие глаза. На ее тяжелые веки ложатся серебристые

блики от почника на тумбочке. Но и тогда она слышит, как над нею запыхавшийся человек продолжает свое государственное дело.

— Раз! Раз! Раз! — дико и страстно звучит его голос.

Снова открыв глаза, она видит его недоверчивый и пронзительный взгляд, который ищет на ее лице выражение согласия или отрицания. А потом, в доказательство того, что он не трус и не тряпка, он рассказывает ей случай из своей молодости. Всего этих случаев насчитывается четыре или пять, и они часто повторяются, однако каждый раз щеточник рассказывает их словно впервые. Чаще всего это бывает звучащий правдоподобнее прочих рассказ о всеобщей забастовке в Будапеште, свидетелем которой газда Андрия был, еще будучи молодым подмастерьем. Он тогда на глазах у испуганной толпы рабочих, забившихся в какой-то тупик, спокойно перешел по самой середине площадь, над которой свистели пули жандармов, стрелявших с другого берега Дуная. А потом все спрашивали друг у друга, кто этот юноша, которого, видно, и пуля не берет; хотели нести его на руках, сфотографировать и показать его журналистам, но он убрался подобру-поздорову, ему это ни к чему было.

Аница хорошо знает эту историю, но каждый раз следит за ней и проверяет своей цепкой памятью, не изменил ли щеточник что-нибудь, не добавил ли чего и не убавил. И как ни странно, рассказ каждый раз повторялся в неизменном виде, до последней мелочи, как это может быть только с вымышленными историями.

— Да, да, дорогая моя, газда Андрия — это тебе не мокрая курица, — говорит человек в ночной рубашке, почему-то с обидой и укором, хотя жена ничего не сказала, и верхняя губа его с одной стороны слегка подрагивает.

Жена в замешательстве опускает глаза.

Наконец он решает лечь, гасит свет, укрывается розовым шелковым одеялом и быстро погружается в сон, бормоча что-то себе под нос все тише и тише. А жена, у которой прошла вся сонливость, широко раскрывает глаза и, не мигая, глядит на причудливой формы холмик, образуемый телом спящего мужа и складками одеяла. Сон никак не приходит.

В первый год она слушала хвастливые рассказы мужа и повествования об эпизодах, в которых он неизменно играл главную роль, без какого-либо волнения,

почти безучастно, удерживаясь от зевоты и делая вид, будто рассказ хотя бы в какой-то мере ее занимает. Но его истории росли, становились все длинней и смелее, все агрессивнее и фантастичнее. Она почувствовала отвращение. Ей казалось унижительным часами слушать хвастливые выдумки этого человека, выказывая внимание и искреннее сочувствие. Было оскорбительно, что он воображает, будто может перед ней, как перед неодушевленным предметом или существом, лишенным разума, давать волю воображению, не трудясь ни обуздывать свой язык, ни умерять свою лживую фантазию. Еще девушкой она слышала от замужних женщин и подруг, что есть нехорошие и странные мужчины с извращенными желаниями, требующие от женщин унижительных и неестественных вещей. Она не знает ни таких людей, ни их повадок, но то, что делает муж, как ей думается, вероятно, что-то вроде этого. Во всяком случае, она чувствует себя существом, которым злоупотребляют и которое мучают подлым и бездушным, хотя на вид невинным и вполне дозволенным образом. Ей стыдно из-за всего этого. Ее томит и жжет невыносимо, с каждым днем все больше, чувство глубокого унижения и стыда, но вместо того, чтобы разбудить в ней естественный инстинкт самозащиты, эта боль полностью отнимает у нее дар речи, сковывает движения, убивает каждое решение в самом зародыше. А ее пассивность и непротивление побуждали щеточника еще смелее и безогляднее упиваться молодечеством и самовосхвалением. Эта здоровая и разумная женщина, разбуженная, но неудовлетворенная в своей могучей женственности, могла одним движением своей сильной руки свалить тщедушного человечка, запеленать в одеяло, точно некоего уродливого младенца, и приказать ему спать, могла одним-единственным словом заставить его замолчать, опомниться и понять, как он глуп и безумен, когда гордит свой вздор, и еще того глупее, когда воображает, что кто-то глуп настолько, чтобы слушать его и верить. Она могла и всей душой хотела сделать это, но сил в себе не находила. И, как заколдованная, должна была выслушивать то, что презирала, смотреть на то, что ей было отвратительно, и терпеть то, что она ненавидела. И каждый вечер позволяла щеточнику выводить перед нею, как перед нанятым свидетелем, кривляющийся хоровод лживых выдумок и болезненных бредней.

И только тогда, когда муж, насытившийся и удовлетворенный, ложился и засыпал вот так, как теперь, она полностью осознавала необыкновенную тяжесть и жалкую уродливость своего положения. Она чувствует себя униженной, смятой и запачканной, точно кто-то вытер об нее влажные и нечистые руки, а потом бросил в эту темную глубину. Она думает, что надо было бы как-то бороться и спастись, но не видит — как. И у несчастья есть свои категории. К которой относится это? Похоже, что не определишь. А то, что не может найти себе места ни в одной из существующих категорий, каждый должен выносить сам, ибо тут ничем не поможешь. Человек, а в особенности женщина, защищая свои права и свою личность, должен опираться на других людей и на свое право — то, которое сформулировано в законах или, по крайней мере, в понятиях и обычаях общества. А на что она может пожаловаться в своем на вид идеальном браке? Как объяснить другим, что она отдала на первообразимо гнусную и настолько невыносимую пытку, что если она не хочет сойти с ума и умереть от скуки, стыда и отвращения к нему и к самой себе, то ей надо бежать! Как доказать, что жизнь в этом солидном, богатом доме рядом с мужем, разумным, обходительным, степенным человеком, — невыносима? И из-за чего? Как сделать это, если она и мысленно не может найти слов для определения того, что происходит, если она и здесь, в четырех стенах, один на один с этим человечешкой, не находит в себе сил встать на свою защиту? Она знает только одно — что она страдает и долго не выдержит. Может быть, это и есть настоящее, большое и безысходное человеческое несчастье, когда человек теряет дар речи от омерзения и цепенеет от стыда перед тем, что другие делают с ним, так что оказывается не в состоянии отстаивать свои права и вынужден, будучи жертвой, брать вину на себя.

В такие мгновения она чаще всего думает о бегстве из этого дома. Как в детстве, ночью, лежа в теплой постели, мечтают о необыкновенных приключениях, необъятном счастье и фантастических успехах, так и она теперь представляет, как было бы дивно и страшно бросить этот дом и этого человека. Решить и одним махом освободиться от всего раз и навсегда. Она прекрасно понимает, как дерзновенно это было бы, как безумно и как страшно для нее и непостижимо для семьи и людей. Видит, что это невозможно и неосуществимо. И все же через минуту ло-

вит себя на том, что снова до деталей представляет себе свое бегство. В момент, когда дома никого не будет, побросать в свой старый чемодан самые нужные вещи, только те, что она принесла из дому, и уйти. Просто-напросто вернуться в маленький отцовский дом на окраине! Там, кроме отца,— самая младшая из сестер и брат. Сестра изучает философию и пишет стихи, а у брата слабое здоровье, и он не любит работать, но зато хорошо играет на гитаре и так добр, что получил прозвище «ангельская душа». Правда, отец — человек крутой и своенравный. Правда, вести хозяйство тяжело. Много работы и всегда какие-нибудь нехватки. Но что это значит в сравнении с тем, как она живет здесь? Несбыточным сном и недостижимым счастьем кажутся ей теперь бедность и тяготы ее прежней жизни, кажутся чем-то таким, что никакой ценой и никаким образом не может быть возвращено, будучи однажды оставлено. Ибо она хорошо знает, что отец и не подумал бы принять ее в дом, что она осталась бы одна против всех, что бегство — безрассудный и роковой шаг, равносильный самоубийству. И женщина плотнее зажмуривает глаза и упрямо не расстается со своим сном наяву о бегстве под кров родительского дома.

Все чаще и длительнее становятся эти бессонные часы, когда она лежит рядом с маленьким холмиком — своим спящим мужем, который при первом же случае, в разговоре с гостями, скажет скромно, но самоуверенно:

— Кто трудится, тот не знает, что такое бессонница. С тех пор как я себя помню, я засыпаю, как только лягу, и не помню, чтобы мне когда-либо что-нибудь снилось.

Знает она эту фразу наизусть, как и все остальное.

И думая об этом, молодая женщина чувствует боль в отяжелевших грудях, боль, которая растет, растет и заставляет придавливать их обеими руками. Но тогда боль разливается по всему телу, и она глотает рыдания вместе со слезами. Мышцы бедер сокращаются так, что собственные ноги заставляют ее встать. К горлу поминутно подкатывает комок и перехватывает дыхание.

Так она бодрствует и так наконец засыпает, когда усталость убеждает ее, что нечего искать выхода там, где его нет, и что завтра все будет, бог весть с чего и почему, лучше,— лучше или, по крайней мере, иначе.

А назавтра — все то же, что и всегда, только хуже.

До полудня она еще чувствует себя сравнительно спокойно и безопасно. Между нею и сегодняшним вечером

стоит преграда — немного сна и забвения. Она забывается, отдавая распоряжения и занимаясь мелкими домашними делами. Но уже около полудня возникает страх перед ночью и тем, что она может принести. А она может принести все.

Движимый неодолимой потребностью самовозвеличения и принижения всего живого и непокорного, щеточник каждый вечер разрушал и опрокидывал то какое-либо учреждение, то целую отрасль, то какую-либо выдающуюся личность, и на этих развалинах воздвигал свою собственную фигуру во весь сверхъестественный рост своей долго таимой, а сейчас распоясавшейся уродливой ненависти ко всему и зависти ко всем и по любому поводу. В свете его критики и иронии все вокруг оказывалось слабым, недостаточным и несовершенным, будь то государственная власть, армия или экономика; даже сама церковь, к которой он еще выказывал известное уважение, была слишком либеральна и плохо организована. Рабочий класс распущен и недостаточно эксплуатируется, суды слишком мягки и медлительны, все власти заражены мягкотелостью и нерадивы. Все люди испорчены или лишены способностей и ленивы. Короче говоря, мир полон безобразия и несовершенства.

Изредка газда Андрия водил жену в театр. Это для нее были радостные часы. Она с детства любила театр, особенно оперу. Кроме того, для нее был счастьем каждый миг, проведенный с мужем не наедине, ибо тогда это был тот уравновешенный, солидный газда Андрия с его пресловутым «подходом», ничем не напоминающим об изнанке, открытой только ей.

Вернувшись из театра, Аница всегда старалась лечь как можно скорее, избегая разговоров, чтобы сохранить в себе то ощущение светлого и теплого возбуждения, которое оставалось в ней после театрального представления, особенно после музыки и балета. Но это удавалось ей все реже. Щеточник не давал ей покоя даже тогда, когда она уже лежала в постели. Тщательно и неторопливо проделав свои процедуры, как некое богослужение в свою честь, он оказывался перед женой, которая уже заранее трепетала, пригвожденная к кровати, из которой бежать и спастись было уже некуда. И он начинал длинно и подробно объяснять ей, что балет Народного театра никуда не годится, что все это зиждется на неправильной основе, недобросовестно, бесталанно, слабо, небрежно.

Он нагибался над ней и доказывал, что прославленный танцовщик Краевский, которого они видели сегодня вечером, танцевал молодого рыцаря в «Спящей красавице» вяло и без всякой мужественности.

— Что он, этот красавчик, воображает, будто все дело в миндалевидных глазах и закрученных усиках? Разве так влюбленный подходит к женщине, о которой мечтает? Я не актер, не танцовщик, не мое это дело, но меня так и подмывало подняться на сцену и показать ему, как это делается. Вот был бы я у них дирижером и балетмейстером! У меня бы они не отлынивали от дела и не работали кое-как, можешь мне поверить, и этого прыганья, кто в лес, кто по дрова, не было бы. Уж они бы у меня вставляли на пальцы и вертелись, пока в глазах не потемнеет. А он бы у меня так и летал, стоило мне только глазом моргнуть — понимаешь? — а не то чтобы гримасничать и кривляться, а потом получать большие деньги и называться артистом и танцовщиком.

И щеточник в полном ночном туалете — в длинной рубашке, без зубов, с ватой, торчащей из ноздрей и уха, склоняется над лежащей женой и дирижирует невидимым оркестром и танцорами, строго и неумолимо, а затем энергично выгибается, показывая, что, по его мнению, должен был делать прославленный танцовщик, приближаясь к принцессе.

И все это завершается его крепким, бесцеремненным сном, которым он так гордится, и ее мучительной бессоницей. А на следующий вечер повторяется то же представление, только с другим содержанием.

Она уже не знает, как объяснить это хотя бы самой себе, но только видит, что ее муж, окончив дела и оставшись после ужина с нею глаз на глаз, превращается просто в чудовище. Из вечера в вечер он играет перед нею какую-нибудь новую роль, каждый раз все менее логичную и правдоподобную, все более отвратительную и страшную. Она не находит в себе сил ни остановить его, ни защититься, слушает его со скукой, с омерзением и даже с ужасом, потому что в последнее время эти разговоры вызывают у нее самой настоящий страх. Она знает, что все это лишь болтовня обиженного природой горемыки, который ночью, в промежутке между прозаическими дневными делами и мирным сном, открывает свою ярмарку чудовищ и демонстрирует свою неведомую людям изнанку, и притом только перед ней, женой, которую

он кормит и одевает и перед которой, следовательно, ему нечего ни стыдиться, ни стесняться. Она знает это, и все-таки ей делается страшно. Ибо в своих похвальбах и перечислениях всего, что он мог бы сделать, будь он тем и таким, каким он себя в эту минуту воображает, щеточник уже давно перешагнул границу не только вероятного и возможного, но и того, что допустимо и естественно.

Теперь вечерние часы становились для него настоящими оргиями тщеславия, властолюбия, маниакальной жажды могущества и славы и бог знает каких еще инстинктов, в другое время скрывааемых им или неведомых ему самому, а у нее вызывали тайный ужас и все более длительную бессонницу. Поводом ему могла послужить любая вещь. Например, разговор начинается с заметки из уголовной хроники. На пустой поляне, под железнодорожным мостом найдена мертвой какая-то женщина, иностранка, исколотая ножом. Женщина — молодая, красивая, элегантная, явно из высшего общества. Случай необъясним. Вся печать писала о нем, и все спрашивали друг друга: кто такая эта загадочная красавица? Кто ее убийцы и что могло быть поводом для преступления?

Газда Андрия сначала читает вслух репортаж о происшествии, а потом разваливается в кресле и с улыбкой превосходства говорит жене:

— Дураки! Чего тут думать? Мало разве тайных обществ или шпионских организаций? И разве одна такая красавица находится у них на службе? А с этими организациями дело обстоит так: завербуют тебя, и ты вступаешь; даешь присягу — клянешься на револьвере или ноже, что будешь беспрекословно исполнять все приказы и никому и никогда не выдашь тайну. А потом ошибешься в чем-нибудь или проговоришься, и ты уже обречен. Спасения тебе нет. Когда ты меньше всего этого ждешь — нож в спину. Так и надо! Тут ни пощады, ни колебаний быть не может. Хоть бы она мне была родная сестра, я голосую: смерть. И приговор приводится в исполнение автоматически, молниеносно. Если надо, проделываю это собственноручно. Понимаешь? И вот эти безмозглые слюнтяи из полиции забегали и забили во все колокола. И что «речь идет о черноволосом сильном человеке высокого роста», и что это мог бы быть такой-то или такой-то, а такой-то вне подозрений. Ничего-то они

не знают, я тебе говорю. Все они слепцы и недотепы и по себе судят о других.

Газда Андрия встает и подходит к жене.

— А может, убийца как раз тот, кто, по мнению нашей мудрой полиции, «полностью вне подозрений», тот, на кого никто и не думает. Может, он не черноволосый и не высокий. Может, сам шеф уголовной полиции каждый день мимо него проходит и здоровается, как со старым знакомым. Может, убийца упивается тем, как они, ведя расследование, кинулись совсем в другую сторону, и в душе смеется над ними. Ха-ха-ха-ха!

Громко смеясь, щеточник обходит вокруг стола и снова оказывается лицом к лицу с женой.

— Кто бы он ни был, он мастер своего дела, человек, в котором ни единая жилка не дрогнет, когда он должен выполнить какое-то задание во имя высших целей, человек с верным глазом и еще более верной рукой.

Щеточник поднимает сжатый кулак и пристально смотрит жене прямо в глаза.

— Это я могу сказать, потому что я и сам такой. Все думают: газда Андрия — обходительный, мягкий добряк, а сами и не подозревают, что за человек Андрия Зеркович! Ха-ха! Я не божья коровка и не кроткий барашек, а рысь, рысь, и притом самая коварная, самая опасная. Понимаешь? Вот, я знаю, что и ты думаешь, будто мне и во сне не приснится, что я могу убить какого-нибудь преступника, вроде этой женщины на поляне.

Лицо щеточника озаряется, как светом, улыбкой, полной снисходительности и презрения.

Жена опускает глаза, кровь ударяет ей в лицо, губы шевелятся, но слов она не находит.

— Вот видишь — думаешь-таки! — инквизиторски склоняется над ней щеточник. — Сама видишь, что я угадал. А все потому, что и ты меня не знаешь, так же как и остальные. Видишь ли, когда дело касается принципа, интересов какого-нибудь святого дела, в верности которому я поклялся, то для меня убить такую вот потаскуху в шелку и мехах — все равно что выпить стакап воды. «Предала — получай свое!» Первый удар — с ходу, в шею, где проходит главная артерия — на! — а потом еще три: один в спину, два в грудь — на! на! на! И готово!

Жена, испуганная, смотрит, как он взмахивает огрызком желтого карандаша, точно каким-нибудь стилетом, выдыхая: «На! На! На!» Она хорошо знает этот

карандаш, о котором он уже несколько раз рассказывал, что пишет им уже шестой год, потому что умеет, как никто, экономно писать и очинивать, а уж потерять карандаш или забыть его где-нибудь, как это случается с другими, для него исключено. Поэтому он ему и служит дольше, чем кому бы то ни было. «Еще лет шесть мне прослужит при моей бережливости и аккуратности. Будь все такие, как я, карандашные фабриканты передохли бы с голоду», — так он говорил, она хорошо это помнит.

Замахиваясь этим самым карандашом, газда Андрия продолжает:

— Так-то вот! Без звука и без крика. А потом моешь руки и возвращаешься в город как ни в чем не бывало. И когда речь заходит об этом случае, участвуешь в разговоре, читаешь себе газету — спокойно, как и любой другой, и ни один мускул у тебя на лице не дрогнет.

Щеточник выпивает воду из стакана, стоящего на столе, и взглядывает на жену — укоризненно, но и не без снисходительности, к которой примешивается изрядная доля презрения, точно прощая ей незнание и непонимание того, что знать и в самом деле не так просто и чего столько других людей, поумнее ее, не знают и не подозревают.

Затем газда Андрия еще немного читает газету, а потом подымается и величественным, размеренным шагом, который бы гораздо более приличествовал человеку намного выше и крепче его, отправляется в ванную совершать ночной туалет.

А жена лежит после всего этого в своей кровати, точно выпущенная из застенка, где ее пытали. В темноте ей страшно, но лампу она зажечь боится. Мысль о сегодняшнем разговоре вызывает отвращение, а думать о чем-нибудь другом она не в состоянии. Когда ей удастся заснуть, во сне перед нею возникает окровавленный труп незнакомой женщины, так что она просыпается с глухим стоном. Но щеточник не слышит ее, так как спит на правом ухе, а левое у него заткнуто ватой.

В такие ночи женщина совсем не могла спать. Ее мучило желание бежать из этой душной комнаты, от этого механически ровного дыхания. И все чаще она вставала и уходила в ванную. Она мыла руки и лицо, плескала холодной воду на набухшие груди. Это приносило лишь минутное облегчение. В теплой постели, где ее подстерегали прежние мысли, ощущение прохлады от воды тотчас пре-

вращалось в жгучий жар, охватывавший грудь огненным панцирем. Она вскакивала снова, бежала в ванную, не помня себя, бросалась, как была, в одной рубашке, на холодные каменные плитки пола и лежала так, стеноя, пока не начинала чувствовать, как дрожит и коченеет на твердом, холодном полу и как вместе с этим мучительным холодом в нее проникает мысль, что это принесет болезнь или смерть — во всяком случае, освобождение.

Таким образом она часто проводила по полночи. Утро приносило обычный будничный мир, вечер — рассказы мужа, а ночь — новое неизъяснимое страдание.

Во многих на вид благополучных существованиях разница между днем и ночью огромна. Много есть людей, которые, как и эта удачно пристроенная женщина, при свете дня выглядят спокойными и уравновешенными, а ночью терпят такие муки, что сами себя не узнают в горячем мраке своей постели. Но когда в такой жизни разница между днем и ночью станет слишком велика, когда иссякнет способность скрывать страдание и притворяться, а день и ночь перестанут уравновешивать друг друга — тогда такая жизнь разлетается вдребезги.

Больше двух лет Аница вела такую жизнь. Не было никаких оснований думать, что третий и четвертый год не пройдут так же, а за ними и все остальные. Она давно уже примирилась с мыслью о том, что ее муку невозможно высказать кому бы то ни было, а потому невозможно и найти средство против нее. И так прошли бы, наверное, годы; если бы она не сломилась, то перенесла бы все эти годы все так же молча; перенесла бы годы, но не могла перенести часов и минут.

Один такой непереносимый и роковой час настал, когда сравнялось два с половиной года ее брачной жизни. Это было одно из тех мгновений, которые, вспыхнув перед нами, ясно и неопровержимо показывают, что жизнь, которую мы ведем, невозможна, недостойна, невыносима. Все наше существо тогда содрогается до самых основ и напрягается, готовясь к трудным, может быть, трагическим решениям. Но так как мир вокруг нас никогда не застывает в неподвижности и так как сами мы всегда склонны избегать роковых переломов, то обычно случается так, что какая-нибудь мелочь — чье-то лицо, какой-то разговор, книга или пустячное дело — привлекает к себе наше внимание и уводит наш взгляд от истины, представшей перед нами, давая нам возможность

еще раз обмануть самих себя, трусливо избежать правильного решения и продолжать жить по-старому. Однако на сей раз то, что случается так часто, не случилось.

В эти сентябрьские сумерки Аница услышала, как горничная внизу кому-то открывает. Она подумала, что это муж, который пришел сегодня раньше обычного, и задрожала. Оказалось, что пришел по делу приказчик из лавки. Будь это газда Андрия, она провела бы этот вечер, как и всякий другой, и жизнь в доме продолжалась бы своим чередом. Однако сейчас надо было ждать прихода мужа. Это было невыносимо и — в этот момент — невозможно. По сильному, еще девичьему телу пробежала резкая, тревожная дрожь, панически устремившаяся в одном направлении, преодолимо таща и гоня ее прочь из этого дома. В мыслях — страх, неизвестность и только один вопрос: какие еще сцены и рассказы несет с собой этот вечер и какая почь ей предстоит? Если бы хоть горничная была тут. Несколько ничего не значащих слов, которыми бы они обменялись, отвлекли бы мысли Аницы в другую сторону и задержали ее. Но девушка как раз в это время вышла куда-то через улицу. Аница вдруг оказалась перед своим шкафом в спальне. На полу уже был открыт ее маленький и дешевый девичий чемодан из искусственной кожи. Она быстро, как ей это много раз снилось и виделось в полусне, когда она лежала рядом со спящим мужем, сложила самые пужные вещи (только те, что принесла с собою из дому) и с чемоданом в руке сбегала по лестнице. И опять никого не было ни видно, ни слышно. Мысли ее совсем остановились. А неудержимое волшебство во всем теле все росло, такое сильное, что могло бы порвать цепи. Оно несло ее, как соломинку, вниз по крутой улице и вело прямо к отчому дому.

ЗАЯЦ

I

Дом, о котором здесь пойдет повествование, стоял в те времена, то есть за год-другой до начала последней войны, на одной из горбатых улочек, соединяющих улицу Князя Милоша с Сараевской. Глазам завистливых соседей солидное пятиэтажное здание с мансардами представлялось и вообще шестиэтажным. Возведенный вскоре после первой мировой войны, дом этот, быть может, и не отличался, что называется, «экстрасовременным» комфортом, но был так добротнo сработан и от чердака до подвала содержался в таком образцовом порядке, что одной своей сверкающей белизной отпугивал съемщика с малыми доходами и множеством детей. Владелец дома... Но нет, мы затрудняемся сказать, кто был его действительный владелец, ибо этот сложный юридический вопрос так тесно связан с целым рядом других «довоенных» белградских проблем, таких, как проблемы морали, брака, заблуждений молодости и запоздалых раскаяний, что мы не беремся здесь распутать этот узел. Грозой всего дома была госпожа Маргита Катанич, в обиходе именуемая Коброй. Это она сдавала квартиры, взимала арендную плату, разбираала конфликты с жильцами, платила налоги и отвечала перед городскими властями. Она же, в сущности, была тут и «хаузмайстером», ибо сильно смахивавший на недорезанного цыпленка, безбородый уроженец Бачки из нижней квартиры, официально занимавший эту должность, был всего лишь безропотным орудием в мощных руках госпожи Маргиты. Впрочем, и все остальное было здесь в тех же руках,

Госпожа Маргита занимала с мужем и сыном самую большую пятикомнатную квартиру в бельэтаже. Но прежде чем перейти к мужу и сыну госпожи Катанич, остановимся несколько подробнее на ней самой. Это была женщина около пятидесяти лет и девяноста килограммов веса, приземистая, совершенно седая, с высокой прической австрийского образца, растрепанной даже в рождение. Вся она буквально клокотала и кипела от какой-то неукротимой и необузданной энергии. Таков был ее облик. И хотя передвигалась госпожа Маргита на словных, тяжело ступавших ногах, беспокойная подвижность не оставляла прочих ее членов и, нарастая, достигала апогея в мимике лица. Бледное отечное ее лицо прорезала тонкая кривая линия огромного рта с тридцатью двумя искусственными зубами и ста двадцатью словами в минуту. И, наконец, ее глаза — большие, круглые, с черным зрачком, размытым по краям и как бы растворяющимся в белке, алчные, недоверчивые, пронзающие; казалось, они сосредоточили в себе могучую потенцию этого огромного тела, всегда готового к защите и нападению.

Неподъемная и тучная, отягощенная бесчисленными воображаемыми и действительными недугами, госпожа Катанич тем не менее в любое время суток ухитрялась быть вездесущей и всевидящей. Подобно насосавшемуся пауку, перекачивалась она по своей расположенной полукругом квартире, держа под неусыпным контролем и наблюдением улицу, сад, парадный вход. Таким образом она была в курсе всех событий, всех допытывала и всем руководила, но и этого ей было недостаточно. Ее жажда властвовать, приказывать, тиранить, покорять была столь велика, что ее хватило бы на целый полк солдат. А так как судьба ограничила поле ее деятельности довольно узким кругом людей, состоящим из ее немногочисленной семьи и квартирантов, то и страдали больше всего они, так как на них всей тяжестью легло бремя ее необузданного и ненасытного властолюбия.

Жизнь дала этой женщине в мужья совершенно не схожего с ней, тихого, кроткого человека, неприметного и сдержанного во всем — в манерах, одежде, речах и суждениях. Точнее говоря, подыскал его Маргите «папашин друг», некий фабрикант, у которого «до войны» (что означало на языке ее поколения — до 1914 года) она прожила три года, получив впоследствии по его запутанному завещанию помимо прочего и «право пользования» этим

великолепным домом. Тщедушного человека, ее будущего мужа, неодолимо влекло тогда к себе сильное, словно отлитое из металла, тело молодой женщины и ее загадочное лицо с никогда не улыбающимися глазами.

Хотя муж Маргиты и был родом из Панчева, он мог считаться белградцем, ибо его отец, скромный учитель музыки, перебрался на постоянное жительство в столицу, когда сыну еще не минуло двух лет. Мальчик лишился матери в раннем детстве и вырос под надзором замкнутого, молчаливого до немоты отца.

По роду своих занятий господин Катанич был переписчик-каллиграф и состоял на службе в Королевской орденской канцелярии. Он также изготовлял дипломы и для других государственных и частных учреждений, ибо второго такого почерка и таланта не найти было во всем Белграде. У него было нормальное мужское имя — Исидор, но жена окрестила его Зайцем, и это прозвище так и осталось за ним и в семье и среди знакомых. Его собственный сын, когда заговорил, звал его не «папой», а «Зайкой». Так, все и всюду и звали его: «Зяц, Зайка, Зайчик!»

Вот уж два десятка лет, как этот всегда выбритый и аккуратный человек с влажными глазами, само воплощение предупредительности и доброты, тащил на своем горбу эту ведьму в облике женщины или, как выражался один их квартирант-босниец, «волок баржу посуху». За свое неодолимое и страстное юношеское желание получить бледнолицую, атлетического сложения «воспитанницу» фабриканта он заплатил каторгой, которой не видно было конца.

У этой четы был единственный сын, родившийся в первый год их супружества при необычных обстоятельствах тяжелого военного 1915 года. Это был высокий и сильный юноша лет двадцати — двадцати пяти, с волнистой русой шевелюрой, известный спортсмен, местный чемпион по теннису, член всех спортивных комитетов и обществ, избалованный красавец и бездельник, в ком материнская наглость сочеталась с полным равнодушием ко всему на свете, томной медлительностью в манерах и красотой, унаследованной бог знает от кого. Его имя было Михаило. Мать называла его Мишелем, друзья — Тигром, и под этой кличкой он был известен белградскому свету и спортивной публике. Взгляд Мишеля, загоравшийся желтыми всполохами, и правда соответствовал

его прозвищу, так же как что-то мелькавшее в глазах Маргиты и неожиданно быстрые при ее тучности движения делали мать его похожей на огромную змею тропических широт.

Изнеженный, себялюбивый, эгоистичный юноша без определенных занятий и положения в обществе, без всяких моральных устоев и тени «человеческих чувств», как говорил его отец, был единственным живым существом, смевшим перечить воле госпожи Маргиты и способным вытянуть из нее последние сбережения. И несмотря на то что мать поносила его на чем свет стоит за его безрассудные траты и вечное безделье, она ни в чем не могла ему отказать и в конце концов все ему прощала.

Да и вообще все в этом доме решалось матерью и сыном. Отца они обходили, «переступали» через него во всем. Он не имел права голоса. Слова, готовые сорваться с его губ, и самому ему казались ненужными, лишними, глупыми. Заработок, который он целиком отдавал жене, был не так уж мал, но и это не придавало ему веса. И вынужденный иной раз просить у Маргиты немного из своих денег, он робел и смущался, боясь получить отказ.

Такой представляла семья Зайца, Кобыры и Тигра перед жильцами доходного дома. Она получила прозвище «зверинца», и это прозвище передавалось каждому новому жильцу вместе с ключами от квартиры и суровыми условиями непреклонной госпожи Катанич. Однако ни в одной семье жизнь не бывает так однообразно черна, как склонны ее видеть и изображать соседи. Достаточно бывает измениться обстоятельствам, как в новом освещении неузнаваемо меняются в наших глазах и сами люди, и привычные их отношения.

Подобно большинству людей, проходящих мимо нас по улице, Исидор Катанич тоже был гораздо лучше, чем это могло показаться на первый взгляд. (Поразмыслив, мы увидим, что многие из тех, кого мы по внешнему виду принимаем за ничтожества, в действительности не так уже ничтожны, просто мы привыкли с помощью ряда нулей увеличивать цифру, выражающую, по нашему мнению, собственную нашу ценность.) Исидор Катанич был и лучше и несчастнее. Да, несчастнее, хотя и так уже, как мы сказали, он выглядел достаточно несчастным.

Он был один из тех людей, чья жизнь по мере приближения к концу все меньше походит на ее начало.

Когда-то это был одаренный ребенок с умными глазами и пухлым ртом, наделенный удивительной памятью и голосом, который его учитель пения находил «божественным». В гимназии Исидор был одним из редких счастливых, пользовавшихся равной любовью и товарищей и преподавателей. Он был членом литературного кружка и своими опытами в поэзии и прозе подавал большие надежды; кроме того, он прекрасно играл на фортепьяно и еще лучше рисовал. Казалось, талант художника в нем наиболее ярок и глубок.

Между тем незаметно подошел 1908 год с апнексионным кризисом и брожением, с тех пор не прекращавшимся и захватившим весь Белград, а в особенности умы учащейся молодежи; коснулось оно и одаренного мальчика — как раз в то время, когда в нем боролись его противоречивые и многочисленные таланты. Он пошел за волной большинства тогдашней молодежи, которая предпочитала шумные споры и сходки труду и серьезным размышлениям и никак не могла вволю наговориться и высказаться до конца. Все же Исидор получил аттестат зрелости, но в то же время ощутил в своей душе совершенную пустоту, находившуюся в мучительном и болезненном противоречии с шумной и насыщенной жизнью, бурлящей вокруг. Казалось, все три его таланта — поэтический, музыкальный и художественный — вдруг смешались в нем, подобно подземным водам, и куда-то канули бесследно, словно в невидимый провал. Его рисунки тушью и карандашом пользовались признанием далеко за пределами кружка школьных друзей, объявивших его в своей газете «восходящим графиком» с необычайной легкостью руки и изящной линией пера. Но для него самого эта линия становилась все более неуловимой и расплывчатой, и он все больше убеждался в том, что товарищи обманывались в нем, точно так же как некогда и школьный учитель пения обманывался в его голосе и музыкальности.

И когда в семье встал вопрос о дальнейшем его образовании, отцу, недоверчивому и разочарованному в отношении всего, что касалось искусства, не стоило большого труда уговорить сына идти на юридический факультет. Молодой человек действовал словно во сне, словно речь шла не о его жизни и его судьбе, не веря в себя,

не зная жизни; так он поступил на юридический факультет, безответственно и легкомысленно, как поступил бы в какой-нибудь добровольческий легион, которому не грозит увидеть ни крови, ни боев.

Однако до занятий дело не дошло. Осенью 1912 года разразилась война. Пустота в душе Исидора Катанича заполнилась вдруг вполне реальным содержанием. Вместе со своими сверстниками он пошел на войну. И здесь его захватил всеобщий энтузиазм и вера в справедливость дела, за которое он сражается. Этот энтузиазм в соединении с молодостью заслонял от него безобразные подробности, обнаженные войной и наводившие на тяжкие мысли. Едва попохав пороху, он свалился в брюшном тифу. Возвратился в Белград он похудевший и наголо обритый. И пока медленно отрастали волосы, поначалу редкие и мягкие, как пушок новорожденного, Исидор отсиживался дома. И с каждым днем в нем росла и крепла могучая радость жизни и некое торжественное, священное и в то же время робкое чувство благодарности за все, что существует на свете, за каждую мелочь той жизни, которая как бы вновь открывалась перед ним, не успев еще облечься в определенную форму и получить настоящее имя.

Это настроение долго не покидало Исидора, мешая ему глубже задуматься над войнами и победами. В этом восторженном состоянии духа он и познакомился с Маргитой. С тех пор все его дела и помыслы были связаны с ней. Любовь захватила его, как новая болезнь, в нее он вложил весь тот жар, который ему не удалось выразить ни в поэзии, ни в музыке, ни в живописи.

Осенью 1913 года он поступил чиновником-практикантом в Королевскую орденскую канцелярию с тем, чтобы через год сдать выпускные экзамены за полный курс университета. На службе, собственно, он выполнял работу каллиграфа: заполнял пропуска в орденских дипломах. Тонкой паутинной линией выводил он буквы и замысловатую вязь инициалов, так что полковники и придворные адъютанты просто замирали, пораженные его чудесным искусством.

— Кажется, и смотреть не на что, но уж что есть, то есть... — Так говорили они, застревая в канцелярии, рослые, опаленные дымом войны, со стеками в руках и новенькими орденами на груди, уверенные в себе, сверкая

улыбками над красными отворотами распахнутых шинелей.

А он как бы играл, все следуя, словно в забытьи, за паутишно-тонкой липией своего пера и не веря, что это занятие может стать профессией и единственным средством существования. С ним, однако, именно так и случилось.

В апреле месяце после долгих колебаний Маргита вышла за него замуж. Седой фабрикант дал им приличное приданое и отечески их благословил. Исидор Катанич ни тому, ни другому не придал никакого значения. Он приложился к руке фабриканта, но в те дни он готов был расцеловать весь мир и все живое на свете.

Вскоре наступило то, о чем люди мало говорят, но отчего больше всего страдают. Как и следовало ожидать, их брак с первых дней обнаружил истинное свое лицо — страшное заблуждение с одной стороны и коварный обман — с другой.

Но тут произошло еще и такое, о чем Заяц не помышлял. Началась война 1914 года.

Он был мобилизован со своим годом.

За три года эмиграции Заяц прошел и Торанто, и Корф, и Тулон — маленькая, неприметная песчинка в водовороте бурных событий¹. Напрасно пытался он установить связь с женой в Белграде. Отец написал ему всего однажды, ни словом не обмолвившись непонятно почему ни о снохе, ни о внуке. Потребовав у отца объяснений, Заяц долго не получал от него никакого ответа, а спустя некоторое время пришло письмо от малознакомых соседей, сообщавших, что старый Катанич умер, одинокий и замкнутый, каким он был всю жизнь. Только где-то летом 1918 года его жена дала о себе знать, прислав из Белграда плаксивое и путаное послание, где между прочим писалось, что «своего папочку обнимает и целует также и сын Михаило».

Возвратившись в январе 1919 года в Белград, Заяц застал там старую развалину вместо прежней Маргиты и при ней крепкого светловолосого мальчугана четырех лет. Даже и по тем временам страшных и невероятных потрясений происшедшая с Маргитой перемена казалась чересчур уж страшной и невероятной. Дело заключалось не только в том, что она постарела и сдала физически,

¹ Сербская армия после ряда поражений была выведена за границу, где оставалась до конца войны.

но она как-то вся раскисла и обмякла, приобретя в то же время нетерпеливые и резкие движения и какую-то опасную, вздорную, назойливую говорливость.

Вот какую жену нашел Заяц вместо прежней прекрасной Маргиты, а с ней вместе и некую историю, одну из тех историй времен оккупации, в которых горькая истина смешивалась с гнусной ложью. История эта состояла в следующем. Оставшись без мужа одна, Маргита хлебнула горя. С ужасом поняла она, что беременна. Старого фабриканта в это время интернировали австрийцы. Покинутая всеми в пустом Белграде, она перебралась в Земун к одной родственнице, и здесь родила ребенка, долго считая его сиротой, так как о муже не было ни слуху ни духу. Вскоре, по счастью, фабриканта выпустили, и благодаря его заботе она с младенцем осталась в живых. С год тому назад Маргита вернулась в Белград и получила весть о муже.

Вся эта исповедь прерывалась нескончаемыми отступлениями и планами на будущее.

Правда, до Зайца доходили и другие слухи о том, как Маргита провела годы войны. Стараниями двух дальних его родственников из Панчева, старых дев, Маргитина история предстала перед ним совсем в ином свете. По их словам, ее поведение во время оккупации «не соответствовало нашим семейным понятиям о женской чести». Они довольно прозрачно намекали на одного австрийского интендантского офицера из Земуна и подлинном происхождении ребенка, крещенного лишь в июне 1915 года и задним числом внесенного в январские метрические книги о рождении. Словом, если бы старый Катанич был жив, он рассказал бы ему обо всем с доподлинной точностью.

Так Заяц оказался перед тайной, но ключ от нее унес с собой в могилу покойный отец, а из него и при жизни то нелегко было вытянуть слово.

Нисколько не обескураженная слухами из Панчева, Маргита яростно сопротивлялась, как бы даже черпая радостное вдохновение в этой борьбе. В ее изображении она была истинной великомученицей, ребенок же родился в январе. Это она может доказать, как дважды два четыре, но поскольку в течение нескольких месяцев она находилась между жизнью и смертью, да и вообще тогда кругом была такая неразбериха, то его крестили только в июне. И Маргита, не стесняясь в выражениях, посылала

ла в адрес панчевских девственниц самые тяжкие обвинения. Это было ее излюбленным приемом.

Заяц задыхался под грозным натиском поднявшейся мути, затопившей немного светлое, что сохранилось в нем после всего, что он узнал и пережил. Впрочем, довольно было и всякой другой грязи. Все вокруг смешалось, перепуталось, распалось, приводя в смятение и без того ошеломленного бурями войны и эмиграции человека, горизонт которого сужался настолько, что он терял последнюю способность о чем-нибудь здраво судить.

Будь у него больше непримиримости и твердости в характере, он, может быть, и докопался бы до правды и нашел подтверждение намекам панчевских родственниц. Но наступила печальная пора усталости и довольствования полуправдой, когда в людях такого склада, как Заяц, часто угасала страстная потребность истины — верное мерило жизненных сил и точный показатель самоуважения человека.

И Зайцу казалось поначалу невероятным, что это и есть его жена и его дом, где ему предстоит жить, изо дня в день есть и пить и здесь закончить свою жизнь. Но тем не менее это было именно так. Тогда ему отчасти помог старый фабрикант, — он все еще имел над Зайцем какую-то странную чудесную и умиротворяющую власть и после всех передрыг по-прежнему оставался таким же спокойным, невозмутимым и как бы снисходительно улыбающимся со своих деловых и финансовых высот, лишь несколько пошатнувшихся во время оккупации, но теперь опять стремительно идущих в гору.

Еще большую роль в жизни Зайца сыграла его свояченица Мария. Когда он перед войной познакомился с Маргитой, Мария была чернявенькой, застенчивой и хрупкой девочкой. Теперь она повзрослела, окрепла и выросла не столько физически, сколько духовно. Это была жизнерадостная девушка с черными лучистыми глазами на бледном лице, с высоко вздымавшейся волной буйных черных волос, влажно блестящих, словно они были только что вымыты. Тихая и улыбающаяся, полная доброжелательства и молодых сил, немногословная и услужливая, она во всем была полной противоположностью Маргите. Первый послевоенный год, самый тяжелый, критический год в жизни Зайца, Мария жила в их доме, и благодаря теплой дружбе с этой девушкой, — Исидор полюбил ее как сестру, — он смог кое-как свыкнуться со своим новым

положением и в первый и последний раз в жизни обрел нечто похожее на семейный уют.

Вскоре Заяц получил свое старое место в Королевской орденской канцелярии. Все здесь, начиная с жалованья, званий и количества дел, увеличивалось и расширялось, отражая мощные и беспорядочные рывки, отмечавшие веки развития послевоенного Белграда.

Спустя два года умер старый фабрикант, завещав Маргите, помимо всего прочего, в пожизненное пользование и этот пятиэтажный дом, в то время еще не совсем отстроенный.

Один из инженеров, работавших на строительстве дома, познакомился с Марией и сразу же сделал ей предложение. Это был вечно смущавшийся добродушный великан, уроженец Бачки, не добравший в росте каких-нибудь двух сантиметров до полных двух метров, что, однако, с лихвой восполнялось могучим разворотом плеч, тяжелой поступью и огромными заскорузлыми руками труженика. Способности этого человека, так же как и его кругозор, были ограниченными. Звали его Йован Дорошкий, а попросту Дорош.

С искренним сожалением и искренней радостью проводил Заяц Марию,— они с мужем переехали в Шабац,— и остался один, между Маргитой и мальчиком неизвестного происхождения.

Разделавшись раз и навсегда с неприятными воспоминаниями о временах оккупации и вступив во владение прекрасным и весьма доходным домом, Маргита с помощью ловких махинаций и связей упрочила свое состояние и начала на глазах разбухать и раздаваться вширь, бесцеременно утверждаясь в своих правах, наглеть и надуваться спесью, пока, наконец, с годами не обратилась в Кобру, известную всему многонаселенному дому и соседям во всей округе. А под ее крылом, исполненный чудовищно-холодного безразличия ко всему на свете, включая родителей, товарищей, школу и науки, подрастал и развивался ее сынок, пока, наконец, не преобразовался в футболиста и чемпиона по теннису, совершенный образец современного белградского «льва».

За два десятка лет, что понадобились Белграду, чтобы разрастись в большой и поразительный город, семейство Зайца превратилось в «зверинец», а у него самого и дома и в обществе сложились те самые болезненные отношения, описанные нами вначале.

Трудно добавить что-нибудь еще о жизни тех лет, говоря о таком человеке, как Заяц, который слишком мало значил в этой жизни и еще меньше от нее получал. Да и сколько в тогдашнем Белграде было людей без направления и места в жизни, лишенных силы и воли, однако остро ощущавших бесполезность, никчемность бесцельного и недостойного существования? Но у большинства до кризиса и перелома дело не доходило. У Исидора Катанича все же дошло.

Кто знает, насколько хватило бы долготерпения пассивному по натуре Зайцу, если бы его семейная жизнь не становилась все тяжелее и непереносимее. Маргита с годами утрачивала всякую способность сдерживать себя и обуздывать дурные склонности сына. Какие только нелепые планы не рождались в голове у Зайца! То он решал все бросить и поселиться уединенно на окраине города, то бежать куда глаза глядят или, наконец, потребовать развода хотя бы и ценой скандала, но мысли эти приходили ему лишь в самые тяжелые минуты, а потом он о них забывал и продолжал терпеть и только с удивлением спрашивал себя, как может вообще существовать такой семейный союз, где мать и сын, по крайней мере в отношении к нему, не проявляли ни единой доброй человеческой черты.

В канцелярии, где он работал, дела обстояли не намного лучше. Казалось, ему повсюду было уготовано такое же место, какое он занимал в семье. Исидора Катанича бессовестно эксплуатировали, злоупотребляя его безответностью, но в то же время относились к нему как к бессловесному существу. «Этого господина Зайца у нас никто и в грош не ставит», — замечал, бывало, с удивлением и некоторой долей сочувствия старый служитель Канцелярии королевских орденов. А уж когда у нас когонибудь и в грош не ставят, это значит, что им помыкают все кому не лень.

Точно так же было и вне канцелярии. Униженный и одинокий в своем доме, он стремился хоть к кому-то прилепиться, но и это ему не удавалось. Пробовал он ходить в кофейни, где его сослуживцы имели постоянные столики и водили общую компанию. Но и там он чувствовал себя не в своей тарелке; вечно терзался подозрением, что с ним никто не говорит ни в шутку ни всерьез и что и самому ему печего сказать, а если он и скажет что-нибудь, так и это пропадает незамеченным. В одиночестве

своим он часто возвращался мыслями к тем временам, когда он рисовал, следил за развитием живописи, вспоминал он и свои стихи, и свой «божественный» альб, но мир искусства давно был для него закрыт и отверг его, как отвергло и все прочее.

Единственное, что осталось ему от незабвенной юности,— это привычка к чтению. Правда, теперь оно приобрело случайный и беспорядочный характер. Как все, кто ищет в чтении прежде всего утешения и забвения, он все реже и реже находил себе книги, которые могли бы увести его подальше от действительной жизни.

Таким образом, и эта последняя спасительная дверь все чаще закрывалась перед ним, и открывать ее с каждым разом становилось все труднее.

II

Где-то около 1930 года тягостное положение Зайца пошло к роковому пределу. Могущество Маргиты достигло наивысшей точки. Ее единственный сыночек Тигр, распущенный, сильный, длинноногий парень, уже проявлял признаки преждевременной возмужалости и своей наглостью сгущал и без того гнетущую атмосферу в доме. Заяц похудел до пятидесяти килограммов. На глазах его то и дело навертывались слезы, руки дрожали. Это начало отражаться и на его каллиграфии. Он сторонился людей, тяготился работой. Продолжавшая распухать Маргита и Тигр, росший чуть ли не на глазах, вытесняли его из жизни, жизнь стала ему ненавистна. Он начал помышлять о самоубийстве.

В ту пору обитателей Белграда, бурлившего страстями и пресыщенного изобилием, гораздо чаще, чем это можно себе представить по слухам, газетной хронике и книгам, преследовал черный призрак самоубийства, обходя, как правило, непросвещенных бедняков и посещая людей обеспеченных и образованных.

Мысль о самоубийстве стала единственным утешением и верной спутницей Зайца. Против нее восставала и решительно осуждала ее здоровая часть его существа, но слабость и подавленность безудержно влекли его к осуществлению рокового намерения. Его добропорядочность и неистребимое в нем человеческое достоинство долго отвергало эту мысль, но, будучи сломленным в конце

концов, заставило его искать наиболее «пристойный» способ добровольного ухода из жизни. «Только без крикливости и мерзкого позерства», — подсказывал Заяц его помраченный рассудок.

Итак, погруженный в мысли о неотвратимом конце, обходя как-то железнодорожные пути вдоль Савского берега в поисках наиболее приемлемого и благопристойного способа самоубийства, Заяц вместо смерти открыл вдруг Саву и на ней удивительную жизнь.

Однажды майским днем, гонимый своими мрачными думами, он брел как-то от общественной купальни на Чукарице по берегу реки, пестревшему беспорядочно разбросанными домишками, бараками и причалами, и на одной полуистлевшей перевернутой барже наткнулся на своего старого доброго знакомого. Это был Мика Джёрджевич, по «роду занятий капитан первого класса в отставке». Заяц знал его еще молодым подпоручиком в войну 1912 года, а потом встретился с ним в Тулоне, в 1915 году. После войны они виделись всего один-два раза, и Заяц узнал, что капитан по какой-то причине вышел из армии. И вот теперь Заяц встретил его здесь, на Саве, полуодетого, успевшего уже прекрасно загореть, с удочкой в руках. Заяц подсел к нему, и у них завязался разговор.

Капитан Мика был родом из Иваницы, невысокий, коренастый, наголо обритый, с черными блестящими глазами, излучавшими какой-то поразительный свет. Фронтвик и инвалид, он вскоре после окончания войны вышел на пенсию и жил сейчас в комнатенке на Сепяке.

— Да на самом деле я здесь, брат, на Саве, живу, с водой и здешним народом.

Заяц, обуреваемый своими мыслями и не замечавший ничего вокруг, осмотрелся внимательнее. Берег и в самом деле кишел людьми — купальщиками, рыбаками, рабочими, рыбаками, бродягами и прочим людом неопределенных занятий и неопределенного происхождения.

Он завернул сюда и на следующий день и нашел капитана, словно изваяние, на том же самом месте и в том же самом блаженном настроении.

— Живу, брат, что твой помещик, — с ироническим нажимом произнося слово «помещик» и делая широкий жест рукой, сказал капитан. — Ни перед кем не в ответе. Приходи, когда хочешь, и рыбачь себе на Саве на здоровье, и рыбе от этого урон небольшой, и мне прибыль невелика,

а так! Сживаетея человек с народом на реке. Я тут каждую лодку, каждую купальню, каждый плот, и дом, и кофейни вдоль всего берега как свои пять пальцев знаю. Подкрепишься где бог пошлет, там, глядишь, в картишки перекинешься, а потом и соснешь малость. Вечерком посидишь с друзьями, рюмочку пропустишь, рыбкой закусишь. Ни с кем я своей долей не переменюсь! Так у меня и проходит семь-восемь месяцев в году. А как осень настанет, я в свое село закатываюсь. И там тоже славно! Приходилось ли тебе слушать, как в печке потрескивают поленья, а на дворе дух захватывает от мороза? Весной я возвращаюсь в Белград и оседаю на Саве — и снова до осени.

Так говорил капитан Мика, может быть, слишком громко и пространно, чересчур подчеркивая свою беспечность и праздность, но Заяц ничего этого не замечал, переполненный счастьем обретения человека, проявившего желание сердечно и открыто с ним беседовать и радостно отзывающегося о жизни. Он не совсем понимал, что это за жизнь и что особенного находит капитан в этой Саве, но как бы там ни было, он видел перед собой здорового и явно довольного жизнью человека. И Заяц тотчас же подумал о своей жизни и о том, какая мысль привела его сюда. А капитан Мика, как будто догадавшись об этом, схватил Зайца за плечо и энергично встряхнул его:

— А ты, брат, что-то больно исхудал. Правда, богатырем ты никогда не был, но, ей-богу, от тебя половина осталась!.. — говорил капитан своим громким голосом. (Он, казалось, только так и умел говорить.)

У Зайца защемило в горле, глаза наполнились слезами, и впервые он ощутил острую потребность пожаловаться, но врожденная застенчивость и на этот раз взяла верх, и он неопределенно пробормотал:

— Да, так, знаешь... дела... заботы... У каждого...

— Полно, брат, что ты будешь на всякого там «каждого» равняться, пусть они идут, откуда пришли, а ты обзаводись-ка удилицем да крючками, скинь с себя свой галстук и все это барахло и садись возле меня. Ну, не прямо тут, а чуть подалее, а то, чего доброго, рыбу распугаешь! Садись, говорю тебе, и увидишь, что с тобой сделают за неделю солнце и вода. Другим человеком станешь! Да еще каким человеком. Сейчас умные люди на Саве живут, поверь моему слову. А там... — И капитан

махнул рукой в направлении серо-зеленого нагромождения прилепившихся друг к другу домов, образующих центр Белграда, но ничего не сказал, а только смянул в воду.

Заяц послушался не столько капитана, — на его взгляд, немного чудаковатого, — сколько подчинился неудержимой тяге к реке, к воде. Ибо с той самой минуты, как он присел рядом с капитаном на перевернутую баржу, он уже не мог противиться необъяснимо притягательной силе, имя которой — Сава.

Разумеется, на первых порах Заяц натолкнулся на яростное сопротивление Маргиты.

— Что это с тобой? Ты, кажется, совсем сдурел, на старости лет вздумал рыбаком заделаться, — выходила из себя Маргита, ибо ей ненавистна была всякая радость. — Где это видано, чтобы порядочные люди шатались по Саве и якшались там с картежниками и мошенниками!

«Какая удивительная способность во всем видеть только дурное и ко всему приклеивать грязные ярлыки! Откуда в ней это?» — думал Заяц. Впрочем, этот вопрос уже многие годы сверлил его мозг, но ответа на него так и не находилось. Не обошлось без скандала и при покупке рыболовных снастей и необходимой для реки одежды. Маргита чувствовала, что у мужа появилась в жизни какая-то радость, отравить и испортить которую было не в ее силах! Значит, он выходит из-под ее власти?! Это бесило ее. Сколько тут было шипения и брани, сколько хлопанья по необъятным бедрам, но Заяц, к ее удивлению, непоколебимо оставался при своем, храня спокойное упорство человека, готового все перетерпеть ради осуществления своей заветной мечты.

Может быть, у Зайца и не хватило бы твердости настоять на своем, если бы Маргита сама не ослабила поводья. Она продолжала поносить и его и Саву, но чувствовалось, что сопротивление ее сломлено. Очевидно, Кобра усмотрела какую-то выгоду для себя в затее мужа, хотя и не понятно какую. Маргита была из той породы женщин, которые мечут гром и молнии и перевертывают дом вверх дном, когда им что-то неуютно, но ни словом, ни жестом не покажут своего одобрения и согласия.

На следующий год Маргита совсем отступилась, хотя ворчала и бранилась по-прежнему, но это уж скорее по привычке распекать его за любой шаг.

Так Заяц стал завсегдатаем Савы. Первые уроки рыболовной науки он получил от капитана Мики. Уроки были предельно лаконичны. Во всем большой оригинал, капитан ввел своего ученика в курс дела несколькими сжатыми советами, относящимися ко всему на свете, только не к предмету урока.

— Как я не педагог, так и из тебя рыболова никогда не получится. Да и вообще, разве рыба важна! Сиди, гляди на воду, да «думай свою думку» (капитан обожал пересыпать свою речь покалеченными остатками русского языка, некогда изучавшегося им в Военной академии). А надоест — бултыхайся в воду, освежись — и валяй дальше!

Зайцу стоило немалых усилий признаться в том, что он не умеет плавать.

— Э-хе-хе! — добродушно усмехнулся капитан Мика, не отрывая глаз от удочки. — Ну, ты и герой! Университеты копчал, сколько премудростей одолел, а плавать не научился, когда здесь, на Саве, каждый ребенок плавать умеет! Вот тебе твоя наука! Главного-то вы и не учите. Выходит, толкни тебя сейчас кто-нибудь в воду — ты и пойдешь на дно, как топор, вместе со своей наукой и ученостью!

Но рыбная ловля и плаванье в самом деле оказались здесь не самым главным, гораздо существеннее было то, что после встречи с капитаном Микой Заяц, обветренный и загоревший, открыл для себя Саву и жизнь на ней и вместе с привычкой проводить время на берегу, у воды, приобрел размеренность в словах и движениях и отрешился от недостойной и страшной мысли, некогда приведшей его сюда.

В семье, правда, его положение несколько не улучшилось, скорее даже напротив. Тяжкой безысходностью давило на него это бремя, но теперь его как бы легче было нести, ибо по крайней мере с апреля по ноябрь у него был другой мир — на Саве. Он вел теперь двойную жизнь: одну старую, опостылевшую — «домашнюю», другую — новую прекрасную — «речную».

В первое же лето Заяц познакомился с другими завсегдатаями и уголками Савы, однако ему потребовалось немало времени, чтобы войти в этот замкнутый и удивительный мир у реки. Поначалу Заяц всюду появлялся в обществе капитана Мики.

— Капитан Мика адъютанта приобрел, — усмехался береговой народ.

А Заяц, тенью следуя за своим другом, познавал неизведанную жизнь. Вскоре он стал предпринимать и самостоятельные прогулки.

Многие белградцы и не подозревают о существовании целого мира, простирающегося от железнодорожного моста вдоль Савского берега вплоть до Чукарицы. А между тем здесь, на берегу реки, то обрывистом, то болотистом, местами выжженном солнцем, местами поросшем беспорядочной растительностью, а кое-где голом, рождалось, жило и умирало особое племя людей, «живших рекой».

Это племя, шесть-семь месяцев населявшее берег реки, делилось на две группы. К первой, самой многочисленной, относились белградские жители — купальщики, рыболовы, гребцы; они приходят сюда заняться любимым спортом, поглазеть на женщин, поразвлечься или просто сбросить с себя городскую одежду, а вместе с ней и тяготы повседневной жизни и здесь, у воды, среди кустов и песка, отдохнуть от сковывающих условностей большого города. Ко второй, не столь многочисленной, принадлежат постоянные или сезонные береговые рабочие — рыбаки, лодочники, мелкие ремесленники, по большей части плотники и кузнецы, возчики, арендаторы причалов и купален, трактирщики, которые открывают в «сезон» свои убогие, покосившиеся, кое-как залатанные и подмазанные заведения. И, наконец, бездомные бродяги, бездельники без определенных занятий и обязанностей.

Любопытное племя! Тут встретишь честных тружеников и степенных отцов семейства, молчаливых, скромных бобылей, а рядом с ними профессиональных контрабандистов и шулеров, развратников и сутенеров; есть среди них непьющие, а есть и завзятые пьяницы; есть скандалисты и убийцы, а есть и кроткие, как овечки, простаки. Но всех их объединяет нечто общее, что позволяет им жить на Саве и Савой. Какой-то странный и тайный отбор выбросил людей из города на этот берег. Почти у каждого из них за душой несведенные счета с жизнью, и жизнь, как правило, является их должником. Впрочем, каковы бы ни были эти люди и чем бы они ни занимались (а честно говоря, народ здесь со всячинкой), они как-то веселее, занятней, а иной раз привлекательней и беззлобней себе подобных с другого конца Белграда. Может быть, от того, что они обретаются на воде, текучей

стихии, которая многое смягчает и уносит, и под солнцем, придающим всему иную окраску. А они тут все время под солнцем, как в тропиках, потому что живут они тут только в «сезон» и только им. Здесь нет пастолько неграмотного человека, который не вставлял бы это иностранное слово к месту и не к месту. Солнечная пора составляет продолжительность их тропической жизни. Зимой этот уголок исчезает с генерального плана города. Большинство его жителей разбредается кто куда или забирается в свои берлоги. Таким образом, и труд этих людей, если они работают, и пороки и выходки бездельников, спекулянтов и кутил,— все это лишено угрюмой городской тяжеловесности, ибо освещено солнцем и совершается у воды, на мягком сыпучем песке, под трепещущими ивами на островах, на вольном открытом просторе, на свежем воздухе.

Здесьшний люд такой же, как и везде, только, может быть, менее скованный и более свободный. Однако же сравнение его с Маргитой и ее кругом неизменно будет в его пользу. И когда Маргита время от времени принималась укорять мужа за дружбу с «жуликами и пропойцами», Заяц с нежностью вспоминал своих новых знакомых, которые, правда, не прочь харкнуть в воду, и подшутить над приятелем, и «замотать» должок, и крепко выругаться при случае, зато чужды беспричинной враждебности и гадких низких помыслов и слов. Правда, и они могут быть мстительны и злы соответственно тому, как их выпестовала жизнь, но зато им свойственны висящие порывы доброты, щедрости и благородства без всякого расчета и корысти. А это, даже случайно, совершенно невозможно в том кругу, к которому принадлежит Маргита.

Год за годом, сначала под руководством Мики, а затем и самостоятельно, Заяц все глубже знакомился с этим миром. Состав его был непостоянен и изменчив, как воды быстрой реки. Каждое лето здесь появлялись новые лица и исчезали старые: кто в поисках работы, кто на кладбище, а кто и на каторгу. Исчезнувших неизменно поминали добром, а к новичкам относились недоверчиво, во всяком случае, в первый «сезон».

В стороне от модных купален, расположенных у «Шести тополей», и фешенебельных яхт-клубов и пляжей, куда в жаркие летние дни стекаются тысячи белградцев, центральную геометрическую точку берегового мира состав-

ляли безымянная купальня, выкрашенная в зеленый цвет и вынесенная далеко в воду, и рядом с ней на берегу низкая покосившаяся кофейня, обвитая вьюном и закрытая тенью высоких акаций. Здесь был «штаб» капитана Мики, отсюда Заяц отправлялся в свои скитания по берегу.

Купальню арендовал Станко Нешич — большой, высокий человек с выпяченным круглым животом, тонкими ногами, волосатой грудью, сильными руками, большой головой, небритой широкой физиономией и веселыми озорными глазами. Все звали его «хозяин Станко», хотя и непонятно отчего и почему. У кассы по очереди сидели жена и дочь, за кабинами на берегу следил работник Йован по прозвищу Франт, а сам хозяин целыми днями фланировал по берегу, исполняя таким образом основную часть «работы». С юрьева дня до дня святого Димитрия хозяин Станко одет в одно и то же. Костюм его состоял из длинных и широких черных купальных трусов, смахивающих на обрезанные шаровары, и соломенной шляпы без полей, напоминавшей некое подобие соломенной фески. К этому добавьте неизменную сигарку в зубах. И это все. В таком виде обходит он причалы, хибарки и кофейни, толчется у чужих купален, подходит к компаниям купальщиков, закусывающих под деревьями у воды, перекрикивается и торгуется с рыбаками и лодочниками, проплывающими мимо.

Он был своего рода невыбранным и незазначенным, но всеми признанным главой, советчиком и судьей небольшой общины речного народа.

Промышлял он скупкой разного старья: лодок, моторов, холодильников, плит, шкафов, — словом, всякого деревянного и металлического хлама, который переделывал, а после перепродавал. Все расчеты Станко производил в уме. Бухгалтерия его была безукоризненно точной. Он никогда не ошибается. Но денег у него никогда нет. И если бы не его работающая жена, умевшая всеми правдами и неправдами прикопить какой-нибудь динар, не поднять бы Станко и той халупы, что стояла на Саве. В редкие минуты благодушной откровенности Станко так говорил про себя:

— Все вы тут знаете Перу Стевчича, миллионера? Так вот, нас с ним в один и тот же день выставили из первого класса гимназии, и за дело мы взялись одновременно. И что ж, — сейчас он первый промышленник Белграда. Три дома имеет. Один на Гроблянской улице, шес-

тиэтажный. Вы спросите, как же это так? А очень просто. Прежде всего — он метил высоко, а я по мелочам загадывал. Потом, что греха таить, я люблю выпить и погулять. И вот оп — кирпичик, я — кружку пива; он — кирпичик, я — кружку пива; да и до вина я большой охотник, и до всего прочего. Сегодня так, завтра так, — и вот тебе, пожалуйста! Бог помогает и ему и мне, мне — тратить, ему — копить. И что же? Меня все здесь хозяином величают, а его — скупердьяем. Вот так-то дела обстоят!

Вообще же у Станко своя философия, хотя много философствовать он не любит; на купальне его у самого входа приколочена табличка с надписью: «И это пройдет!»

Вначале это был обыкновенный картон, но после того, как купальщики, время и непогода привели его в полную негодность, Станко заказал белую эмалированную табличку с черной надписью. Порой какому-нибудь новому посетителю купальни приходит в голову спросить, что, собственно, обозначает эта надпись. Хозяин Станко чаще всего на это совсем не отвечает, посмотрит только своими темными глазами, сужавшимися и косившими в плутовской усмешке, но большими и круглыми в напускном изумлении и в гневе. Но еще хуже, если он решит ответить. Как-то раз один тощий, рыжий купальщик с чешским акцентом пристал к нему с расспросами, что должна обозначать «эта странная надпись»?

— А то, что все проходит, — нехотя бросил хозяин Станко.

— Так это всякому умному и так ясно.

— А это для дураков, которые спрашивают.

Ближайшие соседи Станко — трактирщик Наум, светловолосый, полный и румяный македонец, всецело поглощенный делом и неразговорчивый. С мая по октябрь он не покидает своей кофейни, сколоченной из разномастных досок, летом перед ней цветут бархотки и вьются по веревкам вьюны. Из кофейни на улицу вынесено с десятков столиков, покрытых скатертями, по воскресеньям до самого полудня безукоризненно белыми. Тут проводит Наум «сезон», приносящий ему неплохие доходы, между тем как жена его и семья остаются в городе, так как он «то и это никогда не смешивает». При всей своей немногословности иной раз и он не мог удержаться от того, чтобы не похвастаться сыном-студентом и дочкой-гимназисткой.

Другой сосед Станко и постоянный житель берега — Милан Страгарац, высокий, совершенно седой человек с длинными усами, правильными чертами лица и четким профилем. Милан человек тоже замкнутый, передвигается с трудом, так как когда-то давно (никто точно не знает, когда именно и как) он потерял правую ногу и теперь у него протез. Обитает он в полуразрушенной халупе со своей рослой рыжеволосой женой. Он был и служащим речного пароходства, и лодочником, и рыбаком — всем понемногу. Сейчас он плетет сети, чинит инструмент, сидя под развесистым орехом, переросшим его ветхий дом. Кое-кто поговаривает шепотком, будто Милан связан с полицией и является осведомителем, оттого-то и потерял ногу, а теперь, мол, получает пенсию за это. Но открыто об этом никто не говорит. Единственное, что вам, может быть, и удастся услышать после того, как вы пропустите по второй стопке ракии с кем-нибудь из береговых рабочих и заведете разговор о том, кто как живет, так это только:

— А, Милан... Его дело известное...

Однако если вы спросите, что же это за дело, вам только и скажут:

— Да разве я что-нибудь говорю?

И, может быть, лишь взглядом или жестом укажут куда-то неопределенно вдаль, где уж во всяком случае не бывает ничего хорошего и о чем не стоит и говорить.

Милан всегда нахмуренный, мрачный и скорее рычит, чем говорит. Но, несмотря на его неподвижность и неразговорчивость, береговые обитатели, недолюбливая его и побаиваясь, предпочитают ни в чем ему не перечить и не ссориться с ним, пусть и приходится поступиться при этом лишним динаром, даже хозяин Станко обращается с ним любезнее и обходительнее, чем с другими. Можно сказать, что он больше живет этой своей мрачностью и грубостью, чем ремеслом.

Трудно определить, в чем заключалась сила этого тирана, но держится он так уверенно и с такой удивительной наглостью умеет навязать свою волю окружающим, что они привыкли принимать ее как нечто неизбежное и стараются ценою мелких уступок задобрить его, хотя и не могут завоевать его расположения или хотя бы избежать презрения, неизбежно распространяющегося на всех и вся,

Есть у нас такие люди. Их можно встретить повсюду. Не только в полицейских участках, жандармских казармах и провинциальных учреждениях, но и в других общественных местах в роли мелких служащих, начальников или даже министров, попадают они и в редакциях газет, и в учебных заведениях. Кому не знаком этот тип деспота и паразита с мрачным и важным фасадом, за которым скрывается пустота? Чьи интересы, чье достоинство не было ими уязвлено? Кого не оскорбляла их надменность? Только тех, кто не живет и не работает вообще или кто сам такой же. Все остальные их прекрасно знают. Иногда под их началом целый край, иногда полк солдат или школьный класс, иногда один-единственный «референт» или три-четыре члена собственной семьи, а в случае Милана — несколько десятков квадратных метров убогого берега реки. Но основные принципы их существования всюду одинаковы.

От этого Милана Заяц и услышал однажды некоторые подробности о капитане Мике и его судьбе.

Спускались душные сумерки. Милан, по своему обыкновению, сидел на траве под орехом в окружении нескольких савских жителей. Распивали валевскую ракию, принесенную кем-то «на пробу». Заяц подошел незаметным и стал позади собравшихся.

Милан выпил стопку и, поджав губы так, что концы его седых усов задрались вверх, проговорил язвительно, очевидно, продолжая начатый спор и не глядя на своего собеседника:

— Что? Кто? Ах, Мика! Ужицкий пройдоха, всю жизнь прикидывается простачком. А сам из коммунистов, во всяком случае, из их бражки,— за это его в двадцать первом году и выгнали из армии. Нашли коммунистические листовки, отпечатанные на машинке из его канцелярии. Все, не отпрешься, и уекли бы голубчика на каторгу, но он и тут словчил... А потом умудрился даже пенсию выхлопотать. Сейчас приутих, строит из себя дурачка, да только кто ж ему поверит! — И Страгарац сплюнул в сторону.

Заяц тихонько отошел, пораженный и испуганный. На него напал безотчетный обывательский страх перед колдовской силой слова — страх, идущий впереди рассудка и мешающий понять и разобраться в истинном смысле услышанного.

С той поры Заяц стал внимательней присматриваться к капитану Мике, испытывая смешанное чувство любопытства и симпатии, уважения и настороженности. Что в нем наигранное? А что — его существо? Может быть, это лишь маска? Каково же тогда подлинное его лицо?

Однажды Зайцу приснился мучительный сон: перед ним предстали Мика и Милан Страгарац, требуя от него немедленного решения: чью сторону он выбирает?

Оба ждали ответа. На мрачном лице Страгараца с седой щетиной блуждала непонятная, как иностранная речь, усмешка. А капитан Мика стоял, широко расставив ноги, и, добродушно улыбаясь, говорил, как при первом свидании:

— Умные люди на Саве живут!..

При этом он лукаво подмигивал с таким выражением, словно кто-то стоял у Зайца за спиной. Это приводило Зайца в замешательство, смущало и даже обижало. Он за капитана Мику, совершенно ясно, и он хотел как-нибудь дать ему об этом знать, но так, чтобы не заметил Страгарац. Он что-то лепетал, плел, но никак не мог выпутаться из затруднения, так что все это становилось мучительным и неприличным, и проснулся он с чувством облегчения.

Мысли его не раз потом возвращались к тому, что он услышал от Страгараца. Но постепенно все забылось: и слухи о таинственном прошлом капитана Мики, и собственный его испуг. (Здесь, на реке, под жарким солнцем, никакие неприятности и страхи не имели длительной власти над человеком!) И только иногда, сидя с ним вдвоем на припеке перед кофейней Наума в ожидании, когда поджарится выловленная ими рыба, Заяц, жмурясь от яркого солнца, смотрел на круглую, наголо обриту голову капитана и почему-то думал, что, ясно, он за капитана Мику и ни за кого другого. Ясное дело! И если в этом есть какой-то риск и опасность, он готов пойти на них. Да, да, готов пойти. Да, и наконец сама опасность, должно быть, не так уж велика. Одно бесспорно — люди вроде этого Страгараца — большое зло нашей жизни. При одном воспоминании о нем становится не по себе.

Третьим и последним соседом Станко был Иван Истриин — столяр, мастер-лодочник, со своей женой Мариеттой.

По выражению Станко, это «тяжелый случай». Оба они беженцы из Истрии. Она старше его, непутевая, выдавшая виды бабенка. Он светловолосый и высокий, со

светло-голубыми глазами. Иван производил впечатление большой физической силы и умственной неполноценности. Он трудился усердно и упорно, а по воскресеньям напивался, притом только после полудня, ибо с утра непременно шел в католический костел на Крунской улице.

Все лето Иван возился с лодками и байдарками, делал новые и чинил старые. В широких холщовых штанах, босой, в рваной рубашке, со спутавшимися вихрами, полными пыли и стружек, он с подмастерьем и учеником работал не покладая рук и все равно не справлялся со всеми заказами, а Мариетта жила сама по себе: сорила деньгами, каждый сезон меняла любовников и опускалась все ниже и ниже. Их брачный союз — предмет насмешек и сплетен всего берега. А мастер Иван, отлично все видя, не смеет и пальцем ее тронуть, все сносит и терпит, и хотя бы уж терпел молча, с достоинством! Но нет, он то принимается жаловаться всем, особенно Зайцу и трактирщику Науму, то начинает выгораживать ее, защищая от соседских пересудов. Так эта пара, возмущая спокойствие берегового народа, одновременно его увеселяла постоянными сценами с угрозами, слезами, заклинаниями, бурными объяснениями и постыдными примирениями.

Однажды летом — это был уже четвертый год, как Заяц обосновался на Саве, — произошло то, чего никто не ожидал от мастера Ивана. Как-то в воскресенье, рано утром, еще до появления на берегу первых посетителей, он зашел в кофейню, опрокинул стопку ракии и, собрав все лицо в досадливую мину сильно расстроенного человека, посетовал Науму:

— Не знаю, видит бог, что мне и делать. Мо~~г~~-то стала деньги у меня таскать. Как быть, скажи, ради бога, Наум... До добра это не доведет.

— И-х-х! — протянул в ответ Наум, но интонация этого глубокомысленно-отвлеченного македонского «и-х-х» была столь неопределенна, что невозможно было понять, осуждает ли трактирщик Мариетту, или жалеет Ивана, или, наоборот, жалеет обоих, или обвиняет обоих вместе со всем светом, который «неладно, ох как неладно» устроен.

Вечером того же дня Иван подкараулил Мариетту у сундучка, где он прятал деньги и к которому она подобрала ключ. Он поймал ее с сотенной кредиткой в руках. Выхватив из недостроенной лодки тяжелый тесак, он кинулся на нее и размеренными, сноровистыми ударами

стал ее рубить, пока не превратил в кровавое месиво в дальнем темном углу мастерской.

Затем он вышел и направился к дому Страгараца, где, как обычно, под орехом сидело с десятком рабочих и полудетых купальщиков. Высоко подняв окровавленную руку, он сквозь рыдания прокричал:

— Вызовите полицию, вызовите полицию!

Окаменев от ужаса, люди, не выпуская стаканов из рук, молча смотрели на него.

Это было из ряда вон выходящее событие даже и для здешних мест, где все воспринималось как-то легче. Следствие вызывало всех соседей в качестве свидетелей, а большинство присутствовало и на суде. Расходясь по домам, они говорили про несчастного Ивана: «Никудышный человек!» Но на суде давали показания в его пользу. Благодаря этому, а также опытности адвоката-словенца, Ивана приговорили всего лишь к восьми годам каторги.

Вообще же трагедии не в характере обитателей Савы. Повздорят женщины, разбирая детские драки, или мужчины не поделят чего-нибудь в делах. Разругаются, а потом за стопкой ракии и помирятся. Или наоборот, за ракией поссорятся, а за работой помирятся.

В нескольких шагах от дома бедняги Ивана Истринина, возле самой дороги, примостилась маленькая дощатая кузница Джёки. Тесная, темная, в дыму и искрах, насквозь пропахшая кислым запахом раскаленного железа и продуваемая всеми ветрами.

Заяц каждый день ходил к кузнецу полюбоваться на то, как он набрасывается на раскаленный огненный металл, будто на заклятого врага, не замечая при этом ничего вокруг, не отвечая на приветствия и вопросы, не видя даже подручного, который ему подсоблял, и только отрывисто бросая приказания. А когда металл под его молотом начинал принимать желанную форму, темнеть и остывать, тогда и кузнец Джёка мало-помалу приходил в себя и обретал способность замечать людей, прислушаться к разговорам и отвечать на вопросы.

Несколько поодаль от кузницы находился и Джёкин дом; немногим лучше и больше его кузницы, он был полон детишек мал мала меньше. А хозяйничала в нем статная, белолицая и опрятная Милена, жена Джёки.

Сумерничая в кофейне Наума, соседи подтрунивали над рвением кузнеца в работе и над многочисленностью

его потомства, на что он только добродушно и смущенно усмехался:

— Пусть себе, пусть, тут перебора не бывает.

Рядом с кузницей расположилась мастерская механика Карла Земунца по прозвищу Дорогуша. Сбитая кое-как из досок, и она ничуть не лучше и не больше Джёкиной кузницы, может быть, только внутри в ней светлее и больше порядка, но и у нее тоже вместо пола влажная, неровно утрамбованная земля. Стены мастерской из лодочных досок насквозь пропитаны машинным маслом и покрыты налетом серой пыли. На одной из них на самом виду заткнута за доски фотография молодой женщины с ребенком на коленях, неизменно привлекающая внимание Зайца, а под ней дешевая искусственная роза из красной бумаги.

Семья Карла обитает в Земуне, а сам он живет отшельником на берегу. С одним только капитаном Микой разговаривает он чаще, чем с другими, да и то с глазу на глаз. На Саве недолюбливают этаких тихонь и нелюди-мов, но за Карлом все признают несомненное превосходство профессионала, который любого инженера «за пояс заткнет». С этим соглашается и сам Милан Страгарац, хотя и величает его за глаза не иначе как «швабским ублюдком», а при встречах не удостаивает ни словом, ни взглядом.

Речной поселок завершается длинными рядами бар-ков и складов одной крупной фирмы по торговле топли-вом, целыми горами угля из Костолаца и высокими штабелями буковых бревен, которые на баржах свозят сюда со всей Сербии.

Протяженное это поселение представляет собой вечное царство непролазной грязи или пыли, копоты, скрипа, крика и отборной ругани. Здесь толкуются рабочие, воз-чики, шоферы, грузчики, плотники-албанцы. Все грубый обтрепанный люд, оценивающий все на свете с точки зрения возможного заработка и подчиняющий этому все свои помыслы и стремления. Между ними снуют всевоз-можные комиссионеры и предприниматели, кладовщики, строгие и ревностные на словах и часто вороватые на деле.

Каждый каменный склад имеет позади два окошка побольше с непременными горшками цветов, за которыми мелькают шустрые ребячьи головки. Обитающие здесь семьи кладовщиков сохраняют в сутолоке большого го-рода привычный уклад жизни своих далеких сел и ме-стечек.

Не было в этой части берега ни мостков для купания, ни зелени, ничего приятного, на чем отдохнул бы взгляд; и если уж нельзя было обойти этот край стороной, купальщики старались побыстрее пройти его, не задерживаясь. Зато капитан Мика частенько захаживал сюда потолковать и пошутить и был желанным гостем в каморках складских рабочих. И Зайца он ввел в этот мир. И мало-помалу Заяц стал его узнавать. Он подружился с рабочими, угощал их и бывал их гостем, заглядывал в их тесные комнатки за складами. Со временем и они привыкли к Зайцу и стали считать его, как и Мику, своим, что значит «савским», человеком.

Именно здесь Заяц узнал и научился понимать настоящую жизнь, — жизнь великого множества людей, о существовании которой он часто забывал, как забывают о ней большинство представителей избранного, привилегированного круга, чьи интересы ограничены регулярным месячным жалованьем, премиальными и дотациями, стипендиями и комиссионными или пожизненными пенсиями, обеспечивающими каждого чиновника, его жену и детей; при этом мальчиков — до окончания образования, девочек — до замужества, а старых дев — по гроб жизни. Только теперь понял Заяц, как обширен и многообразен этот мир труда, наблюдавшийся им в те годы на савском берегу; какого напряжения сил требует от каждого сам этот труд, разобщенный, непостоянный, неверный, так что усилия, вложенные в него, ни в коей степени не соразмерны получаемым результатам и величине заработка, которого едва хватает на нищенское содержание семьи. Большая часть и труда и заработка достается всяческим посредникам, работодателям, собственникам недвижимости и теряется в лабиринтах наемной системы и общего хаоса производства. В этом мире нет ничего прочного и надежного, тут никто не может быть уверен в завтрашнем дне, никто не имеет никакого обеспечения и полностью зависит от работы и заработка. Поэтому все только о нем думают и говорят, одержимые одним стремлением — зашибить где-нибудь лишний грош.

Различие между двумя этими мирами и природа их взаимоотношений — предмет постоянных размышлений Зайца. Только с капитаном Микой он мог поделиться некоторыми своими мыслями. Правда, Мика чаще всего отделялся каким-нибудь туманным афоризмом или шуточной поговоркой, но все же поощрял Зайца к даль-

нейшим рассуждениям и внимательно слушал его, в рассеянной задумчивости уставившись на тихую воду, так что, глядя на них со стороны — застывших сосредоточенно над удочками, никто бы никогда не подумал, о чем идет разговор и что волнует их в эту минуту.

Заяц познакомился не только с береговым людом, но и со множеством рыболовов-любителей — добродушной, ворчливой, или застенчивой публикой, часами сидевшей с удочками в руках. Вместе с одеждой они сбрасывали с себя бремя городских условностей и, устроившись где-нибудь на плоту, блуждали рассеянным взглядом по поверхности реки или всматривались в прозрачную глубину воды, думая о чем-то своем.

Заяц любил следить и за пестрыми, горластыми стаями купальщиков, спортсменов или просто бездельников, покорных новому веянию изменчивой моды; они стекались на Саву, разбредаясь по всем ее уголкам в поисках отдыха, развлечений и новых удовольствий. Много лет подряд, день за днем, Заяц провел, наблюдая за ними.

Обычно он уходил подальше от шума к небольшому причалу, принадлежавшему белградской транспортной фирме и пустующему в те дни, когда не производилась разгрузка.

Причал мерно покачивался на металлических бочках, под ним тихо хлопала вода. Порой Заяц начинало казаться, будто он плывет по реке и все вокруг плывет вместе с ним: и причал, на котором он сидит, и остров, похожий на огромную зеленую баржу, и город наверху, напоминающий сказочный корабль с форштевнем Калемегдана. Взгляд Заяца, не задерживаясь на поплавке, легко скользит по серо-голубой поверхности воды, подернутой рябью и напоминающей под пестерпимым солнечным светом расплавленную сталь; по ее шелковисто-мягкой глади легко и бесшумно скользят рыбацкие баркасы, шлюпки, байдарки, яхты и маленькие ялики. Если сощурить ресницы, они составляют причудливую мозаику и грозят столкнуться друг с другом, но между тем благополучно расходятся и продолжают свой путь. Да и вся эта жизнь на реке и под солнцем кажется такой беспечной и легкой.

Вот в просмоленном, неуклюжем черном баркасе оказался одноглазый рыбак Света по прозвищу Чубук. Заяц хорошо его знает. Он с того берега, но не проходит дня,

чтобы он здесь не появился, так что все давно к нему привыкли и считают своим. Сидя на корме, он гребет и управляет единственным веслом, куцом и обгоревшим, как поварешка, употребляемая при варке повидла. В ногах у Чубука лежит мотор, из тех дешевых, подвесных, что устанавливают на корме. Заржавевший гребной винт торчит вверх. Видно, Чубук откопал его в каком-нибудь бараке или на складе и везет механику на Чукарицу, чтобы сбить ему по дешевке, а тот обработает его так, что он будет как новенький, и ненароком зачистит напильником номерной штамп и фабричную марку, а после продаст какому-нибудь любителю водного спорта и пенавистнику гребли. На этой обетованной земле сотен полуобнаженных купальщиков Чубук всегда появляется одетым: толстая войлочная черная шляпа, под пиджаком жилет, причем застегнутый на все пуговицы, суконные брюки и ошорки на босу ногу. В таком виде ходит он и на рождество. И вечно он прокопченный и черный. «Ты, Чубук, словно сквозь дымоход пролез!» — подденет его, бывало, какой-нибудь насмешник, но он только мигает своим единственным глазом, трет подбородок черной заскорузлой рукой, продолжая думать о своих заботах. А заботы его — чаще всего воровство или какая-нибудь сомнительная перепродажа, ибо, по словам хозяина Станко, дающего характеристики всему, что плавает на веслах или своим ходом ходит вдоль по Саве и около нее, и при этом, как правило, безошибочно точные, Чубук все к рукам приберет, «что только к небу не приковано». Однажды, гонясь за ним, ему и выбили правый глаз. Этим же объясняется и скрытый смысл напоминания, неизменно употребляемого Станковым работником Ивановом, прозванным Франтом, всякий раз, когда ему случается в сумерках застать Чубука у кабины: «Смотри, Чубук, поосторожней, ведь запасной пары глаз у тебя нет!» Безобразный, черный, словно водяной жук, и он тянется за своей добычей. Несчастное создание! Чубук вызывает подозрения, даже когда и не замышляет ничего плохого и, может быть, наоборот, имеет самые добрые намерения.

Чубук проплыл на своем баркасе, оставив за собой белую струйку дыма от короткой прокопченной трубки — ее Чубук никогда не выпускал изо рта, ни разожженной, ни потушенной. Так курят люди с нечистой совестью и сложными отношениями с миром. («Если бы

Чубук не держался зубами за трубку, он давно бы в Саву свалился», — говорил Станко.)

Вот в прищуре ресниц Заяц увидел светлый ялик. На веслах сидит мужчина в соломенной шляпе, руки и плечи у него до красноты обгорели на солнце, на корме — красивая женщина в синем купальном костюме выставила напоказ свои стройные, словно точеные, ноги. Она раскрыла зонтик от солнца; должно быть, русская эмигрантка. Есть что-то печальное в том, как этот уже немолодой человек, с усилием налегая на весла, везет по реке свой груз. Но эта грустная мысль, промелькнув в мозгу, тает, как тень от облака, как дым от трубки Чубука.

Затем вид заслоняет маленький закоптелый буксир с надписью на борту: «Краина», из его трубы вырывается столб черного дыма, отбрасывая грязную тень на светлую поверхность реки. Неказистый с виду, но сильный пароходик тащит за собой две большие груженные баржи. На палубе второй баржи прилепился деревянный белый домик с цветочными горшками в окнах. Из домика выходит молодая босоногая женщина с большим чугуном в руках и сильным движением выплескивает воду в Саву. Под ногами у нее вертится и прыгает белая собачонка.

Провожая глазами этот плавучий дом, где рождаются и умирают целые поколения, Заяц думает о том, как мало, в сущности, знают люди друг о друге.

Несколько мгновений не видно ничего, только взволнованная баржами поверхность воды, переливаясь, слепит глаза.

Еще не успокоилась вода, как вынырнула спортивная восьмерка из легкого японского дерева, плоская и узкая, едва различимая под гребцами в белых майках с гербами на груди. Восемь гребцов равномерно вскидывают длинные весла, и лодка быстро несется по воде. На корме сидит тренер. Он держит руль обеими руками и через рупор, висящий у него на груди, подает отрывистую, резкую команду: «Раз-два, раз-два!» Спортсмены тренируются перед соревнованием, — думает Заяц. (И сейчас же в мозгу мелькает мрачное воспоминание о Тигре, о доме, о Маргите.) Заяц не любит спортсменов, не любит потому, что не знает их, а вернее, знает только по Тигру и его компании.

«От спорта черствеет сердце и притупляется разум, — думает Заяц, — а вместо мужества и стойкости развивается жестокость и наглость, к этому прибавляются еще ип-

триги и спекуляции. А зачем все это нам, когда у нас и без того хватает и бесцеремонности и жадности к деньгам». Так размышляет Заяц, между тем как быстроходная восьмерка уже скрывается из виду.

Стрелой промелькнул скиф, длинный, с низкой посадкой, так что кажется, что гребец сидит прямо на воде. Два длинных весла делают широкие взмахи, словно два птичьих крыла, видных только в профиль. Гребец в темных очках, коричневый от загара и намазанный ореховым маслом, отчего его мускулистое тело отливает на солнце металлическим блеском, словно бронзовое. «Это скорее всего служащий какой-нибудь частной фирмы», — думает Заяц и радуется своей проницательности.

На середину реки медленно выплывает обыкновенная четырехвесельная белая лодка, в ней разместилось целое семейство. Гребут муж и жена, он толстый, она пухленькая; в действительности гребет только он, она лишь слабо вторит ему. На руках у нее замшевые перчатки. На корме и на носу еще две женщины, одна старая, располпевшая, другая худая, молоденькая. Кроме того, в лодке два рослых мальчугана; перегнувшись через борт, они то брызгаются водой, то смотрят на свое отражение. На скамейке вместительная корзина со съестными припасами, из нее выглядывает огромный арбуз и бутылка с вином. Типичная картина смешения старых и новых времен; патриархальные устои этой семьи соединяются со спортивной жизнью на солнце и воздухе. Муж — удачливый предприниматель и выскочка, жена — из скороспелых светских модниц, сыновья — гимназисты, теща, на склоне лет начавшая разъезжать по пляжам и мучиться от жары, и свояченица, которой надеются подцепить жениха на воде, коль скоро такого не нашлось на суше. Они пристанут где-нибудь к острову, пообедают в тени, а потом завалятся спать под ивами, отгоняя назойливых комаров.

Так перед взором Зайца проносились одна за другой картины жизни трудового и развлекающегося Белграда, картины любопытные и пестрые, нередко смешные или нелепые, но выразительные и почти всегда милые его сердцу.

«Сава — это сама жизнь, — думал Заяц, — и ее падо лучше устроить. Жизнь — великое и всеобщее достояние, и она не должна быть столь хаотичной, беспорядочной и сумасшедшей». Он не знает, что надо сделать, но в ней должно быть больше порядка и плана. И в этом порядке

каждый должен найти свое место, каждый, кто живет и дышит. Каждый или, во всяком случае, возможно большее число людей.

Вот, например, какое место должен был бы занять Станко, — как раз сейчас он проходит мимо него, закрывая его на мгновение своей тенью. Большой, полный сил, изобретательности и энергии, — разве пристало ему жить вот так, вслед за солнцем, совершающим свой путь по небосклону, перебираясь из одного тенистого местечка в другое, зарабатывая ровно столько, сколько требуется для того, чтобы с грехом пополам прокормить семью да обеспечить себе несколько динаров на выпивку и курево. Нет, не пристало и не должно быть так! (Да и мало ли чего еще не должно было бы быть. Вот, например, и сам он, Заяц, тоже не должен был бы валяться в праздности на плоту, на припеке, сквозь дрему перекраивая жизнь и предаваясь мечтам о том, что должно быть и чего не должно.) Но мысли его упрямо летели вперед, вселяя в него веру в то, что на свете и правда все может быть иначе.

Люди договорятся между собой и каждого поставят на соответствующее место. И Заяц попробовал вообразить порядок в труде и жизни, не пресловутые «тиски», навязшие в зубах, а разумные созидательные порядки, в которых каждый сумеет найти себе более или менее подходящее занятие, в свою очередь, отдавая ему все свое умение и способности. И в мечтах его возникает прекрасный образ этого преображенного берега. Его обитатели честно трудятся и хорошо живут — Станко, Иван Истринин со своей злосчастной Мариеттой, Чубук и даже Милан Страгарац... Все они изменились, стали счастливей и нашли свое место в жизни.

Но так будет не только с этим замкнутым мирком на Саве. Нет, изменятся порядки и в более значительном и важном, так что в целом жизнь станет разумнее и лучше. Все в ней...

Неожиданно сильный толчок встряхнул замечтавшегося Зайца и разрушил стройную картину, нарисованную его воображением. Причал качался, железные бочки гудели, будто исполинские подводные колокола, волны, поднятые быстроходной моторкой, заплескивали доски.

Заяц словно спросонья смотрит вслед мощной моторке обтекаемой формы. Он знает эту моторку под названием «Аризона» и ее владельца, бельгийца, промышленника,

управляющего концессией. В моторке, помимо владельца, молодого, атлетического сложения мужчины, две девушки. Это дочери профессора Калевича; они принадлежат к той же кофле, что и его сын, Тигр. Красивые, молодые и здоровые, одаренные и в музыке и в танцах, полные энергии и нерастраченных сил, они ведут пустую жизнь белградской золотой молодежи, говорят сквозь зубы на английский манер, растягивая слова и нарочно картавя, хлещут коктейли и виски не хуже матросов, пляшут до зари и спят до полудня, не заканчивают начатого образования и не выходят замуж, и при этом каждая из них тратит по два отцовских оклада в месяц.

Светлая лодка с мощным мотором, легко разрезая воду, быстро пронеслась мимо, оставив за собой пенистую борозду, а над ней, словно цветок на стебле, трепетал парижский платок фантастической раскраски, поднятый прекрасной, смуглой, как у мулатки, рукой одной из дочерей профессора Калевича.

III

Семь лет минуло с той поры, как Заяц «открыл» Саву, а на восьмой «сезон» неожиданное событие внесло новые радости в его спасенную жизнь.

Семья инженера Дороша переселилась из Шабаца в Белград.

Когда вскоре после первой мировой войны инженер и Мария переехали в Шабац, они некоторое время писали Зайцу, а он им, но потом, как это часто случается с родственниками, их переписка заглохла. Мария первая перестала отвечать — «закрутилась с детьми». Инженер иногда их навещал, когда ему случалось быть по делам в Белграде, и скупно рассказывал об их с Марией жизни. У них уже было четверо ребятишек. Жили они дружно и мирно. Зарабатывал Дорош прилично. Неподалеку от фабрики у них был маленький отдельный домик с садом, который Дорош сам обрабатывал.

За семнадцать лет их жизни в Шабаце Заяц всего лишь раз видел Марию. Однажды зимой, как раз в канун их славы, Дорош приехал в Белград на фабричной машине и увез Зайца к себе.

Когда их старший сын, Филипп, закончил гимназию, семья решила перебраться в Белград. Это было осенью 1938 года.

Им удалось найти отдельное жилье в районе Топчидерского холма, в одном из безымянных крутых переулков, пересекающих улицу Толстого. Это был маленький старомодный особнячок с мансардой и большим садом, инженер сам приводил его в порядок, работая с упорством крота и терпением муравья. Справа и слева к их скромному домику и простому саду примыкали богатые виллы, выстроенные по проектам известных архитекторов и окруженные тенистыми парками с аккуратными дорожками, серебристыми елями, магнолиями и диковинным японским кустарником.

Мария почти не изменилась, но вся равномерно и едва заметно уменьшилась, как бы стаяла. Лицо ее покрылось сетью тонких морщинок, они то пропадали, то снова появлялись, когда она смеялась или говорила; виски посеребрила седина, хотя густая волна волос надо лбом была все еще черная и блестящая, будто влажная. Она была по-прежнему приветлива и подвижна и, преданная детям, не докучала им назойливой и мелочной опекой, столь свойственной добропорядочным и ограниченным мещанкам, которым она заменяет своего рода рафинированное и замаскированное кокетство.

И про Дороша можно также сказать, что он почти не изменился, только особенности его физического и духовного склада теперь проявлялись отчетливее. Он стал еще молчаливее, еще больше ссутулился, еще усерднее налегал на работу в саду и по дому.

Полной неожиданностью для Зайца были дети.

Когда он несколько лет назад первый и последний раз был в Шабаци, это была шумная орда, с боем отнимавшая друг у друга привезенные им в подарок игрушки. Комнату заполонила детвора еще того возраста, когда не угадаешь ни будущего характера, ни выражения лица, ни даже роста. Юные человеческие существа, словно нежная поросль весенней травы, только еще проклюнувшаяся из почвы и окрасившая ее в изумрудный цвет. И все, что в них заключено, еще расплывчато, неопределенно и бесформенно.

Теперь все они учатся. Старший, Филипп, — копия отца, высокий, сутулый и молчаливый, но только с пронзительным, умным взглядом, какого у Дороша никогда не было. За ним шла Елица, двумя годами младше брата. Белокурая, кареглазая, гибкая и сильная, первая «латинистка» в классе, «самая занятная» из всех детей, как

утверждала Мария, подметившая в ней еще с пеленок «благородство и твердость во всем». После нее шла пухленькая куколка — Даница, прозванная в семье Цыпленком, гораздо больше склонная к играм, чем к учению, и, наконец, самый младший, Драган, только что закончил начальную школу.

Мария неутомимо управляла этой четверкой, расходуя большую часть своих сил на удовлетворение их потребностей и прихотей.

Переезд семьи Дорошей в Белград был для Зайца большим приобретением. Теперь у него появилось еще одно пристанище, где можно было отвести душу и в зимние месяцы, когда «бездействовала» Сава.

Безоблачное, мирное существование Дорошей омрачали лишь болезни или плохие отметки детей да непредвиденные расходы, столь частые в многодетных семьях. Но это была одна из тех счастливых семей, в которых заботы и неприятности быстро забываются, и хорошее настроение составляет основной фон совместной жизни.

Заяц навещал Дорошей каждую неделю, невзирая на снег, ветер или дождь, обычно под вечер, когда хозяин дома возвращался с работы. Все, связанное с этой семьей, было приятно и дорого Зайцу, — приход сюда, часы, проведенные с ними, и даже прощание.

Когда крутой каштановой аллеей он поднимался к площади Звезды и ему открывалась Сава с островами, Земун, Сремская равнина и широкая лента Дуная с его высоким, ярко освещенным северным берегом, напоминая врата, ведущие в псобъятный мир, он облегченно вздыхал, испытывая чувство сладкого, хотя бы и минутного, освобождения от всего того, что он оставил позади, чувство, столь необходимое людям его склада.

Когда же он доходил по улице Толстого до безымянного переуллка и видел дом инженера — его охватывала истинная радость.

Зимой он обычно сидел у них в кухне, а летом на террасе, — пил чай с Марией и Дорошем. В их доме, обставленном гораздо скромнее, чем его собственный, все было как-то милее, проще и свободнее. И чай здесь казался душистее, и пирожные вкуснее, и слова добрее, и часто за столом звучал веселый смех, бесценный человеческий смех, которого никогда не услышишь в доме Маргиты. Приходили дети и выкладывали родителям свои нехитрые школьные огорчения, споры и радости. Мария, всегда

оживленная и такая хрупкая рядом со своим добродушным великаном мужем, наслаждалась отдыхом, уронив на стол маленькие натруженные руки.

И почему-то здесь всегда всего хватало, и все было возможно, радостно и легко, тогда как там, внизу, в том доме, что назывался его, все было немыслимо сложно и трудно.

Из всех детей Заяц больше всего любил Елицу, как и Мария, хотя она в этом никогда и не признавалась. Однако в первый же год после их переезда в Белград в Елице произошли заметные перемены. Между шестым и седьмым классами гимназии она вместе со школой отправилась на каникулы к морю. Вернулась Елица вытянувшейся и загорелой, с выплывшими на солнце волосами и каким-то новым взглядом — серьезным и вопрошающим; казалось, сгусток драгоценной переливчатой влаги в ее зрачках собрался в твердый граненый кристалл. Пухлые губы большого рта побледнели и стали тоньше. Исчезла широкая дорошевская улыбка, так часто открывавшая, бывало, ее белые, безукоризненно ровные зубы; теперь улыбка была редкой, как праздник. Исчезли детские повадки и наивная доверчивость. Она смотрела прямо в глаза, плотно сжав губы, строгая и чужая. И как последний след детства, на ее нежной шее что-то билось возле ключиц, сейчас резче обозначившихся под кожей.

Все эти перемены, конечно, обнаружилились не сразу, а приходили постепенно, в течение седьмого класса. Заяц долго ничего не замечал. Мария первая обратила внимание Зайца на происшедшие в ней перемены. И тогда он тоже увидел. Девочка, которую он любил как своего ребенка, за чьим развитием следил (воображал, что следит!), полностью ушла в себя, отгородилась не только от него, но и от всех домашних и стала смотреть на мир критически и недоверчиво. Только со старшим братом сохранила она подобие близости, но и эта дружба носила строгий и деловой характер. Отныне все устремления юного существа, все его помыслы и мечты перенеслись куда-то в невидимый и неведомый им мир. И то, чего раньше в ослеплении любви он не замечал, теперь находило все более очевидные и определенные доказательства.

В рождественский сочельник Заяц принес ей в подарок томик стихов известного современного поэта в кожаном переплете, а она, возвращая ему книгу, проговорила сухо и непреклонно:

— Спасибо, дядюшка, не обижайтесь на меня, пожалуйста, но я не признаю рождественских подарков и не намерена читать подобные книги.

Пытаясь скрыть свое замешательство и растерянность, Заяц хотел было обратить все в шутку, но безуспешно:

— Ну, тогда... оставь ее себе... просто так...

— Как это просто так? Разве я могу ее оставить после того, что я вам сказала? — И Елица положила подарок на стол как чужую, случайно подобранную вещь.

Такой оборот припимали все разговоры с домашними. Сначала она просто молчала, а потом вдруг выхватывала какое-нибудь утверждение родителей и, препарировав так, что становилась совершенно очевидной его противоречивость и несовместимость частей, после соответствующего скупого приговора, отбрасывала, как раскслотый надвое стакан.

В семейном кругу люди обычно думают вслух, в их разговорах, как в мутной воде, смешивается все то неопределенное, половинчатое и неустойчивое, что бродит в голове людей, не находя, как правило, решения в этом переливании из пустого в порожнее, — решение обычно приносится временем или стечением обстоятельств, то, что называется случаем.

Во время еды, за столом, Елица с холодной безжалостностью обрывала домашних, подвергая их высказывания жестокой критике и беспощадному анализу. Братья вступали с ней в бесконечные дебаты, а Даницу, младшую сестру, она частенько доводила до слез.

Бывало, Цыпленок скажет, растягивая слова:

— Надо бы мне вычистить белое платье...

— Возьми да вычисти, — отзывается Елица.

— Ох, никак за него не возьмусь; завтра надо с классом идти на концерт, а не хочется...

— Не хочется — не ходи.

— Надо, неловко перед классной наставницей и подругами.

— А концерт сам по себе?

Смушенная Даница в растерянности смотрит на сестру:

— Да откуда мне знать, какой он будет, этот концерт!

— Все ты не так говоришь. Дело не в классной наставнице и не в подругах, а в концерте и в тебе. Прежде всего ты должна понять свое отношение к концерту, тогда и решение придет само собой.

— Ах, да перестань же... ты, ты...

Даница отворачивалась, заливаясь краской, и порывисто вскакивала из-за стола.

Отец укоризненно смотрел на Елицу:

— И что ты привязалась к ребенку со своими проповедями?

— Это как раз прямо противоположно проповеди.

Наступало неприятное затишье, и все один за другим начинали подниматься из-за стола.

Теперь такие эпизоды, бурные или более мирные, с участием отца, братьев и сестер, стали постоянным явлением в доме Дорошей. Из всех родных Елица щадила только мать, никогда не проявляя к ней ни капли раздражения, хотя и с ней вела себя сдержаннее и холоднее. А Мария обычно молчала и только слушала, потупив голову, о чем спорили вокруг.

Таковы были внешние признаки перемен, происходивших с Елицей. Глубинный их смысл оставался скрытым, не находя себе ни объяснения, ни названия.

Однако же и объяснение не замедлило явиться в конце того же года. Впервые его услышал Заяц из уст Маргиты.

— Не люблю я бывать в этой семейке,— заявила она однажды за обедом.— Мария — сумасбродка, настоящая сумасбродка; сам-то он как был тюфяк тюфяком, слава богу, таким и остался, зато детки — заядлые коммунисты. Эту заразу занес к ним в дом заморыш Синиша, племянничек Дороша, а заноза Елица и матери и братьям голову задурила своими идеями. Кругом только и разговоров, что у них весь дом красный.

У Зайца кусок застрял в горле, но он быстро пришел в себя и ощутил жгучую потребность оградить от нависшей опасности Марию, ее дом и в особенности детей, защитить их, отождествиться с ними, сам не зная в чем, но походить на них каждой клеточкой своего существа, только чтобы показать, что он с ними, против всех Маргит и Тигров.

Краснея и заикаясь, он принялся доказывать, что Мария — умная женщина и замечательная мать, а Елица — необычайно одаренная девочка, трудно переживающая переходный возраст.

— Да и потом дети должны идти в ногу со временем!

— Вот это да! Уж не стал ли и ты красным? Или, может быть, из сочувствующих дураков?

Грудь ее воинственно выпятилась, а из глаз выглянул полицаи, непрременный обитатель хозяйственных душ, отравленных расчетом и стяжательством.

— Я-то нет, но...

— «Но, но!» Надо тебе туда пореже шляться: их дом на подозрении, об этом на днях в одном доме во всеуслышание заявила Ида Янкович, жена городского исправника.

— Ради бога, Маргита!

— Вот тебе и «ради бога». Устроили какие-то «кружки» или, как они их там называют, какие-то сборы для «Красного креста», и это в лучших домах, на Румынской улице! Господские дети с жиру бесятся, как будто бы они с Чубуры или Ятаган-малы¹, а родители не видят ничего, вроде моей полоумной сестрицы. Не худо было бы проучить их по рецепту князя Милоша: «Бить и плакать не давать!»

Тигр зевнул, потянулся всем телом и небрежно взглянул на часы, сдвинутые к самому запястью левой руки. У Зайца засосало под ложечкой, и сердце, переполненное страхом, гневом и страстным желанием вырваться отсюда, забилося тоскливо и глухо.

IV

Вторая мировая война, начавшаяся в августе 1939 года немецким нападением на Польшу, почти не отразилась на жизни семьи Катаничей. В этом доме, как и во многих подобных ему, газеты просматривали нерегулярно и поверхностно. Заяц читал заголовки, Мишель — исключительно спортивную хронику, а Маргита — объявления о помолвках, венчаниях и панихидах. Здесь никто, что называется, не «занимался политикой». Это, однако, не помешало Маргите в ту же осень сделать изрядные запасы муки, сардин, сахара и других продуктов, «которые могут лежать», а Зайцу слушать заграничные радиостанции, которые он раньше никогда не слушал. Незаметно интерес его к военным событиям возрастал, а вместе с тем росло и его сочувствие к Польше, хотя он и не задумывался, с чего и как это началось.

¹ Чубура и Ятаган-мала — белградские окраины.

Маргита и здесь стояла преградой на его пути. Под самым носом у Зайца, склоненного к приемнику, она со злостью щелкала выключателем и шипела:

— Только зря энергию расходует. Если тебе жаль поляков, отправляйся и поплачь вместе с ними. А мне так очень нравится, что Гитлер их прижал!

И она вытягивала свою обнаженную по локоть руку, наглядно показывая, как «прижимают» людей и целые нации.

Заяц будто впервые видел эту заплывшую жиром, обнаженную руку без малейшего признака мышц. Вот они, Маргитины мертвенно-желтые на вид, но цепкие и сильные руки, они повелевают и властвуют, хватают, загибают, почти не работают и редко что-нибудь выпускают из того, что в них уже попало, готовые душить и грабить, если им только позволить. Как мало похожи они на человеческие руки; морщинистыми грязно-серыми наростами на локтях, похожими на суставные мозоли верблюда или обезьяны, механически однообразными движениями они больше напоминают конечности животного.

Еще раз бросив взгляд на эти руки, Заяц отвернулся и безмолвно вышел.

И снова потянулись удручающие дни, в течение которых не упоминалась ни Польша, ни Германия, ни события, потрясавшие мир. И все-таки, помимо воли, война невидимо, но ощутимо присутствовала и в сознании Зайца, и в сложных расчетах Маргиты.

На Саве в эти дни замечалось особое оживление. Гремя под сентябрьским, еще ярким солнцем, наиболее стойкие купальщики в пылких дебатах выражали сочувствие к судьбе Польши. Береговые рабочие с явным одобрением слушали их, хотя сами высказывались психотно.

Когда речь касалась германских побед, Станко, опрокинув залпом очередную стопку, цедил, вытирая отвисшие усы:

— Нн-о-о... это еще того-о-о!

В свое протяжное неопределенное «это еще того-о-о!» он вкладывал особый смысл, быть может, даже неясный ему самому, но не оставлявший, однако, сомнений в том, что он не спешил признать скоропалительные победы окончательными и прочными и надеется на лучшие времена, так как не считает, что Гитлер уже «сделал дело».

Работник Станко Йован, прозванный Франтом, был настроен более радикально, но выражал свои чувства так забористо, что мы их не рискуем передать, ибо если из них опустить нецензурные слова, останутся одни лишь имена государственных деятелей да названия держав.

В основном же завсегдатаи Наумовой кофейни придерживаются единой точки зрения, хотя и не всегда ее выражают, а если и выражают, то не одинаково.

Капитан Мика был сдержаннее всех и в разговорах он был также задумчив как на рыбалке, только и знал, что твердил на все лады: «Посмотрим... Это мы еще посмотрим».

— Что посмотрим? — вызывающе набрасывался на него Милан Страгарац.

— Посмотрим... знаешь, как в пословице говорится: «Цыплят по осени считают».

— Хм... — возмущался Страгарац, а остальные начинали смеяться, и капитан Мика с ними.

Когда Заяц с Савы приходил на Топчидерский холм, он и там обнаруживал приметы войны. «Дети» Марии — студент Филипп и Елица, выпускница гимназии, — с живейшим интересом воспринимали все происходящее на свете, но все это оставалось между ними и их друзьями, которые изо дня в день наведывались к ним, и до взрослых доходили только отзвуки их споров, так что они лишь догадывались и трепетали. Мария, как всегда, молчала, но была сильно встревожена, что проглядывало даже и в ее улыбке.

А дома Зайца встречали неизменные Маргитины доклады о новых пополнениях ее «военных запасов»:

— Теперь у меня четырнадцать кило хозяйственного мыла. И знаешь какого? Чудо! Все «Шихт» и «Златорог». Пусть война хоть три года длится — мылом мы обеспечены.

Все это она выкладывала сыну, пропускавшему мимо ушей ее слова.

Заяц все чаще задумывался теперь о людях, подобных Маргите, — им была глубоко безразлична война, сколько бы она ни велась, — лишь бы припасти побольше и отсидеться как-нибудь, пока снова не наступят добрые мирные времена.

Он мучительно доискивался причин ужасной несообразности мыслей и действий людей и, не в состоянии постигнуть их до конца, ощущал их многочисленность и глубокую бесчеловечность.

Так прошел первый год войны в доме Зайца, подобном множеству других, не слишком осведомленном о том, что происходит в мире и сосредоточенном целиком на пополнении своих запасов. Так, на рассвете шестого апреля 1941 года вместе с прочими мирными гражданами обитатели этого дома были разбужены слабым завыванием сирен и сразу вслед за тем оглушительными разрывами бомб, которые сбрасывала без объявления войны гитлеровская военная авиация на открытый¹ город Белград.

В тот день Заяц впервые был хозяином в своем собственном доме — его мнение было решающим.

Заяц крепко спал в то утро и не слышал, как на заре на вокзале завывала сирена, его разбудили Маргитины вопли и топот шагов в квартире над ним. Открыв глаза, он увидел дикую сцену. Тигр стоял в дверях в пижаме и в зимнем пальто с невесть откуда взявшейся солдатской каской на голове. Ползая на коленях и хватая его за рукав, Маргита, босая, в ночной рубашке и в шали, накинутой на плечи, о чем-то умоляла сына. Из бессвязных восклицаний, вырывавшихся сквозь рыдания, можно было понять, что она просит сына отыскать противогазы. Он грубо ее отталкивал:

— Какие еще тебе противогазы! Одевайся и пошли вниз!

Вывавшись из материнских рук, Тигр скрылся без дальних разговоров, а Маргита бросилась к постели Зайца. Путаясь в длинной рубашке, она бессмысленно твердила:

— Где они... Заяц, умоляю, где наши противогазы?

Заяц вскочил, быстро натянул на себя одежду под непрерывные стоны жены и заставил ее тоже что-то на себя надеть. Она дрожала, как в лихорадке, и, всей своей тушей налегая на него, бормотала:

— О боже! Быстрее! Заяц, умоляю!

И вдруг с новой силой завопила:

— Сумка! О, боже! Подай мою сумку! Заяц, где моя сумка?

Заяц отыскивал ее туго набитую, странно тяжелую кожаную сумку, подхватил жену под руку и повел ее в подвал.

¹ В апреле 1941 года югославское буржуазное правительство объявило Белград «открытым городом».

— Не бойся! Видишь, ничего страшного нет. Потихоньку, потихоньку!

Заяц почти тащил на себе обезумевшую женщину, неприятно пораженный тяжестью ее обмякшего тела, лишешного силы и воли.

В подвале гомон и суетолака. Мужчины и женщины громко препирались, не вовремя разбуженные дети плакали.

Увидев сына, прислонившегося в своей каске к стене, Маргита выпустила мужнину руку и кинулась к нему с воплем:

— Мишель! Мишель! — между тем как молодой человек, не глядя на мать, тихо, но злобно прошипел сквозь зубы:

— Сядь и заткнись!

В этот момент послышался взрыв, после чего удары следовали один за другим, сливаясь в сплошной гул. Казалось, земля клокочет, как вулкан, и дом, содрогаясь, движется скачками вперед.

Один из взрывов был особенно мощным, дом немилосердно тряхнуло как бы из подземных глубин, так что люди щелкнули зубами от этого нежданно близкого и вероломного удара.

— Вокзал в воздух взлетел! — спокойным тоном заметил кто-то.

В сторону шутника устремились осуждающие, злобные взгляды. Это был управляющий домом, сидевший на чемодане в угрюмой позе обреченного, совершенно не соответствующей его высказыванию.

На него перво зашикали:

— Тс-с!

— Молчи, болван!

Еще не улеглась волна последнего взрыва, как на город обрушилась целая лавина бомб. В подвале погас свет, воздух наполнился пылью. Казалось, твердь под Белградом раскалывается, и город летит в какую-то бездну.

На мгновение Заяц как бы утратил связь с действительностью, но сейчас же она восстановилась опять, еще более напряженная и чуткая. По телу его пробегали мурашки, какое-то оледенение сковало позвоночник, но обострившиеся мысли и чувства давали ему точные сигналы обо всем, что происходило вокруг. Мозг его работал четко и ясно.

В непрочной тишине, наступившей после целой серии взрывов, раскатилось ответное эхо — рушились

многоэтажные дома. Низвергавшиеся каменные громады издавали рычаний, раскатистый звук. Он напоминал Зайцу слитное грозное «ура-а-а! ура-а-а! ура-а-а!», которым приветствуют военачальников выстроенные на смотру полки.

В темном и удушливо пыльном погребе поднялась паника, люди кричали, не помня себя.

— Мои дети! — истошно орала какая-то женщина.

— О-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо! — монотонно, как дождь, твердила другая.

— Заклинаю тебя... Заклинаю тебя, — взывал слезливый и слабый мужской голос.

В этом хоре различались и вопли Маргиты. Она выла, как раненый зверь, исчерпавший все средства борьбы, кроме голоса. В нем не слышалось ничего человеческого, и вместо сострадания он будил в Зайце глухое раздражение.

Кто-то чиркнул спичкой, но ее сразу же погасили; поднялся гул негодующих протестов, опасались взрыва какого-то газа. Наконец кому-то удалось найти карманный электрический фонарик. Полоска света, бледного и мутного от поднявшейся пыли, прорезала битком набитое помещение.

Заяц воспользовался этим светом и, обходя съехавших на пол или стоявших на коленях людей, поспешил к выходу. Пока он возился с засовом, какой-то субъект пытался его остановить с помощью методических доводов, очевидно, почерпнутых в «Правилах о защитных мерах при нападении с воздуха», полная бесполезность которых в эту минуту казалась особенно явной.

Справившись в конце концов с неподатливой дверью, Заяц вырвался на свободу, за ним проскочил и управляющий. С удивлением увидел Заяц знакомую лестницу и дверь своей квартиры — все было на местах. Только под ногами хрустела осыпавшаяся штукатурка да кое-где осколки выбитых стекол.

Управляющий с видом приговоренного стоял за ним, вытирая слезы и притворно всхлипывая. Присмотревшись к нему, Заяц понял, что он пьян в стельку. Заяц велел ему принести инструменты, чтобы подняться на крышу и посмотреть, нет ли там зажигательных бомб.

С короткой лопатой на плече Заяц пошел вперед; управляющий, дрожа и спотыкаясь, пошел за ним следом.

Когда они добрались до мансарды, управляющий остановился и промычал:

— А-а... что, если они опять налетят?

Заяц посмотрел на него с высоты двух ступенек и продолжал подниматься один.

Стоило ему открыть дверь чердака, как в нос ему ударил запах пыли, носившейся в сухом весеннем воздухе. Выйдя на крышу и бросив взгляд на город, Заяц остолбенел: вместо знакомых кровель, Савы, Земунской равнины на другом берегу перед ним была плотная желтая завеса взметнувшейся пыли; над головой невозмутимо сверкало синевую необыкновенно ясное небо, но на земле царили хаос и разруха. Глаз ничего не мог разобрать, а ухо улавливало непривычные звуки, дальние взрывы и глухие удары, будто где-то там, за сеткой непроницаемой мглы, полчище великанов долбило землю тяжелыми кувалдами.

Заяц обошел террасу — она была усыпана землей и мелкими щепками, занесенными, должно быть, взрывной волной, но зажигательных бомб не оказалось. Спускаясь вниз, Заяц нашел управляющего все на той же ступеньке, где тот остановился; он по-прежнему всхлипывал. Заяц прошел мимо него, как мимо капризного ребенка, и вернулся в подвал.

Луч света от фонаря скользнул по лицу вошедшего. Все взгляды устремились к нему, со всех сторон посыпались вопросы.

С тех пор за ним укрепилась слава бесстрашного. Да и вообще с тех пор все пошло по-другому.

Воспользовавшись коротким затишьем между бомбежками, Заяц направился к Звездаре, разыскал военную комендатуру, но не нашел никого, с кем можно было бы поговорить. Начальство бросило своих военно-обязанных.

И снова были бомбежки, и снова в доме поднимались крик и беготня, но Заяц не спускался больше в подвал. Он сидел в пустой квартире, не прикасаясь ни к питью, ни к еде, погруженный в раздумье о людях и обо всем, что творится вокруг. Подчас страх гнал его вместе со всеми вниз, но неотвязные мысли приковывали к месту. Они преследовали его независимо от того, чем он был занят в данную минуту — помогал ли своим домашним собираться в подвал, обходил ли крышу после очередного

палета, встречал ли жильцов, выбиравшихся из подвала, слушал ли сына или жену или смотрел на первых немцев, вступивших в город.

Так началась его жизнь в оккупированном, сожженном, ограбленном Белграде.

Маргита долго не могла оправиться от страха и разнообразных болезней, полученных, по ее словам, в результате нескольких дней, проведенных в подвале. Тигр приутих и поблек. Но вот однажды к ним в гости явилась родственница из Земун и начала на все лады расхваливать жизнь при немцах в Независимом государстве Хорватии. Это несколько ободрило Маргиту и Тигра, и они начали смелее ходить по Белграду, скупая вещи и в особенности продукты, а потом начали наведываться и в Земун.

В дом стали заходить разные люди в военном и штатском. (Заяц запирался на это время в своей комнате.) Тигр получил какую-то должность в новой городской управе и в знак этого на правой руке носил зеленую повязку. Маргита скупала разное барахло заведомо сомнительного происхождения, стараясь реализовать динары, стремительно падавшие в цене.

Как-то раз Заяц пошел на Саву, но там не осталось и следа от прежней жизни. Люди разбрелись кто куда; только под орехом, бросая по сторонам янычарские взгляды, сидел Милан Страгарац, все такой же высокомерный и надменный, что сейчас выглядело еще более отвратительным и нелепым. Страгарац не преминул помянуть капитана, тут же добавив, что Мика, должно быть, забился в какую-нибудь мышиную нору. Гадкий смешок Страгараца разнесся по пустынному берегу. Все здесь стало неузнаваемым, словно и домишки куда-то сместились. На следующее лето, правда, берег снова ожил, но в мастерских и на складах работали другие люди, а на пляжах загорали немцы. И Сава изменила.

Стараясь как можно реже оставаться со своими домашними, Заяц чаще ходил на улицу Толстого. Но и здесь его встречало тревожное молчание. Филиппа и Елицы почти никогда не было дома, или они сидели наверху, в мансарде, и, встречаясь с ним, здоровались отчужденно и рассеянно. Хозяин дома, и прежде не отличавшийся разговорчивостью и остроумием, от страха и растерянности совсем ушел в себя. Марию томила гнетущая тревога, явно из-за детей; она не признавалась в этом, но взгляд

ее потухших глаз да несколько случайно оброненных слов говорили об этом красноречивее всяких признаний.

А между тем Заяц никогда еще не ощущал такой настоятельной потребности поделиться с кем-нибудь своими думами и чувствами, выслушать других и постараться привести все это в какое-то соответствие. Но у других, видно, не было в этом потребности. Встретившись с кем-нибудь из своих старых знакомых, по его мнению, порядочных и умных людей, Заяц только и слышал от них:

— Да что же это творится такое, скажи, ради бога?

«Вот так, — думал про себя Заяц, — все мы задаем друг другу один и тот же вопрос, но не хотим, не можем или боимся искать ответа».

Однажды ранним воскресным утром Заяц столкнулся на Сараевской улице со своим давним приятелем и, спросив его, по укоренившейся привычке, что нового, встретил испуганный взгляд его широко раскрытых глаз и услышал странный ответ:

— Ужас! Что творится на Теразиях!

Знакомый пошел своей дорогой, а Заяц, вместо того чтобы идти домой, направился к Теразиям. О том, что имел в виду его знакомый, он еще не догадывался, но что-то интуитивно подталкивало его своими глазами увидеть этот «ужас».

Балканскую улицу запрудила глухо роптавшая, притихшая толпа: она двигалась в одном направлении. Бросалось в глаза явное преобладание мужчин, особенно молодых. Был воскресный жаркий день, и большинство было без пиджаков, в светлых рубашках с закатанными по локоть рукавами.

Выйдя на Теразин, Заяц слился с гудевшим людским потоком, стремившимся к Славии. Этот бесконечный поток напоминал необычайно длинную похоронную процессию. И лишь последовав взглядом в том направлении, куда глядели все, кто был с ним рядом, Заяц увидел наверху фонарного столба, у самой его дугообразной развилки, повешенного. Он опустил глаза, первым его движением было уйти, выбраться отсюда и бежать, но какое-то странное чувство подсказало ему, что это невозможно, что он должен пройти весь путь с этой процессией и все увидеть своими глазами. И он прошел и все увидел, не понимая еще до конца значения того, что совершалось перед ним. Гладкая лента асфальта, казалось, плыла у него под ногами, увлекаая вперед и его, и всю

толпу. В то же время взгляд его с одного повешенного перешел на второго, потом на следующего и еще одного, в крестьянской одежде... Вот он, значит, тот самый «ужас».

Застывшие тела казненных, от бескровных лиц, беспомощно свесившихся пад смертной петлей, до кончиков пальцев на ногах, судорожно вытянутых вниз в тщетной надежде найти опору, четко вырисовывались в прозрачном воздухе сияющего дня. А рядом перед кофейней «Афины», за столиками с пивом и солеными сухариками, коротали погожее время гитлеровские солдаты и редкие штатские. Под фонарями стояли неподвижные, будто отлитые из чугуна, высеченные из камня или какого-то нечеловечески твердого материала, немецкие охранники в полном боевом снаряжении. И Зайцу все время казалось, что ползущая под его ногами дорожка асфальта, на которую он ступил в начале Теразий, неминуемо столкнет его с одним из этих истуканов, и тогда произойдет нечто непоправимо страшное. Вот он совсем близко, еще ближе... Он уже явственно ощущал непробиваемость его брони и свою слабость, когда, увлекаемый общим потоком, пронесся в нескольких миллиметрах от охранника. И только тогда заметил, что зубы у него стиснуты, а пальцы сжаты в кулаки. Он хотел ускорить шаг, но не смог из-за встречного потока людей; неодолимая, болезненная потребность, словно мучительный долг, заставила Зайца еще раз взглянуть на повешенных. Он обернулся на ходу и увидел спины двух казненных, силуэты которых вырисовывались теперь не на фоне безоблачного неба, а как бы вписывались в картину города с его домами и улицами, кишевшими людьми.

Чувствуя, что толпа наконец начала редеть, Заяц зашел в прочь; «ужас» остался позади.

Ноги машинально понесли его на Топчидерский холм. Он ощущал физическую потребность говорить с людьми. Он заглядывал в глаза прохожим, и ему не показалось бы странным опуститься сейчас с каким-нибудь незнакомым человеком на траву у обочины дороги, поднимавшейся в гору, и завести тихий, неторопливый, откровенный разговор о том, что он только что видел, и вообще о том, что происходит вокруг в последние месяцы.

Марию он застал на кухне, она хлопотала у плиты, через силу разговаривая с двумя крестьянками, расположившимися тут провести длинный выходной. Детей не было дома, а Дорош возился на грядках с буйно разрос-

шимися баклажанами, мокрый от пота, безмолвный, низко склоняясь к земле, словно стремился затеряться в зелени, слиться своим крупным телом с землей и растениями.

Никто не хотел проникнуться страданиями Зайца; на его рассказ о виденном слушатели отзывались сочувственными восклицаниями и неопределенными жестами, отбивавшими всякую охоту к дальнейшей откровенности.

Как это часто случалось по воскресеньям, Маргита с сыном и на этот раз отправилась на целый день в Земун, предоставив Зайцу самому разогревать себе обед. Он много бы отдал, чтоб не оказаться за столом в одиночестве, но как раз сегодня Мария не оставила его обедать, а сам он постеснялся быть навязчивым. Он попрощался и двинулся к дому.

На душе его было горько, как у несчастного ребенка. Вывод напрашивался один: в дни великих всеобщих страданий и бед люди бывают так несчастны, что помощь и поддержка близких становится им жизненно необходимой, но эти же беды и страдания нередко и разобщают их, мешая оказывать друг другу помощь и приносить утешение.

Пустой дом встретил Зайца пугающим молчанием. Здесь, в четырех стенах, перед ним, как наяву, зримо встало то, что, словно сквозь сон, видел он утром на Теразиях, и, ожив в нем с новой силой, наполнило мучительным и беспокойным сознанием того, что через это нельзя пройти так просто, нельзя предать это малодушному забвению.

Из обеда, оставленного Маргитой, Заяц съел немного сыра, хлеба и фруктов, не притронувшись к тому, что требовалось разогревать. Новая волна тревоги нахлынула на него. Одиночество этого летнего дня в этой пустой квартире казалось ему бесконечным, непереносимым. В венах у запястий и в висках сильно пульсировала кровь, разнося тревогу по всему телу и как бы сообщая ее окружающему. Он лег, сраженный приступом слабости, на диван. И, лежа на спине, широко раскрытыми глазами смотрел на белый потолок, с явственным однообразием покачивающийся у него над головой, и ощущал чуть заметные колебания дивана, подчиненные тому же ритму. Тревожная дрожь захватила все, что было в этой комнате и одушевленного и неодушевленного, хотя внешне все оставалось на своих местах.

Заяц вскочил с дивана и прошелся по квартире, но все вокруг было заражено тем же беспокойством и тревогой.

Он вернулся в кухню.

Открытое кухонное окно выходило на крутой склон и стоящий на нем соседний дом, обращенный фасадом на улицу Князя Милоша. Заяц мельком оглядел этот склон, поросший чахлой растительностью и заслонявший вид из окна, и понял, что и он весь дрожит от вершины до основания.

Ему пришло было в голову снова отправиться туда, где родилось это страшное смятение, и там, на Теразиях, в центре распространявшейся волнами тревоги, подавить его в самом зародыше. Но и сама эта мысль была частью все той же тревоги, которая не побуждала к действию и не подсказывала выхода. Да и сможет ли он его найти, сможет ли решить все один в этом состоянии невыносимого смятения всех чувств, заставлявшем его метаться, не находя себе места и не зная, что предпринять.

Да, выхода нет, нет решения, но сознание его переполнено тем, что он увидел сегодня на Теразиях. Убивают людей! Одни убивают, в это время другие сидят в кафе, едят и пьют; тут же, под виселицами, занимаются своими делами или забиваются в дома, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он и сам такой же, как они, только теперь он видел это все своими глазами и не может отделаться, освободиться от этого. Он носит это в своей душе как неизбывную и неизбежную тяжесть.

Так, терзаясь бездействием, Заяц через кухонное окно смотрел в глубокую пропасть и вздымавшуюся перед ним стену, навсегда лишившую их кухню солнечного света.

Приглядевшись внимательней, он обнаружил под кухонным окном узкий карниз, прилепившийся к дому по странной прихоти неизвестного архитектора. Карниз упирался в склон и снова возникал на противоположной стороне отвесного холма и там расширялся, превращаясь в нечто вроде недостроенной террасы. Под ней зиял узкий и сырой провал четырех-пяти метров глубиной; дно его поросло похожей на мох травой и чахлыми кустами, никогда не видевшими солнца.

Этот странный карниз представлял собой одну из причуд белградской архитектуры 1920—1925 годов. Строили тогда очертя голову, наспех, спекулируя темпами и не за-

ботаясь о плане и порядке и из всего, что попадало под руку, одержимые одной только жадной наживы.

Эти особенности архитектуры во многом повторяли черты политики, экономики и культуры тех времен: алчные, ненасытные аппетиты, полная безответственность и беспечность, бестолковое расходование сил и средств, и в итоге — плачевные результаты.

Подгоняемый непреодолимой тревогой, Заяц влез на подоконник, спустился на карниз, держась за раму, и пошел по нему, пока не уцепился левой рукой за железную скобу водосточной трубы. Держась за нее, он поднял правую ногу над пустотой, отделяющей его от широкой бетонной площадки на противоположной стороне. Носком ботинка достал край карниза. «Все, все возможно!» — подумал он и, со всей силой оттолкнувшись от него, перенесся на другую сторону. Здесь было просторнее, можно было стоять и сидеть.

Заяц очистил «террасу» от земли и мусора, в течение многих лет намытого дождями, и сел. Кровь сильно пульсировала в жилах, в глазах было темно от непривычного напряжения, но бетонный выступ, прилепившийся над рвом, подобно ласточкиному гнезду, в отличие от стен его квартиры и всей ее обстановки, казалось, незыблемо стоял на месте. Может быть, это и был тот самый желанный полюс неподвижности, где он наконец найдет успокоение.

С изумлением осмотрелся Заяц вокруг. Соседский орех, росший на краю обрыва, простирал над ним свои ветви, за морем крыш приземистых домишек Сараевской улицы возникала узкая, но глубокая перспектива Савы с Дунаем и четких очертаний Калемегдана. Отсюда все казалось неузнаваемо новым, невиданным. И надо же было столько лет прожить здесь, не подозревая о существовании этого восхитительного уединенного уголка, защищенного со всех сторон от посторонних взоров. И, для того чтобы его открыть, потребовалось всего лишь пренебречь какими-то условностями и решиться перешагнуть через ров, отделяющий один карниз от другого. Это был тот самый спасительный, не требующий особого мужества шаг, который нам бывает так трудно совершить во время.

Долго он обдумывал со всех сторон выгоды своего приятного «открытия». Однако даже новизна положения не смогла изменить его состояния духа. Спокойствие его

длилось до тех пор, пока не прошли возбуждение и усталость от непривычного для него физического напряжения. Потом утренние впечатления снова нахлынули на него, а вместе с ними явилась и тревога, и укоризненная мысль о том, что надежда избавиться от внутреннего мучительного беспокойства ценой мальчишеских «открытий» и прыжков была сущим ребячеством.

Тревога неотступно преследовала его. Да еще с какой силой! Она звала его по имени, сначала глухо, издали, а потом все ближе и яснее: «Заяц, Заяц!..»

Внезапно кухонная дверь с шумом распахнулась, и оттуда послышался зычный, ненавистный голос Маргиты:
— Заяц!

И все, что он видел утром на Теразиях, как бы вдруг перенеслось к нему, на маленькую террасу. Заяц поднялся, весь оцетинившись и лихорадочно дрожа.

В кухонном окне в озарении косо́го вечернего света показалась высунувшаяся наполовину фигура Маргиты. На голове у нее шляпа, лицо покрыто слоем пудры, осыпавшейся на морщинах возле губ и глаз и залегшей пластинами возле ушей и носа.

— За... — Маргита замерла на полуслове, недоуменно открыв рот и вытаращив глаза, и прошептала бессвязно, не в силах поднять руки, чтобы осенить себя крестным знаменем: — Во имя отца и сына... За-яц!

Эта наглая физиономия, искаженная злобным изумлением, лишила его остатков самообладания.

Душу его раздирали призраки Теразий: грохот трамваев, гул взволнованной толпы, проходившей под трупами повешенных и обтекавшей столики кафе, выдвинутые на тротуары. И вот теперь все это топчет Маргита и зовет его по имени.

А она все стояла у окна и, негодуяще разводя руками, шипела:

— Какого дьявола!.. Как это ты... Да каким образом... Что ты там делаешь?

Лихорадочно трясаясь всем телом, Заяц испытывал смешанное чувство бессилия и настоящей потребности защищаться. Но как это часто бывает во сне, когда человек в бессильной ярости кидается в бой с мучителями и врагами, тщетно пытаясь швырнуть им в лицо слова презрения и гнева, но не может найти этих слов, так же как не может размахнуться и ударить, так и Заяц подался всем телом к окну, которое было от него совсем близко,

и, угрожающе размахивая руками перед носом Маргиты, кричал сдавленным, хриплым голосом:

— Оставьте меня в покое, оставьте! Ступайте туда и посмотрите на виселицы! Оставьте меня, я вам говорю!

Голос его был едва слышен, но сверкающие глаза, пылающее лицо и отчаянные жесты были полны угрозы. Маргита отшатнулась от окна, и он переминался с ноги на ногу на маленькой террасе, потому что здесь не было места, чтобы хотя бы в движении дать выход душившей его ярости. Хрипя и задыхаясь, ибо голос тоже ему изменил, Заяц постарался вложить в слова всю силу своей ненависти:

— Оставь меня, говорю тебе! Пока вы скупаете масло и какао в Земуне, посреди Белграда вешают людей! Это позор! По-зор! Если бы мы были настоящими людьми, мы вышли бы на Теразии и кричали во все горло: «Долой виселицы! Долой кровавого Гитлера!»

— За... Заяц! — всхлипывала Маргита и махала на него руками, подобно дирижеру, гневно умиряющему чересчур зарвавшегося оркестранта, между тем как человек на террасе продолжал выкрикивать сдавленным безумным голосом:

— «...Долой оккупантов! Долой палачей!» Вот так мы должны кричать... так, так... так...

Маргита скрылась, захлопнув за собой кухонную дверь, а Заяц смолк, окончательно лишившись голоса. Волнение обессилило его, и он, точно больной, в изнеможении сел, прислонившись к стене. Закрыв глаза, он тяжело переводил дыхание, сотрясаясь всем телом.

В его убежище, закрытом почти со всех сторон, уже сгущались сумерки. Вокруг стояла непроницаемая тишина, тишина воскресного летнего вечера.

Маргита появилась в окне, лицо ее было искажено робостью и страхом. Губы ее тряслись:

— Зайка, Зайка! — Она повторяла это имя с ласковой вкрадчивостью, словно приманивая сбежавшее домашнее животное. Заяц не отвечал, но когда жена, потеряв надежду, перестала звать его, он поднялся, подошел к пролету, ловко перескочил на противоположный карниз и, придерживаясь за раму, влез через окно на кухню. Маргита смотрела на него как на призрак, но тем не менее не позабыла тотчас же прикрыть за ним окно.

Никто не знает, что произошло в их доме в ту ночь, но при тех обстоятельствах и самое невероятное могло

быть вероятным в отношениях между Зайцем, Коброй и Тигром.

Скорее всего, никто не видел сцены, разыгравшейся между Маргитой и Зайцем, — такова уж была планировка квартир, что в ту сторону, куда выходила их кухня, с других этажей глядели только ванны, кладовки и другие подсобные помещения. Однако предусмотрительная Маргита, учитывая всю серьезность угрозы, решила не пренебрегать даже ничтожным процентом вероятности, что кто-нибудь из жильцов мог оказаться случайным очевидцем безумной выходки ее супруга, и приняла надлежащие меры.

На следующее утро управляющий по ее указанию как бы между прочим сообщал всем встречным и поперечным, что господин Катанич «опасно заболел». На вопрос, что с ним такое, он отвечал, как ему было велено: «Нервы...» Произносил он это слово на иностранный манер. И уже по собственной инициативе присовокуплял к этому выразительный жест, постукивая пальцем по виску. Жильцы сочувственно всплескивали руками.

Тяжкая лихорадка продолжалась у Зайца три дня. Маргита побоялась вызвать доктора, опасаясь, что муж снова примется за свое и станет выкрикивать что-нибудь ужасное. Но решилась на нечто другое. Зная о дружеских отношениях Зайца с Марией и Дорошем, она пригласила к себе Марию, с которой обычно не виделась месяцами. Она обо всем ей рассказала и умоляла ее и Дороша повлиять на Зайца, чтоб тот никогда больше не повторял подобных выходок, не губил ее и сына! Ведь в нынешние времена и за более безобидные вещи расстреливают целые семьи!

Встревоженная Мария хотела немедленно вызвать доктора, но Маргита воспротивилась этому, да и сама Мария, поговорив с Зайцем, убедилась, что в этом нет необходимости.

Все обошлось благополучно. Заяц выздоровел. Жильцы при встречах приветствовали его с сочувственным любопытством, обычным в отношении тех, про кого говорят, что он малость «того», но потом и это забылось.

Внезапный приступ ярости и короткой, но тяжелой болезни не оставили, в сущности, на Зайце видимого следа. И в доме жизнь, казалось, текла по-прежнему. И все же неожиданный сценарий на террасе привел к ослаблению позиций Маргиты и, следовательно, к усилению позиций

Зайца. Как некогда «открытие» Савы, как весенние бомбардировки, так и кризис, вызванный событиями на Терразиях, был для Зайца еще одним шагом вперед в его постоянной борьбе с женой и ее сыном.

Раскрепощение Зайца продолжалось, а к многочисленным страхам Маргиты прибавился еще один. Теперь жена и сын были к нему более внимательны; не то чтобы добрее или сердечнее, а просто обходили его с опаской, как обходят место, где лежит неразорвавшаяся мина.

Заяц нигде не работал. Маргита как-то попыталась завести разговор о том, что его пенсия очень мала и недурно было бы устроиться на службу к оккупационным властям, но Заяц ответил ей таким категорическим отказом, что она уже больше не возвращалась к этой теме.

Словом, происшествие на террасе ознаменовало собой наступление новой эры в их семье, привело к новым отношениям между ее членами. Маргита все глубже погружалась в заботы о запасах продовольствия и страхи, вызванные тем, что есть, что может быть и чего вообще не может быть. Тигр был все тем же дармоедом и бездельником, равнодушный ко всему на свете, что не касалось его личной особы и благополучия, и в то же время до такой степени был трусливым и неприспособленным, что мать должна была ходить за ним, как за малым ребенком.

А рядом с ними Заяц. Он теперь ничего не боится; ему так мало нужно; он смотрит на них как на малолетних; усмехается их глупости и редко достаивает их ответа. Когда ему становится совсем немого, он перебирается через кухонное окно на «свою территорию».

Столько лет прожил он в этом доме униженный и угнетенный, и никогда ему в голову не приходило, что рядом существует этот дивный, прохладный уголок, отгороженный от городского шума и любопытных взглядов. Это его военное открытие. Отсюда яснее был виден упадок Маргиной власти и собственное его освобождение, хотя их разделял всего какой-то метр пространства и еще — смелость и решимость для его преодоления.

Тут, вспоминая о своем небольшом подвиге, Заяц размышлял о мужестве и опасностях вообще. Видимо, идти навстречу опасности, даже искать ее, вступить с ней в битву — это и значит от нее освободиться. Открытая встреча с опасностью не так «опасна» — ибо, как это ни парадоксально, опасность одинаково безжалостно поражает и прячущихся от нее, и кидающихся ей навстречу.

Риск один и тот же, разница состоит только в том, что подавившие в себе страх перед опасностью живут и легче и красивее, поскольку они в душе уже преодолели ее и теперь могут жить не замечая ее, а значит — быть свободными!

Но хотя преодоление страха в любых его проявлениях — занятие, достойное самой высокой похвалы и уважения, оно не всегда может увенчаться успехом, а зачастую и вовсе бесперспективно, ибо источников страха значительно больше, чем сил для его подавления, и нередко случается, что силы иссякли, а страх остался. Истинную и самую страшную опасность представляет собой не то, что нам на самом деле угрожает, а страх, гнездящийся в нас. Ведь чего только мы, люди, не боимся? Эпидемий, новых болезней и смертоносных изобретений, о которых читаем в газетах, полицейских репрессий, даже и тех, которые не имеют и не могут иметь к нам отношения, своих собственных ночных кошмаров, порожденных не столько действительностью, сколько нашими расстроенными нервами и вышедшим из-под контроля сознанием. Следовательно, страх надо убить в корне, уничтожить самую способность человека бояться, вырвать ее, как воспаленные железы.

Все эти обрывочные и столь непривычные для него мысли с такой быстротой мелькали в сознании Зайца, что, сидя на краю своей террасы, он испытывал легкое головокружение от ужаса перед своим теперешним бесстрашием, быть может, представлявшим новую опасность для такого маленького человека, как он. Эти мысли давили на него, как некий осязаемый груз, и он сгибался под ним, чувствуя свою слабость и немощь, но не отступался и не сдавался. Мысль, нашедшая опору в характере человека, делает его ничтожным или великим. По мере того как в Зайце убывал страх, личность его возвышалась.

V

Как некогда на Савском причале, жизнь, развертывающаяся перед его глазами, будила в нем мысли о настоящем и будущем и о том месте, которое надлежит занять в новом обществе обездоленным, так и здесь, на своей уединенной террасе, Заяц пытался проникнуть в смысл происходящего.

Вдали перед ним виднеется озаренный солнцем Земун, превращенный во «вражескую территорию» и отданный во власть усташей. Течет Сава, которую капитан Мика называл некогда «благородной рекой», теперь она разделяет два несчастных государства «сербов» и «хорватов» с их жалкими правителями, произросшими на почве ненависти, невежества и низости стараниями высших фашистских сил. Он провожает взглядом самолеты, пролетающие над его головой, и баржи, ползущие по реке на потребу врага-окупанта.

Заяц готов был предаваться этим своим размышлениям бесконечно, но обычно от них его отвлекала Маргита — и мысли его получали новое направление. Из кухни до него доносился крикливый голос жены, она объяснялась с прислугой. Ох, уж эта Маргита и ее служанки! Вот где вовсю проявляется ее нрав, ненасытная и неистребимая потребность целого общественного слоя ей подобных господствовать и управлять, тиранить слабых и помыкать ими.

Годами наблюдая за обращением Маргиты со служанками, Заяц пытался иной раз вмешаться, но всегда отступал перед ее непобедимой пошлостью и низостью. Справедливости ради следует признать, что и среди служанок попадались нерадивые и вороватые, исчезавшие раньше срока вместе с жалованьем, взятым вперед. Но неизмеримо чаще встречались честные и работающие девушки, которые уже через несколько дней бежали из этого дома с его гнетущей атмосферой, скудной кормежкой и невыносимой хозяйкой, заставлявшей их гнуть спину за гроши.

А как же хорошо понимал Заяц, что значит зависеть от Маргиты и работать под ее надзором! С утра до поздней ночи донимала она девушек дотошной и мелочной слежкой, придираясь ко всякому пустяку; змеиным своим взглядом она старалась проникнуть в их душу и выведать, о чем думает девушка, с кем дружит, кого любит. Она вскрывала их письма, копалась в вещах, рылась в постелях. Она никогда не могла простить восемнадцатилетней девчонке желания прогуляться вечером со своим парнем, отказа есть позавчерашнюю капусту, смеха и песен, грусти, вышитой монограммы на дешевой блузке, намерения подлечить зубы и вообще каких бы то ни было стремлений, увлечений и достоинств; Маргиту раздражало хорошенькое личико прислуги, ее простые

мечты, человеческая потребность в привязанности и любви и, наконец, часы, отпущенные ей на личную жизнь и неподвластные хозяйке.

Маргита могла бесконечно распространяться о том, какие это неблагоприятные, ленивые, нечестные создания. Она хранила в памяти целую галерею служанок, сменившихся в их доме за два десятилетия. Некоторые из них запомнились ей навсегда.

Однажды к ним пришла маленькая смуглая и худенькая девушка из Срема. Когда на третий день она убирала в коридоре, а Маргита, следуя за ней по пятам, тыкала ее носом в каждую соринку, застрявшую в щелях паркета, и дожимала бесчисленными наставлениями, девушка не выдержала, вскинулась: не желает она больше служить в этом доме, пусть ей только выплатят, что положено. Маргита, не раздумывая долго, обозвала девушку подлой гадиной, а платить отказалась.

— Ладно, пусть я подлая. Но и вас тоже сразу видать, какая вы есть госпожа. Да не будь работы в целом свете, я бы все равно не стала служить такому аспиду. Уж лучше камни с голодухи глотать...

Маргита грозила полицией, металась по коридору и осыпала ее бранью. Неизвестно какое ругательство особенно больно задело девушку, но только она вдруг истерически вскрикнула и замахнулась на Маргиту щеткой, Маргита выскочила в кухню. А девушка отбросила в сторону щетку и, взяв себя в руки, сказала:

— Да вас не щеткой нужно, а автоматом. Таких, как вы, только так и проймешь. И проймут еще, не думайте. Проймут!

Девушка ушла, а Маргита тут же заявила на нее в полицию. Долгие годы потом, стоило ей только вспомнить об этом случае, — а вспоминала она его довольно часто, — как ее начинало трясти от бессильного бешенства, и, выпучив глаза, она не переставая твердила:

— Автоматом мне угрожала, мерзавка! Подумать только! Автоматом! А в полиции еще смеются надо мной, когда я им об этом заявила! Как вам нравится!

Зайцу особенно запомнился другой случай. Однажды к ним нанялась молодая женщина; не торгуясь, она сразу согласилась на условия Маргиты. Она была высокая и белокурая, с печальными глазами и держалась с большим достоинством. На следующее утро она приступила

к работе, повязавшись широким черным фартуком. Весь день она молча сносила придирки Маргиты, а на ночь ушла домой, оставив у хозяев черный фартук, и больше не вернулась. Одного дня в этом доме достаточно ей было для того, чтобы бежать из него, как от чумы, безвозмездно отдав хозяйке день труда, а вдобавок к нему и свой фартук.

Маргита всем и каждому рассказывала об этом эпизоде, не подозревая, сколько в нем таится осуждения ей самой.

И так из года в год, от служанки к служанке.

Вот и сейчас она скандалит на кухне с очередной служанкой, работающей у них всего несколько дней, и грозит ей, что та может запросто угодить на принудительные работы; идет война, а с немцами шутки плохи.

Угрозы новые, а в остальном все то же, вот уже двадцать лет.

Эти мысли о жене, ее расплывшийся облик заслоняли от него весь мир, вытесняли из сознания все светлое. Ему казалось, что она всегда была такой. Деспотичная, брюзгливая, руки в постоянном движении; вечно она поправляет что-то на себе или возле себя. И каждое слово сопровождается резкой и вульгарной жестикуляцией. На лице выражение обиженной жертвы и хладнокровного убийцы. Хмурая и злобная мина не сходит с нее весь божий день, омрачая все вокруг; с той же миной ложится она в постель, продолжая и во сне хранить угрюмую гримасу на лице, чтобы встретить с ней новый день. Вот оно, живое олицетворение того, что называют семейным счастьем. Жалобы Маргиты так вздорны, страдания так бессмысленны и мелки, что они не вызывают ни в ком ни понимания, ни сочувствия. Но самое отвратительное в ней — это улыбка. Вспышка холодной зарницы в сером сумраке, гримаса бескровных губ, вызывающая смещение морщин, — и только. Глядя на это жалкое подобие улыбки, Заяц с грустью вспоминает детский смех и веселый хохот деревенских девушек, собравшихся поболтать у плетня воскресным днем, и милые сердечные улыбки, выпадавшие ему в жизни. На память приходят седые, лукавые старики, чьи лица расцветают солнечной улыбкой, и добродушные старушки с лучезарными морщинами возле смеющихся глаз и трогательной добротой беззубых ртов. От всех этих воспоминаний щемит сердце и хочется бежать из своего дома.

Наблюдая за женой, Заяц сравнивает ее с той статной девушкой, которую так страстно возжаждал он однажды и в недобрый час получил навек.

Собственная семейная жизнь и отношения с женой наводят Зайца на мысль о других знакомых ему семьях и супружеских парах. На его долю, бесспорно, выпал особо тяжкий жребий, но он не был исключением, ибо множество так называемых «семей» напоминают его собственный брачный союз, и множество жен обладают теми же чертами, которые свойственны Маргите, с той лишь разницей, что у нее они развились до чудовищных размеров. В который раз пытается он постичь природу уродливого явления, именуемого «хозяйка дома». Почему, — недоумевает Заяц, — эти жепщины не выполняют своих обязанностей с радостью или хотя бы спокойно, но в большинстве случаев с раздражением и бранью, а то и просто со злобой и с ненавистью? Почему молодые женщины, имеющие славных мужей, здоровых ребят и материальный достаток, отравляют жизнь своей семье, носятся по дому как фурии, ругают служанку, бьют детей, едят поедом мужа, огрызаются по телефону, а на базаре орут и препираются не хуже торговков?

Почему в этом обществе молодые женщины с такой ужасающей быстротой превращаются в мелочных и жестоких мещанок с черствым сердцем, ограниченным и подозрительным складом ума и неумеренно длинным языком? Как скоро становятся они заклятыми врагами всякой возвышенной мысли, свободной радости и красоты! Что это? Болезнь? О нет! Высохшие или раздобревшие, они умирают в глубокой старости, намного пережив свои жертвы. Не повинна в этом и бедность, ибо ни им самим, ни кому бы то ни было из близких не приходилось знать ни голода, ни нужды. Остается одно объяснение. Это — общественное проклятие, добровольное служение всему эгоистичному и мелочному в человеке и самому низменному и ничтожному, что только есть в жизни. Проклятие будничных забот, ставших самоцелью; проклятие, которое горше многих других грехов и пороков. Пожалуй, это единственное объяснение, если оно вообще возможно. Проклятие, вытекающее из логики устройства общества и уродливой системы воспитания жепщин.

Нет конца размышлениям Зайца. Изю дня в день, из года в год наблюдал он за своей жеппой и ее приятельницами молча, безропотно, как обреченная жертва, и теперь

изучил их досконально. Образ его жены много лет заслонял от него весь мир, в котором были, очевидно, иные семьи и достойные женщины, так же как сейчас скандал на кухне путал ход его мыслей, а размышления стали его насущной потребностью. Но теперь он занят другими, более существенными проблемами. Прежде всего, это война и все, что с ней связано, ее причины и следствия. И в этом бесконечном потоке дум, часто лишенных логики и порядка, но живых и волнующих, дум об устройстве мира, о государствах и войнах, о семье и обществе, его собственный дом, Маргита, да и сам он со своей бесплодной жизнью терялись, как статисты в грандиозном спектакле, отходили на второй план.

Когда ему удавалось не слышать назойливых криков Маргиты, позабыть на время о ее существовании, он думал о других и спрашивал себя, почему так много людей в этом обществе живет бессмысленно и недостойно? Изворачиваются и мошенничают в мирной жизни и уничтожают и пожирают друг друга в войнах? Как положить этому конец, каким должен быть облик лучшего общества и какое место мог бы занять в нем он сам?

Ответа он не находил. Да и как было решить эти нелегкие вопросы здесь, в уединении террасы, на которой он теперь просиживал часами, как некогда на берегах Савы, и так же, как и там, не в состоянии был отделаться от них, подавить их в себе. Напротив, все новые и новые вопросы день за днем осаждали его. Мучительная их неразрешенность приходила, наконец, в столь резкое противоречие с Маргитиными скандалами в доме, что Заяц покидал свое убежище и отправлялся на улицу Толстого.

Одним из положительных последствий отчаянной выходки Зайца и его короткой болезни было то, что теперь Маргита не возражала против его посещений Топчидерского холма, и даже часто сама посылала его туда, якобы успокоиться в тишине, среди зелени, на самом же деле — чтобы он не торчал у нее перед глазами постоянной угрозой. И Заяц отправлялся к Дорошам.

Когда он впервые пришел туда после болезни, Елица встретила его с какой-то новой для него улыбкой, разговаривала с ним, как когда-то давно, и при этом шурилась словно от яркого солнца, мешавшего ей разглядеть что-то вдали. Взгляд этот был тоже новым для Зайца.

Он был смущен и взволнован.

И Филипп, подойдя к нему, стиснул ему руку с неуклюжей юношеской сердечностью.

Правда, уже на следующий день они приветствовали его при встрече краткими кивками, холодные и далекие, как ему, по крайней мере, казалось. Но что бы там ни было, место его было здесь, в этом маленьком доме на горе, здесь надо искать решения всех мучивших его вопросов и определиться самому в окружающем мире. Наведываясь к ним все чаще и чаще, Заяц разговаривал теперь не только с Марией и Дорошем, но и с «детьми», «сближался с ними» — как называл он это про себя.

VI

Может быть, сказанные кем-то слова, что Белград в 1941—1944 годах был «самым несчастным городом в Европе», не вполне точны, однако несомненно, что в то время он стал ареной борьбы, в которой людской злобе и низости противостояли красота и величие человеческого подвига. Здесь страдали и мучились и морально и физически. Крошечной частицей Белграда тех лет был дом инженера Дороша на улице Толстого.

Инженер Дорош — большой, сутулый и добродушный, медлительный в мыслях и молчаливый — теперь и вовсе замкнулся в себе, зарылся, словно крот, во множество мелких, будничных забот. Заметно было, что он быстро сдает, как будто бы его большое тело не выдерживало бремени непосильных испытаний, постигших всех людей, включая его самого и его семью, сгибалось от безотчетных страхов.

Мария почти не изменилась, во всяком случае внешне. Разве что взгляд ее в последнее время стал быстрее и устремлялся порой в одну точку, выдавая тайную тревогу, причины которой были известны только ей одной.

Заяц стал у них чем-то вроде члена семьи. Как в первое лето оккупации, он стал навещать к ним почти что ежедневно, проводя с ними все время до «полицейского часа» за разговором с Марией или детьми. «Дети» были главной, самой неразгаданной и притягательной силой этого дома.

Филипп — студент второго курса, будущий юрист, молчаливый, как отец, и упорный, как мать, — теперь, когда занятия в университете были прерваны, проводил

все дни дома, занятый каким-то делом, смысл и назначение которого оставались неувеличимыми для Зайца.

Елица, невысокая, крепкого сложения девушка, получила аттестат зрелости и теперь, как и брат, была «безработной», но в действительности с утра до ночи трудилась. Неприятная жесткость, которая три года назад появилась в ее характере, постепенно смягчилась, а потом и вовсе исчезла. Взгляд ее потеплел, отрывистый прежде смех и резкие манеры приобрели естественность и женственность.

Вытянулась, изменилась и Даница, в ней ничего не осталось от той капризной и избалованной девочки, которая после переезда из Шабача с таким трудом привыкала к столичной гимназии, но домашние по-прежнему называли ее Цыпленком, и похоже, это прозвище так и останется за ней навсегда.

Младший — маленький, черноволосый и живой Драган — вылитая мать. Гимназии закрыты, и детство мальчика проходит в необычных условиях оккупации. По три раза на день успевал он обежать со своими товарищами Топчидерский холм, а когда мать и сестра усаживали его за книжки, Драган бурно негодовал против странных порядков, при которых заставляют учиться, когда школы закрыты!

В последнее время понятие «дети» в этом доме заметно расширилось. Постоянным гостем здесь был племянник Дороша — Синиша, студент-юрист, старший товарищ Филиппа, худой, высокий, близорукий юноша со строгим лицом сформировавшегося, зрелого человека. Приходил еще один их ровесник, юрист, пасынок жестянщика с Чукарицы, — румяный, застенчивый, светловолосый и стройный парень. Зовут его Милан. Но со времени детского увлечения футболом на Чукарице за ним так и осталась кличка Запасной, заменившая ему среди товарищей его настоящее имя.

Приходили и другие молодые люди, и студенты и рабочие, как казалось по виду, большей частью ненадолго, иной раз появляясь лишь у забора или в калитке, так что их никто не знакомил с домашними.

Заяц стал сближаться с «детьми» еще в первое лето. Дружба студенческой молодежи и пожилого человека развивалась неровно, приливами и отливами (так, по крайней мере, представлялось Зайцу), но все же постепенно развивалась и крепла.

Сначала они вместе слушали радио, наверху, на мансарде, естественно, со всеми мерами предосторожности, с какими слушались тогда заграничные станции. Кто-нибудь дежурил у дверей, чтобы предупредить приход случайного знакомого или девушки-служанки, — она могла выдать ненамеренно, просто по неведению. Приемник накрывали одеялом, приглушая звук, и головы склонялись к малейшему освещенному глазку, для тысяч и тысяч поработанных бывшему тогда единственным окошком в мир, единственным светочем надежды. В присутствии Зайца события особенно не комментировались. Филипп и Милан Запасной, прослушав Москву, перекидывались скуными словами, больше говоря друг другу взглядами, которыми они при этом обменивались. Заяц в этом никогда не участвовал. Выслушав последние известия, он спустился в сад или на кухню и вкратце рассказывал Марии о событиях на фронтах и о том, что делалось в мире. Это уже стало традицией. Подавленный невзгодами, робкий Дорош просил избавить его от подробностей и сообщать только в общих чертах, как там «у наших идут дела на фронтах: хорошо или плохо». И все. Со временем выработался обычай говорить ему одно и то же: «Дела идут на лад».

В ответ на это добряк вздевал горе свои длинные жилистые руки в знак того, что и он на это надеется, хотя и опасается, как бы не вышло чего плохого.

Шли месяцы, составленные из дней и ночей, часов и минут, и каждые из них, взятые в отдельности, представлялись бесконечными и невыносимыми. Заяц все чаще уходил на Топчидерский холм и подолгу оставался там, почти совсем не бывая в доме, называвшемся его. По сути дела, он давно уже стал своим здесь, а гостем — там, внизу, у Маргиты. И чем мрачнее были тучи на горизонте, тем ближе сходилась Заяц с «детьми», и они платили ему все большим доверием и привязанностью.

Случалось, войдя в мансарду послушать радио, Заяц невольно ловил завершение спора, начатого до его прихода, шутивную реплику или какой-то намек, понятные молодежи и не совсем ясные ему. Пока еще в его присутствии «дети» говорили сдержанно, но теперь и скрывали меньше, чем раньше. Однажды Филипп во время жаркого диспута бросил своим друзьям весело и между прочим: «Да вы не стесняйтесь, при дядюшке можно говорить со-

вершенно свободно!»—и продолжал развивать свою мысль о войне.

От этих слов Зайца охватила волна огромного, неизведанного дотоле счастья.

Оставаясь наедине с Марией, Заяц частенько заговаривал о «детях», но Мария уклонялась от обсуждения их планов и дел. Только выше поднимала голову при упоминании кого-либо из них. И это все. А Заяц страстно хотел сказать ей, как он ценит и понимает этих мальчиков и девочек, объяснить, как проникся их ненавистью и любовью и мечтает лишь об одном — чем-нибудь им помочь, сделать что-нибудь полезное для них, чего они сами, может быть, сделать не могут или не умеют, принять опасность или риск на себя. Но, боже мой, как трудно все это выразить даже в мыслях, а вслух и совсем невозможно.

То, чего не могли сделать десятилетия бесплодного существования, сделало это суровое, тяжкое и вместе с тем огненное и героическое время. Оно помогло завершению процесса, начавшегося в Зайце еще в период его приобщения к жизни на Саве. Если раньше о многом он только догадывался, то теперь он прозрел окончательно и понял, как мало подлинно человеческого было в его прежней жизни, в его помыслах, как мало обязанностей, возложенных на человека, он выполнял. Линия фронта теперь резко обозначилась повсюду: на войне, в тылу, в обществе, в его собственном доме, в его душе. Определиться в этом мире двух враждующих лагерей было трудно. Однако он гораздо лучше знал, против чего оп, чем за что и с кем... Но теперь у него все чаще возникало незнакомое прежде желание не только осмыслить происходящие события, но и хотя бы в самой скромной степени влиять на их ход, действовать самому, вкладывая свою долю усилий в то дело, которое казалось ему справедливым, и, отдавая ему частицу самого себя, ощущать себя богаче и сильнее. Он начинал понимать, что стихийные взрывы, пусть даже самые смелые, вроде того, что последовал за казнями на Теразиях,— ничто иное, как расхолодившиеся нервы и полная беспомощность. Осознание должно вести к действию, действие должно иметь определенную цель, и сама смелость должна чему-то служить, чтобы с правом носить свое имя, так как только то, чему она служит, придает ей истинную цену и значение. Коротче говоря, надо быть с людьми и работать вместе с ними.

Нелегко дались эти выводы ему, весь свой век поступавшемуся лучшими своими убеждениями, пассивно принимавшему жизнь такой, как она есть, и отзывавшемуся на нее бессвязными мыслями и смутными ощущениями. Однако в огне войны все развивалось быстрее, расцвело и приносило плоды. Заяц был не единственным, с чьих глаз страшные бесчеловечные времена сорвали пелену и кому указали путь! В случае с Зайцем это были «дети», — именно они окончательно просветили его и помогли найти дорогу, мальчики и девочки, годившиеся ему в дочери и сыновья. Но что из этого? Главное теперь заключалось в том, чтобы от принятых решений перейти к делу и раз навсегда покончить с никчемным, недостойным существованием, обрести под собой твердую почву, дающую возможность по-человечески жить и трудиться.

Все это кипело в нем, переполняя его до краев, и так хотелось поделиться этим с Марией, близкой ему, как родная, умная и добрая сестра. Но ему никак не удавалось это сделать, он каждый раз краснел, смущался и путался в словах, по странному закону человеческих чувств стесняясь самого лучшего, что в нем было. И все же робкие намеки и застенчивые недомолвки, срывавшиеся с его губ, раскрывали душевное состояние Зайца, может быть, лучше самых красноречивых тирад. Говорить о большом и значительном всегда трудно, зато оно легко угадывается, особенно если имеешь дело с таким собеседником, как Мария; и сама немногословная, она обладала даром понимать и слушать других.

С горечью думая о своей непоследовательности и неумении высказаться четко и ясно, Заяц на самом деле все более полно открывался молодежи, с которой особенно стремился сблизиться, и «дети» давно уже считали его своим, в той мере, в какой он мог им быть.

С весны 1942 года Заяц от праздных разговоров в доме Дорошей перешел к делу и стал помогать «детям», не расспрашивая их ни о дальнейших планах, ни о том, какую цель преследуют они, давая ему то или иное поручение.

Так, ему пришлось ближе познакомиться с Синишей, он жил на Светославской улице в доме своего отца, директора гимназии, теперь уже на пенсии. Синиша, несомненно, был у них главным, возможно даже, руководил какой-то большой организацией, но об этом можно было только догадываться.

Длинный и худощавый, он обладал способностью незаметно появляться в самых неожиданных местах, — как бы мимоходом и на минуту. Создавалось впечатление, что и говорил он словно бы вскользь, между прочим. Его зеленые близорукие глаза обычно были опущены, но он, казалось, воспринимал окружающее всем своим существом и схватывал все, что ему нужно было видеть и знать. И так же, как неслышна и легка была его походка, так и все слова звучали в его устах непринужденно и легко, словно только что пришли ему на ум, и при этом прикрывались неповторимой иронией, столь привлекавшей и смущавшей Зайца.

Со своей первой просьбой Синиша обратился к Зайцу в обычной своей манере, бросив как бы мимоходом:

— Если бы вы могли, дядюшка Заяц... Если это вас не затруднит...

Заяц с негодованием отверг и самую мысль о том, что его могло что-нибудь затруднить.

Вот когда пригодился его каллиграфический талант. Заяц искусно копировал документы, подделывал подписи на пропусках и удостоверениях и выполнял все прочие виды работ, требовавшие его безукоризненного мастерства, тщательности исполнения и терпеливости.

Началось со справок об освобождении от «обязательной трудовой повинности». Когда так называемое сербское правительство по приказанию и в интересах оккупантов объявило мобилизацию молодежи, развилась активная деятельность по спасению молодежи от этой позорной службы. Существовало несколько способов спасения. Один из них заключался в следующем.

Отбор производился в помещении пожарной команды на Битольской улице. В просторном зале за столом размещалась комиссия во главе с врачом. Юноши, выстроенные друг другу в затылок, длинной вереницей проходили из коридора в зал, где их одного за другим осматривал врач. Один или двое товарищей должны были затесаться в очередь и, оказавшись у стола, захватить как можно больше пустых бланков, на которых писалось медицинское заключение, а затем незаметно выбраться из зала и выскользнуть на улицу.

Чистые бланки заполнялись именами тех, кто жил вообще без прописки и без подобной справки был лишен возможности передвигаться по городу, ибо полиция арестовывала каждого молодого человека, не имевшего

удостоверения либо об отбытии «трудовой повинности», либо об «непригодности».

Заяц виртуозно копировал на чистых бланках подписи врачей и председателя комиссии.

Закончив свой первый опыт и отложив в сторону перо, Заяц задумался над подделанным удостоверением. Долго сидел он, положив правую руку на стол. Он рассматривал свою руку, точно видел ее впервые. С тех пор как его рука научилась держать перо, она еще ни разу не делала ничего более полезного и справедливого, эта фальшивка была первой действительно нужной и доброй бумагой, которую она написала. Ему приятно было сидеть вот так, с рукой, покоящейся на его скромном труде; ему хотелось бы еще и еще без усталости делать такие вот хорошие и честные фальшивки.

Это было началом, потом он занялся копированием и «доведением до кондиции» других документов, исподволь доставлявшихся в дом инженера Дороша и выносившихся из него полностью оформленными, с необходимыми печатями и подписями. Количество заказов говорило Зайцу об огромном множестве людей, руководимых из одного центра и служивших одной цели.

Позднее к Зайцу стали обращаться и за другими услугами. Благодаря своей внешности добропорядочного, почтенного господина, он мог служить прекрасным связным и переносчиком материалов.

Его домашним телефоном, записанным в справочнике на имя Маргиты, пользовались для передачи поручений и известий.

И хотя, быть может, задания, выполнявшиеся им, были объективно не так уж ответственны и важны, для Зайца они имели огромное значение, ибо давали ему ощущение своей полезности, правильности избранного пути и необходимости людям. Это не Сава, где, подружившись с капитаном Микой, он воочию увидел жизнь во всем подлинном ее драматизме, и не многочасовые размышления на террасе с беспомощными гневными проклятиями темным силам и злу. Нет, отныне перед ним верный путь, и он активно действует на нем, пусть работа его и незаметна в общем деле.

Сознание своей полезности наполняло сердце Зайца спокойствием и гордостью, хотя и то и другое было непостоянным и хрупким,

Спускаясь вечерней порой от улицы Толстого и любясь раскинувшимся во тьме городом и небом, усыпанным крупными яркими звездами, которые в сплетении мятущихся каштановых ветвей казались раздуваемыми ветром огоньками, Заяц нередко подпадал под власть сомнения в своей полезности и нужности, малодушного отголоска не вполне изжитых старых, запутанных чувств, почти утративших над ним свою былую силу и только изредка напоминавших о себе ощущением безвыходной тоски.

Он припоминал молчаливое выжидание, с которым «дети», да и сама Мария нередко встречали и провожали его, прерванные с его приходом разговоры, проскользнувший иронический и отчужденный взгляд Синиши, и тогда уязвленное самолюбие, в минуты слабости напоминающее о себе, говорило ему о том, что он никогда не станет для них своим, что он так и останется никем и ничем, каким был всегда, человеком без определенной линии в жизни, что ему нет места в великой общей борьбе, ибо он не дорос до нее, а его благим намерениям не соответствуют его способности, силы и свойства характера.

Иногда на него нападал безотчетный страх — не столько перед полицией, сколько перед необычностью своего нового положения, чреватого всяческими переменами и неожиданностями. Бесчисленное множество вопросов терзало его. Есть ли у них общее направление? А что, если это самодеятельность наивной молодежи, за которой никто не стоит? Какая у них цель? Куда они идут?

Не всегда удавалось Заяцу найти ответ на эти вопросы. Подчас все казалось ясным и последовательным, иногда туманным и безответственным. Но в чем Заяц не мог усомниться, так это в том, что он с ними, с такими, какие они есть. С ними! Это совершенно бесспорно.

Уверенность в этом рассеивала сомнения, нашептанные ему малодушием, и постепенно он понял, что искать ответ на все возникающие вопросы не менее бессмысленно, чем от врожденной робости и страха ждать вдохновения на борьбу и риск.

Были и такие вечера, когда Заяц возвращался домой, испытывая блаженное чувство удовлетворения и уверенности в себе, глубокое и радостное сознание, что и он служит благородному делу, рядовой в великой армии, связанный не только с «детьми», но и с теми, кто, невидимый, стоит за ними, с целой армией чистых, сильных и дальновидных борцов.

Возвращаясь домой с такими противоречивыми настроениями и чувствами, Заяц наблюдал все те же созвездия над северной частью белградского неба, по-разному освещенные в зависимости от времени года. Так проходили недели и месяцы, слагавшиеся в годы. Минуты подавленности и сомнений теперь бывали все реже. Заяц и сам не замечал, как выросли и расширились его представления о событиях, происходивших в мире и непосредственно вокруг него, как крепло в нем сознание высокого смысла той борьбы, что велась у него на глазах, как росла его уверенность и пропадало желание прислушиваться к себе и копаться в своих настроениях.

Постепенно в его душе воцарилось какое-то согласие, уравновешенность и мир. Спускаясь крутой каштановой аллеей, Заяц смелее смотрел на затемненный город с размытыми бликами приглушенного света, на звездное мерцающее небо и яркий перевернутый ковш Большой Медведицы, ручка которого поблескивала в глубине среди мелких созвездий.

«Дело идет», — говорил себе Заяц, его незаметно совершают те, кому он оказывает посильную помощь, но им помогают и другие, неизвестные ему люди, их много, этих людей, еще более смелых и нужных для общего дела. «Дело идет», — повторял он и с этой мыслью засыпал спокойным сном труженика.

Обретенный им душевный покой нарушали теперь лишь внешние события, а их за последнее время было немало.

Летом 1942 года где-то в окрестностях Белграда исчез Филипп. В то лето он часто отправлялся с мешком за плечами в Рипань и другие близлежащие села «раздобывать продукты». Однажды он не вернулся. Дорош сообщил об этом в полицию. Сразу же явились два жандарма и агент тайной полиции и перетряхнули весь дом. «Знаем мы, каковы на вкус эти продукты и что это за исчезновения!» Дом вообще, мол, у них на примете, и отец с матерью еще ответят за своего сынка, которого полиция выкопает хоть из-под земли. Мария невозмутимо отвечала, что у ее сына все документы в порядке и, вероятно, с ним что-то произошло, поэтому она будет очень благодарна полиции, если ей удастся что-нибудь о нем разузнать.

Полиция произвела повторный обыск. На этот раз нагрянула в два часа ночи, перерыла все, и снова безрезультатно. Подсылали к ним и провокатора с «поручения-

ми от Филиппа», но он был встречен соответствующим образом. Дело как будто заглохло.

Заяц никогда не расспрашивал о том, что действительно произошло с Филиппом, куда он исчез. Мария ему ничего не говорила, а дети жили по-прежнему, только друзья стали теперь приходиться заметно реже и со всеми мерами предосторожности. Они по-прежнему слушали вместе передачи «Свободной Югославии», и Заяц продолжал оказывать детям мелкие услуги, но теперь документы изготовлялись не у Дорошей, а в летнем деревянном домике на Деспотовачской улице, где жила престарелая, одинокая женщина рабочего вида; настоящего хозяина дома Заяц не знал.

С улицы Толстого в этот домик можно было пробраться совершенно незамеченным через два соседних виноградника и неприметные проемы в оградах.

Вторым таким местом был дом отца Запасного на Чукарице, но туда Зайца посылали редко, при этом он в дом никогда не заходил, а передавал или принимал что надо в мастерской металлоремонта.

Об остальных явках Заяц знал лишь понаслышке — одна находилась на Герцеговинской улице, в дровяном складе на самом берегу Савы. С ней поддерживалась связь только через Вуле (неизвестно, было ли это его имя или прозвище); Вуле — светловолосый, пышущий здоровьем, краснощекий парень откуда-то из-под Ужице, вечно улыбающийся, порывистый в словах и движениях. На улице Толстого он появлялся редко. Заяц чувствовал к нему симпатию, смешанную со страхом, и каждый раз, глядя на Вуле, думал, что это один из тех, кто не пощадит, если потребуется, ни себя, ни других.

Так дом на улице Толстого был «разгружен» и забыт, как казалось Зайцу, полицией на целый год. Но уже в конце его, в ноябре, семью инженера и Зайца постиг тяжелый удар.

Однажды утром Зайцу позвонила маленькая Даница и, сказав, что она говорит от соседей, попросила его тотчас же подняться к ним. Чувствуя недоброе, он бросился на улицу Толстого и застал всю семью в смятении. Даница первая обрела дар речи и сказала: «Ночью взяли Елицу».

Заяц мгновенно осознал весь ужас и значение этих слов. А вслед за тем ощутил пустоту внутри себя и вокруг, словно остановились и время, и воздух, и кровь в

жилах и замерли звуки. Только огромным усилием воли он заставил себя вернуться к действительности и снова слышать и понимать.

В три часа ночи в дом пришли трое немцев и с ними агент тайной полиции; произвели обыск и велели Елице одеться. Перерезали телефонный провод, унесли с собой аппарат, а также радиоприемник с мансарды. На этот раз они вели себя несколько вежливее, чем при первом обыске, и разрешили Елице взять с собой узелок с провизией и бельем.

Когда все было готово, Елица поцеловалась со всеми по очереди и, не грустная и не веселая — обычная, будто уезжала на вокзал, спокойно села рядом с шофером в зеленый гестаповский автомобиль с мощными фарами и прожектором.

Заяц обошел весь дом, еще носивший следы недавнего обыска. Остановился на мгновение перед столиком, где раньше стоял столь хорошо ему знакомый радиоприемник, задержался в углу, где был телефон, а теперь торчали из стены грубо обрезанные клещами провода. Все его внимание сосредоточилось на этих немых свидетелях недавних событий, словно главное заключалось в них. Потом он должен был пойти пешком на Чукарицу и на Банов холм с поручениями, которые передал через Даницу Синиша. Но вот наступил вечер, когда надо было осмыслить случившееся.

Тогда-то и почувствовал Заяц незнакомую до сих пор боль. «Увели девочку», — повторял он про себя тупо, механически, без конца. И, когда замолкал, эта фраза звучала в его ушах, словно умноженная многократным эхом: «Увели девочку, увели девочку», и такое безысходное горе раздирало его грудь, что по сравнению с ним бледнели все те страдания, которые до сих пор доводилось ему пережить. Ни утро, ни последующие дни не принесли облегчения.

Заяц не мог ни есть, ни спать, а Маргита и Тигр вызвали в нем физическое отвращение, и он старался на них не глядеть. Вообще, чем дольше шла война, чем крепче были узы, связывавшие его с домом на улице Толстого и с «детьми», тем ничтожнее казались ему жена и сын. Синиша как-то предупредил Зайца о том, чтобы он при них ни словом не обмолвился о том, что доводится ему видеть и слышать на Топчидерском холме, но это предупреждение было излишним, Зайцу и без того никогда бы и в го-

лову не пришло чем то поделиться с ними. Словно жева и ее сын дышали другим воздухом и питались другим хлебом — такими чуждыми и лишенными всякого интереса были они для Зайца. Он смутно вспоминал те времена, когда придавал значение словам Маргиты, а в ее взгляде искал оценки своим поступкам. Теперь мерилом всего на свете для него стала война, вернее, ее крохотный участок — дети с улицы Толстого со всей их деятельностью, направленной на то невидимое, что стояло за ними и направляло их.

В последние дни все его помыслы сосредоточились на судьбе Елицы. Зайца преследовали галлюцинации, он просыпался среди ночи, разбуженный ее голосом, и внимал ей с удивлением и нежностью, как когда-то, когда впервые услышал от нее эти слова и фразы наяву. «Положительный человек», — говорила она, растягивая «ж». «Они учатся любить людей!» — однажды сказала она каким-то таким глубоким и проникновенным голосом и с таким просветленным лицом, что, глядя на нее, Зайцу хотелось плакать от умиления и смеяться от радости, что есть такая вера, такие люди и такие слова. Теперь среди ночи он часто слышал их, и сердце его разрывалось от страха за судьбу Елицы.

«Товарищи борются... пока идет борьба», — как-то случайно услышал он сказанную ею фразу — его приход тогда прервал разговор. Теперь это слово «борьба», произнесенное с юношеским благоговением, постоянно звучит в его ушах с этим его глухим и раскатистым «р» и напевными вротяжными гласными.

Это слово, услышанное им из уст ребенка, если только можно назвать ребенком эту зрелую, сознательную девушку, приобретало для Зайца все более конкретный и одухотворенный смысл. «Борьба» — с этим словом в сознании Зайца связывался теперь целый ряд картин. Он представлял себе, как Запасной и Филипп отправляются поездом в село, якобы за продуктами, но вот наступает мгновение, когда, сбросив маску легальности, они сворачивают на глухие лесные тропинки и пробираются вперед в поисках верных явок; вот они ночью бредут нешком, сквозь дождь, упорно создавая сеть связей, незримых и в то же время реально существующих благодаря их воле, уму и бесстрашию. Заяц видит, как искусно вплетаются они в эту сеть, выполняя неведомые ему задания, но дальше след их терялся — воображение Зайца было бессильно его продлить.

Здесь начиналась «борьба», удел храбрых и избранных, сознательный подвиг и героизм, тем более великий, что имена героев, так же как их славные дела, пока еще остаются скрытыми от мира.

Для Зайца было отрадой хотя бы и в воображении быть вместе с этими людьми в их трудной и величественной борьбе, и он стремился всем своим существом быть ближе к ним, как можно ближе.

И само это слово «борьба», произнесенное детскими губами, на какие-то мгновения вызволяло его из пут обессливающей, подавляющей жалости.

А среди ночи он снова просыпался, чувствуя невыносимое стеснение в груди, и ему казалось, что в эту самую минуту Елицу истязают на допросе. И он покрывался жаркой испариной в холодной комнате, как будто бы мучили и пытали его самого.

Заяц начинал разговаривать с собой во тьме. Что же это? Девочка, олицетворение физической и нравственной красоты, избитая и истерзанная, брошена в грязную камеру только потому, что она принадлежит к коммунистической молодежи и борется с оккупантами, а Маргиты и Тигры разгуливают на свободе, перекидываются в пинг-понг, дышат свежим воздухом, едят и загорают!

Одного этого достаточно, чтобы понять, на чьей стороне справедливость в нынешнем разделении мира, и определить в нем свое место раз и навсегда.

С каждым днем заключения Елицы крепла в Зайце уверенность в том, что все это касается не только его, этой девушки и ее родителей, столь близких и дорогих ему людей. Центр тяжести в размышлениях Зайца все очевиднее перемещался с личного на общее, и все прочнее утверждалась в нем мысль о том, что в этой войне столкнулись два враждующих мира с четко намеченными целями и методами борьбы, и для него нет больше сомнения в том, на чьей стороне он, кого надо поддерживать, за кого бороться.

Утешения в этом горе, как и во всех несчастьях, принесенных войной, он искал в маленьком доме на улице Толстого, который сейчас сам нуждался в утешении.

Вот когда по-настоящему раскрылась Мария. Ни слез, ни растерянности, ни лишних слов. Бледное лицо ее приобрело, правда, землистый оттенок, а глаза все чаще застывали, уставившись в одну точку, но при упоминании имени дочери она только выше поднимала голову.

Ко всеобщему удивлению, и Дорош, добродушный и робкий великан, проявил выдержку и самообладание.

Притихшая Даница, недавний Цыпленок, и Драган, пытливо смотревший на мир черными, как у матери, глазами, стойко переносили несчастье. Со дня ареста старшей сестры дети заметно повзрослели.

Семья тяжело переживала постигшее ее несчастье, но, словно по молчаливому согласию, никто не выказывал признаков слабости. И это крепче всего связывало их с Елицей, которую все они так любили и жалели.

Говорили о пей только по необходимости. Раз в неделю ей готовили передачу с продуктами и сменой белья. Доставали продукты Дорош и дети, но собирать передачу Мария не позволяла никому. Она безмолвно и решительно взяла в свои руки заботу о своем ребенке, которого некогда родила и вскормила. И только иногда позволяла кому-нибудь из детей донести ей узел до лагеря в Банице. Два раза в сильные морозы она разрешила заменить Даницу Зайцу.

Зима в тот год выдалась жестокая, ветреная. Путь до лагеря в Банице не близок. Гололед. Мария торопливо идет мелким шагом по твердому, как кость, скользкому насту. Сгибаясь под порывом ветра, она глубже надвигает свой черный капюшон. За ней едва поспевает Заяц с красным термосом и корзинкой с яблоками, узел с едой Мария несет сама. Его зимние ботинки на толстой подошве отбивают гулкий ритм, как бы вторя частым шагам женщины, и то и дело скользят.

Напрасно старается он завязать разговор, — слова относит ветер, а Мария, едва проговорив несколько слов ему в ответ, замыкается в глухом молчании. Видно, неумогу ей разговаривать на этом пути. И Заяц чувствует себя потерянным и лишним.

Две длинные очереди с передачами перед глухими воротами видны еще издалека. В большинстве своем это женщины, редко когда попадетсЯ какой-нибудь мальчик или старик. Озябшие люди топают ногами, согревают дыханием заочеченвшие руки, передвигают с места на место корзинки и узелки.

Мария берет у Зайца поклажу и, коротко поблагодарив его, велит отправляться домой. Он в замешательстве топчется, но она повторяет свое распоряжение повелительно, почти грубо. Когда она, забрав корзинку, без

слов оставляет его и отходит, он еще некоторое время медлит, не решаясь сдвинуться с места.

По обе стороны запертых главных ворот две боковые узкие калитки из толстых железных прутьев с нишами для часовых в углублении каменных стен. От них тянутся две очереди людей с узлами и корзинами. К правой калитке очередь длиннее, она тянется через дорогу. В нее и встала Мария.

Прием и просмотр передач еще не начинался.

С трудом оторвавшись от этого печального зрелища, Заяц наконец трогается в обратный путь. Из левой очереди до него доносятся обрывки спора. Женщины препираются с каким-то стариком. Они говорят все разом, так что слов разобрать невозможно. Маленький, черный, будто прокопченный, старик в крестьянской одежде сердито что-то им возражает. Заяц уловил последние слова, сказанные с ожесточением и злобой: «...нет, ничего нет святого».

Заяц повернулся и заспешил по дороге, терявшейся в белоснежной дали и обозначенной темными, словно рубцы, колеями, — следами полозьев и колес.

Он шел с пустыми руками, но чувствовал такую тяжесть, будто на его плечи взвалили все свертки и узлы, все страдания, заботы и горе тех, что остались стоять там, перед воротами.

Зима подходила к концу, наступил теплый февраль с обманчивыми признаками весны, с частыми оттепелями и огненными закатами солнца над Бежанийской косой.

В один из таких дней Мария возвратилась из Баницы с продуктами и бельем; передачу не приняли, а сообщить, что с Елицей, отказались. Тогда впервые в ее глазах блеснули слезы, — влажная пелена подернула на миг ее глаза и тотчас же пропала.

В следующий вторник передачу приняли снова и еще несколько раз принимали, но потом наотрез отказались. (Передачи для расстрелянных и угнанных в Германию часто принимались и делились охраной между собой.) Все это вызывало приливы и отливы душевного подъема и упадка в семье Цароша. И еще раз блеснула надежда. Одна важная женщина, сотрудница Красного Креста, передала, что восемнадцать женщин из Баницы отвезли ночью на железнодорожный вокзал и отправили в лагерь

в Германию. Фамилии пятнадцати из них были известны, три установить не удалось. Среди пятнадцати названных Елицы не было. Оставалась слабая надежда, что она — одна из трех безымянных.

VII

С февраля месяца городом владело состояние особой взвинченности: опасались бомбардировок. Власти и частные лица на свой страх и риск принимали защитные меры, из уст в уста передавались самые дикие и нелепые слухи.

С чего все началось? В тот день, когда Заяц впервые задал себе этот вопрос, атмосфера напряжения в городе уже царила безраздельно. Еще в ноябре прошлого года в газетах появилось распоряжение: «О защитных мерах на случай вражеского нападения с воздуха». Февральские и мартовские номера газет пестрели дополнениями к нему и новыми приказами. Лихорадочные приготовления угадывались во всем. Бомбоубежища расширялись; строились новые — «только для немецких военнослужащих», белые стрелки с буквами LSR¹ указывали к ним дорогу; в частных домах укреплялись и расчищались подвалы. По улицам торопливо шагали прохожие с рулонами черной бумаги для светомаскировки, несоблюдение ее грозило строжайшим наказанием.

Однажды Синиша как бы между прочим спросил Заяца, что он думает делать, если начнутся бомбардировки. Заяц недоуменно пожал плечами.

— Я? Да... то же, что и теперь.

— Вы не собираетесь на это время уехать из Белграда, дядюшка Заяц? — спросил Синиша, опуская свои близорукие глаза, не нуждавшиеся в долгом разглядывании собеседника.

— Нет, — ответил Заяц и хотел добавить: «Нет, если это нужно будет для дела», но смутился и промолчал.

— Даже если они зачастят? — допытывался Синиша в своем обычном ироническом тоне.

— Думаю, что нет, — тихо ответил Заяц.

— А вы герой, дядюшка Заяц.

И Синиша шутливо перевел разговор на что-то другое.

¹ Luftschutzraum — бомбоубежище (нем.).

Больше об этом не было сказано ни слова. И хотя Заяц не обещал ничего определенного, он чувствовал себя обязанным остаться в городе в случае воздушных налетов, и это чувство наполняло его спокойной уверенностью и довольством собой и всем окружающим.

Бомбардировкам предшествовали безобидные происшествия. Несколько раз в течение февраля и марта во всем Белграде неожиданно выключали электричество и подавали предупредительные сигналы тревоги. Но предупреждений о непосредственной опасности — коротких и отрывистых сигналов сирен, прозванных в народе «собачьим лаем», — пока что не было.

Как только гас свет, в квартире у Зайца поднимались крик, суета и смятение. Маргита всхлипывала, оглашая дом стонами и причитаниями, задавала бессмысленные вопросы, строила невероятные догадки. Она металась по комнатам в поисках электрического фонарика, неизменно оказывавшегося у нее в кармане, и хватала в сумасшедшей спешке вещи, которые она забирала с собой в подвал.

Тигр, растерянный, как попавшийся в ловушку зверь, торопил мать, напрасно стараясь утихомирить ее, пока сам не срывался на крик.

Спускаясь в подвал, Маргита на ходу посылала мужу последние приказания: погасить огонь на кухне, открыть окна.

Когда же они наконец уходили, Заяц заканчивал ужин в темноте, гасил огонь в плите и привычным движением перескакивал на свою террасу. Перед ним простирался город, погруженный в весеннюю тьму, прорезанную лучами пемецких прожекторов, которые, подобно ножкам гигантского светящегося циркуля, зловеще меряли пространство, теряясь в заоблачных высотах.

Временами с улицы доносился торопливый топот солдатских сапог, шуршали шины пронесившихся мимо автомобилей.

Это были прекрасные и торжественные минуты, ничто не мешало Зайцу размышлять тогда о природе страха и храбрости, о войне и обществе, о людях.

Если долго не давали отбоя, Заяц возвращался в свою комнату, раздевался в темноте, ложился в постель и быстро засыпал. А утром его встречали Маргитины укоры и попреки, пустые и бессмысленные, как все, что она говорила, однако же утратившие былую воинственность и больше походившие теперь на жалобы. Словно кто-то вы-

бил почву у нее из-под ног — у нее и у всего того круга людей, к которому она принадлежала, и они потерялись в этой действительности.

Настоящие бомбардировки начались 16 апреля, в первый день пасхи, около десяти часов утра.

Заяц как раз собирался в город без какой-либо особой цели, а просто чтобы избавиться от визгливого голоса Маргиты, в то утро принявшей под свою команду новенькую словачку из Воеводины — маленькую, румяную Филомену.

Белградские церкви звонили в колокола. Растворяясь над городом, звон медленно плыл под огромным куполом весеннего неба.

И вдруг, разрывая праздничную гармонию, протяжно завывала сирена и перекрыла колокольный звон. Это был предупредительный сигнал — несколько оглушающих длинных гудков с металлическим придыханием в начале и в конце.

Вслед за сиреной в комнату Зайца ворвалась Маргита, лицо ее было искажено от страха. Она носилась по дому, натываясь на мебель, на мужа, на служанку. Второпях хватая первые попавшиеся под руку вещи, она что-то кричала — бессвязное и неосмысленное. И только было Заяц стал успокаивать ее, помогая собрать вещи и уверяя, что это только предупредительный сигнал, как сирена снова завывала, на этот раз объявляя о непосредственной опасности. Маргита оцепенела от ужаса, только язык ее не утратил своей живости.

— Ах, бандиты! Бандиты! Мишель! Где мой ребенок? Мишель! Ключ, ключ от маленького чемодана! Филка, ну чего стоишь, рот разинула?

В суете, криках и смятении Заяц с помощью перепуганной Филки отвел обезумевшую жену в подвал. Тигр был уже там, он играл в пинг-понг внизу и кинулся в убежище первым, нисколько не заботясь о домашних. Мать в умилении смотрела на него сквозь слезы. Она потянулась было к нему с объятиями, но он резко стряхнул с себя ее руку и остался сидеть, сутулый и неподвижный, безучастный ко всему, сконцентрированный только на собственной персоне. В ту минуту от него нельзя было добиться ни жеста, ни возгласа, ни взгляда, ни малейшего расхода энергии, словно необходимой ему для сохранения собственного его рекордсменского тела. Он и не подумал

уступить место матери, едва державшейся на ногах, видя, как Заяц ищет, куда бы ее усадить.

Пристроив кое-как жену, Заяц выбрался из подвала. За ним вдогонку неся слабый голос Маргиты. Она велела ему смотреть, не забыть... она и сама не знала, что и где.

Возвратившись в пустую квартиру, Заяц распахнул все окна, а затем через кухонное окно переправился на свою террасу. Двери в квартире остались открытыми, и из комнат до него доносились слова диктора, объявлявшего, что над «Черногорией и Сербией появились крупные воздушные соединения неприятеля».

Со стороны вокзала до него донесся оглушительный гудок стремительно промчавшегося паровоза и тут же стих. Наступила та особая, глухая тишина настороженно притихшего перед нападением оккупированного города.

Заяц оглядел открывавшийся перед ним вид. С одной стороны даль терялась в мареве, окутавшем дунайские острова, с другой она резко очерчивалась серой грядой земунских строений, началом Бежанийской косы, ангарами аэродрома. На переднем плане обширной панорамы выделялось здание белградского вокзала с цепочками вагонов на путях, за ними виднелись очертания Калемегдана, а еще дальше — впадение Савы в Дунай, бесчисленные ее острова, протоки и старицы, блестящие зеркальными осколками черной воды.

В установившейся столь необычной тишине тайная тревога сообщала знакомой перспективе особую окраску, пронизанную ожиданием ощутимо близкой опасности и нависшей беды.

Тишину разорвали приглушенные залпы зениток с восточной окраины города. Беспорядочная стрельба ширилась вокруг, постепенно вовлекая в свой круг близлежащие районы, скованные до этого безмолвием и немотой.

Вскоре в эту тревожно торжественную гамму ворвался слабый, но явственный гул моторов. Приставив ладонь к глазам, Заяц долго всматривался в небо, но ничего не мог разобрать, а когда опустил глаза, застланные от напряжения слезами, заметил совсем невысоко несколько белых маленьких самолетов; они шли с запада, снижались в районе станции и над красным железнодорожным мостом через Саву, а затем в стремительном вираже снова взмывали вверх, словно чайки над простором. Заяц пересчитал самолеты. Их было восемь. Девятый летел от-

дельно. Сначала он подумал, что это немецкие машины, но, пробежав глазами пространство, над которым они пролетали, Заяц увидел, как два вагона, оторвавшись от земли, встали на дыбы, будто кони. Тут же в воздух поднялись фонтаны пыли и земли. Заяц задрожал от восторга. Вздрыбленные вагоны рухнули на землю, взметнув густые клубы черного дыма, огромным, все увеличивающимся столбом уходящие к небу. Серебристо-белые самолеты летели теперь над устьем Савы, набирая высоту и постепенно скрываясь из поля зрения. Только последний самолет был еще виден. Красная точка алым цветом выделялась у него на фюзеляже. Когда самолет пролетал над устьем, от него отделились белые мячики, подобные большим снежинкам, сначала два, за ними третий. По мере исчезновения самолета снежинки росли, покачиваясь в вышине, и продолжали свой плавный полет, относимые ветром в противоположную от улетевших самолетов сторону.

Столб дыма, поднимавшийся над горящими вагонами, вырос до самого неба и покраспел у основания.

Охваченный новым, не изведанным еще возбуждением, Заяц забыл, где он находится, и знал только одно: это бьют и громят врага, ненавидимого им все более лютой и осознанной ненавистью.

Стрельба зениток умолкла. Три белые снежинки, оставленные самолетом, спускались все ниже, раскрываясь зонтиками и исчезая из поля зрения Зайца по мере снижения где-то за Бежанием.

В ту минуту, когда Заяц с удивлением подумал, что все это напоминает безобидную детскую игру в погожий день, разом грохнули батареи зенитной артиллерии. И вместе с ними зачастили разрывы бомб, следовавшие по пяти-шести подряд, а за ними могучее эхо рущащихся стросний и над всем этим несмолкаемый и мощный рокот ревуших самолетов.

Как будто два зверя, долго выслеживавшие друг друга, наконец в яростном прыжке, неистово рыча, сокрушая все вокруг, поднимая тучи пыли, сцепились в жестокой схватке.

Сознание Зайца на мгновение захватил этот неожиданный образ, но тотчас же непреодолимое желание все видеть и знать вернуло его к действительности. Закинув голову к сверкающему солнечному небу и приставив к глазам ладони, Заяц не отрываясь следил за самолетами.

Сотрясавшаяся под взрывами и обвалом каменных громад земля вызывала гудение и дрожание воздуха. И у Зайца внутри все дрожало, механически и неостановимо, как на тряской, ухабистой и каменистой дороге в кузове грузовика.

Неровными рядами, на высоте свыше четырех тысяч метров,— так почему-то определил Заяц,— плавно и, казалось, медленно шли бесчисленные черно-серые бомбардировщики. Заяц пытался их сосчитать: четыре, семь, одиннадцать, шестнадцать, двадцать два... но вот слева и справа от основной группы вынырнули новые ряды и окончательно сбили его со счета. Небо роилось эскадрильями бомбардировщиков. А над этой черной тучей блестяли мелкой рыбешкой в воде едва заметные серебристые машины.

Внимание Зайца приковали новые взрывы, доносившиеся со стороны Земуна. Взгляд его еще успел поймать каскады превращенных в обломки ангаров, домов, сараев, вместе с землей обрушившихся на Земунский аэродром.

Мгновенно эскадрильи исчезли где-то в вышине, на северо-западе. Лишь слабый гул моторов остался после них. Вдалеке вразбивку грохнули три запоздалых выстрела, потом два, потом еще один, как последние капли утихшего грозового ливня. Тишина завладела всем. Над Земунским аэродромом вздымалась завеса темно-серого дыма и пыли.

Только сейчас Заяц обнаружил, что рот и глаза его залеплены пылью, надвигавшейся на него со спины, из разбомбленных районов Белграда. Впервые за весь этот день он испугался чего-то и, спасаясь от уже миновавшей опасности, торопливо покинул террасу.

Он обошел квартиру — в открытые окна врывались тучи пыли — и спустился в подвал. И здесь быстро освободился от страха, прогнавшего его с террасы.

С верхней ступени лестницы, где он остановился, ему открылись груды сбившихся в кучу человеческих тел. Как-то раз ему довелось побывать в белградской клинике для душевнобольных: он навещал родственника-студента, страдавшего психическим расстройством. Врач-земляк из Панчева провел его тогда в общий зал, где больные находятся днем. Это было очень давно. Но вид людей, сгрудившихся в подвале, живо пробудил в нем стершееся с годами воспоминание.

Люди в подвале сидели, лежали, стояли в самых неестественных позах. Тут были распростертые на полу мертвенно-бледные женщины с мокрыми тряпками на лбу. Иные мужчины сидели, опершись локтями о колени и закрыв лицо ладонями, или неподвижно стояли, закинув голову, прижавшись затылком к стене, точно приковавшиеся. Некоторые пары сплелись в судорожных объятиях, другие с отвращением и злобой отвернулись друг от друга. Это была страшная галерея искаженных страхом лиц, каталепсических положений.

Из массы неподвижных тел к Зайцу потянулись две руки и обернулось Маргитино лицо, обезображенное уродливой гримасой, а вслед за тем послышался и ее плаксивый, дребезжащий голос с неизменными нотами негодования и упрека:

— За-яц... Ну что там, скажи ради бога?

Как и все вопросы Маргиты, и этот тоже не заслуживал ответа. Но учитывая драматичность момента и желая ее как-то успокоить, он все-таки проговорил:

— Ничего, ничего, все затихло...

В этот миг тишину потряс одинокий и неблизкий, но мощный взрыв, по-видимому, бомбы замедленного действия. И снова наступила тишина, но ненадолго. В подвале поднялся невообразимый крик. Человека, все еще стоявшего на верхней ступени лестницы, осыпали проклятиями и бранью, испепеляли бешеными взглядами, грозили ему кулаками:

— Закрой дверь... Дурак!

— Идиот! Из-за него мы все погибнем!

— Ничего себе «затихло», черт бы тебя побрал! — разрядил чей-то саркастический бас нервное напряжение, развязавшее языки даже и слабому полу, в обычное время не позволяющему себе вслух произносить столь грубые слова. Женщины всхлипывали и стонали, и надо всем этим неся протяжный Маргитин страдальческий вопль.

Заяц поспешил убраться. На лестнице он столкнулся с инженером, квартирантом с четвертого этажа, он спускался в каком-то лихорадочном, почти веселом возбуждении и, без конца задавая вопросы, тут же сам на них отвечал:

— Видали? Я видел все своими глазами! Гроблянская улица, я думаю, сильно пострадала. И, уж во всяком случае, Байлонов рынок.

Инженер подхватил Зайца под руку. И они, словно по уговору, вышли из дома.

На улицах ни души. Тишина стояла, словно в горах. В вышине что-то гудело так тонко и монотонно, что этот звук становился частью тишины.

Поднявшись до улицы князя Милоша, они увидели перед собой плотное облако желтой пыли, поднимавшейся над юго-восточной частью города и заслонявшей синий горизонт, между тем как протяжный вой сирен с гостиницы «Албания», с Чукарицы и с Дуная оповещал о том, что опасность миновала.

Заяц заторопился на улицу Толстого. От нетерпения он поднимался в гору почти бегом. Народ, искавший здесь спасения от бомбежки, возвращался в город. Люди возбужденно говорили. Некоторые громко смеялись, но это был неестественный и нездоровый смех. От многих пахло спиртным.

С холма было прекрасно видно, как на железнодорожной станции в четырех местах горят вагоны. Земун исчез за тяжелым пологом дыма и пыли, также как и юго-восточная часть Белграда.

Топчидерский холм не подвергался бомбежке, но все же Заяц не успокоился до тех пор, пока не увидел, что знакомый домик в первой весенней зелени цел и невредим. И тут только с облегчением вздохнул.

У Дорошей было беспокойно. Сам Дорош и Даница тяжело переносили бомбежку. Девчужка испуганно моргала округлившимися глазами и тряслась в нервном ознобе. Бледный, как полотно, Дорош бессмысленно перебирал что-то на столе и, шурша бумагами, упрямо и тихо, будто наперекор кому-то, повторял:

— Ну нет, я не останусь здесь дожидаться новых бомб! Нет!

Мария и Драган были спокойны, как всегда.

Заяц спустился на Светосавскую улицу узнать, что с Синишей, и спросить, нет ли каких-нибудь поручений. Синиша встретил его, по своему обыкновению, веселыми шутками и казался оживленнее, чем обычно.

Выслушав рассказ Зайца о бомбежке, которую тот наблюдал с террасы от начала до конца, Синиша, думая, по-видимому, о чем-то своем, повторил несколько раз:

— Союзники близко, дядюшка Заяц, уже близко!

Синиша попросил Зайца сегодня же осмотреть разбомбленные районы Белграда, постараться определить

размеры разрушений и, кроме того, узнать, не пострадали ли какие-либо из интересующих его домов,— номера их он назвал Зайцу особо. Сообщить об этом можно на Топчидерский холм, а уж «дети» или Вуле свяжутся с ним.

В сумерках, измученный и подавленный видом развалин и трагических сцен, развернувшихся у него перед глазами, Заяц вернулся домой.

Он застал Маргиту и Тигра за обсуждением плагов бегства из Белграда куда-нибудь в надежное и тихое пристанище. Маргита осыпала Зайца попреками в бесчувствии к ней и «к ребенку» — вместо того, чтобы позаботиться о семье, он только и знает что шляться на Топчидерский холм. Она говорила не умолкая, совершенно не заботясь о том, что она говорит и слушают ли ее. Заяц с чувством отвращения, смешанного с жалостью, смотрел на эту растрепанную, нечесаную и немытую, неряшливо одетую женщину.

Маргита твердила, что этой ночью Белград будет стерт с лица земли,— это ей доподлинно известно,— и, забывая упреки и брань, которыми за минуту до этого она осыпала Зайца, умоляла его сказать, куда бежать.

— Никуда.

Онемев от изумления, Маргита с ненавистью смотрела на него и, заикаясь, бормотала сквозь слезы бессвязные слова, но потом в ней вскипела былая ярость, и, разразившись потоком бешеной брани, она подскочила к Зайцу и, стуча кулаком по столу, заверещала:

— Как это никуда? Да я побегу хоть на край света. Ты можешь подышать, как дурак, каким всегда и был, а мне моя жизнь дорога. Я... я... — И она разрыдалась в бессильной злобе.

В конце концов ему удалось уйти и запереться в своей комнате. Некоторое время до него еще доносились крики и топот, перед закрытыми глазами вставали страшные картины разрушений, развалин домов, искалеченные трупы, завернутые в обрывки обгоревших ковров. Но вскоре смертельная усталость сморила его, и он забылся тяжелым сном.

На рассвете его разбудила шумная возня и хлопанье дверей. Пришлось встать. Маргита обрушилась на него с вопросами: куда бежать? Где раздобыть транспорт? Что брать с собой и как быть с тем, что остается? Все еще под тяжким впечатлением от вчерашних картин, Заяц пропускал мимо ушей жалобы жены, в полном здравии

носившейся по благоустроенной квартире и оглашавшей ее громкими стонами и воплями, не в пример тем, кто вчера в молчании стоял над развалинами того, что некогда было их кровом и домом.

— Заяц! За-яц! — время от времени взывала к нему Маргита, но он не откликался, словно это относилось к кому-то другому.

Маргита упаковывала в чемоданы «самое необходимое», она набрасывалась на вещи, хватала их без разбора, кидалась на них хищной птицей, но вдруг заливалась слезами, руки ее опускались, и она бессильно садилась прямо на пол перед открытыми чемоданами. Собравшись немного с духом, она снова принималась безуспешно звать Зайца, то всхлипывая, как ребенок, то бранясь и сквернословя, как уличная девка.

Тигр вертелся возле матери; он весь слинял и притих и, как вчера, не говорил ни слова, а только испуганно хлопал глазами; встречаясь взглядами, мать и сын некоторое время смотрели друг на друга, как двое потерпевших крушение, пока Тигр не отворачивался от нее, а она не принималась со слезами укладываться. От их практичности и наглой самоуверенности, казавшейся неиссякаемой, не осталось и следа.

Когда совсем рассвело, Тигр согласился выйти на поиски автомобиля, такси или грузовика, а на худой конец подводы. Дрожащими губами Маргита шептала сыну напутственные слова:

— Иди к немцам, иди куда хочешь, заплати, сколько потребуют, но без машины не возвращайся!

В это утро в доме не было ни минуты покоя. Маргита увязывала узлы, кричала, плакала, отдавала распоряжения — о вещах, об отъезде, рассуждала вслух и опровергала сама себя. Она обзванивала всех знакомых, а когда какой-нибудь номер из пострадавших районов Белграда не отзывался, в сердцах плевала в телефонную трубку.

Заяц сидел посреди комнаты и молча завтракал. Укрошенная, бессильная жена смотрела на него со злостью, но в то же время со страхом и почтением.

— Хорошо, если у тебя железные нервы.

Продолжая спокойно есть, Заяц подумал о том, что, может быть, впервые за двадцать лет он чувствует себя свободно за своим столом и спокойно, с аппетитом ест, совершенно не заботясь о Маргите, попросту ее не замечая и не испытывая от ее присутствия гнета, раньше

всегда давившего на него. Когда она обрушилась на него с новым потоком бессвязных жалоб, возносивших собственную ее дородную персону и драгоценное имущество до уровня мирового значения, он холодно ее прервал:

— Не в тебе дело. Речь идет. .

Он объяснялся с ней твердо и прямо, без всяких церемоний, но и без злобы. И при этом смотрел ей в глаза, впервые нисколько их не боясь (в отличие от прошлого, когда он боялся и не видя их); в них не было ничего особенного; это были самые заурядные глаза, но слишком умные и не слишком глупые, и сейчас в них не отражалось ничего, кроме бесконечной растерянности и тоски. И подумать только... Ах, ему было и смешно и досадно, но желания смеяться и досадовать не было. Он только понял, что освобождение его, начавшееся много лет назад, сегодня завершилось.

С этим ощущением он успокаивал жену, как малое дитя или старуху, во всем видящую непреодолимые трудности и страхи.

Тигр возвратился с подводой. Между матерью и сыном снова вспыхнула бессмысленная и слезливая перебранка. Заяц старался их примирить, объяснить им их собственные путаные мысли и желания и давал действительно дельные советы. Впервые его слова принимались без возражений.

Решено было перебраться в Железник к знакомому крестьянину, который много лет носил им молоко. Мать и сын не могли скрыть искренней радости, когда услышали, что Заяц, «само собой разумеется», останется в городе и будет смотреть за домом.

Теперь все пошло быстрее и легче. И все-таки Маргита задерживалась у каждой двери, крестилась, бранила управляющего, сносившего вещи, и кричала Заяцу:

— Смотри за всем... Окна не забывай открывать... В зеленой коробке осталось печенье, новую не начинай...

Но вот наконец спустились по лестнице. Заяц помог разместить скарб. Маргита ежесекундно вскрикивала, вспоминая о забытых вещах, но неизменно обнаруживала их в одном из своих обширных карманов. Вскоре чемоданы всех размеров и всевозможные узлы были погружены. Маргита поместилась возле возницы, и он велел ей подбрать беспомощно свисавшие ноги. А Тигр, по-прежнему занятый собой, но теперь жалкий, потерянный и совсем не похожий на того зверя, именем которого он

назывался, взгромоздился на тюфяк, положенный поверх чемоданов.

Подвода тронулась; стоя в воротах, Заяц помахал им вслед рукой, будто провожая на загородную майскую прогулку.

Возвратившись в опустошенную квартиру, которая, казалось, перенесла налет грабителей, Заяц прибрал разбросанные вещи, закрыл распахнутые дверцы шкафов и расставил все по местам. Затем он вымыл руки и с чувством облегчения и полной свободы опустился в глубокое кресло. Так он сидел, пока не вспомнил, что должен передать на Топчидерский холм собранные вчера сведения. Посмотрел на часы и вскочил. Было десять часов.

Только в конце улицы Князя Милоша Заяц обратил внимание на то, что все пешеходы и автомобили движутся в одном направлении — вон из города. Не успел он подняться по круто взбегающей вверх улице и дойти до перекрестка, от которого влево отходит дорога на Дединье, как завывла сирена. Вслед за ней — вторая. Это был сигнал непосредственной опасности. Заяц ускорил шаг, чувствуя, что весь обливается холодным потом. Мимо него на полном ходу проносились машины, набитые немецкими солдатами, офицерами и штатскими, все они спешили на Дединье и Топчидер.

Недалеко от перекрестка, у Звезды, его догнала молодая крестьянка с перекинутой через правое плечо связкой пустых бидонов из-под молока и узлом за спиной. Лицо ее пылало от возбуждения, она шла торопливым шагом, подавшись вперед и почти не сгибая ног, — характерной походкой крестьянки, привыкшей к тяжелой ноше. Она спросила Зайца, что это за сирена — «просто так» или «та самая»?

— Поторопись, поторопись! А всего лучше сверни-ка ты в лесок, — ответил ей Заяц таким тоном, будто знал наперед дальнейшее развитие событий.

— А, чтоб им всем пусто было, проклятым!

Полные свежие губы крестьянки и блеснувший ряд крепких, свежих зубов создавали иллюзию улыбки на ее взволнованном лице.

Со стороны Дуная подали голос зенитные батареи. Все ускоряя шаг, Заяц свернул к улице Толстого. И крестьянка, поколебавшись, тоже свернула за ним с Топчидерской дороги. Она догнала его у дома Дороша и попросила приютить ее, — куда ж ей деваться одной?

В саду и возле дома никого не было. Даже куры куда-то попрятались. На зов Зайца из подвала показалась Мария. Она сидела там с Драганом при свете свечи. Дорош и Даница еще утром ушли с соседями куда-то на Кошутняк или на Банов холм, чтобы там пересидеть новую бомбежку.

Драган и Мария обрадовались приходу Зайца и пригласили крестьянку присесть. Та со вздохом облегчения скинула с себя поклажу и краем головного платка утерла пот.

В погребе было тихо и прохладно. Ровным пламенем горела свеча. Приглушенные расстоянием, долетали до них отзвуки далеких артиллерийских залпов.

Но обманчивая тишина длилась лишь несколько мгновений. Не успела Мария обменяться с гостьей несколькими приветственными словами, как усилилась артиллерийская стрельба, в небе послышался рокот моторов, еще более могучий, чем вчера, а вместе с ним и первые разрывы бомб, сопровождаемые жутким свистом, треском и грохотом, от которого содрогался подвал и качался дом над ними. Дверь в подвал так дергалась и сотрясалась, как будто кто-то снаружи силой ломился к ним.

Заяц стоял на последней ступеньке, возле него пригнулся Драган, крепко сжимая его руку в своей. Одновременно с разрывами бомб и Мария перебралась поближе к сыну.

Обострившимся слухом и зрением Заяц, стиснув челюсти, чутко улавливал все происходящее вокруг в неверном полусвете мигающего пламени свечи, по временам погружавшего подвал во тьму.

Крестьянка громко охала и причитала, а потом лишь всхлипывала, уткнув голову в колени и прижав руки к подбородку, и замерла, словно ребенок в утробе матери.

Мария безмолвно стояла, напряженно вслушиваясь, положив руку на плечо мальчика, и только время от времени посматривала на Зайца, как бы ища подтверждения каким-то своим мыслям. При каждой новой вспышке пламени Заяц видел застывшее лицо Марии и ее глаза, сверкавшие ярким синим огнем. Никогда прежде, ни у нее самой и ни у кого другого, не видел он таких глаз. Но когда Драган обращал на Зайца свой вопрошающий и вдумчивый взгляд, в нем мелькал приглушенный отблеск того же синего огня.

Проникнутый сознанием своей незащищенности от са-

мой незначительной бомбы в этом неглубоком подвальчике под ветхим строением, Заяц живо представлял себе возможность близкой гибели, возможность исчезновения из этого мира. Он страстно желал, чтобы скорее умолкли эти страшные звуки: гул моторов в небе, грохот взрывов, стук хлопающей двери, скрип и дребезжание, которые наполняли подрагивающий подвал и весь дом над их головой. Он желал этого всем сердцем и для себя, и для тех, кто был рядом с ним, и еще для многих, многих других. Крепко сжимая руку мальчика в своей, Заяц чувствовал свою кровную связь с «детьми», со всей молодежью, за три года перебивавшей в этом доме и ставшей его друзьями, со всеми теми, кого он не знал, но кто думал, работал и боролся с ними вместе, чувствовал нерасторжимые узы, которыми он был привязан к их общему делу, к грозной схватке не на жизнь, а на смерть, где успех определяют секунды и миллиметры. Он страстно желал мира и жизни.

Так прошел тройной массированный воздушный налет на соединения гитлеровцев, окопавшиеся в «городе и крепости Белград».

Третья атака была самой сильной. Воздушная волна холодным ветром задувала в подвал, проникая сквозь дверь, словно сквозь кисейную завесу, и от ее прикосновения по коже шли мурашки. Свеча погасла. Воздух наполнился пылью. Крестьянка голосила в своем углу, зывая к богу.

Внезапно все стихло. Они зажгли свечу, открыли дверь, чтобы проветрить подвал, и вышли во двор, только крестьянка не шелохнулась и не меняла своей позы.

Скоро завывала сирена, извещая, что опасность миновала. Было далеко за полдень.

Когда они, все в пыли, вышли на террасу, на солнечный свет, они увидели, как они бледны. Крестьянка подавленно молчала, сконфуженная своим недавним испугом. Но постепенно и она приходила в себя, а умывшись и напившись воды, обрела дар речи и преобразилась. И, снова румяная и улыбающаяся, перебросила через плечо свою поклажу и распрощалась во всеми. Заяц напутствовал ее на случай новой тревоги, а она, стоя в калитке, отплевывалась.

— А, чтоб им всем пусто было, проклятым!

Заяц с Марией и Драганом обедали на террасе. Мальчик уплетал за обе щеки и оживленно болтал. Немного

погода пришел Вуле с первыми известиями о последствиях бомбежки, гораздо более тяжелых, чем вчерашние. Он был порывист и взволнован больше обычного. Заяц передал ему сведения для Синиши, назначил новое свидание у себя дома и распрощался, величая Драгана «старым боевым другом».

С площади Звезды перед ним открылся вид окутанного дымом и объятых пожарами Белграда. Внизу на берегу Савы от Сеняка до Чукарицы горели бараки. Первой бросилась ему в глаза наполовину поваленная в воду зеленая купальня Станко, охваченная огнем,— течение отнесло ее почти на середину реки. «И это пройдет!»

На улице Князя Милоша Заяц столкнулся с первыми следами бомбежки. Их дом остался невредим. Ни одна бомба не упала на их крутую улицу. Зато соседняя, Сараевская, представляла собой цепь развалин, на мостовой зияли огромные воронки, заполнявшиеся водой из поврежденных водопроводных труб.

В доме все было засыпано пылью, землей, камнями и щебнем, принесенными взрывной волной с Сараевской улицы. Водопровод, телефон, электричество вышли из строя. Жизнь повернула вспять, переместившись в пространстве и времени, к той грубой поро первобытного существования, когда все жизненные блага доставались с невероятным трудом. Человек был теперь отрезан от цивилизации. Он должен был сам добывать себе воду, заботиться об освещении, раньше достававшихся ему без всяких хлопот.

Пока Заяц убирал квартиру, стемнело. Он зажег свечу и отправился в ванную умываться, стараясь экономнее расходовать оставшуюся в баке воду. В это время забарабанили в дверь. Это был управляющий. Он едва держался на ногах, язык у него заплетался.

— Господин Катанич... Ужас... Это невозможно выдержать! Моя жена рано утром уезжает в Кумодраж. Я не знаю, как быть... Поверьте, проклятая сирена хуже всего на свете... И бомб не нужно... Как она начнет выть, у меня подкашиваются ноги, а как кончит — от меня нет половины! Ужас! Не знаю, что делать.

Осунувшееся лицо в испарине и грязных подтеках, мутные глаза беспокойно бегают, голос сбивается на шепот. Он был пьян и совершенно не владел собой.

Заяц едва уговорил его идти спать и отложить разговор до завтра.

Сам он спал крепким сном. Разбудил его шум, доносившийся через открытые окна. Было совсем светло. Одевшись и спустившись вниз, Заяц обнаружил, что управляющий и его жена исчезли. Со всех этажей спускались люди с чемоданами в руках и пледом через плечо.

Толпы беженцев пешком и на подводах текли по направлению к Топчидеру.

Заяц долго смотрел на этот непрерывный поток. Толкаясь и теснясь, люди, как овцы, тянулись гуртом друг за другом в поисках места, где не падают бомбы. Брели дряхлые, сгорбившиеся старики и старухи; ехали в пролетках молодые и холеные господа с бутылками и свертками на коленях; спешили матери и тащили за руки детей, прикрикивая на них. Этот развороченный муравейник создавал общую картину бедствия.

Сквозь эту толпу, с легкостью расчищая себе дорогу, словно лавируя в мелкой речушке, пробивались автомобили и мотоциклы — это, ни на кого не глядя, ехали немцы.

К десяти часам улицы совершенно опустели. В покинутых квартирах на всех этажах окна были распахнуты настежь.

Оказавшись в полном одиночестве на перекрестке, Заяц с волнением озирался по сторонам, словно воочию увидел, как замерло время в этот нескончаемо долгий и необыкновенно теплый день.

Потом повернул вниз по улице к дому. Прежде чем войти в ворота, он бросил взгляд на невысокий, но красивый особняк напротив, где жила старая вдова какого-то чиновника со снохой и с сыном. У нее отнялись ноги, и она уже много лет целые дни проводила, сидя у окна. С удивлением увидел Заяц в окне ее бескровное, озаренное солнцем лицо. Очевидно, сын с женой и служанкой тоже уехали, бросив ее тут одну на произвол судьбы.

Заяц остановился в замешательстве, а потом, поддавшись безотчетному порыву, снял шляпу и неловко поклонился этой незнакомой старой женщине. Бледное лицо ее с черными глазами тронула печальная, далекая улыбка. А Заяц поспешил войти в свой покинутый дом.

Налетов больше не было ни в один из последующих дней. Понемногу жизнь входила в свою колею. Прежде всего после трехдневного перерыва вышли оккупационные газеты, заработал телефон, включили электричество. Дольше всего не было воды. Возрождавшаяся жизнь имела искаженные и ущербные формы. По утрам, еще до

девяти часов, народ разбрехался по окрестностям, и город оставался почти пустым до самого вечера.

Заяц отсиживался дома, или шел на Топчидерский холм, или отправлялся с поручениями в город, пользуясь временным послаблением строгостей.

VIII

Заданий было все больше.

Однажды Синиша сам пришел к Заяцу. Он был здесь впервые и как-то особенно внимательно осматривал квартиру своими близорукими глазами... Казалось, ему достаточно приблизиться к предмету — и он уже знает о нем все, что нужно.

Расхаживая по квартире, Синиша бросил Заяцу как бы невзначай:

— Вы случайно не знакомы с Микой Джурджевичем, капитаном Микой?

Заяц растерялся и обрадовался. И перед его глазами возникла давнишняя сцена на Саве: Милан Страгарац, сплевывая, произносит имя капитана Мики. «Коммунист, заядлый коммунист!»

— Как же, как же, знаю! — пробормотал Заяц и, не найдя, что добавить, весело проговорил: — Хороший человек.

— Хороший?.. Да вроде бы неплохой. Но главное, что вы его знаете лично.

Ирония Синиши, как всегда, несколько отрезвила Заяца, но молодой человек продолжал говорить, словно бы не замечая его смущения. За ним зайдет Вуле и отведет Заяца в условленное место, а обо всем остальном он узнает после.

На прощанье Синиша потянулся было обнять Заяца, но, словно передумав, опустил руки и как бы между прочим тихо спросил, глядя куда-то вниз:

— Вы здесь остаетесь во время бомбежек?

— Да.

— И ничего?

— Да вроде бы ничего, — неуверенно проговорил Заяц, опасаясь новой насмешки.

— А я страшно тяжело переносу.

— Вы?

— Да, да. Вы герой, дядюшка Заяц.

И лицо Синиши осветила улыбка, придав ему выраже-

ние мягкой, детской доброты, но не затронув опущенных глаз.

Они распрощались.

А через два дня, около семи часов утра, в доме Зайца объявился и Вуле. Сияющий свежестью и чистотой, с еще не высохшей шевелюрой, запыхавшийся, с горящими глазами, неугомонный, как всегда.

Он спросил, один ли он дома. Заяц с уверенностью сказал, что один. Вуле поинтересовался, не ждет ли он вечером к себе кого-нибудь, и, услышав отрицательный ответ, сказал, что зайдет за ним, когда стемнеет. Если удастся, он достанет на всякий случай «аусвайс»,¹ выдаваемый на вокзале пассажирам, прибывающим в город после полицейского часа с поздними поездами. Заяц хотел узнать подробности предстоящего задания, чтобы все заранее продумать и предусмотреть, но Вуле в обычной своей бесшабашной и торопливой манере заверил его, что все будет в порядке, и исчез так же быстро, как и появился. За ним, словно борозда после моторки, еще дрожало в воздухе волнение.

Днем Заяц с невольным замиранием сердца несколько раз вспоминал о том, что вечером ему предстоит идти куда-то с Вуле.

К вечеру с северо-запада надвинулись свинцовые тучи и хлынул ливень, плотной завесой закрыв горизонт. Когда дождь кончился, хмурое небо низко нависло над землей и раньше времени стемнело.

Заяц сидел в прихожей и читал. Буквы сливались перед глазами, и он уже собирался встать, чтобы зажечь свет, как вдруг услышал скрежет ключа в замочной скважине. Он вскочил. Перед ним в полутьме стоял Тигр. Он был в длинном плаще, берете, с дорожной сумкой в руках.

Не поздоровавшись, Тигр объявил, что приехал из Железника с приятелем на его мотоцикле, чтобы забрать кое-какие вещи, необходимые ему и матери.

Не раздеваясь и бесцеремонно хлопая дверьми, Тигр прошел к себе в комнату. Он выхватывал вещи из шкафов, из ящиков и засовывал их в сумку.

В квартире было жарко и душно, но Зайца била дрожь от одного только присутствия Тигра, от звука его шагов. Казалось, он не торопился уходить. Заяц начинал терять терпение.

¹ Удостоверение личности, пропуск (нем.).

С минуты на минуту может появиться Вуле и столкнуться с Тигром, а ведь утром Заяц уверенно сказал ему, что вечером у него никого не будет. Еще подумает что-нибудь обо мне,— продолжал рассуждать дальше Заяц, и перестанет мне доверять — и он, и Синиша. От одной этой мысли у него подкосились ноги, и он прислонился к дверному косяку.

В эту минуту Тигр снова появился в прихожей с открытой сумкой и, не потрудившись спросить разрешения, направился к нему в комнату. Схватившись за ручку двери, Заяц встал на пороге, загораживая ему дорогу. Несколько озадаченный Тигр пробормотал, что им попадобилась какая-то лампа из его комнаты. Но Заяц уже ничего не помнил, кровь бросилась ему в голову, в глазах помутилось. Он оттолкнул Тигра и сдавленно и хрипло выдохнул:

— Нечего тебе там делать!

— Не валяй дурака!

— Прочь! — заорал Заяц, толкнув Тигра изо всей силы в грудь.

Ему показалось, что земля под ним содрогнулась и сейчас они оба вместе с этой квартирой и со всей ее обстановкой рухнут в пропасть, но ничего подобного не случилось.

— Что?.. За что? — растерянно бубнил здоровый парень, понуриив голову.

А Заяц уже пришел в себя и, вздохнув полной грудью, увидел перед собой новые горизонты. Впервые в жизни с радостным изумлением обнаружил он в себе силы постоять за себя и дать отпор.

И он внимательно осмотрел свои вытянутые руки, словно только сейчас установил самый факт их существования. Пошарив по столу в поисках тяжелого предмета и ничего не найдя, Заяц выкрикнул срывающимся голосом:

— Вон! Вон отсюда, бездельник!

Тигр обмяк, в испуге вытаращив глаза, как будто увидел перед собой чудовище. Он мгновенно исчез, неслышно затворив за собой дверь, и закачавшаяся прихожая снова вернулась в состояние сумрачного покоя. На улице зафыркал заведенный мотор, и мотоцикл, с ревом и треском преодолевая крутой подъем, стал удаляться в направлении улицы Князя Милоша.

Через полчаса пришел Вуле. В руках у него был потерянный старый чемоданчик, Заяц его сразу же узнал. В этом чемодане три месяца назад он пронес с Деспото-

вачской улицы на Чукарицу какие-то материалы под четырьмя килограммами кускового сахара.

Прерывистой скороговоркой Вуле объяснил Зайцу первую часть задания. Они двинутся сейчас же, но врозь. Вуле пойдет вперед. Встреча у виадука за Господским трактиром. Если будет темно, Вуле станет насвистывать вот так, по-деревенски (и Вуле, посмеиваясь над своими музыкальными способностями, постарался воспроизвести популярную ужицкую песенку). Потом знакомыми Зайцу тропинками они выйдут на берег к кофейне Наума, тоже, должно быть, отлично ему известной (Заяц радостно кивал в знак согласия). Тут они встретятся с одним человеком, возьмут то, что нужно, и вернуться разными путями. Вуле сказал, что пропусков достать не удалось, но это неважно, они наверняка успеют вернуться до полицейского часа.

Отсутствие пропусков несколько встревожило Зайца, детская беззаботность Вуле все-таки смущала его, но он ничего не сказал. Сейчас его гораздо больше занимал вопрос о том, каким образом это вечернее путешествие может быть связано с капитаном Микой, имя которого упомянул вчера Синиша, и действительно ли ему предстоит сегодня увидеться с ним, но спрашивать он не хотел.

Вуле вышел первым и направился по Сараевской улице, а через некоторое время следом за ним по улице Князя Милоша двинулся и Заяц.

Город погружен во тьму, улицы не освещены, окна в домах плотно зашторены. Только на главных перекрестках под прикрытием особых щитков покачиваются электрические фонари, бросая тусклый конус света на брусчатку мостовой. После прошедшего дождя небо еще обложено тучами, отчего по-военному темные улицы напоминают мрачные катакомбы.

Время от времени мимо проезжают военные автомобили, светя мертвенно-бледной точкой света в прорези замаскированных фар, подобной то ли звериному зрачку, то ли погребальной свече. Прохожие попадают редко, выдают их лишь звуки шагов. Звуки двоякого рода — громкий стук подкованных сапог немецкого солдата-окупанта и робкие, быстрые шаги местных жителей.

Кошмарная ночь. Холодный озноб сменяется волнами жаркой испарины. Куда спокойней было бы сидеть под надежной защитой своих стен, чем вот так, пробираясь в темноте, идти навстречу неизвестности и риску! Но,

вспыхнув на мгновение в сознании, эта мысль тотчас же улетучилась.

Прежние сомнения не находят больше отклика в его душе. Твердая поступь солдат-завоевателей не только не пугает Зайца, но, напротив того, убеждает его в правильности единственно возможного для него пути, пути, которым он сейчас идет. И ему хочется петь от радости и смеяться над этим кованым надменным топотом глушцов, шагающих навстречу своей неминуемой гибели и позору.

Несколько раз на слабо освещенных перекрестках ему встречались замотанные платками женщины с мешками выменянных где-то продуктов. Кто они? Матери, несущие из Железника и Жаркова муку и брынзу своим голодным детям? Или спекулянтки? Впрочем, не все ли равно, только бы не этот нечеловеческий железный топот, — единственное, что осталось черному полчищу, не нашедшему иной поддержки для собственного ободрения и устрашения окружающих. А может быть, где-то рядом, скрытые мраком, неслышно идут такие же люди, как он и Вуле, связанные с ними одним делом, одной целью. При этой мысли Заяц выпрямился в темноте; что, если и они, так же, как и он, чувствуют его дружеский локоть в непроглядной ночи.

Страх покинул его, рассеялись последние сомнения.

И снова тяжелый стук немецких сапог: туп-туп, тап-тап, туп-туп, но больше они не тревожили Зайца, ибо гораздо яснее, чем этот назойливый топот, он улавливал внутренним слухом бесшумную поступь армии своих единомышленников, невидимых и потому непобедимых, той армии, которая рано или поздно избавит людей от ужаса и мрака и, изгнав последнего захватчика со своей земли, никому больше не даст нагло попирать ее коваными сапогами, ибо эта земля принадлежит всем людям.

Заяц продвигался вперед неслышными, осторожными шагами, исполненный спокойной и торжественной уверенности, подобной той, которую испытывают люди в праздничной колонне дорогих и близких друзей. Местами движение затрудняли воронки, огороженные легкими дощатыми щитами, но Заяц, вытянув руки вперед, находил себе дорогу в кромешной тьме и медленно, но неуклонно шел вперед.

Перед Господским трактиром он остановился. За черной стеной непроницаемого мрака, казалось, уже не было жизни. Сомнение призрачной тенью еще раз вско-

лыхнулось и погасло. Он постоял немного и, быстро справившись с собой и постепенно прибавляя шаг, повернул направо, к Чукарице.

Проходя под железнодорожным полотном, он чутко вслушивался в тишину в надежде уловить условный сигнал, но вокруг было безмолвие. Он свернул с дороги на узкую знакомую тропу. Пройдя несколько шагов, прислушался снова. Никаких сигналов не было, и Заяц пошел было обратно к повороту. В тот же миг раздалась условная песенка. Протяжная и беспечная, она лилась неторопливо, как и подобает литься тихой песне труженика, возвращающегося с работы домой. И только Заяц собрался свистнуть в ответ, как из мрака грянуло:

— Стой!

Окрик раздался с дороги, но гулкий пролет под виадуком подхватил его и, умножив многократным эхом, накатил на Зайца оглушительным валом, так что казалось, будто на него рухнули вдруг всей своей массой бетонные своды виадука. Из мрака, откуда донесся окрик, блеснул глазок электрического фонаря и, тщательно обшаривая стены, пополз по тоннелю. Одновременно с другой стороны грянул выстрел и следом за ним еще три или четыре. Свет погас, но теперь и оттуда слышались выстрелы, однако Заяц их больше не считал, он неслышно бежал по мягкой земле к берегу Савы. За спиной его визжали, свистели пули, воскрешая в памяти забытые эпизоды из Балканской войны. Заяц мчался в крошечной темноте со странным ощущением, что весь мир смотрит сейчас на него. Снова зацелкали выстрелы, сопровождаемые на этот раз пронзительными полицейскими свистками, но теперь уже значительно правее и дальше. Заяц бежал изо всех сил, задыхаясь от напряжения, однако успевал на ходу сообразить, как вернее навести врага на ложный след и, вырвавшись из опасного района, который будет весь прочесан, подальше уйти от кофейни, где была назначена встреча. («А что, если там капитан Мика?» — молнией пронеслось в его мозгу.) Надо увести преследователей как можно дальше в противоположную от кофейни сторону.

Вдали хлопнуло еще два выстрела, но потом все смолкло, и наступила тишина. Сердце Зайца учащенно билось, дыхание прерывалось. Он рассчитывал, сойдя с дороги, на которую неминуемо выйдут преследователи, пробираться по самому берегу от причала к причалу, от барака к бараку, вплоть до железной дороги, и, перейдя

ее где-нибудь ниже, в безлюдном месте, попасть на улицу Князя Милоша, где еще можно затеряться бесследно. Ни на секунду не забывая о приближающемся полицейском часе и о Вуле с его чемоданчиком, впиваясь глазами во тьму, Заяц ощупывал обманчиво твердую почву ногой, пытаясь найти тропинку, ведущую к воде. Если причал на металлических бочках на прежнем месте, он спустится прямо к нему.

Вдалеке снова раздались свистки, резкие и угрожающие. Только бы найти тропу! И, забирая вправо, уйти от кофейни! Носком ботинка он нащупал наконец край обрывистого берега и в ту же секунду, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног, вместе с осыпающейся под ним землей полетел вниз. Причала не оказалось. Двумя всплесками всколыхнулась вода. Отчаянно пытаюсь дотянуться до дна и тщетно ища, за что бы схватиться, Заяц тонул, все еще не веря, что пришел конец. Но в этой непроглядной тьме вода безжалостно увлекала его ко дну — река сильно вздулась от недавних дождей и была в этом месте очень глубока. И он утонул, не издав ни звука, не оставив никаких следов.

Несколько дней спустя в газете «Новое время» появилось следующее объявление:

«Мой муж Исидор Катанич в состоянии психического расстройства ушел из дома 23 числа с. м. и по сей день не вернулся. На нем был серый костюм, мягкая черная шляпа и коричневые туфли. Всех, кто может что-нибудь о нем сообщить, прошу обращаться в редакцию газеты. Маргита Катанич».

Но никто не откликнулся на это объявление. Воды Савы несли в те дни немало безвестных трупов, прибывая их к отмелям и к прибрежным зарослям ивняка, а не то унося в низовья Дуная, где их втихомолку и без уведомления властей хоронили местные крестьяне.

Вуле в ту ночь удалось спастись, а через два дня окольными путями он дал о себе знать друзьям с Деспотовачской улицы, — они и так уже делали все возможное, чтобы узнать что-нибудь о судьбе пропавшего Зайца. В то лето они широко развернули свою деятельность и, приближая час грядущего освобождения, согласно указаниям, выступали решительнее и смелее. И часто поминали Зайца добрым словом.

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

«У кого жена из Шандановичей, у того наверняка куча родственников», — думал инженер Милан Шепаревич на вокзале в Сталаче, ожидая, пока кондуктор откроет ему купе второго класса.

Он стоял в коридоре, у выхода из вагона. Следом шел вагон третьего класса, старого образца, с просторной открытой площадкой в конце. Сквозь стеклянную дверь своего вагона Шепаревич мог видеть, что происходило на той площадке, а когда голоса звучали громче, то и слышать, о чем говорили между собой семь-восемь пассажиров; тесно сбившись в кучу, они стояли или сидели, видимо, на своих чемоданах. Пестрая группа, оказавшаяся на площадке переполненного поезда, уже составляла, как это часто случается в наших поездах, дружную компанию, где угощали друг друга дорожными припасами и выпивкой, сыпали остротами и шутками, обсуждали всех и вся, что обычно бывает лишь между близкими и хорошо знакомыми людьми.

В центре группы спиной к инженеру стоял высокий молодой человек в кургузом и мятом пиджаке и такой же кургузой и смешной круглой шляпе на голове. Разглядеть его как следует инженер не мог, но ему казалось, что он узнал Предрага, родственника своей жены. Парень шутливо препирался с пожилым человеком, который сидел на чемодане в углу, так что было видно только его черную шляпу, кончик крупного носа и длинный седой ус.

По отдельным словам и обрывкам фраз, тонувшим в стук колес, инженер понял, что дядька сетовал на «смутное время», а высокий парень и две румяные

девушки старались обратить все в шутку. Иногда шум усиливался, и тогда смех заглушал остальные звуки.

Инженер задумчиво наблюдал за этими людьми, находившими в себе силы шутить и смеяться даже в той атмосфере всеобщего страха, тревоги и подавленности, которыми был отмечен конец августа 1941 года.

Кондуктор наконец открыл купе, но инженер остался в коридоре, продолжая наблюдать за пассажирами на площадке. На одном из поворотов искры и дым от паровоза обрушились на компанию, старик закашлялся, девушки взвизгнули, а высокий парень на мгновение снял темные очки и повернулся, чтобы протереть глаза. Это в самом деле был Предраг, и, убедившись, что он не ошибся, инженер быстро прошел в свое купе.

Он сидел, прикрыв веки, и думал. Нет, он не ошибся. Это Предраг, пасынок его свояченицы Елены. Старшая сестра его жены, красивая, молодая и образованная женщина, лет десять назад неожиданно вышла замуж за купца, богатого, но пожилого и простоватого вдовца. От первого брака у него был сын-гимназист, смекалистый и остроумный паренек, с которым инженер любил разговаривать. Звали его Предраг. Позже, в университете, Предраг активно участвовал в движении передовой молодежи, и однажды его даже арестовали. Перед самой войной он окончил юридический факультет. Последнее время с родственниками он встречался редко, а еще реже с ними разговаривал. В апреле этого года его мобилизовали, и с тех пор он дома не показывался. Елена говорила, что до них дошел слух, будто он попал в плен.

Юноша очень изменился. Он отпустил усы, носил темные очки, на нем была тесная, с чужого плеча, одежда, но все же это, несомненно, был Предраг. «Куда он едет? — спрашивал себя инженер. — Зачем? И что ему нужно в этой пестрой компании на площадке вагона третьего класса? Надо бы окликнуть его. Да, но, может быть, за ним следит полиция и скорей всего ему самому будет не очень приятно, если его узнают. Лучше уж так!» — думал инженер, но в глубине души чувствовал, что это совсем не лучше, а наоборот — очень дурно и некрасиво.

Его все сильнее охватывало недовольство собой и вообще всем в этой несчастной поработоченной стране, но и недовольство не в силах было стронуть его с места.

«Может быть, мне только показалось? Голос его, по манеры незнакомые. Вероятно, это все-таки не он, — бес-

помощно твердил он себе.—Скорее всего, я ошибся. Жене не стоит говорить...» И, крепко закрыв глаза, он старался думать только о жене, о ее родственниках, о своей женьитьбе.

«Да, я ошибся». Это относилось уже не к юноше в темных очках, а к его собственной женьитьбе. История довольно банальная. Бедный молодой инженер (семья все время, пока он учился, не вылезала из нужды и долгов), с незаурядными способностями, честолюбивый, жаждущий всех жизненных благ, которые тем, кто к ним страстно стремится, всегда представляются бóльшими, чем они есть на самом деле,— он, как и многие его сверстники, в двадцать семь лет оказался перед дилеммой: строить жизнь своими руками или «хорошо» жениться и тем облегчить себе путь к успеху. Девушка, с которой он познакомился в яхт-клубе на Саве, здоровая и неглупая, без всякой необходимости и особого влечения училась на философском факультете. Отец ее был предпринимателем и раптье. Молчаливый коротышка, он за сорок лет торговли домами и земельными участками из простого каменщика превратился мало сказать в имущего человека, — он стал одним из скромных и незаметных, но весьма солидных дельцов. Двум сыновьям своим он дал образование, трех дочерей, за каждой из которых «шел» большой дом и надежное приданое наличными, удачно выдал замуж. Осталась самая младшая с приданным ничуть не меньшим, но с позволением выбрать мужа по склонности и соответственно приданому. Она выбрала Шепаревича и добилась того, чтобы он выбрал ее.

Он не сразу и не легко решился на женьитьбу. Советовался с двумя самыми близкими своими друзьями. Первый — коллега по министерству путей сообщения, меломан и эстет — сказал ему:

— Не раздумывай. В этом городе человек твоих лет и твоего положения должен продать свою шкуру как можно дороже. Женись! Ты возьмешь старт с такого места, какого службой и при иной женьитьбе тебе в лучшем случае удастся добиться лет через десять — двенадцать.

Второй приятель — ассистент технического факультета, человек со странностями,— советовал обратное. Шепаревич нарочно заманил его на прогулку в Кошутняк¹, чтобы попросить совета.

¹ Большой парк под Белградом.

— Ты поступишь так, как решил,— ответил тот, немало подумав,— но коль скоро ты спрашиваешь, я скажу: этот путь не для тебя. Он только выглядит легким, но для таких людей, как ты, оказывается в результате и накладнее и тяжелей. Ты продашь себя за малые деньги и приобретешь на них то, что никуда не годится и несколько тебе не нужно.

Указав рукой на прекрасный, голубоватый город внизу, он добавил:

— Если бы семейное счастье таких, как Шандановичи, на самом деле давало то, что оно сулит до свадьбы, тогда вот это, внизу, называлось бы земным раем; но город внизу по-прежнему называется лишь Белградом.

Он послушался первого, женился, а через год все чаще стал вспоминать второго.

За неполные четыре года появилось двое детей. Дети были огромной радостью, хотя и приносили много забот, а жена и все, с ней связанное,— бременем, которое невозможно ни нести, ни сбросить; об этом бремени он никому не говорил, не находя для него даже в душе названия, но стоило ему вот так очутиться одному и закрыть глаза, как оно представало перед ним и казалось тяжелее, чем вчера.

Возвратившись в Белград, он ничего не сказал жене о встрече в поезде.

Прошло три недели, а может, и четыре. Это было время, когда на белградских улицах даже незнакомые люди ловили взгляды друг друга, пытаясь и в них найти объяснение происходящему вокруг.

В тот вечер он задержался в городе и пришел домой минут за десять до восьми, то есть до полицейского часа. Жена была напугана и раздражена. Она укоряла его за то, что он приходит в последнюю минуту и заставляет ее беспокоиться. Жаловалась на усталость — два дня назад от них ушла прислуга, а привратница помогает только до обеда. В тишине оккупированного города и унылого сентябрьского вечера зловеще прозвучал гудок паровоза.

Инженер помыл руки, заглянул к детям и только собрался сесть ужинать, как в дверях зазвенел звонок.

— Ой, немцы! — приглушенно простонала жена, заломив руки.

Инженер успокаивающе поднял руку и, стараясь держаться естественно и спокойно, открыл дверь.

Это были не немцы. Это был Предраг. Хорошо, почти элегантно одетый, без темных очков, но с усиками. Без лишних слов и приветствий он извинился за вторжение и сказал, что вынужден просить пристанища на одну ночь. Жена встрепенулась, сверкнула глазами в сторону мужа, собираясь что-то возразить, но молодой человек взял инженера под руку и повел его к широкой нише в глубине столовой.

Он говорил негромко и был краток. Там, где он должен был ночевать, это оказалось неудобным. Неудобно, конечно, и вторгаться вот так в дом к родственникам, но иного выхода у него нет...

Голос Предрага был спокойным, почти деловитым. Бояться нечего. Полиции о нем ничего не известно, но идти сейчас, после полицейского часа, искать другой ночлег без «аусвайса» невозможно. Дома, не находящиеся под подозрением, полиция навещает редко, а если и приходит, то не обыскивает. Он еще подумает, как сделать, чтобы риск для них был минимальным, а самое позднее в пять часов утра уйдет. Предраг еще не кончил, как жена, не выдержав, стремительно подошла к ним. Она дрожала и, разводя руками, лихорадочно говорила:

— Понимаешь, Пего, у нас очень нехороший хозяин, очень! А здесь, наверху, еще какие-то подозрительные студенты. Из-за них весь дом под наблюдением. И мы не имеем права никого принимать, не сообщив куда следует. Ты ведь знаешь, у меня дети. Пожалуйста...

— Позволь, Дана, мы без тебя все уладим,— оборвал муж, устыдившись ее слов.

Но жена не умолкла. Наоборот, она заговорила громче и уже не стеснялась в выражениях. Она прямо сказала, что нехорошо и непорядочно ставить их в такое положение, что каждый заботится о себе и отвечает за себя, что она не имеет права рисковать жизнью своих детей и, наконец, пусть он идет куда хочет, здесь ему ночевать нельзя.

Муж безуспешно пытался остановить ее. А когда они замолчали, парень просто сказал:

— Понимаете, я вынужден остаться. Мне сейчас некуда идти, я не могу уйти и не уйду.

Наступило тягостное молчание. Женщина была потрясена. Пустив в ход ласковые слова, муж сумел увести ее в детскую.

Он вернулся минут через десять и продолжил разговор с молодым человеком. Тот расспрашивал о жильцах дома, о хозяине (который был не так уж плох), о черной лестнице, куда выходила дверь кухни, о ключах. Они сели к столу. Предраг ел мало, но быстро, инженер жевал словно омертвевшим ртом.

Потом они пошли посмотреть кухню и комнату для прислуги, где Предрагу предстояло провести ночь. А вернувшись, некоторое время молча постояли в столовой. Скоро юноша сказал, что устал и хочет лечь. Уходя, он говорил, что все будет хорошо и никаких неприятностей не произойдет.

На прощание инженер хотел было что-то сказать. Он уже раскрыл рот и сделал невольное движение рукой, но внезапно повернулся и вышел.

Было всего девять часов, когда он вошел в спальню к жене.

— Ну как? Что ты думаешь? — взволнованно встретила она его.

— Раздевайся и ложись.

Женщина начала было раздеваться, но вдруг остановилась.

— Слушай, Миле! Это так...

— Дай мне подумать!

Она надела длинную шелковую ночную рубашку, но не легла, а, возбужденно шагая от окна к двери и ломая руки, так и сыпала отрывистыми возгласами и восклицаниями.

Инженеру хотелось как-то прийти в себя, все обдумать.

— погоди, успокойся! Подожди немного!

— Не могу я ждать, не могу быть спокойной!

И в самом деле, она безостановочно бегала по комнате и без умолку говорила, то умоляюще, то зло и иступленно. Вместе с ней все в комнате словно двигалось и мешало ему собраться с мыслями. Они погасили свет, окна были открыты, деревянные жалюзи спущены; сквозь щели проникал и воздух и свет. От жалюзи падала длинная причудливая тень — словно ковер из светлых и темных полосок покрывал широкую двуспальную кровать, противоположную стену, двустворчатый шкаф и часть потолка. А когда слабый ночной ветерок шевелил фонарь на другой стороне улицы, этот пестрый полосатый ковер

плавно колыхался. Инженеру казалось, будто комната и весь дом качаются, как корабль на волнах.

Все вокруг было словно проклято, поднято с места, вздыблено. Он попытался сосредоточиться, разобраться, продумать возможные осложнения. Скажем, придет патруль. Немцы или спецполиция. Кто здесь живет? Он отве...

— Миле...

— Пожалуйста, ложись и оставь меня хоть на минуту в покое.

— Нет, не оставлю. Это ужасно. Это скандал.

— Ты сама и устраиваешь скандал.

— Я? Ты просто бессердечен. Ты хочешь погубить и детей и меня... — Женщина задохнулась от слез и возмущения:

— ... и себя и...

— Не говори глупостей, Дана!

Уговоры мужа только распалили ее. Она металась по комнате и каким-то новым, свистящим голосом роняла слова — слова без масок, обнаженные, слова-факты, слова-удары. Он никогда не слышал от нее таких слов и никогда бы не подумал, что она знает их. Видимо, она таила их как наследственное, семейное оружие, к которому прибегают лишь в крайних случаях.

В конце концов она все-таки легла. Сломали ее скорее слезы и усталость, чем просьбы мужа. Но спокойствие не наступило. Инженер ощущал бурное биение крови в запястьях и висках, в том же бешеном ритме, казалось, танцевало под ним сиденье кресла. Огромная полосатая тень жалюзи на стене не останавливалась ни на мгновение. Как тут сосредоточиться и что-либо придумать? Он чувствовал, что жена не спит, что каждую минуту она может встать и вновь приняться за свои причитания. Это тоже мешало хладнокровно думать. Откуда-то выплыл вопрос: а как бы поступил в аналогичной ситуации приятель с технического факультета, с которым после женитьбы он виделся очень редко? Он отбросил этот вопрос и продолжал думать о своем.

Скажем, придет патруль. Спросят, кто живет в квартире. Он спокойно ответит: я и моя семья. Они проверят документы и...

— Миле, Миле!

Она крикнула не громко, но резко. Он видел, как она, точно зверек из капкана, быстрыми и неестествен-

ными движениями высвобождалась из своей длинной ночной рубашки, а в следующее мгновение уже стояла подле него.

— Миле!

Голос ее звучал глухо, плаксиво, но уже твердо — таким голосом люди произносят веские, хорошо продуманные слова.

— Миле, если ты не скажешь ему, чтоб он уходил, я позвоню в полицию и сообщу, что у нас находится такой-то и такой-то... И все!.. Я своих детей...

Инженер испуганно вскочил и невольно оттолкнул ее — не сильно, но враждебно. Не прикасаясь к ней и не произнося ни слова, он стремительно пошел на жену. Она пятилась, словно подгоняемая ветром. Так они дошли до дверей детской; она открыла их локтем, муж втолкнул ее в комнату, взялся за ключ, точно минуту назад оставил его в дверях, и дважды повернул его.

Мгновение он еще оставался возле двери, из-за которой жена шепотом звала его. Потом, шатаясь, вышел в прихожую, зажег свет, оглядел телефон на низеньком столике, будто впервые его увидел. Дверь в столовую была закрыта, так же как и дверь в коридор, который вел в кухню. Некоторое время он стоял посреди прихожей в полном оцепенении, страхась света. Ему хотелось увидеть живого человека, хотелось войти к юноше, спавшему в комнате для прислуги, поговорить с ним, попросить у него помощи и совета, но он сознавал, что будить человека в таком положении неуместно и бессмысленно.

Опустив голову, но твердо ступая, он вернулся в спальню. В темноте, испещренной теньями, его охватил ледяной ужас, и он повалился поперек низкой широкой двуспальной кровати.

Так он и лежал, уткнув лицо в ладони, озябший и неподвижный, словно разучившийся спать. Белую постель ковром покрывала полосатая тень.

Из-за запертой двери детской не доносилось ни единого звука.

АСКА И ВОЛК

Это произошло в овечьей старе на Крутых Лугах. Айя, крупная овца с длинным руном и круглыми глазами, принесла первого ягненка. Выглядел он, как и все новорожденные, комочком влажной шерсти, издававшим жалобные звуки. Детеныш оказался женского рода. Это была сиротинка — как раз на днях Айя потеряла своего горячо любимого мужа. Айя решила назвать дочку Аской, находя, что такое имя более всего подойдет юной овечке, обещавшей быть красавицей.

В первые дни Аска не отходила от матери, но стоило ей начать бегать на своих еще неверных, прямых, как столбики, ножках и пастись самостоятельно, как она стала выказывать свой нрав. Не желая больше держаться за подол матери, Аска не слушалась ни ее зова, ни колокольчика овечьего вожака и норовила забрести куда-нибудь подальше и пастись в уединении и тишине.

Мать старалась образумить свое красивое дитя, по существу такое умное и доброе, и, осыпая Аску упреками, давала ей бесчисленные наставления, предостерегая от опасностей, которыми грозило такое поведение в их краях, где до сей поры водились еще коварные и кровожадные волки, безнаказанно истреблявшие овец и ягнят под самым носом у чабанов, и в особенности тех, которые отбивались от стада. Часто Айя с тревогой спрашивала себя: и в кого только уродился такой своенравный и непокорный ребенок, даром что женского пола! Но в кого бы то ни было, а эта ярочка, как называли в овечьем стаде девочек-подростков, доставляла матери массу беспокойства. Аска училась довольно хорошо и делала заметные успехи. И все-таки всякий раз, когда мать приходила в

школу справиться об ее отметках и поведении, учительница говорила, что девочка очень способная и могла бы стать первой ученицей, если бы не была такой шаловливой и рассеянной. Только по физкультуре у нее была твердая пятерка.

В день, когда Аска благополучно закончила школу, она пришла к матери и объявила, что хочет поступить в балетное училище. Сначала Айя упорно сопротивлялась. Она приводила множество доводов, один убедительнее другого. Женщины их рода покоп веков довольствовались скромной ролью домашних хозяек. А призвание, выбранное ею, столь неблагодарно, что не сможет ей даже обеспечить верный кусок хлеба. Пути искусства вообще неизведаны, трудны и обманчивы, но самое трудное и обманчивое из них — это балет, пользующийся к тому же дурной репутацией и чреватый неисчислимыми бедами. Не годится это занятие для молодой овцы из порядочного дома, и так далее и тому подобное. И что, наконец, скажет наш овечий свет, узнав, что моя дочь выбрала такую профессию?

Заботливая и добропорядочная мать, Айя отговаривала свою дочь, хотя заранее знала, что долго противостоять упрямству Аски она не в силах. В конце концов мать сдалась и отдала Аску в балетное училище, втайне надеясь укротить своей уступчивостью строптивый характер дочери, хотя и женская и мужская половины стада решительно осудили ее за это.

Конечно, Айя не оставалась равнодушной к тем нареканиям, которые ей приходилось выслушивать от овец и в загоне и на пастбище, но каждой любящей матери становятся дороги все причуды ее ребенка, которые в глубине души она, быть может, и осуждает. Постепенно Айя примирилась с призванием своей дочери и стала по-другому смотреть на вещи. Она спрашивала себя: что в конце концов позорного в том, что дочь стала актрисой? К тому же балет — самый благородный вид искусства, в котором превыше всего ценится то, что дано человеку природой.

Примирение это произошло тем легче, что маленькая Аска проявляла незаурядные способности, необыкновенную настойчивость и делала блестящие успехи. При этом Аска была так целомудренна и простодушна, что больше не о чем было и мечтать. Но так и не смогла отучиться от своей странной привычки бродить в одино-

честве. И однажды случилось то, чего Ая всегда боялась.

Аска отлично закончила первый класс балетного училища и как раз должна была пойти во второй. Стояла ранняя осень с еще яркими солнечными днями, начинавшими неприметно тускнеть, и теплыми короткими дождями, которые перекидывали сверкающую радугу над влажными, проясненными просторами. В тот день Аска была особенно резва, весела и беззаботна. Увлеченная красотой дня и свежестью сочной травы, Аска мало-помалу дошла до опушки буковой рощи и углубилась в нее. Здесь трава показалась Аске на редкость сочной и чем дальше в лес, тем вкуснее.

В лесу еще не рассеялся молочный туман — следы причудливой игры ночи, затихшей перед восходом солнца. Кругом было бело, светло и тихо. В непроницаемой туманной тишине лес казался зачарованным миром, в котором пространство не имеет границ, а время теряет свое значение.

Аска то принималась обнюхивать старые покосившиеся буки, обросшие мхом, таившем в себе очарование волшебной сказки, то носилась по светлым зеленым полянам, и ей чудилось, что этой сказке, этим волшебным откровениям леса не будет конца. Она опомнилась, столкнувшись нос к носу со страшным волком. Дерзкий старый и опытный хищник пробрался в те места, куда обычно волки не осмеливаются заходить в это время года. Его слинявшая шкура зеленовато-бурого цвета почти сливалась с буками и осенней увядающей травой. И зачарованный мир, опьянявший, околдовавший Аску, вдруг дрогнул и легкой призрачной кисеей взвился вверх. Перед ней стоял волк с горящими глазами, поджатым хвостом и как бы улыбающимся оскалом клыков, и перед этим оскалом померкли все ужасы, которыми страдала ее мать. Кровь похолодела в Аскиных жилах, а ноги одеревенели. Она вспомнила, что надо позвать на помощь, и открыла было рот, по голоса не было. И Аска поняла, что ей грозит неминуемая смерть — та единственная, неведомая, грозная и непреклонная.

Волк сделал полукруг около своей неподвижной жертвы тем медленным вкрадчивым шагом, который предшествует прыжку. С сомнением (насколько волки вообще способны сомневаться) осматривая ярочку и мучаясь всегдашней своей подозрительностью, столь свойственной его

породе, волк допытывался, как могло это молоденькое, беленькое, прелестное создание оторваться от стада и угодить, что называется, прямиком ему в пасть.

Для бедной жертвы эти пежданно выпавшие ей мгновения где-то на грани между объявшим ее смертельным ужасом и самим этим невероятным, кровавым последним событием, которое называется «смертью», были поистине мучительны. Смерть была неотвратимой, и эти мгновения, отделявшие от нее Аску, были так коротки, что, по существу, едва ли походили на время. Ощущение неизбежного конца вывело Аску из оцепенения, и она сделала слабое движение, вовсе, однако, не похожее на жест защиты, ибо сопротивляться она была не в силах. Эти ее последние движения могли быть только одним — танцем.

С трудом, словно в кошмарном сне, сделала ярочка первое робкое движение, одно из тех па, которые разучиваются у станка и даже отдаленно не напоминают танец. Вслед за ним второе и третье. Это были неловкие страдальческие движения приговоренного к смерти тела, но их оказалось достаточно, чтобы поразить и на мгновение остановить волка. А начав, Аска нанизывала па одно на другое, одержимая страхом, что останавливаться нельзя, потому что достаточно секундной паузы между двумя движениями, чтобы в эту щель проникла смерть. Старательно повторяла она заученные фигуры танца, будто слышала строгий голос своей учительницы: раз-и два! раз-и, два-и, три!

Подряд, без остановки, Аска повторила все, чему научилась в течение первого года обучения. Но разве могли эти стремительные па заполнить время — эту неподвижную пустоту, из которой на Аску угрожающе скалилась смерть? Покончив с упражнениями у станка, Аска попробовала было выйти на середину зала. Но тут знания ее были ограничены. В школе она отработала всего несколько балетных приемов. И теперь она исполняла их с лихорадочной поспешностью. Один, второй, третий. Вот и все, что она знала. И Аска снова и снова повторяла заученные фигуры, боясь, что от этого танец утратит свою магическую силу. Напрасно старалась она извлечь из памяти какое-нибудь новое па, которое могло бы заполнить страшную пустоту, зиявшую впереди. Время шло, Волк продолжал не отрываясь смотреть на танцовщицу, но уже начал постепенно приближаться. А перед Аской неумолимо захлопнулись двери зала, где учат классическим тан-

цам, и голос преподавательницы становился все тише, пока не замер совсем. Школьные знания, честно сослужив свою службу, теперь ничем не могли ей помочь. Они изменили ей, но Аске хотелось жить, а чтобы жить, надо было танцевать.

И Аска исполнила свой последний танец, превзойдя в нем все писанные и неписанные каноны балета.

Кто знает, видел ли мир со времени своего сотворения то, чем любовалась в тот день скромная безвестная роща возле Крутых Лугов!

По зеленым лужайкам и просекам, между серыми стволами огромных буков, по гладкому багряному ковру осенних листьев, годами копившему свои пласты, танцевала Аска, чистая, тонкая, еще не овца, но уже и не ягненок, быстрая и легкая, как пух вербы, подхваченный ветром. Она казалась сероватой, попадая в клубы тумана, и как бы светящейся изнутри — на полянках, залитых солнцем. А за пей, пожирая ее горящими глазами, неслышными шагами шел матерый волк, давнишний и неуловимый враг ее стада.

Известный своей осторожностью, холодный и расчетливый хищник, против которого были бессильны люди и звери, вначале был озадачен. Вскоре к этому чувству прибавилось изумление, постепенно переходящее в непонятное и непреодолимое любопытство. Вначале он вообще с трудом мог вспомнить, кто он и что, где находится и для чего, и только говорил себе: «Дай-ка я поначалу досыта нагляжусь на это невиданное чудо! И прежде чем полакомиться мясом и кровью этой прелестной ярочки, я вдоволь насмотрюсь на этот смехотворный и дурацкий, но, право же, презабавный танец, какого сроду еще не видывали волчьи глаза! А кровь и мясо от меня никуда не уйдут — я могу загрызть эту чудачку хоть сейчас, и непременно загрызу ее, но только сначала досмотрю это удивительное представление до конца!

Рассуждая таким образом, волк шел по пятам за ярочкой, замирая на месте, когда она останавливалась, и удлинняя шаг, когда ритм танца убыстрялся.

Аска не думала ни о чем. Из своего маленького тела, сотканного из прозрачных соков жизненной радости и осужденного на неминуемую и близкую смерть, она с неожиданной силой и изобретательностью извлекала волшебные по своему совершенству и разнообразию движения. Ею владела одна только мысль: жить во что бы то

ни стало, а для того чтобы жить, она должна была танцевать, танцевать как можно лучше. И Аска танцевала. Это был уже не танец, а какое-то чудо!

И вслед за первым чудом совершилось второе: волчьё удивление теперь все больше напоминало восторг, чувство, совсем незнакомое его породе, ибо если бы волки способны были восторгаться чем-нибудь на свете, они бы не были волками. Это неизведанное доселе чувство так вскружило голову волку, что матерый хищник, как бы прикованный цепью к кольцу, проретому ему в нос, плелся по пятам за перепуганной насмерть годовалой ярочкой.

Волк шел, как лунатик, не глядя по сторонам и не отдавая себе отчета, куда они идут. И тупо твердил про себя: «Мясо и кровь от меня никуда не уйдут. Я могу разорвать ее на клочки, как только мне вздумается. Вот полюбуюсь еще немного на это чудо. Пусть чуточку еще потанцует и еще...»

И с каждой новой фигурой танец все больше захватывал хищника и покорял его, обещая в будущем новые радости. Мелькали одна за другой лесные поляны и сумрачные тропы, застланные лиственным ковром под сводами буков.

Маленькая Аска ощущала теперь в себе сто жизней и все их силы употребляла на то, чтобы продлить однуединственную — свою обреченную жизнь.

Поистине неисчерпаемые возможности и силы таит в себе живое существо, подчас не догадываясь о них и унося их с собой в могилу. И лишь в великие и редкие минуты они вдруг выявляются до конца, как это случилось с Аской, танцующей свой предсмертный танец. Она больше не чувствовала усталости, силы рождались из самого танца. И Аска танцевала. Она выполняла все новые и новые фигуры, каких не знает ни одна прославленная балетная школа. Временами ей начинало казаться, что волк приходит в себя и вспоминает, кто он и что. Тогда она ускоряла темп своего и без того бешеного танца. В головокружительном прыжке перескакивала она через поваленные стволы и заставляла волка замирать, ожидая с трепетом нового прыжка. То вдруг вскакивала на гниющие буки, и здесь, на подстилке из мха, поднявшись на задние ноги, превращалась в белый волчок, мелькающий с невероятной быстротой. А потом, мелко перебирая ногами, пролетала через еще зеленые лужайки или про-

носилаь среди деревьев. И, выскочив на край обрыва, вихрем неслаь с него вниз по тропе, напоминая бесстрашную лыжницу и разрезая воздух — фуууу-ить! — будто кто-то одним пальцем рассыпал по клавиатуре искрящееся, как бриллиант, глоссандо! Волк бесшумно скользил за Аской, стараясь не пропустить ни одного движения поразительного танца. Он все еще продолжал уверять себя, что от него никуда не денутся кровь и мясо глупого ягненка, надо только сперва досмотреть этот танец, но эти мысли становились все более расплывчатыми, их вытеснило восхищение танцем, подавившее в нем все прочие чувства.

Время и пространство перестали существовать для Аски и волка. Аска жила, а волк наслаждался.

Услышав жалобное блеяние овцы Аи и увидев волнение, передававшееся от одной отары к другой, чабаны выбрали двух самых смелых и молодых и послали их в лес на розыски пропавшего ягненка. Один из них был вооружен увесистой дубинкой, у второго за плечами висело ружье, если так можно назвать закоптелую кремневку. Этот доисторический экспонат тем не менее славился в их краях, ибо история гласила, что отец молодого чабана убил из него голодного волка, который подобрался якобы к самому загону. Конечно, целиком положиться на этот рассказ нельзя, кто знает, как это было и было ли вообще или нет. Но как бы там ни было, а кремневка была единственным огнестрельным оружием в арсенале Крутых Лугов и больше способствовала поднятию боевого духа чабанов, чем представляла собой реальную угрозу для волков.

Дойдя до опушки леса, чабаны помедлили, совещаясь, в каком направлении двинуться дальше. В лес вели тысячи тропинок, разве разглядишь на них маленькие следы ягнячьих копыт? Решили держаться зеленых лужаек с их лакомой травой, которая может вернее всего привести их к пропавшей ярочке. Им повеселилось. Не успели чабаны слегка углубиться в лес и подняться на маленький пригорок, как им открылась необыкновенная картина. Чабаны остановились и спрятались. Сквозь просвет в густых ветвях они увидели Аску — в смелом и четком па-де-бурре она пересекала зеленую поляну. А за ней, на расстоянии нескольких шагов, весь обратившись в

зрение, переваливался облезлый волк, вытянув морду и опустив хвост.

Несколько мгновений, окаменев от изумления, чабаны не могли сдвинуться с места.

Когда Аска приблизилась к первым деревьям на опушке, на ходу меняя рисунок и ритм танца, а волк стал на открытом месте, повернувшись боком к невидимым зрителям, старший чабан скинул ружье с плеча, прицелился и выстрелил. По лесу пронеслось громкое эхо, и несколько испуганных птиц вместе с сухими листьями сорвались с деревьев.

Произошло то, чего чабаны никак не ожидали. Посреди пируэта Аска, как подстреленная на лету птица, рухнула на землю, а волк зеленой тенью скользнул в лес.

Чабаны выскочили из своего укрытия и бросились к Аске: она, бесчувственная, лежала на опушке. На ней не было ни одной царапины, но она лежала в густой траве как мертвая. За волком тянулся кровавый след.

Старший чабан зарядил ружье, младший крепче схватился за свою дубинку, и они двинулись по кровавому следу. Они шли осторожной поступью. Но долго идти им не пришлось. Раненый волк, не пройдя и сотни шагов, свалился в чащу. Задняя часть туловища у него отнялась, но передними лапами он в ярости рыл землю, тряс головой и угрожающе скалил зубы. Его легко добились.

Солнце не обошло еще и половины неба, когда чабаны вернулись. Они проходили пастбищами, погруженными в тень, лавируя между отарами и загонами. Младший чабан связал своим кушаком задние лапы зверя и без труда волок по земле его окровавленную длинную тушу. Старший нес белую ярочку. Он, по обычаю, перекинул ее себе через шею, так что красивая Аскина голова свисала ему на левое плечо.

То-то было ликование на Крутых Лугах! Сколько тут было поздравлений, шума, песен, упреков, слез и радостного блеяния!

Аска пришла в сознание. Она медленно возвращалась к жизни и, неподвижно лежа в траве, больше напоминала брошенную шкурку, чем живую овцу. У нее не было ни одного живого мускула, ни одной жилки, которая бы не болела. Около нее, заплаканная и ужасно счастливая, суежилась мать и теснились бараны и овцы, которым не

терпелось посмотреть на Аску, спасенную чудесным образом.

Аска долго не могла оправиться после страшного случая, который довелось ей пережить, но молодость, жажда жизни, нежная забота матери и единодушное участие всех обитателей Крутых Лугов побороли болезнь. Аска выздоровела и стала послушной дочерью, а со временем и прима-балериной Крутых Лугов.

Весь мир рассказывал, писал и пел о том, как молодая овечка вышла победителем в поединке со страшным волком. Сама же Аска никогда не говорила ни о встрече со зверем, ни о танце в лесу. Потому что о самых светлых и о самых тяжелых минутах своей жизни никто не любит говорить.

И только по прошествии многих лет, когда в душе ее перегорели отзвуки тех драматических событий, Аска поставила по своему замыслу шумевший балет. Критика и публика называли его «Танец смерти», а Аска — «Танец жизни».

Аска жила долго и счастливо и стала балериной с мировым именем. Умерла она в глубокой старости.

Но и по сей день, спустя много лет после ее смерти, со сцены не сходит ее знаменитый балет, в котором искусство и воля побеждают всякое зло и даже самую смерть.

1953

МОСТЫ



МОСТЫ

Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священнее, чем храмы, — ибо они общие. Они принадлежат всем и каждому, одинаково относятся ко всем, полезные, воздвигнутые всегда осмысленно, на месте, где наибольшее количество человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения, и не служат ничему тайному и злему.

Большие каменные мосты — свидетели исчезнувших эпох, когда иначе жили, думали и строили, серые или побуревшие от ветра и дождя, часто источенные на резко выведенных углах, в их швах и неприметных трещинах растет худосочная трава или гнездятся птицы. Ажурные стальные мосты, протянувшиеся от одного берега к другому, словно проволока, дрожат и звенят, когда по ним проносится поезд; они словно еще ждут своего последнего аккорда и своего завершения, гармония их линий полностью откроется взгляду наших внуков. Деревянные мосты у въезда в боснийские местечки, обшарпанные доски которых громяхают и пляшут под копытами деревенских лошадей, словно клавиши ксилофона. И, наконец, вовсе крохотные мостики в горах — вернее, поваленное дерево или два сбитых бревна, переброшенные через ручей, который без них оказался бы непроходимым. Дважды в год вздувшийся горный поток уносит эти бревна, а крестьяне со слепым упрямством муравьев валят, обтесывают и кладут новые. Вдоль бешеных потоков, в озерцах между камнями, часто видны останки этих бывших мостов, они лежат и гниют подобно прочим

деревьям, принесенным сюда случаем, но обтесанные бревна, приговоренные к огню или разложению, выделяются из прочего наноса и все еще напоминают о цели, которой они служили.

Все эти мосты по сути своей одинаковы и в равной мере заслуживают нашего внимания, ибо указывают место, где человек наткнулся на препятствие и не остановился перед ним, но преодолел его и замостил, как мог, сообразно своим взглядам, вкусу и обстоятельствам, в которых он находился.

И когда я думаю о мостах, в памяти моей возникают не те, по которым я чаще ходил, а те, что в свое время особенно сильно поразили и восхитили меня.

Прежде всего это сараевские мосты. На Миляцке, русло которой является станovým хребтом Сараева, они все равно что каменные перстни. Я вижу их отчетливо и перебираю один за другим. Я знаю их своды, помню ограды. Среди них тот, что носит роковое имя юноши¹, маленький, но прочный, погруженный в себя, как неприступная безмолвная крепость, не ведающая, что такое сдаваться и предавать. Потом те мосты, что я видел проездом, ночью, из окна поезда, тонкие и белые, как привидения. Каменные мосты Испании, поросшие плющом и задумавшиеся над собственным отражением в темной воде. Деревянные, крытые из-за обильных снегов мосты Швейцарии, похожие на длинные амбары, украшенные изнутри, как часовни, изображениями святых или чудесных событий. Фантастические мосты Турции, поставленные абы как, поддерживаемые и оберегаемые судьбой. Белокаменные римские мосты южной Италии, с которых время отбило все, что могло отбить, и рядом с которыми уже сотню лет действует какой-нибудь новый мост, но старые стоят по-прежнему, как скелеты, на страже.

И так всюду, куда бы ни двинулась моя мысль и где бы она ни остановилась, я нахожу верные и безмолвные мосты как неизбывное и неутолимое стремление людей связать, примирить, соединить все, что возникает перед нашим взглядом, разумом и ногами, дабы избежать раздела, противоречия и разлуки.

То же самое происходит в мечтах и причудливой игре воображения. Слушая однажды самую печальную и са-

¹ Имеется в виду Гаврило Принцип, именем которого назван один из сараевских мостов.

мую прекрасную музыку, какую мне когда-либо приходилось слышать, я вдруг увидел каменный мост, рухнувший на середине, края свода с болезненной страстью тянутся друг к другу, в последнем усилии указывая единственно возможную линию уже не существующего свода. Такова преданность и высокая непримиримость красоты, которая допускает для себя лишь одну-единственную возможность — исчезновение.

В конце концов, все, в чем проявляется наша жизнь — усилия, мысли, взгляды, улыбки, слова, вздохи, — все устремлено к другому берегу как к единственной цели и на нем лишь приобретает свой истинный смысл. Все это должно что-то преодолеть и замостить: беспорядок, смерть и бессмыслицу. Потому что вся наша жизнь — переход, мост, края которого уходят в бесконечность и в сравнении с которым все земные мосты — лишь детские игрушки, бледные символы. А вся наша надежда на той стороне,

РАЗГОВОР С ГОЙЕЙ

Теплая и покойная послеполуденная пора опускала первые тени на дорогу. От Бордо меня отделяло километров двадцать. Проезжая через Croix des Huins, справа от дороги я увидел высокие мачты беспроводного телеграфа. Башни из металлической паутины, прекрасные, как кружево, и незыблемые, как твердыни.

Следуя далее, я продолжал размышлять о сходстве между стройными древними соборами и этими стальными вышками беспроводного телеграфа. И при них есть постоянные люди, которые обслуживают их, как священники — храмы. И на них сверху донизу по ночам, чтоб в тумане не наткнулись самолеты, горят красные или зеленые огни, подобно свечам и лампадам в церквах. Разумеется, эти телеграфные вышки построены на рациональной основе и все в них служит совершенно определенной практической цели, в то время как церковные башни ныне лишь роскошный символ. Однако ведь и они тоже в свое время возникли по необходимости и тоже были построены на рациональной основе! Только эта рациональная основа устарела, а цель позабылась и пропала.

Эта аналогия не покидала меня, и благодаря ей в моих мыслях необычайно ясно и убедительно увязывалось то, что мы называем «близко», с тем, что называем «далеко», «возможное» с «невозможным». Имея перед своим взором образ этих современных церквей, в которых каждое мгновение происходит чудо, я был полон ощущения, что и моя мысль, и мое воображение обрели легкость и быстроту и способность оживлять минувшие времена и умерших людей.

Огромные и пока несовершенные соборы нашего времени, которые я после полудня рассматривал в *Croix des Ruins*, были предметом моих размышлений и вечером, когда, блуждая по большому городу виноделов, я присел, усталый, перед каким-то кафе в предместье. Подобные предместья существуют во всех городах мира. Канализация здесь еще в зачаточном состоянии, асфальт встречается редко, а улицы носят имена поэтов или врачей-филантропов, известных лишь в пределах местной общины. В этих лишь нарождающихся кварталах, где ничего утвердившегося и постоянного, где ничто не задерживает и не волнует мысль, иностранец лучше всего может передохнуть и поразмыслить.

Неподалеку от кафе, на пустыре, среди мусора, оставшегося от последнихстроек, устанавливали шатер цирка. До меня доносились стук молотка, возгласы рабочих и по временам хриплый лай гиены или какого-то другого зверя из-за решеток зверинца.

Подобные крохотные кафе, где нет ни особой мебели, ни украшений, более или менее одинаковы повсюду, ни время, ни мода на них не сказываются. Столы, лавки; бутылки с широкими горлышками, стаканы грубого мутного стекла, хозяин с засученными рукавами в синем фартуке — все это всегда и повсюду одинаково, и все это видели многие и многие поколения посетителей. В эти декорации всегда можно поместить людей, костюмы и обычаи из разных эпох, и они ничуть не будут им противоречить, не будут вызывать никаких анахронизмов, которые нарушали бы иллюзию и делали сцену невероятной.

— Да, сударь, — сказал кто-то возле меня, подтверждая мои мысли, словно я их выразил вслух.

Произнес это глубоким хриплым голосом пожилой мужчина в темно-зеленой накидке необычного покроя. На голове у него была черная шляпа, из-под которой выглядывали седые и редкие волосы и сверкали усталые, но живые глаза. Напротив меня сидел *Don Francisco Goya* у *Lucientes*, бывший первый живописец испанского двора, а с 1819 года житель этого городка.

— Да, сударь...

И мы продолжили разговор, который, по существу, был монолог Гойи — о себе, об искусстве, об общих проблемах человеческой судьбы.

Если этот монолог и покажется вам на первый взгляд

бессвязным и непоследовательным, знайте, что он держится на внутренней связи с жизнью и художественным творчеством Гойи.

— Да, сударь, серая и убогая среда — сцена удивительных и величественных дел. Ведь все великолепие и красота храмов и дворцов — это, по существу, последние искры и последние цветы того, что вспыхнуло или родилось в грубости и нищете. В грубости — зародыш будущего, а красота и блеск — безошибочный признак угасания и гибели. Однако людям в равной мере необходимы и блеск и простота. Это две ипостаси жизни. Их нельзя увидеть обе сразу, потому что, глядя на одну, непременно теряешь из виду другую. И если кому-то доведется однажды увидеть обе эти ипостаси, трудно, глядя на одну, не думать о другой.

Я лично всегда был сердцем на стороне простоты, на стороне свободной, глубокой жизни, не отличающейся блеском и разнообразием форм. Что бы ни говорили люди и что бы ни думал и ни говорил одно время я сам в пылу юности, это именно так. Таков я, и таков Арагон, откуда я родом.

Пока он говорил, взгляд мой упал на стол, где лежала, словно живущая совершенно сама по себе, его правая рука. Ужасная рука, точно некий чудодейственный корень-амулет, узловатая, серая, могучая, но сухая, как бархан в пустыне. Эта рука жила, жила невидимой жизнью камня. В ней не было ни крови, ни соков, она состояла из какой-то иной материи, чьи особенности были нам неведомы. Эта рука не была предназначена для дружеских пожатий, для того, чтобы ласкать, брать или отдавать. Глядя на нее, ты со страхом спрашивал себя: неужели и такой может стать рука человека?

Я долго не мог оторвать взгляд от его руки, которая в продолжение всего разговора неподвижно лежала на столе, будто вещественное доказательство справедливости того, о чем говорил старик своим глухим грудным голосом, лишь по временам подступавшим к гортани, как пламя, которое невозможно ни приглушить, ни упрятать.

А он продолжал говорить — об искусстве, о людях, о себе, переходя с предмета на предмет легко и свободно, после короткой паузы, которую я нарушал лишь безмолв-

ным вопросом глаз, все время опасаясь, как бы старик не растаял, не скрылся мгновенно и странно, как исчезают привидения.

— Видите ли, художник — это «подозрительная личность», человек в темной маске, путешественник с подложным паспортом. Его лицо под маской прекрасно, его общественное положение много выше, чем указано в паспорте, но что из того? Люди не любят неизвестности и таинственности и потому называют его подозрительным и двуличным. А подозрение, коль скоро оно родилось, не знает предела. И если б художник даже смог открыть миру свое подлинное имя и свое призвание, кто поверил бы ему, что это его последнее слово? И предъяви он свой подлинный паспорт, кто поверил бы, что в кармане у него наготове нет третьего? Скинь он личину, намереваясь искренне рассмеяться и поглядеть людям прямо в глаза, все равно найдутся такие, что станут просить его быть до конца искренним и откровенным и сбросить также и эту последнюю маску, которая столь похожа на человеческое лицо. Судьба художника в том и заключается, чтобы менять одну личину на другую и увязывать одно противоречие с другим. И даже те, уравновешенные и благополучные, у которых это меньше всего заметно и меньше всего ощущается, они тоже в душе постоянно колеблются и вечно сводят концы с концами, которые свести нельзя.

Когда я жил в Риме, один мой приятель, склонный к мистике художник, однажды сказал:

— Между художником и обществом та же пропасть, только в миниатюре, какая существует между божеством и миром. Антагонизм первого есть лишь символ второго.

Вот видите, такова была его манера выражаться. Правду можно выразить многими способами, но правда — одна и извечна.

Так, воспользовавшись вымыслом, Паоло выразил нашу общую мысль.

Иногда и я спрашиваю себя: что такое призвание? (А призвание существует, ибо что другое может так до краев заполнить жизнь человека и приносить ему столько радости и столько страданий?) Что это за неодолимое и неутолимое стремление вырывать из мрака небытия

или из темницы, чем является в жизни эта связанность всего со всем, чтобы из этой пустоты или этих оков вырывать частицу за частицей жизнь и мечты человеческие, воссоздавать их и утверждать «на веки вечные» хрупким мелом на недолговечной бумаге?

Что такое несколько тысяч наших рук, глаз и умов перед бескрайним царством, от которого мы постоянным, инстинктивным напряжением всех сил отбиваем мелкие ссколки? И все же эти усилия, которые большинству людей, и с полным основанием, представляются безумными и суетными, таят в себе нечто от того колоссального врожденного упорства, с каким муравьи воздвигают муравейник на бойком месте, где он заведомо обречен на разрушение и гибель.

По бесконечной мучительности и несравненной сладостности этого занятия мы ясно чувствуем, что у кого-то что-то отнимаем, берем у одного темного мира для другого, который нам неведом, переносим отнятое из ничего в неизвестное нечто. Поэтому художник «вне закона», отступник в высшем смысле слова, осужденный на то, чтобы печеловеческим и безысходным напряжением сил обогащать какой-то высший невидимый порядок, нарушая низший, видимый, в котором ему полагалось бы жить всем своим существом.

Мы создаем формы, как какая-то иная природа, оставиваем юность, удерживаем взгляд, который «в жизни» уже несколько мгновений спустя меняется или угасает, улавливаем и выхватываем молниеносные жесты, которые никто никогда бы не увидел, и оставляем их во всем их таинственном значении взглядам будущих поколений. И не только это. Каждый жест и каждый взгляд мы чуть заметно усиливаем на один штрих или на один нюанс. Это не преувеличение, не ложь и не меняет, по существу, изображаемый феномен, но живет подле него, как неприметный, но постоянный знак и доказательство того, что создание это вторичное и ему предстает более долговечная и значительная жизнь и что чудо созидания произошло лично в нас. По этому излишку, которым отмечено каждое художественное творение, как неким следом таинственного взаимодействия между природой и художником, видно демоническое происхождение искусства. Существует легенда, будто антихрист, если он придет на землю, будет творить то же, что сотворил бог, только с большим искусством и совершенст-

вом. У его пчел не будет жала, и его цветы не станут так быстро увядать, как увядают наши. Тем самым он привлечет алчных и легковверных. Возможно, художник есть предтеча антихриста. Возможно, тысячи и тысячи нас «играют в антихриста», подобно ребятишкам, играющим в войну.

Если бог создал и вылепил формы, то художник создает их на свой страх и риск и запово утверждает; он фальсификатор, но бескорыстный, инстинктивный, а потому опасный. Таким образом, художник является создателем новых, *подобных*, но не идентичных явлений и иллюзорных миров, которые с наслаждением и гордостью могут созерцать глаза людей, но в которые при более близком соприкосновении они мгновенно проваливаются словно в пустую бездну.

Это была великая теория моего друга Паоло, итальянца, в жилах которого текла славянская кровь. Нужно обладать его склонностью к фантазиям и мистике, чтоб все это вот так увязать. Для меня это было любопытно тем, что можно, оказывается, создавать и раскрывать миры выше и ниже той плоскости, на которой ты живешь сам. Совершенно иначе скроенный и сшитый, я никогда не мог постигнуть его способ восприятия и выражения. Ибо и тогда, как и сейчас, я твердо знал, что существующий мир — единственная реальность и что лишь наши инстинкты и неодинаковые реакции наших органов чувств создают впечатление многоликости явлений, в которых воплощается эта единственная реальность в виде, на первый взгляд, особых миров, отличных по своей сути. Однако ничего этого нет. Существует лишь одна реальность с вечными приливами и отливами известных нам лишь частично, неизменно вечных законов.

При желании впасть в ошибку и произвольно заменить причины следствиями, я мог бы для тезиса Паоло об антихристовом призвании художника-творца найти новые и более веские доказательства. Но из этих фактов я не стал бы делать подобных выводов. Я вообще избегаю каких-либо выводов. Однако я вижу факты. Паоло говорил: художник проклят, ибо, как видите, он таков и таков. Я ограничиваюсь констатацией: художник таков и таков. И здесь я во всем согласен с ним.

— ...

— У меня в доме жила с матерью маленькая Росарито.
(При этом имени старик опустил свой пронзительный

взгляд, и на его сомкнутых веках появилась дымка тумана.) Однажды, когда ей было пять лет, я подслушал разговор между нею и одним мальчиком, который только что пошел в школу и хвастался своими познаниями.

— А ты знаешь, кто создал людей? — спросил он.

— Людей? Знаю, дядя Франсиско, — отвечала девочка, указывая на портреты, висевшие в моей мастерской.

Хвастливый мальчуган словно бы вдруг забыл свой катехизис и, заикаясь, пробормотал:

— Бог... бог их создал.

При этом он не сводил глаз с окружавших его портретов, а девочка, показывая ему то одно, то другое лицо, победоносно повторяла перед каждым из них:

— Дядя Франсиско... дядя Франсиско...

В цирке, возникшем на пустыре возле кафе, загремели трубы и барабаны. Пожилой господин умолк. Некоторое время он слушал, не проявляя ни раздражения, ни нетерпения. Инструменты утихали. Осталась лишь какая-то писклявая труба. Под ее звуки старик снова заговорил тихо и отчетливо.

— Для меня цирк — самая пристойная форма театра. Он — наименьшее зло в этом большом зале. В каждом публичном выступлении словно бы есть что-то запретное и постыдное. Когда я был моложе, мне частенько снилось, будто я играю на какой-то сцене, перед невидимой, но строгой и многочисленной публикой, и все время со страхом спрашиваю себя, как это я, незванный и неподготовленный, попал на сцену. И должен исполнять роль, которую даже не успел прочитать и из которой не знаю ни слова.

Невозможно передать, как мучителен такой сон. А я его видел довольно часто.

В жизни мне доводилось сталкиваться и с театром и с актерами. И всякий раз я убеждался, что театр — самое бессмысленное из всех наших усилий. Когда я так или иначе соприкасался со сценой и актерами, я не мог избавиться от отчаянного чувства бесплодности и спрашивал себя: не есть ли ничтожность театра лишь отражением того, что ожидает рано или поздно любое искусство? Когда я вижу медовые соты, сделанные из карто-

на, небрежно размалеванные, которые в какой-нибудь опере горцы преподносят лесному божеству, на другой дежь у меня пропадает желание есть и рисовать. Дни и ночи меня преследует образ этого мертвого, хуже, чем мертвого — неродившегося предмета, который одинаково далек и от иллюзии и от действительности. И если задаться целью найти символ для театрального искусства, я бы взял эти картонные соты. Жалкий реквизит, который сотни раз пытался сыграть роль меда в глазах людей и сотни раз снова возвращался в ящик для реквизита, грязный, никчемный, ненужный.

Даже в лучших театрах пыль и грязь. Призвание артиста самое тяжкое и самое жалкое из всех призваний. Поэтому им так необходимо развлекаться, играть в карты, есть и пить, словно они приговоренные к смерти узники, и это их последнее пиршество.

Я хорошо был знаком с одной актрисой... *(Здесь по-жилой господин что-то прошамкал, будто для себя одного произнося ее имя, веки его сомкнулись, и вокруг глаз снова сгустилась дымка тумана.)*

Это была прекрасная женщина, человек большого сердца и большой души во всем, что не касалось театра. Я ходил в театр ради нее, хотя для меня было подлинной мукой видеть ее на сцене. Однажды, сидя в первом ряду, я заметил, как во время спектакля длинный шлейф ее белого платья зацепился за невидимый гвоздь в полу. Она почувствовала это, но продолжала играть дальше, отчаянно дергая ногой и пытаясь освободиться. Эти жалкие движения попавшего в западню беспомощного животного, которое произносило высокопарные стихи, обливаясь холодным потом, и в глазах которого сверкал безумный страх провала и скандала, словно при свете молнии показали мне всю тщету этого вида искусства. Более того, довольно долго это отравляло мне огромную радость, которую доставляла мне дружба с этой чудесной и незабвенной женщиной.

— ...

— Обо мне часто говорили, говорили и писали, будто у меня чрезмерная и нездоровая склонность к мрачным предметам, жестоким двусмысленным картинам. Это твердили изустно и письменно с тем равнодушием, бессмысленностью и бездумностью, с которыми люди делают большинство дел,

До войны в Мадриде мужчины и женщины, разговаривая со мной, украдкой разглядывали мои руки, словно желая убедиться, «те самые» ли это руки. Ходили слухи, я знаю, будто я рисую ночью с помощью нечестивого и будто я страдаю пороками, ни название, ни суть которых неизвестны, хотя дьявольское их происхождение очевидно. А между тем во всей Испании не было более скромного, робкого и нормального, да, нормального человека, чем я.

Здесь любопытно не то, что обо мне думали и что говорили, это важно лишь как пример непонимания искусства. А мне легко объяснить мою позицию.

Все движения человека порождены потребностью нападения или защиты. Это главная, в большинстве случаев забытая, однако подлинная и единственная причина и побудительная сила. Природа же искусства такова, что невозможно передать тысячу мелких движений, каждое из которых само по себе не является тяжелым или злоецим. Но любой художник, который поставит себе целью рисовать то, что рисовал я, вынужден будет изобразить совокупность всех этих многочисленных движений, и на этом сгустке движений необходимо и неизбежно будет стоять печать его подлинного происхождения — нападения и защиты, гнева и страха. И чем больше в каждом таком движении вобрано и слито движений, тем оно выразительней и картина убедительнее. Вот почему в моих картинах позы и движения людей мрачны, часто злоеци и жутки. Потому что, по существу, иных движений и нет.

Можно возразить, что есть изящные художники, которые писали лишь идиллические картины и образы, полные легкости и беззаботности. Встречается в жизни и такое, я сам, бывало, иногда это рисовал, но для каждой такой позы, освобожденной от инстинкта страха и настороженности, необходимо несколько миллионов целеустремленных и активных движений, дабы они поддерживали и защищали ее неестественную и недолговечную красоту и свободу. Вообще говоря, прекрасному неизменно сопутствует или тьма человеческой судьбы, или блеск человеческой крови. Не следует забывать, что каждый шаг ведет к могиле. Уже одного этого достаточно для оправдания. И это, по крайней мере, никто не может отрицать.

Однажды, забавы ради, я нарисовал поверхность воды в лучах заходящего солнца и на ней барку, которая оставляет за собой веерообразный след. Все размыто, детали неразличимы, все дано как бы издали. Я дал рисунок одному из своих друзей, трезвому и разумному человеку, чтоб он сам назвал его. Не колеблясь, друг назвал его «Последний путь», хотя, казалось, это ни из чего не следовало.

— ...

— Самая трудная задача при работе над портретом, — просто мука мученическая! — это выделить образ из всего, что его окружает и связывает с людьми и обстановкой. Это освобождение образа есть, опять же как сказал бы мой Паоло, своего рода деяние антихриста, антисозидание. Весь путь, которым шла судьба модели, мы проходим заново, только в противоположном направлении, пока личность, привлекая наше внимание, не окажется на открытом месте, где мы и оставляем ее наедине с самой собой, словно на эшафоте. И только здесь мы вновь создаем ее.

Любой иной вид искусства всегда изображает человека в связи с другими людьми, и чем человек оригинальнее и заметнее, тем важнее показать его отношение к другим, чтобы таким образом подчеркнуть его своеобразие. Напротив, на холсте человек одинок, закован, изолирован навеки. У портрета нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни ребенка. У него нет ни дома, ни времени, ни надежды, очень часто нет даже имени. И когда он смотрит на нас живыми глазами, он представляет уже минувшую жизнь, угасшую, не имеющую продолжения. Это последнее, нет, не последнее, а единственное человеческое существо во всем мире, запечатленное в своем последнем мгновении. Неподвижный человек смотрит на вас печально, испуганно, как больной на врача, и взглядом — только им он и может сказать — говорит: «Ты уходишь дальше — жить и работать — и переносишь взгляд на другие лица, а я остаюсь здесь, осужденный и закованный, свидетель, известный лишь по имени, профессии и возрасту, а нередко неизвестно и это, я остаюсь на веки вечные только изображением, да еще изображением не самого себя, а изображением одного твоего взгляда».

Изолированность образа на холсте такова, что художник иногда ощущает необходимость поместить рядом с

изображаемой личностью какой-нибудь предмет, связанный с ней, какой-то символ, толкующий ее и объясняющий. Я и сам несколько раз это делал, но очень скоро увидел всю бессмысленность такого поступка. Ведь предметы, инструменты, оружие или игрушки со временем изменяют не только свою форму, но и значение, и продолжают стоять возле одинокого образа, устаревшие и непонятные; одинокие сами, они еще больше его отчуждают и отдаляют.

Одно время я столь остро чувствовал эту закованность, это глухое, вечное молчание портрета, что, поддавшись искушению, уступал ему и подписывал портрет двумя-тремя словами, писал имя или другие слова, которые характеризуют эту личность и могут более или менее связать ее со зрителем. Очень скоро я убедился, насколько это лишено вкуса и смысла. Позже мне даже по ночам не давали покоя эти бездумно брошенные слова, которые я был бессилён стереть, поскольку портрет больше не находился в моей власти. Бессильный что-либо исправить, я видел, как эти слова, не стираемые столетиями, но абсолютно лишённые своего прежнего смысла, чуждые новой речи, вызывают лишь снисходительную усмешку зрителя, если вообще что-нибудь вызывают, и делают несчастный образ еще более далеким, чуждым и одиноким.

В конце концов я пришел к убеждению, что этому нет ни лекарства, ни помощи. Создавая портреты человека, мы постепенно каждым своим взглядом убиваем его, подобно тому как биологи убивают препарированное животное, и когда мы умертвим его до конца, он оживает на нашей картине. С той лишь разницей, что одиночество человека на полотне полнее, нежели одиночество мертвца в земле.

В этом — искусство портрета. Начинающие и бездарные художники не умеют писать портреты, ибо они не умеют их выделить, изолировать, «препарировать». Плохой портрет сразу узнаешь: человек на нем подавлен, опутан и связан окружающим, в котором он словно продолжает частично жить, потому что художник то ли не осмелился, то ли не сумел одолеть тяжкий труд изоляции и высвобождения, «убийства» и «увековечивания» прототипа.

— Ё меня всегда вызывает подозрения фраза: есть тысяча способов рисовать. Откуда тысяча? И почему ты-

сяча? Если есть больше одного, то тогда определенно есть и больше тысячи. Тогда границы нет. И какая польза в том, что их тысяча, если каждому из нас ведом и знаком только один. Значит, для каждого художника существует только один способ. Те, для кого существует тысяча способов, — те не художники. Итак, мы квиты.

Еще будучи молодым человеком, я втолковывал это на тертулиях¹ пылким болтунам и бездельникам. Я и сейчас выражаюсь не бог весть как гладко, а в молодости и вовсе был лишен дара ясно и убедительно излагать свои мысли. Впрочем, этот сорт людей никто не в силах убедить. Припоминаю, еще тогда я говорил: для меня существует лишь один способ рисования. Это способ моей покойной тетки Аннунсиаты из Фуэнте де Тодос. Ребенком я наблюдал, как моя тетка учила свою дочь, девочку чуть постарше меня, ткать. Девочка сидела за станком, тетка устраивалась рядом. Челнок бегал, станок стучал, но шум его то и дело перекрывал крик моей тетки:

— Сбивай, сбивай лучше! Чего жалеешь? Сбивай крепче!

Девочка сгибалась от этих слов и била изо всех сил, но тетке все время казалось, что ткань недостаточно частая и плотная. Целыми днями она сидела над девочкой и пронзительно кричала в ее белый пробор в черных волосах:

— Сбивай! Плотней! Не сито ткешь!

Всю свою жизнь я руководствовался девизом этой простой и резкой женщины. (Мастера в своем деле всегда отличаются резкостью.) Как бы ни потешались мадридские снобы и реформаторы и не посмеивались над рецептом «тетки из Фуэнте де Тодос», я знаю, что всякий раз, когда я давал воображению волю, когда я не сбивал и не ужимал натуру, я делал плохую картину. Это не значит, что все прочие удачны, но в них я делал все, что мог и умел, для того чтоб они удались.

Правда, мне говорили, что я обходил трудности и выбирал самый легкий путь воздействия на зрителей, доводя какое-нибудь одно место в картине до карикатуры. Первое — совершенно не правильно, а второе — лишь частично. Я не обходил трудности, я часто преодолевал их, но, преодолев, вплетал их и вбивал в это «акценти-

¹ Тертулии — вечерние беседы, встречи (исп.).

руемое» место. Знайте, что на каждой картине есть лишь одно место, которое создает иллюзию подлинности, подлинности для зрителя. Оно единственное обладает решающей силой как подпись на векселе. Это может быть рука, или глаза, или просто металлическая пуговица, освещенная особенным образом.

— Я всегда поражаюсь и жалею себя, когда думаю о том, с каким небольшим запасом знаний и с каким обилием предрассудков и опасных страстей я когда-то вступал в жизнь. В те времена думать об основных проблемах жизни было непросчительным пороком. Таково было общество. И мне, невежественному и честолюбивому живописцу, это пришлось по сердцу. Но позже, когда я услышал, как это самое общество скрипит по всем швам, перед моими глазами прошло столько стыда и срама, что даже скотина на моем месте начала бы размышлять и делать выводы.

В тяжкие минуты я видел всю ничтожность безграмотных властелинов, «людей дела», равно как и неспособность, слабость и смятение людей пера и науки. Я видел, как принципы и системы, бывшие, казалось, тверже гранита, расползались, словно туман, на глазах равнодушной или злорадной толпы, а чуть погодя этот расползающийся туман на глазах той же толпы густел и затвердевал в виде нерушимых и священных принципов тверже гранита. Видел я и смерть, и болезни, и войны, и бунты. И, наблюдая это, я спрашивал себя, каков смысл подобных перемен; каков план, по которому все это происходит, и какова цель, к которой он ведет? И сколько я ни глядел, ни слушал, ни размышлял, я не нашел ни смысла, ни плана, ни цели. Но при этом я пришел к одному негативному выводу: наша собственная мысль мало что значит в своем усилии и ничего не может — и к одному позитивному: надо слушать легенды — следы вековых коллективных усилий — и с их помощью отгадывать, насколько возможно, смысл нашей судьбы.

Есть несколько видов человеческой деятельности, которые во все времена медленно и тончайшими пластами обрастают легендами. Долго смущаемый тем, что происходило непосредственно вокруг меня, я во второй половине своей жизни сделал вывод: тщетно и ошибочно искать смысл пустячных, хотя внешне и важных событий, происходящих вокруг нас, смысл следует искать в

тех наслоениях, которые столетия оставляют на нескольких основных легендах человечества. Эти наслоения постоянно, хотя и с убывающей точностью, повторяют форму того зерна истины, на котором они отлагаются, и таким образом проносят его сквозь столетия. В сказках — подлинная история человечества, в них можно если не постигнуть в полной мере, то почувствовать ее смысл. Есть несколько основных легенд, которые показывают или, во всяком случае, как-то освещают если не цель, к которой мы движемся, то путь, который мы перевалили. Легенда о первородном грехе, легенда о потопе, легенда о сыне человеческом, распятом во имя спасения мира, легенда о Прометее и похищенном огне...

Последние слова глухой старик уже кричал. Потом вдруг замолк и устремил свой взгляд куда-то мимо меня, так моряки смотрят на пучину. Казалось, будто во внезапно наступившей тишине он прислушивается к голосам бесчисленных легенд, названия которым он не знает и которые ему никогда не перечесть. Долго он так молчал, пока снова не перевел свой взгляд на стол перед собой. Словно откуда-то возвратился. На веках его заиграла легкая дымка — след недавней улыбки, и он тихо продолжил, самым тихим голосом, каким только может говорить глухой человек:

— Во времена моей молодости об этих вещах говорили шепотом лишь с верными и близкими людьми, чаще всего с глазу на глаз. Нынче, в тысяча восемьсот двадцать восьмом году, об этом давно уже говорит кто хочет и как хочет. Это, разумеется, не значит, что и у теперешних людей нет своих тем для шепотных разговоров с глазу на глаз.

— ...

— Поверьте, я видел все, а ничему не удивляюсь и ничто меня не волнует не потому, что я бесчувственный чурбан,— просто я имею право на это. Я заработал это право тем, что видел все. А нужно много видеть, чтоб увидеть все. Я видел природу, видел общество. Ах, общество! Я знаю законы его кристаллизации, настолько простые, что они приводят нас в недоумение и будут приводить до скончания века, Я слышу его движение, которое,

несмотря на большой шум и треск, есть лишь топтание на месте. Я знаю бедноту, терпеливую, мирную массу. Я знаю бунтовщиков, людей, которые идут против течения, преступников, нищих, публичных женщин. Я знаю королей и принцев, наших и чужеземных. Я знаю генералов и министров, испанских и французских, более того, знаю фельдфебеля, от которого разит ваксой и помадой для усов. Все это я знаю и все это нетрудно узнать и понять. (Я написал много людей, самых разных. А когда я рисую человека, я вижу минуту его рождения и его смертный час. И эти два мгновения столь близки друг к другу, что между ними в самом деле не остается места ни для чего, ни для одного лишнего вздоха или жеста.) Но вот перед чем останавливаешься и замираешь в священном трепете и безмолвном уважении — это перед миром мысли. Ибо мир мысли — единственная реальность в том водовороте привидений и призраков, который зовется реальным миром. И не будь мысли, моей мысли, которая воплощает и питает образ, над которым я работаю, — все ушло бы в ничто, из которого оно и вышло, более жалкое, чем высохшая потрескавшаяся краска и пустой, ничего не говорящий холст.

— ...

— Как-то вскоре после того, как мне исполнилось тридцать лет, много прежде, чем я разболелся и начал терять слух, я увидел странный сон. Теплые и уютные покои, покои аристократа, говорящие о тонком вкусе поколений, с великолепной мебелью, драгоценными вазами и фарфором. Бледно-желтые обои изящного узора. Когда я вгляделся в этот узор, то увидел, что он составлен из одного лишь слова, вот таким образом выписанного «Шогс». Весь узор был не чем иным, как бесчисленным повторением мелко и тонко выписанного слова: «смерть». Однако странные обои нисколько не придавали комнате неприятного или мрачного характера. Напротив, мне хотелось побольше оставаться в ней, я гладил рукой ткани и фарфор. Я был покоен и доволен, как это бывает лишь в помещении, отвечающем всем нашим потребностям.

Минуло восемь, а возможно, и девять лет. Я хворал, ездил, работал и совсем позабыл о странном сне. Живя в полном уединении, всеми оставленный в вилле под Мадридом, я много страдал. Не от зла, которым полон мир, а от своих мыслей об этом зле. Всякое соприкосновение

с людьми приводило меня в неизъяснимый и безумный ужас. Каждый день передо мной раскрывались все новые и непредвиденные возможности зла и несчастья. В течение суток каждая из них судорогой страха сводила желудок, заставляла колотиться сердце, отравляла день и ночь и потом исчезала как излишняя и совершенно не обоснованная. На ее место приходила новая. Эти кошмары порождало всякое соприкосновение, всякая попытка соприкосновения с миром. А когда я уединялся, они возникали откуда-то изнутри меня.

Дабы освободиться от кошмаров, о которых я знал,— и это больше всего меня мучило,— что они плод моего воображения, я начал рисовать по степам самой просторной комнаты «антиужасы». Я покрыл картинами и рисунками почти сплошь все стены. Остался лишь небольшой треугольник над окном. Он был неправильным (комнату перестраивали и окно пробили дополнительно) и имел вот такой вид \triangle . Я давно уже позабыл про свой сон, от него меня отделяли много лет и много ночей, наполненных сновидениями, которые самоуправничают, «пока разум спит». И все же на этом небольшом свободном пространстве я не стал рисовать ни лица, ни орнамента, но словно по договоренности, словно под диктовку написал на нем слово «mors». Причем сообразно форме треугольника, единственно возможным и виденным некогда во сне способом: Mors. И вот это-то слово стало амулетом, защищавшим меня от кошмаров до тех пор, пока я не выздоровел и не вернулся в спокойное царство разума, где амулеты не нужны.

— ...

— Живя среди людей, я все время спрашивал себя, почему все мыслящее и духовное в нашей жизни столь беспомощно, незащищено и не связано, столь презираемо обществом во все времена и столь далеко большинству людей. И я пришел к такому выводу. Наш мир — царство материальных законов и анимальной жизни, не имеющей смысла и цели, со смертью как венцом всего. Все мыслящее и духовное оказалось здесь случайно, подобно тому, как цивилизованные люди, потерпевшие кораблекрушение, со своими одеждами, инструментами и оружием оказываются на далеком острове, где совсем иной климат, где обитают звери и дикари. Поэтому все наши идеи носят странный и трагический характер вещей, спасенных при кораблекрушении. Они носят на себе следы иного,

позабывшего мира, из которого мы когда-то вышли, катастрофы, которая привела нас сюда, и постоянных тщетных попыток приспособиться к новому миру. Ведь наши идеи находятся в непрестанной борьбе с этим новым, по существу противоположным им миром, в котором они оказались, и одновременно они постоянно преобразуются и приспособляются к нему. Поэтому каждая великая и благородная мысль — залетная птица и мученица. Отсюда неизбежная печаль в искусстве и пессимизм в науке.

Уже совсем стемнело. Я даже не заметил как. Но мой собеседник, как все пожилые люди, был чувствителен к переменам дня и погоды. И все голоса снаружи и вокруг нас словно разом смолкли. А в наступившей тишине угасал и голос Гойи. В полной тишине он встал из-за стола. Отодвигаемый стул не произвел ни малейшего шума. Он ушел просто, едва простившись, как уходят из кафе завсегдатаи, бросив лишь легкое и естественное «до свиданья!». Шляпу он и так не снимал с головы, трость все время держал в левой руке.

Вскоре после него вышел и я.

А на завтра я весь день, с трудом сдерживая волнение, думал о пожилом господине и разговоре, который ожидал меня вечером. Как только солнце опустилось за первые мачты в пристани, я поспешил в дальнее предместье.

Цирк был совсем готов. Около него толпились рабочие, бездельники и чернокожие солдаты колониальных войск. С шипеньем горели у входа карбидные фонари, хотя еще было видно. Вокруг них собирались первые бабочки и оживленная детвора.

В кафе было тихо, почти пусто. Я сел за тот же столик, за каким мы сидели вчера, и заказал один из тех южных напитков, которые настолько охлаждаются, что вызывают жажду, а оказавшись во рту, не дают того наслаждения, которое сулят своим ярким цветом. Словом, один из тех напитков, у которых лучше всего их название. Некоторое время я сидел спокойно, но мало-помалу моя уверенность пошатнулась и перешла в нервное ожидание. Меня начало мучить разочарование, на которое я не имел права. Я припоминал все, что говорил вчера пожилой господин, и повторял про себя то, о чем на-

меревался его спросить. Тогда мне впервые пришла в голову мысль записать то, что я от него услышал.

Снаружи сгущалась тьма. Зажгли первую лампочку, у зеркала, над кассой. Чтоб скрасить ожидание, я попросил чернил и бумаги. Это вызвало немалое замешательство и некоторую дискуссию между хозяином и прислугой. Словно я попросил какое-нибудь экзотическое кушанье. Официант, кажется, собирался мне ответить: этого не держим. Но хозяин послал его в свою квартиру, куда бела дверь из зала. Тот появился оттуда снабженный всем, что полагалось. Кипа толстой бумаги, купленной на аукционе какой-то обанкротившейся фирмы. Огромная черная чернильница, каких теперь не увидишь. Черное заржавелое французское перо, тонкое, как змеиный язык.

Я поздно вышел из кафе, так как два часа провел за писанием, тщетно поджидая вчерашнего собеседника. Хозяин уже отужинал и теперь со своими гостями играл в карты на куске зеленого сукна.

Перед кафе было пусто, но возле цирка по-прежнему толпились горластые зрители под ярким и неприятным светом карбидных ламп, которые придавали лицам бледное и сонное выражение и вызывали в глазах нездоровый блеск. Вдруг мне показалось, будто возле толпы в полутьме мелькнул сутулый старик в сюртуке старинного фасона, высокой шляпе и с тростью в руке. И тут же я потерял его из виду. Я рванулся сквозь толпу. Люди, поглощенные зрелищем, не уступали дороги. Пробираясь через толпу и толкаясь, я осмотрел весь пустырь, но старика и след простыл. Невысокий человек в спортивном костюме, возле которого я, запыхавшись, остановился, громко меня выбранил:

— Чего вы толкаетесь? Что за манера? Карманники так себя ведут.

Мне пришлось отказаться от дальнейших поисков того, что невозможно найти. Усталый, я вернулся в город. А на другой день рано утром оставил Бордо навсегда.

ТРОПЫ

У начала всех троп и дорог, в основе самой мысли о них стоит глубоко и навечно вбитая тропа, по которой я впервые начал свободно ходить.

Это было в Вышеграде, на твердых, извилистых, словно изглодавших дорогах, где все сухо и горестно, где нет красоты, нет радости, нет надежды на радость, нет права на надежду, где горький комок, который человек не в силах проглотить, на каждом шагу колом встает в горле, где сушь и ветер, снег и дождь пожирают землю и семя в земле, а все, что как-то выбивается и рождается, клеймят, придавливают и сгибают так, точно хотят вбить, будь это возможно, другим концом в землю, лишь бы вернуть в бесформенность и тьму, из которой оно вырвалось и проросло.

Бесчисленные тропы пятами и гайтапом испещряют горы и склоны вокруг города, вливаются в белый проселок или исчезают у воды в зеленом ивняке. Инстинкт людей и животных проложил эти пути, а нужда утоптала их. Здесь трудно отправляться в дорогу, трудно идти и возвращаться. Здесь садятся на камень и укрываются под деревом, на сухом месте или в скудной тени, чтоб отдохнуть, помолиться или подсчитать выручку. На этих тропах, которые метет ветер и моет дождь, а солнце лечит и калечит, на которых можно встретить лишь измученную скотину и молчаливых людей с суровыми лицами, родилась у меня мысль о богатстве и красоте мира. Здесь я, неученый и слабый, с пустыми руками, был счастлив хмельным счастьем, счастлив до бесчувствия от всего того, чего здесь нет, не может быть и никогда не будет.

И на всех дорогах и путях, по которым я позже проходил, я жил лишь этим убогим счастьем, этой своей вышеградской мыслью о богатстве и красоте мира. Ибо с того самого момента, как я покинул ее, и по сей день под всеми дорогами земного шара неизменно пролегла мною одним видимая и мною одним осязаемая крутая вышеградская тропа. Собственно, по ней я отмерял свой шаг и с ней соразмерял свое движение. Всю жизнь она не оставляла меня.

Когда меня утомлял и отравлял мир, куда я попал по воле злого случая и где чудом удерживался на поверхности, когда затягивало горизонт и я терял направление, я набожно, как верующий молитвенный коврик, стелил перед собою твердую, убогую, крутую вышеградскую тропу, что излечивала любую боль и облегчала любое страдание, ибо все это она содержала в себе и все превосходила. Так, по несколько раз в день, пользуясь минутой затишья, каждой паузой в разговоре, я проходил часть того пути, с которого никогда не следовало сходить. Так до конца дней своих, невидимо и тайно, я все-таки пройду назначенный мне судьбой отрезок вышеградской тропы. А вместе с концом жизни оборвется и она. И затеряется там, где оканчиваются все тропы, где не надо ходить и делать усилия, где все земные пути спутаются в бессмысленном клубке и потухнут, подобно искре спасения в наших глазах, которые и сами потухают, приведя нас к цели и истине.

ЛИЦА

На звездное небо и человеческие лица нельзя наглядеться. Смотришь — все уже видено-перевиденно, а незнакомо, известно, а ново. Лицо — это цветок на стебле, который зовется человеком. Цветок этот всегда в движении, выражение его постоянно меняется, на нем отражается то смех, то восторг, то задумчивость, которые вдруг сменяются бессловесной тупостью или оцепенением мертвой природы.

С тех пор как я помню себя, человеческие лица для меня — самая яркая и самая притягательная часть окружающего мира. Я помню многие края и города и могу вызвать их в памяти, когда угодно и насколько угодно, но человеческие лица, которые я видел во сне или наяву, приходят сами по себе и стоят перед моим взором мучительно долго или до боли мимолетно, живут рядом со мной или странным образом и навсегда исчезают, так что никакими усилиями их уже не вернешь. То возникнет в памяти одно-единственное лицо и долго мерцает передо мной, заслоняя весь мир, а то нахлынут сотни, тысячи лиц, грозя буйным своим разливом затопить и унести мое сознание. И если края и города я вижу через себя и как часть себя, то мои разговоры и расчеты с человеческими лицами бесконечны. На них для меня па-чертаны все дороги мира, все помыслы и все дела, все желания и нужды, все возможности человека, все, что его поддерживает и возвышает, все, что его отравляет и убивает. Все, о чем человек мечтает и что редко сбывается, а то и никогда не сбывается, получает в них свое отражение, имя и голос.

Поодиночке или вереницей человеческие лица проходят передо мной. Одни возникают безмолвно, сами собой или по неизвестному мне поводу, а другие — словно по уговору, по какому-то знаку, слову или фразе, которые от них неотделимы.

* * *

Крестьянин в годах. Крестьянские лица точат и сушат труд и земледельческие заботы, солнце и дождь, ветер и снег. Изю дня в день крестьянину приходится стискивать зубы в судорожном усилии, жмуриться и мигать, защищая глаза от немилосердного солнца, мороза или метели — все это покрывает его лицо морщинами в разных направлениях и придает ему цвет бурой или черной земли, над которой он так часто гнет спину. Страх ловушки и обмана, стремление угадать чужие мысли и планы и до времени не выдать своих — все это тоже накладывает свою печать на крестьянские лица. И прежде чем крестьянину стукнет сорок, лицо его уже полностью сформировано. Кожа заскорузлая и темная, мышцы четко выделяются. Кадык выпирает, шея морщинистая и широкая. Глаза смотрят не прямо, как в молодые годы, а каждый косит пемного в свою сторону. Все отработано и отделено одно от другого, и надо всем царит равновесие и покой зрелых лет.

* * *

— За что вы меня прогоняете? — слышу я и — вижу. Вижу старый сарай, закопченный, усыпанный жомом и сухими косточками, заваленный кадушками и всевозможным сором, продуваемый вечными сквозняками. В широких дверях стоит газда Марко. Я вижу только спину, а точнее — его суконные штаны и низкие турецкие туфли. Потому что мне не больше шести лет и я сижу на толстой балке с полными пригоршнями чернослива. Но зато мне хорошо виден пизенький, тщедушный батрак в залатанной и все же рваной одежде. Судя по этой одежде и по тому, как он держится, это не крестьянин, не городской рабочий, не нищий, не юродивый, не человек, занимающий хоть какое-то место в обществе. И лицо у него такое, особенное лицо. Сморщенное, серое, если вообще может идти речь о цвете, по этому лицу невозможно определить

возраст, оно вообще ни о чем не говорит, кроме как о смиренном скудоумии. Глаза, нос, рот, борода — все это на месте, но лишь одно общее выражение объединяет их — горе. Это и не болезнь, и не голод, и не бедность, а все вместе, накопленное многими поколениями, сбитое в новый своеобразный вид горя, у которого тысячи причин, и потому нет ни имени, ни лекарства.

— За что?

А газда Марко отвечает спокойно и кратко:

— Не годишься.

— Да, не гожусь, знаю,— говорит человек в дверях, он ниже земли, которую мы все топчем, уменьшившийся до нереальности, покорно принимающий не столько газду Марка, сколько свое извечное неоглядное горе.

— Не гожусь,— повторяет он и тут же, словно не в силах связать две простые мысли и сделать из них вывод, тупо и жалобно добавляет: — За что вы меня прогоняете?

Я не запомнил, как развивался разговор дальше и какое было решение, если оно было. В памяти у меня навеки запечатлелась эта пара, хозяин и батрак, стоящие в широких дверях сарая на ноябрьском сквозняке,— первый повернутый ко мне спиной, а второй — лицом, лицом человеческого горя, которое невозможно ни описать, ни выбросить из памяти.

* * *

Много лет тому назад. Берег Атлантики. Невысокий солдат несет на правом плече неразорвавшийся снаряд, который недавно откопали в песке. Он чуть согнулся под тяжестью своего груза, но он молод и крепок. Словно неся на плече смерть, он ступает как можно тише и легче мелкими и странными шажками, с какой-то изощренной осторожностью, будто идет по проволоке. А лицо — мужицкое, грубое, облагороженное этим мгновением и бледное. В этой внезапной бледности чувствуется и не до конца подавленный страх, и сознание своего долга, и желание не остаться в долгу у жизни, не став добычей смерти.

Все мы, как и все живое, каждое мгновение боремся со смертью. В бесконечных и разнообразных проявлениях эта борьба отражается на человеческих лицах. Эту борьбу, сконцентрированную в самом благородном ее виде, наблюдал я на лице солдата, который, выполняя свой долг, нес на плече неразорвавшийся снаряд.

Еще одно лицо.

— Господи помилуй! — произносит кто-то из сгорбившихся и укутанных в платки женщин, что стоят во дворе, склонив друг к дружке головы, и шепчутся. Этому лицу не сопутствует ни один звук, ни одно движение. Я вижу его в покое и неподвижности.

Она была актрисой и жила на одном с нами этаже. Мне могло быть тогда восемь или девять лет. Красивая молодая женщина посылала меня иногда купить ей сигарет или отнести письмо на почту. Наградой мне была большая ароматная конфета из волшебной коробки и присутствие ее самой. Она разрешала мне посидеть на маленьком стульчике возле ее дивана, обитого желтым бархатом. Потому что актриса, когда бывала дома, постоянно лежала на этом диване. Я сидел и с восторгом смотрел на ее лицо, которое с тех пор больше не забывал. В выражении этого лица было что-то мечтательное и отсутствующее, и на нем самом больше всего места занимали глаза. У них были темные, но не черные зрачки, иногда становившиеся синими, как сапфир, иногда сверкавшие золотыми бликами какого-то сияния, неизвестно откуда вдруг возникавшего. А потом неожиданно все это гасло, и ее чуть выпученные глаза становились потухшими и слепыми, как глаза античных статуй.

Это были необыкновенные, сверкающие, близорукие и почти неподвижные глаза, которые она освещала и гасила изнутри в соответствии с какими-то только ей одной известными законами собственной режиссуры, глаза, которыми она не столько хотела смотреть и видеть, сколько стремилась ослепить и покорить других. Я смотрел в них с невинным детским удивлением, но смотрел недолго. В том же году, когда она здесь поселилась, в той же самой квартире актрису убил один молодой человек, сын богача, четырьмя выстрелами из маленького револьвера.

Приходили и уходили разные комиссии, тело увезли в морг и где-то похоронили. Двери ее квартиры опечатали. Женщины во дворе шептались: «Господи помилуй!» Единственное, что надолго пережило актрису, были ее необыкновенные глаза в памяти мальчика,

* * *

И так подряд одно лицо за другим, за ним еще одно. Мне хотелось бы рассказать и о нем, удержать его на мгновение, но, прежде чем я успел его разглядеть, оно затянулось туманом и исчезло. За ним с быстротой молнии находят другие, теснят друг друга, обгоняя и сменяясь, входят в меня. И я уже больше не я, а безымянное, безмолвное пространство, по которому быстро, словно по освещенной ленте без конца и без края, движутся взволнованными вереницами человеческие лица, и я теряюсь в них, безгласный и безликий, как в метели.

1953

О ВУКЕ КАК ПИСАТЕЛЕ

Любопытно и, я полагаю, не бесполезно обратиться к такой хорошо известной и многократно являвшейся предметом исследования личности, как Вук Ст. Караджич и попытаться осветить ее со стороны, с которой до сих пор она освещалась недостаточно или вообще не освещалась. Подобная попытка, пусть беглая и неполная, может оказаться полезной если не по своим непосредственным результатам, то хотя бы по тому, что она привлечет внимание к этому направлению в исследовании.

В нашей научной литературе феномен Вука Ст. Караджича как «центральной фигуры сербской литературы середины XIX века», изучался и рассматривался с различных сторон и во всех возможных аспектах. Но о Вуке как писателе, о его мировоззрении, форме и технике его литературного стиля писалось немного.

Прежде чем перейти к этой теме, мы рассмотрим основные особенности мировоззрения Вука, некоторые постоянные тенденции в его деятельности и развитии.

Согласно суду истории литературы, Вук появился и работал в духе «идей современного романтизма» и, равно как и его учитель Копитар¹, «принадлежал к венскому кругу романтиков». И формально это справедливо, ибо у Вука была общая с романтиками исходная точка, а именно культ народных песен и старины. Но что с самого начала явно отделяет его от них и в чем он существенно отличается от подлинных романтиков, это то, что в прошлом его всегда интересует «живая старина», то есть то из прошлого, что влияет на современность и обуславливает

¹ Копитар Ерней (1780—1844) — известный словенский филолог, академик.

будущее народа. Это уловил Скерлич¹ и, ощутив необходимость точнее определить и ограничить мнимый романтизм Вука, сказал, что, «романтик по идеям, он обладал рационалистическим духом». Впрочем, в некоторых своих работах Вук счел нужным и сам недвусмысленно это подчеркнуть. Так, например, краткое предисловие к своей книге «Черногория и черногорцы» (опубликованной по-немецки в 1837 г.), он закончил словами: «Наше при этом стремление описывать просто, ясно и правдиво, без всяких романтических украшений».

В самом деле, главный предмет и конечная цель всех исследований и поисков Вука суть жизнь народа и живой человек в ней; в первую очередь речь и литература этого народа, а затем все прочие условия его духовной и материальной жизни, его обычаи, верования и суеверия, традиции и все наследие прошлого, но в той же мере и общественные учреждения, и политические и экономические обстоятельства, в которых этот народ развивался и в которых он продолжает жить.

О творчестве Вука в целом можно было бы сказать то, что он сказал сам о своей борьбе за народный язык: «Здесь властвует здравый разум и правда...»

И эти слова в творчестве Вука и его жизни звучат рефреном. «Это те несчастные люди, что разум свой сдали в аренду и теперь вынуждены думать, как другие хотят», — пишет он. «Я избираю то, что мне говорит разум, а не как святым угодно», — писали Вуку друзья вроде Павла Барича, желая угодить ему. «Кого вы боитесь, когда вам разум говорит, что так надобно?» — говорил Вук колеблемому и осмотрительному Лукиану Мушицкому². Разумность — вот его мерило для людей, для их дел и отношений в общественной и частной жизни. («В Загребе между иллирами³ усердия очень много, гораздо больше, чем разума», — писал он в 1838 году.)

В течение своей долгой и тяжелой жизни Вук лави-

¹ Скерлич Йован (1877—1914) — сербский литературовед и критик, автор многих работ по истории сербской литературы XVIII—XX вв.

² Мушицкий Лукиан (1777—1837) — сербский поэт и общественный деятель.

³ Иллирами называли себя участники общественно-политического и культурного движения в Хорватии и Словении в 30—40-е гг. XIX в., выдвигавшие лозунг объединения всех южнославянских земель.

ровал и приспособлялся во многих вещах («по слабости человеческой»), однако в одном он оставался непоколебим: никогда в своем литературном творчестве он не «отдавал разум свой в аренду», не менял «умствование на безумствование».

Не случайно и не напрасно проницательный Копитар после первого знакомства писал, что считает Вука «самой светлой головой из всех сербов, каких я знаю». Нечто точное, математическое было в его манере работать. Он сам сознавал это, и это понимали его ученики.

«Вы сами найдете и обнаружите, что грамматика, а особенно орфография, весьма схожи со счетом...» — писал он друзьям, которые в лучших образцах полемики Вука с консервативными славяно-сербскими писателями видели «математическое доказательство глупости сербских писателей».

В жизни, в любом деле, в том числе и в литературном, как мы позже увидим, Вук стремился проникнуть в существующее, или, как он говорит, в *сущее*. Так, в своем «Первом ответе Йовану Ранитовичу» он пишет: «Как хорошо ты умеешь толковать и насмехаться, пока *сущего* не касаешься, можно сказать, нет ничего, чего бы ты не знал лучше всех прочих людей; но как дойдет дело до *сущего*...»

Сущее — вот то, что Вука волнует, в чем он чувствует себя сильным и несломимым. Своим противникам он как главный упрек бросает, что «они сущего не понимают».

Крестьянский сын, прирожденный борец, ставший подлинно культурным человеком, он был весь устремлен к одному: познать действительность народной жизни, в первую очередь язык, определить ее формы и законы, познакомить с ней других. Знание народного языка и народного творчества было для него тесно связано со знанием народной жизни в целом.

О Вуке как писателе можно смело сказать, что он твердо стоял на земле, а круг его интересов на этой земле охватывал, выражаясь поэтически, «все — от травинки до человека».

Из Цетинья, куда он приехал с целью изучения языка и народных песен, он пишет: «Я желал услышать, как народ наш в этих краях *говорит*, и увидеть, как он *живет*». (И Вук сам подчеркнул слова «говорит» и «живет», выделяя тем самым два полюса своих запятых и усилий.)

Но помимо человека, его интересует все живое и мертвое, что окружает человека, и в самом деле буквально до травинки. Вука Павловича из Боки Которской он расспрашивает не только о старинных книгах, народных словах и обычаях, но и о различных растениях, прежде замеченных им в Которе. И просит их прислать не романтически спрессованными, высушенными в какой-нибудь книге, а вот так:

«Прошу Вас весной послать мне несколько стеблей пшеницы и можжевельника казацкого с корнями, листьями и цветами (надписав, где какая), лучше всего послать в маленькой длинной коробке, а снаружи напишите «Kräuter für die Botanische Untersuchungen»¹ и отправьте почтовым дилижансом...»

Познание жизни вообще, а особенно людей и их отношений,— его постоянное стремление.

«Вы еще не знаете ни людей, ни мира»,— упрекал он Мушицкого, словно приговоришку. А в его собственных сочинениях и личной переписке словно бы нечаянно рождаются точные сентенции, богатые по содержанию, изобилующие опытом, которые знаменуют разные фазы и формы этого его постоянного стремления к «познанию мира». («Удивительное дело, как меняются люди, лишь только замечают, что мы в них нуждаемся! А особенно торговцы, тут уж вовсе дружбе конец». «Министры — странные люди». «Что попам и монахам пользу приносит и что они по той причине приемлют, от этого они добром не откажутся». «Нелегко людям добро чинить. Между людьми всегда больше глупых, нежели умных; а зависть, злоба и собственный интерес часто разумного человека лишают ума, и он говорит и действует вопреки разуму».)

Таков в основных чертах дух, которым исполнено литературное творчество Вука Ст. Караджича.

Переходя теперь к самому этому творчеству, мы возьмем всю прозу Вука целиком, независимо от жанра, в каком она написана, так как деление это в данном случае нам не нужно, поскольку и у самого Вука оно не всегда достаточно четко и ясно и, что самое главное, поскольку характерная для него манера наблюдения и описания вещей проявляется, сильнее или слабее, во всех его работах — как языковых, этнографических и исторических, так и в полемике и личной переписке.

¹ Травы для ботанического исследования (нем.).

При этом мы менее всего будем задерживаться на взглядах Вука как критика или на его литературных теориях, которые возникали под влиянием книг и окружения, хотя и в этих его теоретических и критических трудах также попадаются куски, выдающие стиль Вука и его подлинные взгляды.

Отвечая тем, кто по сентиментально-патриотическим мотивам полагал, что критика не должна быть строгой по отношению к тогда еще редким сербским писателям, Вук в 1820 году писал: «Лучше ни одного писателя не иметь, чем только плохих иметь!» Его строгое, а по существу, реалистическое отношение к литературному труду и призванию выражено ясно и определенно. «Никакой мастер не занимается своим ремеслом, не зная, что он строит и как он строит. Как всякий мастер свое дело делает, так должны и писатели писать». Его рецепты литературного мастерства просты и сказаны по-народному, но говорят о правильной позиции и верной методе. Стих народных песен легко воспроизвести, говорит Вук, но «при написании рассказа уже надобно думать и слова размещать, дабы ни с какой стороны не было преувеличения». Поэтому следует верить его характерному и красноречивому признанию: «Однако ж мне вряд ли кто поверит и поймет, как рассказы тяжело писать».

Его проза подтверждает его взгляды и удовлетворяет всем требованиям мастерства и профессиональной совести.

Сказано: «Вук — создатель чистой сербской прозы и стиля» (Л. Стоянович¹). Рассматривая глубже и пристальнее прозу Вука, можно смело утверждать: рационалист по своим взглядам и мироощущению, Вук — реалист по своей манере и способам изображения и выражения того, что он видит и познает. Разумеется, здесь не идет и не может идти речь о реализме в полном смысле слова, то есть о литературном направлении, которое в конце XIX и начале XX века дало мировой и нашей литературе лучшие произведения и которое в наше время переживает новое развитие и преобразование. Разумеется, выражение «реалист» следует употреблять со всеми ограничениями, к которым обязывают расстояние во времени и изменив-

¹ Стоянович Любомир (1860—1930) — сербский ученый — историк и филолог, политический деятель. Автор монографии «Жизнь и деятельность Вука Ст. Караджича» (1924).

шиеся обстоятельства, но если мы воспользуемся основным и простейшим определением, что реалистическая литература — это та литература, «которая ищет самого объективного и самого конкретного выражения для воспроизведения окружающей действительности», и что реализм, по словам одного из старых французов, «la sincérité dans l'art¹, то мы легко увидим, что слова «реалист» и «реализм» в применении к Вуку лишь внешне выглядят анахронизмами, а по существу, в значительной своей части, отвечают главным чертам духовного склада Вука и основным методам его литературной работы.

Среди особенностей писательской техники, обязательных для хорошего реалиста, по нашему мнению, три наиболее существенны. Это внимание, отбор и чувство характерной детали.

Внимание играет большую роль в писательском труде. Кто-то сказал о Бальзаке, что «весь он — глаза и только глаза». Вечно бодрствующее внимание отличает писателя от других творцов-художников, оно вызывает в известном смысле профессиональную деформацию сознания: писатель всегда и всюду присутствует, внимание его приковывает к себе любой предмет, он отыскивает в нем главное, значительное и неотъемлемое, чтобы передать читателю, который должен увидеть предмет его глазами, понять и прочувствовать его так, как увидел, понял и прочувствовал его писатель.

Эта особенность у Вука сильно развита, и не столько по широте и разнообразию, сколько по силе концентрации и продолжительности. С малых лет он носил в сознании и постоянно расширял панораму своих наблюдений, и ни жизнь, ни годы не могли их стереть и погасить. «Тяжелое это дело, когда с самого детства что-либо врежется в память», — писал он Копитару.

Мы убедимся в этом позже на выдержках из сочинений Вука. Приведу лишь один пример. Еще ребенком Вук заметил в монастыре Трноша картину, изображавшую муки Богатого Гавана. «Когда я в 1846 году (спустя почти сорок лет) был в Трноше и пришел в церковь, то сразу стал искать глазами Богатого Гавана, но его больше не было...»

¹ «Искренность в искусстве» (франц.).

Отбор. При огромной и пестрой массе окружающих нас явлений одним из самых важных факторов литературной работы становится отбор. Многие люди умеют видеть окружающий мир и реагировать на него более или менее вдумчиво, умно, ярко. Но лишь подлинный писатель в состоянии выбрать из водоворота явлений, из изменчивого и преходящего ряда аналогичных феноменов устойчивый образец и, пропустив его сквозь призму писательского взгляда, придать ему необходимую рельефность, силу и убедительность, чтобы он был воспринят читателями и признан ими как реальный и типичный. Другими словами, все мы так или иначе, умом и сердцем, реагируем на мир вокруг нас, но наши реакции обычно случайны, бессвязны, недолговечны и произвольны. Только писатель, истинный писатель-реалист отбирает, отбирает сознательно или бессознательно (это особый вопрос, которого мы здесь не касаемся), и из отобранных явлений создает стойкие и типичные образы или картины общества.

С отбором связана и третья особенность — *чувство характерной детали*. В личности или явлении, привлечших внимание писателя, он среди множества деталей находит ту, которая имеет решающее значение для достоверности картины в целом, на которой будет основываться правдивость всего повествования. Для писателя-реалиста детали не являются лишь средством выражения, равно как и слова, при помощи которых он должен их воссоздать, не случайные краски с богатой палитры и не произвольная игра звуков, а действительные и строгие пароли, по которым мы, читатели, узнаем и признаем его как свидетеля и на основе которых мы принимаем его свидетельство как правдивое и убедительное. На примере Вука, может быть, именно вследствие его несложной, но кристально ясной духовной структуры, лучше всего можно убедиться в справедливости утверждения, что писатели, в сущности, свидетели, а слова их — свидетельства.

В литературном творчестве Вука содержатся, как мы ниже увидим, в значительной степени три вышеназванные особенности подлинно реалистической техники письма; разумеется, не так схематично выделенные, но перемешанные и соединенные воедино, они проявляются неприметно, одновременно и параллельно.

Когда он хочет показать, как субаши Али-паши Видаича двинулись усмирять восставших сербов, он

изображает их идущими на грабеж «как на свадьбу», они весело переговариваются, «как пригонят коров из Тамнавы и Посавины или принесут котлы и прочую добычу, как минувшей осенью из Спречи».

Несколькими простыми словами писатель создает картину разбоя, не общую и бледную картину некоего безразличного ему разбоя, но самое действительность. Посавские коровы и котлы здесь не случайные слова, но характерные детали, доказательства того, что перед нами не просто рассказчик, а добросовестный и серьезный свидетель.

Так, например, он сдержанно и сухо повествует, как сербы при Карагеоргии осадили Карановац и как сдались карановацкие турки, но когда речь заходит о коне, которого Карагеоргий потребовал и получил от турок, Вук говорит, что Карагеоргий получил «дивного буланого, покрытого красным сукном до копыт».

Вообще «исторические сочинения» Вука дают ряд примеров совершенных реалистических описаний. (Недостатки их иные — по форме и способу изложения это скорее хроники и мемуары, чем подлинная история, не всегда они свободны от тенденциозности и конформизма и т. д., но в соответствии с нашей системой исследования сейчас мы это не принимаем во внимание.)

Уже в первых фразах истории первого восстания¹ Вук утверждает, что источником для писателя не должны быть «разные басни и сказки». И затем говорит о своей методе таким образом: «Я расспрашивал сербов и турок и старался, насколько возможно, узнать *подлинную причину и закваску этого бунта*». Что же касается самого изображения подобным способом выясненных фактов, он, по его собственным словам, старался «описать все так же просто, без всякой *выдумки и философии*, как серб рассказывал бы сербу». Иными словами, с его точки зрения, задача писателя: 1) найти подлинные причины исторического события и 2) описать его народным языком и реалистическим способом.

Теперь это выглядит естественным и само собой разумеющимся, но нельзя забывать, что это написано человеком, который вращается в кругу нахлынувшего романтизма. В то время другие сербские писатели блуждали

¹ Имеется в виду Первое сербское восстание против османских завоевателей (1804—1813 гг.).

в мутных водах и туманных даях, создавая произведения, по содержанию своему столь же далекие от всякой действительности, сколь язык их был далек от языка народа. И в то время как Вук изображал трагедию и величие тогдашней кровавой сербской действительности, эти писатели, любители нереальных идиллий, заказывали в Вене титульные листы для своих книг, требуя, чтобы «медерезатель» сделал им «красивое изображение, романтическое, с церковью, домиком, солнышком за горою, развесистым дубом и человеческой фигурою».

Вук же писал прозу, в которой нет ни фальшивых солнц, ни домиков, ни дубов, ни романтических безмянных людей на их фоне, но в которой присутствует наша реальная страна и наши люди из плоти и крови и в которой изображение событий, людей и нравов часто достигает вершины реализма. Число таких удач велико. Вот как, например, он воссоздает по-восточному жестокий эпизод из жизни старого Белграда.

«Я сам, своими глазами видел (1808 г.), как челядь Карагеоргия повалила в грязь человека и отделала его за милую душу за то, что он проехал мимо них на своем коне, в то время как они сидели на лавочке перед коняком Карагеоргия (прежде Моллы-Юсуфа), и якобы их чуть обрызгал. Неприятная эта и печальная картина мне так врезалась в память, что и по сей день я помню и человека, и его коня; как он поехал по базару, к церкви, как они его вернули, стащили наземь и в грязь повалили. Это был молодой и хорошо, по-городскому одетый человек (на нем была синяя безрукавка, без подкладки, как тогда многие носили, и поверх нее меховой кафтан), а жил он до недавнего времени в Биограде и, сдаётся мне, звали его Шашкин-Тошо, а конь у него был рыжий».

Или другая картина, полная безмолвного ужаса, в которой мастерски и просто изображено одно из событий сербской истории.

В белградской крепости собралось все турецкое войско. Долго и напрасно ожидаемый Милош¹ наконец впервые прибыл к Али-паше Марашлии в Белград. Вук это описывает так: «Когда Милош со старейшинами прошел сквозь строй турок и вступил в покой Али-паши, а там — несколько пашей и более шестидесяти бибмашей и

¹ Милош Обренович (ок. 1780—1860) — князь Сербии (1815—1839 и 1858—1860).

аянов и бегов и такая стоит тишина, что можно услышать, как муха пролетает; лишь кое-где дымки из чубуков попыхивают, большинство же чубуки только во рту держат, но курить не курят».

Или еще только один пример, поскольку выбор велик, а места ограничено, — диалог между Милошем и Сулейман-пашой Скоплянином, белградским визирем, свирепым, храбрым и хитрым человеком нашей крови, который во многих боях бился с Милошем и в одном из них был ранен им в руку. «Теперь каждый может себе легко представить, как должен был Сулейман-паша глядеть на своего недруга; однако из-за политики он ничего не мог ему сделать, пришлось даже назвать его сыном и дать ему грамоту визиря. Однажды он показывал его турецким господам, приговаривая: «Поглядите вот на этого моего малого князя и пасынка! Каким он теперь кажется спокойным и покорным, а я от него несколько раз бежал куда глаза глядят, в конце концов он мне и руку перебил на Равне». А Милошу он сказал: «Это ты меня укусил» (показывая раненую руку), на что Милош отвечал: «Я и позолочу, благородный паша».

Разве не напоминает это своеобразную ренессансную «beta», кровавую шутку или ориентальную историю, в которой и лукавство, и мудрость, и масса притворства? И разве не выявляются обе личности, словно вылепленные, со всеми своими особенностями, из этого краткого диалога?

С таким же спокойствием (спокойствием, которое необходимо хорошему писателю, ибо писатель должен увлекать читателей, а не увлекаться сам), с такой же чистотой и немудреностью средств Вук описал многие явления и многие личности обоих восстаний — и ужасные, и смешные, и низкие, и величественные — и верно дал многие зарисовки тогдашней действительности.

Никто до него, а думается мне, и после него, не изобразил всю тяжесть и дикость балканской жизни, грубость наших нравов и привычек, турецкую жестокость наших людей в отношениях друг с другом, но привитую на нашу сентиментальную робость и тем самым лишенную турецкой воспитанности и учтивости, которые эту жестокость нередко смягчали и в какой-то мере делали более выносимой. Разумеется, все это дано мимоходом и фрагментарно, в переписке, исподволь. После своей болезни в Белграде и грубостей, которые ему пришлось вынести от

своих близких, он писал: «Можете себе представить, какого мне болеть в таком месте, где и здоровый-то человек едва живет. Беговская прислуга обхаживает тех, кого боится, а над больными насмеваются и слуги и челядь».

Иногда его наблюдения не что иное, как гениальный проблеск, открывающий какую-то деталь действительности. Так, он где-то совершенно мимоходом замечает, что «турки не пишут много». Каждый, кто хоть немного знаком с турецким образом жизни, почувствует, насколько точно это простое и будничное наблюдение, и каждый ощутит, что оно у него самого вертелось на языке, но прежде Вука никто никогда его столь хорошо не определял и не мог бы так просто и ясно выразить.

Как мы уже говорили, проза Вука не оскудевает подобными примерами реалистического изображения. Маленькая книга о Черногории, имевшая большой успех у немецкой публики, не понравилась тогдашним правителям на Цетинье и самому Негошу;¹ он, по словам Л. Стояновича, не был «доволен слишком реалистическим описанием состояния Черногории и жизни и характера черногорцев». Это не первый и не последний случай, когда кто-то недоволен своим зеркалом. Однако ни любовь к Черногории, ни уважение и благодарность к Негошу не могли подкупить объективный реализм Вука, который очень часто встречал такой же, а то и худший прием и в Крагуеваце, и в Белграде, и в Новом Саде, и в Сремских Карловцах. В одной из подобных ситуаций Вук сделал такое признание, которое характеризует его и как человека и как писателя: «Я что делаю, редко делаю, чтобы насолить кому-нибудь или заслужить чью-либо любовь, но потому, что думаю, будто честному и умному человеку именно так следует поступать». А мы испытываем удовольствие при чтении этой книги именно от этих многочисленных реалистических описаний, которые не нравились тогда и которые нам теперь представляются заметками, собранными писателем-реалистом для какого-то крупного произведения.

Стоит прочесть, например, описание того, как в Черногории будущие попы женятся еще детьми, или точное, сжатое и, мне кажется, мелодичное описание, как в Черногории месят и пекут хлеб — и как в Сербии, или мастер-

¹ Негош Петр II Петрович (1813—1851) — великий поэт, государь независимой Черногории.

ское изображение гумна, на котором пляшут черногорские сваты, потому что земля у них такая крутая, что иного ровного места, кроме гумна, нет.

Описывая одежду черногорцев, Вук говорит: «На голове носят шапки красного сукна, отогнутые до верха, и снаружи отогнутая сторона подбита черным холстом; когда он рвется, шапка становится красною. В шапке они держат деньги и прочую мелочь, а в бою патроны, чтоб были под рукой».

Надо было видеть много шапок, и целых и рваных, и обладать верным глазом, чтобы, описывая мелкую, второстепенную деталь костюма, мельком осветить и экономическое состояние народа, носящего такие шапки, и его повседневную жизнь, и его способ ведения войны. И все это в двух коротких, сухих и трезвых фразах.

Неисчерпаемый источник подобных образцов прозы Вука представляют исследования и полемические статьи (например, «Защита от брани и ругани») и «Матерьялы» и особенно «Словарь».

В оставшихся после смерти Вука и опубликованных «Матерьялах» среди поверий и древних обычаев вы наткнетесь вдруг на наблюдения, которые покажутся поспешными, написанными в телеграфном стиле путевыми заметками в записной книжке иного писателя-реалиста:

«Люд в Шибенике довольно непристоен; а именно, женщины ругаются как мужики. Нищих полно — многие почти голые, а кое-какие ребята лет по пятнадцати совсем голые. От Трогира до Сплета женщины очень чистые и красивые, таж и в Сплете большей частью». Или: «В Сене на улочках, очень тесных, жарят рыбу и готовят еду (на углах домов или просто посредине, кинув угли в земляной сосуд). Мужики поют громогласно не только (по корчмам) вечерами, но и на улицах днем». Или сухая констатация: «В Хорватии кожухи из козьих шкур».

Давно замечено, что «Сербский словарь» Вука богат реалистическими описаниями нашей патриархальной общественной среды.

Найдите, например, слово «шегрт»¹. Обширное толкование этого слова начинается так: «Шегрты у нас, особенно в Сербии и в Боснии, настоящие рабы. Они носят воду, колют дрова (у некоторых мастеров с лошадьо

¹ Ученик ремесленника или торговца.

отправляются в лес и рубят там и возят дрова домой), разводят огонь, готовят еду, моют посуду, месят хлеб, стирают рубахи, носят и забавляют детей и утирают их, когда кто обмарается, моют полы и ступени, чистят конюшни и хлевы, пасут и поят лошадей и т. д. Когда один так поработает, приходит в дом новый на смену прежнему, а этого вроде к ремеслу приставляют». Стоило бы процитировать всю заметку о шегрте, чтоб показать, как изображает Вук этот древний пример эксплуатации человека. Стоило бы процитировать многие другие статьи, например, «поп», «кнез» и иные с подобными же объяснениями. Стоило бы вообще посвятить гораздо больше внимания, труда и места литературному творчеству Вука. Однако здесь завершается этот небольшой очерк, являющийся лишь предвестием того, что следовало бы сделать в этом направлении, лишь призывом и побуждением. Ибо нет сомнения, что наступило время на широкой основе, коллективными усилиями призванных на то людей разных специальностей полностью открыть и осветить магнетическую, богатую, дышащую оптимизмом личность Вука Ст. Караджича, а вместе с нею оживить и его творчество, одновременно показав и правильно оценив весь круг культурных и политических событий и личностей около Вука. Это наш прямой долг перед великим тружеником культуры, который век свой провел «без ремесла, без ноги, без капитала, радея о просвещении племени» (Д. Фрушич), который смело открыл и утвердил «чистоту и красоту нашего языка» и который в неравной борьбе против «деспотического невежества» совершил «демократизацию литературного языка» (Й. Скерлич). Освещение и изучение положительных особенностей его личности и его творчества — потребность нашего времени, одна из насущных задач. Ибо речь идет не только о великом реформаторе языка нашего и могучем писателе-реалисте до реализма, но и о борце, прекрасным лозунгом которого был такой: «Не дается? Дастся!», том писателе, который одним своим личным примером учил энергии, сознательному и бескорыстному труду, человеку, который видел светлое будущее нашей культуры, который верил, что «изо дня в день общество разумных увеличивается, а глупых уменьшается, и таким путем разум и правда побеждают».

О ВУКЕ КАК РЕФОРМАТОРЕ

Современному человеку трудно во всей полноте увидеть и оценить новизну и необычность начинания Вука, революционный характер его и соответственно этому трудно понять сегодня и то сопротивление, которое это начинание долгое время встречало у тогдашнего общества, и борьбу, которая была необходима для его претворения в жизнь.

Откуда возникают эти трудности? Многие обстоятельства тому причиной. Прежде всего, Вук — один из тех реформаторов, которым суждено было еще при жизни увидеть почти полный триумф своих идей. Это дало великой и любопытной драме жизни Вука тот «счастливый финал», который своим блеском прикрыл и смягчил многие шипы боевых пионерских лет. Затем Вук своей упорной и непоколебимой борьбой бил противников до полного уничтожения, а своей долгой жизнью даже и физически их превзошел. И в конце концов все, что осталось, люди и институты, растворилось во всеобщем признании трудов Вука и в единогласном прославлении его личности. (Усердие, которое при этом обнаруживали, по своей интенсивности уместно сравнить лишь с суровостью, с какой его преследовали в течение первых тридцати лет его деятельности.) Таким образом, в финале все, что принадлежало Вуку — идеи и дела, жизнь и борьба, окончилось всеобщим «славься», без тени сомнения, без следа неодобрения. И первое, что после Вука увидели поколения, перед которыми тогда открывалась письменность, были этот блеск и эта слава, теперь уже без тени упрека.

В октябре 1897 года сербское правительство с торжественной церемонией перенесло посмертные останки Ву-

ка из Вены в Белград. Белград стал свидетелем невиданного дотоле торжества. Гроб Вука, который пронесли по всему городу, сопровождали члены правительства, все высшие военные и статские чины, под колокольный звон и пение пятидесяти священников во главе с митрополитом Михаилом, короче говоря, при участии всей той общественной иерархии, которая некогда, по словам Негоша, «ополчилась» на Вука и его реформу. Это словно бы явилось некой символической и окончательной канонизацией. Но уже задолго до этого государство и церковь, все общественные учреждения и организации приняли как неизбежное идеи Вука и взяли в свои руки их осуществление и проведение в жизнь.

Так вышло, что в глазах последующих поколений в значительной мере поблекла та мучительная и усыпанная терниями сторона жизни Вука, а с нею и многие типично революционные черты его творчества и его борьбы.

Со временем, по крайней мере для нашего среднего интеллигента, исчезло все то, что было наиболее бунтарским, неприятным и опасным в деятельности Вука. И в соответствии с принципом, что «конец — дело красит» и «все хорошо, что хорошо кончается», наш образованный человек в какой-то степени привык смотреть на творчество Вука как на, конечно, длинный и напряженный, но академически благополучный путь, а на самого Вука как на авторитетного, всеми уважаемого человека с длинными седыми усами, в черном рединготе, с высоким воротничком, с миниатюрами иностранных орденов на груди, как на счастливого «отца новой сербской литературы», который со своих бесчисленных изображений и памятников надзирает над нашим языком и нашей литературой. Интеллигент, правда, припоминал что-то из гимназии о толстом и тонком «ерах», о скитаниях и бедствиях, о поединке с Йованом Хаджичем¹, однако в исторической перспективе и в сравнении с трудностями его собственного времени все это выглядело смягченным и безобидным.

Этот эйфористический тон господствовал по большей части и в нашей истории литературы. Лишь Скерлич,

¹ Хаджич Йован (лит. псевдоним Милош Светич) (1799—1868) — сербский писатель и политический деятель. Вначале сторонник реформ В. Караджича, затем его ожесточенный противник.

констатируя, что Вук «не был кабинетным ученым, который удовлетворился бы лишь обнародованием своих теорий, предоставив времени завоевать им победу», делал вывод: «Караджич обладал боевым духом всех великих разрушителей». Люба Стоянович в своей монографии назвал Вука «чадом сербской революции», а Белич¹ в 1937 году утверждал, что Вук «революционер, который схватился врукопашную не только с поколением консерваторов, стоявшим за XVIII век в веке XIX, каким был Савва Текелия², но порвал и со всеми теми, кто стоял за эволюционный характер реформы».

Новизну и смелость начинания Вука нелегко и не просто полностью оценить из теперешней перспективы.

В 1789 году молодой сербский ученый и переводчик Эммануил Янкович утверждал в предисловии к одной из своих книг, будто тонкий и толстый «ер» ему не нужны, и тут же добавлял: «Я бы «ер» и в конце слова опустил, ежели б необычности не убоялся».

Лишь в начале XIX века нашелся человек, который не побоялся этой необычности, иными словами, революционного нонконформизма, хотя его будут бояться еще в течение многих десятилетий личности посильнее и крупнее Эммануила Янковича, причем не только противники, но даже и друзья Вука. «Необычность» эта не была ни мелкой, ни безобидной, поэтому врукопашную с ней мог вступить лишь прирожденный реформатор и боец, каким оказался Вук.

Вук это, видимо, понял, по крайней мере, частично уже в самом начале, когда в предисловии к своей грамматике 1814 г. писал: «Меня подлинная ревность к племени моему ободрила и вынудила однажды зажмуриться и ринуться сквозь эти тернии, хотя бы по ту сторону весь изодранный и кровавый вышел». (Уже это юношеское заявление содержит в себе две существенные черты характера Вука. Во-первых, он предвидел борьбу и тернии и не бежал их; во-вторых, он ни одной минуты не думал, будто может застрять в терниях и не выйти на другую сторону.)

¹ Белич Александр (1876—1960) — выдающийся сербский филолог и славист, президент Сербской академии наук.

² Текелия Савва (1761—1842) — политический деятель и писатель, один из недругов В. Караджича.

Тогда же Вук охарактеризовал свое начинание как прогрессивное, как своего рода революционное новшество, высказав, по своему обыкновению широко и ясно, следующую, на первый взгляд банальную, истину: «Самое большое различие между человеком разумным и невеждой состоит в том, что разумный человек постоянно мыслит и старается как можно лучше выучиться или придумать, чтобы быть разумнее своих старших, а его дети — его самого; невежда же норовит остаться таким, каким и его старшие были, а его дети — такими, как он. Сколь печален и прискорбен стал бы мир, если б все люди оставались такими, как их предки были».

Как явствует из этого, Вук под свои филологические взгляды подводил социальную базу и бросал в неприятельский лагерь, причем весьма ловко, уголек прогресса; с самого начала он связывал идею реформы языка с идеей общего прогресса, с передовым духом времени.

И хронологически борьба Вука укладывается точно в промежуток между двумя революциями. Борьба начинается вскоре после Первого восстания, а завершается после восстания 1848 года. Таким образом, она ограничена двумя революционными движениями и по-своему сама является революционным движением. Вук со своей реформой, по существу, представлял народ, который прорывался из глубокой дали, куда его оттеснило правление османов, и требовал слова. («...Однако же буду так писать на родном языке, как на нем говорят миллионы душ».) А его противники? Их спустя тридцать лет после смерти Вука назвал осторожный М. Дж. Миличевич¹; по его словам, это были «тогдашние ученые, тогдашние правители, тогдашние имущие в народе сербском». А Магарашевич² в разгар борьбы так охарактеризовал главных противников Вука: «Это глупая поповщина и лживая адвокатура... Эти классы в городе главные, за ними и другие следуют».

Таковы две воюющие стороны в этой великой и неравной борьбе, в этой подлинной «войне за сербский язык и правописание». Это была воистину настоящая многолетняя война, в которой как и в любой войне, были

¹ Миличевич Милан Дж. (1831—1908) — сербский писатель и ученый.

² Магарашевич Георгие (1793—1830) — сербский ученый-историк, один из сторонников В. Караджича.

свои победы и поражения, подвиги и измены, герои и страдальцы, трусы и перебежчики.

Семь толстых томов «Переписки» Вука позволяют лучше понять жизнь и творчество этого великого реформатора и его в основе своей глубоко социальную борьбу. На отношениях Вука с многочисленными и разнообразными людьми, которые складывались в ходе его пятидесятилетней борьбы, хорошо видно, каким он был поватором и борцом. Вук — один из тех людей, о которых в самом деле можно сказать: «Рах ео vivente nulla erat»¹. Борьба была его стихией, и он искал ее, ибо, как всякий реформатор, чувствовал, что лишь в борьбе он добьется осуществления своего замысла. И эта его боевитость, этот «гробанизм» «зубастого» Вука больше всего отталкивали от него одних и привлекали других; естественно, что последних долгое время было гораздо меньше, чем первых. Это создавало вокруг личности Вука постоянные водовороты симпатий и восторгов, неприятия и ненависти, которые сегодня не всегда легко понять.

Круг адресатов переписки Вука, заполнившей большую половину XIX века, простирался от Москвы до Нью-Йорка и от Лейпцига до Цетинья, а в нашей стране он охватывал, можно сказать, всех выдающихся личностей того времени, в том числе хорватов и словенцев. В странном калейдоскопе этой переписки мы видим зарождение идеи, ее развитие и всю ее длительную и переменчивую борьбу с эгоизмом и отпором консервативных общественных групп, с «деспотическим невежеством» масс, с ужасающей закоренелостью установившихся привычек и целым рядом освященных временем традиций и учреждений. Борьба велась не только на страницах газет, книг и журналов или на заседаниях ученых обществ (это была лишь их видимая и признаваемая часть), но и при помощи насилия, полиции и денег, всех тех средств, которыми располагает определенный общественный слой, защищающий свои действительные или воображаемые святыни, т. е. свои интересы, привычки и учреждения. В этой борьбе мы видим «крылатого Вука», реформатора и борца, готового на все, кроме уступок, когда речь идет о «деле», т. е. о языке, алфавите и правописании.

По своему упорству и непоколебимой вере Вук первых

¹ «Мира в его жизни не было» (лат.).

лет борьбы напоминает порой мореплавателей, которые верили в существование далеких и неведомых земель (точнее, не верили, а были уверены в их существовании) и которые боролись и страдали за то, чтобы убедить в этом других, чтобы разбить предрассудки и найти средства для совершения своих открытий. Подобно новому Колумбу, он тянул своих соратников и спутников вперед, ободрял их, убеждал в верности пути, точности своих предвидений, убеждал в существовании искомой земли: еще сам точно не зная ее границ и всех особенностей ее природы, он не сомневался в ее существовании, равно как и в необходимости своего предприятия и пользе своего открытия.

Лишь на фоне тех, кто окружал его в этой борьбе, — его друзей и соратников или, напротив, противников и осмотрительных нейтраллистов — рельефно и ярко проявляется подлинный образ Вука.

Путь Вука был длинным и тяжелым, его сопровождали восторженные и самоотверженные сторонники, выдержавшие до конца, однако гораздо больше было озлобленных и сильных противников, и борьба с ними в течение долгого времени приносила Вуку и его сторонникам лишь неприятности и бедствия всякого рода. И вполне естественно, по логике борьбы и человеческой природы, что многие из тех, кто, увидев истину, пошли за Вуком, останавливались на полдороге, теряли мужество, выходили из этой, казалось, безнадежной схватки с установившимся и хорошо обороняемым порядком вещей и отступали, а иногда даже поворачивали против того, кого до сих пор прославляли или защищали.

Достаточно известна и многократно упоминалась в этой связи позиция Лукиана Мушицкого, но она столь типична, что и нам придется ее коснуться.

Друг и поначалу восторженный, полезный сотрудник Вука, ученый, почитаемый поэт и священнослужитель, он в силу особенностей своего характера не смог до конца идти за ним.

Символично, что у себя в монастыре Мушицкий хранил портрет Вука спрятанным под картиной, чтобы его не увидели шпионы митрополита Стратимировича¹,

¹ Стратимирович Стефан (1757—1836) — митрополит Карловацкий, один из самых яростных и сильных противников В. Караджича.

Выступая в поддержку идей Вука, Мушицкий делал сотни оговорок. («Я должен был лукавить, дабы не узнали подлинного намерения моего. Должен был иногда вставать против вас, чтоб казалось, будто я вас не защищаю, но ругаю и поправляю».)

Подобно любому реформатору, Вук был и разрушителем и созидателем, и хотя он был больше созидателем, чем разрушителем, современникам, особенно в первое время, виднее была разрушительная сторона его деятельности. Это не могло не испугать такого человека, как Мушицкий. И уже после первых смелых выступлений Вука восторг его гаснет. Призывы к осмотрительности и осторожности — наилучшее отражение характера Мушицкого (да и не только его), а ответы Вука — отражение характера Вука.

Едва лишь началась борьба за реформу языка, Мушицкий испуганно восклицает: «Я вижу, вы задумали поправить наши письмена!» Он и сам участвовал в этом исправлении, но сейчас призывает к осторожности и среднему пути. «А потом, чтоб нам не пересолить, надобно тише поступать с нашей реформой... Подозрительна всякая реформа, особенно священникам и монахам». «Много реформ сразу» и т. д. По его мнению, такие новшества и такая смелость опасны и ненужны. «Они введут вас в большую ересь. А я, клянусь рясой и хлебом своим, не смею в это пускаться... Зачем нам опять новая война? Война, даже и без кровопролитий, чинит раздоры, объединенные провинции делит на части. Надобно во всем последствия и конец видеть».

Страх перед реформой у Лукиана продиктован не только боязнью общественных последствий, опасением лишиться «рясы и хлеба», — он много глубже. Это типичная боязнь смелого начинания, органическая связь с тем, что существует и что признано. Он об этом открыто говорит: «Я бы никак не мог пережить уничтожение «Я», «Ъ», «Ю».

Таковы основы опасений, которые отталкивали от Вука многих тогдашних образованных людей, причем часто это были его друзья, которые с изумлением, а может быть, и с немалой долей тайной зависти смотрели, как он шагает дальше по необычному и опасному пути, которые понимали, что он прав, и тем не менее говорили ему, что не могут быть с ним заодно и что будут продолжать писать и дальше по «старой, пусть и негодной орфографии».

Одним из таких друзей и оказался Мушицкий.

Ответы Вука Мушицкому, пока он не устал отвечать и не предоставил ему плыть по течению, также ясно характеризуют его как человека и реформатора. Вук тоже полагал, что «надобно во всем последствия и конец видеть», только он этот конец видел совсем иным. Войны, которой боялся Мушицкий, Вук желал, ибо знал, что без войны нельзя осуществить реформу. Подобно тому как в его родной Сербии народ поднялся, «чтобы бить турок», чтобы взять власть на родной земле в свои руки, точно так же и он объявил войну славяно-сербским писателям, чтоб разбить их и отдать власть народному языку как единственно возможной основе подлинной и современной национальной культуры. И он отвечает с иронией, беззаботностью и задиристостью боевой молодости: «Вы мне сказали быть консеквентным, что ж, и будем... Не бойтесь ничего. Победа наша».

Победа была еще далеко, но Вук верил в нее.

«Теперь пришло Ваше время; помогите победить Ваших врагов; даже бог не может за Вас вступиться, надобно Вам их напугать»,— внушал он Мушицкому целую программу боевого оптимизма и неустрашимой активности. И становился все резче и определеннее: «Почему в сербских одах Вы не взяли всей моей орфографии? Кого Вы боитесь, когда разум говорит Вам, что так надо? Не думайте, будто я навязываю Вам свою веру, как турок — свою; мне все равно. Чем больше людей сейчас присоединится ко мне, тем прежде мы зложим фундамент сербской литературы; а чем меньше — тем мне большая слава, что не все люди способны думать, как я... Жизнь од Ваших зависит от языка!»

И, наконец, выступал открыто, со всей резкостью, свойственной людям его склада. «Что касается двуличия Вашего, подумайте о потомстве. Не будете вечно жить ни Вы, ни даже Степа (т. е. митрополит Стратимирович. — И. А.), а имя ваше останется, пока будет жить сербское племя; зачем же потомству с Вас пример брать, что монах должен по-монашьи думать? Других учите поднимать разума щит и быть верным себе, а сами себе не верны! Дружба наша пусть нисколько Вам не мешает, если мыслите, что так правильнее, свободно поворачивайте против нас; если не хотите писать по своему разуму, как полагаете правильно, но ищете какого барыша, то у нас и так его найти не сможете».

Таким Вук был во всем.

Так юный и сирый беглец Вук писал ученому поэту и предстоятелю Шишатовачкого монастыря. Таким он был по отношению ко всем, кто колебался, оглядывался назад и останавливался на пути.

В этой великой драме, которую составляют жизнь Вука и деятельность Вука (ибо судьба каждой идеи — драма), есть целый ряд мелких личных драм, более трогательных и по-человечески более понятных, чем драма Мушицкого. Учителя и священники из Воеводины подвергались преследованиям властей из-за еретической орфографии Вука; они страдали и часто сдавались. Так, один из них писал Вуку, что и он готов нечто «издать на свет» и добавлял: «Но вот беда! Я бы охотно Вашей орфографией напечатал, но меня уже дважды укоряли, что не желаю на нее ополчиться; теперь уж я и не смею никому писать так, как Вам пишу».

И, сообщая об этом Вуку, несчастный человек в бессознательном стремлении к компенсации перебарщивал и писал букву «ј», этот проклятый «йот», даже там, где она не нужна.

Или: «Орфографию Вашу я взял бы, да вот горе! Молят, указывают, грозят, чтоб по-вашему не писал. Что делать? Просвети, господи, разум! Я все еще колеблюсь: рад бы по-вашему писать и отважусь, а потом за хлеб своей опасаюсь! Ведь и посильнее меня не хотят за вами идти!»

В переписке есть немало подобных примеров, которые показывают, как тяжело было быть «вуковцем», а каково было самому Вуку? Зная человеческую природу и отлично отдавая себе отчет в том, что такое борьба за разумное, новое и передовое, Вук понимал, что «не каждому посреди села кукарекать», понимал, что должны быть люди, которые останутся перед препятствиями и «противно собственному убеждению уступят злобе и насилию», понимал слабость и колебания, но сам им никогда не поддавался. А колебались частенько и самые сильные.

По поводу латинского «ј» поднялась такая брань, что сам Джуро Даничич¹ приходил к мысли уступить, правда, не по существу, а по форме, то есть вместо пре-

¹ Даничич Джюра (1825—1882) — крупнейший сербско-хорватский филолог, сторонник и защитник В. Караджича. Книга Д. Даничича «Война за сербский язык и правописание» (1847) способствовала победе идей Вука.

словутого «j» взять букву несколько иного вида. Противник каких бы то ни было уступок, уже состарившийся Вук отвечает ему на это: «Ты такой молодой и здоровый, а испугался: смотри на меня— старик, на одной ноге, да и та наполовину в могиле, а все-таки не боюсь».

Вот эта неуступчивость в главном, этот решительный отказ от любого «среднего пути», любой мысли о примирении ценой уступок, эта вера, что уступки «делу» не помогут, а, напротив, будут использованы противником, делают Вука революционером, членом великой (не числом великой) семьи реформаторов и первооткрывателей новых путей и новых миров.

МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСТВОМ ГОРЬКОГО

Тогдашнее Сараево представлялось нам, ученикам четвертого класса гимназии, самым большим и роскошным городом в мире, бурная таинственная жизнь его была для нас прискорбно недоступна, а наша гимназия мнилась пустыней без проводников и указателей, ссылкой пожизненной и вечной.

Было нам по пятнадцати лет, и учились мы в четвертом классе гимназии, когда я и мои товарищи обнаружили, что в одной из сараевских книжных лавок есть библиотека, где можно брать книги домой. Теперь я уже и сам не знаю, каким образом раздобыл я небольшую сумму, которая нужна была для того, чтобы записаться в библиотеку и внести залог; главное, в один прекрасный день я вошел в книжную лавку, взволнованный и робкий, словно шел на суд, который станет допрашивать меня о тяжких преступлениях, а не в книжную лавку, существовавшую и для меня, поскольку она зарабатывала на мне, как и на любом другом, кто ее посещал.

На полках этой скромной лавки выстроилось триста — четыреста томов на немецком и сербскохорватском языках. Так мне впервые открылась мировая литература, открылась как великий мир, о котором я не мог ничего узнать ни в семье, ни в гимназии. Семья была бедная и неграмотная, а о гимназии лучше вовсе не говорить. Мировая литература, представленная в этой маленькой, с бору да с сосенки собранной библиотеке в австрийском стиле и вкусе, раскрылась перед мальчиком океаном, огромным и страшным, неодолимо увлекавшим в пучину. Простой случай привел меня к неведомому морю, и я поплыл по нему, алчный, жаждущий, неразумный.

В этой библиотеке, где я проглотил столько ненужных и вредных книг, иногда попадалось и кое-что хорошее. Так я набрел на тонкую книжку рассказов М. Горького в скверном переводе. Это чтение захватило и увлекло меня тем сильнее, что не все мне было по возрасту. Я прочитал «Макара Чудру», «Старуху Изергиль» и остальные рассказы той поры.

Странно и болезненно смешивалось во мне ощущение величия жизни и красоты искусства с чувством, что и я должен, обязательно должен написать что-нибудь подобное.

Никого не было рядом со мной, кто следил бы за моей работой, руководил бы моим чтением и указал бы мне, что надо делать и читать, кто мог бы разобраться в моих юношеских чувствах, отбросить нездоровое, наносное, помочь выпестовать здоровое и органическое. Кое-как я закончил четвертый класс. Все летние каникулы я провел в своей тесной и сырой комнатенке или в крохотном парке на берегу Миляцки, размышляя о своем рассказе. Я купил специальный блокнот и тайком от окружающих начал писать.

Трудно сейчас восстановить, что прошло через голову одинокого мальчика в те летние дни. Знаю лишь, что никаких благ прекрасного мира — летних купаний, прогулок и развлечений — я тем летом не видел. Все заслонили гигантские образы из прочитанных рассказов М. Горького.

Лето дозревало, и мой рассказ рос. Когда я его окончил, мне показалось, будто у меня выросли крылья и я вот-вот воспарю над землей.

Пожалуй, лучше пощадить вас и не рассказывать о содержании рассказа, который я и сам успел позабыть. Главным его героем был македонец, который после трудной и бурной жизни в Стамбуле, Салониках и Скопье каким-то образом оказывается в Сараеве, где за чашей вина под звуки цыганской музыки рассказывает незнакомой компании о своих скитаниях, а на другое утро продолжает свой путь подвигов и бродяжничества. Короче говоря, рассказ был составлен таким образом: Челкаш, плюс Макар Чудра, плюс старуха Изергиль, плюс все то мутное и незрелое, что бурлило во мне без всякого порядка и меры.

Едва рассказ был окончен, меня укололо жало тщеславия, которое мучит художников тем сильнее, чем менее

они известны и значительны. Меня стало преследовать желание показать кому-нибудь мой рассказ, раз я не могу его напечатать и выпустить в свет, как это делает великий русский, носящий странное имя Максим Горький. Дьявол не давал мне покоя до тех пор, пока однажды я не выбрал двоих друзей, глотавших книги так же, как и я, и не прочитал им свое сочинение, сперва одному, потом другому.

Результат был обескураживающий. Конечно, оба моих критика нашли, что рассказ никуда не годится, что в нем нет жизненной основы и какого-либо смысла и, что, самое главное, это всего лишь скверное подражание рассказам М. Горького, с которыми они, разумеется, познакомились по той же книге, что и я.

В справедливости их приговора я не сомневался. Это были умные и хорошие ребята, чье мнение я уважал, и мне представлялось невозможным, чтоб оба они ошибались. Однако удар был страшный. Я чувствовал себя так, словно вдруг упал с огромной высоты. Исчез мой трехмесячный экстаз, я потерял крылья и извивался, мелкий и ничтожный, на твердой и жесткой земле. Жизнь стала унылой, серой и печальной. Мне казалось, что жить не стоит.

Тогда я еще не знал, не мог знать, что мой великий и недостижимый образец, знаменитый М. Горький, в ранней молодости не раз давал себе клятву: «Никогда больше! Никогда ничего больше, ни в стихах, ни в прозе!» Еще меньше я мог знать, что рассказы рождаются не на основе впечатлений от чужих рассказов и не из тщеславной юношеской потребности подражать великим писателям. Мне некому было открыться, никто не мог дать мне совет и помочь в моем наивном, но неподдельном страдании. Самая большая беда нашей ранней молодости в том и заключалась, что и в своих радостях, и в своих муках мы чувствовали себя одинокими и оторванными от прочих людей, которые переживают или переживали те же радости и муки. Это лишало нашу радость самого в ней прекрасного, а нашей юношеской скорби придавало сверхъестественные размеры и неоправданную остроту.

В тот жаркий сентябрьский день, выслушав окончательный приговор своему рассказу, я шел по Бистрику¹ разочарованный и глубоко несчастный. В голове —

¹ Улица и квартал в Сараеве.

хаос, в душе — пустота, в пересохшем горле — с трудом сдерживаемое рыдание, и впереди — жизнь без красоты и света, который было меня ненадолго озарил. Я поторопился сжечь зеленую тетрадку с рассказом как свой позор.

Но прошло и это. Раны, которые жизнь наносит нам в юности, сильно болят, но и быстро заживают. Я тоже позабыл свое первое, вероятно, самое большое литературное разочарование. Уже следующей осенью мне попались новые книги и другие сочинения М. Горького. Я навсегда излечился от безумной мысли писать точно такие же рассказы, какие пишет Горький. А в море иного, тяжелого, внешнего и внутреннего опыта потонула и самая память о моем юношеском рассказе, который так жестоко провалился на первом же экзамене.

1946

РУКИ СОЗИДАНИЯ

Однажды, очень давно, меня спросили: «В чем, по вашему мнению, заключается тайна литературного мастерства М. Горького?» Я не мог ответить на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, поставленные мне в течение жизни. Смущенный, я думал о вопросе, вместо того чтобы думать над ответом. Вопрос остался без ответа. «Как удивительно,— размышлял я,— это наше человеческое, «слишком человеческое» стремление непременно искать тайну любого совершенства и этой тайной его объяснять. Многие не могут относиться к чужому таланту или величию как к простому факту».

Я не смог ответить на этот вопрос, но позже, перечитывая произведения Горького, часто вспоминал о нем. И пришел к выводу, что «тайна» или одна из тайн литературного мастерства Горького (если уж обязательно искать тайну!) заключается в словах, которые А. П. Чехов написал молодому М. Горькому в 1898 году по поводу его рассказа «В степи»: «Вы пластичны, то есть когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство».

Известно, что все великие реалисты пластичны. Поэтому можно было бы с полным основанием сказать, что эта фраза не содержит в себе ничего нового или особенного. Но в природе вещей заложено, что люди, подобные А. П. Чехову, своим каждым, пусть даже самым обыкновенным словом, способны оплодотворить чужую мысль, подвигнуть на дальнейшие размышления и открытия.

От рук повествователя, что ощупывают каждую вещь, ваяя свой рассказ, мысль невольно переходит к рукам, которые фигурируют в самих этих рассказах. Вдруг вы

открываете в них бесчисленные человеческие руки в бесконечном движении и самых различных формах деятельности. У персонажей Горького есть руки. И это бросается в глаза больше, чем у кого бы то ни было из великих реалистов. Руки в произведениях Горького постоянно в движении, и не в бесцельном, обломовском движении, а в движении, которое строго определено, продиктовано естественной необходимостью и общественной задачей; словом, это руки в действии. В рассказах Горького люди копают, косят, месят, плывут, гребут, сжимают, похлопывают, ломают, сгибают. У других писателей герои тоже не сидят со сложенными руками, но нигде, думается мне, нет такого пристального внимания к рукам и к их постоянным и разнообразным действиям, как в произведениях Горького. Если бы выделить из текста движения рук его героев, зафиксировать их графически, сравнить и связать одной линией, получился бы своеобразный график жизни, жизни как таковой во всех ее видах, колебаниях и развитии. В нем отразится и самый тяжелый труд человека, как, например, забивание свай в землю механическим молотом, и восторженное прихлопывание в такт русской песне и пляске, и робкая ласка, и немилосердное хозяйское и родительское «внушение», и рука, «подобная стальной рессоре», созидаящая и преобразующая жизнь вокруг нас, и рука бродяги-паразита, что бездумно тянется за подающим, и рука близкого к преступлению грешника, которая хотела бы «клюнуть денежного человека по башке». Понятие человека неотделимо у Горького от понятия «руки». «Уж, кажется, голова и руки — ах ты мне!» — говорит Емельян Пиляй.

В одном из своих самых тяжелых и самых выразительных рассказов («Тоска») Горький выводит пожилого бродягу, который когда-то в пьяном виде попал в приводной ремень и потерял обе руки. Этот «человек без рук» надолго остается в нашей памяти, и именно он, искалеченный и безрукий, с мучительной силой показывает, что значат руки в жизни человека и каково их место и роль в литературном творчестве Горького. Но и в будничных обстоятельствах и повседневных ситуациях бытия руки горьковских героев красноречивее всего говорят о них и их жизни. Писатель неизменно обращает внимание на руки и с их помощью изображает душевное состояние своих героев: вот они лишены работы и голодают

(«ожидая, пока кто-нибудь наймет наши руки»), вот они заняты самым тяжелым трудом, а вот люди поднимают «обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой», и кажется, словно здесь «молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу».

У Горького нет почти ни одного рассказа, нет ни одного описания, где бы не изображался простой и величественный, разрушительный и созидающий инструмент — человеческие руки. Писатель остался верен этой своей особенности до конца жизни. Уже в 1928 году, приветствуя советских рабочих, построивших одно из самых крупных промышленных предприятий, Горький произнес следующие слова: «Мы верим, что рука, которая создала все то, что я видел, эта рука будет строить и дальше. И если кто-нибудь попытается остановить эту руку, она сожмется в кулак, который раздавит все, что окажется у него на пути». Прошло немногим более десяти лет, и предвидение Горького сбылось. Нашелся завоеватель, который в 1941 году действительно попытался помешать советской руке в ее труде, и эта рука действительно сжалась в кулак и действительно раздавила врага. В связи с десятилетием со дня смерти М. Горького имя его будут славить по всему миру, с разных сторон освещая его творческий облик. Среди тысяч его почитателей будет много тех, кто поклонится тени М. Горького — поэта человеческих рук в их творческом созидании.

ИСКРА СОЗИДАНИЯ

«Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры».

Когда-то, очень давно, в плохом переводе, я прочитал эти строки из романтического рассказа М. Горького, и с того дня в моей душе, в блеске этих слов, осталось сознание, а вернее, не сознание, а ощущение, что М. Горький — писатель, стремящийся к свету и сам порождающий свет.

Это случилось, как я сказал, очень давно, где-то в первом десятилетии нашего века, в те времена, когда и наша и европейская критика любила изображать Горького описателем «мрачных сторон действительности», считая, абсолютно ошибочно, что изображение мрачной и отвратительной жизни является самоцелью, и упуская из виду подлинные намерения автора. Горький изображал темные стороны жизни (а какой великий писатель этого не делал?) не для того, чтобы их увековечить, а для того, чтобы, художественно изобразив, способствовать их искоренению; чтобы на них, словно на темном фоне, еще ярче проступило его светлое видение лучшей жизни, которая должна прийти.

Глядя сегодня на законченное творение М. Горького, цельное и завершенное как у редко какого писателя мира, зрелый человек найдет полное подтверждение тому, что некогда ребенком лишь предчувствовал.

И жизнь и творчество М. Горького — один-единственный, тяжкий, долгий и непрерывный путь к свету. Да, путь этот вел сквозь мрак и поиски, однако на этом пути, точно в глубине мрачного и узкого тоннеля, всегда мерцала искра света, к которой надо было пробиваться.

И самые тяжелые и самые долгие блуждания вели к ней. Для молодого неграмотного и бедного рабочего, который не мог еще ясно предвидеть свой творческий путь, этим светом были первые книги, которые он прочитал. По словам одного из его биографов, они показали, что «жизнь не только отвратительна и бессмысленна, но у нее есть и своя светлая и веселая сторона». И в ту пору «часто, закрыв книгу, он начинал мечтать об иной жизни, культурной и гораздо более интересной, которая, он верил, должна где-то существовать».

Но свет был не только в книгах, но и в нем самом. Когда жизнь бедного ночного сторожа на глухой железнодорожной станции приводила его на грань отчаяния и самоубийства, Горький, по собственным его словам, «охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова», даже тогда «мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни».

И когда с течением времени, медленно и тяжело поднимаясь по спирали жизни, ему удалось подняться из бедности, бродяжничества и растерянности к творческим подвигам, искра на горизонте неизменно сопутствовала ему на этом пути. Нищета, пороки и страдания, изображаемые в его первых книгах, никогда не лишали его мужества, он относился к ним как к явлениям, которые доставляют страдания, даже убивают, но в то же время рождают отпор и стремление к лучшей жизни, которые «жгут раскаленным железом». Снова, следовательно, элемент света.

Высланный впоследствии за свои сочинения и революционную деятельность в глухой городок Арзамас, Горький работал глубоко за полночь, и окна его долго светились над уснувшим и темным городком. Когда полицейские агенты донесли об этом своему начальнику, тот заявил, что ему внушает опасения человек, который не спит, когда все спят, и что ему очень не нравится поздний свет в окнах. Важный начальник полиции в Арзамасе обманулся: позже свет из окон сосланного писателя разлился далеко и глубоко проник в жизнь русского народа и в души русских людей.

Не случайно заключительный акт одной из самых первых и самых мрачных драм М. Горького проходит весной и весь он залит светом.

Когда спустя несколько лет, после петербургского Кровавого воскресенья 9 января 1905 года, Горький был

заключен в Петропавловскую крепость и брошен в темную и сырую девятую камеру Трубецкого бастиона, едва к нему в руки попали перо и бумага, он принялся за драму, которая получила название «Дети солнца».

В его произведениях, как и в его жизни, тьма в конце концов неизменно рождала свет.

Изображая окружающую жизнь, Горький видел в этом своем творческом материале многочисленные противоречия и конфликты, с которыми сталкивался каждый писатель-реалист и которые в данном случае, учитывая среду, где жил М. Горький, были особенно острыми и непримиримыми. Содержание и вся философия его рассказов обусловлены этими жизненными противоречиями и особой психологической техникой, которой пользовался Горький. Значительная часть его рассказов уже в самом названии заключает противоречие: «Хан и его сын», «Дед Архип и Ленька», «Каин и Артем» и т. д., а там, где его нет в названии, оно возникает по ходу действия, часто даже составляя самое действие. Так, в рассказе «Товарищи» он сталкивает два абсолютно противоположных образа, двух друзей детства — обедневшего дворянина и деревенского сотского, чтобы из этого столкновения высечь сноп света, который осветит отношения общественных классов в России и людей вообще. Или, например, рассказ «Конвалов». Конвалова ранили, когда он пытался перейти границу, и отправили в госпиталь. Таможенного солдата, что его «съездил по башке», немного спустя пырнули ножом, и Горький снова сводит их в госпитале, чтобы в этом столкновении бродяги и полицейского по-новому осветить человека.

Интересно пристальнее взглянуться в этот прием повествовательной техники М. Горького. Собственно, он столь же прост, сколь и остроумен; в нем — весь огромный и редкий талант рассказчика.

Горький берет две крайности, существующие в действительности, ни на гран не нарушая законов природы. Сближая их, он разрабатывает их и раскрывает каждую в отдельности и обе вместе в их взаимоотношениях, пока, в конце концов, они не окажутся настолько близко друг к другу, что между ними проскакивает искра, как между двумя медными электродами, и тогда в кругу света возникают абсолютно новые факты, которые переносят нас в абсолютно новые, неожиданные пределы. Именно таким образом писатель становится творцом, ибо открыть

то, что без него мы никогда бы не узнали и не познали,— это и значит творить.

Прием этот постоянно повторяется у Горького, и тем не менее он всегда органичен и, несмотря на бесчисленные варианты, всегда оригинален. Искра света гаснет лишь вместе с последним прозаическим произведением Горького, вместе с его последней речью. Ко всему творчеству и ко всей жизни этого поэта-борца в качестве эпитафии можно было бы взять слова, которыми он характеризовал одного из своих героев: «Его душа обширна, он стремится вдаль, любит все, что светит, да и сам он несет в себе какой-то свет».

1946

МГНОВЕНЬЯ НАД ПЕРЕПИСКОЙ НЕГОША

Из девяти томов, которые в издании «Просветы» составляют собрание сочинений Негоша, три последних носят название «Письма».

Внимательно ознакомившись с этими тремя томами, нетрудно заметить, что, собственно, настоящих-то писем здесь нет. Или немного и не в том смысле, какой мы вкладываем в слово «письма», имея в виду иных людей и иные обстоятельства. Если судить по этой переписке, то можно прийти к выводу, что у крупнейшего поэта, писавшего на нашем языке, вовсе не было личной жизни. Во всяком случае, в переписке эта жизнь не видна, она лишь кое-где проглядывает. Причина этому, конечно, заключена не в переписке, которая в данном издании опубликована полностью и тщательно подготовлена, но в самой судьбе Негоша: жизнь этого человека-поэта целиком отождествилась с обществом, в котором он родился, в котором он действовал и умер.

Так называемая «переписка» Негоша за небольшим исключением является частью официального архива Черногории за двадцать лет, самых критических лет в ее государственной, политической и культурной жизни.

Читая этот сборник, включающий свыше тысячи семисот писем, невольно хочется прежде всего найти те, в которых есть нечто значительное или особенное, или же те, что адресованы выдающимся лицам; однако очень скоро начинаешь читать все подряд и внимание привлекают даже те письма, которыми он обычно обменивался с русскими чиновниками, турецкими визирями и пашами

или представителями австрийских властей в Которе и остальной Далмации. По сути дела, это типичная официальная переписка и в качестве таковой чаще всего предназначавшаяся для прикрытия подлинного лица событий и придания им желаемого вида. Тем не менее сквозь строки этих писем можно увидеть новую, мало известную сторону жизни и деятельности Негоша. Подобных писем — документов, адресованных только австрийскому коменданту в Которе, насчитываются сотни. Это река жизни, которая у нас на глазах несет весь ужас и тягость черногорских будней, судеб так называемых маленьких людей, это омут пограничных столкновений, столь незначительных и простых, если смотреть на них глазами современника, и столь тягостных и сложных, если они происходят изо дня в день, из года в год, если они сваливаются на голову одного человека и если человек этот молодой и неопытный, чувствительный и гордый, но не обладающий могуществом силы.

В самом деле, следует хорошо себе уяснить и постоянно иметь в виду то, что на плечах поэта, повторяем, крупнейшего поэта нашего языка, лежала ответственность и забота о целом маленьком мире — беспокойном, угрожаемом, убогом, необразованном, гордом и самовольном, что он сражался и боролся и со своими и с чужими. И полезно увидеть, как он это выдержал и как при этом держался.

Многочисленные письма-ноты, адресованные австрийским властям, начинаются словами: «Жалуется мне Крцун Кралевич», «Сетует Ефто Ненезич», «Очень жалуется мне Маре, жена покойного Ивана Зеца», и тому подобное. Иногда речь идет действительно о преступлениях, похищениях или убийствах, а иногда, и это чаще всего, о жалких мелочах жалкой жизни среди камней, близ границы. Например, об 1 — словом «одном» — цехине, который некий Иво Йокон из Котора должен некоей Стане, или о нескольких локтях сукна, или о ружье, которое отняли у какого-то черногорца в Которе. Но основная нота этой переписки не затихает: жалуется мне, сетует, жалуется — со всех сторон и по самым разным поводам, пока все не превращается в единый плач и стенание, в однообразную, но по-своему величественную симфонию абсурдной и проклятой жизни в приграничье. Все жалуется и обвиняют все и вся — и неизменно Негошу и только ему одному, а он должен за всех них про-

сить или требовать, извиняться и оправдываться, объясняться или оспаривать. А самому ему некому пожаловаться, да и проку от этого чуть.

Так началась эта черпогорская симфония, и так она будет звучать даже в последний год жизни Негоша и в последних письмах его.

И все-таки нетрудно заметить, что существуют различия в тоне этой переписки, обусловленные временем и обстоятельствами, когда писались письма.

В первые годы правления, когда Негош был молод и неопытен и когда положение его в самой стране было спорным и шатким, он осторожен в выражениях и скромнее в требованиях, хотя уже тогда во многих местах между строк звучат и сила и самосознание человека, который столь сдержанно пишет. Как правило, он не упускает первый подчеркнуть и обратить внимание на свою юность и свое тяжелое положение. Сразу же после принятия власти он пишет русскому консулу в Дубровнике Гагичу, что в Черногории положение тяжелое, «более же всего тяжело мне, скорбящему, незрелому, неподготовленному». «Вы знаете, что не имел я времени для учения и совсем мира не видел». Или опять Гагичу: «Я не сведущ в языках, равно как и в ином учении европейском, а главное, молод летами, как и просвещением». По отношению к черногорским племенным вождям он занимает ту же позицию. Он требует от них, чтобы они его, столь молодого, поддержали, взывая к их патриотизму и к воле своего великого деда Петара I¹. А соседям своим — и австрийцам и туркам — он без устали повторяет одно: «Я, со своей стороны, не желаю смут никаких и ни с кем, а хочу добрососедского мира, покоя и тишины».

Этот необыкновенно юный государь обладает мудростью старика — он приспосабливается ко всему и кланяется каждому, но сразу возвышает свой голос, едва речь заходит о том, что существенно, и о том, что как в поэзии, так и в жизни он называл «Черногория и ее свобода». Так продолжается несколько первых лет. И в это время он находил способы противостоять своим многочисленным противникам и, будучи юным по возрасту и бессильным по положению, отбивал нападения и защи-

¹ Петар I Петрович Негош (1747—1830) — правитель Черногории, при котором страна добилась независимости.

щал права своей страны. Лишь спустя несколько лет, приблизительно после второй поездки Негоша в Россию, в переписке можно почувствовать определенную перемену. Соотношение сил и положение в его маленькой державе, лишенной внутреннего устройства и даже постоянных границ, по сути дела, остаются прежними. По-прежнему, как он сам говорит, ему «всегда сопутствует противный ветер». И его положение по-прежнему можно лучше всего охарактеризовать его же неожиданно вырвавшимися, необычными для него словами: «Теснят меня отовсюду». Скадарский паша есть паша, а комендант в Которе продолжает олицетворять могучую Австрию. Да и всемогущие чиновники в русском министерстве иностранных дел не очень переменялись. Пограничные районы для него по-прежнему «тесные края», «дикие углы». Он это хорошо знает. Да если б и позабыл, жизнь его тут же вернула бы к действительности. Все то же или подобное, но иным стал сам Негош. В первые шесть-семь лет своего правления ему с великими усилиями удалось сохранить страну и выстоять перед ее врагами и ее защитниками. Теперь он входит в пору зрелости, а страдания способствуют созреванию. Путешествия, опыт, а особенно болезнь и размышления ускорили ритм этого процесса. И в его переписке заметны следы этой зрелости. Он по-прежнему просит помощи и принимает ее, не отказывается от советов, но видно, что он раз навсегда познал относительность и небескорытность чужой помощи, равно как и подлинную ценность самых добронамеренных советов. Он знает теперь, что думать обо всех своих партнерах. И эти его открытия не радуют и не внушают бодрости. О своих черногорских вождах он говорит: «Трудно быть главой над ними», а о своих пограничных соседях: «От всего откажутся, и то, что сильной рукой нельзя удержать, надобно ничем считать». Никакому договору верить нельзя.

Внимательный читатель в этой переписке — как в личной, так и в официальной (а они неразделимы) — может заметить какую-то горькую решимость. Это сильная и мужественная горечь человека, лишившегося иллюзий, но полного решимости выстоять и исполнить свой долг до конца, человека, который воспринимает мир таким, каков он есть — ибо иначе не может, но который не боится видеть в этом мире вещи такими, каковы они на

самом деле, и называть их своими именами. Так он теперь и говорит тем, с кем имеет дело. Так он пишет в частных письмах, да и в официальных тоже. Таковы его письма Елачичу, Томмазо, Гарашанину, Вразу¹ и другим. Таковы многие его суждения в официальных документах — твердые, реалистические, смелые, свободные от всех тех околичностей, которые люди нередко весь свой век, подобно цепям, волокут за собою, а в конце убеждаются, насколько это недостойно и ненужно.

Скадарскому визирю Осман-паше Скоплянину он пишет в своем известном письме: «Эти вещи ты можешь говорить тем, кто на мир сквозь кольца дыма из трубки глядит, а не мне».

Австрийскому коменданту в Которе по случаю кровавой стычки на границе: «Пусть ничуть не удивляется Ваше Высокоблагородие, что мне неприемлемо, как по нынешним временам Вы поступаете с черногорцами. Но Вы говорите, что исполняете волю государеву. Ладно, раз воля государева на то, чтобы всякий день черногорцев избивали, грабили, в плен брали и прочими всякими способами бесчестили, пусть будет так; но я убежден, что и воля государева погнушалась бы подобных злодеяний, а не токмо бы вызывала их. Впрочем, Вы творите и знаете, ради чего творите».

Этот блестящий по стилю и содержанию отрывок в самом деле весь кипит от бессильного гнева и сдерживаемой досады. И такие встречаются часто.

Уже на пороге смерти, искушенный и ясный, он напишет следующие строки Кничанину:² «Самообман губителен и для людей и для народов. Кто его выносит — пусть, но я, отпраздновав тридцать восемь раз Рождест-

¹ Елачич Йосип (1801—1859) — хорватский политический деятель, бан Хорватии, душитель венгерской революции 1848 г.

Томмазо Никколо (1802—1874) — итальянский поэт, хорват по рождению, крупный представитель итальянского революционного романтизма.

Гарашанин Илия (1812—1874) — сербский политический деятель копсрвативного направления.

Враз Станко (наст. имя Якоб Фрасс) (1810—1851) — хорватскословенский поэт, общественный деятель, один из руководителей иллирийского движения.

² Кничанин Стеван Петрович (1807—1855) — сербский военный и политический деятель.

во и оставив позади множество бед, не могу и не хочу обманывать себя. Я злу всяческому смотрю прямо в глаза».

Высказывания, подобные этому, рисуют образ Негоша-человека как образец подлинного величия. Этим мы и завершаем наш краткий очерк, ибо мы уже подошли к концу этой переписки, и, значит, к концу великой драмы жизни Негоша.

1963

ЗНАКИ ВДОЛЬ ДОРОГИ

Аренцано. В устье прозрачной зеленой речки женщины стирают белье. Босые, волосы у них плотно повязаны белыми платками, они стоят на коленях, упираясь в песчаный берег и подняв лицо кверху, к проходящему поезду. Они выглядят смеющимися сфинксами.

* * *

Люди из народа, особенно те, что заняты тяжелым трудом (земледельцы, матросы, носильщики), после работы обмениваются между собой скупыми словами и еще более скупыми жестами. Но тот, кто говорит, то и дело кладет между собою и собеседником свою большую, обожженную руку. Эта рука, с чуть расставленными пальцами, с обращенной кверху ладонью, почти черная, появляется на столе между ними как некое главное доказательство, одновременно мягкое и весомое.

* * *

Швейцарский отель. Как холоден этот порядок, и эта нечеловеческая чистота! Как тяжелы леса и горы!

Самое прекрасное из того, что существует в этом стерилизованном швейцарском краю,— это сознание, что мне не придется здесь оставаться дольше сегодняшнего ужина. Одна мысль о том, чтобы провести ночь в подобном отеле, наполняет меня ужасом, желанием бежать куда глаза глядят и звать на помощь.

Свободны, просты и истинно красивы здесь только водопады. Правда, и они нередко чуть подстрижены и

укрошены, но вода падает благодаря собственной тяжести, разбиваясь на камнях в белую пену и живое серебро.

Возле одного из красивейших водопадов, низвергающегося у дороги, стоит заметная издали надпись: «L'eau malsaine»¹. Эта нездоровая падающая струя отравленной воды ничуть не менее прекрасна, чем остальные. Гибкая и белая, она выглядит среди прочих женщиной с дурной репутацией, отверженной и заклеянной.

Я думаю о жаждущем путнике, проезжающем здесь ночью, когда надписи не видно, а вода слышна и ощутима, путник пагнулся и пил всласть, пока не утолил жажду.

* * *

Над Белградом солнце сияет так, словно никогда не зайдет. Но осенними днями, начав опускаться, оно угасает мгновенно, как уголек в воде.

Мне кажется, будто заходит не только солнце, но и земля вместе с ним. Утопает одновременно с солнцем, подобным золотой капле, синяя цепь гор вдаль, а затем начинает исчезать и сремская равнина, сворачиваясь, точно разрисованный холст.

Сворачивают ковер. Представление окончено. Мгновенная иллюзия исчезает бесследно, точно мурашки, непонятно отчего пробежавшие по спине.

(Одним из самых больших и чудесных впечатлений раннего детства было цирковое представление, на которое меня повели. Однако и там не обошлось без страха и слез. Когда после первого номера с клоунами и акробатами стали сворачивать ковер и готовить арену к очередному выступлению, ребенок вдруг зарыдал. Он умолял родителей, чтоб не убрали огромный прекрасный ковер, казавшийся ему обширным и пестрым, как небесный луг, и не прерывали чудесный танец акробатов и клоунов. Тщетно его успокаивали, объясняли, что это лишь первый номер, что представление продолжается, что впереди много еще более прекрасных вещей. Ребенок горько, навзрыд оплакивал безжалостную мимолетность зрелища и утих только тогда, когда на арене появились дрессированные лошади и белые мулы с колокольчиками и голубыми ленточками, вплетенными в гриву. Изумлен-

¹ «Вредная вода» (франц.).

ный, он вновь улыбался, и слезы сами собою высыхали у него на лице.)

Мимолетная иллюзия. Солнце давно зашло. Равнина темнеет и становится суровой, с резкой чертой горизонта. Белград начинает зажигать свои огни, уходящие в бесконечность, и выглядит игрушкой, предназначенной для великанов.

* * *

На Дунае. Ясная ночь, ветер, судя по форме и движению облаков, значительно сильнее в вышине.

В воздухе и на земле ощущается дуновение, переходящее и на меня. Всех нас несет один порыв.

В эту позднюю ночную пору, когда все трепет и радость, наивысшее наслаждение — не спать. Бодрствовать вот так. Быть подхваченным сильным, стремительным движением, ни источник, ни цель которого неведомы. Может быть, в такие мгновения быстрее стариться и приближаешься к смерти, но в то же время мне кажется, будто в душе моей с неземной легкостью созревает мое земное дело, еще без названия и формы, точно море, которое только предчувствуешь.

1936

Жизнь у меня сложилась так, что с годами в частых путешествиях я сумел увидеть многие края и очень рано начал читать лицо земли и следы человеческих дел на нем. За это я должен быть благодарен счастливому и несчастному стечению обстоятельств, но в то же время и своему любопытству, и готовности к немалым жертвам, и отказу себе во многом, чего я, однако, почти не замечал, радуясь возможности свое любопытство удовлетворить. Во всяком случае, я тоже могу причислить себя к тем, кто повидал немало стран и городов. Но при этом я не столько думаю о числе континентов и государств, которые я успел и смог посетить, сколько о постоянном и живом внимании, с которым я всегда наблюдал за тем, что меня окружало. Каждый уголок земли я наблюдал самозабвенно и влюбленно, точно он был всем миром и тем единственным, что мне дано увидеть, не думая о

том, откуда я приехал и куда поеду, забывая о том, кто я, стремясь одним взглядом охватить как можно больше и отдавая себя этому месту без пощады и колебаний. Это было мне тем легче, что подавляющую часть своих путешествий я совершал без спутников, без предрассудков (кроме тех, что неискоренимо сидят в человеке и над которыми он не властен), без тяжелого багажа и практических целей.

Я думаю, что путешествия и утомляли меня из-за этого напряжения, с которым я внимал окружающему, этого вечного желания раствориться в нем, слиться с ним. Никогда я не говорил какому-нибудь краю «нет!», не отворачивался от него, не убегал от него мыслью, каким бы обессиленным, усталым от дороги и от впечатлений я ни был. На каждый уголок земли, известный и знаменитый, равно как и неприглядный и безымянный, я смотрел новым взглядом и полным внимания, с желанием, чтобы именно он, и только он, остался в моей душе, искренне убежденный, что не позабуду его и не позволю вытеснить его другим. А чуть погода, в том же путешествии, его заслоняли новые пределы, которые, в свою очередь, исчезали, уступая место другим, самым последним. И так все время. Однако я не был неверным, как это могло бы показаться, ибо где-то в глубине взгляда, которым я смотрел на данный край, всегда сохранялись и те края, которые я видел прежде и которые этот последний оттеснил.

Таким образом со временем мое сознание превращалось в волшебную камеру, которая, освещая в каждый данный момент один определенный предел, хранила в себе сотни тысяч ранее увиденных, спрятанных, но не похороненных во мне. А непостижимо сложный и тонкий механизм сознания, который питают ненасытные глаза, устроен так, что картины и впечатления укладываются в нем без путаницы и неразберихи, автоматически безошибочно. Насколько наша обычная память коротка и неглубока и легко теряет по пути все, что в нее попадает, настолько память нашего зрения бесконечно глубока, долговечна и каким-то таинственным и странным образом сильна и богата. Она не перегружена увиденными предметами, которые очень скоро смешались бы и выцвели, но обогащена их смыслом, их ирреально топчайшею сутью, лишенной объема и веса. Поэтому восприимчивость памяти бесконечна, возможности неограничены,

Она может все принять и все удержать, оставаясь при этом всегда крылатой, легкой и девственно свежей. Вот что позволяет нам видеть каждый новый край сквозь все увиденные ранее и что не дает нам обездеть, пока мы с ясным сознанием ходим по земле и смотрим на нее.

* * *

На обширном картофельном поле одинокий подсолнух под облачным небом. Он повернулся к востоку, хотя солнце весь день не показывалось и сейчас где-то на западе, за облаками. Но он, видимо, потерял ориентировку и вот стоит, растерянный, обезумевший, с самого утра смотрит на восток, ожидая солнца. Иначе он не может.

* * *

Этот мертвый и глухой городишко напоминает мне стоялый пруд, где разводят карпов, который я видел где-то во Франции. Воды мало. Тяжко, душно. Все друг другу бесконечно скучны и постоянно мешают. Молодые карпы, «мужчины в расцвете сил», предприимчивые и сильные, держатся у поверхности; подгоняемые еще не заглохшими инстинктами, они непрерывно в движении. Другие, совсем юные, носятся туда-сюда, влекомые зреющей силой. А старые поблекли, утратили половину чешуи, точно облысели. Они мудры той зряшной, прокисшей мудростью, которая приходит тогда, когда исчезает сила; отяжелевшие от лет, они лежат на самом дне, едва шевеля огрубевшими жабрами и поредевшими плавниками, и непрерывно зевают.

* * *

От внезапного летнего ливня я укрылся в небольшие сени позади деревенского дома.

Замкнутое пространство, в котором нет окна, а только стены и дверь. Сени ведут в сад, но служат и чуланом. Здесь всегда сухо и тихо. Зимой — тепло, летом — прохладная свежесть. Мягкий свет, белизна и покой и всегда, в любую пору дня и года, то доброе уединение, которое не отделяет от людей и мира, но побуждает человека спокойно думать и лучше видеть и людей и мир.

Я видел многие великие строения на земле и высокие горы со снежными вершинами, уходящими в небо, и, наоборот, с этих гор — далекие пространства суши и моря, и на все, с чем я когда-либо встречался, я смотрел с большим любопытством, с радостной благодарностью, но все это вместе, и даже больше того, я часто нахожу в мысли: замкнутое и ограниченное пространство есть благо, которое человек создал по своему замыслу, своими руками и для себя. Когда ты попадаешь в это пространство, и оно укроет тебя, ты, как никогда и нигде, понимаешь и любишь человека и все, что ему принадлежит.

А ведь, кажется, совсем пустяк. Ничего нет. Белые стены в полутьме. Большие дубовые двери, которые служат и четвертой стеной, и окном, и выходом в мир. Кое-какой садовый инвентарь, сваленный на пол или развешанный по стенам, несколько пустых горшков, и случайная доска, которая может послужить сиденьем, но не обязана так называться и всегда им быть.

Замкнутое пространство, созданное человеком для человека, голое и безмянное пространство, и в нем неизменное ощущение, что ты один, что ты укрыт и защищен, что тебе все знакомо и близко, что нет минуты, когда бы ты был добрее, чище и выше душою.

1955

Встреча.

Теплая от того, что я долго держал ее в руке, как живая, зеленая записная книжка. Я пока не раскрыл ее, ни слова в нее не вписал, хотя хорошо вижу то, что хотел бы записать. Я разгорячен и устал от долгой ходьбы. Одолевает дремота. Боюсь, что засну, и все останется незаписанным.

Идет женщина, я вижу ее на склоне горы, ноги исчезают на лугу, а голову она держит прямо, и высокое небо лежит за ней.

Она улыбается. Глаза ее вспыхивают, и приоткрытые губы слегка дрожат, чуть сжимаясь, как будто при мысли о недозрелых плодах. Скупая улыбка, составленная из прелестных противоречий — светлые глаза и легкая судорога губ, исчезает мгновенно и навсегда, и мне кажется,

будто ее не было вовсе, — так она непостижимо стремительна и с такой легкостью исчезает.

Как много не видано и как много не сказано, как много остается незаписанным? Как много людям не удастся сказать друг другу и сохранить навсегда? И эту улыбку, ее волшебное мимолетное появление и мгновенное исчезновение — неужели никто, никогда, никому?

Рождались солнца, и погружались в пучину континенты, и не нашлось никого, кто бы увидел это и записал. Пусть их! Но эта улыбка! Неужели она в самом деле потонет во сне и забвении?

Записная книжка выпадает у меня из рук. Усталость побеждает, и меня усыпляет дурман горного воздуха. Хочется спать. Я боюсь уснуть, и все труднее противиться сну. Не успею сказать. Усну.

1956

Проселок идет вдоль поля, но чуть ниже него, так что взгляд мой постоянно находится на высоте колосьев ячменя. Косматые перезрелые колосья на синем небе знойного дня. Каждый из них несет в себе немного света, словно приглушенный фонарь — свечу, и все вместе они создают над поверхностью поля легкий и зыбкий ореол красноватого света, по которому беглыми бликами пробегают время от времени зеленые и синие волны. На мгновение кажется, будто поверхность поля вспыхнет всеми цветами радуги. И вновь побеждает красноватый свет. Но в нем не перестают появляться мерцающие и чуть заметные зеленоватые и синие отсветы. Все это воспринимается как предчувствие рождающейся радуги. Ее не будет, но ее близость ощущается непрерывно.

* * *

Дождливый год. Глухой край без селений и торных дорог. Густой лес заполняет глубокую долину и поднимается по склонам до самых голых вершин. Сомкнутые массы темно-зеленых елей, разбитые неправильной формы островками лиственных деревьев. Слово реки раскаленного металла зеленого цвета разных оттенков, пущенные в долину, залили ее, а затем застыли.

У страха непреодолимости и глухой жизни лицо смерти. Застигнутый врасплох взгляд блуждает по этому хмурому пространству под серым небом.

И вдруг где-то вдали появляется прядь дыма. Голубовато-серая и тонкая вначале, она поднимается, ширится и все больше превращается в белое, плещущееся знамя над мертвой поверхностью леса. Радость наполняет человека при этом первом понятном ему знаке вдали. Теперь перед ним не безымянная жизнь леса. Это признак костра, раздутого дыханием человека в ритме его жаркой крови, этот огонь в лесу рожден сознательно и поддерживается намеренно. Кто-то утолит голод, обогреется и отправится дальше по своим людским делам.

Весь край изменил свое лицо с того момента, как его украсил стройный султан живого, недолговечного дыма. Ожили от него и мои глаза, и мысль моя идет за этим человеком, стремясь угадать его цель и обнаружить извилистые тропы, которыми он шагает.

* * *

Зрмания, увиденная из поезда. Небольшая река, горная, убогая и дикая, прорывается сквозь пустошь и бьется о камни и заросли, но спешит вниз, чистая и энергичная, уверенная в том, что она увидит море, подобно тем отшельникам, которые в своих пещерах твердо верили, что в конце концов они узрят бога.

* * *

Морской прилив в течение нескольких часов заливает берег и откладывает песок, гальку, мелкие щепки, пустые раковины, водоросли, листья и строит из всего этого свои фантастические твердыни, башни и холмы, разукрашивая их орнаментами и письменами недоступного языка. А когда он отступает, вдоль всего пляжа остаются следы, словно здесь играли дети великанов, а потом исчезли бесследно в морских глубинах.

* * *

В этих горах иногда выпадает молочное утро с приглушенным светом солнца за тонкими высокими облаками. Тени бледные и расплывчатые, а тишина — пол-

ная. Звук не в состоянии преодолеть густого воздуха. Взовьется, полетит, но тут же падает обратно, на то же место, с которого и взлетел. День, светло, но кажется, будто ночная тишина не покидала этого края.

Хочется, чтоб кто-нибудь крикнул или запел, хочется, чтоб что-нибудь произошло; боязнь, что ничего не случится, мешается с чувством неизвестности и страха перед тем, что может случиться.

И прежде чем солнце пройдет полнеба, набегут тучи и грянет буря.

1960

Майский день, зеленый и золотой, свежий и радостный. Много людей, разговоров, улыбок. Кажется, нет конца радости. А перед наступлением вечера, в сумрачный миг, откуда-то в меня вселяется чья-то беда и чье-то страданье, и вот я зажил жизнью другого человека, который и выше и лучше меня, один из тех, кто не изведал ни успеха в жизни, ни счастья и кто дорого и тяжело заплатил за свое упорное стремление быть и остаться тем, что он есть, вопреки воле людей и силе обстоятельств. И все во мне изменилось и преобразилось и зажило как трагедия, чуждая мне по своим причинам, но по своим следствиям целиком моя. И она тем тяжелее, что никто ее не видит и не признает.

* * *

Безымянные мелодии человеческого многоголосья — речи и шум ветра, воды и листьев — долетают ко мне сквозь распахнутое окно в глухой тьме смутных ночных часов. Они живые, богатые, ясные, как голос бесценной жизни, эти безымянные мелодии.

Я, давно переступивший через самого себя, точно через ручей на долгом пути, и остановивший время, измеряемое движением солнца, могу еще только внимать безымянным мелодиям земли, человека и окружающей их среды.

Незаметно переступил я границы бытия. Нет ни малейшего желания вернуться к себе. Я могу лишь, подобно сухому дереву и холодному металлу, на службе

человеческой слабости и величия, превратиться в звук и передать и людям и земле непогрешимо и внятно безымянные мелодии жизни на исходе ночи без сна и света.

1961

Часы, которые куранты отбивают на приморских башнях, всегда звучат как часы ночи, озябшие и несмазанные, с хриплым голосом, неровным в бое. Им едва удается сообщить, который час, в их бое ощущается усталость, колебания, сомнения в отсчете и счете вообще и наконец, желание умолкнуть и позволить этому безмерному и непостижимому времени течь, как оно течет, не давая ему имени и не считая его, как свет, как море, как соки в травах, как кровь в людях и животных.

Многие из этих часов столь стары и ветхи, что, слушая их в полночь, просто не верится, что они смогут своим осипшим голосом пробить все двенадцать ударов. Чудится, будто на седьмом или восьмом они зайдутся в смертельном хрипе и умрут и останутся пустой оболочкой раковины на пустынном молу безмерного времени. Или, наоборот, однажды вдруг сойдут с ума и, забывшись, вопреки всякому счету и всем законам механики, продолжают бить дальше: тринадцать... пятнадцать... девятнадцать... сорок два... до тех пор, пока кто-нибудь не выбежит и не заставит их замолчать, точно безумца, который незаметно залез на башню.

* * *

Дождливые дни. Полное одиночество. Занимается солнечное утро, но вдруг все вздрагивает и темнеет, и через мгновенье весь залив с окружающими горами оказывается под колоколом туч, из которого попеременно то льет густой дождь, то сияет солнце.

Так я играю в жмурки с безрассудными приморскими ливнями. То я их обману, то они меня. Удастся мне проскользнуть в минуту затишья между двумя шалыми ливнями — я улыбнусь тихо и незаметно. А если ливель обманет меня, тогда повсюду вокруг начинается веселый перестук крупных капель по широким листьям и жестя-

ным крышам. Тогда я бросаюсь в первую попавшуюся подворотню или под густое дерево. И пока я бегу к укрытию, ливень смеется надо мною и делает это громко и беспощадно. Так мы обманываем и хитрим друг с другом целыми днями. И так, хотя я абсолютно один, я вволю смеюсь, что всегда большое удовольствие, и сохраняю иллюзию, будто я рассмешил другого, что радует еще больше. И волны перастраченного и неудовлетворенного смеха, накопившиеся во мне, находят, хотя и обходный, путь излиться. А я испытываю небольшое, но приятное облегчение и радость.

* * *

Когда корабль пристаёт или отваливает от стенки, неизменно повторяется ряд мелких, но важнейших действий и поступков, команд и распоряжений, утвержденных и освященных древним опытом и тысячелетними обычаями. И всякий раз между командой корабля и теми, кто помогает ему причалить, пришвартоваться и стать на якорь, разгорается оживленная, более или менее громкая перебранка. С той и другой стороны летят предостережения, сыплются упреки и ругань, которые от долгого употребления потеряли всякую остроту и более напоминают мелодию, что сопутствует работе и облегчает ее. Жесты и голоса извечны и узаконены многими поколениями. И тем не менее все развивается так, словно сегодня корабль впервые прибывает сюда и словно в эту минуту на этом месте надо найти самый лучший и самый легкий способ без ущерба и потери времени пришвартовать его.

Я слушаю эту вечно одинаковую и всегда чуть иную перебранку тех, кто стоит на корабле, с теми, кто находится на берегу, и она кажется мне не менее древней, чем само мореплавание людей, будто я слышу ее одновременно на всех языках, на которых говорили когда-либо в этом приморье, знакомую и волнующую, как извечный разговор суши и моря.

* * *

Смотрю в окно на пустую улицу. На полированном сером асфальте плывет и подрагивает тень листа, который в эту минуту оторвался с высокого платана и

падает. Я вижу, как, сперва маленький, словно точка, он постепенно увеличивается. А затем в поле моего зрения попадает и сам лист, он быстро накрывает свою тень, ложится в нее, как в свою могилу.

1964

Ничем я так много не занимаюсь, как словами, и ни о чем реже и меньше не размышляю, как о них. Я всегда возле них, окруженный ими, как пасечник — пчелами, однако подсознательно чувствую, что думать о них — пустое и даже вредное времяпрепровождение. Но когда изредка я все же отдаюсь мыслям о звучании, формах и происхождении слов, не тех, которыми я пользуюсь, чтоб выразить что-то определенное, но самых простых, отдельно взятых слов, слов «как таковых», с их обнаженным, долговечным, переходящим или исчезнувшим значением, — тогда эти мысли уводят меня далеко, в какие-то темные леса и безводные пустыни. В погоне за смыслом и происхождением слов я забываю обо всем. Всяческих чудес наглажусь я, но неизменно возвращаюсь с этой охоты изнуренным, с тяжелой головой и пустыми руками.

Потом мне нужно время и усилия, чтобы восстановить истинное отношение к взбаламученным и разбросанным словам, чтобы произвести из них то, что мне хотелось бы сказать и что никогда даже приблизительно не удастся сделать.

* * *

Перед сном. Книга падает из рук, буквы сливаются и путаются, исчезают, растут и превращаются в темные и серебристые слезы, скользящие по странице. Слова теряют смысл, точнее, меняют смысл, потому что вдруг перестают означать то, что они перед этим означали, и приобретают какое-то новое, неожиданное и неясное значение. Текст, растаявший на моих глазах и в них самих, повествовал о средних веках, а теперь вдруг я словно читаю что-то о Древнем Риме, причем вполне определенное: об аграрных волнениях во втором веке нашей эры.

Однако я вижу, что не это основное и главное, о чем следует знать и размышлять. Есть что-то иное, более глубокое и более важное, что отвлекает мои мысли от чтения и не дает мне заснуть. Прежде Рима и прежде любого писаного слова и хранимой в памяти истории произошло что-то такое, что имело решающее значение для человека, какое-то огромное несчастье, какая-то роковая ошибка с необозримыми последствиями. Теперь все это вышло на свет дня (или ночи), и нужно выяснить все и осмыслить, дабы установить ответственность и исправить ошибку. Нужно найти слова, которые все это объяснят и осмыслят. И надо это сделать как можно скорее, так как без этого я не смогу ни крепко заснуть, ни спокойно читать. Это моя забота и мое дело, а я устал, беспомощен и способен лишь страдать от этой неопределенной и тяжелой мысли, камнем навалившейся на мою грудь. Я с трудом протягиваю руку и тушу свет, хотя знаю, что и тьма ничего не изменит и не принесет облегчения.

* * *

Когда речь заходит о словах, трудно передать, как много с ними связано переживаний. Это случается обычно ночью, когда я не могу заснуть, или в минуты полудремы, когда я уже не бодрствую, но еще и не сплю, или во время медленного пробуждения, когда с трудом выбираешься из паутины сна, словно из вязкой смертоносной топи.

Слова вдруг заполняют мое сознание, открывают в нем костюмированный бал и танцуют свои танцы — от строгих менуэтов и призрачных кадрилей до простого бесстыдного кривляния, диких курбетов и шумного кутежа. Они надевают и срывают маски, выдают себя за других, разыгрывают меня, впрочем, и я танцую с ними, так что в конце концов уже трудно разобрать, что — что и кто — кто, словно полностью исчезло в мире все, что звалось мерой и разумом, порядком и нормой, и словно безумие (но какое-то задуманное и злонамеренное безумие!) стало всеобщим законом.

Через какое-то время я вздрагиваю и пробуждаюсь от этого кошмара. Зажигаю свет. Задыхаюсь, онемевшими пальцами па ощупь убеждаюсь в прочности стены и мягкости постели и ищу пути возвращения в свой мир.

Постепенно я прихожу в себя и с удивлением устанавливаю, что все предметы в комнате на своем месте и что ничего не перевернуто и не разбито. Медленно и осторожно я ищу слова, которые одно за другим возвращаются к своим старым, устоявшимся значениям и занимают линию моего горизонта. Кое-какие из этих ночных слов не желают появляться, словно навеки утонув в своем бессмыслии. Но я знаю, что рано или поздно вернутся и они, целые и невредимые, в своей знакомой форме, со своим подлинным смыслом. Разумеется, это не означает, что при первом же удобном случае они снова не подадутся на какой-нибудь ночной карнавал, словно гайдуки в лес.

* * *

Через некоторое время вновь наступает подобное же, недолгое, но тяжкое смятение и путаница. После отлично проведенной ночи — дурное пробуждение на рассвете. Мало-помалу вместе с наступлением дня во мне ширится сознание того, что ни одно слово не имеет больше освященного временем, дорогого и «вечного» смысла, который оно имело, что, пока я спал, все вдруг изменилось, вывернулось, переродилось, так что не на что опереться, нет ничего надежного и проверенного, нельзя верить самому себе, не только другому, с полным основанием никто никому не верит.

И хоть бы совсем не стало слов! Но нет, они все здесь, выстроились длинными шеренгами, словно в словаре, и у каждого свое значение, правда, столь произвольно и причудливо изменившаяся, что его не угадаешь. Значение их даже не противоположно тому, что они некогда означали, потому что в этом был бы какой-то порядок и разгадка, а сейчас это полнейший хаос и подлинная мука. Тьма и гололед. Я теряюсь. Не за что ухватиться, а надо идти дальше, как в лучшие времена, когда шагаешь в погожий день по верной дороге.

* * *

А прошлой ночью произошло настоящее чудо. Слова одно за другим стали превращаться в людей, животных и окружающие меня предметы, каждое — в то, что до сих пор оно только означало. До недавних пор тише те-

ней и мимолетное ветра, слова вдруг замерли, приобрели плотность, вес и объем и все прочие свойства живых существ и знакомых предметов и заняли свои места в моей комнате. «Слово стало телом». Да, это легко сказать, даже звучит неплохо, но никто не может себе представить, как это выглядит на самом деле. Я вдруг разбогател, причем так, как никогда, даже во сне, не мечтал и не желал. Завален богатствами. Надо бы мне владеть всем, а на самом деле все владеет мною. Тысячной доли этих богатств хватило бы на то, чтоб сбить меня с ног и засыпать, оборвать и удушить столь слабое и короткое дыхание, как у меня. Но налетают все новые и новые слова, падают и мгновенно превращаются в то, что они означали.

И когда я уже думал, что мне наступил конец, внезапно произошло новое чудо, еще более удивительное. В мгновение ока все вокруг словно по волшебству превратилось снова в слова, которые — в неслышном танце звуков, легче теней невидимых птиц — улетели далеко от меня, в тишину, в забвение, в небытие, туда, куда уходят слова, переставая быть таковыми, теряя свое значение и выходя из употребления.

А я остался один, вопрошая, кто я теперь и кем еще в этом бесконечном танце слов мне придется быть и что означать? Выдержу ли я?

Вокруг полная тишина, ни день, ни ночь, какая-то пустота, которой нет названия.

1965

Я испытываю неодолимую потребность срочно, точно стою перед уходом или неожиданным концом, высказать хотя бы часть того, что сейчас наполняет меня и заставляет говорить.

Я думаю обо всем, что зарождается и живет в этом небольшом космическом пространстве под властью Солнца в постоянных сменах дня и ночи и времен года. Так что же я хотел бы сказать, коротко и задыхаясь, все равно кому — пусть даже сырой земле или высокому небу, которые ни услышать, ни понять меня не могут? Всего несколько слов, но таких, которые сохранили бы

и передали дальше мою неуверенную, но живую мысль и толику того человеческого тепла, которое с большим трудом я пронес через всю свою жизнь. Сказать без предисловий и разъяснений, без выводов и цели. Без надежды.

* * *

В зале суда. Заседание окончилось. Молодого парня, матерого убийцу, уводят в камеру. Приговор будет вынесен послезавтра. Не спеша расходятся люди. Последней выходит женщина средних лет. Сноп приглушенного солнечного света падает на нее сквозь высокое окно судебного зала и несколько мгновений освещает ее фигуру. Мое внимание привлекает ее походка, походка сомнамбулы, и особенно ее глаза, глаза, которые никуда не смотрят или смотрят туда, куда никто не смотрит, и видят то, чего другие не видят.

1967

Тяжелый сон.

Мир — все то, что для нас существует и что мы называем миром, — превратился сегодня для меня в... ступеньки. И мне надлежит идти по этим ступенькам без передышки, до изнеможения, до потери сознания. И я делаю это на совесть, с полной отдачей сил, на которую только я способен, с решимостью, которую человек ощущает лишь во сне. Пот обливал меня, дыхание прерывалось, взгляд тускнел, пока я преодолевал бесконечные и разнообразные ступеньки. А их было тысячи тысяч всевозможных, различных по форме, по материалу, из которого они были сделаны: низкие и высокие, деревянные, каменные и металлические, выщербленные, подгнившие, обшарпанные, равно как и целые — новые или только что отремонтированные. И все они страшным и необъяснимым образом перемещались в пространстве, выгибались, скрещивались и пересекались, возникали и исчезали. Едва я одолевал одни, передо мною вставали другие, и я, хотя силы мои были на исходе, вступал в борьбу с ними, ибо иного выхода мне не было дано.

А самое худшее, что все мои усилия безнадежны и

тщетны, потому что, в сущности, я не спускаюсь и не поднимаюсь, а лишь трачу силы и изнемогаю на этих ступеньках, что сменяют друг друга у меня под ногами.

* * *

Еще о словах.

Слова выглядят «красноречивыми», пока они стоят одинокие, невинные и неиспользованные; если то или другое из них слабеет, то третье говорит за них обоих и даже гораздо больше. Слова составляют магический хоровод, по которому передается ритм целого; если одно из них вялое, неловкое или утомленное, его тянут остальные, так что отставание незаметно, и хоровод безошибочно следует дальше.

Труднее случай, когда словам нужно что-то сказать о самих себе и своей роли в повествовании. Тут они внезапно немеют, леденеют и лежат, как безжизненные камни, точно они никогда не говорили, не танцевали, не пели. Когда речь заходит о словах, слова молчат, хотя обо всех прочих людских вещах и делах они — иногда больше, иногда меньше — говорят. Даже и о молчании.

* * *

Когда пишешь, — разумеется, в счастливые минуты! — слова текут сами собой, связываются и отталкиваются, движутся и перемешиваются или полностью уничтожаются, пока все не укладывается в подлинную и единственно возможную картину того, что человек хочет сказать. Это выглядит легким и бессознательным танцем, который слова исполняют по своей воле и в согласии со своей природой, сами собой и только для себя. Однако это не так, это не бесплодная игра прихоти или случая. В словах, как в деревьях и растениях и во всем живом, кружится невидимый жизненный сок, и это он, точно какое-то внутреннее солнце, движет и передвигает их, дает им окраску и форму, силу и образность. А человек, который пишет, лишь внимательно следует за этим непонятным и неуловимым танцем и более или менее умело, более или менее удачно использует отдельные его детали.

Таким образом, слова, в сущности, живут двойной жизнью: и сами по себе, и как выразительные знаки в рамках человеческой мысли, ищущей своего выражения.

В языке есть выражения, которые сами по себе, выхваченные и пойманные на лету, пленяют и чаруют мой слух и мой дух, раскрывают передо мной какие-то новые недоступные горизонты и дали, о которых даже тот, кто эти слова произносит, ничего не знает и не предполагает, что они могут существовать.

Эти выражения можно услышать от мужчин и еще чаще от женщин из народа, когда они в сильном волнении говорят о своих заботах и бедах, потрясениях, радостях или огорчениях.

Я ловлю эти слова, как печально брошенные и благодаря счастливой случайности найденные драгоценности, я плыву некоторое время на каждом из них, как на свободном, быстром облаке, и оглядываю новые, невиданные миры.

Эта игра длится иногда дольше, иногда короче, и она дороже мне реальных переживаний, игр и удовольствий. А потом, потом наступает забвение.

1967

Взобравшись на скалу, видишь перед собой полукруг широкого морского залива и во всю длину его резкую черту моря, точно туго натянутый шнур сапфирного цвета, на котором фантазия начинает свой невидимый и беззвучный танец. Залитый светом чудесный простор составлен из неоглядной пучины и чистого неба, и на нем ни облачка, ни всплеска, ни корабля на горизонте. Светлая пустыня, чреватая всевозможными переменами пустота. Глядишь на нее, а перед тобой возникают неожиданные и невероятные видения, которые видишь только ты и над которыми преходящее не имеет власти, ибо они зарождаются и умирают в одно и то же мгновение, между их появлением и исчезновением нет ни малейшего разрыва, время не в силах пустить в ход свой разрушающий микроб. Они возникают и исчезают в течение одной и той же вспышки; они не длятся, и они вечны, поскольку вечно сменяются и, значит, не подлежат действию закона всеобщего умирания.

Эти видения возникают в определенный момент, при определенных условиях, как только искра человеческого взгляда вспыхнет, соприкоснувшись с вселенским пламенем кругозора, который земля и море открывает перед нами. В них все из огня, различного по своим источникам и своей природе, способного на тысячи перемен и преобразований. Их нельзя запомнить в отдельности, поскольку каждое переходит в то, что следует за ним, так что в конечном счете всю свою силу и значение они вольют в последнее, а оно будет жить и тогда, когда потухнет наш взор и угаснет в нем искра.

* * *

Конец марта. Зацвели первые фруктовые деревья. Зима отступает, но медленно, шаг за шагом. Занимается солнечный день, но уже около полудня начинает порывами поддувать резкий пронзительный ветерок, несущий по воздуху белые и розовые лепестки цветов, хотя явно, прежде чем добраться до нас, он пролетал над какими-то слезными пределами, к цветочным лепесткам скоро присоединяются капли холодного дождя, а затем и снежинки. Воспоминание о долгой зиме вызывает дрожь, ты на миг закрываешь глаза, а открыв их, замечаешь, что в вихре снежинок и цветочных лепестков кружится маленькая белая бабочка, пытаюсь спастись судорожными взмахами слабых крылышек, напоминающих предсмертную судорогу.

* * *

На исходе солнечного прекрасного дня откуда-то доносится песня. Синяя поверхность спокойного моря в пристани быстро принимает цвет вечера. На горизонте стремительно удаляется большой белый корабль и становится все более похожим на облачко тумана, на прядь дыма без признаков огня.

Белый корабль молниеносно исчезает. Еще мгновение — и он превратится лишь в мысль о нем, в воспоминание, в предчувствие.

* * *

Последний день декабря. Я возвращаюсь в приморский край, который покинул сверкающим сентябрьским утром. Все кругом изменилось. Вместо синего неба

тяжелые, темные облака. Все влажное, точно подгнившее. Призрачными кажутся цветы, которые не умирают, но и не могут жить. И трава хоть и сохранила еще кое-что от своей зелени, но стала незнакомой и неласковой, ничуть не напоминая летнюю.

Так выглядит природа, когда она устает и когда, погружившись в прекрасный зимний сон, набирает силы для нового расцвета.

1972

Когда мы наблюдаем за морем и сушей, у нас возникает масса вопросов. На многие из них мы не знаем ответа. И пока в нас роятся все новые и новые вопросы, мы тщетно ищем ответа на самый первый, который задали себе, увидев с горной вершины невидимое до тех пор море: море и суша. Что здесь картина, а что рама?

* * *

Сперва это лишь предчувствие рассвета. Радостного и робкого, больше похожего на сумерки — так счастливый брат похож на менее удачливого. Мы видим его и сомневаемся в его существовании. Однако этой большой игре «да — нет — да» скоро наступит конец. С беззаботностью и естественным спокойствием здорового, обнаженного мальчугана солнце появляется над черной полосой сосен в глубине горизонта. Нет больше места шуткам и сомнениям. Рассветает. От сильного и стремительного солнечного света глаза наши наполняются слезами. Мы плачем, но плачем бодро, точно новорожденный младенец при своем появлении на свет, а тем временем солнце меняет вид местности, всюду распространяя иллюзию подъема, роста и продолжения без конца и края. Рассеивается последнее холодное дуновение и тончайшая прядь мрака. Мы живем и растем; только это доступно нам видеть, и только об этом мы в состоянии думать. Рассветаем.

* * *

Вплоть до вчерашнего дня стояла хмурая и дождливая погода, а сегодня чудесный, свежий и солнечный день; кажется, будто на нем, точно на волшебном воз-

душном корабле, можно уплыть далеко, в неведомые пределы, где погода столь же прекрасна, но длительна и постоянна.

1973

Март. Хмуρο и зябко. Серый день без солнца и зелени, без чего бы то ни было, что может избавить от скуки четверых мальчишек и удовлетворить их смутное, по живое желание перемен и неожиданностей. Пока они развлекаются, качаясь на почерневших досках, взятых с заброшенного и разрушенного дома.

Это все их развлечение сегодня. Но им мало. Ни пить, ни есть не хочется, их переполняют желания, хотя они и не в состоянии сказать, что это за желания и сколько их. Они качаются, и один из них рассказывает медленно и громко.

Рассказчик — белокурый, близорукий и щуплый мальчуган в очках, которого по имени героя какого-то романа зовут Алек. Родители его чуть побогаче. Он любит читать и все карманные деньги тратит на грошовые романы в бумажной обложке; он умеет пересказывать прочитанное и делает это отлично и точно, ничего не искажая, а поскольку он с удовольствием рассказывает, товарищи его с удовольствием слушают, слепо веря всему, что он говорит, и не подозревая, что он пересказывает придуманное и написанное другими. Ибо правда для них то, что им кажется правдой, и она всегда там, где они ее видят. Главное, что рассказы Алека избавляют от скуки, дают пищу фантазии, во всяком случае — нечто иное, отличное от этого серого дня, изрытой мостовой, крутой улочки и покосившихся заборов.

Однако случаются и недоразумения, которые портят даже и это жалкое развлечение. Мальчишки порой прерывают рассказ, что-нибудь добавляют и сразу разбивают созданную Алеком иллюзию. Чаще всего это какой-нибудь не по годам умный скептик, любящий все опровергать и оспаривать, или прирожденный фантазер и врун, который тут же воображает себя героем рассказа, присваивает его подвиг и пытается превзойти его беззащитным враньем, коль скоро не в состоянии доказать это на деле.

И тот и другой одинаково неприятны, потому что портят игру и лишают удовольствия.

В тот день подобную роль взял на себя некий Царевич, сын содержателя кофейни, и прежде известный как хвастун и враль, сытый и крепкий паренек с синими глазами навывкате и застывшим, неестественно блестящим взглядом.

Алек с вдохновением рассказывал об итальянском разбойнике, который, по сути, защищал бедных и обиженных и боролся с богачами. Его заключили в крепость на скалистом острове в марсельском заливе, однако ему удалось перепилить решетки и с большой высоты броситься в море, где его подобрали рыбаки и переправили на сушу.

Когда Алек закончил рассказ, ребята, онемев от изумления, неподвижно смотрели перед собой. И только Царевич стремительно вскочил, мгновенно смотрел куда-то вдаль и вдруг принялся рассказывать о том, как он сам, будучи во время летних каникул у родных в Герцеговине, прыгнул в Неретву с еще большей высоты и даже получил за это какую-то премию. Рассказывал он это неуверенно, вяло, с усилием подыскивая слова позначительнее, чтобы подчеркнуть свой подвиг, которого он никогда не совершал и который выдумывал по ходу действия. Ребята оторопело слушали его, а потом вдруг Алек встал, подошел к нему вплотную, как будто собирался ударить, но лишь произнес глухо и раздраженно:

— Чего врешь?

Он дважды повторил свой вопрос, произнося его так, точно говорил не этому жалкому Царевичу, но кому-то далекому, а вернее — всем лгунам этого лживого мира. И умолк, явно не ожидая ответа. А потом еще ближе подошел к оторопевшему Царевичу и прямо ему в лицо сказал пегромко, с какой-то теплотой и даже жалостью в голосе:

— Чего врешь, несчастный?

Произнося эти слова, он закинул назад голову, и в затуманенных влагой стеклах его очков сверкнул слабый отблеск солнца, спускавшегося за горизонт,

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Ага* — господин, уважительное обращение к состоятельным людям.
Аян — старейшина, предводитель.
Бег — турецкий землевладелец, господин.
Валия — наместник вилайета — округа.
Газда — уважительное обращение к людям торгового и ремесленного сословия.
Джемадан — верхняя мужская одежда без рукавов.
Ифтар — вечерняя трапеза во время поста, совершаемая после захода солнца.
Каймакан — начальник уезда в османских провинциях.
Кмет — подневольный крестьянин, работающий на землях бега.
Коло — массовый национальный танец южных славян.
Меджедия — золотая турецкая монета.
Мейтеф — начальная мусульманская школа.
Мутеселим — чиновник везира.
Окка — мера веса, равная 1283 г.
Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Райя — презрительная кличка христианских подданных Османской империи, букв.: стадо.
Ракия — сливовая водка.
Салебджия — торговец прохладительными напитками.
Слава — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.
Субаша — помощник паши.
Суварии — конные жандармы.
Тевтедар — турецкий чиновник.
Учумате — уездное управление в османской Турции.
Фра — сокращение от «фратер», католический монах.
Чезайя-паша — заместитель везира.
Шаргия — двухструнный музыкальный инструмент.

СОДЕРЖАНИЕ

Меша Селимович. Иво Андрич 5

МОСТ НА ЖЕПЕ

<i>Мост на Жепе. Перевод Т. Вирты</i>	19
<i>Путь Алии Джерзелеза. Перевод И. Макаровской и Г. Языковой</i>	27
<i>Мустафа Мадьяр. Перевод Н. Вагаповой</i>	48
<i>* В мусафирхане. Перевод И. Макаровской</i>	64
<i>* Времена Аники. Перевод Т. Вирты</i>	75
<i>Шутка на Самсарином заезжем дворе. Перевод И. Лемаш</i>	134
<i>Рассказ о слоне визирия. Перевод Н. Вагаповой</i>	150
<i>Велетовцы. Перевод Т. Поповой</i>	189
<i>Проклятый двор. Перевод Т. Поповой</i>	198

ЖАЖДА

<i>Жажда. Перевод Т. Поповой</i>	273
<i>Свадьба. Перевод Е. Рябовой</i>	283
<i>Рассказ о кмете Симане. Перевод О. Кугасовой</i>	302
<i>* Разговор. Перевод И. Макаровской</i>	327
<i>* В разладе с миром. Перевод И. Лемаш</i>	333
<i>Книга. Перевод Е. Рябовой</i>	339
<i>* Письмо, датированное 1920 годом. Перевод Н. Вагаповой</i>	354
<i>Пытка. Перевод Е. Рябовой</i>	368
<i>Заяц. Перевод Т. Вирты</i>	395
<i>Запертая дверь. Перевод А. Романенко</i>	494
<i>Аска и волк. Перевод Т. Вирты</i>	502

МОСТЫ

Перевод А. Романенко

Мосты	513
* Разговор с Гойей	516
Тропы	534
Лица	536
* О Вуке как писателе	541
* О Вуке как реформаторе	554
Моя первая встреча с творчеством Горького	564
Руки созидания	568
Искра созидания	571
** Мгновенья над перепиской Негоша	575
* Знаки вдоль дороги	581
Пояснительный словарь	603

** © Издательство «Прогресс», 1974 г.

Андрич Иво.
А65 Избранное. Пер. с сербхорв. Предисл. Меша
Селимовича. М., «Худож. лит.», 1976

605 с. (Б-ка югосл. литературы)

В книгу «Избранное» выдающегося писателя современной Югославии, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича включены в основном произведения, написанные после второй мировой войны и затрагивающие большой круг проблем. Это повести «Заяц» и «Проклятый двор», «Рассказ о слоне визиря», «Рассказ о кмете Симане» и другие новеллы, часть из которых публикуется впервые. В книге также представлена эссеистика писателя.

А $\frac{70304-260}{028(01)-76}$ 163-76

И(Югосл)

Иво Андрич

ИЗБРАННОЕ

Редакторы Н. Глен
и О. Кутасова

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректоры Л. Лобанова
и И. Филатова

Сдано в набор 3.02.76. Подписано в
печать 4.08.76. Бумага типографская
№ 1. Формат 84×108¹/₃₂. 19 печ. л.
31,92 усл. печ. л., 33,056+1 вкл.—
—33,109 уч.-изд. л. Тираж 50000 экз.
Заказ 53. Цена 2 р. 16 к.

Издательство «Художественная ли-
тература». Москва, Б-78, Ново-Бас-
манная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 име-
ни Евгении Соколовой Союзполиграф-
прома при Государственном комите-
те Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли.

198052. Ленинград, Л-52, Измайлов-
ский проспект, 29